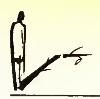
КНИГА ПЕРВАЯ

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ

ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Антология
в шести томах
том первый
книга первая

1920–1925



ЛИТЕРАТУРА РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

АНТОЛОГИЯ

Москва «Книга» 1990

ББК 84Р
Л64

Автор вступнтельной статьн
н научный редактор
кандидат философскнх наук
А. Л. Афанасьев

Составленне
н нменной указатель
В. В. Лаврова

Изданне подготовлено
редакцнонно-нздательскнм
центром «Истокн»

Редакторы:
А. Б. Гудович, Ю. В. Устинов

Оформлеиие и макет
А. Б. Архутика и К. В. Кухтина
Макет фотоиллюстрацнй
В. И. Харламова

А $\frac{4701000000\text{-}109}{002(01)\text{-}90}$ Подписн. нзд.

ISBN 5-212-00442-X (т. I, кн. 1)
ISBN 5-212-00444-6

Неутоленная любовь

После того как гражданам Флоренции, прекраснейшей и славнейшей дочери Рима, угодно было извергнуть меня из своего сладостного лона, в котором я был рожден и вскормлен вплоть до вершины своего жизненного пути и в котором я от всего сердца мечтаю, по-хорошему с ней примирившись, успокоить усталый дух и завершить дарованный мне срок,— я, как чужестранец, почти что нищий, исходил все пределы, куда только проникает родная речь, показывая против воли рану, которую нанесла мне судьба и которую столь часто несправедливо вменяют самому раненому.

Данте

... И совсем я не здесь,
Не на юге, а в северной, царской столице.
Там остался я жить. Настоящий. Я — весь.
Эмигрантская быль мне всего только снится —
И Берлин, и Париж, и постылая Ницца.

Георгий Иванов

Мы — дети трудной истории. Мы, свидетели и участники героического и трагического времени, пытаемся осмыслить, переосмыслить сквозь новоявленную шкалу общечеловеческих норм и идеалов, накопленных мировой и отечественной культурой ценностей пройденный страной, народом, своими родными и близкими, каждым из нас жизненный путь.

Есть над чем задуматься... Особенно в преддверии грядущего рубежа веков. Что в новом тысячелетии расскажем детям и внукам об узловых событиях века прошедшего — трех российских революциях, опустошивших страну двух мировых войнах и еще более страшной трагедии России — гражданской войне, цене коллективизации и индустриализации?.. Какими красками нарисуем им портреты лиц, стоявших у руля государства: Николая II и Столыпина, Керенского и Милюкова, Ленина и Свердлова, Сталина и Молотова, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева...

Настоятельно ждет всестороннего исследования и нового прочтения в ряду традиционных и новых «белых» пятен отечественной истории (при нашем относительно глубоком знании проблемы) и тема эмиграции в XX столетии.

Не много мы знаем о судьбах миллионов наших соотечественников, покинувших в поисках лучшей доли царскую Россию. Еще более тяжело сложились судьбы миллионов людей, оказавшихся после 1917 года вне пределов Советской России и СССР.

При встрече с В. И. Лениным в 1919 году Алексей Максимович Горький рассказал ему про одну петербургскую княгиню, которая после революции приходила в городские кухни и требовала костей для своих собак. Не стерпев унижений, княгиня решила утопиться в Неве, но ее псы, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за ней и своим воем заставили ее отказаться от самоубийства.

Владимир Ильич, выслушав эту историю, угрюмо ее прокомментировал: «Да,

этим людям туго пришлось, история — мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?» (1).

Послеоктябрьская эмиграция, вошедшая в исторические анналы как «белая эмиграция», отчетливо помечена печатью драмы. А чаще трагедии. Один из немногих ее историков «оттуда», Петр Ковалевский, отмечая: «...покинуло Россию после революции 1917 года около миллиона людей»,— пишет, что «...в мировой истории нет подобного по своему объему, численности и культурному значению явления, которое могло бы сравниться с русским зарубежьем... Русское рассеяние превзошло все бывшие до него и по числу и по культурному значению, так как оно оказалось центром и движущей силой того явления, которое обычно называют русским зарубежьем, но которое следовало бы называть «Зарубежной Россией»... Это русское зарубежье может быть исчислено между 9 и 10 миллионами человек» (2) *. Русские составили абсолютное большинство белой эмиграции. По данным нескольких регистраций эмигрантов — от 90 до 95 процентов.

Октябрьский вихрь, вздыбивший и перевернувший до основания Россию, вымел за пределы страны не только активных участников белого движения, представителей эксплуататорских классов — помещиков и капиталистов, но и многих рабочих и крестьян, насильственно мобилизованных в белые армии и затем вывезенных за границу, сомневающихся, колеблющихся интеллигентов, бежавших от ожесточеннейшей борьбы за новый политический строй.

«Россия № 2» была многолика, являясь своего рода сколком бывшей Российской Империи. «Одна и та же Россия, по составу своему, как на родине, так и за рубежом: родовая знать, государственные и другие служилые люди, люди торговые, мелкая и крупная буржуазия, духовенство, интеллигенция в разнообразных областях ее деятельности — политической, культурной, научной, технической и т. д.,— армия (от высших до низших чинов), народ трудовой (от станка и от земли),— представители всех классов, сословий, положений и состояний, даже всех трех (или четырех) поколений — в русской эмиграции налицо» (3),— констатировала в 1930 году З. Гиппиус. Характеристика где-то близка к истине, хотя представителей знати, буржуазии, армии и «интеллигенции в разнообразных областях ее деятельности» было побольше, чем «народа трудового от станка и земли».

Все отчетливей и больней начинаешь понимать, что мы тогда, в 20-е годы, потеряли. Мощный интеллектуальный потенциал оказался «там», а не в новой, преображенной стране, которой он был так необходим в ее стремлении стать передовой державой.

Многие уезжали и бежали, движимые классовой ненавистью, но большинство — из-за потери чувства уверенности в завтрашнем дне. Революция и ужасы гражданской братоубийственной войны дали таким людям достаточно веских оснований для принятия столь тяжелого решения. «Мы катились вниз по огромной, зеленой карте, на которой наискосок было напечатано «Российская Империя»,— вспоминала первый сатирик эмиграции Надежда Тэффи.—...Дрожит пароход, стелется черный дым. Глазами широко, до холода в них, раскрытыми смотрю. И не отойду. Нарушила свой запрет и оглянулась. И вот, как жена Лота, застыла, остолбенела навеки и веки видеть буду, как тихо, тихо уходит от меня моя земля» (4).

* В интересах соблюдения документальной точности сохраняются стилистические и синтаксические особенности текстов из эмигрантских книг, журналов, газет.

Течет и уиосит река,
Родным берегам — простите!
И режет моя рука
Прошедшего прочиые инти,—

с тоской пнщет Елизавета Кузьмниа-Караваева, будущая мать Мария, ставшая олицетвореиием совестн русской эмнграцнн, будущая героиия фраицузского Сопротивлеиия, погнбшая в газовой камере Равенсбрюка. Лишь через сорок лет после ее смертн Родина отметила ее подвиг ордеиом Отечественной войны.

Хребет русского зарубежья составила росснйская интеллигеиция. Не обижая эмиграитские «низы», заметим: деятелн иаукн н культуры разиых поколеиий достойио представнлн и ныне представляют в иовых «отечествах» свою Россию, обогатили мировую иауку н культуру. Авиакоиструкторы Сикорский и Рябушинский. Нобелевские лауреаты — экономнст Леоитьев н хнмнк Пригожин. Шахматнсты — Алехнн н Боголюбов. Герон европейского Сопротнвлеиия — Вики Оболенская н Борнс Вильде, мать Марня н Тамара Волконская, Марнна Шафрова-Марутаева н Кнрилл Раднщев. Генералы — Яхоитов н Игнатьев, Смнрнов н Махнн. Мнтрополиты — Веинамнн н Евлогнй. Художннкн — Репни н Рерихи, Коровнн н Грнгорьев, Серебрякова н Ларионов. Певцы — Шаляпнн н Гедда. Музыканты — Рахманннов н Стравннскнй, Кусевицкнй и Гречанннов. Фнлософы — Бердяев н Франк, Булгаков и Карсавни. Историкн — Ростовцев н Вернадскнй, Мнлюков н Карповнч. Звезды балета — Павлова и Ннжннскнй, Фокнн н Баланчнн, Лнфарь н Карсавнна. Соцнолог Сорокнн н вулканолог Тазнев. Артнсты Мозжухнн н Чехов. Невероятные судьбы. Объедняет нх всех одно — Россия.

Наш разговор — об эмнгрантской лнтературе. Антология, первый том которой держнт в руках чнтатель, первая в нашей стране антологня лнтературы русского зарубежья.

Споры о ней, разгоревшнеся в эмнграцнн в первой половние 20-х годов, продолжаются и по сей деиь. Несколько проблем стоят долгне годы в центре днскуссннй.

Завоевала лн право иа всеобщее прнзиаине русская зарубежная лнтература XX века как единственная наследница траднцнй великой русской лнтературы XIX века?

Одна или две русских литературы появнлись как нтог Октябрьской революцнн?

Какая из этнх литератур — русская советская или эмиграитская — мощнее н сильиее, претеидует иа главеиствующую роль?

Возможио ли слияиие этих двух потоков литературы?..

В последиие годы советский читатель позиакомился со миогими зиачительными лнтературнымн пронзведениямн, созданиыми в зарубежье. Пришла пора определиться в своем отиошеиин к лнтературному наследню русской эмиграцни в целом. «Интерес к судьбам русской лнтературы эмнграцнн в последнее время чрезвычайно возрос,— справедлнво отмечает В. Баранов.— Будем говорнть прямо: в какнх-то случаях прнмешнвается к этому интересу оттеиок сенсационностн, а представнтелям эмиграцнн придается чуть лн не ореол жертвенностн» (5).

Для выработкн общнх крнтернев подхода к оценке лнтературы русского зарубежья важио прежде всего увидеть этапы ее развнтня. Онн в основном неотделнмы от историн русского зарубежья, протнворечнвых и иеоднозначных процессов, протекавшнх в духовной жнзнн эмнграцнн.

Как нам представляется, феномен русского зарубежья уже прннадлежнт нсторнн. Он сложился как относнтельно самостоятельное полнтнческое н культурное образованне в первой половнне 20-х годов в ряде стран, прнютнвших русских беженцев,— прежде всего в Чехословакнн, Югославнн, Францнн, Германни, Китае, Болгарнн, Латвнн, Лнтве н Эстоннн. Несмотря на колоссальные разлн-

чия, противоречия, раздиравшие белоэмиграцию, она вначале была едина в одном — неприятии свершившихся в России перемен.

Бурно закипела работа сотен организаций — больших и малых и самого разного толка. Восемь русских высших учебных заведений заработало в Париже, пять — в Праге и пять — в Харбине, по одному — в Белграде и Берлине. Обучение детей школьного возраста (по данным 1924 года) осуществлялось в 90 школах: 43 средних и 47 низших. Большой масштаб отличал деятельность таких организаций, как Объединение земских и городских деятелей (Земгор) и русский Красный Крест.

Политическая жизнь русского зарубежья достаточно исследована советскими историками С. Н. Семановым, Л. М. Спириным, С. А. Федюкиным, В. В. Коминым, Ю. В. Мухачевым, Г. З. Иоффе. Желающих разобраться в политической «кухне» русского зарубежья мы бы отослали к монографии Леонида Шкаренкова «Агония белой эмиграции», выдержавшей несколько изданий.

Новый этап истории русского зарубежья — со второй половины 20-х годов до начала второй мировой войны. Ветшают планы свержения «антихристов-большевиков». Заиграны уже до хрипоты пластинки с белогвардейскими гимнами. Быстро тает вера в мессианскую роль эмиграции — «спасительницы России». «Мысль об эмиграции как единственной хранительнице русской культуры была широко распространена и в самих эмигрантских кругах. И только с прекращением блокады России и с развитием сношений с ней эта мысль конфузливо начала прятаться, сошла со столбцов газет, потом и совсем исчезла... Далее, уже сама по себе нелепа мысль о какой-то самостоятельной культурной миссии, возложенной на эмиграцию, ибо эмиграция, прежде всего, явление нездоровое и, во всяком случае, скорее вымирающее, а не усиливающееся и налаживающее здесь силу и мощь» (6). Происходит понимание того, что идея зарубежья, объединительная идея, зазывающая под один знамена «монархистов, республиканцев, демократов, даже социалистов» для освобождения родной земли от «оккупировавшего ее третьего интернационала»,— с самого начала была всего лишь идеей реставрационной, направленной на возрождение навсегда канувшей в Лету самодержавно-помещичьей и капиталистической России.

На этом этапе истории зарубежья вырисовывается весь идейный спектр взглядов «России № 2», начиная «от черносотенства типа Маркова II, бывшего более монархистом, чем сами Романовы, двигаясь сквозь переживших крушение империи неодиородных по настроениям представителей династии, сквозь остатки сановной и дворянской России, сквозь носителей оттенков всех русских политических тенденций эпохи конституционной монархии и 1917 года, России «черного года», сквозь идеологов гражданской войны, непредрешенства и «пореволюционных течений» (от сменовеховцев, евразийцев и младороссов к НТС, новгородцам, «Утверждению» и «Третьей России», дальневосточным фашистам и русским националистам...), кончая группами «возвращенцев» и «невозвращенцев», позднее группами «оборонцев» и «советских патриотов»... до сторонников традиционного черного знамени» (7).

Время наибольших успехов русской зарубежной культуры также приходится на этот период. Забота о жизненных, государственных интересах родины постепенно побуждала немало эмигрантов, в том числе и правых, оставить свою «непримиримость». И многие уже согласились с Александром Вертинским, выступившим в 1935 году с песней, взбудоражившей русское зарубежье:

Проплываем океаны,
Бороздим материки
И несем в чужие страны
Чувство русское тоски...
И пора уже сознаться,
Что напрасен долгий путь...

40-е годы — кризисный этап русского зарубежья. Война поставила крест на большинстве его организаций. С победой советского народа в Великой Отечественной войне окончательно рухнули расчеты на крах Советской власти, поэтому вести речь о белоэмиграции как о сколько-нибудь значительной политической величине не приходится... Появившаяся же так называемая «вторая эмиграция» во второй половине 40-х годов ничего подобного тому, что сделало в межвоенные годы русское зарубежье, создать не была способна.

Русское зарубежье распадалось под натиском неизбежных ассимиляционных процессов. Старшее поколение медленно умирало. Молодые же считали себя уже не русскими, а американцами и французами русского происхождения. Да и в годы наступившей многолетней «холодной войны» многие предпочитали молчать о своем русском происхождении. Организаций культурных, тем более литературных, «новая» эмиграция, в отличие от послеоктябрьской, практически не создавала. Первые послевоенные годы ознаменованы тем, что образовывались мощные международные антикоммунистические эмигрантские центры, прежде всего в США.

Завершающий период истории русского зарубежья — 50—60-е годы. Происходит медленное угасание последних очагов «зарубежной России». В 70—80-е годы инициатива в среде эмиграции из нашей страны переходит в руки «третьей эмиграции». Отдельные, остающиеся на плаву островки русского рассеяния служат нам лишь напоминанием о бурных, шумных, неистовых первых годах жизни русского зарубежья.

* * *

Многих писателей Октябрьская революция сблизила с народом. На стороне Октября наряду с известными писателями (М. Горький, А. Серафимович, В. Маяковский), еще в дореволюционный период пропагандировавшими социалистические идеи, оказались такие писатели, как А. Блок и В. Брюсов.

Но многие русские писатели, в том числе и сочувствовавшие в своих книгах тяжкой судьбе трудового народа и ратовавшие за его освобождение, не приняли новой власти и оказались за границами Советской России. Революция властно разделила писательский стан на два лагеря. Сомневающимся, колеблющимся, выжидающим, желающим переждать российскую бурю она также не оставила много времени для выбора. Ставшая крылатой фраза Маяковского «...тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас» быстро берется на вооружение обеими сторонами. На долгие годы и десятилетия.

Баррикады разрезали надвое внешне однородные литературные течения: символисты Блок и Брюсов оказались на одной, «красной», стороне, а другие символисты — Гиппиус, Мережковский, Бальмонт, Вяч. Иванов — на «белой». «Туда» уехали реалисты Бунин и Куприн, Зайцев и Шмелев. «Здесь» остались Горький и Вересаев, Пришвин и Серафимович. «К 1921 г. из известных до революции писателей за пределами России оказались: А. Т. Аверченко, М. А. Алданов, кн. В. В. Барятинский, Н. В. Калишевич, А. А. Поляков, Н. Н. Чебышев, К. Д. Бальмонт, П. Д. Боборыкин, Н. Н. Брешко-Брешковский, И. А. Бунин, Давид Бурлюк, З. Н. Гиппиус, Г. Д. Гребенщиков, Л. М. Добронравов, Дон-Аминадо, А. К. Деренталь, О. И. Дымов, Е. А. Зноско-Боровский, Анатолий Каменский, А. А. Койранский, ген. П. Н. Краснов, В. А. Крымов, А. И. Куприн, Б. А. Лазаревский, Г. А. Ландау, Н. А. Лаппо-Данилевская, А. Я. Левинсон, С. К. Маковский, Д. С. Мережковский, Н. М. Минский, С. Р. Минцлов, Е. А. Нагродская, И. Ф. Наживин, С. Л. Поляков-Литовцев, П. П. Потемкин, П. Я. Рысс, Б. В. Савинков, Игорь Северянин, С. А. Соколов-Кречетов, Л. Н. Столица, Б. А. Суворин, И. Д. Сургучев, гр. А. Н. Толстой, А. В. Тыркова-

Вильямс, Н. А. Тэффи, А. М. Федоров, Д. В. Философов, М. О. Цетлин, Саша Черный, Е. Н. Чириков, Л. И. Шестов (Шварцман), С. С. Юшкевич, А. А. Яблоновский, С. В. Яблоновский» (8),— перечисляет Глеб Струве в своей «Русской литературе в изгнании», единственной монографии, посвященной судьбе литературы русского зарубежья.

Затем Г. Струве дополняет список именами видных политических деятелей и ученых, которые сыграют заметную роль в становлении и развитии литературы русского зарубежья: Н. Д. Авксентьев, В. Л. Бурцев, М. М. Винавер, М. В. Вишняк, И. В. Гессен, А. В. Карташев, А. Ф. Керенский, В. А. Маклаков, П. Н. Милюков, В. Д. Набоков, Б. Э. Нольде, М. И. Ростовцев, В. В. Руднев, П. Б. Струве, И. И. Фондаминский (Бунаков), В. В. Шульгин.

Различными путями попадают за границу в 1921—1923 годах Г. В. Адамович, М. П. Арцыбашев, А. В. Амфитеатров, С. М. Волконский, Б. К. Зайцев, Г. В. Иванов, В. И. Немирович-Данченко, Н. А. Оцуп, А. М. Ремизов, В. Ф. Ходасевич, М. И. Цветаева, И. С. Шмелев. «Нас трудно сдвинуть, но, раз мы сдвинулись, нам нет удержу — мы не идем, а бежим, не бежим, а летим, не летим, а падаем, и притом «вверх пятами», по выражению Достоевского»,— напишет в эмиграции Д. Мережковский.

После известной акции — высылки из Советской России 161 наиболее активного «внутреннего эмигранта» в августе — сентябре 1922 года — на Западе оказались «философы Н. Бердяев, П. Сорокин, С. Франк, Б. Вышеславцев, И. Ильин, Н. Лосский, Ф. Степун, С. Булгаков; журналисты и писатели А. Петрищев, А. Изгоев, М. Осоргин, Б. Каменецкий, И. Матусевич, Н. Волковыский, Д. Лутохин, Ю. Айхенвальд; профессора Б. Бруцкус, А. Кизеветтер, С. Мякотин, М. Новиков, Л. Карсавин, Г. Федоров, Г. Флоровский, П. Бицилли и др.» (9).

Пусть читателя не удивляют в этом обширном перечне имена многих политических и общественных деятелей, философов, историков, юристов, социологов... Ведь литературу русского зарубежья невозможно представить без изображения эмигрантского бытия, философской прозы, обширных мемуаров, политической публицистики. Более того, очевидно, что для нас сейчас из русской зарубежной литературы, ее значительнейшего наследия, более нужна не собственно художественная литература — проза, поэзия, переводческие работы, драматургия, критика (при ее всевозрастающей ценности в наших глазах!), а высочайшая философская проза, обширнейшая мемуарная литература, эссеистика, политическая публицистика, ожесточенно обсуждавшая пути России в XX веке.

Быть может, эти «потусторонние» взгляды и воззрения помогут нам быстрее определиться в сегодняшних горячих спорах...

Лихорадочно искавшие ответ на вопрос «Россия — революция — мы», писатели и мыслители белоэмиграции не собирались впадать в «пессимизм молчания» и в ожидании грядущего возвращения «будущей весной» в Россию уселись за письменные столы.

Беженцы в массе, как об этом свидетельствует мемуарная литература, смотрели на свое пребывание за рубежом как на временное испытание, которое кончится в результате неизбежных политических изменений на Родине. Только меньшинство понимало, что не скоро увидит родные места. Многие вовсе не считали, что покинули Россию: они полагали, что унесли ее с собой. «Из России ушла не маленькая кучка людей, группировавшихся вокруг опрокинутого жизнью мертвого принципа, ушел весь цвет страны, все те, в руках кого было сосредоточено руководство ее жизнью, какие бы стороны этой жизни мы ни брали. Это уже не эмиграция русских, а эмиграция России...» (10),— успокаивали читателей эмигрантские публицисты, обосновывая формулу «их Россия не наша, а наша Россия не их».

В начале 20-х годов народившееся

русское зарубежье захлестывает волна издательского предпринимательства. «Крупнейшим из таких предприятий было издательство З. И. Гржебина, который в конце 1920 года перенес свою деятельность из Петрограда за границу, сначала в Стокгольм, а затем в Берлин... Количество русских издательств в Берлине в 1921—1923 годах было очень велико (из-за условий послевоенной инфляции и относительной дешевизны в Германии). Помимо Гржебина, главнейшие из них — «Слово» Лодыжникова, «Эпоха», «Геликон», «Грани» Дьяковой, «Русское творчество», «Универсальное издательство», «Мысль». Наряду с берлинскими издательствами энергичную деятельность развили в эти годы издательство Поволоцкого и «Русская земля» в Париже, «Пламя» в Праге, «Северные огни» в Стокгольме, «Российско-Болгарское книгоиздательство» в Софии, «Библиофил» в Ревеле» (11).

По местам выхода в свет эмигрантских изданий можно изучить географию расселения русского зарубежья. Так, к примеру, в 1924 году вышло «русских книг, журналов и сборников — 665. Из них: в Германии — 337, в Чехословакии — 129, во Франции — 63, в Прибалтике — 61, на Балканах — 31, на Дальнем Востоке — 20, в Польше — 19, в Америке — 5» (12). Стремились не отстать от книгоиздателей владельцы и редакторы газет и журналов. С 1918 по 1932 год выходило 1005 русских эмигрантских изданий. По другим подсчетам, за 1919—1952 годы увидело свет 1571 периодическое издание на русском языке. На страницах средств массовой информации русского зарубежья были представлены все оттенки — за исключением большевистской — дореволюционной политической мысли России.

«Все пишут, все печатают, все издают.

Графоманы, скифы, младороссы, скауты, калмыки, монархисты, волчата, дети лейтенанта Шмидта, суворинские сыновья,— валяй. кто хочет, на Сенькин широкий двор.

Толчея, головокруженье, полная свобода печати.

„Наш путь". „Наша правда". „Наш значок". «Стяг". „Флаг". „Знамя". „Знаменосец".

„Вестник хуторян". „Вестник союза русских дворян". „Нация". „Держава". „Русский сокол". „Русский витязь".

„Имперская мысль". „Эриванская летопись". Орган калмыцкой группы Хальмак „Ковыль".

О количестве „Огоньков" и говорить не приходится...

А наряду с этим роман генерала Краснова „От Двуглавого Орла к красному знамени".

Роман Брешко-Брешковского „На белом коне".

Роман Анны Кашиной „Жажду зачатия".

И роман госпожи Бакуниной „Твое тело принадлежит мне..."» (13),— с иронией писал в своих мемуарах крупнейший, наряду с Надеждой Тэффи, сатирик зарубежья Дон-Аминадо.

22 ноября 1921 года в «Правде» была опубликована первая и единственная в жизни Ленина литературная рецензия. Известно, что Владимир Ильич знал и любил произведения многих русских писателей — Толстого и Чернышевского, Чехова и Салтыкова-Щедрина, Горького и Короленко. Но рецензия «Талантливая книжка» посвящена не разбору произведения кого-либо из мастеров русской литературы, а анализу вышедшего в Париже шестидесятистраничного сборника рассказов «озлобленного почти до умопомрачения белогвардейца» Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции».

Чем же привлекла ленинское внимание бедно изданная тетрадка светло-желтого цвета, автор которой еще надеется, что «вдруг придет хозяин и даст по шеям»? Владимир Ильич отмечает, что «до кипения дошедшая ненависть вызвала и замечательно сильные и замечательно слабые места этой высокоталантливой книжки». Аверченко «нехудожественно» пишет о том, чего не знает, но им «с поразительным талантом изображены впечатления

и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России» (14).

Что лежит в основе ненависти Аверченко? Он сам раскрывает свое политическое кредо в рассказе «Фокус великого кино», где лента крутится назад, в прошлое: «Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России... Да ведь это, кажется, самый счастливый день во всей нашей жизни!

Митька! Замри!! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!»

А строительство новой жизни? По Аверченко, это просто «веселая кухня». «Вот тебе на полках расставлен старый суд, старые финансы, церковь, искусство, пресса, театр, народное просвещение — какая пышная выставка! И вот подходит к барьеру дурак — из корзины в левую руку побольше деревянных шаров, берет в правую один шар, вот размахнулся — трах! Вдребезги правосудие. Трах — в кусочки финансы. Бац — и уже нет искусства, и только остается на месте какой-то жалкий, покосившийся пролеткультовский огрызок» (15). Здесь все в сгустке — неприятие Октябрьской революции, злоба к «низам», страх даже задуматься над тем, что происходит в России. Владимир Ильич рекомендовал некоторые «ножи» из белогвардейской «Дюжины...» перепечатать. Почему? Он понимал, что многие рабочие и крестьяне, революционная интеллигенция найдут в реалистическом описании положения дел в стане врага яркое подтверждение справедливости своих действий.

Зеркалом «„идейной жизни" по *ту* сторону баррикады» называл Ленин белоэмигрантскую литературу. Он тщательно следил за ней. В кремлевской библиотеке Ильича была собрана внушительная коллекция — всего 267 книг (16). Видно, что Ленин интересовался всеми сторонами жизни русского зарубежья. Здесь книги, изданные:

в *Варшаве*: П. Жакмон «Письма русского эмигранта»;

в *Шанхае*: А. Ган «Россия и большевизм»;

в *Харбине*: Н. Устрялов «В борьбе за Россию»;

в *Мюнхене*: Д. Мережковский, З. Гиппиус «Царство антихриста» и Г. Лукомский «Русская старина и прикладное искусство»;

в *Берлине*: П. Врангель «Начертание зверя», В. Горный «Пугачев или Петр? (Душа народа)», Ф. Родичев «Большевики и евреи», Р. Иванов-Разумник «О смысле жизни», Ф. Степун «Жизнь и творчество», Л. Шестов «Власть ключей», М. Слоним «Русские предтечи большевизма», В. Шкловский «Ход коня», «Всемирный тайный заговор. Протоколы сионских мудрецов (по тексту С. А. Нилуса)», Ю. Делевский «Протоколы сионских мудрецов (История одного подлога)», Л. Фрей «Тайный вождь иудейский», «Очерки русской философии» Б. Яковенко;

в *Софии*: С. Булгаков «На пиру богов. Pro и contra. Современные диалоги», В. Шульгин «Нечто фантастическое», П. Милюков «История второй русской революции», Н. Трубецкой «Европа и человечество»;

в *Париже*: А. Ветлугин «Третья Россия», М. Вишняк «Черный год», А. Керенский «Издалека», «Правда о «сионских протоколах». Литературный подлог. Разоблачения газеты «Таймс» с предисловием П. Милюкова», М. Алданов «Огонь и дым»;

в *Праге*: сборник «Смена вех» и Г. Раковский «Конец белых. От Днепра до Босфора (Вырождение, агония и ликвидация)».

Многие книги с «особой полки» пестрят ленинскими маргиналиями. Так, едкими пометками Владимира Ильича испещрены «Очерки русской смуты» А. Деникина. Ленин познакомился с двумя из пяти томов «Смуты...». На одной из страниц, где бывший предводитель Добровольческой армии растерянно пишет «о безумной, мрачной тяжести — власти толпы», Ленин оценивает содержание книги: «Автор «подходит» к классовой борьбе, как слепой щенок».

Ленина волнует своевременная и регулярная доставка эмигрантской литературы. В записке к Ш. М. Манучарьянц от 24 января 1922 года говорится: «Напишите от моего имени Каменеву, Зиновьеву и Уншлихту,

как (почтой? адрес? через особое лицо? где это лицо?) они получают «Смену вех» и *подобные вещи*.

Я должен получать своевременно».

Будучи уже тяжело больным, Владимир Ильич продолжал внимательно следить за белоэмигрантскими изданиями. Уезжая на лечение в Горки, он просит аккуратно и регулярно «из заграничных русских изданий посылать «Накануне», «Социал-демократ» (меньшевиков), «Зарю» (меньшевиков), «Современные записки» (эсеров), «Русскую мысль» и перечень остальных изданий, брошюр и книг» (17).

По прямому ленинскому указанию в советских газетах в начале 20-х годов публиковались обзоры белоэмигрантской прессы и литературы: «Красным по белому», «По белой прессе», «Из белого стана», «Россия № 2».

(Замечу, что подобные обзоры, но уже из советской печати, регулярно появлялись на полосах эмигрантских газет, в частности милюковских «Последних новостей».)

Эти белогвардейские издания были порой настолько саморазоблачительны, что их публикация тогда давала значительный пропагандистский эффект, показывала контрреволюционную сущность наиболее реакционной части эмиграции. Так, под броским названием «Дама без панталон» без всяких комментариев «Правда» публикует следующие строки З. Гиппиус, считавшей, что пуля для комиссара — «много чести»:

Как ясен знак проклятий
Над этими безумными!
Но только в час расплаты
Не будем слишком шумными.
Не надо к мести зовов
И криков ликования,
Веревку уготовав,
Повесим их в молчании.

Какие уж тут пояснения к таким «откровениям» со стороны автора сборника «Последние стихи» (1918), писавшей, что «невесте солдатский штык проткнул глаза». Напомним, «невестой» у символистов называлась Россия.

Когда в газете «Петроградская правда» от 21 июля 1921 года под рубрикой «Из белой прессы» было перепечатано интервью с биржевиком, бежавшим из России, Владимир Ильич подчеркнул следующие строки:

«Сейчас не видно, кто бы их (большевиков) мог заменить... Жить по-новому мы не умеем, да и не хотим. По-старому жить не придется, ну, отсюда вывод ясный: прощай, Россия, прощай навсегда...» Ленин трижды отчеркнул эту заметку.

В 20-е годы советскими издательствами были опубликованы десятки книг, написанных «по ту сторону баррикады» политическими и общественными деятелями старой России, военными, писателями, учеными. Часто они сопровождались предисловиями или комментариями видных работников партии большевиков, руководителей ВЦИКа и т. д.

Было что комментировать!

* * *

Период становления литературы русского зарубежья — 1920—1925 годы — отмечен рядом характерных особенностей. В первые годы пребывания на чужбине эмигрантские писатели усердно убеждали читателя, и прежде всего самих себя, что именно они представляют Россию. «Русская современная литература (в лице ее главных писателей) из России выплеснулась в Европу,— утверждала З. Гиппиус. — Чашу русской литературы из России выбросили. Она опрокинулась, и все, что было в ней,— брызгами разлилось по Европе» (18). Ее неразлучный спутник жизни Д. Мережковский кидает клич-лозунг: «Мы не в изгнании — Мы в послании!»

«„Родина“ имеет для нас смысл не географический, а духовный, „отечество“ мы понимаем не внешне, а внутренне»,—

стремнлись успокоить себя беженцы. Для многих этот успокоительный самообман обернется страданиями, ибо большннство не представляли себя вне Росснн н родную землю без себя.

Ннкак не могли, не желалн осознать властелнны дум петербургской богемы, бнтые генералы, некогда солндные помещикн, почему они оказались в холодных мансардах и прокуренных кафе Парнжа и Берлина. И цеплялись, как утопающий за соломнну, за спасительную мысль о возвращении на Родину. Ведь смог Ленин, большевики, столько лет прожившне в эмиграции, стать во главе Россин...

Баррнкадное мышление пока заслоняло все. Начало 20-х годов отмечено своего рода взрывом антисоветских страстей белоэмиграции. Октябрьская революцня и гражданская война обогатилн ее ндеологов многообразными мечтами о реванше. И спрос был на их сочинения большой. Только в 1921 году на английский язык было переведено 246 эмигрантских изданий, на немецкий — 168, на французский — 103. Западу же надо знать правду о «невесть как совершившейся» революции в загадочной России из первых рук. «Париж и Западная Европа жили главным образом темн готовыми умозаключениями, которые им подсказывала русская эмиграцня...» (19),— утверждает Деникин.

Четырехтомная эпопея генерала Петра Краснова «От Двуглавого Орла к красному знамени», в которой он брал на бумаге реванш у красных, моментально была переведена на многие языки н в течение многих лет являлась ходкой книгой на зарубежном рынке. Первое проиэведение эмигрантского периода Ивана Шмелева «Солнце мертвых» (1923), написанное под впечатлением гибели единственного сына, расстрелянного красными в Крыму, переводится на двенадцать языков.

А как не поверить книге «гнева, ярости, бешенства» признанной европейской знаменитости академика Ивана Бунина «Окаянные дни»? Она, написанная «на одном дыханин», необычайно резко и сильно, вся пронизана лнчной ненавистью к Советской властн, большевизму и его вождям.

«Но без «Окаянных дней», по моему убежденню, нельзя понять Бунина,— правнльно утверждает известный исследователь литературы русского зарубежья О. Н. Мнхайлов.— Кннга не имеет ничего равного в «больной» и ожесточенной белой публицистике. Потому что и в гневе, аффекте, почти исступлении Бунин остается художником: и в несправедливостн великой — художннком. Это только е г о боль, е г о мука, которую он унес с собой, в изгнанне. И нам следует, мне кажется, проявить, уже с большой временной дистанции, определенную терпимость, не страшиться сегодня давннх словесных проклятнй и хулы, вырвавшихся под влиянием событий, когда в братоубийственной войне рекой лилась русская кровь» (20).

Многих писателей, как и Бунина, в первые годы «хождения по мукам» ненависть к большевикам, замешанная в разреженном воздухе чужбины на неизбежной горечи беженства, настраивала на драчливый лад. На время отброшены некоторые понятия — о честности и щепетильности.

Надо же как-то объяснить свое бегство или изгнание, поражение своей партии, проигрыш России?!

Многне в эмиграцни былн участниками белого движения и гражданской войны. Многие их поддержнвали или сочувствовали им. Не все смнрнлнсь с потерей классовых и сословных привилегий. И почти не встретишь в первых книгах и сборниках русского зарубежья мотива покаяния, угрызений совести за пролитую русскую кровь...

Зато заклннаний типа сирннского: «Советскую Россию надо презирать дрожаньем ноздрей» — хватало. Последний из видных писателей русского зарубежья Борис Зайцев, умершнй в 1972 году, незадолго до смерти пнсал в статье «Изгнание»: «С чем прибыли, то и распро-

странялн эмигрантскне пнсатели: главное в этом было — Россия» (21). Но о какой Россни пнсали тогда змигрантскне мыслнтели?

Не ради какого-то сведення счетов, а нстины ради отметнм: многне пнсатели, тяжело переживая отрыв от всей «российской человечины» (Бунин), тем не менее выплеснули достаточно грязи на свою страну н родной народ. Грязн, которую с видимым удовольствнем размазывают на страницах своих «сочинений» и нынешние «знатоки СССР», промышляющие «извечным антагонизмом России н Запада» для нагнетания как антирусских, так и антисоветских настроений н ссылающиеся при этом на эмигрантские авторитеты. «Авторитетам» же свое обиженное «я» заслонило н прошлое, и настоящее, н будущее Россни. Замелькали сдобренные изрядной долей мистицизма н пережитого классового страха определения вроде «фанатизм», «тупость», «анархия», «случай», «стихия». Одни увидели бездну, другие стали искать «инобытие», «иные миры», нового бога, третьи вооружились лозунгом — «лови момент», четвертые затвердили: «Деваться некуда — достоверна лишь смерть».

Все советское отрицалось начисто. В начале 20-х годов пробным камнем политической благонадежности белоэмигранта была орфография. Употребление новой, будто бы «заборной» орфографии считалось верным признаком большевизма. Именно в таком «внешнем» вопросе ярко сказывалось принципиальное игнорирование всякого новшества, связанного с новым строем в России. Так, Бунин в письме к редакции новоиспеченного эмигрантского пражского журнала «Студенческие годы» писал: «Пришлите журнал для ознакомления. Впрочем, если журнал печатается по новой орфографии, не трудитесь». Обосновавшийся в Белграде профессор Спекторский шел дальше: «...в будущей России за новую орфографию будут вешать».

Вслед за «властелином дум» Запада 20-х годов Освальдом Шпенглером, автором «Заката Европы», выдвинувшим крайне реакционный тезис о якобы извечной склонности русского народа к рабству — «со времени Чингис-Хана и до большевизма», на эту тему «прорвало» многих писателей зарубежья.

Престижно было в эмиграции наряжаться в апокалипсические одежды. «Гибель России» дружно оплакивали как «конец света». «Отказались от нас наши дневные заступники, разбежались рыскучие звери, разлетелись вещие птицы, свернулись самобраные скатерти, поруганы молитвы и заклятия, иссохла Мать-Сыра Земля, иссякли животворные ключи... Настал конец, предел даже божьему прощению»,— убивается в берлинском альманахе «Медный всадник» неизвестный автор.

С заклинаниями подобного рода успешно конкурировали «ледяные», «снежные» мотивы, т. е. сравнения Октября, большевизма, Советской власти с ледяным (или снежным) панцирем, сковавшим «Россию-матушку». Десятки, сотни раз снежно-ледяные мотивы звучат со страниц эмигрантской литературы — от гимна галлиполийцев 1921 года «Занесенная снегом Россия» («Замело тебя снегом, Россия, замело сумасшедшей пургой. И печальные вихри земные панихиды поют над тобой!») до «Замело тебя снегом, Россия» — сборника рассказов, изданного в 1964 году Андреем Седых, многолетним редактором нью-йоркской газеты «Новое русское слово».

С востока дует холодом, чернеет
зыбь реки
Напротив солнца низкого и плещет
на пески...
Мужицким пахнет заревом, костры
в дыму трещат.
И рдеет красным заревом на холоде
закат,—

убеждает детей зарубежья в альманахе для юношества «Русская земля» Иван Бунин (22).

Мать Мария, твердя как клятву:

«В каждом деле будь мне жезл и вождь, Солнце незакатное с Востока...» — тем не менее в своих воспоминаниях об Александре Блоке пишет о том, что последнее письмо поэта рождает у нее мысли: «Россия умирает,— как же смеем мы не гибнуть, не корчиться в судорогах вместе с ней. Скоро, скоро пробьет вещий час, и Россия, как огромный, оснащенный корабль, отчалит от земли, в ледовитую мертвую вечность» (23).

Начавшие прорываться на Запад известия о репрессиях в Советском Союзе также навевали снежно-ледяные темы:

Они живут — нет, умирают — там,
Где льды и льды, и мгла плывет
над льдами,
И смерть из мглы слетает к их
сердцам
И кружит, кружит, кружит над
сердцами,—

пишет о далекой России в «Стихах о Соловках» молодой поэт Владимир Смоленский.

Главенствующая тема эмигрантской литературы первой половины 20-х годов — апофеоз грядущей России. «Грядущая Россия» — именно так назывался первый «толстый» литературный журнал русского зарубежья. Увидело в Париже свет всего два номера журнала в 1920 году. Здесь были напечатаны первые главы «Хождения по мукам» Алексея Толстого, первые стихи Владимира Набокова, еще не пользовавшегося псевдонимом Сирин.

До 1925 года в зарубежной русской литературе воцарился, по ироническому замечанию Федора Степуна, «культ русской березки». Ничего удивительного в этом нет. Тоска по большой и малой родине, местам, с которыми связаны самые сильные, будоражащие сердце и ум воспоминания, вела многих изгнанников к культу прошлого. «Нет дня,— вспоминал К. Бальмонт,— когда бы я не тосковал о России, нет часа, когда бы я не порывался вернуться. И когда мне говорят мои близкие и мои друзья, что той России, которую я люблю, которую я целую жизнь любил, все равно сейчас нет, мне эти слова не кажутся убедительными. Россия всегда есть Россия! Там, в родных местах, так же как в моем детстве и в юности, цветут купавы на болотных затонах и шуршат камыши, сделавшие меня своим шелестом, своими вещими шепотами тем поэтом, которым я стал, которым я был, которым я буду, которым я умру. Там, в родных моих лесах, слышно ауканье, и я люблю его больше, чем блестящую музыку мировых гениев, поют соловьи, над полями возносятся, рассыпая ожерелья солнечных песен, жаворонки. Там везде говорят по-русски, это язык моего отца и моей матери, это язык моей няни, моего детства, моей первой любви, почти всех моих любовей, почти всех мгновений моей жизни, которые вошли в мое прошлое как неотъемлемое свойство, как основа моей личности» (24).

Прокуроров было слишком много,
Кто грехов Твоих не осуждал?
А теперь, когда темна дорога
И гудит-ревет девятый вал,
О Тебе, волнуясь, вспоминаем,—
Это все, что здесь мы сберегли...
И встает былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...—

печалится Саша Черный, в зарубежье почти целиком переключившийся на детскую тематику: его главной заботой стало — уберечь детей эмиграции от потери языка, от забвения Родины.

Кумиром эмигрантских поэтов — да и не только поэтов — становится Николай Гумилев. Его смерть создала ореол почитания не только вокруг возглавлявшегося им акмеизма, как стиля, представляющего «прекрасное прошлое нашей культуры», но и как стиля, резко отличающегося от процветающего «там» всяческого «безобразия и революционной свистопляски».

«Хаосу» — левым течениям в поэзии, переходившим в «той» России от заумия до издевательства над русским языком, противопоставлялся «Космос» — неоклассицизм, преемственность с золотым веком русской поэзии.

... Заумно, может быть, поет
Лишь ангел, Богу предстоящий,
Да Бога не узревший скот
Мычит заумно и ревет.
А я — не ангел осияный,
Не лютый змий, не глупый бык,
Люблю из рода в род мне данный
Мой человеческий язык,—

пишет Владислав Ходасевич. Борьба с «Хаосом» в 20-е годы становится нормой для большинства зарубежных поэтов.

«Культ русской березки» привел многих писателей к истокам русской культуры, народной литературы, сказкам, былинам, песням. В этом коренится залог постоянного внимания читателей русского зарубежья, особенно старшего поколения, к таким признанным авторитетам «бытописания русского благочестия», как Борис Зайцев, Иван Бунин, Иван Шмелев, Алексей Ремизов. Любой певец или певица с разной мерой таланта, исполняющие народные песни, становились кумиром дня, символом искомой России, России, которая, разумеется, не погибнет, если...

Если... если... если...

Эти проклятые «если»! Эти проклятые вопросы! Тысячи вопросов, на которые нет ответов у русского рассеяния — ни у вождей, ни у «низов». Монархисты борются с кадетами. Кадеты — с монархистами и эсерами. Эсеры левые — с эсерами правыми. «Воля России» с «Современными записками», «Последние новости» с «Возрожденнем». Нет единства на эмигрантских островах Праги и Парижа, Белграда и Харбина.

Живем, бредем и медленно седеем...
Плетемся переулками Пасси.
И скоро совершенно обалдеем
От способов «спасения» Руси! —

горестно восклицает Дон-Аминадо. Конечно, можно и дальше заниматься поисками «виновников катастрофы» — одна из важнейших задач (нашедшая решение на тысячах и тысячах страниц эмигрантской литературы 20-х годов), поглощавшая, сжигавшая сердца и умы русских эмигрантов... Но все меньше надежд остается — даже у «непримиримых» — на иностранный кулак для России, так «невежливо» с ними обошедшейся.

Незнание страны, давшей приют беженцу, ее культуры и традиций, часто языка, ностальгия по покинутой родине, смутные перспективы на будущее — огромный комплекс неполноценности владеет эмигрантом. Неудивителен массовый поворот многих из них, даже неверующих до разрыва со своей страной, к религии, желание примкнуть к лону «своей» церкви, напоминающей им о родине.

«Как всякий раненый зверь ползет умирать в свою нору, так и человек в тяжелые минуты жизни инстинктивно стремится в свою духовную берлогу. Темная же берлога духа — кровь, т. е. род, происхождение, заветы предков, память, детство. Для русской эмиграции в 20-е годы характерно массовое устремление в «берлогу» — в религию. И еще в недавнем прошлом материалист, прежде писавший, что после смерти его вырастет только лопух, теперь умиленно запел „Христос воскресе“»,— точно подметил Ф. Степун в «Федоре Переслегине», своем «философском романе в письмах».

Философы Н. Бердяев, С. Булгаков, С. Франк, Л. Шестов, Н. Лосский, Б. Вышеславцев, талантливые публицисты, стали духовными пастырями русского зарубежья. Они убеждали читателей и слушателей в том, что только через христианство, православную церковь возможно возрождение России. Им вторили многие писатели и поэты, напрямую или исподволь связывавшие в своих книгах и статьях будущее страны с религией. Русскую интеллигенцию стали убеждать «при тусклом свете догорающих огней революции» разорвать отношения с «безрелигиозным социализмом». Пора, мол, вместе с народом начать строить заново «град Китеж» и возрождать «святую Русь».

Советчиков, как с помощью молитвы и православного креста возродить «Россию-матушку», а русскому народу искупить свой «революционный» грех, оказалось немало.

Евразийцы считали, что «духовно-идейное самовосстановление интеллигенции невозможно без дисциплинирующего плотного прилегания к церкви».

Профессор Ильин стал уверять, что во время потрясений, постигших Россию, «обновляется религиозное и государственное служение, отверзаются наши духовные зеницы, закаляется наша любовь и воля. И первое, что возродится в нас чрез это,— будет религиозная и государственная мудрость восточного православия, и особенно русского православия».

Некоторым казалось, что «если не прояснится церковное сознание и не будет понято, каково значение православия в русской жизни, то ничем не может быть приостановлено буйство русского духа, ничем не может быть исцелена русская душа».

Все эти советы самым причудливым образом преломлялись на страницах зарубежной православной художественной литературы, про патриарха которой А. Амфитеатров, автор первой небольшой работы в русской эмиграции «Литература в изгнании», влюбленно писал: «Сияние русских святых праздников под гул московских колоколов — вот где истинный Шмелев» (25). Многочисленных почитателей этой литературы в зарубежье, горящих желанием поставить Россию под православные знамена, не волновало, что они предлагают родной стране вернуться на уже пройденный ею путь.

Более того, православный психоз русской эмиграции каким-то удивительным образом уживался, как это ни странно звучит, со страстным желанием наказать русский народ, «допустивший Антихриста и комиссаров-жидомасонов». Молитвенное состояние беженской души сочеталось с надеждой расправиться с виновниками гибели «святой Руси». Странная выходила эмигрантская диалектика: с одной стороны — Христос и молитва, с другой — виселицы и массовые порки...

Рамки вступительной статьи не позволяют более подробно проанализировать те основные идеи, которые были заложены в фундамент литературы русского зарубежья в первой половине 20-х годов. Думается, что и вышеизложенного достаточно, чтобы представить тот круг вопросов, на которые хотела дать ответ русская эмиграция, создавая под чужим небом «заграничных отечеств» свою литературу.

Большинство произведений русской эмиграции пронизаны ощущением горечи утраты родной земли.

У птицы есть гнездо, у зверя
есть нора...
Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать «прости» родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть
гнездо...
Как бьется сердце, горестно
и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой,
наемный дом
С своей уж ветхою котомкой.

На страницах газет, журналов, сборников русского зарубежья разбросано множество стихотворений, созвучных бунинскому «У птицы есть гнездо...». Ореол бездомности никому не мог принести удовлетворения. Об утерянной России с грустью и нежностью писали Игорь Северянин и Владислав Ходасевич, Георгий Иванов и Саша Черный. Пожалуй, в поэтических строках мы в наиболее обнаженной форме сталкиваемся с мыслями и чувствами, владевшими эмигрантами.

Путь наш был окровавлен, тревожен
и долог,
Но замкнулся проклятый, пылающий круг,
И теперь — Твоих армий последний
осколок —
Мы сложили оружье и стали за плуг.

Тот же труд над родными полями Твоими
Стал бы легкою ношей, веселой игрой...
Как молитву шепнешь Твое дивное Имя
Да на близкое море посмотришь порой...

И невольно вздохнешь и промолвишь:
затем ли

Напоили мы кровью родной чернозем,
Чтобы потом своим орошать эту землю,
Чтобы гнуть свою спину под чуждым ярмом...—

проклинал судьбу умерший в 1924 году молодой поэт Алексей Гессен. Подобные мысли обуревали многих. «Отчизну мою,— писал Федор Шаляпин друзьям,— обожаю! И обожание это ношу и буду носить в сердце моем до гробовых досок».

Надрывно саднит сердце Бальмонта:

Я меру яблок взял от яблонь всех садов.
Я видел Божий Куст. Я знаю ковы Змия.
Но только за одну я все принять готов,—
Сестра моя и мать! Жена моя! Россия!

Да, чувство Родины — одно из самых сильных, действенных и стойких понятий в духовной жизни человека, одно из сложнейших проявлений человеческого духа...

Несколько слов о литературных центрах зарубежья первых послереволюционных лет. Главным стал Берлин (политический центр эмиграции в те годы находился в Париже, научный — в Праге). По одним данным, берлинская русская колония насчитывала до трехсот тысяч человек, по другим — до двухсот.

Как мы уже отмечали, русских издательств в Берлине тогда было немало. Роман Гуль даже утверждает, что в начале 20-х годов в Германии сложилась парадоксальная ситуация, когда русских книг выходило больше, чем немецких (26). Здесь выходило несколько русских газет: «Руль», «Голос России», «Дни», «Время», «Грядущая Россия»; издававшаяся на средства советского представительства — газета «Новый мир», сменовеховская — «Накануне». Литературные журналы, от просоветской «Беседы», редактируемой Максимом Горьким, до «непримиримой» «Русской мысли» во главе с Петром Струве, представляли все оттенки эмигрантских политических течений: сменовеховцев, евразийцев, монархистов, «демократических» групп — от эсеров до кадетов. В Берлине также вышло немало литературных альманахов: «Медный всадник», «Кубок», «Грани», «Веретено», «Струги».

По образцу петроградского был создан берлинский Дом искусств, где свободно встречались (потом это уже нигде не повторялось!) эмигрантские и советские писатели. Руководители петроградского Дома литераторов писали своим берлинским коллегам: «Между нами и нашими заграничными товарищами воздвиглась почти неприступная стена. Немедленное устранение ее не зависит от нашей воли. Но мы можем и должны стремиться, чтобы полное взаимное непонимание и отчуждение не стали следствием этого» (27).

Бурная литературная жизнь русских в Берлине привлекла в последние годы внимание исследователей. Так, в 1983 году старейшим эмигрантским парижским издательством «ИМКА-Пресс» в серии «Литературное наследство русской эмиграции» издана книга «Русский Берлин. 1921—1923». Много интересных материалов опубликовано в книге Фрица Миерау «Русские в Берлине. 1918—1933» (на немецком языке), выпущенной в 1987 году в Западном Берлине.

Признанным и бесспорным литературным лидером русского зарубежья являлся журнал «Современные записки». Без этого издания невозможно представить ни русскую эмиграцию межвоенных лет, ни ее культуру и литературу.

Правые эсеры М. В. Вишняк, А. И. Гуковский, В. В. Руднев, Н. Д. Авксентьев и И. И. Фондаминский стремились создать «орган внепартийный» с «программой демократического обновления». «„Современные записки" открывают поэтому широко свои страницы — устраняя вопрос о принадлежности авторов к той или иной политической группировке — для всего, что в области ли художественного творчества, научного исследования или искания общественного идеала представляет объективную ценность с точки зрения русской культуры»,— подчеркивалось во вступительной редакционной статье вышедшего в ноябре 1920 года в Париже первого номера журнала.

Пять видных эсеров свое слово сдержали. Журнал действительно стал «внепартийным», в нем участвовали лучшие умы всех эмигрантских течений и молодое поколение литературной эмиграции. «Когда «Современные записки» праздновали выход 50-й книги журнала (в 1932 году.— *А. А.*), на юбилей сочувственно отозвался такой совершенно уж далекий от «эсэрства» (когда-то назвавший «народничество» революционным «сифилисом») П. Б. Струве. Он правильно предлагал заменить в подзаголовке журнала «общественно-политический» на „журнал русской культуры и литературы“» (28).

Значение «Современных записок» для литературы русского зарубежья трудно переоценить. «...Семьдесят книжек эмигрантского толстого журнала «Современные записки» составляют основное литературное наследие тех представителей русской культуры, которые после Октября покинули Родину. В этих книжках немало выдающихся литературных произведений (ведь печатались в них Бунин, Куприн, Ходасевич). Эмигрантский читатель находил в них вместе с упорным непониманием новой России щемящую грусть о потерянном родном доме...»,— писал в опубликованных в 1957 году в «Новом мире» воспоминаниях Лев Любимов. Заметим, что любимовские «На чужбине» вместе с известными мемуарами генерала Алексея Игнатьева «Пятьдесят лет в строю» (1952) и романом о русском Китае Наталии Ильиной «Возвращение» (1958) открыли советским читателям архипелаг русского зарубежья. Об этом пойдет речь ниже...

Семьдесят томов «Современных записок», объемом по 400 и даже 500 страниц, увидели свет за двадцать лет — с 1920 по 1940 год. Содержание их далеко выходит за «упорное непонимание новой России» и «щемящую грусть о потерянном родном доме». Читатель антологии в этом убедится, познакомившись с ее первыми четырьмя томами.

Другим эмигрантским изданиям трудно было конкурировать с «Современными записками». Отметим, что наряду с упоминавшимися берлинскими журналами и альманахами большой интерес в первой половине 20-х годов вызывал пражский журнал «Воля России», издававшийся с 1922 года левыми эсерами В. И. Лебедевым, М. Л. Слонимом, В. В. Сухомлиным и Е. А. Сталинским. Выходил он до 1932 года, придерживался левых позиций и осуждал пренебрежительное отношение эмиграции к Советской России и к молодой советской русской литературе, в частности. Печатались в «Воле России» А. Ремизов, К. Бальмонт, М. Цветаева, В. Ходасевич. Первым в зарубежье журнал начал охотно предоставлять свои страницы молодым писателям и поэтам: В. Андрееву, Б. (Владимиру) Сосинскому, Г. Кузнецовой и др.

Немало ценного литературного материала опубликовано также эмигрантскими газетами. Двумя главными ежедневными газетами русского зарубежья стали парижские «Последние новости», редактируемые П. Н. Милюковым, и «Возрождение» во главе с П. Б. Струве. Свою лепту в развитие эмигрантской литературы внесли берлинские газеты «Дни» и «Руль», рижская «Сегодня», софийская «Русь», варшавская «За свободу», белградская «Новое время», американские газеты «Россия» и «Новое русское слово». Ведущие писатели, поэты, критики зарубежья постоянно выступали на страницах этих газет со своими новыми произведениями. С особым нетерпением любители литературы ждали четверговых номеров «Последних новостей», когда газета публиковала богатую литературную страницу, представляя практически все лучшие литературные имена эмиграции.

Весть о смерти Ленина дала повод многим эмигрантам вновь замечтать о возврате в Россию. М. Горький отмечал: «Не люблю я, презираю этих политиканствующих эмигрантов, но — все-таки жутко становится, когда видишь, как русские люди одичали, озверели, поглупели, будучи оторванными от своей земли» (29).

Но не все, разумеется, в эмиграции

«одичали» и «озверели». Все настойчивее давали знать о себе настроения другого рода, появлялись более трезвые оценки и выводы. «Партии, говорившие от имени народа, потерпели поражение в октябре 1917 года, тогда как сам народ пошел за Лениным» (30),— признается при известии о кончине Ленина один из признанных лидеров белоэмиграции П. Милюков.

Сменовеховская газета «Накануне» откликнулась на смерть Владимира Ильича выпуском специального номера под набранным крупным шрифтом заголовком «Ленин умер — строительство Новой России продолжается по его заветам».

Да, жизнь настойчиво требовала от зарубежья политического реализма. Она складывалась совсем не так, как представлялась беженцам в первые дни и месяцы их пребывания на чужбине. Постепенно приходило понимание того, что «русский народ не думает о монархии, во всяком случае, о монархии старого типа, с помещиками, губернаторами, и жандармами, и урядниками...» (31). Трудно жить в ожидании безнадежно опаздывающего поезда.

1920—1925 годы — время становления литературы русского зарубежья — отмечены еще не растаявшими надеждами на возвращение в Россию, остывающим желанием любой ценой отомстить «обидчикам» себя и России. Больнее и больнее звучит вопрос: «Что же на самом деле произошло?» Настоящих художников волнует — как, какими словами своего сердца, ума и души изложить пережитое.

* * *

Стареющая «царствующая чета» захиревшего русского декаданса — Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский в 1927 году создали в своей парижской квартире (кстати, купленной задолго до революции) салон, которому надлежало стать своеобразным «инкубатором идей» русского зарубежья. Замысел устроителей был обширен. Цвет парижской русской эмиграции, обсуждая в «Зеленой лампе» не только литературные, но и религиозно-философские и политические проблемы, должен был выработать свод идей для распространения в самых широких кругах эмиграции.

Попасть на «воскресенья» — заседания кружка — было почетно. Мережковские тщательно выбирали участников «литературно-политических журфиксов». Для распространения идей «Зеленой лампы» срочно создается журнал «Новый корабль», требовавший для зарубежья «ясной цели» — «наш корабль не боится открытого моря. Но мы поняли, что нельзя достичь родных берегов без ясной цели» (32).

Заседания проходили, по свидетельствам их участников Ирины Одоевцевой и Юрия Терапиано, оживленно, часто переходили в жаркие споры. Доклады В. Ходасевича и Г. Адамовича, З. Гиппиус и Г. Иванова, И. Бунакова-Фондаминского и М. Цетлина обсуждались как признанными метрами, так и эмигрантской литературной молодежью.

Итоги третьей «беседы» выплеснулись далеко за рамки «воскресенья». «На заседании молодой поэт Довид Кнут, горячась, заявил, что отныне столицей русской литературы нужно считать не Москву, а Париж» (33). Заявление Довида Кнута вызвало несогласие участников «беседы», а попав на страницы эмигрантских газет, даже негодование многих, прежде всего стариков. Оживленная полемика по этому поводу большинством голосов, несмотря на неприятие новой России, оставила пальму первенства за Москвой.

Париж же стал во второй половине 20-х годов и в 30-е годы не центром всей русской литературы, а лишь столицей ее зарубежной ветви, оторвавшейся от живительных токов родной земли. Нарастающий экономический кризис привел к тому, что «Берлин под конец 20-х годов перестал быть столицей Русского зарубежья. Из Берлина начался исход русской интеллигенции. Философы, писатели, политики, ученые, художники, музыканты, артисты уезжали в Париж, в Прагу, в Лондон,

в Америку. Кому что удавалось» (34). Из многочисленных издательств в Германии остается практически одно крупное издательство — берлинский «Петрополис», а после закрытия в 1932 году «Воли России» единственным толстым журналом русского зарубежья являются «Современные записки».

Автор к автору летит,
Автор автору кричит:
Как бы нам с тобой дозваться,
Где бы нам с тобой издаться?
Отвечает им Зелюк —
Всем, писаки, вам каюк!
Отвечает им Гукасов:
Не терплю вас, лоботрясов!
Отвечает ИМКА: — мы
Издаем одни псалмы! —

пишет в шуточной пародии Бунин. «Писать негде!» — вторит ему Куприн. Многим пришлось в эти годы издаваться за свой счет, в кредит. «К сожалению, известный слой эмиграции, очень отзывчивый на общую беженскую нужду, мало заботится и думает о судьбе литературы... Тип кое-что понимающего, культурного мецената бесследно (и бесстыдно) исчез» (35),— отмечала в 1939 году З. Гиппиус.

Несмотря на трудности, этот период — время наибольших удач литературы русского зарубежья. Много и плодотворно работают — Иван Бунин, Борис Зайцев, Иван Шмелев, Дмитрий Мережковский, Алексей Ремизов, Марк Алданов, Надежда Тэффи, Михаил Осоргин, Владислав Ходасевич, Георгий Адамович. Трудный опыт бесподданных XX века, сложное врастание в другую культуру, различные области которой медленно заполнялись людьми с фамилиями на -off, -eff, -sky, требовали от интеллектуальных сил русской эмиграции все меньше и меньше забот о белизне изгнаннических риз, а заставляли сделать глубокий философский и художественный анализ дореволюционной русской жизни, потрясений революции и гражданской войны, проблем приютившего их западного мира. Далеко за границы русского зарубежья расходятся книги и идеи Бердяева и Шестова — первооткрывателей философии экзистенциализма, Питирима Сорокина и Георгия Федотова, Георгия Вернадского и Николая Трубецкого.

Писателей, сформировавшихся как художники в дооктябрьской России, в эти годы энергично начинают «поджимать» «дети эмиграции». Зачастую им не хватает мастерства, но упорство и желание «быть услышанными» компенсирует его нехватку сполна. Лидером молодого, «незамеченного поколения» (по прижившемуся в зарубежье определению В. Варшавского после выхода в 1956 году его интересной одноименной книги) литературы русского зарубежья становится Набоков-Сирин. Не меньший интерес у читателей вызывают рассказы, повести и романы Газданова, Кузнецовой, Зурова, Берберовой, Одоевцевой, Яновского, Фельзена, Б. Темирязева (псевдоним известного художника Юрия Анненкова).

Богата и поэзия русского зарубежья. Роман Гуль был убежден, что «если когда-нибудь настанет время (а оно несомненно когда-нибудь наступит) соединения двух русских литератур, то русская зарубежная поэзия может оказаться наиболее сильной частью литературы русских эмигрантов» (36). Отметим, что эмигрантские критики всегда, начиная с 20-х годов, признавали, что многие значительные русские поэты остались в Советской России: Блок, Брюсов, Ахматова, Есенин, Гумилев, Сологуб, Пастернак, Кузмин, Маяковский, Мандельштам. И, разумеется, русская поэзия XX века немыслима без зарубежного творчества Бунина, Цветаевой, Гиппиус, Ходасевича, Игоря Северянина, Бальмонта, Вяч. Иванова. Своеобразными связными между двумя поэтическими поколениями эмигрантской литературы явились Оцуп и Одоевцева, Георгий Иванов и Кузьмина-Караваева. Из молодых поэтов эмиграции сами поэты — и старшие, и «дети» — выделяют одно имя — Борис Поплавский. Вслед за ним называют имена Ирины Кнорринг, Арсения Несмелова, Владимира

Смоленского, Юрия Терапиано, Георгия Раевского, Виктора Мамченко, Владимира Корвин-Пиотровского, Анны Присмановой, Анатолия Штейгера... Много имен...

Своеобразной вершиной, пиком признания литературы русского зарубежья стало присуждение в ноябре 1933 года Нобелевской премии Иваиу Бунину. Он стал первым русским писателем, удостоившимся этой высокой награды.

Профессор Каролииского университета Вильгельм Нордсен сказал в своем вступительном слове во время торжественной церемонии чествования: «Вы досконально исследовали, господин Бунии, душу ушедшей России, и, делая это, вы весьма продолжили славные традиции великой русской литературы. Вы дали иам ценнейшую картину прежнего русского общества, и мы хорошо понимаем то чувство, с каким вы должны смотреть иа разрушение общества, с которым вы были так сокровенно связаны. Да будет иаше сочувствие хоть в иекой мере вашим утешеиием в горести изгнания» (37). Выступая иа традиционном банкете в Стокгольме, Бунин говорил: «Есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаиы цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима — оиа для иего догмат, аксиома».

В иовой России тогда по-своему расценивали присуждеиие Нобелевской премии «певцу ушедшей России», «белогвардейцу» из «литературного болота эмиграции». «В противовес каидидатуре Горького, которую никто никогда и не выдвигал, да и не мог в буржуазных условиях выдвинуть, белогвардейский Олимп выдвинул и всячески отстаивал кандидатуру матерого волка контрреволюции Бунина, чье творчество, особенно последнего времени, насыщенное мотивами смерти, распада, обреченности в обстановке катастрофического мирового кризиса, пришлось, очевидно, ко двору шведских академических старцев» (38).

Русское же зарубежье ликовало, узнав о столь высоком признании заслуг Ивана Буниiia. На некоторое время это заметно повсеместио повысило интерес к зарубежным россиянам. Многие беженцы расцеиивали этот факт как личную иаграду; этому есть немало свидетельств в воспоминаниях. Еще бы — «последние да будут первыми».

Правда, ие все писатели радовались за своего коллегу. «Мережковский и Гиппиус — в ярости. Может быть, едииственное за жизнь, простое чувство у этой сложной пары... Оба страшны. Он — весь перекривлен, как старый древесный корень... Оиа — раскрашенная кость, пет, даже страшнее кости, смесь остова и восковой куклы. Их сейчас все боятся, ибо они, особеино оиа, злы. Злы — как духи» (39),— писала подруге Марина Цветаева, рассказывая о переживаниях Мережковского, иапряжеиио ждавшего Нобелевскую премию для себя.

Бунии, как известно, также ие испытывал особой расположеиности к Мережковскому — «это такая холодная холера, что посади его на радиатор, и то не согреется». Но неприязнь свою оба старались иосить в себе; иа людях оии встречались мирно. Кстати, это характерная черта писательских взаимоотиошений в зарубежье. Беженская неустроенность, иесмотря иа нетерпимость к любому инакомыслию, переходящую на страницах эмигрантских газет и журналов в «политическую поножовщину», поневоле заставляла держаться вместе.

Единого писательского объедииеиия или союза в русском зарубежье ие было. Лишь однажды, в 1928 году, состоялся «всеэмигрантский» писательский съезд в Белграде, созванный при помощи югославского правительства. Главным итогом съезда следует, очевидно, считать последовавшее после него издание Сербской академией наук двух серий книг: «Русская библиотека» и «Детская библиотека». Известные писатели разъехались со съезда по «заграничным отечествам» с приподнятым настроением, так как многие были награждены королем Александром орденами святого Саввы. В главных очагах

литературы эмиграции были созданы союзы русских писателей и журналистов. «Наиболее активными были Парижский, Белградский, Берлинский, Пражский, Варшавский и Харбинский» (40). Парижский союз возглавлял П. Н. Милюков, берлинский — И. В. Гессен.

Бунинский триумф ярко высветил плачевное материальное состояние эмигрантской литературы. Благотворительные возможности эмигрантских организаций таяли; пособий и ссуд «от Зеелера» (В. Ф. Зеелер — бессменный секретарь Парижского Союза писателей и журналистов) не хватало. Владислав Ходасевич не очень-то сгущал краски, когда в статье «Литература в изгнании» 4 мая 1933 года писал за полгода до «приятной вести из Стокгольма»: «Судьба русских писателей на чужбине — гибнуть. Гибель подстерегает их и на той чужбине, где они мечтали укрыться от гибели» (41). Из всех групп творческой интеллигенции положение писателей и поэтов было хуже всех. В гораздо более выгодной позиции оказались музыканты, певцы, художники, артисты балета: Шаляпин, Лифарь, Рахманинов, Яковлев, Ларионов, Павлова.

Равноценные им художники слова из-за отсутствия широкого читателя были обречены на минимальные доходы. «Зарубежный русский писатель оказался в таком одиночестве, какого себе не представляют его западно-европейские собратья... Не поддержанный ближайшим окружением, обреченный на бедность и неизвестность, эмигрантский писатель для европейской публики, для своих англо-французских «конфреров», даже и не писатель; он — дилетантствующий, печатающийся в каких-то бестиражных журнальчиках рабочий, шофер, безработный. Ни до кого, ни в Европе, ни в России, не доходит его голос, его искусство и темы и то неизбежное соревнование идей и самолюбий, которое как-то продолжается в наглухо замкнутой эмигрантской литературной среде» (42). Существовать благодаря писательскому труду могли единицы.

Тем не менее эмиграция родила множество поэтов, романистов, беллетристов. Многих сжигала жажда выговориться и рассказать про «свою Россию». В изданной в 1970 году Людмилой Фостер в США библиографии русской эмигрантской литературы за 1918—1968 годы насчитывается 1080 романов и более тысячи сборников стихов (43). А сколько было написано воспоминаний! Некоторые из них и по сей день представляют значительную историко-культурную ценность. Но многие попадают под оценку историка французской эмиграции Бальдансперже: «Бесчисленные тома мемуаров эмигрантов поражают детской наивностью, ограниченностью, плоскостью суждений и совершенным непониманием ни смысла современных событий, ни характера новых условий, в которых они очутились».

Чего только не породило сознание никчемности беженского прозябания, застывшее время на эмигрантском бездорожье. Тягостно идут года вдали от родины.

Девятый год стоит Россия
Моей заморскою страной.
(Н. Гронский)

Некоторые поэты зарубежья стали творить под девизом «Я могу из падали создавать поэмы». И рождались на свет строки — «В этом мире нужно растлевать невинных». Мутный поток пошлости и скверны не миновал и русской зарубежной литературы.

Так, некий Анненков, некогда боровшийся в салонах Петербурга за символизм, исследователь романских литератур эпохи Ренессанса, написал в эмиграции роман «Язычница». Героиня романа, послушница монастыря, занимается одновременно молитвами и изощренными любовными забавами с лицами всякого возраста и положения. Сцены забав написаны автором в «натуральную величину». В конце концов героиня утомляется и уходит в духовный мир.

Не отставали от Анничкова ни Яновский, изобразивший подробности уборной и спальни в романе «Мир», ни Бакунина,

автор нашумевшего романа «Тело».

Только б льнули девчонки,
К черту пославшие стыд,
Только бы водились деньжонки,
Да не слабел аппетит! —

нарочито бросает вызов окружающему беженца «бездушному» миру А. Тиняков. Размышляя о комплексе эмигрантской неполноценности, В. Варшавский отмечал: «Люди на чужбине так же чахнут, как пчелы вдали от родного улья. Не участвуя по-настоящему в жизни общества, эмигрант лишен всех тех сил жить и действовать и того чувства укрепленности в чем-то прочном, которые даются таким участием. Как определить, что овладевает тогда душой? Скука, тоска, невыносимое чувство остановки жизни, томительные, сводящие с ума головокружения пустоты» (44).

Хорошо, что нет Царя.
Хорошо, что нет России.
Хорошо, что Бога нет.
Только желтая заря,
Только звезды ледяные;
Только миллионы лет.
Хорошо — что никого.
Хорошо — что ничего.
Так черно и так мертво,
Что мертвее быть не может
И чернее не бывать,
Что никто нам не поможет
И не надо помогать,—

пишет Георгий Иванов об изгнанническом «небытии» в книге «Розы». После ее выхода в свет стали говорить о том, что автор — «князь» поэзии русского зарубежья, ее лучший поэт, один из немногих истинных наследников традиций великой русской литературы. Мутная окололитературная пена не вымыла чистого золота вдохновенного мастерства, которое — надо признать! — не погибло на чужой почве, благодаря глубоким традициям великой отечественной культуры.

Тема «русская классическая литература и русское зарубежье» — отдельная проблема, еще ждущая своих исследователей. В своем желании понять и осознать катаклизмы, происшедшие с родной страной, вполне естественно припадание мыслителей и писателей зарубежья к наиболее мощным родникам отечественной культуры и русской словесности.

Двух авторов неизменно выводило на первое место неоднократное анкетирование читателей зарубежья — Толстого и Достоевского. Именно этим гигантам мысли посвящено и больше всего книг и статей наиболее проницательных умов эмиграции. Без сопряжения с Пушкиным и Гоголем, Салтыковым-Щедриным и Лермонтовым, Чеховым и Блоком невозможно представить литературу русского зарубежья. Это отмечали в 20-е годы и советские литературоведы. И. Владиславцев в книге «Литература великого десятилетия (1917—1927)» писал: «Любопытно... отметить, что исключительно обширны были за границей публикации о таких писателях, как Толстой и Достоевский, не забыты также такие имена, как Жуковский и некоторые другие писатели первой половины XIX века,— иногда такие, которые в нашей литературе канули уже в Лету» (45).

Ведущие издания русского зарубежья строго относились к историческому и культурному наследию России. Например, когда Набоков в качестве раздела романа «Дар» представил редакции «Современных записок» разнузданно написанную биографию Чернышевского, она была изъята из текста первой публикации возмущенными редакторами журнала.

Я родился в Москве. Я дыма
Над польской кровлей не видал,
И ладанки с земли родимой
Мне мой отец не завещал.

России — пасынок, а Польше —
Не знаю сам, кто Польше я.
Но: восемь томиков, не больше,—
И в них вся родина моя ...

А я с собой свою Россию
В дорожном уношу мешке,—

писал Ходасевич в первый год эмиграции. Сын поляка и крещеной еврейки, католик по воспитанию, он обрел чувство родины, России через любовь к русской литературе. Восемь пушкинских томов составили главную ценность вывезенного из Советской России небогатого имущества.

Пушкин — культурное знамя русского зарубежья межвоенных лет!

При всех неизбежных для любой эмиграции раздорах русское зарубежье смогло найти свою, уникальную форму объединения всех культурных сил. С 1925 года стал праздноваться День русской культуры — день рождения А. С. Пушкина. Праздник охватывал все места рассеяния русской эмиграции. Для координации работы местных комитетов в апреле 1927 года создается Центральный комитет Дней русской культуры во главе с В. А. Маклаковым.

Самым значительным Днем русской культуры стал пушкинский юбилей 1937 года; пожалуй, юбилей явился наиболее крупной акцией подобного рода во всей истории русского зарубежья, охватившей всю «зарубежную Россию». Собрание сочинений А. С. Пушкина, изданное под редакцией профессора Н. К. Кульмана, продавалось по доступной цене и разошлось по многим странам. Всеобщее внимание привлекла организованная по инициативе Сергея Лифаря выставка «Пушкин и его время». В парижском зале Фуайе Плейель были выставлены автографы поэта, вещи, принадлежавшие ему, портреты, мебель.

... Патриотически настроенные зарубежные русские писатели, ученые, деятели культуры, излечиваясь от антисоветского угара первых лет эмиграции, стали говорить о том, что «Россия — нам мать, а о матери плохо не говорят».

Лучшее, что создано в литературе зарубежья, посвящено России: ее культуре, природе, языку и оторвавшемуся от нее русскому человеку. «В мрачные дни моей петербургской жизни под большевиками мне часто снились сны о чужих краях, куда тянулась моя душа. Я тосковал о свободной и независимой жизни,— вспоминал Федор Шаляпин.— Я получил ее. Но часто, часто мои мысли несутся назад, в прошлое, к моей милой Родине. Не жалею я ни денег, конфискованных у меня в национализированных банках, ни о домах в столицах, ни о земле в деревне. Не тоскую я особенно о блестящих наших столицах, ни даже о дорогих моему сердцу русских театрах. Если, как русский гражданин, вместе со всеми печалюсь о временной разрухе нашей великой страны, то, как человек, в области личной и интимной, я грущу по временам о русском пейзаже, о русской весне, о русском снеге, о русском озере, о лесе русском. Грущу я иногда о простом русском мужике, том самом, о котором наши утонченные люди говорят столько плохого, что он и жаден, и груб, и невоспитан, да еще и вор» (46). «Плачет просветленною душой», целуя русскую пшеницу, привезенную из Советской России, герой рассказа Бориса Зайцева «Легкое бремя», бывший белогвардейский полковник, ставший на чужбине грузчиком. Навязчивым становится в эти годы мотив любви-ненависти к России, ярко выраженной Юрием Терапиано:

Люблю тебя, проклинаю,
Ищу, теряю в тоске
И снова тебя заклинаю
На страшном твоем языке.

История всей российской эмиграции свидетельствует о непомерной тяжести разрыва с родной землей: русский человек на чужбине за редким исключением не безразличен к исторической судьбе народа, из недр которого он вышел. Другое дело, какие чувства вызывало и вызывает у эмигранта утраченное Отечество:

О тебе кричать или молчать —
Верное отсутствует решенье,
И мое неправедное пение
Будет наказанье ожидать.

О тебе кричать... (тебя забыть)
Это все, что нам теперь осталось,

И еще — осталась в сердце жалость,
Позволяющая нам тебя любить,—

писала в 1932 году Зинаида Шаховская.

Старшее поколение зарубежных русских глубоко переживало утрату русского языка, а затем и отечественной культуры молодым поколением эмиграции. Неумолимо работали жернова ассимиляции. Н. Берберова в своих воспоминаниях приводит характерный пример денационализации русских детей. Они не понимали грибоедовской строки из «Горе от ума»: «Не от болезни, чай, от скуки». Они переспрашивали взрослых: «При чем здесь «чай»? О каком чае идет речь?»

Эмигрантский «Сатирикон» изобразил плачущего в кресле Илью Ильича Обломова, вертящего в руках похожую на свастику большую букву «Ять». Две строки поэтического пояснения разъясняли: «О славном прошлом воздыхает и Five слезами обливает...» Карикатура называлась «К уразумению смысла русской эмиграции».

Немало извели чернил писатели зарубежья, убеждая себя и своих читателей, что есть, мол, вечная Россия, край изысканной красоты «града Петрова», сияющих на солнце куполов кремлевских соборов, а кроме того, отдельно, разумеется, существует какая-то Советская власть, какой-то социализм, живущие на другой орбите от русского народа с уничтожившей ее душу революцией. Время постепенно взламывало подобные стереотипы.

В конце 20-х годов в число наиболее заметных писателей зарубежья выдвинулся Михаил Осоргин. Признание известному публицисту и библиофилу принес его первый роман «Сивцев Вражек», печатавшийся в 1926—1928 годах в «Современных записках». Всеобщее внимание привлекла авторская позиция, оценка Осоргиным революции и гражданской войны.

В обобщенном виде она отражена в конце романа: «Стена против стены стояли две братские армии, и у каждой своя правда и своя честь. Правда тех, кто считал и родину, и революции поруганными новым деспотизмом и новым, лишь в иной цвет перекрашенным насилием,— и правда тех, кто иначе понимал родину и иначе ценил революцию и кто видел их поругание не в похабном мире с немцами, а в обмане народных надежд.

Бесчестен был бы народ, если бы он не выдвинул защитников идеи родины культурной, идеи нации, держащей данное слово, идеи длительного подвига и воспитанной человечности.

Бездарен был бы народ, который в момент решения векового спора не сделал бы опыта полного сокрушения старых и ненавистных идолов, полного пересоздания быта, идеологий, экономических отношений и всего социального уклада.

Были и герои и там, и тут; и чистые сердца тоже, и жертвы, и подвиги, и ожесточение, и высокая, внекнижная человечность, и животное зверство, и страх, и разочарование, и сила, и слабость, и тупое отчаяние.

Было бы слишком просто и для живых людей и для истории, если бы правда была лишь одна и билась лишь с кривдой; но были и бились между собой две правды и две чести,— и поле битвы усеяли трупами лучших и честнейших».

Центральный образ романа — Таня, воплотившая в себе как бы лик всей России, принимающая эстафету поколений из рук стареющего дедушки, профессора-орнитолога, типичного русского интеллигента. От карикатурности в изображении до желания серьезно осмыслить образ большевика Корчагина, погибающего на полях гражданской войны,— так выглядит попытка Осоргина понять «новых» людей новой России. Интересен и образ инженера Протасова. Очевидно, что он найдет, раскроет себя в новой, Советской России. Отрадно, что по воле автора судьба Протасова переплетается с судьбой Танюши, что позволяет Михаилу Осоргину с весьма осторожным — но оптимизмом! — видеть будущее своих героев...

«Сивцев Вражек» имел совершено не-

ожиданный успех. Русских читателей помимо темы роман привлек простым и точным языком, соединившим модную в зарубежье старомодность с нарождавшейся кинематографичностью. Роман принес Осоргину и деньги и славу, ибо был издан во многих странах.

Успех поощрил Осоргина на дальнейшее написание романов. Практически в зарубежье жить писательским трудом могли лишь те, кто часто переводился на иностранные языки. Таких писателей было немного. Вернее, единицы: Мережковский, Гуль, Зайцев, Бунин. Переводили многие (если не все) произведения «пророка русской души и нашего времени» Бердяева. Зато иностранный читатель практически не знал поэтов русского зарубежья. «Из мира, где мои стихи кому-то нужны были, как хлеб, я попала в мир, где стихи — никому не нужны, ни мои стихи, ни вообще стихи, нужны — как десерт: если десерт кому-нибудь — нужен...» (47),— сетовала Марина Цветаева.

Наибольшим успехом на Западе пользовался Марк Алданов. Широко образованный человек, дебютировавший в эмиграции в 1920 году книгой о Ленине, сразу изданной во многих странах, он был чрезвычайно плодовитым автором. Алдановым написано почти сорок романов, многочисленные воспоминания, литературно-критические эссе. Действия его «романных серий» разворачиваются в России и в Европе; среди героев Алданова — Маркс и Наполеон, Бакунин и Байрон, Бетховен и Петр III... В русском зарубежье его произведения любили многие. Имя Алданова часто ставили после Бунина и Набокова.

Символическое сравнение. Бунин служил олицетворением старшего поколения русского зарубежья, Алданов — писатель, которого трудно отнести к «старикам», «расписавшийся» как исторический романист в 35-летнем возрасте в эмиграции, куда он попал уже зрелым 33-летним человеком, автором работ о Л. Толстом и Р. Роллане. Поэтому его никак не отнесешь к молодым эмигрантским писателям. Набоков же является воплощением наибольших удач младшего поколения литературы русского зарубежья. Как и у Алданова, у Набокова в зарубежье масса горячих поклонников и противников.

В контексте вступительной статьи нам важнее другое — «незамеченное поколение» литературы русского зарубежья, чьим представителем явился Набоков (не забудем при этом, что громкую и довольно скандальную известность на Западе он получил лишь в середине 50-х годов — после «Лолиты»).

Горька участь этого дважды потерянного поколения! Сначала «дети эмиграции» потеряли родную землю по вине «проигравших Россию» отцов, с землей — и твердь русской культуры, русского языка. Кроме того, они, пасынки Европы и Америки, стали наиболее отверженной частью западного потерянного поколения, надломленного первой мировой войной.

Где мы? Куда? Никуда и нигде...
Я не имею для себя ответа,
Я не имею правды для других,—

недоумевает Лидия Червинская. Очевидно, только в таком смятенном творческом сознании могла родиться мысль о том, что столица русской литературы не Москва, а Париж. Ведь старшее поколение могло хотя бы «идеально» жить в «своей» России, и даже если их беженская жизнь становилась все горше, то тем более пленительными являлись им образы минувшего. Молодые писатели лишены были даже этого.

Часть старших собратьев их не замечала. А. Амфитеатров отмечал в своей «Литературе в изгнании»: «...при несомненном богатстве силами зрелыми и дозревающими, она скудна молодежью и, следовательно, не имеет будущего» (48). Но в большинстве своем — и это необходимо особо отметить! — старшее поколение эмигрантских писателей проявило, особенно в первой половине 30-х годов, в пределах своих возможностей большую заботу о литературной молодежи. Поэтому когда Анатолий Штейгер (талантливый

поэт, умерший от туберкулеза в 1944 году) писал:

Никто, как в детстве, иас ие ждет виизу.
Не переводит иас через дорогу.
Про злого муравья и стрекозу
Не говорит. Не учит верить Богу.

До иас теперь нет дела никому —
У всех довольио собствеииого дела.
И иадо жить, как все,— ио самому...
Беспомощно, нечестио, иеумело,—

то здесь в первую очередь речь идет о той «высокой» цене изгнаииичества, которую заплатила молодежь зарубежья.

Романы и рассказы молодых писателей иесут иа себе постоянную, легко объяснимую печать опустошеиия и пессимизма. «Возиикают журиалы молодых — «Новый дом», «Новый корабль», «Числа» и «Встречи» в Париже, «Новь» в Таллиие, ряд издаиий в Харбине и Шанхае (и даже в Саи-Франциско)» (49). Из иих наиболее хорошо издавался журиал «Числа». Всего увидело свет в 1930—1934 годах десять иомеров толстого иллюстрированного «чисто литературиого» издаиия, политические материалы из иего были созидательно убраиы его редактором Николаем Оцупом. «То мироощущеиие, которое затем окоичательио оформилось в так называемой «парижской иоте» (это иазваиие дал ему Борис Поплавский в своей статье в «Числах»), во миогом обязаио этому журиалу. Журиал «Числа» действительио был большим событием для всей младшей зарубежиой литературы. Молодые поэты и писатели благодаря «Числам» окоичательио иашли себя и получили право голоса во всей зарубежиой печати наряду со старшим поколеиием» (50).

Большую помощь литературиой молодежи оказывал Михаил Осоргии. Ои даже осиовал в иачале 30-х годов в Париже издательство «Новые писатели» с целью помочь иачииающим эмигрантским литераторам. Михаил Андреевич писал о задачах издательства: «Достаточио остро стоит вопрос о «молодой смеие», о том, чтобы иовые талаиты могли себя проявить, имели поощреиие и выступили на суд литературиой критики и читателей... Никаких ограничеиий со стороны политической или в смысле литературиой школы редакция издательства ие устанавливает». Первой книгой, изданиой «Новыми писателями», стал ромаи Иваиа Болдырева «Мальчики и девочки», второй — «Колесо» Яиовского. Издательство, правда, просуществовало иедолго.

Отметим, что наряду с Осоргииым подлинными иаставиикамн эмиграитской литературиой молодежи стали Ходасевич, Слоним, Адамович. Любовио пестовал молодежь руководитель пражского «Скита поэтов» А. Л. Бем. А как помогал Буиии Леоииду Зурову, Галиие Кузиецовой, Николаю Рощину! А как Мережковские поддерживали Владимира Злобииа и Бориса Поплавского! Это тоже интересиые страницы русской литературы.

Романы Берберовой, Одоевцевой, Газдаиова, Фельзеиа, Яиовского горячо обсуждались. В ожесточеииых дискуссиях, в резких рецензиях молодым доставалось за упадиичество, мистику, за темиый хаос эротических кошмаров и за глубоко загианного «виутрь себя» одииокого человека.

Ведущая поэтическая группировка молодых поэтов в русском зарубежье — «парижская иота» выработала свое мироощущеиие из четко осозиаииого трагизма положения эмиграции.

Вдруг возиикнет иа устах тромбоиа
Визг шаров, крутящихся во мгле,
Дико вскрикиет чериая Мадонна,
Руки разметав в смертельиом сие.
И сквозь жар иочиой, священиый, адный,
Сквозь лиловый дым, где пел клариет,
Запорхает белый, беспощадиый,
Сиег, идущий миллиоиы лет,—

писал признанный талант, по мнению большинства эмигрантских критиков, Борис Поплавский. Марк Слоним, отмечая его «редкое поэтическое дарование, чудом выросшее на скудной эмигрантской почве», подчеркнул, что его поэзия, «полная фантастических видений чудовищ, лунных дирижаблей, небожителей, бесов, безумных девушек», отдает разложением и гнильем.

Незадолго до своей загадочной смерти в 1935 году, взбудоражившей весь русский Париж, Поплавский записывает в дневнике: «И снова, в 32 года, жизнь буквально остановилась. Сижу на диване и ни с места, тоска такая, что снова нужно будет лечь, часами бороться за жизнь среди астральных снов. Глубокий основной протест всего существа: куда Ты меня завел? Лучше умереть».

Тяжесть разуверований «давила душу» многим молодым:

Долог день на холодной земле
Страшен день на безумье похожий,—

признается Екатерина Таубер. Трагическая поэзия «парижан» Поплавского, Г. Иванова, Смоленского оказывала значительное воздействие на эмигрантскую молодежь. В 1933 году в Харбине покончили жизнь самоубийством молодые поэты Георгий Гранин и Сергей Сергин. Гранин просил в предсмертной записке, чтобы на его могильном кресте, помимо имени, дат рожденья и смерти, были бы выбиты следующие строки Георгия Иванова:

Синеватое облако,
Холодок у виска,
Синеватое облако
И еще облака...

И старинная яблоня
(Может быть, подождать?)
Простодушная яблоня
Расцветает опять...

В те годы произошел своеобразный всплеск молодой поэзии русского зарубежья. Активно работали группировки: «Кочевье» и «Перекресток» в Париже, «Скит поэтов» в Праге, берлинский «Кружок поэтов», «Молодая Чураевка» в Харбине, поэтические объединения в Белграде, Варшаве, Таллинне, Риге. Среди этих групп не было ни единства, ни вражды. Эмигрантские критики условно разделяют поэзию зарубежья 30-х годов на тех, кто «ориентировался на Ходасевича, призывавшего поэтов «писать хорошие стихи», и тех, кто находился под влиянием Адамовича, проповедовавшего «простоту и человечность», и тех, кто тяготел скорее к Цветаевой и Пастернаку, что проявлялось главным образом в интересе к формальным экспериментам» (51).

Суровая реальность беженского существования требовала признания того, что формула «Мы не в изгнании — Мы в послании!» давно отвергнута жизнью. Харбинский поэт Арсений Несмелов отмечает в поэме «Через океан»:

Много нас рассеяно по свету,
Отоснившихся уже врагу,
Мы — лишь тема, милая поэту,
Мы — лишь след на тающем снегу.

Горечь чужбины у разбросанных по свету россиян усугублялась горечью оторванности от своего народа. Игорь Северянин писал в 1936 году в стихотворении «Без нас» о чувствах человека, лишенного крепких уз с родной землей и стоящего перед неизвестным будущим:

От горького чувства, чуть странного,
Бывает так горько подчас:
Россия построена заново
Не нами, другими, без нас...
Уж ладно ли, худо ль построена,
Однако построена все ж.

Сильна ты без нашего воина,
Не наши ты песни поешь!
И вот мы остались без родины,
И вид наш и жалок, и пуст,—
Как будто бы белой смородины
Обглодан раскидистый куст.

Русское зарубежье — и «верхи», и «низы» — страстно обсуждало, вернее,

жило новостями из России, Советского Союза, желало, по выражению одного поэта, «под алым покрывалом найти русскую красоту». Новости, пробивавшиеся на Запад все труднее и труднее, были разные.

Ошеломляли известия о целенаправленном осквернении национальных святынь русского народа, распродаже на Западе, часто задешево, культурных и исторических ценностей. И если в ответ на разрушение знаменитой Иверской часовни на Красной площади русская эмиграция «вскладчину» быстро выстроила точную ее копию в Белграде, то чем она могла ответить на уничтожение Красных ворот, Сухаревской башни, храма Христа Спасителя. Оторопь у зарубежных русских вызывали гонения на православную церковь, осквернение храмов, глумление над чувствами верующих.

Непонятна была эмигрантской интеллигенции начавшаяся с первых послеоктябрьских лет жесткая регламентация художественного творчества, изгнание из советских учебников отечественной истории, пролеткультовское глумление над классиками русской литературы, от которого больше всего «досталось» Достоевскому, как «певцу самых низменных черт русского характера». Шквал переименований российских городов, казалось, стирал с карты не только русскую историю, но и саму Россию...

Разумеется, самые тяжелые чувства в душах и умах русского зарубежья вызывали факты уничтожения русской деревни и русского крестьянства, репрессий межвоенных лет. Лагерная тема стала постоянной на страницах эмигрантских газет и журналов. «Концлагерная» литература за рубежом была большая: Ив. Солоневич «Россия в концлагере», Ю. Марголин «Путешествие в страну зе-ка», Г. Андреев «Трудные дороги», Ю. Бессонов «26 тюрем и побег с Соловков», Б. Ширяев «Неугасимая лампада», М. Розанов «Завоеватели белых пятен», воспоминания профессоров (мужа и жены) Чернавиных, Никонова-Смородина, Целиги, финна Седерхольма, О. Фельтгейма «По советским тюрьмам» и др. (52).

Белоэмиграция, очевидно, не очень-то переживала, что в ходе репрессий уничтожалась старая ленинская гвардия. Чего, мол, переживать за людей, оставивших нас без родины и разрушавших Россию? Но при этом стремились постичь логику страшных известий. «Для личного сознания и совести ясно, что расстрелянные в СССР старые коммунисты были убежденными коммунистами до конца, а не фашистами и не шпионами. Но для коллективного сознания генеральной линии коммунистической партии ложь о старых коммунистах есть реальность, необходимая в диалектике борьбы» (53),— делал в 1939 году вывод в статье «Парадокс лжи» Николай Бердяев.

Другой незаурядный мыслитель русского зарубежья, Всеволод Иванов, на другой стороне планеты — в Шанхае, в то же время, работая над исследованием «культурно-исторических основ русской государственности», пишет: «Только у нас в России возможен... тот государственный строй, при котором вождь не только делается царем, нет, выше, больше, он обожествляется... Вожди современного русского социализма бесконечно лукавы, потому что, заявляя, что они дают народу нашему самое последнее и высшее достижение общечеловеческой культуры, а вместо того... сохраняя там древние верования и неизжитые пережитки, они — раз за разом, ложь за ложью, круг за кругом, вольт за вольтом — спускают его все ниже и ниже по шкале веков...»

Много написано в русском зарубежье о Сталине. Напряженно следили эмигрантские идеологи за складывающимся «культом личности». В 1931 году в стокгольмском издательстве «Стрела» вышла книга С. Дмитриевского «Сталин». Ненавидевший Советскую власть, он тем не менее предлагал объективно разобраться в переменах, произошедших в России после Октября: «Сталина, как и людей, сейчас его окружающих, надо знать такими, как они есть. Со всеми их недостатками — но

и со всей их силой. Ибо только так можно объяснить историю нашего настоящего и только так можно ориентироваться на сложных путях будущего.

Надо сейчас твердо усвоить себе: у власти в России стоят сейчас люди немаленькие, люди несравненно большего калибра, чем те, которых выдвигали старый строй и старая жизненная школа. Да иначе не может и быть в эпоху великой революции, когда жизнь перетряхивает все народные слои и выдвигает наверх самое сильное, самое способное, наиболее соответствующее ее суровым условиям. Чтобы бороться с людьми революции — надо знать, надо изучать их» (54).

Необычным для деятелей культуры зарубежья выглядело повальное прославление вождя со стороны советских писателей, художников, артистов (за редким исключением), словно бы соревновавшихся в беспрецедентном обожествлении «отца народов». Доходившая до зарубежья правда о событиях в СССР давала серьезные основания для жестких обвинений в адрес социализма и политического руководства страны. Но в 30-е годы все упрямее стали давать в эмиграции о себе знать и настроения другого рода, продиктованные желанием вместо «России выдуманной, зарубежной, понять Россию сущую» (Ю. Ширинский-Шахматов). Фашистская угроза, нависшая над миром, многое изменила в настроениях мировой общественности, в частности в ее отношении к СССР. Трезвомыслящие люди не могли не видеть в Советском Союзе полюса противодействия силам зла, агрессии и варварства. Уходило на второй план неприятие советской системы. Приходило понимание того, что подрывная деятельность против СССР ослабляет всемирные силы свободы и демократии.

Эти сдвиги в политическом сознании не в последнюю очередь затронули и российскую эмиграцию, в том числе и ее еще недавно активные антисоветские слои. Чем ближе надвигалась мировая война, тем настоятельнее становился вопрос — с кем ты, зарубежный россиянин?

Особо отметим, что вспыхнувшие во второй половине 80-х годов у определенной части советских публицистов и ученых сопоставления, а часто и отождествления фашизма и сталинского социализма 30-х годов имели место в русском зарубежье с первых лет его образования. «Что же, в конце концов, удивительного, что параллельно высшему торжеству демократического начала мы видим ныне его поразительный декаданс, его эффектный эпилог?.. Массы отрекаются от своей непосредственной жизни... И... они спешат уступить эту высшую власть активному авангарду, инициативному меньшинству из своей собственной среды... Отсюда культ Ленина в России, Муссолини — в нынешней Италии... И рождается новая аристократия, по-своему народная и по существу передовая,— аристократия черной кости и мозолистых рук...» (55),— писал в 1924 году идеолог сменовеховства Н. Устрялов.

«Против фашизма и коммунизма мы защищаем вечную правду личности и ее свободы — прежде всего свободу духа» (56),— утверждал в 1931 году Г. Федотов. И после развязывания второй мировой войны некоторые эмигранты говорили о том, что «коммунизм и фашизм — сиамские близнецы. Коммунизм все социализирует и, чтобы выполнить план и направлять народ на путь материального благосостояния, охватывает всю страну тисками диктатуры и камзолом единой для всех обязательной тоталитарной идеологии. Фашизм социализирует очень мало, но, чтобы страна маршировала в сторону большего материального довольства, берет народ в тиски такой же диктатуры и в мешок обязательной для всех идеологии» (57). Эту же линию продолжали упорно тянуть некоторые и после окончания войны, ставя «знак равенства между нацистской Германией и коммунизированным СССР» (58).

Но подобные взгляды проповедовали немногие. В целом отношение к фашизму разделило зарубежье на два лагеря...

Сколько слов было в свое время сказано белой эмиграцией в попытках доказать, что она-де является радетельницей судеб России, что только и печется в помыслах своих о благе ее народа. Но в жизни, как известно, вес имеют не слова, а дела. Правые круги белоэмиграции, особенно монархисты, быстро разглядели антикоммунистический облик нарождавшегося фашизма и стали всячески превозносить «коричневые» идеи. Ради возвращения к власти, ради того, чтобы снова сесть на шею своему народу, они готовы были вступить в союз хоть с чертом, хоть с дьяволом.

«Героическое направление ума» и «крупное духовное явление» увидел в фашизме П. Струве; Д. Мережковский «флиртовал с итальянским фашизмом, что привело, между прочим, к его разрыву с Бердяевым...» (59). Поэт Арсений Несмелов под псевдонимом Н. Дозоров сочинил гимн русским фашистам в Китае. А уж сколько раз писали правые эмигрантские газеты о Гитлере как о «человеке-гиганте», сосчитать невозможно.

Но, к чести зарубежных русских, большинство из них разглядело весь мрак, который несет миру фашизм. Первым из писателей зарубежья столкнулся с ужасами гитлеровских концлагерей в 1933 году Роман Гуль. Первым, но далеко не последним... При пересечении немецко-швейцарской границы в ноябре 1936 года фашисты нанесли тягчайшее оскорбление гордости русского зарубежья — Ивану Бунину, подвергнув его унизительному обыску с раздеванием. «Во главе избранной расы господ,— писала мать Мария в начале 1941 года в статье «Размышления о судьбах Европы и Азии»,— стоит безумец, параноик, место которому в палате сумасшедшего дома, который нуждается в смирительной рубашке, в пробковой комнате, чтобы его звериный вой не потрясал вселенной» (60).

Отчетливая угроза иноземного вторжения на родную землю катализировала интерес у различных слоев русского зарубежья к преображенной России, к пониманию происходящих там перемен. «В сталинской России старое противопоставление интеллигенции и народа потеряло свой смысл. От центра к периферии движение интеллектуальной крови совершается без перебоев и задержек. Россия в культурном смысле стала единым организмом. Этот факт непреложен и неотменяем...— отмечает «положительные последствия русской революции» один из самых проницательных умов зарубежья Г. Федотов.— Народ теперь почти уже грамотный, весь прошедший через школу, жадно тянется к просвещению. Он выделяет из себя молодую, огромную по численности интеллигенцию, которая, не щадя себя, не боясь никаких жертв, вгрызается в «гранит науки», идет на заводы, в поля — строить новую Россию, счастливую, богатую, великую. Героическая мечта этого поколения — завоевать воздух, пустыни, полярные льды. Бесстрашие русских летчиков и полярных исследователей вызывает изумление во всем мире. Сколько талантов родит русская земля во всех областях творчества: изобретателей, музыкантов, чемпионов. Как хороша русская молодежь в массовых спортивных соревнованиях... Люди, смотревшие русские футбольные команды за границей, отмечали, что сила русской игры не в отдельных достижениях, не в атлетических талантах, а в согласованности и в дисциплине. Это ново и поистине удивительно» (61).

Другие эмигранты уже шли дальше чувства «некоторого национального удовлетворения», считая, что, только став советской, Россия обретает истинное величие, достойное ее нелегкой и славной истории.

Жизнь раскрылась мне в черной работе,
Трезвой, честной, нелегкой, иной.
В эти жесткие годы впервые
Жизнь увидел по-новому я.
К трудовой потянулись России
Ее блудные сыновья.
Так фабричный гудок и лопата,
Трудный опыт, прошедший не зря,

Нам открыли, жестоко и внятно,
Смысл и чаяния Октября,—

признается в 1936 году поэт-«парижанин» Юрий Софиев.

На размышления русских беженцев о своей Родине ежедневно накладывались впечатления от «новых отечеств». Литература русского зарубежья богата оценками приютившего белоэмиграцию Запада. Если эти оценки суммировать, то вырисовывается неоднозначная картина.

С болезненным интересом всматривалась в феномен русского зарубежья западная интеллигенция. Ее любопытство возбуждают русские эмигранты — они могут рассказать о неведомом, неслыханном, невиданном. На русских женятся Сальвадор Дали, Луи Арагон, Пабло Пикассо, Фернан Леже, Ромен Роллан, Герберт Уэллс, Поль Элюар... Образы русских эмигрантов замелькали на страницах романов, на театральных подмостках, на экранах синема, тогда еще беззвучного. Михаил Чехов, знаменитый актер, эмигрант, блистательно сыграл роль русского князя, работающего слугой во французской буржуазной семье. Громовым смехом и бешеной овацией встречала публика финальную сцену пьесы, когда князь-слуга, отправляясь на эмигрантский прием в своем поношенном, но тщательно сохраняемом раззолоченном мундире, прихватывает мусорное ведро, чтобы попутно завернуть на помойку. Агата Кристи помещает русскую княгиню среди пассажиров своего «Восточного экспресса». Джон Голсуорси в «Саге о Форсайтах» не случайно дает скульптору-модернисту, чья Венера похожа на покосившуюся водокачку, сложное для англичан славянское имя Борис Струмоловский. Ремарк в «Триумфальной арке» ставит русского полковника швейцаром в ресторане — опять же русском. В Западной Европе и вправду появилось много таких ресторанов. В них создается особый стиль, романс «Очи черные» входит в репертуар всей мировой эстрады (его пел даже Луи Армстронг). Неотъемлемой частью Парижа становится шофер такси, бывший русский офицер.

Но мода на «белых» русских быстро прошла.

Белоэмигранты, попав на Запад, увидели полное равнодушие прежних союзников царской России, Временного правительства и белых армий Деникина, Колчака, Врангеля к их дальнейшей судьбе. Они рассчитывали на такое сочувствие и содействие, что, казалось, камни должны были «возопиять», но никто не хотел их слушать. «На отношении иностранного читателя к писателям-эмигрантам сильно отражался и распространенный в европейской и американской интеллигенции «салонный большевизм», склонность сочувствовать большевистской революции и относиться пренебрежительно к ее жертвам» (62).

Если и до революции русские люди, сталкиваясь с Европой, нередко испытывали разочарование, то теперь, оказавшись там без средств к существованию, они быстро «открывали» недостатки западной жизни уже не в итоге туристских наблюдений, а в тяжелом каждодневном опыте отверженности и унижения граждан второго сорта. Всего лишь в двух странах — Чехословакии и Югославии — с доброжелательностью относились как к самим белоэмигрантам, так и к их творчеству. Для Франции и Германии, Англии и США они были совсем чужими.

«Мы для Запада — как книга за семью печатями. Он не разумеет нашего языка, не чает нашей души и нашего духа, не разумеет нашей судьбы... Он не хочет видеть нашей трагедии и нашего предназначения. И если на Западе начинают изучать что-нибудь русское, то — за малыми исключениями — только для целей своей торговли или своей стратегии... смотрят на Россию глазами коммивояжера и завоевателя. Вот почему, когда мы, временно изгнанные и рассеянные, слышим их суждения о нас... мы всегда чувствуем себя — то как взрослый перед вкривь и вкось судящим недорослем, самодовольным и пренебрежительно-развязным, то как временно безза-

щитная жертва перед метко нацеливающейся хищной птицей...» (63),— размышлял в 1927 году И. Ильин в книге «Русский колокол».

Русское зарубежье, лучшие представители его культурных сил и в предвоенные годы, и в годы «холодной войны» часто выступали в той или иной области творчества фактическими представителями всей отечественной культуры, соединяющими Россию с остальным миром. «Все, чем духовно живет западный мир, мне, и как артисту, и как русскому, бесконечно близко и дорого. Все мы шли из этого великого источника творчества и красоты» (64),— благодарно писал Федор Шаляпин, один из немногих преуспевших в эмиграции людей, и в плане творческом, и в плане материальном.

Я посох свой доверил Богу
И не гадаю ни о чем.
Пусть выбирает сам дорогу,
Какой меня ведет в свой дом,—

замечает идейный вождь русского символизма Вячеслав Иванов, перешедший в Италии в католицизм, окруженный там редким для иностранца уважением и признанием. В 1937 году в ватиканской «Коллегиум Руссикум» состоялось шумно обставленное его выступление; в нем Вяч. Иванов объяснил свой переход в лоно католической церкви, в которой он «видел» теперь и свое отечество.

Другие несколько иначе оценивали окружавшую их действительность. Первые же стихи, написанные Цветаевой в эмиграции, запечатлели не парадный фасад Европы, а мир нищеты и бесправия, где бьется «жизнь без чехла». Цветаева страстно говорит о людях, обиженных жизнью. Особенно выделяются в этом ряду такие антибуржуазные вещи, как «Крысолов» (1925) и «Поэма Лестницы» (1926).

За все, за все спасибо. За войну,
За революцию и за изгнанье.
За равнодушно-светлую страну,
Где мы теперь «влачим существование».
Нет доли сладостней — все потерять.
Нет радостней судьбы — скитальцем стать,
И никогда ты к небу не был ближе,
Чем здесь, устав скучать,
Устав дышать,
Без сил, без денег,
Без любви,
В Париже...—

иронично отбрасывает «все словесные украшения, обдавая их серной кислотой», Георгий Адамович.

Наряду с разочарованием в Западе — «Здесь даже камни сонно устают. Колокола, и те не очень голосисты» (мать Мария) — среди многих эмигрантов растет непонимание, неприятие мира капиталистического чистогана, опустошающего и уничтожающего человеческую личность, низводящего человека до уровня «раба своих вещей», утоляющего лишь самые низменные потребности. О «каменном аде» Запада писал В. Ходасевич. «Хлеб ваш мне как камень»,— часто говорили русские эмигранты, ощущавшие себя живущими как бы на островках среди океана чужой жизни. «Здесь шумят чужие города, и чужая плещется вода, и чужая светится звезда!..» — пел Александр Вертинский.

Я верю в Россию. Там жизнь идет,
Там бьются скрытые силы.
А здесь у нас темных дней хоровод,
Влекущий запах могилы.

Я верю в Россию. Не нам, не нам
Готовить ей дни иные.
Ведь все, что вершится, так только там,
В далекой Святой России,—

передавала настроение многих зарубежных русских молодая поэтесса Ирина Кнорринг, в 14 лет увезенная из России и умершая в 1943 году в оккупированном немцами Париже. Анна Ахматова, представляя советским читателям ее сборник стихов, писала: «Ей душно и скучно на Западе». Желание законсервироваться в своей национальной принадлежности,

наиболее отраженное в эмигрантском творчестве Ремизова, Шмелева и Зайцева, запечатлено в известных в зарубежье в 30-е годы строках Николая Евсеева.

Родиться русским, им остаться
И это счастье уберечь,
Когда бы, где бы ни скитаться —
Таким, как деды, в землю лечь...

Другая часть эмигрантской общественности стремилась к общению с западной интеллигенцией. Благо, вопросов для совместного осмысления межвоенные годы предоставили сполна. Следует выделить работу Франко-русской студии, созданной Надеждой Городецкой и Всеволодом Фогтом вместе с редакциями ряда французских журналов. Студия работала на рубеже 20—30-х годов, устраивая публичные собрания. Обычно докладчиков было двое: русский и француз. С русской стороны на заседаниях студии перебывало большинство известных парижских эмигрантских писателей. Из французов выступали Поль Валери, Рене Лалу, Станислав Фюме. Собрания носили тематический характер — «Достоевский и Запад», «Тревоги в литературе», «Взаимное влияние современной французской и русской литератур», «Толстой».

Постоянно оказывал мощное интеллектуальное воздействие на иностранное окружение Н. Бердяев, каждую новую работу которого на Западе ждали с интересом. В 30-е годы тема взаимоотношений России и Запада богато представлена на страницах журналов «Утверждения» и «Новый град», альманаха «Круг», в которых выступали ведущие философы русского зарубежья. Много внимания текущему литературному процессу в западной литературе уделялось в журнале «Числа».

Ощущением приближающейся беды пронизана вся мировая атмосфера конца 30-х годов. Разумеется, она особым образом сказывалась на мироощущении русского зарубежья. Лишь самые «непримиримые» органы печати ориентировались на «будущего спасителя России от большевизма».

По мере приближения второй мировой войны обедняется литературная жизнь русского зарубежья. Правда, была предпринята одна энергичная попытка связать центр литературы русской эмиграции — Париж — и самую крупную «колонию» зарубежья — дальневосточную. С 1937 по 1939 год в Париже издавался, первоначально на «китайские» деньги, журнал «Русские записки». Но связь с Шанхаем вскоре оборвалась, и редактируемый П. Н. Милюковым журнал фактически превращается в «филиал» «Современных записок».

К этому времени совершенно очевидным становится крах иллюзий зарубежья о возврате в Россию «на белом коне». Лишь наиболее оголтелые жаждали вернуться в родные места в фашистском обозе. «Эмигрантам не суждено было стать ни освободителями, ни организаторами своей родины. Если еще возможно рисовать себе картины политического воздействия со стороны эмиграции в будущем, то, очевидно, такое воздействие могло бы быть только идейным: воздействовать пришлось бы на обладателей реальной силы, то есть на тех неведомых людей, которые народились за эти годы в России,— отмечал в статье «Конец зарубежья» публицист Ю. Рапопорт в предпоследнем номере «Современных записок»,— но, очевидно, для этого идея зарубежья со стремлением к внешнему единству, с боязнью ярких формул и с непоправимым смешением бытовых и политико-революционных задач является совершенно непригодной» (65).

Разразившаяся война нанесла сокрушительный удар по русскому зарубежью, лишив его значительной самостоятельности, самобытности, интенсивной культурной и литературной жизни, характерной для 20—30-х годов. «Настоящий смертный приговор зарубежной литературе был подписан с победой Германии над Францией в начале лета 1940 года и оккупацией Парижа,— утверждает Глеб Струве.— Обе парижские газеты немед-

ленно перестали выходить. Толстых журналов к этому времени уже не существовало...» (66).

Во время так называемой «странной войны» во французскую армию «было мобилизовано около 6000 русских... и многие были убиты, ранены и заслужили боевые отличия» (67). Среди них было немало молодых русских писателей и поэтов. Добровольцем ушел на фронт Георгий Адамович. После войны эмигрантские журналы и сборники обошло стихотворение лейтенанта французской армии Николая Оболенского, посвященное памяти лейтенанта маршевого полка иностранных волонтеров А. Зборовского, геройски погибшего в 1940 году в бою под Сент-Менульдом.

Вот его заключительные строки:

... И вот несут. Глаза в тумане.
И в липкой глине сапоги.
А в левом боковом кармане
Страницы Тютчева в крови.

* * *

... Около пяти часов вечера 23 февраля 1942 года из парижской тюрьмы Фрэн в пригородный форт Монт-Валериен под усиленной охраной доставили семерых приговоренных к смертной казни участников подпольной организации «Национальный комитет общественного спасения». Среди них находились и руководители этой организации — русские эмигранты Борис Вильде и Анатолий Левицкий. У стены, где должна была состояться казнь, не хватило места, чтобы расстрелять сразу семерых. Вильде и Левицкий попросили, чтобы им не завязывали глаза и расстреляли последними...

Бориса Вильде хорошо знал литературный русский Париж 30-х годов. Его стихи публиковались во многих журналах и сборниках под псевдонимом Борис Дикой. Вскоре после оккупации французской столицы немецкими фашистами Б. Вильде становится одним из создателей антифашистской организации.

«„Сопротивляться!" — этот крик идет из глубины ваших сердец, из глубины отчаяния, в которое ввергло вас несчастье... Это голос всех, кто не смирился, всех, кто хочет выполнить свой долг»,— призывал он в передовой статье первого номера подпольной газеты «Резистанс», вышедшей 15 декабря 1940 года. Название — «Резистанс» («Сопротивление») — прижилось настолько, что им стали именовать антифашистское движение во Франции и во многих других европейских странах. Предательство прервало деятельность группы.

Допросы, пытки, очные ставки в тюрьме Фрэн не сломили духа Бориса Вильде. Находясь в заключении, он создал свои знаменитые «Диалоги в тюрьме», которые можно сравнить с «Репортажем с петлей на шее» Юлиуса Фучика. Предчувствуя смертный приговор, он писал о собственном пути от «я» к «мы», о чувстве ответственности перед человечеством. «Диалоги» — это высокая поэзия, проникнутая жаждой жизни.

Десять месяцев тюремного заключения окончились шумным 40-дневным судебным процессом, всколыхнувшим всю Францию. Немецкий военный суд вынес 17 февраля 1942 года смертный приговор Вильде, Левицкому и их пятерым товарищам. В последнем слове Вильде о себе не говорил, его речь целиком была посвящена одному — защите жизни «Мальчугана», самого молодого участника подпольной группы. В прощальном письме к жене Ирэн за несколько часов до расстрела Борис писал: «...знал уже, что это будет сегодня. Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. Да, я с улыбкой встречаю смерть...»

22 июня 1941 года заставило каждого зарубежного русского ответить на вопрос: «Каково мое истинное отношение к Родине?» «Кончилось двадцатилетие, тусклое и тяжкое, но, по существу, безответственное, внутренне беспечное эмигрантское бытие. Впервые за эти двадцать лет каждый поставлен перед необхо-

димостью в последний раз выбрать — «за» или «против». За народ, но и непременно вместе с его теперешней властью или по-прежнему против этой власти, но и — и на этот раз особенно остро — непременно против народа... Для каждого из эмигрантов пришли дни самые страшные и самые суровые, грозные... Каждый предоставлен только самому себе, своему разуму и совести, каждый вновь сам решает свою судьбу — как в годы гражданской войны. Ошибутся и на этот раз? Почти уверен, что нет» (68). Такую запись делает в дневнике 23 июня 1941 года писатель Николай Рощин, ставший бойцом Сопротивления.

Многие наши зарубежные соотечественники, желая подчеркнуть связь собственных судеб с судьбой своего Отечества, называли себя «людьми 22 июня».

Нас не было в тот день — плечом
к плечу,—
Когда враги ломились в наши двери.
И я, как ты, теперь поволочу
До гроба нестерпимую потерю.
И только верностью родному краю,
Предельной верностью своей стране,
Где б ни был ты — в Нью-Йорке
иль Шанхае,—
Смягчим мы память о такой вине,—

передавал переживания русских, оказавшихся вдали от России в тяжелейшие для их Родины дни, Юрий Софиев.

Патриотизм значительной части русской эмиграции стал поворачиваться в «советскую сторону», когда лихая година Великой Отечественной войны органически соединила героическое прошлое России с настоящим и будущим Советского Союза. «Через любовь к России мы пришли к пониманию СССР, к великому уважению к этой стране. Мы ясно увидели свое будущее. Оно с Россией. Обойтись без нее мы не смогли... Сейчас мы видим, что Советская власть защищает интересы и территорию нашей Родины. А вы? Неужели вам еще неясно, что победа СССР значит сохранение русских границ такими же, как их завоевали наши прадеды и оставили нам в наследство. И это значит небывалое величие русского имени» (69),— писала в статье «В защиту оборонцев» в шанхайской «Новой жизни» Наталия Ильина, ребенком вывезенная из России.

В истории европейского Сопротивления немало славных страниц о боевых делах наших зарубежных земляков, сражавшихся плечом к плечу вместе с патриотами Югославии, Бельгии, Италии, Франции и других стран порабощенной Европы против фашистских оккупантов. Встречаются среди них и представители литературы русского зарубежья, среди которых выделяется имя Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой.

Тяжелые раздумия над отчаяннейшим положением многих близких ей людей в эмиграции и смерть дочери привели ее к постригу. Став монахиней, матерью Марией, она посвящает свою жизнь людям. Созданное ею в 1935 году братство «Православное дело» на парижской улице Лурмель занялось оказанием всесторонней помощи своим обездоленным и безработным соотечественникам на чужбине.

Когда мать Мария узнала о нападении немецких войск на Советский Союз, она заявила: «Я не боюсь за Россию. Я знаю, что она победит. Наступит день, когда мы узнаем по радио, что советская авиация уничтожила Берлин. Потом будет «русский период» истории... Все возможности открыты. России предстоит великое будущее. Но какой океан крови» (70). В самые тяжелые дни войны, в декабре 1941 года, она верит в победу:

Ночь. И звезд на небе нет.
Лает вдали собака.
Час грабителя и вора.
Сторож колотушкой будит.

— Сторож, скоро ли рассвет? —
Отвечает он из мрака:
— Ночь еще, но утро скоро,
Ночь еще, но утро будет.

Ради этого светлого утра вступают в схватку с фашизмом мать Мария, ее ближайшие друзья.

Дом на улице Лурмель становится укрытием для многих советских людей, бежавших из фашистского плена, французских антифашистов, поляков, евреев. Сбор пожертвований, снабжение документами людей, преследовавшихся гитлеровцами, переправка их к партизанам — такова «благотворительная» деятельность русской монахини, ставшей во главе нелегального «лурмельского комитета».

В феврале 1943 года гестапо арестовало мать Марию... Люди, близко знавшие Елизавету Юрьевну, свидетельствуют, что самым сильным ее желанием, ее излюбленной мечтой было возвращение на Родину. Она часто говорила: «При первой возможности поеду в Россию, куда-нибудь на Волгу или Сибирь. Буду жить и работать среди простых русских людей».

Это стремление служить Родине, «простому народу» и было источником необычайной стойкости, проявленной Е. Ю. Кузьминой-Караваевой в невыносимых условиях фашистского рабства. Ее соузница вспоминала: «Мы расспрашивали ее об истории России, о ее будущем... Эти беседы и дискуссии являлись для нас выходом из нашего лагерного ада, помогали нам восстанавливать утраченные душевные силы, вновь зажигали в нас пламя мысли, едва тлевшее под тяжким гнетом ужаса». До самой смерти она была непреклонна и верна идее добра, правому духу, своему Отечеству, расточая духовную помощь и поддержку всем окружающим.

Чудом остался в живых поэт Владимир Корвин-Пиотровский, схваченный парижским гестапо за участие в Сопротивлении.

За дверью голос дребезжит,
Ключей тяжелых громыханье,—
Там раб с винтовкой сторожит
Мое свободное дыханье...—

пишет в 1944 году в тюремной камере поэт.

«Самым значительным,— считает американский историк Роберт Джонсон в статье «Великая Отечественная война»,— был тот факт, что с начала второй зимы советско-германской войны эмиграция осознала свое явно ошибочное мнение о советском обществе и его правительстве по одному узловому пункту: Сталин и народ были едины» (71). Такие крупные представители русского зарубежья, как Бердяев, Бунин, Ремизов, Осоргин и другие, с волнением и тревогой следили за героической борьбой советского народа, отказываясь «хотя бы палец о палец ударить для немцев».

«Однажды он вновь оказался в Ницце. Бунина сопровождал Адамович... Бунин, удрученный последними событиями на фронте, был раздражен и мрачен. Зашли в небольшой русский ресторанчик на бульваре Гамбетта. Час еще был довольно ранний, но прокуренный зал успел изрядно заполниться. И в большинстве своем публика была русская...

Несмотря на общее внимание, на то, что многие откровенно прислушивались к словам писателя, он, верный привычке, говорил очень громко и почти исключительно о военных событиях. Его собеседник напрасно пытался увести разговор от этой небезопасной темы, ибо Бунин то и дело к именам Гитлера и Муссолини прибавлял самые крепкие эпитеты, порой просто непечатные...

— В своем дому можно поссориться, даже подраться,— внушал Бунин...— Но когда на вас бандиты прут, тут уж, батенька, все склоки свои надо в сторону отложить да всем миром по чужакам ахнуть, чтоб от них пух и перья полетели. Вот Толстой проповедовал непротивление злу насилием, писал, что войны нужны лишь власть предержащим. Но напади враги на Россию, войну продолжал бы проклинать, а всем сердцем за своих бы болел. Так уж нормальный, здоровый человек устроен, и по-другому быть не должно. А русский пора-

жен тоской и любовью к Отечеству сильнее, чем кто-либо...» (72). В дни Тегеранской конференции Бунин писал: «Нет, вы подумайте, до чего дошло — Сталин летит в Персию, а я дрожу, чтобы с ним, не дай бог, чего в дороге не случилось».

Война окончательно высветила и «непримиримых», пытавшихся взять на вооружение лозунг «Победа Германии — воскресение России». Среди писателей это были в основном представители старшего поколения: Мережковский, Шмелев, Сургучев. И, признавая сегодня их бесспорный литературный дар, мы не должны забывать и о политических «страницах» их творчества, насквозь пронизанных ненавистью к Советской России, какими бы мотивами она ни была вызвана.

Бунин, исповедовавший те же художественные принципы, что и Шмелев, гневно осуждал его сотрудничество в прогерманских изданиях. Он хвалил Николая Рощина, заклеймившего предательские статьи «старичка», «Михеича», как иронически называли они между собой Шмелева: «Ну и нарисовали Вы старичка! Как живой, гадина!»

Мир Мережковского «был основан на политической непримиримости к Октябрьской революции, все остальное было несущественно. Вопросы эстетики, вопросы религии, политики, науки — все было подчинено одному: чувству утери России, угрозы России миру, горечи изгнания, горечи сознания, что его никто не слышит в его жалобах, проклятиях и предостережениях» (73),— свидетельствует Нина Берберова. Ирина Одоевцева в своих воспоминаниях «На берегах Сены» как-то пытается оправдать Мережковского за его прогерманские выступления в начале войны. Он, мол, где-то в частных разговорах называл Гитлера — «маляр, воняющий ножным потом». Но, право, ее аргументы звучат неубедительно...

Многое расставило по своим местам военное лихолетье.

«От одного из русских — посильная помощь русскому народу в его борьбе с врагом. Хочу верить, верю в полную победу!» — писал Сергей Рахманинов в 1942 году, передавая большую сумму денег в советское посольство в Вашингтоне.

«Война и ее потери не заставят меня примириться с размалеванной Советской Россией». Это Набоков. 1944 год. Написано тоже в США.

За океаном оказались также М. Алданов, М. Цетлин, М. Вишняк, Г. Федотов, А. Керенский, половина редакции «Современных записок». С 1942 года в Нью-Йорке стали выходить два журнала — «Новый журнал» и «Новоселье», единственные литературные органы русского зарубежья военных лет. «Новоселье», редактируемое Софьей Прегель, придерживалось левой ориентации. «Новый журнал» сначала возглавил М. Цетлин, а с пятого номера соредактором стал историк М. Карпович. Журнал занимал более правую, чем «Новоселье», позицию.

Одна публикация «Нового журнала» и еще более ответ на нее прочно вошли в историю. Во втором номере журнала была помещена статья М. Вишняка «Правда антибольшевизма». Автор, в частности, утверждал, что «общее отношение русского населения к большевистскому режиму осталось таким же враждебным, каким оно было в голодные годы. Русский народ проявляет сейчас чудеса храбрости не благодаря советскому режиму, а вопреки режиму» (74).

И Вишняк, и редакция неожиданно получили сокрушительный ответ от умирающего в южном французском городке Экс-ле-Бене П. Милюкова (он умер 31 марта 1943 года). «Правда большевизма» — так называлась последняя статья одного из крупнейших политиков доoктябрьской России, признанного вождя либеральной части русского зарубежья.

Милюков гневно возражал: «Утверждать, что отношение к власти армии и населения сплошь «остается враждеб-

ным»,— значит присоединиться к ожиданиям неприятеля, тоже не сомневающегося, что народ восстанет против правительства и режима при первом появлении германских штыков. В действительности этот народ в худом и в хорошем связан со своим режимом. Огромное большинство народа другого режима не знает. Представители и свидетели старого порядка доживают свои дни на чужбине. Народ не только принял советский режим как факт, он примирился с его недостатками и оценил его преимущества. Советские люди создали громадную промышленность и военную индустрию, они поставили на рельсы нужный для этого производства аппарат управления. Упорство советского солдата коренится не только в том, что он идет на смерть, с голой грудью, но и в том, что он равен своему противнику в техническом знании, вооружении и не менее его развит профессионально». Милюков говорит о некоторых русских людях, пошедших вместе с немцами «освобождать Россию от сталинского режима» и приведших много невольных признаний «оттуда», опровергающих доводы Вишняка о ненависти народа к режиму. Он подчеркивает, что советские люди оказались намного развитее досоветского поколения: «Советский гражданин гордится своей принадлежностью к режиму... Он не чувствует над собой палку другого сословия, другой крови, хозяев по праву рождения» (75). Статья, отпечатанная на ротаторе, широко разошлась по Франции, отразила большие изменения в поведении и психологии русского зарубежья в военные годы. Норвежский ученый Енс Петтер Нильсен, автор исследования «Милюков и Сталин», делает точный вывод: «Хорошо известно, что многие русские эмигранты, ставшие во время войны ярыми патриотами, были готовы простить Сталину многое за то, что он сумел спасти Россию от немецкого порабощения. Тысячи эмигрантов стали на просоветскую платформу, признали советскую власть своей...» (76).

Над облаками и веками
Бессмертной музыки хвала:
Россия русскими руками
Себя спасла и мир спасла.

Сияет солнце, вьется знамя,
И те же вещие слова:
«Ребята, не Москва ль за нами?»
Нет, много больше, чем Москва! —

писал в мае 1945 года в стихотворении «На взятие Берлина русскими» Георгий Иванов (в послевоенные годы его не раз укоряли эмигрантские критики за военный сборник «Памятник славы», якобы чересчур «социальный»).

Значительно поредели за годы войны ряды писателей русского зарубежья. Скончались Осоргин, Бальмонт, Северянин, С. Булгаков, Цетлин, Мережковский, Наживин, Авксентьев. Из молодых писателей погибли в гитлеровских концлагерях Раиса Блох, М. Горлин, Е. Гессен, Ю. Мандельштам, Л. Райсфельд, Ю. Фельзен. От тяжелых болезней умерли Ирина Кнорринг и Анатолий Штейгер. Если к этим именам добавить имена скончавшихся в 20—30-е годы Аверченко, Арцыбашева, Шестова, Саши Черного, Чирикова, Поплавского, Ходасевича, то очевидно, сколь ощутимые утраты несла литература русского зарубежья...

В конце 40-х годов многим русским писателям зарубежья пришла пора подводить итоги — и творческие, и жизненные. Осенью 1947 года Иван Алексеевич Бунин, находясь на отдыхе в «русском доме» в городке Жуан-ле-Пэне, рассказывал Ирине Одоевцевой, что «верил, слепо верил в свой талант, в свою звезду, и что когда-нибудь прославлюсь на весь мир.

— Но ведь вы и прославились,— прерываю я его.— На весь мир прославились.

Он разводит руками.

— Ну и что из того? Если бы в своей стране. А то — здесь. Что мне эта Нобелевская премия — а сколько я о ней мечтал — принесла? Чертовы черепки какие-

то. И разве иностранцы оценили меня?» (77).

В том же 1947 году Н. Бердяев, «русский Гегель XX века», писал с горечью вскоре после присвоения ему звания почетного доктора Оксфордского университета: «Меня начали ценить гораздо больше, чем раньше. Я постоянно слышу, что у меня «мировое имя»... Я очень известен в Европе и Америке, в Азии и Австралии, переведен на много языков, обо мне писали. Есть только одна страна, в которой меня почти не знают,— это моя Родина...» (78). Выступавший против огульного осуждения коммунизма, помогавший советским военнопленным, Бердяев в последние годы своей жизни снискал себе репутацию «красного» философа. «Ослепшим орлом, облепленным советскими патриотами», назвал его Г. Федотов. Крепко баррикадное мышление и на «той» стороне!

Волна зарубежного «советского патриотизма», вызванного Великой Отечественной войной, в конце 40-х годов разбивается на два потока.

Одни твердо решили «засыпать ров». 19 июня 1946 года посол во Франции А. Е. Богомолов отправил письмо редактору эмигрантской газеты «Русские новости» А. Ф. Ступницкому. В нем он сообщал, что «правительство СССР приняло решение, дающее право каждому, кто не имел или потерял гражданство СССР, восстановить это гражданство и таким образом стать полноправным сыном своей Советской Родины».

Объясняя мотивы данного решения, посол отмечает: «В годы Великой Отечественной войны большая часть русской эмиграции почувствовала свою неразрывную связь с советским народом, который на полях сражений с гитлеровской Германией отстаивал свою родную землю» (79). Тысячи зарубежных русских в Югославии и Китае изъявили желание перейти в советское гражданство. Во Франции получили советские паспорта около одиннадцати тысяч человек (около двух тысяч вернулись в СССР). Многие эмигранты, приняв советское гражданство, не возвращались на Родину из-за старости, боязни начать новую жизнь в советских условиях, запугиваний.

Первым из рук советского посла во Франции паспорт получил духовный пастырь русского зарубежья митрополит Евлогий, без интересных воспоминаний которого «Путь моей жизни», изданных в 1947 году, трудно представить послевоенную литературу русского зарубежья. Советскими гражданами стали Надежда Тэффи, Алексей Ремизов, Вячеслав Иванов. Всерьез думал о возвращении на родную землю Иван Бунин, по которой он «так сходил с ума все эти годы... страдал так беспрерывно, так люто». Примечательно, что, редактируя свои зарубежные книги, Иван Алексеевич в 40-х годах убирал из них «злободневные» политические и публицистические остроты 20-х годов.

Другая часть зарубежья, исповедовавшая «советский патриотизм» в военные годы, отказалась от него, сомкнулась с «непримиримыми», ссылаясь на политическую обстановку в СССР в конце 40-х годов, когда вновь начались репрессии и гонения на художественную интеллигенцию.

На традиционной панихиде по Николаю II в главном храме русского зарубежья, православном соборе Александра Невского на тихой парижской улице Дарю, в июле 1948 года всеобщее внимание привлекал роскошный венок с лентой — «От новой эмиграции»... Снова в итоге тяжелейших потрясений, пережитых нашей страной, на Западе оказались десятки и сотни тысяч бывших граждан Советского Союза. История этой, весьма значительной, волны эмиграции еще не написана. Профессиональных писателей в многочисленной «новой эмиграции» фактически не было.

Позже из ее рядов выдвинулись свои писатели и поэты. Вызвали широкий интерес книги С. Максимова «Тайга», С. Малахова «Летчики», С. Юрасова «Враг народа». Они были изданы новым издатель-

ством, возникшим после войны в Нью-Йорке,— издательством имени Чехова. В. Варшавский выделяет «целый ряд прозаиков, поэтов и публицистов, вышедших из среды новой эмиграции: Ольга Анстей, Юрий Галь, Глеб Глинка, Иван Елагин, П. Ершов, В. Завалишин, В. Каралин, Д. Кленовский, М. Коряков, И. Легкая, Вл. Марков, Н. Моршен, Н. Нароков, Л. Ржевский, Ю. Трубецкой, Н. Ульянов, Б. Филиппов» (80). В конце 40-х — 50-е годы они вошли в угасающую литературу русского зарубежья. Писатели «новой волны» заметного, ощутимого по сравнению с периодом 20—30-х годов вклада в литературу русского зарубежья не внесли. Лишь в самое последнее время советский читатель открывает для себя новые имена.

Пускай сегодня я не в счет,
Но завтра может статься,
Что и Россия зачерпнет
От моего богатства,—

писал самый значительный, на наш взгляд, поэт этой «волны» Иван Елагин (умер в 1987 году).

Мы далеки от трагичности:
Самая страшная бойня
Названа культом личности —
Скромно. Благопристойно.

Блекнут газетные вырезки.
Мертвые спят непробудно.
Только на сцене шекспировской
Кровь отмывается трудно.

Елагинские строки настойчиво врываются в нынешние горячие споры.

Основными изданиями послевоенного русского зарубежья становятся «Новый журнал», «Новоселье», издающийся с 1946 года в Западной Германии журнал «Грани», с 1948 года в Париже — журнал «Возрождение». «„Провинция" (по довоенной терминологии), т. е. Америка и Германия,— заменила Париж в качестве литературных центров»,— отмечает Ю. Терапиано, много сделавший для создания истории литературы русского зарубежья. Он считает, что «именно на «Новоселье» окончилась прежняя довоенная зарубежная литература, с ее критериями вкуса, с ее традициями и отношением к делу писателя и поэта» (81).

Одни из самых увлекательных страниц послевоенной литературы русского зарубежья — мемуарные: подводя жизненные итоги, многие видные эмигранты оставили воспоминания, раскрывающие неизвестные страницы истории, политики, культуры, науки дореволюционной России, свое отношение к революции, к эмиграции, к современникам. Среди множества воспоминаний выделим двухтомник «Бывшее и несбывшееся» Ф. Степуна, «Самопознание» Н. Бердяева, посмертный «Дневник» П. Милюкова, «Воспоминания» и «О Чехове» И. Бунина, «Путь моей жизни» митрополита Евлогия, «Портреты современников» С. Маковского, «Современные записки» М. Вишняка, «Поезд на третьем пути» Дон-Аминадо, «Встречи» Ю. Терапиано, «На берегах Невы» И. Одоевцевой... Еще в годы войны «Новый журнал» опубликовал «Жизнь и встречи» Михаила Чехова. В. Набоков пишет сначала по-английски, а затем переписывает на русский «Другие берега»...

Время невосполнимых потерь литературы русского зарубежья — 50-е годы. «Смерть Бунина (в 1953 году.— *А.А.*) была воспринята символически, как конец зарубежной литературы» (82),— утверждает Г. Струве. Раньше Бунина скончались Федотов, Гиппиус, Тэффи, Шмелев, Вяч. Иванов.

Когда мы в Россию вернемся...
Но снегом ее замело.
Пора собираться. Светает.
Пора бы и двигаться в путь.
Две медных монеты на веки.
Скрещенные руки на грудь,—

грустные слова Георгия Адамовича звучат эпитафией послевоенной зарубежной русской литературе. 1957—1958 годы унесли Ремизова, Алданова, Дон-Аминадо, Георгия Иванова, Оцупа. «Первые

горсти земли, брошенные на его гроб, горсти русской земли (привезенные юношами, побывавшими этим летом на фестивале молодежи)»,— вспоминала о похоронах Алексея Ремизова Н. В. Резникова.

«Колоссальный отток интеллектуалов, которые составили значительную часть общего исхода из Советской России в первые годы большевистской революции, кажется сегодня похожим на скитания какого-то мифического племени, чьи тотемные знаки я теперь выкапываю из праха пустыни. Этот мир уже исчез. Исчезли Бунин, Алданов, Ремизов. Исчез Владислав Ходасевич, величайший русский поэт, какого родил пока что двадцатый век,— писал в марте 1962 года Набоков, представляя англоязычному читателю роман «Дар».— Старые интеллектуалы нынче вымирают, и не нашлось их наследников среди так называемых «перемещенных лиц» последних двух десятилетий, которые привезли с собой за границу провинциализм и филистерство их советской родины» (83).

Наш рассказ о судьбах литературы русского зарубежья будет неполным, если вкратце не упомянуть об «отступниках» от нее. Мы имеем в виду тех зарубежных русских, выходцев из России, которые состоялись как писатели, творившие на иностранных языках. Таких было немало и в межвоенные, и в послевоенные годы, особенно много во Франции. З. Шаховская даже составила библиографический справочник о русско-французских писателях.

Феномен Набокова, одинаково успешно работавшего на русском и английском языках,— почти исключение. Как правило, такие писатели были «детьми эмиграции», и их литературное дарование сформировалось вне пределов России, но русская тема впрямую или исподволь проходит через творчество многих из них. Назовем хотя бы имена таких всемирно известных писателей, как Алехо Карпентьер, Питер Устинов, Анри Труайя, Натали Саррот, Владимир Волков.

В 70-е годы, когда ушли из жизни последние крупные представители литературы русского зарубежья — Зайцев, Газданов, Вишняк, Адамович, Слоним, Набоков (Терапиано умер в 1980 году), начинается сбор сведений о литературном наследии русской эмиграции. Мы уже упоминали двухтомный труд Людмилы Фостер «Библиография русской зарубежной литературы. 1918—1968», изданный в 1970 году в Бостоне. Русская зарубежная книжная палата в Нью-Йорке по инициативе М. Шатова предприняла издание каталога русской эмигрантской периодики.

Необходимо выделить труды Института славяноведения в Париже. В 1976—1981 годы выпущено двухтомное издание «Русская эмиграция в Европе. Сводный каталог периодических изданий. 1855—1979». Уникальный двухтомник, сообщающий об 1926 зарубежных русских изданиях, увидел свет благодаря прежде всего энергии и упорному труду Т. А. Осоргиной и А. М. Волковой (84). Русская библиотека Института славяноведения издала в серии «Русские писатели во Франции» отдельные библиографии произведений Зинаиды Гиппиус, Михаила Осоргина, Марка Алданова, Николая Бердяева, Николая Лосского, Ивана Шмелева, Льва Шестова, Семена Франка, Алексея Ремизова. В 1988 году институтом выпущен обширный библиографический справочник «Русская эмиграция. Журналы и сборники на русском языке. 1920—1980. Сводный указатель статей». Составительская группа из восьми человек во главе с Т.Л. Гладковой и Т. А. Осоргиной проделала за десять лет большую работу по учету публикаций писателей и литературных критиков русского зарубежья. «Было просмотрено 1384 тома (45 журналов, 16 сборников); в результате этого получилось 25260 названий: 23325 статей авторов, крупных и малоизвестных, трех поколений эмиграции и 1935 заметок без подписи» (85).

Труднее любителям поэзии ориентироваться в огромном поэтическом наследии русской эмиграции. Из сотен и

сотен поэтических книг выделим наиболее заметные антологии и коллективные сборники: антология «Якорь», изданная в Париже в 1936 году Г. Адамовичем и М. Кантором; парижский сборник «Эстафета» 1948 года, собранный Ю. Терапиано, И.Яссен и В. Андреевым; антология «На Западе», выпущенная в 1953 году в Нью-Йорке под редакцией Ю. Иваска; собранный Ю. Терапиано сборник «Муза Диаспора», увидевший свет в 1960 году.

Следует также отметить подвижническую деятельность французского русиста Рене Герра, «влюбленного, не нахожу более подходящего слова,— утверждает Ирина Одоевцева,— в русскую зарубежную литературу и живопись. Его квартира — настоящий музей и хранилище тысяч книг, рукописей, писем, фотографий и документов, написанных в эмиграции» (86). Р. Герра выступает в последние годы неутомимым пропагандистом и публикатором литературы русского зарубежья.

* * *

Октябрьская революция и гражданская война разделили русскую литературу надвое: на советскую и зарубежную. Полувековой опыт взаимоотношений русской советской литературы и литературы русского зарубежья, насыщенный взаимными нападками, «уничтожением» друг друга, не сразу пришедшим желанием понять «ту сторону», существенно отразился в первую очередь на эмигрантской литературе, вынужденной, по образному выражению зарубежного критика Н. Андреева, «высыхать, теряясь в чужеземных песках». Без истории этих взаимоотношений, хотя бы и весьма краткой, невозможен рассказ о литературе русского зарубежья.

Иван Тхоржевский, создавший самую крупную зарубежную историю русской литературы, писал в 1946 году, что в короткий срок «образовалась своя партийная белая библиотека — у эмигрантов, и такая же, красная, библиотека — в советской России. Два враждебных отдела беллетристической пропаганды. В белой библиотеке прославлялись героические эпизоды белой борьбы; главным же образом шло лютое обличение «окаянных дней революции». В советской, красной библиотеке было меньше памфлетов и меньше ненависти. Молодую советскую литературу тянуло не к обличениям врагов, а к самовозвеличению» (87).

Лицом к лицу стали две литературные армии.

Красная — во главе с поэмой «Двенадцать» Блока, «Железным потоком» Серафимовича, «Инвективой» Брюсова, «150 000 000» Маяковского, «Цементом» Гладкова, «Сорок первым» Лавренева, «Конармией» Бабеля, «Голым годом» Пильняка, «Разгромом» Фадеева, «Бронепоездом 14-69» Вс. Иванова, «Тихим Доном» Шолохова.

Белые выставили «Окаянные дни» Бунина, «Очерки русской смуты» Деникина, «Дневники» Гиппиус, «Солнце мертвых» Шмелева, «Зверя из бездны» Чирикова, «Ленина» Алданова, «Дзержинского» Гуля, «От Двуглавого Орла к красному знамени» Краснова, «Философию неравенства» Бердяева, «Социологию революции» Сорокина.

Многие не «воевали», а ушли в себя. «Я — соловей, я без тенденций и без особой глубины»,— бравирует Игорь Северянин. «Я засов тяжелый кладу на дверь, чтоб ветер революций не разметал моих листов заветных». Это Ходасевич.

Другие, «не воюя», тяжело переживали за Россию и Россию не покинули.

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,—
Мне голос был: он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда»...

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,

Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух,—

писала в конце 1917 года Анна Ахматова, отвергшая предложения удалиться в эмиграцию. Максимилиан Волошин, чье отношение к революции было весьма сложным (порой ему казалось, что Россия гибнет — «России нет — она себя сожгла», «с Россией кончено...»), находясь в феодосийской больнице в ноябре 1921 года, говорит, как и Ахматова:

Но твоей голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доконает голод или злоба,—
Но судьбы не изберу иной...

Таких свидетельств со стороны многих российских писателей немало. «Если кликнет рать святая: „Кинь ты Русь, живи в раю“,— я скажу: „Не надо рая, дайте родину мою“»,— чеканит слова Сергей Есенин. Находясь в 1922 году в Берлине, на встречах с эмигрантскими писателями в Доме искусств Есенин нарочито своим поведением подчеркивает «советскость». Позже, рассказывая своим друзьям об этих встречах, он признавался: «Где бы я ни был и в какой бы черной компании ни сидел (а это случалось!), я за Россию им глотку готов был перервать. Прямо цепным псом стал, никакого ругательства над Советской страной вынести не мог. И они это поняли. Долго я у них в большевиках ходил».

«Белая» сторона тоже ничего прощать не собиралась. В «Петербургском дневнике» З. Гиппиус есть перечень фамилий «русских интеллигентов-перебежчиков», вставших на путь сотрудничества с Советской властью. Мечтая о победе контрреволюции, Гиппиус записывает всех «за упокой». В списке А. Блок, А. Белый, С. Есенин, Вс. Мейерхольд, Л. Рейснер, К. Чуковский и др. (88). Особенно доставалось Горькому. Его личность вызывала у «непримиримой» части эмиграции приступы ненависти. Так, в начале 20-х годов берлинская газета «Общее дело» уверяла, что вся русская интеллигенция в связи с болезнью М. Горького только и думала, «чтобы он сдох поскорее», и недоумевала, «зачем этакую сволочь лечат». Евгений Чириков написал целую ругательскую книгу, в которой называл его «Смердяковым русской революции, хамом, босяком, лакеем, Каином, Иудой, Пилатом, предателем и убийцей».

Горький тоже не оставался в долгу: ведь гражданская война в русской литературе не окончена, время относительного затишья и мирных переговоров далеко впереди... «С изумлением, почти с ужасом слежу, как отвратительно разлагаются люди, еще вчера «культурные»,— писал в 1925 году Горький Федину.— Зайцев бездарно пишет житня святых. Шмелев — нечто невыносимо истерическое, Куприн не пишет — пьет. Бунин переписывает «Крейцерову сонату» под титулом «Митина любовь», Алданов — тоже списывает Л. Толстого. О Мереж⟨ковском⟩ и Гиппиус — не говорю. Вы представить не можете, как тяжело видеть все это. Ну, ладно, все пройдет. Все. Многое сослужит службу хорошего материала для романиста. И за это — спасибо!» (89).

Конфронтационные настроения захватили многих. Стоило известному критику Д. Святополку-Мирскому в 22-й книге «Современных записок» написать теплые слова об умершем В. Брюсове и показать, что внес он в сокровищницу русской поэзии, как в следующем же номере выходит статья Ходасевича, резко осуждающая Брюсова. Более того, спустя пятнадцать лет, составляя в 1939 году свой предсмертный том воспоминаний «Некрополь», Ходасевич включает в него статью «Брюсов» 1924 года.

В советской печати 20-х годов в отношении образующейся литературы русского зарубежья господствовало определение «мертвая красота», принадлежащее Дмитрию Горбову, немало писавшему на эмигрантско-литературные темы. Молодая советская критика игнорировала эмигрантской литературе верно-

подданническую твердокаменность, дух неприкаянности и тлетворной безбудущности; прочила ей в ближайшее время неотвратимую гибель. Вполне в духе времени А. Воронский, главный оппонент эмигрантских писателей первых пооктябрьских лет, характеризовал их 28 июня 1922 года в «Правде» «литературными импотентами», превратившимися в «своеобразную секту вертидырников от литературы».

Белоэмигрантская литературная критика поначалу тоже не утруждала себя поисками аргументов в споре, взявшись утверждать, что на литературном поле, перепаханном революцией, не выросло и не вырастет ничего, кроме чертополоха.

Но взаимными проклятиями долго не проживешь. Наиболее проницательные эмигрантские критики отчетливо понимали, что плодоносить древо русской литературы способно лишь на родной земле. Они жадно следили за становлением советской русской литературы. «Под термином «советская литература» я понимаю литературу, выходящую на территории Советской России. Игнорируя всю коммунистическую агитлитературу с пролеткультщиной во главе и оставляя в стороне живущих сейчас в России, но уже до революции вполне определившихся больших писателей, как Белый, Ценский и др., я сосредотачиваю свое внимание в первую очередь на Серапионовых братьях, Лидине, Пильняке, Бабеле, Леонове, Сейфуллиной и др., поскольку они дошли до меня»,— писал Ф. Степун в нашумевших «Мыслях о России», одновременно осуждая «напостовцев — чекистов от литературы». Он отмечал, что «самый, быть может, талантливый и чуткий к современности автор Советской России — Леонид Леонов». Автор «Мыслей о России» говорит беспощадные слова о русском зарубежье: «Помнить о прошлом эмиграции никто не в силах ни воспретить, ни помешать, но помнить его она как раз и не хочет; она хочет в нем жить» (90).

Да, русской эмиграции не удалось переспорить время, а лучшие произведения ее литературы насквозь пронизаны щемящей, берущей за сердце тоской по России. «Литература эмиграции поражает именно отсутствием каких-либо, хотя бы формальных, достижений; в ней совершенно не проявляются те упорные и очень любопытные искания в области слова, которые идут в России и наложили свою печать на творчество прозаиков, начиная от Пильняка, кончая Леоновым, и поэтов, начиная от Маяковского и кончая Тихоновым или Пастернаком» (91),— подводит итоги первого пятилетия существования литературы русского зарубежья М. Слоним, наиболее последовательный пропагандист советской литературы 20-х годов в среде русских эмигрантов.

Подобные публикации не оставались незамеченными в Советской России. Ведь они отмечали достижения молодой советской литературы и то, что новый расцвет русского художественного слова может произойти только на родине; а также из-за саморазоблачительных мотивов — русская литература в эмиграции не имеет будущего. А. Воронский в юбилейной статье «Десятилетие Октября и советская литература» признает наличие литературы русского зарубежья, хотя и с обязательными оговорками: «нет дыхания эпохи» и «поражает своей бедностью». «Она существует за границей, но, за исключением Ивана Бунина, весом у нас не пользуется. Бунина же у нас ценят и многие пролетарские писатели за высокое мастерство, за углубленность художественного взгляда, за тонкость рисунка, за пушкинский язык. Но едва ли увлекает его холодный фатализм, неверие в человека, его мистицизм. Вообще же, литература эмиграции на явном ущербе: Куприн молчит, Шмелев пишет на нас злобные и неуемные пасквили, Мережковский скучен, Чириков плох и совсем выдохся; из «молодых» интересен Алданов (Ландау). Урожай тут не богатый» (92). Оценка, как мы уже знаем, не совсем полная и точная,

но все же не «вертидырники» и «импотенты»...

Отметим, что Бунина, несмотря на «Окаянные дни», нелестные отзывы о советской литературе («лирика Есенина — писарская, душещипательная, нарочито разухабистая»; «Бабель — новинка не бог весть какая»; А. Веселый и И. Сельвинский — «непроходимая зеленая скука, на их страницы плюнуть хочется»; «Пастернак — очень неинтересный и очень надоевший»), издавали в 20-е годы в СССР. Ленинградское издательство «Книжные новинки» выпустило в 1926 году «Митину любовь», харьковское издательство «Космос» в 1927 году — «Дело корнета Елагина», московское «Земля и Фабрика» в 1928 году — «Худую траву», Госиздательство в 1927—1928 годах — двумя изданиями книгу избранных рассказов Бунина «Сны Чанга».

В тех же 1927—1928 годах в Москве выходят книги Романа Гуля «Жизнь на фукса» и «Белые по черному», написанные по заказу Госиздательства. В них автор достаточно ярко показывал убогое существование русского зарубежья и крах «белой идеи». Позднее Гуль «переменил вехи», написал «Коня рыжего», «Тухачевского», «Дзержинского» — книги, «неприемлющие» Советскую власть. Но такие случаи публикации эмигрантских авторов в СССР были лишь исключением или небольшим отступлением от правила «кто сегодня поет не с нами, тот против нас». Пока же:

Лиры крыл пулемет-обормот,
И, взяв лирические манатки,
Сбежал Северянин, сбежал Бальмонт
И прочие фабриканты патоки.

«В Париже самая злостная эмиграция — так называемая идейная: Мережковский, Гиппиус, Бунин и др. Нет помоев, которыми бы они не обливали все относящееся к РСФСР» (93),— писал, вернувшись из Франции, Маяковский. Его тоже не жаловали зарубежные собратья. Прямо-таки с ненавистью отзываются о нем Бунин, Ходасевич... Цветаева, встретившись с Маяковским в Париже, писала об этом: «28 апреля 1922 г., накануне моего отъезда из России, рано утром на совершенно пустом Кузнецком я встретила Маяковского.

— Ну-с, Маяковский, что же передать от вас Европе?

— Что правда — здесь.

7 ноября 1928 г. поздним вечером, выйдя из Café Voltaire, я на вопрос:

— Что же скажете о России после чтения Маяковского? — не задумываясь ответила:

— Что сила — там» (94).

После публикации заметки она писала 3 декабря 1928 года Маяковскому: «Знаете, чем кончилось мое приветствование Вас в «Евразии»? Изъятием меня из «Последних новостей», единственной газеты, где меня печатали... «Если бы она приветствовала только поэта Маяковского, но она в лице его приветствовала новую Россию...» Вот вам Милюков — вот Вам я — вот Вам вы. Оцените взрывчатую силу Вашего имени...» (95). Это письмо Маяковский включил в экспозицию своей выставки «Двадцать лет работы».

Тот же Маяковский определяет как «фронтовую измену» публикацию Б. Пильняком за рубежом романа «Красное дерево», не принятого советскими издательствами. Он далеко не одинок в таких оценках. «Для всякого честного советского писателя нет двух мнений по поводу того, что двурушничество недопустимо. Советский писатель не может печататься в эмигрантских изданиях. И советская общественность весьма своевременно, в связи с данным случаем, поставила общий, принципиальный вопрос и подняла кампанию за оздоровление литературных нравов»,— пишет главный редактор «Красной нови» Ф. Раскольников 2 сентября 1929 года в «Литературной газете». Секретариат РАПП в самых резких тонах — «подарок врагам Советской власти» — осуждает Пильняка и Замятина за «сотрудничество с

белогвардейскими кругами». «Издание советским писателем антисоветской вещи в эмигрантском издательстве считаем преступлением против интересов рабочего класса и совершаемой им революции» — лейтмотив той шумной кампании (мы с ней затем не раз столкнемся в 50, 60, 70-е годы...).

Наступали еще более суровые времена, 30-е годы. В огромных масштабах стала претворяться в жизнь сталинская идея об обострении классовой борьбы по мере дальнейшего укрепления социализма. В первом ряду врагов — белоэмиграция, русское зарубежье.

Литературных критиков 20-х годов, рассуждающих о советской и эмигрантской литературах, сменили фельетонисты. А. Воронского на посту «дежурного критика» белоэмиграции заменяет М. Кольцов. Ни тому, ни другому не удалось, как мы знаем, избежать мясорубки репрессий. Немало потрудились советские писатели и поэты тех лет над образом белогвардейца-эмигранта, пропивающего жизнь, «продавшегося с потрохами» трем иностранным разведкам, размазывающего слезы по белоствольной матушке России. Образ этот жил десятилетиями на страницах многих книг, киноэкране. На долгие годы прерываются, за редчайшим исключением, связи между «метрополией» и «диаспорой» русской литературы. М. Осоргин, внимательно следивший за ходом общественно-политических процессов в СССР, с болью писал в 1936 году другу в Москву: «Дело в том, что вы нашли истину, ту самую, которую много тысяч лет ищут мыслители и художественные творцы. Вы ее нашли, записали, выучили наизусть, возвели в догму и воспретили кому-либо в ней сомневаться. Она удобная, тепленькая, годная для мещанского благополучия и выхода в новые дворяне. Нечто вроде христианина и православной церкви: оправдывает и человеколюбие, и смертную казнь. Рай с оговорочками, впуск по билетам, на воротах икона чудотворца с усами» (96).

Надежно опущен «железный занавес» — советский читатель лишен права читать произведения литературы русского зарубежья. Зарубежье же, наоборот, вчитывалось в советскую литературу, пытаясь разглядеть за книжными страницами существо происходящего в новой России. «Дошел и читался нарасхват роман Федина «Города и годы», привлек внимание молодой Леонов, внимательно и без нарочитой предвзятости читали и перечитывали «Тихий Дон» Шолохова.

Восторгался стихами Есенина упорствовавший Осоргин и, где только мог, повторял, закрывая глаза, есенинскую строчку «Отговорила роща золотая...».

Близким и понятным показался Валентин Катаев.

«Каким-то чужим, отвратным, но волнующим ритмом задевала за живое «Конармия» Бабеля» (97),— вспоминал Дон-Аминадо. «В лице Леонова, Федина, Олеши и некоторых других молодых прозаиков молодая, пореволюционная литература восстановила свою связь с классической традицией и в основном продолжила заветы русского романа» (98),— отмечает М. Слоним.

Цветаева откликается на смерть Маяковского циклом стихов — «В гробу в больших стоптанных башмаках, подбитых железом, лежит величайший поэт революции». Ходасевич завершает «Некрополь» любовно написанным, даже с преклонением перед писателем, очерком «Горький».

В центре внимания русского зарубежья 30-х годов две книги — «Тихий Дон» и «Петр Первый».

Еще не состарившаяся «белая гвардия» яростно обсуждала роман Шолохова, особенно казаки, осевшие в Югославии и Болгарии. «Читал я «Тихий Дон» взахлеб, рыдал-горевал над ним и радовался — до чего же красиво и влюбленно все описано, и страдал-казнился — до чего же полынно-горька правда о нашем восстании. И знали бы вы, видели бы, как на чужбине казаки — батраки-поденщики — собирались по вечерам у меня в

сарае и зачитывались «Тихим Доном» до слез и пели старинные донские песни, проклиная Деникина, барона Врангеля, Черчилля и всю Антанту,— писал К. Прийме, автору книг о творчестве М. А. Шолохова, в 1961 году из Болгарии бывший хорунжий из Вешек Павел Кудинов.— ...Скажу вам, как на духу,— «Тихий Дон» потряс наши души и заставил все передумать заново, и тоска наша по России стала еще острее, а в головах посветлело. Поверьте, что те казаки, кто читал роман М. Шолохова «Тихий Дон», как откровение Иоанна, кто рыдал над его страницами и рвал свои седые волосы (а таких были тысячи!),— эти люди в 1941 году воевать против Советской России не могли и не пошли. И зов Гитлера — «дранг нах остен» — был для них гласом вопиющего, сумасшедшего в пустыне» (99).

Ф. Шаляпин называл толстовский роман о Петре «изумрудно-талантливым». И. Бунин, постоянно упрекавший Алексея Толстого за «большевизанство», прочитав «Петра Первого», пришел в неистовый восторг; он сразу написал в редакцию «Известий» открытку на имя Толстого: «Алеша! Хоть ты и... но талантливый писатель. Продолжай в том же духе». И свои воспоминания о нем Бунин назовет «Третий Толстой».

Конечно, в русской эмиграции и у Шолохова, и у Толстого объявились не только поклонники, но и недоброжелатели. Особенно много их появилось у автора «Тихого Дона». Никак не могли простить ему правдивого изображения гражданской войны «непримиримые» критики. На долгие годы разводится возня и вокруг романа, и вокруг имени его создателя. С новой силой грязная толчея около «Тихого Дона» вспыхнула во второй половине 60-х годов, после присуждения М. А. Шолохову Нобелевской премии. Зарубежные, в первую очередь русского происхождения, толкователи советской литературы вновь стали отлучать гениальный роман-эпопею от мировой литературы, обвинять автора в многословии, поверхностном подходе к показу характеров героев, перегрузке жанровым материалом и т. д.

Защитники Шолохова нашлись не только среди советских авторов, но и среди наших зарубежных земляков. Князь Николай Трубецкой в книге «Михаил Шолохов. Жатва на Дону», вышедшей в свет в 1970 году в Цюрихе, оценивает роман «Тихий Дон» как «колоссальную реалистическую картину», созданную с «абсолютной объективностью», правдиво раскрывающую сложный путь казаков «к восприятию революционных принципов» (100). Князь относит роман к вершинным достижениям мировой литературы.

Хватало врагов и у Алексея Толстого. Ему многие в эмиграции не могли простить «измены», «дезертирства» — возвращения в Советскую Россию.

Своим «советским паспортом» назвал Алексей Толстой «Открытое письмо Н. В. Чайковскому», опубликованное в эмиграции 14 апреля 1922 года. По поручению Исполнительного бюро комитета помощи писателям-эмигрантам Чайковский (бывший глава одного из марионеточных белогвардейских правительств) потребовал у писателя объяснений по поводу его сотрудничества в берлинской сменовеховской газете «Накануне». «Живьем в подвал — нет!» — в свойственной ему манере заявляет писатель и вскоре возвращается на родину. В одном из писем А. Толстой так объяснил причины, побудившие его написать письмо к Чайковскому: «Русские эмигранты (политические деятели) ведут себя как предатели и лакеи. Клянчат деньги, науськивают, продают, что возможно... России не на кого рассчитывать — только на свои силы. И главная сила России сейчас в том (в России этого не чувствуют, кажется), что Россия прошла через огонь революции, у России горячее дыхание. Это можно почувствовать, лишь сидя здесь, на Западе, где не было потрясения революции, но где жизнь идет на ущерб... Так вот, в общих чертах, причины, заставившие меня написать письмо в «Накануне». Я отрезаю себя от эмиграции». В марте 1922 года

Алексей Толстой перестает подписывать свои письма графским титулом.

18 июня 1937 года в газете «Известия» были опубликованы краткие «Отрывки воспоминаний» выдающегося русского писателя Александра Ивановича Куприна, незадолго до того вернувшегося на родину после 17-летнего добровольного изгнания. Куприн писал о том, что он с болью вспоминает о своем пребывании в эмиграции. «Должен сказать только,— продолжал он,— что я давно уже рвался в Советскую Россию, так как, находясь среди эмигрантов, не испытывал других чувств, кроме тоски и тягостной оторванности». В этих чувствах признавались практически все писатели, эмигрировавшие после Октябрьской революции, признавались и в печати, и в частной переписке, и в дневниках, ставших ныне достоянием читающей публики.

Если хронологически обозреть историю возвращения писателей-эмигрантов в СССР, то первой крупной фигурой (вслед за Алексеем Толстым) следует считать Андрея Белого. Открыватель новых горизонтов языка, автор романа «Петербург» и книги стихов «Пепел», Андрей Белый пробыл в эмиграции недолго (1922—1923 годы). «Ужасно скучаю по России,—записывает он в дневнике 24 июля 1923 года.— Трудно жить с берлинскими русскими». О его возвращении ходили нелепые слухи, видимо, инспирированные эмигрантскими политиканами. Этим домыслам, бывало, верили лучшие представители русского зарубежья. Марина Цветаева, с которой он поддерживал тесные контакты в Берлине, писала много лет спустя после отъезда Андрея Белого на родину: «Больше я о нем ничего не слышала. Ничего, кроме смутных слухов, что живет он где-то под Москвой... Пишет много, печатает мало, в современности не участвует и порядочно-таки забыт».

Цветаева была обманута эмигрантскими слухами, обманута и в частности, и в главном. Писал и печатался Андрей Белый достаточно много. Созданные им тогда две книги интереснейших воспоминаний и сейчас широко читаются в СССР. Щедро делился Андрей Белый с молодыми писателями своей богатейшей эрудицией, принимал участие в литературных диспутах. На собрании советских писателей он говорил о готовности всем своим творчеством служить революционной России. Когда в 1934 году он скончался, газета «Правда» писала в некрологе: последний из крупнейших представителей русского символизма Андрей Белый умер советским писателем.

Для активного «участия в современности» вернулся на родину человек интересной судьбы — князь Дмитрий Святополк-Мирский. Представитель одной из древнейших аристократических фамилий России, он вступил в белую армию, дослужился до полковника. В эмиграции князь, человек широкой эрудиции, занялся литературоведением. В 1926 году он издал книгу «Современная русская литература. 1881—1925 гг.». Размышляя о судьбах родины, следя за ходом событий в Советской России, Святополк-Мирский в результате мучительной переоценки ценностей пришел к осознанию своей былой неправоты. В 1932 году он вернулся на родину и много выступал в печати как литературный критик.

Именно для того, чтобы «участвовать в современности», возвращались писатели из остановившегося эмигрантского времени в кипучую, сложную, противоречивую жизнь Отечества. Вернулся С. Скиталец — для активной работы, для того, чтобы написать еще много интересных книг. Вернулся певец родной природы И. Соколов-Микитов. Да и сама Марина Цветаева сердцем тянулась к родине.

Даль, прирожденная,
как боль,
Настолько родина и столь —
Рок, что повсюду,
через всю
Даль — всю ее с собой несу!
Даль, отдалившая мне близь,
Даль, говорящая: «Вернись
Домой!»

Она вернулась в СССР в 1939 году, сказав в одном из стихотворений, что 17 лет, проведенные на чужбине, прошли «под золой эмиграции».

Известно об ее одиночестве в зарубежье. «Нет, голубчик, ни с теми, ни с этими, ни с третьими, ни с сотыми, и не только с «политиками», а я и с писателями — не, ни с кем, одна, всю жизнь, без книг, без читателей, без друзей,— без круга, без среды, без всякой защиты, причастности, хуже, чем собака...» (101),— пишет она 4 апреля 1933 года Ю. Иваску. Цветаеву не любили ни в Берлине, ни в Праге, ни в Париже за гордый, независимый характер, остроту суждений о белоэмиграции (102). «Они не Русь любят, а помещичьего гуся — и девок»,— говорила она про эмигрантских «вождей» и «политиканов».

Многие в зарубежье считали ее поэзию заумной, непонятной. Писала она в эмиграции много — и стихи, и прозу, и воспоминания, и статьи о литературе и искусстве. Вернулась Цветаева на родину с маленьким сыном, вслед за дочерью и мужем... О трагедии этой семьи написано много...

«Марина Цветаева — наш общий грех, наша общая вина. Мы все перед ней в неоплатном долгу. Зинаида Шаховская в своих «Отражениях» приводит слова Марины Цветаевой, произнесенные ею при их последней встрече со вздохом: «Некуда податься — выживает меня эмиграция». Она была права — эмиграция действительно «выживала» ее, нуждавшуюся в любви, как в воздухе, своим полнейшим равнодушием и холодом — к ней. Мы не сумели ее оценить, не полюбили, не удержали от гибельного возвращения в Москву. Не только не удержали, но даже скорее толкнули ее на этот пагубный шаг» (103),— напишет спустя десятилетия Ирина Одоевцева, вернувшаяся в СССР на склоне лет,— в совсем другое время!

Бунин за полтора месяца до начала Великой Отечественной войны пишет в Москву писателю Н. Д. Телешову, «дорогому Митричу»: «Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой». Алексей Толстой решительно взялся содействовать возвращению Бунина, пишет письмо Сталину, где характеризует Ивана Алексеевича как крупнейшего, непревзойденного мастера русского языка и литературы.

Необычайно скупой на похвалы для писателей, Бунин, возобновив прерванную войной переписку с «дорогим Митричем», просит его 10 сентября 1947 года: «Я только что прочитал книгу А. Твардовского («Василий Теркин») и не могу удержаться — прошу тебя, если ты знаком и встречаешься с ним, передать ему при случае, что я (читатель, как ты знаешь, придирчивый, требовательный) совершенно восхищен его талантом,— это поистине редкая книга: какая свобода, какая чудесная удаль, какая меткость, точность во всем и какой необыкновенный народный, солдатский язык — ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого, слова» (104). Он, ранее бурно протестовавший против издания в СССР своих произведений, теперь разрешает издавать «все, что угодно».

Военные годы значительно улучшили (к сожалению, ненадолго) отношение в Советском Союзе к русскому зарубежью. В конце 40-х годов из Франции и Китая, США и Бельгии, Югославии и Канады возвращались реэмигранты на родину, дорогой ценой заплатившую за спасение Европы и мира от ужасов фашизма. Не на легкую жизнь возвращались в трудные послевоенные годы наши зарубежные земляки. Среди них немало писателей, особенно представителей «незамеченного» поколения — Ю. Софиев, А. Эйснер, А. Ладинский, Н. Рощин, Н. Ильина, Л. Любимов. Еще раньше, в 1943 году, вернулись из Китая А. Вертинский и В. Иванов.

Первое десятилетие их голосов не слышно, они «молчат». Лишь после XX съезда партии внимание широкой советской общественности не могли не привлечь мемуары Льва Любимова и Наталии Ильиной, Дмитрия Мейснера и Алексан-

дра Вертинского, Бориса Александровского и Павла Шостаковского, Вадима Андреева и Ивана Попова, Веры Андреевой и Ксении Куприной. Они открыли для нас удивительный, неповторимый мир русского зарубежья.

Возьми мой талант, и мои
неуставшие руки,
И опыт, и память, и гнева
отточенный меч,
И верное сердце, что выросло
в долгой разлуке,
И строгую лиру, и мягкую
женскую речь,
И посох возьми, что стучал
о холодные плиты
Чужих городов, и веками
накопленный клад,—

писала в стихотворении «России» вернувшаяся на родину самобытная поэтесса Мария Вега.

Главная тема воспоминаний послевоенного русского зарубежья — мучительное признание «Россией № 2» реальностей сокрушившей ее действительности, признание Советской власти многими ее вчерашними врагами. Были здесь и размышления о необычных судьбах русских эмигрантов,— да и каждый из мемуаристов являлся «обладателем» уникальной судьбы,— картины эмигрантского быта, описание культурной, литературной жизни русского зарубежья и причудливых интриг эмигрантской политической «кухни». «Трудный у нее материал. Она ведь пишет о том, чего нет и никогда не будет, и уже неизвестно, было ли. Это все равно, что месить тесто из облаков...» (105),— отзывается Анна Ахматова на роман Н. Ильиной «Возвращение».

Известностью у советских читателей пользуются книги Юрия Слепухина. Пятнадцатилетним мальчиком он был вывезен фашистами в Германию. Став после окончания войны «перемещенным лицом», после скитаний по разным странам он осел в Аргентине. Журнал «Нева» в 1958 году, через год после его возвращения на родину, публикует повесть Слепухина «Расскажи всем». Затем стали популярны его романы «У черты заката», «Джоанна Аларика», «Южный крест» и другие произведения.

Вслед за писателями-реэмигрантами к художественному изображению различных сторон бытия русского зарубежья потянулись советские писатели — Лев Никулин, Елена Микулина, Василий Ардаматский, Иван Добра, Вячеслав Костиков, Марк Еленин, кинорежиссеры Сергей Колосов, Александр Алов, Владимир Наумов, Эмиль Лотяну, Леонид Карасик. Разумеется, не все их произведения равноценны. Споры, вспыхнувшие вокруг гранинского «Зубра», Тимофеева-Ресовского, заставляют думать о том, что во многом подлинная правда, в том числе и художнически осмысленная, о русском зарубежье ждет нас впереди.

Советские литературоведы и критики начиная с 60-х годов принялись за осмысление литературного наследства русского зарубежья. Прежде всего необходимо, на наш взгляд, отметить большие заслуги Олега Михайлова в публикации произведений эмигрантской русской литературы. Многие аспекты истории литературы русского зарубежья, жизни и творчества отдельных ее представителей рассмотрены в книгах и статьях С. Макашина, Ю. Андреева, О. Ласунского, В. Баранова, С. Боровикова, Н. Богомолова, В. Перельмутера, В. Борщукова, А. Саакянц, В. Орлова, А. Кузнецова, А. Метченко... Пока не создано обобщающих работ по истории литературы русского зарубежья, «аналога» эмигрантской «Литературе в изгнании» Глеба Струве, но уже появились первые «ласточки». Например, роман-хроника Лаврова Валентина «Холодная осень. Иван Бунин в эмиграции (1920—1953)». Первая советская книга, полностью посвященная эмигрантскому периоду жизни и творчества выдающегося русского писателя.

Разговор о взаимоотношениях советской литературы и литературы русского зарубежья будет неполным, если не отметить большие заслуги в послевоенные

годы, особенно в 60—70-е, наших зарубежных соотечественников в сохранении наследия русской литературы XX века.

Западные русисты, филологи, слависты русского происхождения взяли на свои плечи основную тяжесть подготовки и издания многотомных собраний сочинений Ахматовой, Гумилева, Пастернака, Клюева, Цветаевой, Волошина, Ходасевича, Хлебникова, Андрея Белого, Г. Иванова, Кузмина, Ремизова, Мандельштама, Солженицына, Высоцкого, книг Бабеля, Пильняка, Заболоцкого, Клычкова, Эрдмана, Шаламова, Гроссмана. В наши дни, когда к советскому читателю приходят многие из этих произведений, мы не должны забывать и их первых публикаторов «там».

Главное, очевидно, нам предстоит еще многое понять и переосмыслить — почему русская литература XX века оказалась и советской, и зарубежной.

В России новой, но великой
Поставят идол мой двуликий
На перекрестке двух дорог,
Где время, ветер и песок...

Сбывается пророчество Владислава Ходасевича. Наступающее перемирие, наметившееся слияние двух потоков русской литературы, «метрополии» и «диаспоры» отечественной культуры и истории — одно из завоеваний нового мышления. Труден будет путь к «России новой, но великой». Судьба и до гигантских потрясений начала XX века не очень-то благоволила к России. Но время, двадцатый век уготовил России невиданные в мировой истории испытания для ее сынов и дочерей.

Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил,
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,

дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!

Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд,
поздно, поздно, никто не ответит,
и душа никому не простит.

Строки Владимира Набокова из стихотворения «К России» пронизаны мучительным мотивом отречения от родины, горечью обвинения своей родной страны за свою собственную, исковерканную судьбу. Немало подобных свидетельств и признаний погребено для нас на страницах русских эмигрантских газет и журналов. Чем ответить сегодня на эти упреки и обвинения?! Миллионы и миллионы подданных России (и советской, и зарубежной), безвинные жертвы на алтаре новейшей российской истории...

Но, несмотря на суровые беженские испытания, душевные муки, в русском зарубежье всегда таилась, теплилась, жила Вера и Надежда о лучшей участи для своего родного народа. И Зинаида Гиппиус, пославшая столько проклятий на голову русского народа, в минуту откровения страстно молится:

Она не погибнет,— знайте!
Она не погибнет, Россия.
Они всколосятся,— верьте!
Поля ее золотые.
И мы не погибнем,—
верьте!
Но что нам наше спасенье:
Россия спасется,— знайте!
И близко ее
воскресенье.

Мы не найдем сегодня твердых нравственных опор в нашем стремлении достойно двигаться вперед, если не возьмем в союзники — без всяких оговорок! — все честное и мудрое, выстраданное зарубежной Россией.

* * *

Истинная литература наднациональна. Кто бы, на каком бы языке ни создавал подлинное произведение, всегда оно адре-

суется всему человечеству. Но не было еще ни одного великого литературного произведения, появившегося на пустом месте, вне земли, вскормившей писателя и поэта, давшей ему язык, приобщившей его к культуре, которая помогла ему выразить душу своего народа.

С какими же мерками подходить к литературе русского зарубежья?

Долгие годы на Западе господствовали концепции, всячески принижавшие советскую литературу. «После революции 1917 г. русская литература разделилась на два направления, которые до 1930 года развивались параллельно, нередко сближаясь и переплетаясь друг с другом. С 1930 г. они серьезно разошлись. Традиция русской литературы как художественного феномена развивалась только за рубежом, за пределами России» (106),— утверждает В. Сечкарев в стремлении возвеличить эмигрантскую литературу. Не утруждая себя доказательствами, Алданов в своей последней книге «Ульямская ночь» пишет: «Советская литература за редкими исключениями элементарна до отвращения».

Подобные литературоведческие разработки методологически опирались на более широкие советологические установки об исчезновении русской культуры в нашей стране за годы Советской власти. «Русский национальный организм существовал в состоянии раздвоения: тело находилось под коммунистическим правлением, в то время как мысль и сердце находились в изгнании» (107). Это точка зрения Р. Пайпса. Естественно, вооружившись такой теорией, можно было возвеличивать и расхваливать эмигрантскую литературу на любой лад, а советскую всячески — вплоть «до отвращения» — поносить.

Десятилетиями не жалели крепких слов и советские литературоведы и критики, разбирая дошедшие до них те или иные книги эмигрантских писателей, замалчивая или делая вид, что литературы и культуры русского зарубежья не существует. Многие, правда, под воздействием ветров перестройки, сейчас быстро «сменили вехи» и принялись просвещать нашего читателя в том, что подлинные ценности русской культуры и литературы находились только в эмиграции. «Я лишь призываю всегда и твердо помнить, что долгие годы правда вовсе не была на нашей стороне» (108),— пишет Д. Затонский, подводя итоги опроса «Иностранной литературой» живущих на Западе писателей-эмигрантов. «Известия», представляя парижское издательство ИМКА-Пресс и его продукцию, в том числе и «отлученные книги Ахматовой, Булгакова, Платонова, Солженицына, Н. Мандельштам, русских религиозных философов Бердяева, Федотова, Флоренского, Сергия Булгакова, чьи имена составляют славу и боль отечественной культуры», делает вывод: «Высокая и опасная эта литература была, если воспользоваться известным толстовским сравнением, тем недостижимым ориентиром, которого единственно следовало держаться, переплывая реку, чтобы не быть снесенным потоком» (109).

Думается, что подлинные писатели из успокоившегося русского зарубежья и проживающие сейчас на Западе русские литераторы не нуждаются в столь прямолинейной адвокатуре. Не надо литературу русского зарубежья представлять этакой Золушкой, внезапно явившейся перед нами очаровательной принцессой. Все было и иные имеется в мировоззрении эмиграции из нашей страны: и страстное желание изничтожить большевиков, коммунистов; и мучительные поиски замирения с Советской Россией, СССР; и горячее осуждение капитализма и Запада, массовой культуры, разъедающей общественное сознание; и напряженные религиозные искания...

Мы должны быть признательны времени, что фронтовая установка на «своих» и «чужих» сменяется на выстраданное понимание приоритета общечеловеческих ценностей над классовыми. Применительно к литературе русского зарубежья новое мышление позволяет нам четче увидеть ее место в отечественной культуре. Ведь история русского зарубежья — это часть истории нашего народа, одна из самых драматических ее страниц. Дела

и судьбы русского зарубежья — это дела и судьбы людей, потерявших родину, Россию, тепло отчего дома и токи русской земли.

Соответственно и литература русского зарубежья — часть русской литературы XX века. «Известные русские писатели, попавшие за рубеж: Бунин, Зайцев, Мережковский, Ремизов и другие, принадлежали к тому же кругу русских писателей, которые остались в России: Ахматова, Пастернак, Паустовский, Пришвин... Они были воспитанниками одной и той же культуры и от этой годами приобретенной, главнейшей общности, которая стала частью их самих, ни один, ни другие отойти не могли» (110),— говорит в 1978 году Зинаида Шаховская, отвечая на вопрос: «Одна или две русские литературы?»

Да, в русском зарубежье были большие писатели и поэты, их перу принадлежит немало ярких произведений. Но литературы в широком смысле этого слова, отдельной литературы эмиграция не создала. Приведем на этот счет несколько свидетельств авторов, которых трудно обвинить в антипатиях к литературе русского зарубежья.

Владислав Ходасевич, в последние годы жизни почти целиком «переключившийся» на литературоведение и критику: «Не ища новизны, страшась сопряженного с нею труда и практического риска, боясь независимой критики и ненавидя ее, с годами она отвыкла даже работать, ибо писание даже хороших вещей по собственным трафаретам в сущности уже не есть настоящая работа. Лишь за немногими исключениями, наши писатели в эмиграции не сумели и как-то даже не пожелали усовершенствовать свои дарования... Гора книг, изданных за границей, не образует того единства, которое можно было бы назвать эмигрантской литературой. По-видимому, эмигрантская литература, какова бы она ни была, со всеми ее достоинствами и недостатками, со всей силой творить отдельные вещи и бессилием образовать нечто целостное, в конечном счете оказалась все же не по плечу эмиграитской массе» (111). 1933 год. Статья «Литература в изгнании».

Глеб Струве: «Зарубежная русская литература есть временно отведенный в сторону поток общерусской литературы, который — придет время — вольется в общее русло этой литературы» (112). 1956 год. Книга «Русская литература в изгнании».

Ефим Эткинд, ведущий литературовед так называемой «третьей» волны эмиграции: «Политический произвол разверз пропасть между Востоком и Западом, метрополией и эмиграцией. Все же она, эта пропасть, оказалась не настолько глубокой, чтобы по обе ее стороны появились чуждые друг другу художественные системы, разные литературные языки. Различия, разумеется, со временем углублялись: искусственно отделенные от России — не только географически, но и по строю сознания — поэты второго эмигрантского поколения отошли, казалось бы, от общего пути русской литературы. Уже почти (почти!) встали на подобающие им места М. Цветаева, И. Бунин, А. Куприн, Вяч. Иванов, Саша Черный (даже Ирина Кнорринг). Всякий раз обнаруживалось, что место «реабилитированного» писателя никем не занято и ждет его возвращения. То же самое разыгралось и по поводу возвращения в русскую литературу насильственно изъятых поэтов: Б. Корнилова и П. Васильева, Н. Клюева и О. Мандельштама, А. Ахматовой и Б. Лившица и многих еще. Без них история русской литературы нашего века не только не полна, но даже ущербна, и их возвращение заставляет пересматривать закономерности литературного процесса. Возвращение в общую историю русской словесности В. Ходасевича, Г. Адамовича, З. Гиппиус, Г. Иванова, Дон-Аминадо, Игоря Северянина, Н. Оцупа и многих других поэтов более молодых поколений (например, Поплавского) заставляет пересмотреть исторический процесс, но никак не заставляет написать две истории якобы

двух разных русских литератур» (113). 1978 год. Статья «Русская поэзия XX века как единый процесс».

В наши дни уже нет особого смысла устраивать литературные «перетягивания каната» — «кто больше и лучше» из русских писателей написал в Советском Союзе, кто в эмиграции. Необходимо глубоко изучать созданное лучшими умами русского зарубежья, осознать их вклад в сокровищницу отечественной культуры, выделить все действительно ценное из наследия русской эмиграции.

Думается, что в ближайшее время исчезнет деление творчества мыслителей, писателей и поэтов зарубежья на эмигрантский и доэмигрантский периоды. Оно в сути своей противоестественно. Иван Бунин, Николай Бердяев, Георгий Иванов, Борис Зайцев, Надежда Тэффи, Алексей Ремизов, Марина Цветаева неделимы для русской культуры; и, вчитываясь в романы и публицистику, поэмы и рассказы Дмитрия Мережковского, Ивана Шмелева, Льва Шестова, Игоря Северянина, Федора Степуна, Михаила Осоргина, Ильи Сургучева, мы помним об их нелегкой беженской участи, когда горечь утраты России, непомерным бременем легшая на их плечи, явственно пропитывала страницы их рукописей.

Бесстрастную повесть изгнанья,
Быть может, напишут потом,
А мы под дождя дребезжанье
В промокшей земле подождем.

Печальны строки эмигрантского поэта. С волнением сотрудники издательства «Книга» и создатели антологии «Литература русского зарубежья» представляют ее первый том.

А. Афанасьев

Примечания

1. *Горький М.* Собр. соч.: В 30 т. М., 1954. Т. 17. С. 36.

2. *Ковалевский П. Е.* Зарубежная Россия: История и культ.-просвет. работа рус. зарубежья за полвека (1920—1970). Париж, 1971. С. 11—12. Автор справедливо включает в состав русского зарубежья и те группы русского населения, которые после окончания первой мировой и гражданской войны в силу международных договоров оказались вне границ Советской России. К «миллиону людей» надо «присоединить русское население Бессарабии, объявившее себя таковым при переписи 1920 года (742 тысячи на общее население области в 2 686 000), русские меньшинства в Финляндии (15 тысяч), Эстонии (91 тысяча), Латвии (231 тысяча), Литве (55 тысяч), Польше (5 миллионов 250 тысяч, согласно переписи 30 сентября 1921 года, при общем населении страны в 27 миллионов 177 тысяч), Угорской и Пряшевской Руси (550 тысяч), Китая и полосы отчуждения Восточно-Китайской железной дороги (200 тысяч), США (500 тысяч), Канады (119 тысяч) и Западной Европы (50 тысяч, живших там до революции 1917 года), а всего 8 миллионов 853 тысячи человек. По данным, опубликованным Лигой Наций в сентябре 1926 года, выехало из России после революции 1 160 000 человек» (Там же. С. 12—13).

3. Что делать русской эмиграции. Париж, 1930. С. 11.

4. *Тэффи Н. А.* Воспоминания. Париж, 1932. С. 264—265.

5. *Баранов В.* Судьба писателя в судьбе страны//Коммунист. 1987. № 18. С. 102.

6. Воля России. Прага. 1925. № 1. С. 33.

7. Русская литература в эмиграции: Сб. ст./ Под ред. Н.П. Полторацкого. Питсбург, 1972. С. 21—22.

8. *Струве Г.* Русская литература в изгнании: Опыт ист. обзора зарубеж. лит. 2-е изд., испр. и доп. Париж, 1984. С. 16—17. Первое издание вышло в 1956 году в Нью-Йорке.

9. *Федюкин С. А.* Борьба с буржуазной идеологией в условиях перехода к нэпу. М., 1977. С. 177.

10. Последние новости. Париж, 1920. 27 апр. «Последние новости» были самой крупной газетой русского зарубежья с «богатыми беллетристическим и литературно-критическим отделами». Временами ее тираж доходил до 35—40 тысяч экземпляров; она распространялась во многих странах. Газета явилась парижским продолжением петербургской «Речи». Первым ее редактором был адвокат М. Л. Гольдштейн. С марта 1921 по 1940 год во главе газеты стоял П. Н. Милюков.

11. *Струве Г.* Указ. соч. С. 25.

12. *Милославский П.* Русская книга за рубежом в 1924 году//Воля России. Прага, 1925. № 2. С. 240.

13. *Дон-Аминадо.* Поезд на третьем пути. Нью-Йорк. 1954. С. 296—297.

14. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 44. С. 249.

15. *Аверченко А.* Дюжина ножей в спину революции. Париж, 1921. С. 12, 25.

16. Библиотека В.И. Ленина в Кремле: Каталог. М., 1961. С. 225—240.

17. *Ленин В. И.* Полн. собр. соч. Т. 54. С. 137, 269.

18. *Крайний А.* Литературные заметки// Соврем. зап. Париж. 1924. № 18. С. 124.

19. *Деникин А. И.* Очерки русской смуты. Берлин, 1926. Т. 5. С. 239.

20. *Михайлов О.* «Окаянные дни» Бунина// Москва. 1989. № 3. С. 187.

21. Русская литература в эмиграции. С. 3—4.

22. Русская земля. Париж, 1928. С. 4.

23. Соврем. зап. Париж, 1936. № 62. С. 228.

24. *Бальмонт К.* Письмо из Парижа//Дни. Берлин, 1923. 22 июня.

25. *Амфитеатров А.* Литература в изгнании. Белград, 1929. С. 27.

26. *Гуль Р.* Я унес Россию. Апология эмиграции. Нью-Йорк, 1981. Т. 1. Россия в Германии. С. 120—121.

27. *Струве Г.* Указ. соч. С. 26.

28. *Гуль Р.* Указ. соч. Нью-Йорк, 1984. Т. 2. Россия во Франции. С. 90.

29. *В. И. Ленин и А. М. Горький.* Письма, воспоминания, документы. 3-е изд., доп. М., 1969. С. 287.

30. Последние новости. Париж. 1924. 17 февр.

31. Свободная Россия. Париж. 1925. № 8. С. 513.

32. *Струве Г.* Указ. соч. С. 194.

33. *Терапиано Ю.* Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924—1974). Париж — Нью-Йорк, 1987. С. 71.

34. *Гуль Р.* Указ. соч. Т. 1. С. 295.

35. *Гиппиус З.* Опыт свободы//Литературный смотр: Свободный сб. Париж. 1939. С. 12.

36. *Гуль Р.* Одвуконь: Сов. и эмигрант. лит. Нью-Йорк, 1973. С. 273.

37. Nobel Lectures. Literature (1901—1967)/ Edited by Herst Freuz. Amsterdam; London; New York, 1968. P. 315.

38. Лит. газ. 1933. 29 нояб.

39. *Цветаева М.* Письма к А. Тесковой. Прага, 1969. С. 106—107.

40. *Ковалевский П. Е.* Указ. соч. С. 263.

41. *Ходасевич Вл.* Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк, 1954. С. 271.

42. *Фельзен Ю.* Прописи//Литературный смотр. С. 146—147.

43. Bibliography of russian emigree literature (1918—1968)/Compiled by L. A. Foster. Boston, 1970. Vol. 2. 1374 p.

44. *Варшавский В. С.* Незамеченное поколение. Нью-Йорк, 1956. С. 186.

45. *Владиславлев И. В.* Литература великого десятилетия (1917—1927). М., 1928. Т. 1. С. 8.

46. *Шаляпин Ф. И.* Маска и душа: Мои сорок лет на театрах. Париж, 1932. С. 342.

47. *Цветаева М.* Нездешний вечер// Соврем. зап. Париж, 1936. № 61. С. 176.

48. *Амфитеатров А.* Указ. соч. С. 7.

49. *Струве Г.* Указ. соч. С. 192.

50. *Терапиано Ю.* Указ. соч. С. 128.

51. *Струве Г.* Указ. соч. С. 330.

52. *Гуль Р.* Я унес Россию. Т. 1. С. 190—191.

53. *Бердяев Н.* Парадокс лжи//Соврем. зап. Париж, 1939. № 69. С. 278.

54. *Дмитриевский С.* Сталин. Стокгольм, 1931. С. 132.

55. *Устрялов Н.* Под знаком революции. Харбин, 1924. С. 253—254.

56. Новый град. Париж, 1931. № 1. С. 23.

57. *Юрьевский Е.* Чем может быть сейчас социализм//Соврем. зап. Париж, 1939. № 69. С. 308.

58. *Вышеславцев Б. П.* Кризис индустриальной культуры. Нью-Йорк, 1953. С. 221.

59. *Левицкий С. А.* Очерки по истории русской философии и общественной мысли. Париж, 1981. Т. 2. С. 53.

60. *Гаккель С.* Мать Мария. Париж, 1980. С. 158—159.

61. Соврем. зап. Париж, 1936. № 62. С. 362—364; 1939. № 68. С. 389.

62. *Струве Г.* Указ. соч. С. 239.

63. *Ильин И. А.* Русский колокол. Берлин, 1927. С. 81.

64. *Шаляпин Ф. И.* Указ. соч. С. 346.

65. *Рапопорт Ю.* Конец Зарубежья//Соврем. зап. Париж, 1939. № 69. С. 381.

66. *Струве Г.* Указ. соч. С. 379.

67. *Ковалевский П. Е.* Указ. соч. С. 231.

68. *Рощин Н. Я.* Дневник//Встречи с прошлым. 2-е изд., испр. 1980. Вып. 3. С. 276.

69. *Ильина Н.* В защиту оборонцев//Новая жизнь. Шанхай, 1942. 11 окт.

70. *Гаккель С.* Указ. соч. С. 150.

71. *Johnston R. H.* Great Patriotic War and the Russian Exiles in France//The Russian Review. July. 1976. Vol 35. № 3. P. 307.

72. *Лавров В.* Холодная осень: Иван Бунин в эмиграции (1920—1953). М., 1989. С. 295—297.

73. *Берберова Н.* Курсив мой. Мюнхен, 1971. С. 280.

74. *Вишняк М.* Правда антибольшевизма// Новый журн. Нью-Йорк, 1942. № 2. С. 208.

75. *Шкаренков Л. К.* Агония белой эмиграции. М., 1981. С. 188—189.

76. *Нильсен Е. П.* Милюков и Сталин: О полит. эволюции П. Н. Милюкова в эмиграции (1918—1943). Осло, 1983. С. 45.

77. *Одоевцева И.* На берегах Сены. Париж, 1983. С. 317.

78. *Бердяев Н.* Самопознание: Опыт филос. автобиографии. Париж, 1949. С. 364—365.

79. Рус. новости. Париж, 1946. 22 июня (№ 58).

80. *Варшавский В.* Указ. соч. С. 372.

81. *Терапиано Ю.* Указ. соч. С. 198—199.

82. *Струве Г.* Указ. соч. С. 5.

83. *Набоков В.* Автопредисловия//Лит. Россия. 1989. 16 июня.

84. L'emigraton russe en Europe: Catalogue collectif des périodiques en langue russe. Institut d'études slaves. Paris, 1976. T. 1. 1855—1940; 1981. T. 2. 1940—1979.

85. Русская эмиграция. Журналы и сборники на рус. яз. 1920—1980. Свод. указ. ст. Париж, 1988. С. XIII.

86. *Одоевцева И.* Указ. соч. С. 173.

87. *Тхоржевский И.* Русская литература. Париж, 1946. С. 531.

88. *Поварцов С.* Траектория падения// Вопр. лит. 1986. № 11. С. 187.

89. *Горький А. М.* Указ. соч. Т. 29. С. 431.

90. *Степун Ф.* Мысли о России//Соврем. зап. Париж, 1925. № 23. С. 356—357, 362.

91. *Слоним М.* Литература эмиграции// Воля России. Прага, 1925. № 2. С. 177.

92. *Воронский А.* Избранное. М., 1983. С. 119.

93. *Маяковский В. В.* Собр. соч.: В 18 т. М., 1978. Т. 6. С. 259.

94. *Цветаева М.* Евразия. Париж, 1928. 24 нояб.

95. *Катанян В. А.* Маяковский: Лит. хроника. М., 1956. С. 367.

96. *Осоргин М.* Письма к старому другу в Москву//Родина. 1989. № 4. С. 73.

97. *Дон-Аминадо.* Указ. соч. С. 304—305.

98. *Слоним М.* Литературные портреты// Воля России. Прага, 1932. № 4—6. С. 131.

99. *Приймa К.* С веком наравне. Ростов, 1981. С. 206.

100. *Trubezkoj N.* Michail Scholochow. Erute am Don. Zürich, 1970. S. 27—32.

101. Письма М. И. Цветаевой Ю. П. Иваску (1933—1937)//Русский литературный архив. Нью-Йорк, 1956. С. 213.

102. «Цветаева не выжила в Берлине, не выжила в Праге — уехала в Париж. Она — настоящий поэт — в вечной бедности, в тревоге и без друзей. Она, наверное, нигде не выживет» (Гуль Р. Жизнь на фукса. М., 1927. С. 216).

103. *Одоевцева И.* Указ. соч. С. 133.

104. *Иван Бунин*//Лит. наследство. 1973. Т. 84, кн. 1. С. 637.

105. *Чуковская Л.* Записки об Анне Ахматовой. Париж, 1974. С. 123.

106. *Setschkareff Vsevolod.* Geschichte der russischen Literatur. Stuttgart, 1962. S. 144.

107. *Pipes R.* Russia under the old Regime. New York, 1974. P. 326.

108. *Затонский Д.* Вынос кривых зеркал// Иностр. лит. 1989. № 3. С. 249.

109. *Малухин В.* Время собирать камни// Известия. 1989. 20 июля.

110. Одна или две русские литературы. Лозанна, 1981. С. 53.

111. *Ходасевич В.* Указ. соч. С. 270—271.

112. *Струве Г.* Указ. соч. С. 7.

113. Одна или две русские литературы. С. 29.

От составителя

Есть ли нужда говорить о той сложности, которая естественно возникла при отборе материалов для настоящей антологии? Из сотен авторов, из тысяч и тысяч публикаций — книжных, журнальных, газетных — надлежало выбрать не только самое интересное, но и самое характерное для той уже далекой и непростой эпохи. При этом следовало показать необъятную географию рассеяния наших соотечественников, повсюду несших с собой не только характерную для русских людей неутоляемую тягу к правдоискательству, стремление очистить душу от всякой скверны, но и высокую культуру и образованность, так выгодно их отличавшие. Вот и появлялись новые очаги культуры — от Шанхая до Стокгольма, от Буэнос-Айреса до Нью-Йорка, организовывались русские типографии, выходили книги и газеты.

Нельзя забывать, что новый быт на «чужой сторонушке» не мог не отразиться на творчестве писателей. Одни постепенно замолкали, другие (яркий образец этого — И. А. Бунин), воспламеняемые неизбывной тоской по России, создавали удивительные образцы творчества, превосходившие созданное дома, на родине.

О чем бы ни писал литератор, он почти всегда обращался памятью к родному порогу. Уместно привести несколько строк из предисловия к первой антологии зарубежной поэзии «Якорь», увидевшей свет в берлинском издательстве «Петрополис» в 1936 году. Составитель антологии, известный критик и поэт Георгий Адамович утверждал:

«Как фон или аккомпанемент возникает Россия. Тот диалог, который никак не налаживается (с оставшимися на родине.— *В. Л.*) — и не может наладиться — в более отчетливых формах, здесь, в поэзии, слышен явственно и придает стихам одушевление. Поэт, на первый взгляд, говорит сам с собой, нередко только о себе и говорит; времена трибунов миновали, и отчасти, добавлю, духовная энергия этого сборника на то и обращена, чтобы право на «бестрибунность» и ее ценность утвердить и запоздалые донкихотские претензии уничтожить. Но истинный разговор с собой есть всегда разговор с миром, с другими людьми. Ответы уже даны, их надо только найти,— и сосредоточенность есть не самозамыкание, а выход. Конечно, утверждая, что в стихах, написанных в эмиграции, слышится «разговор с Россией», я не приглашаю искать в них какого-либо увещевания, полемики или проклятий 〈...〉 Подлинная поэзия не может быть отрицанием, ее можно только использовать для отрицания чего-нибудь, для торжества над чем-нибудь, но в ней самой — борьбы нет. Она — как свет по отношению к тьме, как память и забвение...»

Как все это справедливо! Давно смолкли взаимные проклятия, никто никого не увещевает. Остались лишь горечь и неутоляемые годами душевные страдания от братоубийственных событий, озаривших кровавым заревом начало века. Страдали люди, страдала и изнемогала Россия, ее дух, ее культура.

Пробил долгожданный час, пришло время, когда два могучих полноводных потока искусства сливаются воедино, делают еще более значительной, не подлежащей отныне разделению великую русскую литературу.

Мы ставим своей целью показать эмигрантскую литературу во всем ее богатстве и самобытности. Политические страсти, которые еще бушевали вовсю, когда создавались публикуе-

мые иыие памфлеты, очерки, поэмы, ромаиы, отложили иа иее глубокую отметиму. Мы ие имеем цели лакировать что-лнбо. Пусть каждый отвечает за себя, говорнт собствеииым голосом. «Левые» и «правые», эсеры н кадеты, террористы и анархисты, геиералы и фнлософы, поэты и мемуарнсты — пусть всякий свободио обращается со страииц этой антологии к иашнм современииикам. Оин, думается, сумеют дать вериую оценку ушедшим идеям и явлеииям.

Желая представнть читателю возможно большее число авторов, часть материалов пришлось иесколько сократить (это относится в первую очередь к первому тому).

Каждый том настоящего труда содержит указатель, который поможет чнтателю получить мииимальиые сведеиия об авторах — биографическне и библиографнческие. Заметим, что эти сведеиия даются лишь раз — при первом публиковании материалов того или иного автора. Все постраничные примечаиия — авторскне, кроме переводных матерналов. Цитироваиие текстов сохраияет все особеииости орнгннала. Старая орфография замеиеиа на иовую.

Настоящее нздаиие плаиируется в шести томах, прнчем первый и шестой выйдут в двух книгах.

Составитель выражает глубокую благодариость всем лицам, оказавшнм содействие в подготовке иастоящего издания, в особеиности сотрудинкам Государствениой библиотеки СССР нмеии В. И. Леиина, а также Е. М. Цыбиной, А. А. Задикяну, известиым московским библиофилам В. С. Мнхайловичу, А. И. Горелику и доктору техинческнх наук Б. И. Ставровскому. Большую помощь оказали н иаши зарубежиые соотечествеииики. Это, в частиостн, антиквари А. Я. Полоиский (Париж) и иыие покойиый секретарь И. А. Буииииа — А. В. Бахрах.

ПРОЗА

Ив. Бунин

Окаянные дни

⟨...⟩ 16 апреля.

Вчера перед вечером гуляли. Тяжесть на душе несказанная. Толпа, наполняющая теперь улицы, невыносима физически, я устал от этой скотской толпы до изнеможения. Если бы отдохнуть, скрыться куда-нибудь, уехать, например, в Австралию! Но уже давно все пути, все дороги заказаны. Теперь даже на Большой Фонтан проехать, и то безумная мечта: и нельзя без разрешения, и убить могут, как собаку.

Встретили Л. И. Гальберштата (бывший сотрудник «Русских ведомостей», «Русской мысли»). И этот «перекрасился». Он, вчерашний ярый белогвардеец, плакавший (буквально) при бегстве французов, уже пристроился при газете «Голос красноармейца». Воровски шептал нам, что он «совершенно раздавлен» новостями из Европы: там будто бы твердо решено — никакого вмешательства во внутренние русские дела... Да, да, это называется «внутренними» делами, когда в соседнем доме, среди бела дня, грабят и режут разбойники!

Вечером у нас опять сидел Волошин. Чудовищно! Говорит, что провел весь день с начальником чрезвычайки Северным (Юзефовичем), у которого «кристальная душа». Так и сказал: кристальная.

* * *

Проф. Евгений Щепкин, «комиссар народного просвещения», передал управление университетом «семи представителям революционного студенчества», таким, говорят, негодяям, каких даже и теперь днем с огнем поискать.

В «Голосе красноармейца» известие о «глубоком вторжении румын в Советскую Венгрию». Мы все бесконечно рады. Вот тебе и невмешательство во «внутренние» дела! Впрочем, ведь это не Россия.

* * *

«Блок слышит Россию и революцию, как ветер...» О, словоблуды! Реки крови, море слез, а им все нипочем.

* * *

Часто вспоминаю то негодование, с которым встречали мои будто бы сплошь черные изображения русского народа. Да еще и до сих пор негодуют, и кто же? Те самые, что вскормлены, вспоены той самой литературой, которая сто лет позорила буквально все классы, то есть «попа», «обывателя», мещанина, чиновника, полицейского, помещика, зажиточного крестьянина,— словом, вся и всех, за исключением какого-то «народа»,— «безлошадного», конечно,— «молодежи» и босяков.

17 апреля.

«Старый, насквозь сгнивший режим рухнул без возврата... Народ пламенным, стихийным порывом опрокинул — и навсегда — сгнивший трон Романовых...»

3—289

Но почему же в таком случае с первых же мартовских дней все сошли с ума на ужасе перед реакцией, реставрацией?

* * *

«Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант.

* * *

«Революции не делаются в белых перчатках...» Что ж возмущаться, что контрреволюции делаются в ежовых рукавицах?

* * *

«Утешься ради скорби всего Иерусалима!»

До самого завтрака пролежал в постели с закрытыми глазами.

Читаю книгу о Савиной — ни с того ни с сего, просто потому, что надо же делать что-нибудь, а что именно, теперь совершенно все равно, ибо главное ощущение теперь, что это не жизнь. А потом, повторяю, это изнуряющее ожидание: да не может же продолжаться так, да спасет же нас кто-нибудь или что-нибудь — завтра, послезавтра, может, даже нынче ночью!

* * *

С утра было серо, после полудня дождь, вечером ливень.

Два раза выходил смотреть на их первомайское празднество. Заставил себя, ибо от подобных зрелищ мне буквально всю душу перевертывает. «Я как-то физически чувствую людей»,— записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляются порой моей страстности, «пристрастности». Для большинства даже и до сих пор «народ», «пролетариат» только слова, а для меня это всегда — глаза, рты, звуки голосов, для меня речь на митинге — все естество произносящего ее.

Когда выходил в полдень: накрапывает, возле Соборной площади порядочно народу, но стоят бессмысленно, смотрят на всю эту балаганщину необыкновенно тупо. Были, конечно, процессии с красными и черными знаменами, были какие-то размалеванные «колесницы» в бумажных цветах, лентах и флагах, среди которых стояли и пели, утешали «пролетариат» актёры и актрисы в оперно-народных костюмах, были «живые картины», изображавшие «мощь и красоту рабочего мира», «братски» обнявшихся коммунистов, «грозных» рабочих в кожаных передниках и «мирных пейзан»,— словом, все, что полагается, что инсценировано по приказу из Москвы, от этой гадины Луначарского. Где у некоторых большевиков кончается самое подлое издевательство над чернью, самая гнусная купля ее душ и утроб и где начинается известная доля искренности, нервической восторженности? Как, например, изломан и восторжен Горький! Бывало, на Рождестве на Капри (утрированно окая на нижегородский лад): «Нонче, ребята, айдате на пьяццу: там, дьявол их забери, публика будет необыкновеннейшие штуки выкидывать,— вся, понимаете, пьяцца танцует, мальчишки орут, как черти, расшибают под самым носом достопочтеннейших лавочников хлопушки, ходят колесом, дудят в тысячу дудок... Будет, понимаете, несколько интереснейших цеховых процессий, будут петь чудеснейшие уличные песни...» И на зелёных глазках — слезы.

Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро, памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными, мокрыми тряпками, увит веревками и залеплен красными деревянными звездами. А против памятника чревычайка, в мокром асфаль-

те жидкой кровью текут отражения от красных флагов, обвисших от дождя и особенно паскудных.

Вечером почти весь город в темноте: новое издевательство, новый декрет — не сметь зажигать электричества, хотя оно и есть. А керосину, свечей не достаешь нигде, и вот только кое-где видны сквозь ставни убогие, сумрачные огоньки: коптят самодельные каганцы. Чье это издевательство? Разумеется, в конце концов, народное, ибо творится в угоду народу. Помню старика рабочего у ворот дома, где прежде были «Одесские новости», в первый день водворения большевиков. Вдруг выскочила из-под ворот орава мальчишек с кипами только что отпечатанных «Известий» и с криками: «На одесских буржуев наложена контрибуция в 500 миллионов!» — рабочий захрипел, захлебнулся от ярости и злорадства: «Мало! Мало!» — Конечно, большевики настоящая «рабоче-крестьянская власть». Она «осуществляет заветнейшие чаяния народа». А уж известно, каковы «чаяния» у этого «народа», призываемого теперь управлять миром, ходом всей культуры, права, чести, совести, религии, искусства.

«Без всяких аннексий и контрибуций с Германии!» — «Правильно, верно!» — «Пятьсот миллиардов контрибуции с России!» — «Мало, мало!»

* * *

«Левые» все «эксцессы» революции валят на старый режим, черносотенцы — на евреев. А народ не виноват! Да и сам народ будет впоследствии валить все на другого — на соседа и на еврея: «Что ж я? Что Илья, то и я. Это нас жиды на все это дело подбили...»

19 апреля.

Пошел, чтобы хоть чем-нибудь себя рассеять, делать съестные запасы. Говорят, что все закроется, ничего не будет. И точно, в лавках, еще не закрывшихся, почти ничего нет, точно провалилось все куда-то. Случайно наткнулся в лавочке на Софийской на круг качкавала. Цена дикая — 28 рублей фунт.

Был А. М. Федоров. Был очень приятен, жаловался на свое бедственное положение. В самом деле, исчез последний ресурс — кто же теперь снимет его дачку? Да и нельзя сдавать, она теперь «народное достояние». Всю жизнь работал, кое-как удалось купить клочок земли на истинно кровные гроши, построить (залезши в долги) домик — и вот оказывается, что домик «народный», что там будут жить вместе с твоей семьей, со всей твоей жизнью какие-то «трудящиеся». Повеситься можно от ярости!

Весь день упорный слух о взятии румынами Тирасполя, о том, что Макензен уже в Черновицах, и даже «о падении Петрограда». О, как люто все хотят этого! И все, конечно, враки.

Вечером с Н. в синагоге. Так все жутко и гадко вокруг, что тянет в церкви, в эти последние убежища, ещё не залитые потопом грязи, зверства. Только слишком много было оперы, хорошо только порою: дико-страстные вопли, рыдания, за которыми целые века скорби, бесприютности, восток, древность, скитания — и Единый, перед Коим можно излить душу то в отчаянной, детски-горестной жалобе, за душу хватающей своим криком, то в мрачном, свирепо-грозном, все понижающемся рёве.

Сейчас все дома темны, в темноте весь город, кроме тех мест, где эти разбойничьи притоны,— там пылают люстры, слышны балалайки, видны стены, увешанные черными знаменами, на которых белые черепа с надписями: «Смерть, смерть буржуям!»

Пишу при вонючей кухонной лампочке, дожигаю остатки керосину. Как больно, как оскорбительно. Каприйские мои приятели, Луначарские и Горькие, блюстители русской культуры и искусства, приходившие в священный гнев при каждом предостережении какой-нибудь «Новой жизни» со стороны «царских опричников», что бы вы сделали со мной теперь, захватив меня за этим преступным писанием при вонючем каганце или на том, как я буду воровски засовывать это писание в щели карниза?

* * *

Прав был дворник (Москва, осень 17 года):

— Нет, простите! Наш долг был и есть — довести страну до Учредительного собрания!

Дворник, сидевший у ворот и слышавший эти горячие слова,— мимо него быстро шли и спорили,— горестно покачал головой:

— До чего, в самом деле, довели, сукины дети!

* * *

— Сперва меньшевики, потом грузовики, потом большевики и броневики...

Грузовик — каким страшным символом остался он для нас, сколько этого грузовика в наших самых тяжких и ужасных воспоминаниях! С самого первого дня своего связалась революция с этим ревущим и смердящим животным, переполненным сперва истеричками и похабной солдатней из дезертиров, а потом отборными каторжанами.

Вся грубость современной культуры и ее «социального пафоса» воплощены в грузовике.

* * *

Говорит, кричит, заикаясь, со слюной во рту, глаза сквозь криво висящее пенсне кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка — перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости»!

А его слушатели?

Весь день праздно стоящий с подсолнухами в кулаке, весь день механически жрущий эти подсолнухи дезертир. Шинель внакидку, картуз на затылок. Широкий, коротконогий. Спокойно-нахален, жрет и от времени до времени задает вопросы — не говорит, а все только спрашивает, и ни единому ответу не верит, во всем подозревает брехню. И физически больно от отвращения к нему, к его толстым ляжкам в толстом зимнем хаки, к телячьим ресницам, к молоку от нажеванных подсолнухов на молодых, животно-первобытных губах.

* * *

«Российская история» Татищева:

«Брат на брата, сынове против отцев, рабы на господ, друг другу ищут умертвить единого ради корыстолюбия, похоти и власти, ища брат брата достояния лишить, не ведуще, яко премудрый глаголет: ища чужого, о своем в оный день возрыдает...»

А сколько дурачков убеждено, что в российской истории произошел великий «сдвиг» к чему-то будто бы совершенно новому, доселе небывалому!

Вся беда (и страшная), что никто даже малейшего подлинного понятия о «российской истории» не имел.

20 апреля.

Кинулся к газетам — ничего особенного. «В ровенском направлении попытка противника...» Кто же, наконец, этот противник?

Тон газет все тот же — высокопарно-площадной жаргон, все те же угрозы, остервенелое хвастовство, и все так плоско, лживо так явно, что не веришь ни единому слову и живёшь в полной отрезанности от мира, как на каком-то Чертовом острове.

Анюта говорит, что уже два дня не выдают даже и этого ужасного горохового хлеба, от которого все на дворе у нас кричали от колик, и кому же не выдают? — тому самому пролетариату, которого так забавляли позавчера. А на стенах воззвания: «Граждане! Все к

спорту!» Совершенно невероятно, а истинная правда. Почему к спорту? Откуда залетел в эти анафемские черепа еще спорт?

Был Волошин. Помочь ему удрать в Крым хотят через «морского комиссара и командующего Черноморским флотом» Немица, который, кстати сказать, поэт, «особенно хорошо пишущий рондо и триолеты». Выдумывают какую-то тайную «миссию» в Севастополь. Беда только в том, что ее не на чем послать: весь флот Немица состоит из одного парусного дубка, а его не во всякую погоду пошлешь.

* * *

Бешенство слухов: Петроград взят генералом Гурко, Колчак под Москвой, немцы вот-во́т будут в Одессе...

Какая у всех свирепая жажда их погибели! Нет той самой страшной библейской казни, которой мы не желали бы им. Если б в город ворвался хоть сам дьявол и буквально по горло ходил в их крови, половина Одессы рыдала бы от восторга.

Лжи столько, что задохнуться можно. Все друзья, все знакомые, о которых прежде и подумать бы не смел как о лгунах, лгут теперь на каждом шагу. Ни единая душа не может не солгать, не может не прибавить и *своей лжи, своего* искажения к заведомо лживому слуху. И все это от нестерпимой жажды, чтобы было так, как нестерпимо хочется. Человек бредит, как горячечный, и, слушая этот бред, весь день все-таки жадно веришь ему и заражаешься им. Иначе, кажется, не выжил бы и недели. И каждый день это самоодурманивание достигает особой силы к вечеру,— такой силы, что ложишься спать точно эфиром опоенный, почти с полной верой, что ночью непременно что-нибудь случится, и так неистово, так крепко крестишься, молишься так напряженно, до боли во всем теле, что, кажется, не может не помочь Бог, чудо, силы небесные. Засыпаешь, изнуренный от того невероятного напряжения, с которым просишь об их погибели, и за тысячу верст, в ночь, в темноту, в неизвестность шлёшь всю свою душу к родным и близким, свой страх за них, свою любовь к ним, свою муку, да сохранит и спасёт их Господь,— и вдруг вскакиваешь среди ночи с бешено заколотившимся сердцем: где-то трах-трах-трах, иногда где-то совсем близко, точно каменный град по крышам,— вот оно, что-то таки случилось, кто-то, может быть, напал на город — и конец, крах этой проклятой жизни! А наутро опять отрезвление, тяжкое похмелье, кинулся к газетам — нет, ничего не случилось, все тот же наглый и твердый крик, все новые «победы». Светит солнце, идут люди, стоят у лавок очереди... и опять тупость, безнадежность, опять впереди пустой долгий день, да нет, не день, а дни, пустые, долгие, ни на что не нужные! Зачем жить, для чего? Зачем делать что-нибудь? В этом мире, в их мире, в мире поголовного хама и зверя, мне ничего не нужно...

«У нас совсем особая психика, о которой будут потом сто лет писать». Да мне-то какое утешение от этого? Что мне до того времени, когда от нас даже праху не останется? «Этим записям цены не будет». А не все ли равно? Будет жить и через сто лет все такая же человеческая тварь,— теперь-то я уж знаю ей цену!

* * *

Ночь. Пишу слегка хмельной. Вечером, с видом заговорщика, пришел А. В. Васьковский, притворил дверь и шепотом наговорил таких вещей, так настаивал, что все, о чем говорили днем, есть сущая правда, что Петр разволновался до красноты ушей, потом слазил под лестницу и вытащил две бутылки вина. Я так слаб от нервности, что захмелел от двух бокалов. Понимаю всю чушь этих слухов — и все-таки верю и пишу дрожащими, холодными руками...

«Ах, мщения, мщения!» — как писал Батюшков после пожара Москвы в 1812 году.

* * *

Савина писала летом 15 года мужу с Кавказа: «Ужели Господь попустит, и наши солдатики, наши чудо-богатыри, должны будут перенести этот стыд и горе — наше поражение!»

Что это было? Глупость, невежество, происходившие не только от незнания народа, но и от нежелания знать его? Все было. Да была и привычная корысть лжи, за которую так или иначе награждали. «Я верю в русский народ!» За это рукоплескали.

Известная часть общества страдала такой лживостью особенно. Так извратились в своей профессии быть «друзьями народа, молодежи и всего светлого», что самим казалось, что они вполне искренни. Я чуть не с отрочества жил с ними, был как будто вполне с ними — и постоянно, поминутно возмущался, чувствуя их лживость, и на меня часто кричали:

— Это он-то лжив, этот кристальный человек, всю свою жизнь отдавший народу!?

В самом деле: то, что называется «честный», красивый старик, очки, белая большая борода, мягкая шляпа... Но ведь это лживость особая, самим человеком почти несознаваемая, привычная жизнь выдуманными чувствами, уже давно, разумеется, ставшими второй натурой, а все-таки выдуманными.

Какое огромное количество таких «лгунов» в моей памяти!

Необыкновенный сюжет для романа, и страшного романа.

* * *

Как мы врали друг другу, что наши «чудо-богатыри» — лучшие в мире патриоты, храбрейшие в бою, нежнейшие с побежденным врагом!

— Значит, ничего этого не было?

Нет, было. Но у кого? Есть два типа в народе. В одном преобладает Русь, в другом — Чудь, Меря. Но и в том и в другом есть страшная переменчивость настроений, обликов, «шаткость», как говорили в старину. Народ сам сказал про себя: «Из нас, как из древа,— и дубина, и икона»,— в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо обрабатывает: Сергий Радонежский или Емелька Пугачев. Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы я так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так беспрерывно, так люто? А ведь говорили, что я только ненавижу. И кто же? Те, которым, в сущности, было совершенно наплевать на народ,— если только он не был поводом для проявления их прекрасных чувств,— и которого они не только не знали и не желали знать, но даже просто не замечали, как не замечали лиц извозчиков, на которых ездили в какое-нибудь Вольно-экономическое общество. Мне Скабичевский признался однажды:

— Я никогда в жизни не видал, как растет рожь. То есть, может, и видел, да не обратил внимания.

А мужика, как отдельного человека, он видел? Он знал только «народ», «человечество». Даже знаменитая «помощь голодающим» происходила у нас как-то литературно, только из жажды лишний раз лягнуть правительство, подвести под него лишний подкоп. Страшно сказать, но правда: не будь народных бедствий, тысячи интеллигентов были бы прямо несчастнейшие люди. Как же тогда заседать, протестовать, о чем кричать и писать? А без этого и жизнь не в жизнь была.

То же и во время войны. Было, в сущности, всё то же жесточайшее равнодушие к народу. «Солдатики» были объектом забавы. И как сюсюкали над ними в лазаретах, как ублажали их конфетами, булками и даже балетными танцами! И сами солдатики тоже комедничали, прикидывались страшно благодарными, кроткими, страдающими покорно: «Что ж, сестрица, все Божья воля!» — и во всем поддакивали и сестрицам, и барыням с конфетами, и репортерам, врали, что они в восторге от танцев Гельцер (насмотревшись на которую, однажды один солдатик на мой вопрос, что это такое, по его мнению, ответил: «Да чёрт... Чёртом представляется, козлекает...»).

Страшно равнодушны были к народу во время войны, преступно врали об его патриотическом подъеме, даже тогда, когда уже и младенец не мог не видеть, что народу война осточертела. Откуда это равнодушие? Между прочим, и от ужасно присущей нам беспечности, легкомысленности, непривычки и нежелания быть серьезными в самые серьезные моменты. Подумать только, до чего беспечно, спустя рукава, даже празднично отнеслась вся Россия к началу революции, к величайшему во всей её истории событию, случившемуся во время величайшей в мире войны!

Да, уж чересчур привольно, с деревенской вольготностью, жили мы все (в том числе и мужики), жили как бы в богатейшей усадьбе, где даже и тот, кто был обделен, у кого были лапти разбиты, лежал, задеря эти лапти, с полной беспечностью, благо потребности были дикарски ограниченны.

«Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь». Да и делали мы тоже только кое-что, что придется, иногда очень горячо и очень талантливо, а все-таки по большей части как Бог на душу положит — один Петербург подтягивал. Длительным будничным трудом мы брезговали, белоручки были, в сущности, страшные. А отсюда, между прочим, и идеализм наш, в сущности, очень барский, наша вечная оппозиционность, критика всего и всех: критиковать-то ведь гораздо легче, чем работать. И вот:

— Ах, я задыхаюсь среди этой николаевщины, не могу быть чиновником, сидеть рядом с Акакием Акакиевичем,— карету мне, карету!

Отсюда Герцены, Чацкие. Но отсюда же и Николка Серый из моей «Деревни» — сидит на лавке в темной, холодной избе и ждет, когда подпадет какая-то «настоящая» работа,— сидит, ждет и томится. Какая это старая русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность — вечная надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку колечко!

Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые «запросы», будто бы происходящие от наших «глубин».

«Я ничего не сделал, ибо всегда хотел сделать больше обыкновенного».

Это признание Герцена.

Вспоминаются и другие замечательные его строки:

«Нами человечество протрезвляется, мы его похмелье... Мы канонизировали человечество... канонизировали революцию... Нашим разочарованием, нашим страданием мы избавляем от скорбей следующие поколения...»

Нет, отрезвление еще далеко.

* * *

Закрою глаза и все вижу как живого: ленты сзади матросской бескозырки, штаны с огромными раструбами, на ногах бальные туфельки от Вейса, зубы крепко сжаты, играет желваками челюстей... Вовек теперь не забуду, в могиле буду переворачиваться!

21 апреля.

«Ультиматум Раковского и Чичерина Румынии — в 48 часов очистить Буковину и Бессарабию!» Так неправдоподобно-глупо (даже если это все то же издевательство над чернью), что приходит в голову: «Да уж не делается ли все это по чьему-то приказу, немецкому, что ли,— с целью изо дня в день позорить коммунистов, революционеров, вообще революцию?» Затем: «От победы к победе — новые успехи доблестной Красной Армии. Расстрел 26 черносотенцев в Одессе...»

В «Известиях»,— ох, какое проклятое правописание! — после передовой об ультиматуме, напечатан поименный список этих двадцати шести, расстрелянных вчера, затем статейка о том, что «работа» в одесской чрезвычайке «налаживается», что «работы вообще

много», и, наконец, гордое заявление: «Вчера удалось добыть угля для отправки поезда в Киев».— Счастливый день! И это после ультиматума-то!

Ну, а если румыны не послушаются Раковского, что тогда? И как дьявольски однообразны все эти клоунские выходки! Впрочем, может быть, грубо инсценируется что-нибудь, дается кому-то придирка? Кому же именно?

Да, а «буржуи» уж совсем было поверили в Петроград. Ведь говорили, что вот тот-то своими глазами видел телеграмму о занятии Петрограда (после того, как англичане будто бы подвезли хлеба для него)...

Слух, что и у нас будет этот дикий грабеж, какой идет уже в Киеве,— «сбор» одежды и обуви.

* * *

Давеча прочитал про этот расстрел двадцати шести как-то тупо.

Сейчас в каком-то столбняке. Да, двадцать шесть, и ведь не когда-нибудь, а вчера, у нас, возле меня. Как забыть, как это простить русскому народу? А все простится, все забудется. Впрочем, и я — *только стараюсь* ужасаться, а по-настоящему не могу, настоящей восприимчивости все-таки не хватает. В этом и весь адский секрет большевиков — убить восприимчивость. Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение,— перешагни же меру. Это — как цены на хлеб, на говядину. «Что? Три целковых фунт!?» А назначь тысячу — и конец изумлению, крику, столбняк, бесчувственность. «Как? Семь повешенных?!» — «Нет, милый, не семь, а семьсот!» — И уж тут непременно столбняк — семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят!

* * *

В три часа — все время шел дождь — выходили. Встретили Полевицкую с мужем.— «Ужасно ищу роль для себя в мистерии — так хотелось бы сыграть Богоматерь!» — О, Боже мой, Боже мой! Да, все это в теснейшей связи с большевизмом. В литературе, в театре он уже давным-давно...

Купил спичек, 6 рублей коробка, а месяц тому назад стоили полтинник.

Когда выходишь, идешь как при начале тяжелой болезни.

* * *

Сейчас (8 часов вечера, а по «советскому» уже половина одиннадцатого) закрывал, возвратясь с прогулки, ставни: ломоть месяца, совсем золотой, чисто блестит сквозь молодую зелень дерева под окном на очистившемся западном небе, тонком и еще светлом.

Вышел в семь, поминутно дождь, похоже на осенний вечер. Прошел по Херсонской, потом завернул к Соборной площади. Еще светло, а уже все закрыто, все магазины,— тягостная, тревожащая душу пустота. Пока дошел до площади, дождь перестал, шел к собору под молодой зеленью уже зацветавших каштанов, по блестящему мокрому асфальту. Вспомнил мрачный вечер «первого мая». А в соборе венчали, пел женский хор. Вошел — и, как всегда за последнее время, эта церковная красота, этот остров «старого» мира в море грязи, подлости и низости «нового» тронули необыкновенно. Какое вечернее небо в окнах! В алтаре, в глубине, окна уже лилово синели — любимое мое. Милые девичьи личики у певших в хоре, на головах белые покрывала с золотым крестиком на лбу, в руках ноты и золотые огоньки маленьких восковых свечей — все было так прелестно, что, слушая и глядя, очень плакал. Шел домой,— чувство легкости, молодости. И наряду с этим — какая тоска, какая боль!

* * *

Когда вернулся, у нас во дворе, в квартире милиционера, играли на фортепьяно и танцевали. Встретил Марусю — в сумерках, наряженная, с блестящими глазами, показалась очень хороша — и на мгновение *сердцем* вспомнил то далекое, невозвратимое очарование, что испытывал когда-то в ранней молодости, вот в такой же апрельский вечер, в деревенском саду.

Маруся прошлым летом жила у нас на даче кухаркой и целый месяц скрывала в кухне и кормила моим хлебом большевика, своего любовника, и я знал это, знал. Вот какова моя кровожадность, и в этом все дело: быть такими же, как они, мы не можем. А раз не можем, конец нам!

Пишу при светильничке,— масло и поплавок в банке. Темь, копоть, порчу зрение.

В сущности, всем нам давно пора повеситься — так мы забиты, замордованы, лишены всех прав и законов, живем в таком подлом рабстве, среди непрестанных заушений, издевательств!

Какое самообладание
У лошадей простого звания,
Не обращающих внимания
На трудности существования!

Милый мальчик, царство небесное ему! (Это шутливые стихи одного молодого поэта, студента, поступившего прошлой зимой в полицейские — идейно — и убитого большевиками.) — Да, мы теперь лошади очень простого звания.

* * *

22 апреля.

Вспомнился мерзкий день с дождем, снегом, грязью,— Москва, прошлый год, конец марта. Через Кудринскую площадь тянутся бедные похороны — и вдруг, бешено стреляя мотоциклетом, вылетает с Никитской животное в кожаном картузе и кожаной куртке, на лету грозит, машет огромным револьвером и обдает грязью несущих гроб:

— Долой с дороги!

Несущие шарахаются в сторону и, спотыкаясь, тряся гроб, бегут со всех ног. А на углу стоит старуха и, согнувшись, плачет так горько, что я невольно приостанавливаюсь и начинаю утешать, успокаивать. Я бормочу: «Ну будет, будет, Бог с тобой!» — спрашиваю: «Родня, верно, покойник-то?» А старуха хочет передохнуть, одолеть слезы и наконец с трудом выговаривает:

— Нет... Чужой... *Завидую*...

И еще вспомнилось. Москва, конец марта позапрошлого года. Большой, толстый князь Трубецкой кричит, театрально сжимая свои маленькие кулачки:

— Помните, господа: пгусский сапог безжалостно газдавит нежные гостки гусской свободы! Все на защиту ее!

Устами князя говорили тогда сотни тысяч уст. Нечего сказать, нашли для кого защищать «русскую свободу»!

Зимой 18 года те же сотни тысяч возложили все свои упования на спасение (только уже не русской свободы) именно через немцев. Вся Москва бредила их приходом.

* * *

Понедельник, газет нет, отдых в моем помешательстве (длящемся с самого начала войны) на чтении их. Зачем я над собой зверствую, рву себе сердце этим чтением?

На редкость твердо уверены все эти Пешехоновы, что только им принадлежит решение российской судьбы. И когда же? Когда они должны были бы в тартарары провалиться хотя бы от одного стыда за все то, что они явили на диво всему миру за свое шестимесячное царствование в 17 году.

* * *

Совершенно нестерпим большевистский жаргон. А каков был вообще язык наших левых? «С цинизмом, доходящим до грации... Нынче брюнет, завтра блондин... Чтение в сердцах... Учинить допрос с пристрастием... Или — или: третьего не дано... Сделать надлежащие выводы... Кому сие ведать надлежит... Вариться в собственном соку... Ловкость рук... Нововременские молодцы...» А это употребление с какой-то якобы ядовитейшей иронией (неизвестно над чем и над кем) высокого стиля? Ведь даже у Короленко (особенно в письмах) это на каждом шагу. Непременно не лошадь, а Россинант, вместо «я сел писать» — «я оседлал своего Пегаса», жандармы — «мундиры небесного цвета». Кстати о Короленко. Летом 17 года какую громовую статью напечатал он в «Русских ведомостях» в защиту Раковского!

* * *

По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. Фонарей не зажигают. Но на всяких «правительственных» учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах «имени Троцкого», «имени Свердлова», «имени Ленина» прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах,— очень часто с разряженными девками,— мчится в эти клубы и театры (глядеть на своих крепостных актеров) всякая красная аристократия: матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими, темными, кокаинистическими глазами... Но жутко и днем. Весь огромный город не живет, сидит по домам, выходит на улицу мало. Город чувствует себя завоеванным, и завоеванным как будто каким-то особым народом, который кажется гораздо более страшным, чем, я думаю, казались нашим предкам печенеги. А завоеватель шатается, торгует с лотков, плюет семечками, «кроет матом». По Дерибасовской или движется огромная толпа, сопровождающая для развлечения гроб какого-нибудь жулика, выдаваемого непременно за «павшего борца» (лежит в красном гробу, а впереди оркестры и сотни красных и черных знамен), или чернеют кучки играющих на гармоньях, пляшущих и вскрикивающих:

Эй, яблочко,
Куда котишься!

Вообще, как только город становится «красным», тотчас резко меняется толпа, наполняющая улицы. Совершается некий подбор лиц, улица преображается.

Как потрясал меня этот подбор в Москве! Из-за этого больше всего и уехал оттуда.

Теперь то же самое в Одессе — с самого того праздничного дня, когда в город вступила «революционно-народная армия» и когда даже на извозчичьих лошадях как жар горели красные банты и ленты.

На этих лицах, прежде всего, нет обыденности, простоты. Все они почти сплошь резко отталкивающие, пугающие злой тупостью, каким-то угрюмо-холуйским вызовом всему и всем.

И вот уже третий год идет нечто чудовищное. Третий год только низость, только грязь, только зверство. Ну, хоть бы на смех, на потеху что-нибудь уж не то что хорошее, а просто обыкновенное, что-нибудь просто другое!

* * *

«Нельзя огулом хаять народ!»

А «белых», конечно, можно.

Народу, революции все прощается,— «все это только эксцессы».

А у белых, у которых все отнято, поругано, изнасиловано, убито — родина, родные

колыбели и могилы, матери, отцы, сестры,— «эксцессов», конечно, быть не должно.

* * *

«Революция — стихия...»

Землетрясение, чума, холера тоже стихии. Однако никто не прославляет их, никто не канонизирует, с ними борются. А революцию всегда «углубляют».

«Народ, давший Пушкина, Толстого».

А белые не народ.

«Салтычиха, крепостники, зубры...» Какая вековая низость — шулерничать этой Салтычихой, самой обыкновенной сумасшедшей. А декабристы, а знаменитый московский университет тридцатых и сороковых годов, завоеватели и колонизаторы Кавказа, все эти западники и славянофилы, деятели «эпохи великих реформ», «кающийся дворянин», первые народовольцы, Государственная дума? А редакторы знаменитых журналов? А весь цвет русской литературы? А ее герои? Ни одна страна в мире не дала такого дворянства.

«Разложение белых...»

Какая чудовищная дерзость говорить это после того небывалого в мире «разложения», которое явил «красный» народ.

* * *

Впрочем, многое и от глупости. Толстой говорил, что девять десятых дурных человеческих поступков объясняются исключительно глупостью.

— В моей молодости,— рассказывал он,— был у нас приятель, бедный человек, вдруг купивший однажды на последние гроши заводную металлическую канарейку. Мы голову сломали, ища объяснение этому нелепому поступку, пока не вспомнили, что приятель наш просто ужасно глуп. 〈...〉

Конец

I

На горе в городе был в этот промозглый зимний день тот роковой промежуток в борьбе, то безвластие, та зловещая безлюдность, когда отступают уже последние защитники и убегают последние из убегающих обывателей, но наступающий враг еще робеет и продвигается то крадучись, то порывисто, с трусливой дерзостью. Город пустел все страшнее, все безнадежнее для оставшихся в нем и мучающихся еще не полной разрешенностью своей судьбы. По окраинам, возле вокзала и на совершенно вымерших улицах возле почты и государственного банка, где на мостовых уже лежали убитые, то и дело поднимался ожесточенный треск и град винтовок или спешно, дробно строчил пулемет.

К вечеру из-за северной заставы началась орудийная пальба,— враг осмелел, почувствовал силу и решимость: бодро раздавался тяжкий, глухой стук, от которого вздрагивала земля, за ним великолепный, с победоносной мощью режущий воздух и звенящий звук снаряда и наконец громовый разрыв, оглушающий весь город. Потом внезапно пошла частая и беспорядочная ружейная стрельба на спусках в порт и в самом порту, все приближаясь к «Патрасу», под французским флагом стоявшему у набережной в Карантинной гавани. Откуда-то донесся знакомый и волнующий, гнусавый, быстро бегущий, тревожно и печально требующий дороги рожок кареты скорой помощи... Стало жутко и на «Патрасе»,— то страшное, что совершалось на горе, доходило и до него.— Что же мы стоим? — послышались голоса в толпе, наполнявшей пароход.— С ума сошли, что ли, французы? Нас не выпустят, нас всех перережут! — И

все стали врать напропалую, стараясь зачем-то напугать и себя и других: угля, говорят, нет, команда, говорят, бунтует, матросы красный флаг хотят выкинуть... Между тем уже темнело.

Но вот, в пятом часу, внезапно выскочил из-за старого здания таможни и подлетел к пароходу крытый автомобиль,— и у всех вырвался вздох облегчения: консул приехал, значит, слава Богу, сейчас отвалим. Консул с портфелем под мышкой выпрыгнул из автомобиля и пробежал по сходням, за ним быстро прошел офицер в желтых крагах и в волчьей шубке мехом наружу, нарочито грубого и воинственного вида, и тотчас же загремела лебедка и к автомобилю стала спускаться огромная петля каната. Все с жадным любопытством столпились к борту, уже не обращая внимания на стрельбу где-то совсем близко, автомобиль, охваченный петлей, покосился, отделился от земли и беспомощно поплыл вверх с криво повисшими, похожими на поджатые лапы колесами... Два часовых, два голубых солдатика в железных касках стояли с короткими ружьями на плечо возле сходней. Вдруг откуда-то появился перед ними высокий яростно запыхавшийся господин в бобровой боярской шапке, в длинном пальто с бобровым воротником. На руках у него спокойно сидела прелестная синеглазая девочка. Господин, заметно было, повидал виды. Он был замучен, он был так худ, что пальто его, некогда дорогое, а теперь вытертое, забрызганное грязью, с воротником, точно зализанным, висело, как на вешалке. Девочка, напротив, была полненькая, хорошо и тепло одета, в белом вязаном капоре. Господин кинулся к сходням. Солдаты было двинулись к нему, но он так неожиданно и так свирепо погрозил им пальцем, что они опешили, и он неловко вбежал на пароход.

Я стоял на рубке над кают-компанией и с бессмысленной пристальностью следил за ним. Потом, так же тупо, стал смотреть на туманившийся на горе город, на гавань. Темнело, орудийная, а за нею и ружейная стрельба смолкла, и в этой тишине и уже спокойно надвигающихся сумерках чувствовалось: всему конец. Чувствовалось, что дело сделано, что город сдался, покорился, что теперь он уже вполне беззащитен от вваливающихся в него победителей, несущих с собой смерть и ужас, грабеж, надругательство, убийство, голод и лютое рабство для всех поголовно, кроме самой подлой черни. В городе не было ни одного огня, порт был необычно пуст, казался беспредельным,— «Патрас» уходил последним, разводил пары, чтобы уйти за ним, только бокастый ледокол, одиноко стоявший на рейде среди льдин и черных прогалин воды. За рейдом терялась в сумрачной зимней мгле пустыня голых степных берегов. Вскоре пошел мокрый снег, и я, насквозь промерзнув за долгое стояние на рубке, побежал вниз. Мы уже двигались,— все плыло подо мною, набережная косяком отходила прочь, туманно-темная городская гора валилась назад... Потом шумно заклубилась вода из-под кормы, мы круто обогнули мол с мертвым, темным маяком, выровнялись и пошли полным ходом... Конец, прощай Россия, сказал я себе твердо.

II

Пароход, конечно, уже окрестили ноевым ковчегом,— человеческое остроумие не богато. И точно, кого только не было на нем? Были крупнейшие мошенники, обремененные наживой, покинувшие город спокойно, в твердой уверенности, что им будет не плохо всюду. Были люди порядочные, но тоже пока еще спокойные, бежавшие впервые и еще не вполне сознавшие всю важность того, что случилось. Были даже такие, что бежали совсем неожиданно для себя, что просто заразились общим бегством и сорвались с места неизвестно зачем, ни с того, ни с сего, чуть не в самую последнюю минуту, без вещей, без денег, без теплой одежды, даже без смены белья, как, например, какие-то две певички, не к месту нарядные, смеявшиеся над своим нечаянным путешествием, как над забавным приключением. Но преобладали все же настоящие беженцы, бегущие

уже давно, из города в город, и наконец добежавшие до последней русской черты.

Три четверти людей, сбившихся на «Патрасе», уже испытали несметное и неправдоподобное количество всяких потерь и бед, смертельных опасностей, жутких и нелепых приключений, мук всяческого передвижения и борьбы со всяческими препятствиями, крайнюю тяготу телесной и душевной нечистоты, усталости. Теперь, утратив последние остатки человеческого благополучия, растеряв друг друга, забыв всякое людское достоинство, жадно таща на себе последний чемодан, они сбежались к последнему краю русской земли, под защиту счастливых, далеких от всех их страданий и потому втайне гордящихся существ, называемых французами, и эти французы дозволили им укрыться от последней погибели в то утлое, тесное, что называлось «Патрасом» и что в этот зимний вечер вышло со всем своим сбродом навстречу мрачной зимней ночи, в пустоту и даль мрачного зимнего моря. Что должен был чувствовать весь этот сброд? На что могли надеяться все те, что сбились на «Патрасе», в том совершенно загадочном, что ожидало их где-то в Стамбуле, на Кипре, на Балканах? И, однако, каждый из них на что-то надеялся, чем-то еще жил, чему-то еще радовался и совсем не думал о том страшном морском пути в эту страшную зимнюю ночь, одной трезвой мысли о котором было бы достаточно для полного ужаса и отчаяния. По милости Божьей, именно трезвости-то и не бывает у человека в наиболее роковые минуты жизни. Человек в эти минуты спасительно тупеет и никогда не доводит до конца мыслей о своем положении.

Всюду на пароходе все было загромождено вещами и затоптано грязью и снегом. Всюду была беспорядочная теснота и царило какое-то неестественное оживление табора, людей, только-то спасшихся, страстно стремившихся спастись во что бы то ни стало и вот наконец добившихся своего, после всех своих мучений и страхов наконец повернувших, что они спасены, что они уже вне опасности и что они живы,— что бы там ни было впоследствии! Человек весьма охотно, даже с радостью, освобождается от всяческих человеческих уз, возвращается к первобытной простоте и неустроенности, к дикарскому образу существования,— только позволь обстоятельства, только будь оправдание. И на «Патрасе» все чувствовали, что теперь это позволено, что теперь это можно — не стыдиться ни грязных рук, ни потных под шапками волос, ни замызганных воротничков, ни жадной еды не во время, ни неумеренного куренья, ни разворачивания при посторонних своего скарба, нутра своей обычно сокровенной жизни.

Всюду были узлы, чемоданы и люди: и в рубке над кают-компанией, где поминутно хлопала тяжелая дверь на палубу и несло сырым ветром со снегом, и на лестнице в кают-компанию, и над лестницей, и в столовой, где воздух был уже испорченный, душный. Трудно было пройти от тех нестеснявшихся и опытных, предусмотрительных господ, что уже захватывали себе местечко, уже располагались по полу со своими постелями и семьями. Прочие, спотыкаясь на эти постели, перепрыгивая через узлы и чемоданы, наталкиваясь друг на друга, бегали с чайниками за кипятком, тащили где-то добытые,— за какие угодно деньги и чем дороже, тем радостнее! — огромные белые хлебы, торжествуя друг перед другом своей ловкостью, настойчивостью и даже бессовестностью. Столы завалили съестным, сидели за ними тесно, в шапках и калошах, поспешно ели и пили, сорили яичной скорлупой, угощали друг друга колбасой, салом, со смехом рассказывая, что вчера мужик на базаре содрал вот за этот кусок четыре тысячи «думскими», пробивали чужими перочинными ножами брызгающие рыжим маслом жестянки... Длинный господин, явившийся на пароход последним, несколько раз пробегал по столовой с коробкой консервированного молока в руке,— где-то устроил свою девочку и хлопотал накормить ее. Вид у него был все такой же грозный и решительный, и еще заметнее было теперь,— он был без пальто,— как худа его шея, как велика бобровая шапка, как мягки и сальны запущенные на затылке волосы.

III

Под лестницей была особенно гнусная теснота, образовалось две нетерпеливых очереди,— одна возле нужников, в двери которых ожидающие поминутно стучали, и другая возле лакеев, раздававших красное вино, наливавших его из бочки в бутылки, кружки и чайники, с которыми толпились беженцы. Вино было даровое и потому воспользоваться им хотелось поголовно всем, даже и никогда не пьющим. Я скорее многих других пробился к лакеям, получил целый литр и, возвратясь в столовую и пристроившись к уголку стола, стал медленно пить и курить, не зная, как коротать время иначе.

Только что разнесся слух, что перед самым нашим отходом из порта было получено на «Патрасе» страшное радио: два парохода, тоже переполненные такими же, как мы, и вышедшие раньше нас на сутки, потерпели крушение из-за снежной бури — один у самого Босфора, другой у болгарских берегов. И новая угроза повисла над нами, новая неопределенность — дойдем ли мы до Константинополя, и если дойдем, то когда? Ни курить, ни пить мне не хотелось; сигара была ужасная, вино холодное, лиловое. Но я сидел, пил и курил. Уже началось то напряженное ожидание, которым живешь в море при опасных переходах. «Патрас» был стар, перегружен, погода разыгрывалась с каждой минутой все круче,— мы были ничуть не в лучшем положении, чем те несчастные, о которых сообщало радио, и я совершенно ясно видел это. Большинство утешало себя тем, что мы идем быстро, бодро. Но я, по своей морской опытности, хорошо знал, что быстрота эта только кажущаяся, обманчивая. Это не мы увеличивали ход, это росло волнение.

Вода уже шумно неслась вдоль наших тонких стен, все чаще и все яростнее накатывая с боков, все тяжелее стукая в стены и с плеском, шипеньем ссыпаясь с них. За стенами была непроглядная ночь, горами, без толку, без смысла, с какими-то нам не ведомыми, грозными целями ходило мрачное и ледяное, беспокойное, зимнее море. В черные стекла ливнем летели брызги, лепило мокрым белым снегом, свистел, крепко дул ветер, холодное дыхание которого то и дело чувствовалось в дымном, жарком и уже вонючем воздухе низкой столовой, все-таки радовавшей своим светом и теплом, тем уютом, которого так первобытно жаждет человеческое сердце, еще помнящее страхи древней жизни, пещерных, свайных дней. И я тоже несознанно радовался этому свету и теплу, сидя за своей бутылкой; я слушал говор, галду своих спутников, чего-то ждал и что-то думал,— вернее, все собирался что-то обдумать и понять как следует и все откладывал, потому что все казалось, что решение всех вопросов еще где-то впереди. Стало уже упруго подымать и опускать, стало валить на сторону, скрипеть переборками, диванами и креслами, в которых мы сидели. «Патрас» быстро шел среди качавшихся, расступавшихся и опять с плеском и шумом сходившихся водяных гор, шел весь дрожа, и что-то работало внутри него все торопливее, с перебоями, с перерывами выделывая «траттататата»... Вдруг ветер налетел и засвистал бешено, волна ударила так тяжко и, освещенная нашим огнем, так страшно заглянула своей мутной слюдой, своей громадой в стекла, что многие вскрикнули и повалились друг на друга, думая, что мы уже гибнем... Потом все опять пришло в порядок, опять пошло с дрожью и перерывами это «траттататата»,— только ветер налегал все крепче, выл все жалобнее,— и вдруг опять ударило и опять дико засвистало и глубоко окунуло, опустило в расступившуюся водяную пропасть... Началось! — подумал я с какой-то странной радостью.

Вскоре стол почти опустел. Большинство стонало, томилось,— с надрывом, с молящими криками извергало из себя всю душу, валялось по диванам, по полу или поспешно, падая и спотыкаясь, бежало вон из столовой. То тут, то там кого-нибудь безобразно хлестало, а выбегающие махали дверями, и сырой холод стал мешаться с кислым зловонием рвоты. Уже нельзя было ни ходить, ни стоять, убегать надо было опрометью, сидеть — упираясь спиной в кресло, в стену, а ногами в стол, в чемоданы. Казалось,

что размахивающийся и вправо и влево и вверх и вниз пароход идет с бешеной поспешностью, внутри его грохотало уже неистово, и перерывы, отдыхи в этом грохоте казались мгновениями счастья... А наверху был сущий ад. Я допил вино, докурил сигару и, падая во все стороны, побрел в рубку. Я одолел лестницу и пробовал одолеть дверь наружу, выглянуть — ледяной ветер перехватывал дыхание, резал глаза, слепил снегом, с звериной яростью валил назад... Обмерзлые, побелевшие мачты и снасти ревели и свистали с остервенелой тоской и удалью, студенистые холмы волн перекатывались через палубу и опять, опять росли из-за борта и страшно светились взмыленной пеной в черноте ночи и моря... Крепко прохваченный холодом и свежестью, я насилу добрался назад до столовой, потом до своей каюты, по некоторым причинам предоставленной в мое единоличное распоряжение. Там было темно и все скрипело, возилось, точно что-то живое, борющееся. Проклятый корабельный пол, косой, предательский, зыбко уходил из-под ног. И когда он уходил особенно глубоко, в стену особенно тяжко ударяла громада воды, все старавшаяся одним махом сокрушить и захлестнуть «Патрас». Но «Патрас» только глубоко нырял под этим ударом и снова пружинил наружу, где на него обрушивался новый враг — налетал ураган со снегом, насквозь продувавший мокрые стены своим ледяным свистящим дыханием...

IV

И не раздеваясь,— раздеться было никак нельзя, того гляди расшибет об стену, об умывальник, да и слишком было холодно,— я нащупал нижнюю койку и, улучив удобную минуту, ловко повалился на нее. Все ходило, качалось, дурманило. Бухало в задраенный иллюминатор, с шумом стекало и бурлило,— противно, как в каком-то чудовищном чреве. И понемногу пьянея, отдаваясь все безвольнее в полную власть всего этого, я стал то задремывать, то внезапно просыпаться от особенно бешеных размахов и хвататься за койку, чтобы не вылететь из нее. Труба в рукомойнике, его сточная дыра гудела, гудела — и вдруг начинала булькать, реветь и захлебываться... Ах, встать бы, заткнуть бы чем-нибудь это анафемское горло! Но не было воли даже приподняться, как ни готовился я вот-вот решиться на это. И потекли часы за часами, и стало казаться, что уже никогда не минет эта мука качания, эта ночь, этот мрак, завывание, шум, плеск, шипение и все новые и новые удары то и дело налетающих откуда-то из страшной водной беспредельности волн...

В полусне, в забытьи я что-то думал, что-то вспоминал... Пришло в голову и стало повторяться, баюкать:

Гром и шум, корабль качает,
Море Черное шумит...

— А как дальше? — в полусне спрашивал я себя.— Как дальше? — Ах, да!

Гром и шум, корабль качает,
Закачало, сплю...

И еще дальше:

Снится мне — я свеж и молод,
Я влюблен, мечты кипят,
От зари роскошный холод
Проникает в сад...

«Мечты кипят» — это, кажется, плохо, совсем плохо сказано, думал я, но зато как хорош «роскошный холод»! Как это чудесно, смело и верно, как воскрешает молодость! И как давно было все это — и как невозвратимо!

Стан ее полувоздушный

Обняла моя рука —
И качается послушно
Зыбкая доска...

Как все это далеко и не нужно теперь! Так только, грустно немного, жаль себя и еще чего-то, а за всем тем — Бог с ним! — И опять повторялись стихи и опять путались, опять клонило в сон, в дурман, и опять все лезло куда-то вверх, скрипело, отчаянно боролось — и все лишь затем, чтобы опять неожиданно разрешиться срывом, тяжелым ударом и новым пружинным подъемом и новым шипением бурлящей, стекающей воды и пахучим холодом завывающего ветра и клокочущим ревом захлебывающегося умывальника... Вдруг я совсем очнулся, вдруг всего меня озарило необыкновенно ярким сознанием: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь, России — конец, да и всему, всей моей жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине! Только как же это я не понимал, не понял этого раньше, а лишь где-то в глубине души через силу нес какую-то несказанно тяжкую тоску? И от изумления перед своей прежней слепотой я даже вскочил и сел на койке:

— Конец, конец!

Париж, 1921

Марина Цветаева

Вольный проезд

Пречнстенка, Институт кавалерствеиной дамы Чертовой, ныне Отдел нзобразительных нскусств.

Клянусь Стиксом, что, живн я полтораста лет назад, я непремеино была бы кавалерственной дамой! (Нахожусь здесь за пропуском в Тамбовскую губ. «для изучення кустарных вышивок» — за пшеном. Вольный проезд (провоз) в $1^1/_2$ пуда.)

Дорога на ст. Усмань Тамбовской губ.

Посадка в Москве. В последнюю миииуту — точно ад разверзся: лязг, внзг. Я: «Что это?» Мужик, грубо: «Молчнте! Молчнте! Вндно, еще не ездилн!» Баба: «Помилуй нас, Господи!» Страх, как перед опричииками, весь вагон — как гроб. И, действнтельио, миииуту спустя нас всех, иесмотря на билеты н разрешеиия, выбрасывают. Оказывается, вагон понадобнлся красиоармейцам.

В последнюю секунду N, его друг, теща н я, благодаря моей команднровке, все-такн попадаем обратио.

Трагнческн начинаю уяснять себе, что едем мы на реквнзнциоиный пункт н... почти что в роли реквнзирующих. У тещн сыи — красиоармеец в реквнзнциоииом отряде. Сулят всякие блага (до свииого сала включительно). Грозят всякими бедамн (до смертоубнйства включнтельио). Мужикн озлоблеиы, бывает, что поджнгают вагоиы. Теща утешает:

— Уже три раза ездила, — Бог мнловал. И белой мучки привознла, н сальца, и сахарцу. Да ие фуита-ами: пуда-ами! А что мужнкн злобятся — понятиое дело! Кто ж своему добру враг? Ведь грабят, грабят вчнстую! Я и то уж своему Кольке говорю: «Да побойся ты Бога! Ты сам-то хотя н ие из дворяиской семьи, а все же н достаток был, и почтенность. Как же это так — человека по миру пускать? Ну, захватнл такую великую власть — иичего не говорю — пользуйся, владей на здоровье! Такая уж твоя звезда счастливая. Потому что, барышия, у каждого своя плаиида. Ах, Вы и не барышии? Ну, пропало мое дело! Я ведь и сватовством промышляю. Такого бы женишка просватала! А муж-то где? Без вестн? И детей двое? Плохо, плохо?

Так я сыиу-то: «Бери за полцеиы, чтоб и тебе не досадно, и ему ие обидно. А то что же это, вроде разбоя на большой дороге». Пра-аво! Оио, барышия, понятио... (что это я все «барышня», — положеиие-то ваше хуже вдовьего! Нн мужу ие жеиа, ии другу не княжна!)... оио, барыиька, поиятио: парень молодой, время малиновое, когда и тешиться, колн не сейчас? Не возьмет он этого в толк, что в лоск обнрать — себя разорять! И корову доить — разум иадо. Жми, да не выжимай. Да-а...

А уж почет-то мне там у него на пункте — ей-Богу, что вдовствующей императрице какой! Один того несет, другой того гребет. Колька-то мой с начальником отряда хорош, одноклассннкн, оба нз реалки нз четвертого класса вышлн: Колька — в контору, а тот просто загулял. Товарнщн, значнт. А вот перемена-то эта сделалась, со дна всплыл, пузырек вверх пошел. И Кольку моего к себе вытребовала. Сахару-то! Сала-то! Янц! В молоке — только что не купаются! Четвертый раз езжу».

Из вагонных разговоров:

— И будет это так ндтн, пока не останется: из тысячн — Муж, нз тьмы — Жена.

— А есть, товарнщи, в Москве церковь — «Великого Совета Ангел».

Ночной спор о Боге. Ненависть солдат к иконам и любовь к Богу. — «Зачем доску целовать? Колн хочешь молиться, молись один!»

Солдат — офицеру (типа бывшего лицеиста, пробор, картавит): «А вы, товарищ, какой веры придерживаетесь?»

Из темноты — ответ: «Я спирит социалистической партии».

Станция Усмань. 12-й час ночи.

Приезд. Чайная. Ломящиеся столы. Наганы, пулеметные ленты, сплошная кожаная упряжь. Веселы, угощают. Мы, чествуемые, все без сапог, — идя со станции, чуть не потонули. Для тещи, впрочем, нашлись хозяйкины полусапожки.

Хозяйки: две ехидных перепуганных старухи. Раболепство и ненависть. Одна из них — мне: «Вы что же — ихняя знакомка будете?» (Подмигивая на тещина сына.) Сын: чичиковское лицо, васильковые свиные прорези глаз. Кожу под волосами чувствуешь ярко-розовой. Смесь голландского сыра и ветчины. С матерью нагло-церемонен: «Мамаша»... «Вы» — и: «Ну вас совсем — ко всем!»...

Я, слава Богу, незаметна. Теща, представляя, смутно оговорилась: «С их родными еще в прежнне времена знакомство водила». (Оказывается, она лет пятнадцать назад шила на жену моего дядн. «Собственная мастерская была... Четырех мастериц держала... Все честь честью... Да вот — муж подкузьмил: умер!») Словом, меня нет,— я: *при...*

Напнвшнсь-наевшнсь, наши два спутника, вместе с другимн, уходят спать в вагон. Мы с тещей (тещей она приходится приятелю N, собственно, и сбившего меня на эту поездку) — мы с тещей укладываемся на полу: она на хозяйкиных подушках и перинах, я просто.

Просыпаюсь от сильного удара. Голос свахи: «Что такое?» — Второй сапог. — Вскакиваю. Полная тьма. Все усиливающийся топот ног, хохот, ругань. Звонкий голос из темноты: «Не беспокойтесь, мамаша, это реквизицнонный отряд с обыском пршел!»

Чирканье спички.

Крики, плач, звон золота, простоволосые старухи, вспоротые перины, штыки... Рыщут всюду.

— Да за иконами-то хорошенько! За святыми-то! Боги золото тоже любят-то!

— Да мы... Да нешто у нас... Сынок! Отец! Отцом будь!

— Молчать, старая стерва!

Пляшет огарок. Огромные — на стене — тени красноармейцев.

(Оказывается, хозяйки чайной давно были на примете. Сын только ждал приезда матери: нечто вроде маневров флота или парада войск в честь вдовствующей императрицы.)

Обыск длится до свету: который раз ни просыпаюсь — все то же. Утром, садясь за чай, трезвая мысль: «А могут отравить. Очень просто. Подсыплют чего-нибудь в чай, и дело с концом. Что им терять? «Царские» взяты — все потеряно. А расстреляют — все равно помирать!»

И, окончательно убедившись, пью.

В то же утро съезжаем. Мысль эта пришла не мне одной.

Опричники: еврей со слитком золота на шее, еврей-семьянин («если есть Бог, он мне не мешает, если нет — тоже не мешает»), «грузин» с Триумфальной площади, в красной черкеске, за гривенник зарежет мать.

Мои два спутника уехали в бывшее имение кн. Вяземского: пруды, сады... (Знаменитая, по зверскости, расправа.)

Уехали — не взяли. Остаюсь одна с тещей и с собственной душой. Не помогут ни та, ни другая. Первая уже остывает ко мне, вторая (во мне) уже закипает.

С чайником за кипятком на станцию. Двенадцатилетний, одного из реквизирующих офицеров, «адъютант». Круглое лицо, голубые дерзкие глаза, на белых, бараном, кудрях — лихо заломленная фуражка. Смесь амура и хама.

Хозяйка (жена того опричника со слитком) — маленькая (мизгирь!) наичернющая евреечка, «обожающая» золотые вещи и шелковые материи.

— Это у вас платиновые кольца?

— Нет, серебряные.

— Так зачем же вы носите?

— Люблю.

— А золотых у вас нет?

— Нет, есть, но я вообще не люблю золота: грубо, явно...

— Ах, что вы говорите! Золото, это ведь самый благородный металл. Всякая война, мне Иося говорил, ведется из-за золота.

(Я, мысленно: «Как и всякая революция!»).

— А позвольте узнать, ваши золотые вещи с вами? Может быть, уступите что-нибудь. О, вы не волнуйтесь, я Иосе не передам, это будет маленькое женское дело между нами!

Наш маленький секрет! (Блудливо хихикает.) — Мы могли бы устроить в некотором роде — Austausch *. (Понижая голос): — Ведь у меня хорошенькие запасы... Я Иосе тоже не всегда говорю!.. Если вам нужно свиное сало, например,— можно свиное сало, если совсем белую муку — можно совсем белую муку.

Я, робко: — Но у меня ничего с собой нет. Две пустых корзинки для пшена... И десять аршин розового ситцу...

Она, почти дерзко: — А где же вы свои золотые вещи оставили? Разве можно золотые вещи оставлять, а самой уезжать?..

Я, раздельно: — Я не только золотые вещи оставила, но... *детей*!

Она, рассмешенная: — Ах! Ах! Ах! Какая вы забавная! Да разве дети, это такой товар? Все теперь своих детей оставляют, пристраивают. Какие же дети, когда кушать нечего? (Сентенциозно): — Для детей есть приюты. Дети, это собственность нашей социалистической коммуны...

(Я, мысленно: «Как и наши золотые кольца...»)

Убедившись в моей золотой несостоятельности, захлебываясь, рассказывает. Раньше — владелица трикотажной мастерской в Петрограде.

— Ах, у нас была квартирка! Конфетка, а не квартирка! Три комнаты и кухня, и еще чуланчик для прислуги. Я никогда не позволяла служанке спать в кухне — это нечистоплотно, могут волосы упасть в кастрюлю! Одна комнатка была спальня, другая столовая, а третья, небесного цвета,— приемная. У меня ведь были очень важные заказчицы, я весь лучший Петроград своими жакетками одевала... О, мы очень хорошо зарабатывали, каждое воскресенье принимали гостей: и вино, и лучшие продукты, и цветы... У Иоси был целый курильный прибор: такой столик филигранной работы, кавказский, со всякими трубками, и штучками, и пепельницами, и спичечницами... По случаю у одного фабриканта купили... И в карты у нас играли, уверяю вас, на совсем не шуточные суммы...

И все это пришлось оставить: обстановку мы распродали, кое-что припрятали... Конечно, Иося прав, народ не может больше томиться в оковах буржуазии, но все-таки, имев такую квартиру...

— Но что же вы здесь делаете, когда дождь, когда все ваши на реквизиции? Читаете?
— Да-а...
— А что вы читаете?
— «Капитал» Маркса, мне муж романов не дает.

Ст. Усмань Тамбовской губ., где я никогда не была и не буду. Тридцать верст пешком по стриженому полю, чтобы выменять ситец (розовый) на крупу.

Крестьяне.

Шестьдесят изб — одна порубка: «Нет, нет, ничего нету, и продавать — не продаем и менять — не меняем. Что было — то товарищи отобрали. Дай Бог самим живу остаться».

— Да я же не даром беру и не советскими платить буду. У меня спички, мыло, ситец...

---

* Обмен (*нем.*).

Ситец! Магическое слово! Первая (после змея!) страсть праматери Евы! Загорание глаз, прояснение лбов, тяготение рук. Даже прабабки не отстают: брызги беззубых уст: «Ситчику бы! на саван!»

И вот я, в удушающем кольце: бабок, прабабок, девок, молодок, подружек, внучек, на коленях перед корзинкой — роюсь. Корзинка крохотная, — я вся налицо.

— А мыло духовитое? А простого не будет? А спицы почем? А ситец-то — ноский будет? Манька, а Манька, тебе бы на кофту! А сколько аршин, говоришь? Де-сять? И восьми-то нету!

Щупанье, нюханье, дерганье, глаженье, того и гляди — на зуб возьмут.

И вдруг одна прорывается: «Цвет-то! Цвет-то! Аккурат как Катька на прошлой неделе на юбку брала! Тоже одна из Москвы продавала. Ластик — а как шелк! Таковыми сборочками складными... Маманька, а? Маманька, взять, что ль? Почем, купчиха, за аршин кладешь?

— Я на деньги не продаю.

— Не продае-ешь? Как ж эт так — не продаешь?

— А так, вы же сами знаете, что деньги ничего не стоют.

— Да рази мы знаем? Наша жизнь темная. Вот тоже одна приезжая рассказывала: будто в Москве-то у вас даже очень хорошо идут.

— Поезжайте — увидите.

(Молчание. Косвенные взгляды на ситец. Вздохи.)

— Чего же тебе надо-то?

— Пшена, сала.

— Са-ала? Нет, сала у нас не будет. Какое у нас сало! Сами все всухомятку жрем. Вот медку не хочешь ли?

(Молниеносное видение себя, залитой протекшим медом, и от этого видения — почти гнев!)

— Нет, я хочу сала — или пшена.

— А почем, коли пшеном, за ситец кладешь-то? (Кстати, вовсе не ситец, а кровный редкостный карточный розовый ластик.)

Я, сразу робея: 1/2 пуда (учили — три!).

— Пол-пу-уда? Такой и цены нет. Что ж ситец-то у тебя шелковый, что ли? Только и красоты, что цвет. Посмотри, как выстирается, весь водой сойдет.

— Сколько же *вы* даете?

— Твой товар — твоя цена.

— Я же сказала: полпуда.

Отлив. Шепота́.

Разглядываю избу: все коричневое, точно бронзовое: потолки, полы, лавки, столы, котлы. Ничего лишнего, все вечное. Скамьи точно в стены вросли, вернее — точно из них выросли. А ведь и лица в лад: коричневые! И янтарь нашейный! И сами шеи! И на всей этой коричневизне — последняя синь позднего бабьего лета. (Жестокое слово!)

Шепота затягиваются, терпение натягивается — и лопается. Встаю — и, сухо:

— Что ж, берете или не берете?

— Вот, коли деньгами бы — тогда б еще можно. А то сама посуди, какой наш достаток?

Сгребаю свой (три куска мыла, пачка спичек, десять арш. сатину), затыкаю палочкой корзинку.

В дверях: «Счастливо!»

Двадцать шагов. Босые ноги вдогон.

— Купчиха, а купчиха?

Не останавливаясь: — Ну?
— Хочешь семь хвунтов?
— Нет.
И дальше, пропустив от ярости пять изб,— в шестую.

Бывает и по-другому: сговорились, отсыпано, выложено и — в последнюю секунду: «А Бог тебя знает, откудова ты. Еще беды с тобой наживешь! И волоса стриженые... Иди себе подобру да поздорову... И ситца твоего не нужно...»

А бывает и так еще:
— Ты, вишь, московка, невнятная тебе наша жизнь. Думаешь, нам все даром дается? Да вот это-то пшано, что оно на нас — дождем с неба падает? Поживи в деревне, поработай нашу работу, тогда узнаешь. Вы, москвичи, счастливые, вам все от начальства идет. Ситец-то, чай, тоже даровой?
...Подари-ка нам коробок спиц, чтобы чем тебя, пришлую, помянуть было.

И даю, конечно. Из высокомерия, из брезгливости, так, как Христос не велел давать: прямой дорогой в ад — даю!

За возглас: «Курочки ня нясутся!» — готова передушить не только всех их кур, но их самих — всех! — до десятого колена.
(Другого ответа не слышу.)

Базар. Юбки — поросята — тыквы — петухи. Примиряющая и очаровывающая красота женских лиц. Все черноглазы и все в ожерельях.
Покупаю три деревянных игрушечных бабы, вцепляюсь в какую-то живую бабу, торгую у нее нашейный темный, колесами, янтарь и ухожу с ней с базару — ни с чем. Дорогой узнаю, что она «на Казанской погуляла с солдатом» — и вот... Ждет, конечно. Как вся Россия, впрочем.
Дома. Возмущение хозяйки янтарем. Мое одиночество. На станцию за кипятком, девки: «Барышня янтарь надела! Страм-то! Страм!»

Мытье пола у хамки.
— Еще лужу подотрите! Повесьте шляпку! Да вы не так! По половицам надо! Разве в Москве у вас другая манера? А я, знаете, совсем не могу мыть пола — знаете: поясница болит! Вы, наверное, с детства привыкли?
Молча глотаю слезы.

Вечером из-под меня выдергивают стул, ем *свои* два яйца без хлеба (на реквизиц. пункте, Тамбовской губ.!).
Пишу при луне (черная тень от карандаша и руки). Вокруг луны *огромный* круг. Пыхтит паровоз. Ветви. Ветер.

Господа! Все мои друзья в Москве и везде! Вы слишком думаете о своей жизни! У вас нет времени подумать о моей — а стоило бы.

Теща: бывшая портниха, разудалая, речистая замоскворецкая сваха («муж подкузьмил — умер!»), хам. Коммунист с золотым слитком на шее; мещанка-евреечка, бывшая владелица трикотажной мастерской; шайка воров в черкесах; подозрительные угрюмые мужики, *чужой* хлеб (продавать *здесь* на деньги — не хватит и коммунистической совести!).

Всяческп пария: для хамки — «бедная» (грошовые чулки, нет бриллиантов), для хама — «буржуйка», для тещи — «бывшие люди», для красноармейцев — гордая стриженая барышня. Роднее всех (на 1000 верст отдаления!) бабы, с которыми у меня одинаковое пристрастье к янтарю и пестрым юбкам — и одинаковая доброта: как колыбель.

«Господи! Убить того до смерти — у кого есть сахар и сало!»
(Местная поговорка.)

«Не было смирнее нашего города!»
(Рассказ мужика по дороге в Усмань.— Не о всей ли России?)

Сегодня опричники для топки сломали телеграфный столб.

Хозяйка за чем-то наклоняется. Из-за пазухи выпадает стопка золота, золотые со звоном раскатываются по комнате.

Присутствующие, было — опустив, быстро отводят глаза.

С утра — на разбой.— «Ты, жена, сиди дома, вари кашу, а я к ней маслица привезу!..» — Как в сказке.— Часа в четыре сходятся. У наших Капланов нечто вроде столовой. (Хозяйка: «И им удобно, и нам с Иосей полезно», «Продукты» — вольные, обеды — платные.) Вина что-то не заметно. Сало, золото, сукно, сукно, сало, золото. Приходят усталые: красные, бледные, потные, злые. Мы с хозяйкой мигом бросаемся накрывать. Суп с петухом, каша, блины, яичница. Едят сначала молча. Под лаской сала и масла лбы разглаживаются, глаза увлажняются. После грабежа — дележ: впечатлениями. (Вещественный дележ производится на месте.) Купцы, попы, деревенские кулаки... У того — столько-то холста... У того — кадушка топленого... У того — царскими тысячу... А иной раз — просто петуха...

Рузман (семьянин) добродушен. Обнаруживая какой-нибудь запретный (запрятанный) плод, вроде куля муки, сам первый сочувствует:

— Ай-ай-ай! И семейство большое! Нельзя же, в самом деле, семь собственных детей, жену, бабушку и дедушку одним чистым воздухом питать!

Есть в нем и ценитель: так, хитро-скрытое и долго сопротивлявшееся вызывает в нем любование.

— Такой плут этот Микишкин, такой плут! Ему бы только ликвидацией банков заведовать! И куда он это, вы думаете, он свои николаевские забальзамировал?!

Полегонечку (восьмой день!) вхожу, вживаюсь, уже делю (лирически!) триумфы и беды, уже хозяйка, обеспокоенная долгим отсутствием мужа,— мне: «Что же это наш Иося нам изменяет?»

Я по самой середине сказки, mitten drinnen. Разбойник, разбойникова жена — и я, разбойниковой жены — служанка. Конечно, может статься — выхвачу топор... А скорей всего, благополучно растряся свои 18 ф. пшена по 80-ти заградительным отрядам, весело ворвусь в свою борисоглебскую кухню — и тут же — без отдышки — выдышусь стихом!

Зовут на реквизицию (так герцоги, в былые времена, приглашали на охоту)!

— Бросьте вы свои спички!.. (Сколько у вас осталось коробочек? Как — целых три даром отдали? Ах, ах, ах, какая непрактичная!) Едемте с нами, без спичек целый вагон муки привезете. Вам своими руками ничего делать не придется,— даю вам честное слово коммуниста: даже самым маленьким пальчиком не пошевельнете!

И хозяйка, ревниво (не ко мне, конечно, а к мыслимым «продуктам»):

— Ах, Иося, разве это возможно! Кто же мне завтра посуду будет мыть, когда я на базар пойду за дрожжами!

(Единственный, в этой семье, покупной «продукт».)

Сколько перемытой посуды и уже дважды вымытый пол! Чувство, что я определенно обращена в рабство. Негодная теща, в тон хозяйке, третирует. От моих вероломных Тезеев (хорош — Наксос!) вот уже вторая неделя — ни слуху ни духу.

У меня пока: 18 ф. пшена, 10 ф. муки, 3 ф. свиного сала, янтарь и три куклы для Али. Грозят заградительными отрядами.

Разрываюсь от смеха и гнева. Вечер проходил как всегда. Входили, выходили, пошучивали, покуривали, обдумывали завтрашние набеги, подытоживали нынешние. Словом: мир. И вдруг: гром: Бог! Кто начал — не помню. Помню только свой голос:

— Господа, если его нет — за что же вы его так ненавидите?

— А кто вам сказал, что мы Господа Бога ненавидим?

— Или вы его слишком любите: вы неустанно о нем говорите.

— Говорим, потому что многие в эти пустяки еще верят.

— Я первая! Дурой родилась, дурой помру.

(Это теща прорвалась.)

Левит, снисходительно: — Вы, мадам, это вполне объяснимое явление, все наши мамаши и папаши веровали, но вот (пожатие плечей в мою сторону)... что товарищ, в таком молодом возрасте и еще имев возможность пользоваться всеми культурными благами столицы...

Теща: — Ну что ж, что из столицы? Вы думаете, у нас в Москве все нехристи, что ль? Да у нас в Москве церквей однех сорок сороков, да монастырей, да...

Левит: — Это пережитки буржуазного строя. Ваши колокола мы перельем на памятники.

Я: — Марксу.

Острый взгляд: — Вот именно.

Я: — И убиенному Урицкому. Я, кстати, знала его убийцу.

(Подскок.— Выдерживаю паузу.)

...Как же,— вместе в песок играли: Каннегисер Леонид.

— Поздравляю вас, товарищ, с такими играми!

Я, досказывая: — Еврей.

Левит, вскипая: — Ну, это к делу не относится!

Теща, не поняв: — Кого жиды убили?

Я: — Урицкого, начальника петербургской чрезвычайки.

Теща: — И-ишь. А что, он тоже из жидов был?

Я: — Еврей. Из хорошей семьи.

Теща: — Ну, значит, свои повздорили. Впрочем, это между жидами редкость, у них это, наоборот, один другого покрывает, кум обжегся — сват дует, ей-Богу!

Левит, ко мне: — Ну и что же, товарищ, дальше?

Я: — А дальше покушение на Ленина. Тоже еврейка (обращаясь к хозяину, любезно) — ваша однофамилица: Каплан.

Левит, перехватывая ответ Каплана: — И что же вы этим хотите доказать?

Я: — Что евреи, как русские, разные бывают.

Левит, вскакивая: — Я, товарищ, не понимаю: или я не своими ушами слышу, или ваш язык не то произносит. Вы сейчас находитесь на реквизиционном пункте, станция Усмань, у действительного члена РКП товарища Каплана.

Я: — Под портретом Маркса.

Левит: — И тем не менее вы...

Я: — И тем не менее я. Отчего же не обменяться мнениями?

Кто-то из солдат: — А это правильно товарищ говорит. Какая ж свобода слова, если ты и икнуть по-своему не смеешь! И ничего товарищ особенного не заявляли: только, что жид жида уложил, это мы и без того знаем.

Левит: — Товарищ Кузнецов, прошу вас взять свое оскорбление обратно!

Кузнецов: — Какое такое оскорбление?

Левит: — Вы изволили выразиться про идейную жертву — жид?!

Кузнецов: — Да вы, товарищ, потише, я сам член к-ческой партии, а что я жид сказал — у меня привычка такая!

Теща — Левиту: — Да что ж это вы, голубчик, всхорохорились? Подумаешь — «жид». Да у нас вся Москва жидом выражается,— и никакие ваши декреты запретные не помогут! Потому и жид, что Христа распял!

— Христ-та-а?!!

Как хлыст полоснул. Как хлыстом полоснул. Как хлыстом полоснули. Вскакивает. Ноздри горбатого носа пляшут.

— Так вы вот каких убеждений, мадам? Так вы вот за какими продуктами по губерниям ездите! — Это и к вам, товарищ, относится! — Пропаганду вести? Погромы подстраивать? Советскую власть раскачивать? Да я вас!.. Да я вас в одну сотую долю секунды...

— И не испугалась! А сын-то у меня на что ж? Самый что ни на есть большевик, почище вас будет! Ишь — расходился! Вот только Кольки моего нет, а то показала бы вам, как на почтенную вдову змеем шипеть! Пятьдесят лет живу — такого срама...

Хозяйка: — Мадам! Мадам! Успокойтесь! Товарищ Левит пошутил, товарищ всегда так шутит! Да вы сами посудите...

Сваха, отмахиваясь: — И судить не хочу, и шутить не хочу. Надоела мне ваша новая жизнь! Был Николаша — были у нас хлеб да каша *, а теперь за кашей за этой — прости Господи! — как пес, язык высуня 30 верст по грязи отмахиваем...

Кто-то из солдат: — Николаша да каша? Эх, вы, мамаша!.. А не пора ли нам, ребята, по домам? Завтра чем свет в Ипатовку надо.

Вернулись N и зять. Привезли муки, веселые. И на мою долю полпуда. Завтра едем. Едем, если сядем.

* «Пришли большевики —
Не стало ни хлеба ни муки».— Московская поговорка 1918 года.

Стенька Разин. Два Георгия. Лицо круглое, лукавое, веснушчатое: Есенин, но без мелкости. Только что, вместе с другими молодцами, вернулся с реквизиции. Вижу его в первый раз.

— Разин! — Не *я* сказала: сердце вызвонило! (Сердце! Колокол! Только вот звонарей нет!)

Оговорюсь: *мой* Разин (песенный) белокур — с рыжевцой белокур. (Кстати, глупое упразднение буквы д: белокудр, белые кудри: и буйно и бело. А белокур — что? Белые куры? Какое-то безхвостое слово!) Пугачев черен, Разин бел. Да и слово само: Степан! Сено, солома, степь. Разве черные Степаны бывают? А: Ра-зин! Заря, разлив,— рази, Разин! Где просторно, там не черно. Чернота — гуща.

Разин — *до* бороды, но уже с тысячей персияночек! И сразу рванулся ко мне, взликовал *:

— Из Москвы, товарищ! Как же, как же, Москву знаю! С самых этих семи холмов Москву озирал! Еще махонький был, стих про Москву учил:

Город славный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, *и* деревни,
И палаты, *и* дворцы...

Москва — всем городам мать. С Москвы все и пошло — царство-то.

Я: — Москвой и кончилось.

Он, сообразив и рассмеявшись: — Это вы верно заметили.

Эх, Москва, Москва, Москва,
Золотая голова,
Запро-па-ща-я!

Пасху аккурат в Москве встречал. Как загудел это Иван-Великий-Колокол — да в ответ-то ему — да кажинная на свой голос-то — да врозь, да в лад, да в лоб, да в тыл — уж и не знаю: чугун ли гудит, во мне ли гудет. Как в уме порешился,— ей-Богу! Никогда мне того не забыть.

Говорим что-то о церквах, о монастырях.

— Вы вот, товарищ, обижаетесь, когда на попов ругаются, монашескую жизнь восхваляете. Я против того ничего не говорю: не можешь с людьми — иди в леса. На миру души не спасешь, сорок сороков чужих загубишь. Только, по совести, разве в попы да в монахи за тем идут? За брюхом своим идут, за жизнью сладкой. Вроде как мы, к примеру, на реквизицию,— ей-Богу! А Бог-то при чем? Бога-то, на святость ту глядя, с души воротит. Изничтожил бы он свой мир, кабы мог! Нет, ты мне Богом не заслоняйся! Бог — свет: всю твою черноту пропущает. Ни он от тебя не черней, ни ты от него не белей. И не против Бога я, товарищ, восстаю, а против слуг его: рук неверных! Сколько через эти руки от него народу отпало! Да разве у всех рассудок есть? Вот, хотя бы отец мой, к примеру,— как началось это гонение, он сразу рассудил: с больной головы да на здоровую валят. Поп, крысий хвост, нашкодил — Бога вешать ведут. Не ответствен Бог за поповский зоб! И сами, говорит, премного виноваты: попа не чтили, вот он и сам себя чтить перестал. А как его чтить-то? Я, барышня, ихнего брата в точности превзошел. Кто первый вор? — Поп. Обжора? — Поп. Гулена? — Поп. А напьется — только вот разве — барышни вы, объяснить-то вам неприлично...

— Ну а монахи, отшельники?

---

* Вся встреча, кроме первых нескольких слов, наедине.

— А про монахов и говорить нечего, чай сами знаете. Слова постные, а языком с губ скоромную мысль облизывают. Раскрои ему черепушку: ничего, окромя копченых там да соленых, да девок, да наливок-вишневок не удостоверишь. Вот и вера вся! Монашеское житие! Души спасение!

— А в Библии, помните? Из-за одного праведника Содом спасу? Или не читали?

— Да сам, признаться, не читал,— все больше я в младости голубей гонял, с ребятами озоровал. А вот отец у меня — великий церковник. (Вдохновляясь): — Где эту самую Библию ни открой — так тебе десять страниц подряд слепыми глазами и шпарит...

...А я вот еще вам хотел, товарищ, про монахов досказать. Монашки, к примеру. Почему на меня каждая монашка глазами завидует?

Я, мысленно: — Да как же на тебя, голубчик, *не*...

Он, разгораясь: — Жмется, мнется, глаза, как колодцы. Да куда ж ты меня этими глазами тянешь-то? Да какая ж ты после этого моленная? Кровь озорная — в монастырь не иди, а моленная — глаза вниз держи!

Я, невольно опуская глаза: — Морализирующий Разин. (Вслух.) Вы мне лучше еще про отца расскажите.

— О-тец! Отец у меня — великий человек! Что там — в книжках пишут: Маркс, например, и Гракхи-братья. Кто их видел-то? Небось, все иностранцы: имя — язык занозишь, а отечества нету. Три тыщи лет назад — да за семью за ними морями — тридевять земель пройдешь — в тридесятой,— это не хитро великим быть! А может, так, выдумки одне? Этот-то (взмах на стенного Маркса)... гривач косматый — вправду был?

Я, не сморгнув: — Выдумали. Сами большевики и выдумали. По дороге из Берлина — знаете? Вымозговали, пиджак надели, бороду-гриву распушили, по всем заборам расклеили.

— А вы, барышня, смелая будете.

— Как и вы.

(Смеется.)

...Но вы мне про отца рассказать хотели?

— Отец. Отец мой — околодочный надзиратель царского времени. (Я, мысленно: точно за царским временем надзирает!)...Великий, я вам повторю, человек. Так бы за ним ходил с перышком круглые сутки и все бы записывал. Не слова роняет: камни-тяжеловесы! Все: скрижали, да державы, да — денницы... Аж мороз по коже, ей-Богу! Раздует себе ночью самоварчик, оденет очки роговые, книжищу свою разворотит — и ну листами бури-ветры подымать! (Понижая голос)...*Все* судьбы знает. *Все* сроки. Все кому что положено, кому что заказано,— никого не помилует. И царское крушение предсказал. Даром что царя-то вровень с Богом чтил. И сейчас говорит: «Хоть режьте, хоть живьем ешьте, а не держаться этой власти боле семи годов. Змей — она, змеиной кожей и свалится». ...Книгу пишет: «Слезы России». Восемь тетрадей клеенчатых в мелкую клетку исписал. Никому не показывает, ни мне даже... Только вот знаю: «Слезы». Кажду ночь до петухов сидит.

Два Георгия, спас знамя.

— Что вы чувствовали, когда спасали знамя?

— А ничего не чувствовал! Есть знамя — есть полк, нет знамени — нет полка!

Купил с аукциона дом в Климачах за 400 руб. Грабил банк в Одессе,— «полные карманы золота!» Служил в полку наследника.

— Выходит он из вагона: худенький, хорошенький — и жалобным таким голоском: «А куда мне сейчас можно будет пойти?» — «Вас автомобиль ждет, ваше высочество». Многие солдаты плакали.

Говорю ему стихи «Царевичу», «Царю на Пасху», «Кровных коней»...

— Это какой же человек сочинял? Не из простых, чай? А раскат-то какой! Аккурат как громом перекатило! — ... Пойла-стойла... А здорово ж ему бы нагорело за стойла за эти! А я полагаю — не в памяти писано, а? Убили отца, убили мать, убили братьев, убили сестер — вот он и записа-ал! С хорошей жизни так не запишешь! А нельзя ли было бы, барышня, мне этот стих про стойла на память списать?

— Попадетесь.

— Я?!! — Рожа из вдохновенной делается грабительской.— Я — да попасться? Нерожен еще про́пад тот, через который я пропасть должен! Нерожен — непроложен! Да у меня, барышня, золотых часов четверо. (Руки по карманам!) Хотите — сверяйтесь! И все по разному времени ходят: одни по московскому, другие по питерскому, третьи по рязанскому, а эти вот (ударяя кулаком в грудь) — по разинскому!

— А сказать вам стих про Стеньку Разина? Тот же человек писал. Слушайте.

Ветры спать ушли с золотой зарей,
Ночь подходит — каменною горой,
И с своей княжною...

Говорю, как утопающий,— нет, как рыба, собственным морем захлебнувшаяся. (Говорящая рыба... Гм... Впрочем, в сказках бывает.)

После тещ, свах, пшен, помойных ведер, наганов, Марксов — этот луч (голос), ударяющий в эту синь (глаза!). Ибо читаю ему прямо в глаза: как смотрят! В васильковую синь: сгинь.

Стенька Разин!

Стенька Разин, я не Персияночка, во мне нет двуострого коварства: Персии и нелюбящей. Но я и не русская, Разин, я *до*-русская, *до*-татарская,— довременная Русь я — тебе навстречу! Соломенный Степан, слушай меня, степь: были кибитки и были кочевья, были костры и были звезды. Кибиточный шатер — хочешь? — где сквозь дыру — самая большая звезда.

Но...

— Только вы уж, барышня, покрупней потрудитесь: я руку-то писаную не больно читаю.

С ребяческой радостью следит за возникновением букв (пишу, конечно, печатными).

— Дэ... мз... А вот и «ѣ»,— аккурат церковка с куполом.

— А вы сам деревенский?

— Сло-бодский!

— А теперь я вам, барышня, за труды за ваши, сказ один расскажу — про город подводный. Я еще махоньким был, годочке по восьмом,— отец сказывал.

Будто есть где-то в нашей русской земле озеро, а на дне озера того — город схоронен: с церквами-с башнями, с базарами-с амбарами. (Внезапная усмешка.) А каланчи пожарной — не надо: кто затонул — тому не гореть! И затонул будто бы тот град по особому случаю. Нашли на нашу землю татары, стали дань собирать: чиста злата крестами, чиста се́ребра колоколами, честной крови-плоти дарами. Град за градом, что колос за колосом, клонятся: ключьми позвякивают, татарам поддакивают. А один, вишь, князь — непоклонлив был: «Не выдам я своей святыни — пусть лучше кровь моя хлынет, не выдам я своей Помоги — отрубите мне руки и ноги!» Слышит — уж недалече рать: топота́ великие. Созывает он всех звонарей городских, велит им изо всей силы-мочи

напоследок в кол’кола взыграть: татарам на омерзение, Господу Богу на прославление. Ну — и постарались тут звонарики! Меня вот только, молодца, не было... Как вдарят! Как грянут! Аж вся грудь земная — дрогом пошла!

И поструились, с того звону, реки чиста-серебра: чем пуще звонари работают, тем круче те реки бегут. А земля того серебра не принимает, не впитывает. Уж по граду ни пройти ни проехать, одноэтажные домишки с головой под воду ушли, только князев дворец один держится. А уж тому звону в ответ — другие звоны пошли: рати поганые подступают, кривыми саблями бряцают. Взобрался князь на самую дворцовую вышку — вода по грудь,— стоит с непокрытой головой, звон по кудрям серебром текет. Смотрит: под воротами-то — тьмы! Да как зыкнет тут не своим голосом:

— Эй вы, звонарики-сударики!

Только чего сказать-то он им хотел — никто не слыхал! И городу того боле — никто не видал!

Ворвались татары в ворота — ровень-гладь. Одне струйки маленькие похлипывают... Так и затонул тот город в собственном звоне.

Стенька Разин, я не Персияночка, но перстенек на память — серебряный — я Вам подарю.

Глядите: двуглавый орел, вздыбивший крылья, проще: царский гривенник в серебряном ободке. Придется ли по руке? Придется. У меня рука не дамская. Но ты, Стенька, не понимаешь рук: формы, ногтей, «породы». Ты понимаешь ладонь (тепло) и пальцы (хватку). Рукопожатье ты поймешь.

Перстенек бери без думы: было десять — девять осталось! А что в ответ? Никогда ничего в ответ.

С безымянного моего — на мизинный твой.

Но не дам я его тебе, как даю: ты — озорь! Будет с тебя «памяти о царском времени». Шатры и костры — при мне.

— А вот у меня еще книжечка с собой о Москве, возьмите тоже. Вы не смотрите, что маленькая,— в ней весь московский звон!

(«Москва», изд. Универсальной библиотеки. Летописцы, чужестранцы, писатели и поэты в Москве. Книжка, которую дарю уже четвертый раз.— Сокровищница!)

— Ну а как в Москве буду — навестить можно? Я даже имени-отчества вашего не спросил.

Я, мысленно: — Зачем?! (Вслух): — Дайте книжечку, запишу *.

Потом на крыльце провожаю — пока глаз и пока души...

Завтра едем. Едем, если сядем. Грозят заградительными отрядами. Впрочем, Каплан (из уважения к теще) обещает дать знать по путям, что едут свои.

---

* Больше никогда его не видела.

Утреннее посещение N (ночевал в вагоне).

— М. И., сматывайтесь — и айда! Что вы здесь с тещей натворили? Этот, в красной черкеске, в бешенстве! Полночи его работал. Наврал, что вы и с Лениным и с Троцким, что вы им всем очки втирали, что вы тайно командированы,— черт знает чего наплел! Да иначе не вывез бы! Контрреволюция, орет, юдофобство, в одной люльке с убийцами Урицкого, орет, качалась! Это теща, говорю, качалась. (Тещу-то Колька вывезет!) Обе, обе, орет,— одного поля ягодки! Ну потом, когда я и про Троцкого и про Ленина, немножечко осел. А Каплан мне — так уж безо всяких: «Убирайтесь сегодня же, наши посадят. За завтрашний день не ручаюсь».— Такие дела!

А еще, знаете, другое удовольствие: ночью проснулся — разговор. Черт этот — еще с каким-то. Крестьяне поезд взорвать хотят, слежка идет... Три деревни точно... Ну и гнездо, Марина Ивановна! Да ведь это ж — Хитровка! Я волосы на себе рву, что вас здесь с ними одну оставил! Вы же ничего не понимаете: они все будут расстреляны!

Я: — Повешены. У меня даже в книжке записано.

Он: — И не повешены, а расстреляны. Советскими же. Тут ревизии ждут. Левит на Каплана донес, а на Левита — Каплан донес. И вот, кто кого. Такая пойдет разборка! Ведь здесь главный ссыпной пункт — понимаете?

— Ни звука. Но ехать, определенно, надо. А тещин сын?

— С нами едет — мать будто проводить. Не вернется. Ну, М. И., за дело: вещи складывать!

...И, ради Бога, ни одного слова лишнего! Мы уж с Колькой тещу за сумасшедшую выдали. Задаром пропадем!

Сматываюсь. Две корзинки: одна кроткая, круглая, другая квадратная, злостная, с железными углами и железкой сверху. В первую — сало, пшено, кукол (янтарь как надела, так не сняла), в квадратную — полпуда N и свои 10 ф. В общем, около 2 п. Беру на вес — вытяну!

Хозяйка, поняв, что уезжаю, льнет; я, поняв, что уезжаю, наглею.

— Все товарищ, товарищ, но есть же у человека все-таки свое собственное имя. Вы, может быть, скажете мне, как вас зовут?

— Циперович, Мальвина Ивановна.

(Из всей троичности уцелел один Иван, но Иван не выдаст!)

— Представьте себе, никак не могла ожидать. Очень, очень приятно.

— Это моего гражданского мужа фамилия, он актер во всех московских театрах.

— Ах, и в опере?

— Да, еще бы: *бас*. Первый после Шаляпина. (Подумав): ...Но он и тенором может.

— Ах, скажите! Так что, если мы с Иосей в Москву приедем...

— Ах, пожалуйста,— во все театры! В неограниченном количестве! Он и в Кремле поет.

— В Крем...?!

— Да, да, на всех кремлевских раутах. (Интимно): Потому что, знаете, люди везде люди. Хочется же поразвлечься после трудов. Все эти расправы и расстрелы...

Она: — Ах, разумеется! Кто же обвинит! Человек — не жертва, надо же и для себя... И скажите, много ваш супруг зарабатывает?

Я: — Деньгами — нет, товаром — да. В Кремле ведь склады. В Успенском соборе — шелка, в Архангельском (вдохновляясь): меха и бриллианты...

— А-ах! (Внезапно усомнившись): — Но зачем же вы, товарищ, и в таком виде, в эту некультурную провинцию? И своими ногами 10 коробочек спичек разносите?

Я, пушечным выстрелом в ухо: — Тайная командировка!

(Подскок. Глоток воздуха и, оправившись):

— Так, значит, вы, маленькая плутовка, так-таки кое-что, а? Маленький запасец, а?

Я, снисходительно: — Приезжайте в Москву, дело сделаем. Нельзя же здесь, на реквизиционном пункте, где все для других живут...

Она: — О, вы абсолютно правы! (И рискованно): — А ваш адресок вы мне все-таки на память, а? Мы с Иосей непременно, и в возможно скором времени...

Я, покровительственно: — Только торопитесь, этот товар не залеживается. У меня не то чтобы груды, а все-таки...

Она, в горячке: — И по сходной цене уступите?

Я, царственно: — По своей.

(Крохотными цепкими руками хватая мои руки):

— Вы мне, может быть, запишете свой адресок?

Я, диктуя: — Москва, Лобное место — это площадь такая, где царей казнят,— Брутова улица, переулок Троцкого.

— Ах, уже и такой есть?

Я: — Новый, только что пробит. (Стыдливо): Только дом не очень хорош: № 13, и квартира — представьте — тоже 13! Некоторые даже опасаются.

Она: — Ах, мы с Иосей выше предрассудков. Скажите, и недалеко от Центра?

— В самом Центре: три шага — и Совет.

— Ах, как приятно...

Приход тещи кладет конец нашим приятностям.

Последняя секунда. Прощаемся.

— Если б Иося только знал! Он будет в отчаянии! Он бы собственноручно проводил вас. Подумайте, такое знакомство!

— Встретимся, встретимся.

— И я бы сама, Мальвина Ивановна, с таким большим желанием сопровождала вас до станции, но у нас сегодня обедают приезжие, русские,— надо блины готовить на семь персон. Ах, вы не можете себе представить, как я устала от этих низких интересов.

Произношу слова благодарности, почтительно, с оттенком галантности, жму руку.

— Итак, помните, мой скромный дом, как и я сама и муж,— всегда к вашим услугам. Только непременно известите, чтобы на вокзале встретили.

Она: — О, Иося даст служебную телеграмму.

Теща, на воле:

— М. И., что это вы с ней так слюбились? Неужели ж и адрес дали плюгавке этой?

— Как же! Чертова площадь, Бесов переулок, ищи ветра в поле!

(Смеемся.)

Дорога.

Смеемся, да не очень. До станции три версты. Квадратная корзинка колотит по ногам, чувство, что руки — по колено. Помощь N отвергаю — человека из-за мешков не видно! Трегорбый верблюд.

Иду — скриплю. Скрипит и корзинка — правая: гнусное, на каждом шагу, поскрипыванье. Около 1 п. Как бы ручка не оторвалась! (О, идиотизм: за мукой — с корзинами! Мука, которая рифмуется только с одним: мешок! В этих корзинках — вся русская интеллигенция!) Нужно думать о чем-нибудь другом. Нужно понять, что все это — сон. Ведь во сне наоборот, значит... Да, но у сна есть свои сюрпризы: ручка может отвалиться...

вместе с рукой. Или: в корзине вместо муки может оказаться... нет, похуже песка: полнос собрание сочинений Стеклова! И не вправе негодовать: *сон.* (Не оттого ли я так *мало* негодую в Революции?)

— Да подождите же, говорят! Мешок прорвался!

Корзины наземь. Бегу на зов. Посреди дороги, над мешком, как над покойником, сваха. Подымает красное, страшное, как освежеванное, лицо.

— Ну булавка-то у вас хоть есть — аглицкая? Сколько я, на вашу тетушку шимши, иголок изломала!

Достаю, даю: мужскую, огромную, надежную. Унимаем, как можем, коварно струящийся мешок. Теща охает:

— И иголка была с ниткой, нарочно приготовила! Чуяло мое сердце! (Мешку): — Ах ты подлец, подлец неверный! А вот прощаться стала с мерзавкой-то вашей, так, значит, замечтавшись, и вынула. Да лучше бы я ей, мерзавке этой, этой самой иголкой — глаза выколола!

— Завтра, завтра, мамаша! — торопит Колька.— Нынче на поезд надо!

Взвалили, пошли.

...Детская книжка есть: «Во сне все возможно», и у Кальдерона еще: «Жизнь есть сон»; А у какого-то очаровательного англичанина, не Бердслея, но вроде, такое изречение: «Я ложусь спать исключительно для того, чтобы видеть сны». Это он о снах на заказ, о тех снах, где подсказываешь. Ну, сон, снись! Снись, сон, так: телеграфные столбы — охрана, они сопутствуют. В корзине не мука, а золото (награбила у *этих*). Несу его *тем.* А под золотом, на самом дне, план расположения всех красных войск. Иду десятый день, уж скоро Дон. Телеграфные столбы сопутствуют. Телеграфные столбы ведут меня к —

— Ну, М. И., крепитесь! С полверсты осталось!

А руки у меня, действительно, до колен, особенно правая. Пот льется, щекоча виски. Все боковые волосы смочены. Не утираю: рука, железка корзины, повторный удар по ноге — одно. Расплетется — конец. Когда больно — нельзя заново.

Так или иначе — станция.

Станция.

Станция. Серо и волнисто. Земля — как небо на батальных картинах. Издалека пугаюсь, спутника за руку.

— Что?!

N, с усмешкой: — Люди, Марина Ивановна, ждут посадки.

Подходим ближе: мешочные холмы и волны, в промежутках вздохи, платки, спины. Мужчин почти нет: быт Революции, как всякий, ложится на женщину: тогда — снопами, сейчас — мешками. (Быт — это мешок: дырявый. И все равно несешь.)

Недоверчивые обороты голов в нашу сторону.

— Господа!

— Москву объели, деревню объедать пришли!

— Ишь натаскали добра крестьянского!

Я — N: — Отойдем!

Он, смеясь: — Что вы, М. И., то ли будет!

Холодею, в сознании: правоты — их и неправоты — своей.

Платформа живая. Ступить — некуда. И все новые подходят: один как другой, одна как другая. Не люди с мешками — мешки на людях. (Мысленно, с ненавистью: вот он, хлеб!) И как это еще мужики отличают баб? Зипуны, кожухи... Морщины, овчины... Не мужики и не бабы: медведи: *оно*.

— Последние пришли, первые сядут.
— Господа и в рай первые...
— Погляди, сядут, а мы останемся...
— Вторую неделю под небушком ночуем...
У-у-у...

Посадка.

Поезд.— Одновременно, как из-под земли: двенадцать с винтовками. *Наши!* В последнюю секунду пришли посадить. Сердце падает: Разин!

— Что, товарищ, небось сробели? Ничего! Ся-адем!

Безнадежно, я даже не двигаюсь. Не вагоны — завалы. А навстречу завалам вагонным — ревуще, вопиюще, взывающе и глаголюще — завалы платформенные.

— Ребенка задавили! Ре-бенка! Ре-

Лежачая волна — дыбом. Горизонталь — в стремительную и обезумевшую вертикаль. Лезут. Втаскивают. Вваливают. Вваливаются.

Я — через всех — Разину: — Ну? Ну?

— Ус-пеем, барышня! Не волнуйтесь! Вот мы их сейчас!

— Ребята, осади, стрелять будем!

Ответный рев толпы, щелк в воздух, удар в спину, не знаю где, не знаю что, глаза из ям, взлет...

— А это что ж, а? Это что ж за птицы-за синицы? Штыка-ами? Крестьянского добра награбили да по живому человеку ступа-ать?

— А спусти-ка их, ребята, и дело с концом! Пущай вольным воздухом продышатся!

Поняла, что села и едем. (Все ли? Озирнуться нельзя.) Постепенное осознание: стою, одна нога есть. А другая, «очевидно», тоже есть, но где — не знаю. Потом найду.

А гроза глосов растет.

— Долго очень думать не приходится. Штык посадил, а мужик высадит! Что ж это, в самом деле, за насмешка, мы этой машины-то, небось, семнадцать ден, как Царства небесного какого... А эти!..

Утешаюсь только одним: извлечь человека из этой гущи то же самое, что пробку из штофа без штопора: немыслимо. Мне быть выброшенной — другим раздаться. А раздаться — разлететься вагону. Точное ощущение предела вместимости: дальше — некуда, и больше нельзя.

Стою, чуть покачиваемая тесным совместным человеческим дыханием: взад и вперед, как волна. Грудью, боком, плечом, коленом сращенная, в лад дышу. И от этой предельной телесной сплоченности — полное ощущение потери тела. Я, это то, что движется. Тело, в столбняке — оно. Теплушка: вынужденный столбняк.

— Господа-а-а... О-о-о... У-у-у...

Но... нога: ведь нет же! Беспокойство (раздраженное) о ноге покрывает смысл угроз. Нога — раньше... Вот когда найду ногу... И, о радость: находится! Что-то — где-то

4—289

болит. Прислушиваюсь. Она, она, голубушка! Где-то далеко, глубоко... Боль оттачивается, уже непереносима, делаю отчаянное усилие...

Рев: — Это кто ж сапогами в морду лезет?!

Но дуб выкорчеван: рядом со мной, как дымовой столб (ни чулка, ни башмака не видно),— моя насущная праведная вторая нога.

И — внезапный всплеск в памяти: что-то темное ввысь! горит!

Ах, рука на прощание, с моим перстнем! Станции Усмань Тамбовской губ.— последний привет!

Москва, сентябрь 1918 г.

Марк Алданов

Убийство Урицкого

(К пятилетию)

I

Сократ. Или ничего не стоили, по-твоему, те божественные люди, которые пали под стенами Трои, и первый из них, бесстрашный сын Фетиды. Ему ведь сказала богиня: если ты отомстишь за Патрокла, ждет тебя неминуемая гибель. А он ей ответил: презираю я смерть и презираю опасность. Хуже мне жить, не отомстив за моего друга.

Платон

«Не подлежит никакому сомнению, что всякое политическое убийство есть гнусное преступление».

Так писал недавно в передовой статье по поводу гибели Воровского один весьма влиятельный орган печати.

Выстрел Мориса Конради нельзя назвать иначе как бессмысленным актом; он особенно бессмыслен потому, что Воровский был, насколько могу о нем судить, честный и убежденный человек, *лично* неповинный в преступлениях советской власти.

Так бывает часто. Так бывает даже всегда. Иоанн Грозный доживает до старости, а от рук убийц гибнет его малолетний сын. Николай I умирает в своей постели, а бомба разрывает на части Александра II. Пятнадцать Людовиков, в большинстве очень скверных, проводят безмятежный век на престоле, а шестнадцатый, самый добрый и лучший, всходит на эшафот. Немезида слепа, глуха и глупа.

И все-таки уж очень категорически выражается влиятельный орган печати. Неужели «не подлежит никакому сомнению»? И уж будто «всякое»? И так-таки «гнусное преступление»?

Платон, Шекспир, Вольтер, Мирабо, Шенье, Гюго, Пушкин, Герцен были совершенно несогласны с передовиком влиятельного органа печати.

Шекспир изобразил убийцу Цезаря несравненным образцом добродетели. Ни единого пятнышка не наложил он на облик Юния Брута. Дело не в том, верно ли это исторически. Дело даже не в том, сочувствовал ли великий драматург убийству римского диктатора. Важно, что он допускал возможность самых чистых и благородных побуждений у окровавленного политического террориста.

Историки, политики, поэты вот почти полтора столетия совершенно по-разному расценивают поступок Шарлотты Корде. Но разногласия больше не касаются ее личности. Только еще несколько изуверов отрицают высокую красоту морального облика женщины, убившей Марата.

Вечная проблема остается вечной проблемой. Но людей в политике судят не только по делам — их судят в особенности по словам. Не мешало бы судить и по побуждениям дел.

Следующие ниже страницы относятся к юноше, так трагически погибшему пять лет тому назад. Я хорошо его знал. Беспристрастно, как мог, я собрал сведения об убитом им человеке. То, что я пишу, не история, а источник для нее. У историка будут материалы, каких я не имею. Но и у меня были материалы, которых он иметь не будет, он, никогда не видавший ни Каннегисера, ни Урицкого *.

По разным причинам я не ставлю себе задачей характеристику Леонида Каннегисера. Эта тема могла бы соблазнить большого художника; возможно, что для нее когда-нибудь найдется Достоевский. Достоевскому принадлежит по праву и тот город, в котором жил и погиб Каннегисер, страшный Петербург десятых годов, самый грешный из всех городов мира...

Скажу лишь, что молодой человек, убивший Урицкого, был совершенно исключительно одарен от природы. Талантливый поэт, он оставил после себя несколько десятков стихотворений. Из них были напечатаны, в «Северных записках» и в «Русской мысли», шесть или семь отнюдь не лучшие. Многое другое он мне читал в свое время. Его наследия мало, чтобы посвятить ему литературно-критический этюд; вполне достаточно, чтобы без колебаний признать в нем дар, не успевший развиться.

Не знаю, сколько именно «пролетарских поэтов» породила большевистская революция,— об их шедеврах что-то не слышно. Вот зато другой, очень неполный, список: казнен Гумилев, один из самых крупных талантов последнего десятилетия; казнен девятнадцатилетний князь Палей **, в котором компетентный человек, А. Ф. Кони, видел надежду русской литературы; казнен Леонид Каннегисер...

Но, говоря об исключительных дарованиях убийцы Урицкого, я имею в виду не только его поэтические произведения. Он всей природой своей был на редкость талантлив.

Судьба поставила его в очень благоприятные условия. Сын знаменитого инженера, имеющего европейское имя, он родился в богатстве, вырос в культурнейшей обстановке, в доме, в котором бывал весь Петербург. В гостиной его родителей царские министры встречались с Германом Лопатиным, изломанные молодые поэты со старыми заслуженными генералами.

Этот баловень судьбы, получивший от нее блестящие дарования, красивую наружность, благородный характер, был несчастнейший из людей. О подобных ему сказано у летописца: «Никто же их бияше, сами ся мучаху».

Мне были недавно даны выдержки из оставшегося после него дневника. Расстрелян тот, кто писал дневник; расстрелян и тот, кто уберег его в дни, последовавшие за убийством Урицкого ***. Чудом уцелели и попали за границу эти записки, с которыми связано воспоминание о погибших людях.

Помнится, Михайловский заметил, что только очень одинокие люди могут вести дневники. Вернее было бы сказать: очень одинокие или очень несчастные. Мария Башкирцева, например, уже никак не жила в одиночестве. Но в своей жизни она не насчитывала ни одного дня без мучений. Почему? Она тоже спрашивала, почему?

Pourquoi, pourquoi dans ton œuvre céleste
Tant d'élements si peu d'accord! ****

Я не буду говорить подробно о дневнике Леонида Каннегисера, во многих отношениях поистине поразительном. Он начал свои записи в 1914 году,— первая помечена 29 мая.

* Это, впрочем, не так уж невыгодно для историка. Ему достанется, по крайней мере, полная свобода суждения и оценки. У меня полной свободы нет.

** Сброшен в шахту за родство с царствовавшей династией — другой причины не было.

*** Большевистскому следствию этот дневник не дал бы, впрочем, ничего. Он обрывается в начале 1918 года и не касается вовсе заговорщической деятельности Каннегисера.

**** Почему, почему в твоем вселенском (мировом) произведении
Так мало гармонии? (*фр.*).

Война застала его — в Италии — шестнадцатилетним мальчиком. Ему страстно захотелось пойти на фронт добровольцем. Родители его не пустили. Как всех мальчиков, его тянуло на войну именно то, чего на войне нет. Но было еще и нечто другое.

Привожу почти наудачу несколько записей:

«У меня есть комната, кровать, обед, деньги, кафе, и никакой жалости к тем, у которых их нет. Если меня убьют на войне, то в этом, безусловно, будет некоторый высший смысл...»

«Прервал писание, ходил по комнате, думал и, кажется, в тысячный раз решил: «Иду!» Завтра утром, может быть, проснувшись, подумаю: «Вот вздор! Зачем же мне идти: у нас огромная армия». А вечером опять буду перерешать. Потом пойду на компромисс: «Лучше пойду санитаром». Так каждый день: колеблюсь, решаю, отчаиваюсь — и ничего не делаю.

Другие, по крайней мере, работают на пользу раненых. Я тоже был раз на вокзале. Одного раненого пришлось отнести в перевязочную. При мне сняли повязку, и я увидел на его ноге шрапнельную рану в пол-ладони величиною; все синее, изуродованное, изрытое человеческое тело; капнула густо кровь. Доктор сбрил вокруг раны волосы. Фельдшерица готовила повязку. Двое студентов тихонько вышли. Один подошел ко мне, бледный, растерянно улыбаясь, и сказал: «Не могу этого видеть». Раненый стонал. И вдруг он жалобно попросил: «Пожалуйста, осторожней». Я чувствовал содрогание, показалось, что это ничего, и я продолжал смотреть на рану, однако не выдержал. Я почувствовал: у меня кружится голова, в глазах темно, подступает тошнота. Я б, может быть, упал, но собрался с силами и вышел на воздух, пошатываясь, как пьяный.

И это может грозить — мне. Знать, что эта рана на «моей ноге»... И как вдруг в ответ на это в душе подымается безудержно радостно-сладкое чувство: «Мне не грозит ничего», тогда я знаю: "Я — подлец!"»

«Сейчас мне пришли в голову стихи: «О, вещая душа моя... О, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия!..» Перелистал Тютчева, чтобы найти их. И строки разных стихотворений как будто делали мне больно, попадая на глаза. Там каждая строчка одушевленная, и именно болью страшно заразительной.— Я не ставлю себе целей внешних. Мне безразлично, быть ли римским папой или чистильщиком сапог в Калькутте,— я не связываю с этими положениями определенных душевных состояний,— но единая моя цель — вывести душу мою к дивному просветлению, к сладости неизъяснимой. Через религию или через ересь — не знаю».

«Я теперь сам удивляюсь, как во мне могла быть вера в силу молитвы. «Просите с верою, и дастся вам...» Это вносит путаницу в религиозные представления... Это имеет только один смысл (если это не просто неисполнимое обещание, евангелическая демагогия...). Можно толковать еще так: «С верою вы не станете просить о земных благах (а если просите о них, без веры или с малою), а только о Царствии небесном». Но, во-первых, это не ясно, а такие неясности не могут быть случайными, т. е. опять демагогия. А во-вторых, здесь есть тогда небрежение человеческим сердцем, которое все создано так, что *не может не желать* жаждущему — студеной струи. Пока в мире есть раны, мучения, смерть, священник всегда уступит дорогу хирургу. Мне это в полной мере понятно только сейчас, когда я только что видел ужаснейшие мучения бесконечно дорогого человека. Потом я, может быть, не обойду опять мнимо просветленного убеждения, что страдания — благо, ибо облегчают путь к Царствию небесному. Ларошфуко говорит: "La philosophie triomphe aisément des maux passés et des maux á venir, mais les maux présents triomphent de la philosophie" *. Это так же было бы верно (и более жестоко), если бы вместо la philosophie под-

* Философия легко побеждает прежнее зло и зло будущее, но зло настоящего побеждает философию (*фр.*).

ставить la religion; но Ларошфуко было не до нее».

Я ничего не комментирую. Все дневники немного похожи друг на друга,— даже Толстой и Амиель не составили исключения. Со всеми наивностями стиля и мысли, выдержки из дневника Леонида Каннегисера меня поражают. Было бы напрасно искать в них логики. Решение уйти на войну сменяется решением уйти в монастырь; за страницами чистой метафизики приходят такие страницы, которые жутко читать; восторг перед памятниками Феррары, перед картинами Веронезе сменяется восторгом перед Советом рабочих и солдатских депутатов... И на каждой странице дневника видны обнаженные нервы и слышно: «Душа из тела рвется вон...»

Я с ним познакомился в доме его родителей на Саперном переулке и там часто его встречал. Он захаживал иногда и ко мне. Я не мог не видеть того, что было трагического в его натуре. Но террориста ничто в нем не предвещало.

Одна характерная сцена осталась, впрочем, у меня в памяти. Она относится к весне 1918 года. Мы долго играли с ним в шахматы. Я жил в том доме на Надеждинской, где помещался книжный магазин «Петрополис». Этот своеобразный кооператив библиофилов скупал тогда книги у своих нуждающихся участников, стараясь их не обижать, и без выгоды перепродавал их членам кооператива, более обеспеченным материально. В ту пору в «Петрополисе» продавалась великолепная старинная библиотека князя Гагарина, состоявшая преимущественно из французских книг 18-го и начала 19-го столетий. Я купил там кое-что, и приобретенные мною книги лежали у меня на столе в кабинете. Мой гость принялся их перелистывать. Заговорив о книгах, я высказал предположение (непроверенное мною и основанное только на их характере), что библиотека эта принадлежала в свое время тому самому князю Гагарину, которому приписывают — быть может, неосновательно — авторство анонимных писем, бывших причиной смерти Пушкина.

Леонид Акимович изменился в лице и даже выронил на стол книгу.

— Кем это надо было быть,— сказал он бледнея,— чтобы написать такое письмо — о Пушкине...

И замолчал. Затем, вдруг, стал негромко декламировать стихи:

Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды!
Для рук бессмертной Немезиды
Лемносский бог тебя сковал...

Он вообще читал плохо, как, кажется, все русские поэты (за исключением изумительного чтеца И. А. Бунина): читал без всякого выражения, неестественно-однотонно, точно показывая, что никакая экспрессия, никакое искусство дикции не могут ничего прибавить к красоте самих стихов. Если не ошибаюсь, эту манеру чтения ввел Александр Блок. Но на этот раз молодой человек читал иначе, чем всегда,— или мне теперь так кажется?

— Заметьте,— сказал Каннегисер, оборвав чтение на первом четверостишии,— заметьте, здесь Пушкин сплоховал: в этой строфе нельзя было рифмовать второй стих с третьим. Если третью строчку поставить на место четвертой, выйдет гораздо сильнее... Сплоховал Пушкин,— повторил он, усмехнувшись.— Вот как я написал бы...

И он прочел четверостишие в своей редакции. Его тон был забавен,— усмешка, разумеется, ставила в кавычки эту поправку к Пушкину. Про себя я с ним согласился: так действительно было сильнее *.

* Вопрос о том, «сплоховал» ли Пушкин, оказывается, однако, довольно сложным. Беловой автограф «Кинжала» считался потерянным; знаменитое стихотворение стало печататься в России лишь с 1876 года — то по тексту «Полярной звезды», то по черновому наброску, то по записной книжке Полторацкого. Теперь же, в первой книге «Голоса минувшего» за 1923 год, М. А. Цявловский опубликовал впервые беловую рукопись Пушкина, оказавшуюся в бумагах Н. И. Тютчева. В этом

Он помолчал, а затем прочел совершенно изменившимся голосом конец «Кинжала».

О, юный праведник, избранник роковой,
О Занд, твой век угас на плахе,
Но добродетели святой
Остался глас в казненном прахе.
В твоей Германии ты вечной тенью стал,
Грозя бедой преступной силе —
И на торжественной могиле
Горит без надписи кинжал.

Как сейчас перед собой, вижу его в ту минуту. Он сидел в глубоком кресле, опустив низко голову. Тонкое прекрасное лицо его совершенно преобразилось... Мне жутко вспоминать теперь эти строфы «Кинжала» — в чтении убийцы Урицкого... Страшная вещь искусство! Не был ли Пушкин одним из виновников гибели шефа Петербургской Чрезвычайной комиссии? 〈...〉

Леонид Каннегисер не принимал никакого участия в политике до весны 1918 года. Февральская революция его захватила,— кого же она не захватывала так недели две или три?

Он был председателем «союза юнкеров-социалистов». Не поручусь,— как это ни странно,— что он не увлекался и идеями революции Октябрьской. Ленин произвел на него, 25 октября, потрясающее впечатление,— об этом я говорил в другом месте.

События 1918 года, Брест-Литовский мир, скоро переменили мысли Каннегисера. Изложение его политической эволюции не входит в мою задачу (да я этой эволюции и не знаю). Но в апреле (или в мае) 1918 года он уже ненавидел жгучей ненавистью большевиков и принимал какое-то участие в конспиративной работе по их свержению. Гибель друга сделала его террористом.

II

Петербург в ту пору кишел заговорщиками.

Заговоры, говорят, были всякие: монархические и республиканские, с немецкой ориентацией и с союзной ориентацией. О многих из них мне и теперь ничего не известно. Но кое-кого из заговорщиков я знал. Странные это были заговорщики...

«Пушечное мясо» — одно из самых скверных выражений, брошенных в историю Наполеоном. Случайно, должно быть, оно попалось ему на язык, а он сообщал бессмертие всему тому, что ему приходило в голову. События последних лет показали, какой громадный резервуар пушечного мяса представляет собой «цивилизованное человечество». Кто скажет, похвала ли это или брань по адресу современных людей? Чего больше — глупости или героизма — мы видели в последнее десятилетие?

Пушечное мясо революций по моральному составу еще много выше, чем пушечное мясо войны. Есть всеобщая обязательная воинская повинность, нет обязательной повинности революционной. По отношению к революциям мы все a priori * белобилетчики.

тексте второй стих рифмуется не с третьим, а с четвертым (как и требовал Каннегисер), но зато третий и четвертый стихи (обычной редакции) идут впереди первых двух:

Лемносский Бог тебя сковал
Для рук бессмертной Немезиды,
Свободы тайный страж, карающий кинжал,
Последний судия позора и обиды!

* На основании ранее известного (*лат.*).

Революции обыкновенно творятся добровольцами.

Я слышал от боевых офицеров, что в пору мировой войны самые плохие солдаты выходили из добровольцев. Думаю, что это верно: так оно было (вопреки распространенной легенде) и в период войн Революции и Империи. Дюмурье ненавидел солдат-волонтеров; недоверчиво относился к ним и Бонапарт...

Трудно было уберечься от крайнего скептицизма при виде тех добровольцев революции, тех молодых заговорщиков, которые в 1918 году подготовляли в Петербурге разные грандиозные предприятия. Опытный конспиратор-профессионал, вроде Гершуни или Савинкова, вероятно, чувствовал бы себя среди них — ну, как фельдмаршал Гинденбург на смотру вооруженных палками, восторженно выстроившихся школьников (такая картинка была недавно напечатана в немецких иллюстрированных журналах).

Конспирация у них была детская — по-детски серьезная и по-детски наивная. Не будучи Шерлоком Холмсом, можно было в каждом из них за версту признать заговорщика. Им не хватало только черных мантий, чтобы совершенно походить на актеров четвертого действия «Эрнани». Леонид Каннегисер ходил летом 1918 года вооруженный с головы до ног. Помню, раз он пришел ко мне ужинать; он имел при себе два револьвера и еще какой-то ящик, с которым обращался чрезвычайно бережно и подчеркнуто таинственно. Ящик этот он оставил у меня на ночь; на следующее утро зашел за ним и столь же таинственно его унес. Так и не знаю до сих пор, что было в ящике. Я, по Чехову, назвал молодого человека «Монтигомо, ястребиный коготь»,— он немного обиделся.

Если не ошибаюсь, он тогда предполагал взорвать Смольный институт (зто называется excusez du peu! *). Всякий химик поймет, как легко осуществить такое предприятие. Каннегисер о химии не имел ни малейшего представления. Чему только их учили на «ускоренном курсе» артиллерийских училищ? Химическая война, созданная гением Нернста, Фишера и Габера, была, однако, в полном разгаре.

Я знал и Перельцвейга, и еще несколько молодых людей, юнкеров и офицеров, принадлежавших к тому же кружку. Они были казнены еще до убийства Урицкого, недели за две или за три. Гибель Перельцвейга, близкого друга Леонида Каннегисера, по всей видимости, и была непосредственной причиной совершенного им террористического акта: она страшно его потрясла...

Все зти молодые люди стояли на одинаковой конспираторской высоте. То, что они не были переловлены в первый же день по образовании кружка, можно объяснить лишь крайне низким в ту пору уровнем техники в противоположном лагере. Вместо матерого охранного отделения была юная Чрезвычайная комиссия, только начинавшая жизнь; вместо Белецкого и Курлова работали копенгагенские и женевские эмигранты. Отдаю должное их молодым талантам: они быстро научились своему ремеслу **.

Такова была боевая ценность группы заговорщиков, действовавшей в 1918 году в Петербурге. Об их моральном, об их гражданском уровне скажу кратко.

Я не принимал никакого участия в их делах; я был довольно далек от них в политическом отношении; психологически никто не мог быть мне более чужд, чем они. Свое — поэтому беспристрастное — свидетельское показание приобщаю к пыльным протоколам истории: более высоконастроенных людей, более идеалистически преданных идеям родины и свободы, более чуждых побуждениям личного интереса — мне никогда видеть не приходилось. По жертвенному настроению, которое их одушевляло, можно и должно их сравнивать с декабристами Лещинского лагеря, с народовольцами первых съездов или

* Извините, что мало! (*фр.*).

** Думаю, впрочем, что и теперь Чрезвычайная комиссия по технике стоит значительно ниже департамента полиции.

с молодежью, которая в первые — короткие — славные дни Добровольческой армии шла под знамена Корнилова... Этих петербургских заговорщиков никто не науськивал на советскую власть. Их на советскую власть, главным образом, науськивал Брест-Литовск.

Они ничего не желали для себя, да и не могли желать. По их молодости, по их политической незрелости, им нельзя было рассчитывать ни на какую карьеру. В лучшем случае, в случае полного успеха, в случае свержения советской власти, их послали бы на фронт — только и всего. При всей своей неопытности, они, вероятно, понимали, что в борьбе против большевиков у них девять шансов из десяти — попасть в лапы Чрезвычайной комиссии. Десятый же шанс заключался в том, чтобы вести — к новым Калущам — солдат, которые воевать не хотели. Но и на это почти не было надежды. „La mort a mille aspects, le gibet en est un" *,— говорит кто-то у Виктора Гюго, кажется, в „Marion Delorme". У них, у этих заговорщиков, в сущности, не было другой перспективы, кроме палача.

Все они палачу и достались.

Впрочем, не все... Тот, кто был тогда их руководителем, давно продал свою шпагу — и теперь верой и правдой служит советской власти. Его я также хорошо знал. Если эти строки попадутся ему на глаза, пусть он ненадолго вспомнит о погибших людях, на крови которых он делал и делает политическую карьеру. Это только напоминание — так, к слову: на «угрызения совести» я нимало не рассчитываю.

III

> Урицкий, Моисей Соломонов, мещанин гор. Черкасс, комиссионер по продаже леса... Не производит впечатления серьезного человека.
>
> Докумены б. Московского охранного отделения. Большевики. Москва, 1918, с. 238.

Человек, который в ту пору почти бесконтрольно распоряжался свободой и жизнью нескольких миллионов людей, отнесенных к Северной коммуне, был Урицкий.

В иллюстрированном приложении к «Петроградской правде» 31 августа 1919 года, в годовщину «предательского ** убийства», помещена биография погибшего шефа Чрезвычайной комиссии. Вот что мы в ней читаем:

«Моисей Соломонович Урицкий родился 2-го января 1873 года в уездном городе Черкассах, Киевской губернии, на берегу реки Днепра. Родители его были купцы. Семья была большая, патриархальная. Обряды, благочестие и торговля — вот круг интересов семьи. Когда мальчику исполнилось три года, отец его утонул в реке. Мальчик остался на попечении своей матери и старшей сестры — Б. С. Молодой М. С. до 13 лет изощрялся в тонких и глубоко запутанных сплетениях Талмуда» ⟨...⟩

Будущий русский министр внутренних и иностранных дел, начавший в 13 лет изучение русского языка, еще в ранней молодости стал членом социал-демократической партии и «всецело отдался партийной работе». В 1906 году «даже царские чиновники

* «У смерти много лиц, одно из них — виселица» (*фр.*).

** Глупость этого эпитета в применении к поступку Леонида Каннегисера достаточно очевидна. Констатирую, что самодержавное правительство обнаруживало и здесь значительно больше вкуса, чем нынешнее: оно в официальных актах убийство царей и сановников обыкновенно называло «злодейским», а не «предательским».

нашли возможным заменить ему ссылку принудительным отъездом за границу. Война застала его в Германии. М. С. переезжает в Стокгольм, а затем в Копенгаген. При первой весточке о русской революции, после долгих лет борьбы и изгнанья, тов. Урицкий возвращается в Россию. Здесь его бурная, полная огня и силы деятельность протекала у всех на глазах... Это был человек своеобразной романтической мягкости и добродушия. Этого не отрицают даже враги его» ⟨...⟩ даже царские чиновники заменили ему в свое время ссылку «принудительным отъездом за границу»,— чего, кстати сказать, романтический добряк, в свою бытность руководителем ЧК, не сделал ни для одного из царских чиновников. Их подвергали другой участи — тоже «принудительно».

Должен сказать, что в изображении необыкновенной доброты, гуманности и великодушия Урицкого еще гораздо дальше, чем анонимный поэт из «Правды», идет другой биограф — общепризнанный авторитет по вопросам благородства и чести: Зиновьев. Он посвятил убитому чекисту большую статью в «Известиях» *. Статья эта начинается словами: «Убит тов. Урицкий. Убийца, *как и следовало ожидать*, правый эсер, студент Каннегисер».— Каннегисер никогда не был социалистом-революционером, и большевики прекрасно это знали **. Кончается же статья Зиновьева так: «На контреволюционный террор против лиц рабочая революция ответит террором пролетарских масс, *направленным против всей буржуазии и ее прислужников*» ***.— Гнусный лжец-погромщик выдал Урицкому аттестат кротости. «Урицкий,— пишет Зиновьев,— был *один из гуманнейших людей нашего времени*. Неустрашимый боец, человек, не знавший компромиссов, он вместе с тем был человеком *добрейшей души и кристальной чистоты*».

Опять замечу: много некрологов было посвящено убитым министрам и полицейским чиновникам царского времени; но я не помню, чтобы самый последний продажный писака называл Плеве «одним из гуманнейших людей нашего времени» или фон Валя «человеком добрейшей души и кристальной чистоты». Не помню также, чтобы работа Герасимова и Курлова именовалась «бурной, исполненной огня и силы деятельностью». Положительно, чувства приличия у официозов самодержавного периода было много больше, а уверенности в непроходимой глупости читателей — много меньше⟨...⟩

Урицкий был комический персонаж.

Мне приходилось его видеть. В моей памяти осталась невысокая, по-утиному переваливающаяся фигурка, на кривых, точно от английской болезни, ногах, кругленькое лицо без бороды и усов, смазанный чем-то, аккуратный проборчик.

И лицом Урицкий нимало не был похож на фанатика... Да и в самый Коран он уверовал только за несколько месяцев до своего конца.

Урицкий был всю жизнь меньшевиком. В годы эмиграции он состоял чем-то при Г. В. Плеханове,— кажется, личным секретарем. Покойный Плеханов, подобно Ленину и Саре Бернар, любил окружать себя бездарностями.

У меньшевиков Урицкий никогда не считался крупной величиной ****. В 1912 году он был, однако, избран в их организационный комитет.

Избрание это произошло при следующих обстоятельствах, на которых, быть может, стоит остановиться. В августе 1912 года в Вене была созвана конференция членов

---

* Зиновьев Г. Моисей Соломонович Урицкий//Известия Петроградского Совета рабочих и красноармейских депутатов. № 194 (337).

** См. официальное сообщение о расстреле Леонида Каннегисера: «От Чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией» («Северная коммуна». № 133). Статья Зиновьева напечатана в годовщину убийства.

*** Как известно, после убийства Урицкого, в Петроградской коммуне, находившейся в ведении г. Зиновьева, было в одну ночь расстреляно пятьсот ни в чем не повинных людей.

**** Это подтвердил в разговоре со мной и Р. А. Абрамович. И. Г. Церетели, несколько раз встречавшийся с Урицким, говорил мне, что на него будущий народный комиссар Северной коммуны производил впечатление очень серого и ограниченного человека.

РСДРП с участием представителей целого ряда социал-демократических организаций (преимущественно — но не исключительно — меньшевистских). Это была одна из очередных попыток освободить партию от диктатуры Ленина, который незадолго до того создал в Праге чисто большевистский Центральный Комитет. В конференции приняли участие почти все выдающиеся деятели социал-демократической партии небольшевистского толка: Аксельрод, Мартов, Абрамович, Медем, Либер, Троцкий, Горев, Семковский, Ларин и др. Цель заключалась в том, чтобы объединить все организации РСДРП, кроме чистых ленинцев, и объявить Ленина узурпатором.

Попала, однако, в Вену и небольшая группа лиц, которая ставила себе противоположную задачу: сорвать конференцию или, по крайней мере, помешать объединению и сохранить ленинский Центральный Комитет. Группу эту составляли два делегата — «Лапка» и «Петр». Действовали они по совершенно разным побуждениям.

Член конференции «Лапка» принадлежал к большевистскому течению, и если не во всем тогда сходился с Лениным, то в некоторых отношениях был скорее левее, чем правее диктатора. Он с той поры проделал довольно значительную политическую эволюцию — и теперь благополучно издает, вместе с г. г. Ефимовским и Филлиповым, монархическую газетку. «Лапка» был Григорий Алексеевич Алексинский.

Член конференции «Петр» имел несколько имен. Его иначе звали в партии «Александром» и «Кацапом». Настоящее имя его было Андрей Александрович Поляков. Но у него еще имелась и другая кличка — «Сидор». Под этим псевдонимом его знало охранное отделение. «Петр» был секретный агент департамента полиции.

Департамент полиции имел видных и опытных провокаторов в каждой группе РСДРП. В ленинском Центральном Комитете его представлял «Портной» (член Государственной думы Малиновский). В Центральном областном бюро партии служил другой замечательный провокатор, «Пелагея» (А. Романов), личный друг семьи Ленина. Московские организации находились в ведении Лобова, тоже очень ценного сотрудника (страдавшего, однако, запоем). «Правду» редактировал охранник «Москвич» (М. Черномазов). В Париже работал человек с нежными французскими именами: «Андре» и «Доде» (доктор Яков Житомирский) и т. д. Одним словом, дело было поставлено хорошо.

Департамент полиции трудился со вкусом и с любовью. Начальники охранных отделений (особенно столичных) были большие знатоки дела и проявляли живейший интерес ко всем идеологическим течениям подпольных партий. Они входили, так сказать, во вкус революции, перенимали язык, термины, манеру мысли партийных людей, сочувственно изучали индивидуальность отдельных революционеров. Стиль циркуляров департамента полиции и донесений его агентов — неподражаем. Так, например, об одном из течений РСДРП департамент неодобрительно замечает: «склонно к оппортунизму». В характеристике Луначарского имеются умилённые слова: «обладает симпатичной внешностью». Нравился департаменту полиции лицом и Ленин: он «наружностью производит впечатление приятное». Зато менее приятен характер большевистского папы: «Ленина словом не прошибешь»,— мрачно говорится о нем в одном донесении... Очень неодобрительно отзывался департамент полиции о нарушениях партийной дисциплины: так, например, в сообщении его начальнику Московского охранного отделения (24 июня 1909 года) говорится почти с возмущением о том, что «члены Большевистского Центра — Богданов, Марат и Никитич (Красин) перешли к критике Большевистского Центра, склонились к отзовизму и ультиматизму и, захватив крупную часть похищенных в Тифлисе денег, начали заниматься тайной агитацией против Большевистского Центра вообще и отдельных его членов в частности. Так, они открыли школу на острове Капри, у Горького». У начальника Московского охранного отделения была, однако, своя собственная информация — и он в ответном письме департаменту полиции (от 7 июля 1909 года) мягко заступается за Богданова, Марата и Никитича. «Никакой

агитации против Большевистского Центра указанные три лица не ведут; школа открывается не на похищенные в Тифлисе деньги, а на деньги, пожертвованные Горьким и другими лицами... У Богданова, Марата и Никитича идут, отчасти на почве философского и тактического разногласия, а главным образом на личной почве, трения с Лениным и, главным образом, с «Виктором». Последний, вопреки положительному отношению трех названных лиц к Большевистскому Центру, хочет вызвать раскол и обвиняет их в отзовизме и ультиматизме, а равно и похищении денег».— Поистине, если судить по стилю писем, то пришлось бы сделать вывод, что и департамент полиции и московское охранное отделение менее всего думали о грабеже казенного транспорта *. Их волновало то, вправе ли Богданов и Красин давать партийные деньги на школу в Капри и действительно ли они повинны в отзовизме и ультиматизме.

Едва ли нужно пояснять, что эта поразительная мягкость и любезность слога, свидетельствующая о каком-то психологическом раздвоении, нимало не мешали департаменту полиции вести по отношению к большевикам очень определенную (хотя и не совсем понятную) политику. О политике этой в целом я здесь говорить не буду,— о ней можно написать длинную книгу. Скажу лишь, что, по вполне понятным причинам, департамент полиции упорно стремился помешать объединению разных фракций Российской социал-демократической рабочей партии. Об этом был даже издан особый циркуляр, требовавший от всех секретных сотрудников, «чтобы они, участвуя в разного рода партийных совещаниях, неуклонно-настойчиво проводили и убедительно отстаивали идею полной невозможности какого бы то ни было организационного слияния этих течений, и в особенности объединения большевиков с меньшевиками».

В полном согласии с руководящей идеей департамента полиции, член конференции «Петр», он же секретный сотрудник московского охранного отделения Андрей Поляков, с самого начала Венской конференции подкладывал явные и тайные мины под идею объединения партии. «Петр» был избран председателем комиссии по проверке мандатов (здесь следовало бы поставить в скобках слово «sic» с восклицательным знаком). У него у самого мандат оказался, как и следовало ожидать, в полном порядке **. Но на правильность мандатов других участников конференции, не являвшихся делегатами охранного отделения, «Петру» удалось набросить легкую тень. После того как партийные мандаты были проверены агентом департамента полиции, возник вопрос о наименовании конференции. При содействии г. Алексинского, «Петру» удалось сразу провалить мысль о том, чтобы Венская конференция была признана общепартийной. Тщательно противился он — опять-таки при содействии «Лапки» — включению в резолюцию каких бы то ни было фраз, которые могли бы рассматриваться как прямое или косвенное порицание политики Ленина и его Центрального Комитета. Такие фразы неоднократно предлагались Троцким (здесь опять следовало бы поместить слово «sic» с восклицательным знаком), Абрамовичем, Мартовым. И всякий раз делегаты «Петр» и «Лапка», грозя немедленным своим уходом, проваливали соответствующие пункты резолюций. Настроение конференции понижалось. Наконец, покойный Мартов, отличавшийся энергичным темпераментом, не выдержал и произнес резкое слово против большевиков, назвав их «политическими шарлатанами». Удар грома! Обиды, нанесенной Ленину, не стерпел нынешний редактор «Русской газеты»: Г. А. Алексинский с негодованием вскочил, подал заявление об уходе с конференции и покинул зал заседания. За ним в полном восторге последовал агент департамента полиции. Это произвело еще более потрясающее

* Дело шло о тифлисском ограблеиии 1907 года. Это «мокрое» дело было организовано Сталиным (Джугашвили) — по всей вероятиости, по поручеиию или, по крайией мере, с ведома Ленина.

** Б. И. Николаевский, известиый зиаток истории РСДРП, показывал мне, одиако, письмо Л. Мартова, писаиное с Венской коифереиции,— в письме этом говорится о подозрениях, которые уже тогда возбуждала личиость «Петра».

впечатление. Начались закулисные совещания. После долгих уговоров Мартова убедили заявить о том, что его слова были дурно поняты: он имел в виду не Ленина, а «беспартийные хулиганские банды». Поправка представляется не совсем понятной, но ее немедленно сообщили на квартиру «Петру» и «Лапке». Г. Алексинский и после того не счел возможным вернуться на конференцию. Сотрудник же охранного отделения согласился сложить гнев на милость: ему было ясно, что настоящее объединение все равно провалено.

И действительно, в результате конференции создалось довольно грустное настроение. Разногласия обнаружились существенные, и это само по себе не могло не отразиться на составе избранного организационного комитета. Нельзя было выбрать никого из вождей, занимавших слишком определенные и непримиримые позиции. Часть вождей, кроме того, в Россию ехать не желала, предпочитая редактировать партийные газеты за границей. Но вместо себя эти вожди выдвигали кандидатуры своих людей. В комитет попали малоизвестные и приемлемые для каждого «работники»,— в их числе ни разу не выступавший Урицкий. Он был избран как представитель «группы Троцкого». В эту группу входило во всей вселенной человек пять или шесть.

Так вышел в большие социал-демократические люди будущий глава Чрезвычайной комиссии.

Во время войны он не играл видной роли. Он жил в Копенгагене и, если не ошибаюсь, был близок к Парвусу. После той «весточки», о которой говорит его биограф из «Правды», он вернулся в Россию — и стал осматриваться. Примкнул для начала к так называемой межрайонной группе РСДРП, занимавшей промежуточное место между большевиками и меньшевиками-интернационалистами.⟨...⟩ Я вполне допускаю в нем искренность, сочетавшуюся с крайним тщеславием и с тупой самоуверенностью. Он был маленький человек, очень желавший стать большим человеком. Характеристика, данная ему охранным отделением, весьма близка к истине.

В дни октябрьского переворота Урицкий был членом Военно-революционного комитета. Затем стал комиссаром по делам Учредительного собрания и в этой должности вел себя крайне нагло и вызывающе. Новое повышение в чине дало ему пост народного комиссара Северной коммуны — по делам иностранным и внутренним. Внутренние дела предполагали в первую очередь руководство Чрезвычайной комиссией; с ней и связана вся последующая деятельность Урицкого.

Почему он избрал для себя полицию? Перед ним были открыты все дороги. Мест было очень много, а людей — в ту пору — еще очень мало; каждый брал, что хотел. Характер отдельных большевистских вождей сказался в сделанном ими выборе: Ленин взял полноту власти. Троцкий — место, которое должно было сразу стать на виду у всего мира (комиссариат иностранных дел),— его военный гений еще не открылся: тогда военным гением был Крыленко, Дантонов, Робеспьеров, Гошей оказалось сколько угодно. Фуше и Фукье-Тенвиллей не хватало. Урицкий воевать не любил, говорить не умел. Партия предложила ему пост главы Чрезвычайной комиссии. По словам Зиновьева, для Урицкого была законом воля партии (партия, к которой он только что примкнул)...

Урицкий от природы не был жесток. Он был скорее даже несколько сентиментален. В ту пору, когда по России прогремел «Конь бледный», он зачитывался книгой Ропшина-Савинкова и, вслед за гуманным автором, растроганно повторял: «Не убий...»

Я слышал от одного видного меньшевика такое объяснение роли Урицкого: поздно примкнув к большевистскому движению, он чувствовал себя виноватым перед революцией и за свою вину наказал себя тяжким крестом Чрезвычайной комиссии. Может быть, в погоне за *инфернальностью*, Урицкий тешил себя и этим мотивом.

В деятельности начальника тайной полиции есть нечто романтическое, соблазнявшее людей и покрупнее Урицкого — как Фуше или П. Н. Дурново. Прибавка эпитета

«революционный» усиливает во сто раз романтический элемент и облагораживает его. Революционный генерал гораздо больше царского генерала. Быть «жандармом-опричником» — позорно; «расстраивать козни контрреволюционеров» — прекрасно. О, магическая власть слова! ⟨...⟩

Я слышал, однако, и другое. Мне говорили, что *труды* в Чрезвычайной комиссии под конец жизни стали тяготить Урицкого. Мне говорили, будто кровь лилась в Петербурге не всегда по его распоряжению и даже часто вопреки его воле. Он стремился к тому, чтобы *упорядочить террор*, но встречал будто бы сопротивление в Совете Народных Комиссаров * и в разнузданной стихии «районов». В «районах» людей резали без формальностей, а ему хотелось, чтобы казнимые проходили через «входящие» и «исходящие». Мне говорили даже, что за несколько дней до убийства Урицкий подал прошение об отставке.— Ссылки на вину «разнузданной стихии» хорошо нам известны из биографий почти всех исторических деятелей, купавшихся в крови по горло. Все они, разумеется, тяготились властью, «страдали», и все по природе были добры, от Ивана Грозного до Дзержинского и Ленина **. «Упорядочить террор» чрезвычайно хотел Марат, а Робеспьер как раз за несколько дней до 9 термидора собирался установить гуманнейший образ правления. Это очень старая песня. Но я не отрицаю того, что из чекистов Урицкий был далеко не самый худший.

Повторяю, несмотря на всю пролитую им кровь, он был комический персонаж. Несоответствие всей его личности с той ролью, которая выпала ему на долю,— несоответствие политическое, философское, историческое, эстетическое — резало глаз именно элементом *смешного*... Я видел его в залах Таврического дворца, где он был некоторое время хозяином... Если есть в мире здание, которое не следовало обращать в парламент (а тем более в революционный Совет или в Учредительное собрание) — это Старовский дворец Потемкина. Разумеется, выбор царского правительства, назвавшего Петербург Петроградом, должен был в свое время остановиться именно на Таврическом дворце (не проявила лучшего вкуса и революция, обосновавшаяся в Смольном институте) ***. История Таврического дворца — сплошной парадокс. Карамзин совершенно напрасно там умер,— философски это было неуместно. Не на месте были там и Муромцев, и Головин, и Хомяков (они все трое гораздо знатнее Потемкина; это показывает, что так называемая «порода» тут совершенно ни при чем). Урицкий, в качестве хозяина Таврического дворца, казался — пародией... Более самодовольной пародии я что-то не запомню.

IV

Недолгий и сложный процесс, который в дни, предшествовавшие драме, разорвал душу убийцы Урицкого, мне неясен. Почему выбор Каннегисера остановился на Урицком?

* Один из виднейших большевиков говорил Р. А. Абрамовичу: «Настоящий убийца Урицкого — Зиновьев. Он предписывал все то, за что был убит Урицкий». Этот большевик, кстати сказать, уже несколько лет не подает Зиновьеву руки.

** «Золотое сердце» Дзержинского пустил в обращение Луначарский, человек недалекий. Но о сердечной доброте Ленина я лет шесть тому назад слышал рассказ Максима Горького: знаменитый писатель не без удивления вспоминал, как в свое время Ленин, гостя у него на Капри, часами играл на песке с маленькими детьми.

*** Н. Н. Суханов в «Записках о революции» (Т. 5.С. 195—196) рассказывает о переезде Совета из Таврического дворца в Смольный институт, который не понравился автору «Записок»: «Правда, по соседству были чудесные памятники архитектуры, во главе с монастырем; я лично помню, как я ахнул и остановился, увидев его впервые...» Н. Н. Суханов провел, кажется, большую часть жизни в Петербурге. Тем не менее Смольный монастырь он впервые увидел тогда, когда поблизости обосновался Совет рабочих и солдатских депутатов.— Если б некоторый интерес к художественной культуре страны считался обязательным условием для занятия устроением ее судеб, то сколько бы у нас осталось политических деятелей?

Не знаю. Его убийство нельзя оправдать даже с точки зрения завзятого сторонника террора.

Сообщников Каннегисера, по-видимому, не было. Большевистскому следствию не удалось их обнаружить, несмотря на чрезвычайное желание властей. В официальном документе об этом сказано:

«При допросе Леонид Каннегисер заявил, что он убил Урицкого не по постановлению партии или какой-либо организации, а по собственному побуждению, желая отомстить за аресты * офицеров и за расстрел своего друга Перельцвейга, с которым он был знаком около 10 лет. Из опроса арестованных и свидетелей по этому делу выяснилось, что расстрел Перельцвейга сильно подействовал на Леонида Каннегисера. После опубликования этого расстрела он уехал из дому на несколько дней — место его пребывания за эти дни установить не удалось».

По признанию следствия, нашедшему отражение в том же документе, «точно установить путем прямых доказательств, что убийство товарища Урицкого было организовано контрреволюционной организацией, не удалось» **. Следствие, однако, осталось при мысли, что такая организация была,— и кивало, как водится, в сторону «империалистов Антанты» ***. У Антанты были тогда — летом 1918 года — другие занятия. Ллойд-Джорджа и вообще трудно себе представить в роли вдохновителя политических убийств. Его представитель в России не унаследовал террористических воззрений своего предка, знаменитого Джорджа Бьюкенена, монархомана 16-го столетия. Что до Клемансо, то хотя он и едва ли может быть причислен к принципиальным противникам террора, но организацией покушений на русских чекистов он, конечно, не занимался и своим представителям этого не поручал.

Я склонен думать, что показания Леонида Каннегисера на допросе соответствуют правде. Убийство Урицкого было его единоличным делом. Никакая организация — ни та, в которой он состоял вместе с Перельцвейгом, ни какая бы то ни было другая — не поручала ему убивать шефа петербургской Чрезвычайной комиссии. Непосредственной причиной его поступка, вероятно, и в самом деле было желание отомстить за погибшего друга (только этим еще и можно объяснить выбор Урицкого). Психологическая же основа была, конечно, очень сложная. Думаю, что состояла она из самых лучших, самых возвышенных чувств. Многое туда входило: и горячая любовь к России, заполняющая его дневники; и ненависть к ее поработителям; и чувство еврея, желавшего перед русским народом, перед историей противопоставить свое имя именам Урицких и Зиновьевых; и дух самопожертвования — все то же «на войне ведь не был»; и жажда острых, мучительных ощущений — он был рожден, чтоб стать героем Достоевского; и всего больше, думаю, жажда «всеочищающего огня страданья»,— нет, не выдумано поэтами чувство, которое прикрывает эта звонкая риторическая фигура.

Сообщников, повторяю, у него, вероятно, не было, но живой образец, возможно, и был. Он преклонялся перед личностью Г. А. Лопатина и, думается мне, ставил его себе примером,— пример далеко не плохой. Герман Александрович, конечно, не принимал никакого участия в их заговорщическом кружке: он в тот последний год своей жизни уже был неспособен ни к какой работе; да и чувствовал бы он себя среди этих конспираторов приблизительно так, как себя чувствовал Ахилл, переодетый девочкой, среди дочерей царя Ликомеда. Но Лопатин, сохранивший до конца дней свой бурный

* За «аресты»!..

** Антипов И. Очерки из деятельности Петроградской чрезвычайной комиссии / Петрогр. правда.

*** В советских кругах высказывалось даже такое нелепое предположение, будто, спасаясь после убийства, Каннегисер ехал на велосипеде по Миллионной — к английскому посольству, где хотел найти убежище.

темперамент, не стеснялся в выражениях, когда говорил о большевиках и о способах борьбы с ними. Помню это и по своим разговорам с покойным Германом Александровичем. Знаю еще следующее.

В тот самый день, когда мать Леонида Каннегисера была выпущена из тюрьмы, ей по телефону сообщили из больницы, что Герман Лопатин умирает. Р. Л. Каннегисер немедленно отправилась в Петропавловскую больницу. Герман Александрович, бывший в полном сознании, сказал Р. Л., что счастлив увидеть ее перед смертью.

— Я думал, вы на меня сердитесь...

— За что?

— За гибель вашего сына.

— Чем же вы в ней виноваты?

Он промолчал — не сказал больше ничего. Лопатин скончался через несколько часов.

Едва ли он имел основания обвинять себя в чем другом, кроме страстных слов, которые у него могли сорваться в разговоре с Леонидом Каннегисером; он очень любил молодого человека.

В том же документе официального происхождения говорится еще следующее:

«Установить точно, когда было решено убить товарища Урицкого, Чрезвычайной комиссии не удалось, но о том, что на него готовится покушение, знал сам товарищ Урицкий. Его неоднократно предупреждали и определенно указывали на Каннегисера, но товарищ Урицкий слишком скептически относился к этому. О Каннегисере он знал хорошо, по той разведке, которая находилась в его распоряжении».

Вот поистине поразительное утверждение. Оно совершенно невероятно. Если Урицкого предупреждали о готовящемся покушении с указанием имени террориста, значит, надо действительно предположить, что убийство было делом какой-то организации и что в организацию эту входил (или, по крайней мере, имел к ней отношение) агент Чрезвычайной комиссии. Но это противоречит приведенным раньше словам той же осведомленной сводки: «точно установить... не удалось». Притом какие же основания могли быть у Урицкого скептически относиться к предупреждению? И почему же он не велел заблаговременно арестовать Каннегисера? Выследить его было очень нетрудно: он большую часть дня проводил дома, в квартире своего отца, известного всему Петербургу.

И тем не менее есть в этом утверждении что-то загадочное и жуткое. Урицкий хорошо знал о Каннегисере?.. Со странным чувством я читаю это место в полицейской сводке г. Антипова.

Вот что я слышал не так давно. За несколько времени до убийства Каннегисер с усмешкой сказал одному своему знакомому:

— NN, знаете, с кем я говорил сегодня по телефону?

— С кем?

— С Урицким *.

Больше ничего. NN в ту пору не обратил внимание на сообщение молодого человека. Мало ли для чего петербуржец мог тогда звонить по телефону в Чрезвычайную комиссию! NN, как и я, пишущий эти строки, узнал об убийстве Урицкого вне Петербурга, из газет, и был поражен так же, как и я. Тогда-то он и вспомнил загадочное замечание Каннегисера...

В самом деле, мало ли для чего можно было звонить по телефону к Урицкому?.. И все-таки это очень странно... Для простой справки или для ходатайства обыкновенному, никому не известному петербуржцу едва ли можно было — даже в то время — вызвать к аппарату самого начальника Чрезвычайной комиссии. Во всяком случае надо

* NN не мог вспомнить, было ли это сказано после казни Перельцвейга и его товарищей или до нее.

было себя иазвать. Илн Каииегисер прикрылся вымышленным именем? Но почему же Урицкий подошел к телефоиу на вызов незнакомого человека? И зачем это было нужно? И что же имеиио сказал иародиому комиссару его будущий убийца?

Не могу поиять — и ин мииуты ие сомиеваюсь в вериости сообщеиия NN. Не сомневаюсь, ибо я зиал Леоиида Каииегисера. Это был его *стиль*... Нет, стиль — иеподходящее выражеиие. Но я чувствую, что иезависимо от возможиого дела (что еще такое ои мог прндумать!) ему нужио было, ему психологнчески было необходимо это жуткое, страшное ощущепие... Зачем Раскольииков после убнйства ходнл *слушать звонок* в квартнре Алеиы Иваиовиы?.. Зачем Шарлотта Корде до убийства *долго разговаривала* с Маратом?..

Я уехал нз Петербурга еще до ареста Перельцвейга. В последиий раз я видел Леоннда Акнмовича в июле 1918 года, в квартнре его родителей иа Саперном. Он был ожнвлен и весел. Я советовал его отцу отправить молодого человека куда-ннбудь на юг: Петербург гнблое место...

После потрясшей его казин товарнщей он больше дома ие иочевал. Тогда почти половнна столнцы старалась ночевать вие дома (аресты почему-то пронзводилнсь ночью). Родиые Леонида Каиегисера ннчего не подозревали и ин о чем его не спрашнвали. Ои сам ничего о себе не говорил.

16 (29) августа (накануне убнйства Урнцкого) ои прншел домой, как всегда, под вечер. После обеда ои предложнл сестре почитать ей вслух,— у ннх это было в обычае. До того оии чнтали одну из кииг Шннцлера, н она еще ие была коичеиа. Но на этот раз у него было припасеио другое: недавно приобретеииое у букнннста фраицузское многотомное нздание «Графа Моите-Крнсто». Несмотря на протесты, ои стал читать нз середнны. Случайиость или так он подобрал страинцы? Это была глава о полнтнческом убнйстве, которое совершнл в молодости старый бонапартнст, дед одной нз героинь зиамеиитого ромаиа...

Оп читал с увлеченнем до полуиочи. Затем простнлся с сестрой... Ей суждено было еще раз увндеть его нздали, нз окна ее камеры на Гороховой: его велн под конвоем на допрос.

Ночевал он, как всегда, вне дома. Но рано утром снова прншел на квартиру родителей пить чай. Часов в девять он постучал в комнату отца, который был нездоров н не работал. Несмотря на иеподходящнй ранннй час, он предложнл сыграть в шахматы. Отец согласнлся,— он ин в чем не отказывал сыну.

По-вндимому, с нсходом этой партин Леонид Каннегнсер связывал что-то другое: успех своего дела? удачу бегства? За час до убийства молодой человек нграл напряженно и очень старался выиграть. Партню он пронграл, н это чрезвычайно его взволновало. Огорченный своим успехом, отец предложнл вторую партню. Юноша посмотрел иа часы н отказался.

Он простнлся с отцом (оин более никогда не вндели друг друга) и поспешно вышел из комнаты. На нем была спортнвная кожаная тужурка военного образца, которую оп носнл юнкером и в которой я часто его вндел. Выйдя нз дому, он сел на велоснпед и поехал по иаправлению к площади Знмиего дворца. Перед Миинстерством иностраииых дел оп остаиовился: в этом здаиин прниимал Урнцкнй, ведавшнй и виешней полнтикой Северной коммуиы.

Было двадцать мипут одиииадцатого.

V *

Смерть не была приглашена...
Из старой легенды

Он вошел в подъезд, находящийся посредине той половины полукруглого дворца Росси, которая идет от арки к Миллионной улице. Урицкий всегда приезжал в министерство с этого подъезда. Каким образом узнал это Каннегисер? Или он в предыдущие дни следил за народным комиссаром? Допускаю, впрочем, и то, что он мог просто спросить у первого попавшегося служащего, в котором часу, как, с какого подъезда приезжает товарищ Урицкий: риск такого расспроса, жажда острого ощущения — «заподозрят? арестуют? — спросить надо равнодушно, Боже упаси побледнеть» — были в его натуре, все равно как звонок по телефону к Урицкому.

В большой, выходящей прямо на улицу комнате, где свершилось убийство, против входной двери находятся лестница и решетка подъемной машины. Деревянный жесткий диван, несколько стульев и вешалки для верхнего платья по выбеленным стенам — вот убранство этой комнаты, выделяющейся своим жалким видом в великолепном дворце министерства. В ней постоянно находился швейцар, который прослужил на должности около четверти века. Этот старик, обалдевший от новых порядков, как бóльшая часть прислуги императорских дворцов, называл Урицкого «ваше высокопревосходительство».

— Товарищ Урицкий принимает? — спросил Каннегисер.

— Еще не прибыли...

Он отошел к окну, выходящему на площадь, и сел на подоконник. Он снял фуражку и положил ее рядом с собой. Он долго глядел в окно...

О чем он думал? О том ли, что еще не поздно отказаться от страшного дела — еще можно вернуться на Саперный, пить чай с сестрой, отыграться в шахматы у отца или продолжать чтение «Монте-Кристо»? О том ли, что жизни осталось несколько минут, что он больше не увидит этого солнца, этой площади, этого растреллиевского дворца?.. О том, не пора ли взвести на «fire» предохранитель револьвера? О том, что швейцар странно косится и, вероятно, уже подозревает?..— Его ощущения в те минуты мог бы передать Достоевский, столь им любимый...

Он ждал. Люди проходили по площади. Сердце стучало. В двадцать минут прошла слишком короткая вечность. Вдали наконец послышался мягкий, страшный, приближающийся грохот, означавший *конец*...

Царский автомобиль замедлил ход и остановился у подъезда.

Урицкий прибыл со своей частной квартиры на Васильевском острове.

Сколько смертных приговоров упорядоченного террора он должен был подписать в этот роковой день?

Другой приговор уже был составлен.

«Смерть не была приглашена».

Она явилась без приглашения.

Молодой человек в кожаной тужурке уже вставал с подоконника, опустив руку в карман... Шеф Чрезвычайной комиссии вошел в дверь и направился к подъемной машине. Посетитель поспешно сделал несколько шагов в его направлении.

Встретились ли их глаза? Прочел ли Урицкий: *смерть*?

Грянул выстрел. Народный комиссар свалился без крика, убитый наповал. Убийца

---

* Некоторые подробности рассказа настоящей главы дошли до меня из совершенно достоверного, связанного с правящими советскими кругами, источника, который я не имею возможности назвать.

стрелял на ходу с шести или семи шагов в быстро идущего человека. Только верная рука опытного стрелка могла так направить пулю,— если не ошибаюсь, Каннегисер совершенно не умел стрелять.

Поблизости в то мгновенье не было никого *.

Убийца бросился к выходу...

Если бы он надел шапку, положил револьвер в карман и спокойно пошел пешком налево, он, вероятно, легко бы скрылся, свернув под аркой на Морскую и замешавшись в толпу Невского проспекта. Погоня началась только через две или три минуты. Этого было совершенно достаточно, чтобы пройти по площади до арки. Но он не мог рассчитывать на такую счастливую случайность — и не мог идти спокойно. Конечно, он потерял в ту минуту самообладание. Тысячу раз, должно быть, он по ночам представлял себе, как *это* будет. Это вышло *не так*... Это всегда выходит *не так*...

Без фуражки, оставленной на подоконнике, не выпуская из рук револьвера, он выбежал на улицу, вскочил на велосипед и понесся вправо — к Миллионной.

В комнате, где произошло историческое убийство, суматоха поднялась через минуту. Выстрел услышали на первом этаже служащие Народного комиссариата. Несколько человек сбежало по лестнице и остановилось в остолбенении перед мертвым телом Урицкого. Еще неясно понимая, что произошло, они подняли комиссара и перенесли его на деревянный диван у стены.

Человек, который первым вспомнил об убийце и кинулся за ним вдогонку, не был обыкновенный полицейский. Это был любопытный субъект, фанатически преданный революции, бедный, неграмотный, бескорыстный — залитый уже в ту пору кровью с ног до головы. Ему место в художественной литературе. Он еще ждет автора «Петлистых ушей». С криком бросился он на улицу. Другие побежали за ним. Легко было узнать, куда ехать: юноша, мчащийся на велосипеде без шапки, с револьвером в руке, не мог остаться незамеченным на малолюдной площади Зимнего дворца.

Автомобиль со страшной быстротой понесся в погоню.

На велосипеде к убийце, по-видимому, вернулось самообладание. Очевидцы говорили, будто он ехал по улице зигзагами — желая избежать пули в спину...

Услышав позади себя гул мчащегося автомобиля, он понял, что погибает.

Около дома № 17 по левой стороне, уже совсем недалеко от Мраморного дворца, он затормозил велосипед, соскочил и бросился во двор.

Огромная усадьба Английского клуба выходит, как все дома этой стороны Миллионной, на набережную Невы.

Если бы во дворе проходные ворота были открыты, убийца еще мог бы спастись.

Судьба была против него:

ворота были заперты.

В отчаянии он вбежал в дверь в правой половине дома и быстро стал подниматься по черной лестнице. Во втором этаже дверь квартиры князя Меликова была открыта. Он бросился в нее, пробежал через кухню и несколько комнат, перед обомлевшей прислугой, в передней накинул на себя сорванное с вешалки чужое пальто, отворил выходную дверь и спустился по парадной лестнице...**

Его схватили внизу. Кто признал в нем убийцу, не знаю,— я слышал разные версии. Он почти не защищался, во всяком случае, не стрелял. Спастись было, конечно, невозможно: у

* Швейцар, должно быть, раскрывал перед «его высокопревосходительством» дверь подъемной машины. Кабинет Урицкого находился в третьем этаже.

** Я могу ошибиться в деталях. Будущий Ленотр русской революции, если ему будут доступны, кроме тех рассказов, которыми пользовался я, свидетельские показания очевидцев, собранные в архиве Чрезвычайной комиссии, сумеет более точно и подробно восстановить это страшное действие драмы, разыгравшееся в несколько минут в усадьбе Английского клуба.— Сказанного мною достаточно, чтобы оценить замечательное самообладание двадцатилетнего террориста.

ворот дома, во дворе, уже собралась толпа, как всегда враждеоная, жестокая к арестуемым, кто бы они ни были, кто бы ни были арестующие. Он мог покончить с собой,— зачем он этого не сделал?..

Убийца Урицкого был во власти Чрезвычайной комиссии.

VI

Злодей сохранил совершенное хладнокровие. Он похвалялся своим преступлением, утверждая, что отомстил за погибших друзей. Попытки правосудия вырвать у Анкастрёма имена его сообщников, несмотря на усилия палачей, не увенчались успехом. Адское спокойствие сохранил преступник и на эшафоте. Он говорил, что умирает за Швецию...

В ночь вслед за казнью неизвестные люди тайно проникли к тому месту, где было выставлено тело Анкастрёма, и засыпали цветами и лаврами позорные останки цареубийцы. Следствию не удалось обнаружить виновных.

Дело об убийстве короля Густава III

Я ничего не могу прибавить к эпиграфу настоящей главы...

Что поддерживало этого юношу, этого мальчика, в тех нечеловеческих страданиях, которые выпали ему на долю? Не знаю. Хочу понять — и не могу...

Бурная душа Иоанна Анкастрёма прошла закал страстей и испытаний. Равальяк, Дамьен твердо знали, что за муками земной смерти их ждет вечное блаженство, купленное тяжкою ценой. У эшафота Карла Занда, воздвигнутого на лугу, который до сих пор зовется «Karl Sand's Himmelfahrtswiese», толпились десятки тысяч людей, смотревших на него как на народного героя Германии, жаждавших омочить платки в крови святого мученика. Русские террористы царского периода, умиравшие без *публики* на дворе Шлиссельбургской крепости, были, по крайней мере, уверены, что за их действия пострадают лишь они одни, а не их дети, не их жены, не их отцы. У Леонида Каннегисера не было и этого утешения. Он знал, что нежно любимые им близкие арестованы. Имея дело с большевиками, он мог до конца думать, что казнь ждет всю его семью. Она и в самом деле спаслась чудом: Петербург в те дни заливался потоками крови. «Революционный террор» ставил себе очевидной целью навести ужас и оградить от новых покушений драгоценную жизнь Зиновьевых,— что же было «целесообразнее», чем расстреливать семьи политических террористов!

Он мог знать и то, что на него обращены слепые проклятья ни в чем не повинных людей, которых убивали в качестве заложников — за его поступок. Вместо Урицкого расправу творил Бокий *, отвратительный мальчишка-садист, в десять раз превзошедший своего

* Сотрудник гуманного и кристального Урицкого, впоследствии, если не ошибаюсь, убранный по распоряжению Ленина.

предшественника и начальника.

Об участии Леонида Каннегисера я говорить не стану. Черными словами о ней сказано в трехтомном «деле об убийстве Урицкого». Увидит ли когда-нибудь свет это дело?..

Он вел себя и умер — как герой...

Вся короткая его жизнь прошла в поисках мучительных ощущений. Эту чашу он осушил до дна, и я не знаю, кому еще была отпущена судьбой такая чаша. Он пил ее долгие недели без утешения веры, без торжества победы над смертью перед многотысячными толпами зрителей, без «Слышу!» Тараса Бульбы. Никто не слышал. Никто не слушал. Где безвестная его могила? Воздвигнет ли памятник над ней Россия? На той ступени отчужденности от мира, до которой, думаю, он возвысился в свои последние дни, это, вероятно, уже не имело значения. *Там* должно открываться другое:

Счастлив, кто падает вниз головой;
Мир для него, хоть на миг, да иной...

Иван Наживин

Распутин

I. Маленькое зеркало

Начало войны было встречено всеобщим ликованием во всех в войну вступивших странах. Ликования эти потонули в море крови и слез и закончились гибелью нескольких великих и богатых стран и всеобщим разорением. А победители? Победители должны читать историю. Беспримерные победы Наполеона закончились торжественным шествием союзников по улицам Парижа и Св. Еленой, ослепительное торжество Германии в 1871 г. оплачено сторицей ее скорбями в наше время, безбрежные завоевания России закончились разгромом ее Японией сперва и Германией — или, точнее, собственным правительством — потом. Говорят, Версальский мир, поставивший Германию на колени, подписан тем самым пером, которым подписан был мир между Германией и Францией пятьдесят лет тому назад. Пятьдесят лет тому назад им был, как мы теперь видим, подписан не мир, а всеобщая европейская война. Что подписано этим страшным пером теперь, не могут сказать все мудрецы мира, взятые вместе. Весь смысл пыльных страниц истории в том и состоит, что «ныне жребий выпал Трое, завтра выпадет другим...»

Но — уроки войны прошли для народов бесследно, и еще большим, чем войну, ликованием встретила Россия революцию. Если сходили с ума большие центры ее, как Москва или Петербург, это еще до некоторой степени понятно: там делается политика, там пропитана ею вся жизнь, там привыкли политикой подменять всякую другую духовную жизнь человеческую. Но красный огонь с быстротой необыкновенной запалил все эти серенькие веси и грады российские: точно ржаное поле маками, вдруг в эти сумрачные февральские дни расцветилась вся безбрежная нива российская красными флагами и бантами, и грохот «Марсельезы» перекатывался по безбрежным просторам ее из конца в конец, и гремело ура, и пылали речи пламенные, и обнимались и восторженно плакали люди, никогда о революции не думавшие, никогда ее не желавшие, в самой глубине души своей — это они и от себя тщательно скрывали — ее боявшиеся. И как в ликованиях военных чуткое ухо без труда улавливало фальшивые нотки, резавшие не только слух, но и самую душу какофонией лжи,— вроде пресловутых военных телеграмм,— так совершенно точно так же и в снаружи величественной симфонии революции слышались чутким людям эти скверные нотки лжи,— вроде восхваления бескровной революции среди трупов первых жертв ее, вроде головокружительного успеха партии социалистов-революционеров, в которую сотнями тысяч, миллионами записывались теперь банкиры, проститутки, спекулянты, офицеры, инженеры, попы, гимназистки, балерины, безграмотные мужики и бабы, вроде вдруг у всех проявившейся страстной веры и любви к четыреххвостке и Учредительному собранию, у всех, даже и у тех, кто по простой безграмотности своей даже приблизительно не догадывался, что это такое. Миллионы студентов, подпрапорщиков, всяких Сонечек, солдат и матросов — именно все это безусое и стало сразу в авангарде революции — были совершенно твердо уверены, что революция — это прежде всего волшебная фантасмагория, в которой им отведены первые роли: они будут говорить блестящие речи, делать великолепные жесты, совершать всякие благородные подвиги, а «народ» будет носить их на руках. Однако очень быстро, на первых же шагах, оказалось, что революция — это прежде всего и важ-

нее всего забота о том, как достать людям хлеба, как пустить остановившиеся под ударами бессмысленной войны фабрики и заводы, у которых нет ни топлива, ни сырья, как бороться с миллионною ратью жуликов и проходимцев, которые с величайшим энтузиазмом вдруг бросились под красные знамена, как наладить расстроенный вконец транспорт, решить неотложный вопрос о коже, о муке, о мясе, о керосине, словом, о том, чем ни безусый авангард революции, ни ошалевшее стадо людское, слепо бросившееся за красными флагами в пропасть, совершенно не интересовались, чего не понимали и понимать не желали. И, естественно, жизнь сразу слетела со старых, ржавых петель своих и забилась и захлопала по ветру, как рваные, сразу под дождями выцветшие кумачовые флаги, которыми запестрели тогда до тошноты веси и грады российские...

Старый, тихий, милый Окшинск — крошечная частичка России и ее верное зеркало — прямо узнать стало нельзя. Весь заплеванный подсолнышками, весь закрытый легкомысленно играющими на ветру красными, уже выцветшими флагами, он чрезвычайно быстро приобрел какой-то совсем новый, к нему нисколько не идущий отпетый, хулиганский вид набекрень. С утра до поздней ночи на раскквашенных улицах толпился неизвестно зачем народ, в котором преобладала серая тыловая солдатня, конечно, с красными бантиками; бешено носились из конца в конец автомобили; лихорадочно расклеивались всякие афиши и воззвания. На всех площадях и бульварах, точно грибы после дождя, выросли вдруг тесовые нескладные трибуны, там наскоро вымазанные суриком, там затянутые кумачом, и бесконечными потоками лились с этих трибун раскаленные речи, единственным содержанием которых было бешенство против задавившей людей бессмыслицы жизни. На одной из этих трибун надседался, нестерпимо путаясь в словах, серый, тусклый семинарист, на другой истерически стучала жалкими кулачонками по перильцам ядовитая Клавдия, дочь о. Феодора, на третьей бессильно боролся с равнодушием усталой, галдящей толпы пожилой растерзанный солдат с нездоровым, пухлым лицом.

— Товарищи!..— взывал он на все стороны.— Товарищи... Да что же это такоича, а? Никто слухать не хотит... Товарищи... Теперь всякому говорить хотитца, а слухать никто не хотит... Так я протестуюсь...

Но зато твердо держал свою серую аудиторию Митя Зорин. При первом же раскате революции он бросил полк и помчался домой. Дома с ужасом узнал он и о бессмысленной смерти Вари, и об исчезновении матери. Боясь, что враги накроют ее дома, старуха жила теперь бездомной нищей, голодная, холодная, грязная, ужасная, преследуемая улюлюканьем уличных мальчишек. И Митя никак не мог напасть на ее след. И сразу точно налившись до краев болью и гневом, весь бледный, с исступленными, сумасшедшими глазами ринулся он в самую гущу свалки, полный только одного бескрайнего желания: мстить, мстить и мстить — всем мстить без различия. Он весь был точно начинен динамитом, и его бешеные проклятья, его исступление, пугая, точно сковывали толпу по рукам и ногам, и она готова была идти за ним куда угодно. Писатель-народник Андрей Иванович Сомов, бросив газету, немедленно полетел в Москву: ему, как Сонечке, непременно хотелось быть там, где будет происходить самое главное. Место редактора, не спросив ничьего согласия, занял Миша Стебельков, который примчался из Петрограда, где ему надоела уже роль статиста революции. Но пришел в редакцию Митя Зорин с солдатами, и как-то сразу и вполне естественно редактирование газеты перешло к нему. Он приказал название газеты «Окшинский голос» переменить на «Окшинский набат», и скромные, серые страницы газеты с первого же дня залились истерическим бешенством. Каждый номер был взрывом бомбы, каждая строка была исступленным криком мести, каждая буква горела кровью... И вот теперь с трибуны он бросал в толпу свои исступленные проклятия царю, офицерам, буржуям, мещанству, проклятой литературе, недоступному барскому искусству, попам и монастырям, школе, союзникам, всему миру, всей жизни, и толпа, точно зачарованная, слушала, и сердца людей все более и более загорались темным буйным пламенем...

Тем временем ядовитая Клавдия, кончив стучать своими кулачками по жидким перильцам красной эстрады, уже шла торопливо во главе кучки растерзанных солдат к шикарному особняку Степана Кузьмича. Публика на тротуарах с почтительным удивлением и страхом смотрела на нее, чувствуя за ней какую-то новую, огромную силу. И одни ее солдаты уверенно и громко утверждали, что в доме Степана Кузьмича спрятаны пулеметы, предназначенные действовать против народа, другие столь же уверенно и громко говорили, что он попрятал у себя много народного золота, а третьи проклинали его и требовали его живота за то, что на его табачной фабрике народу живется хуже, чем на каторге. Степан Кузьмич давно уже был начеку и только накануне отбыл с супругой в Москву — на всякий случай. Клавдия авторитетно ворвалась в его квартиру, один из солдат распорол штыком огромное полотно с купающимися нимфами, а так как пулеметов в доме найдено не было, то солдаты решили увезти в казармы массивный несгораемый шкаф Степана Кузьмича.

Торжественное шествие их с тяжелым шкафом по улицам городка возбудило чрезвычайную сенсацию и зависть. Но не успело волнение от этого происшествия затихнуть, как новая, еще более яркая сенсация потрясла всех: Евдоким Яковлевич, усердно разбиравший архивы жандармского управления, сразу наткнулся на нечто совсем невероятное. Неоспоримые документы и показания вызванного им из тюрьмы полковника Борсука установили, что в числе агентов охраны состояли студенты, учителя, курсистки, почтальоны, рабочие, швейцары, партийные социалисты, дьячки и в довершение всего — жена избранника окшинской земли, борца за народ Германа Германовича Мольденке! Ошеломленный, не веря ни своим ушам, ни своим глазам, Евдоким Яковлевич полетел на чьем-то автомобиле к Герману Германовичу: несомненный подлог мерзавцев-жандармов надо выяснить сейчас же и покарать их со всей силой восставшего народа! Герман Германович, народный избранник, только что прилетевший из Петербурга, чтобы дать окшинской земле соответствующие инструкции, был дома.

— Нет! Вы посмотрите только, что эти мерзавцы разделывают! — бросил он народному избраннику на стол, над которым висел чудесный портрет Карла Маркса, свои документы.— Это такая грязь... такое преступление... Этому имени нет... — задохнулся он.

Герман Германович весь побледнел.

— Нина! — приотворив дверь, сурово позвал он.

— Да? — мелодично отозвалась Нина Георгиевна из столовой.

— Пожалуйста, на минутку...— отвечал он, и, когда та, сияющая и нарядная, вошла, он показал ей ее расписки в получении денег от охраны.— Это что? Я буду просить Евдокима Яковлевича сейчас же вызвать сюда из тюрьмы полковника Борсука, чтобы он в вашем присутствии дал объяснения... Это так дико... так нелепо...

Нина Георгиевна, смутившись, опустила свою хорошенькую головку. Дурак Борсук, что не уничтожил всего этого, дурак и этот кислый эсер, что вместо того, чтобы переговорить с нею с глазу на глаз, сразу поднял эту бучу. Но характер у нее был решительный, и неопределенных положений она не терпела.

— Зачем вам понадобился полковник Борсук? — сказала она, подымая голову.— Я и сама скажу вам, что это расписки мои... Пусть это будет тебе наукой...— совершенно неожиданно заключила она.

— Наукой? Мне?! — поразился народный избранник.

— Пожалуйста, пожалуйста! Только не строй из себя невинного агнца!..— воскликнула жена.— Ты требовал от молодой женщины, которая хочет жить, каких-то спартанских добродетелей. Каждый флакон духов ты ставил мне в счет. А сколько историй было из-за моих туалетов? Я вынуждена была сама устраивать свои дела...

Депутат глядел на нее во все глаза, и в глазах этих была ненависть: быть такой дурой!

— Вы будете любезны оставить меня пока наедине с Евдокимом Яковлевичем...—

холодно сказал он.— А я свое решение по этому делу буду иметь честь сообщить вам в самом скором времени...

— Прекрасно. Только, пожалуйста, без этого вашего возвышенного тона и других ваших комедий...— пренебрежительно отвечала Нина Георгиевна и, даже не взглянув на точно ошпаренного Евдокима Яковлевича, вышла из кабинета.

«Так вот отчего погибла тогда наша типография! И те аресты все...— думал Евдоким Яковлевич, потрясенный.— Какой же был я осел!..»

Обоим говорить было тяжело, но говорить было надо. И они очень скоро пришли к соглашению: чтобы не ударить по Государственной думе, по левым партиям, по революции, Евдоким Яковлевич тут же уничтожил все эти расписки, а Герман Германович обещал, что он сегодня же увезет Нину Георгиевну с собой в Петербург и будет строго смотреть за ней.

Действительно, после очень бурной сцены супруги стремительно уехали в Петербург, но и там они не задержались и через два дня исчезли без следа: в архивах петербургской охранки были обнаружены документы, которые оглушительно доказывали, что в числе постоянных и давних сотрудников ее состоял и Герман Германович Мольденке, народный избранник, один из лучших людей русской земли!..

Но когда долетел об этом слух до взбудораженной окшинской земли, то сенсация была не долга, потому что при обыске, произведенном солдатами у архиерея, о. Смарагда, сухонького старичка с колючими глазами, были обнаружены непристойные карточки в большом количестве. И самое противное в этой истории было то, что никто не знал: были подкинуты эти карточки самими солдатами во время обыска на смех, назло или действительно сами батюшки подобрали их? Предположение это было невероятно, но позвольте — возражали обличители,— кто бы мог поверить, что Мольденке, народный избранник, окажется давним охранником и провокатором, а тем не менее факт ведь налицо! Или вон, не угодно ли, Бурцев черным по белому печатает, что вожди большевиков — Ленин и Троцкий — германские агенты... А что говорят все про царицу и Распутина? Весь ужас положения в том и заключается, что никому и ничему верить нельзя, что все сгнило, все разложилось...

Не менее волнения вызывала в городке судьба железного сундука Степана Кузьмича. Солдаты несколько раз пытались ознакомиться с его содержанием, но безрезультатно. И они робели с непривычки, тем более что не все одобряли эти их попытки. Но чем больше маячил сундук на их глазах, тем более разгоралась в них горячка посмотреть, что в буржуазных сундуках бывает. И вот, наконец, целый полк сменами повел приступы на проклятый сундук. Ломали его в поте лица чуть не целые сутки, взломали и — ахнули: в сундуке оказалась пачка почтовой бумаги, несколько карандашей и две палочки сургуча, что солдатами и было братски поделено между собою. А наутро на видном месте в «Окшинском набате» помещено было горячее письмо полкового комитета: «По городу зарвавшаяся буржуазия распространяет слухи о будто бы произведенном солдатами доблестного революционного полка грабеже у гражданина Носова. Собравшись в полном составе, полк, один из первых перешедший на сторону революции и стоящий строго на страже ее завоеваний, клеймит презрением эти гнусные слухи, распространяемые приверженцами проклятого старого режима. Обобщать единичный случай нельзя. Малосознательный элемент есть везде и всюду. И под влиянием наиболее сознательных своих товарищей малосознательные товарищи уже принесли свое раскаяние в нелепой шутке, которую они позволили себе, и революционный полк в полном составе готов немедленно, как один человек, выступить на защиту интересов трудового народа». А развороченный и измятый сундук валялся уже за казармами, и долгие дни толпились над ним люди, удивляясь его крепости и хитрости его сложных замков.

И все более и более насыщался весенний воздух огневыми словами, все более и бо-

лее пьянели стада человеческие, все ядовитее и дерзче становились речи охрипших уже ораторов с тесовых трибун. Особенно велико всегда было стечение народа около той трибуны в городском саду, которая стояла между старыми соборами с одной стороны и памятником А. С. Пушкину — с другой. Восставший народ уже снес ловким ударом булыжника половину каменного лица поэта, и едкой иронией пропитались те слова его, которые были выбиты на гранитном пьедестале:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал...

А на старых стенах соборов, видевших некогда полчища татарские, все более и более появлялось всяких непристойных надписей и рисунков... Трибуной этой все более и более завладевали большевики, еще немногочисленные, но чрезвычайно яростные и энергичные. Вокруг трибуны всегда была многочисленная толпа, и мальчишки, оборванные, с бледными порочными лицами, шныряли по рядам ее и звонкими, задорными голосами выкрикивали всякие непристойности о «царице Сашке и любовнике ее, мужике Гришке». И немало бывало тут, у трибуны этой, уже испуганных буржуазов и интеллигенции: точно околдованные, смотрели они в тот страшный лик зверя, который проступал здесь все ярче, все определеннее, все зловещее, и напрягали все свои силы для того, чтобы уверить себя, что никакого лика они не видят, что, наоборот, все идет самым чудесным образом. Но были и откровенные люди, как председатель уездной земской управы, Сергей Федорович, который об этой трибуне выражался так:

— Хорошее место... Хожу все туда узнать, долго ли мне еще жить на белом свете остается...

— Ну, и что же? Долго? — спрашивал какой-нибудь шутник.

— Не особенно...

И Евгений Иванович частенько наведывался сюда — для того чтобы еще и еще раз измерить про себя разверзшуюся под ногами пропасть, еще и еще раз проверить, что страшный итог, подведенный им втихомолку под деяниями Растащихи, верен. И проверка эта погружала его в черную тоску, сердце содрогалось за судьбу близких, и было грустно, что старая, тихая жизнь его — он ярко чувствовал это — угасла навсегда. И дома, чтобы забыться, он читал или исторические книги, или его любимца Анатоля Франса, который удивительно благотворно действовал на его взбудораженную душу, а иногда думал он долго и печально об Ирине, заворожившей его на несколько мгновений и так страшно исчезнувшей опять из его жизни...

И звенели с тесовой трибуны напоенные ненавистью слова Мити Зорина, самочинного редактора его газеты:

— Да, мы, мы первые зажгли этот страшный факел ненависти, и с этим факелом мы пройдем с вами по всему миру, зажигая вселенский пожар. Робкие души со всех сторон нашептывают нам, что из дерзновений наших ничего не получится. Прекрасно: пусть не получится! Если мы даже не сумеем ничего создать, мы отдохнем в самом разрушении того проклятого мира, который для всех нас был нестерпимым адом...

Не понимая и третьей доли того, что кричал этот исступленный мститель, чувствуя только безграничную ненависть его к тому, что сделало себя ненавистным и им, толпа, серая, усталая, озлобленная, кричала ему со всех сторон о своем сочувствии. Но ему и этого было не нужно — он готов был запаливать мир со всех концов и один. И он умчался куда-то на запакощенном автомобиле, а на трибуну взгромоздился уже огромный, тяжелый матрос со страшными, как у гориллы, скулами и двумя тяжелыми браунингами за поясом. Евгений Иванович немножко знал его: это был Ванька Зноев, один из самых беспардонных хулиганов Уланки, который и раньше, желторотым подростком еще, держал в страхе всю округу. Теперь Ванька с быстротой невероятной выдвинулся в Заречье на первые роли и был видным членом Совета рабочих и солдатских депутатов.

— Товарищи! — своим страшным голосом закричал Ванька с трибуны.— Товарищи, мое слово будет коротко, потому нечего время на слова тратить. Дело делать надо. Товарищи, мы опрокинули наконец петербургского деспота нашего, земного бога нашего, гнилого царишку, утопившего Россию в крови. Мы расправимся скоро с господами дворянами, с купцами, с попами и со всей протчей баржуазией, но, товарищи, одно скажу вам: до покедова не опрокинем мы самого главного угнетателя нашего, Господа Бога, не видать человеку свободы!

— Пррравильна!..— крикнул пьяно Матвей, бывший сторож уланской школы, а ныне тоже член Совета.— Правильна!..

— Товарищи, довольно нам слушать поповских сказок и бояться пустого места! — продолжал Ванька.— Никакого Бога не было и нету. Что такое Бог? Кто его видел? Это одна брехня, чтобы обманывать народ. И вот я, простой матрос, перед вами вызываю этого самого Бога: ежели он, старый черт, есть, ежели я богохульник, прекрасно, чудесно,— так вот пусть и поразит он меня теперь с неба перед глазами всех! И вот я кричу ему за облака: эй, я плюю тебе в морду, старый черт, ежели ты там есть! Ну, бей!.. Бей, старая собака! — И, одним махом разорвав свою черную рубаху, он подставил серенькому весеннему, такому кроткому и грустному небу свою мохнатую, точно звериную грудь.— Бей, говорю, проклятый! Я, Ванька Зноев, требоваю, чтобы ты бил! — бешено крикнул он и изругался самыми непотребными словами.— Бей твоим громом! Ну?!

Толпа замерла. Многие от страха даже головы легонько в плечи втянули и точно присели и робко подняли в серенькое небо свои серые лица. Но — небо молчало.

— Ага! — раскатился дьявольским хохотом Ванька.— Ага! — торжествовал он.— Куды же ты, старая собака, делся? Да никуды, товарищи, он не девался, потому его там никогда и не было — это там только воздух один, пустота... Во всех буржуазных книжках это написано — только нам сволочи не давали читать про это... И теперя вот должны мы всю эту поповскую брехню похерить раз и навсегда... Только тогда и будет человеку полная слобода на земле...

— Верна!.. Молодчина...— крикнул Матвей.— Все вали к чертовой матери...

Толпа одобрить Ваньку побоялась, и он, соскочив с трибуны, уверенный, тяжелыми шагами направился в недалекий губернаторский дом, в котором теперь помещался Совет рабочих и солдатских депутатов.

Хмуро потупившись, Евгений Иванович пошел домой.

У ворот стоял старый Василий, дворник, похудевший и осунувшийся, точно оробевший. В душе старика была великая смута: с одной стороны, правда, что ругают красные правителей, что положили без толку столько миллионов православных, разорили весь мир крещеный начисто, а с другой стороны, и то правда, что какой это будет толк, когда всем верховодить будет солдатня пьяная, да жиды, да всякое хулиганье? Нету в этом ничего сурьезного, и хорошего ждать теперь нечего.

— Прогулялись? — уныло спросил он хозяина.

— Да, прошелся маленько, старик... Как дела?

— Какие уж теперь дела? Наши дела совсем теперь хны...— отвечал Василий.— Все смутилось... И никак я, мужик темный, не пойму: к чему в такие дела господа встряют? Ну, мужики там рады, что авось прирезка земли будет, подтя, может, маленько скостят; фабричные, те, вместе того чтобы работать, с флагами все шляются, а с хозяина деньги все одно стянут, потому озоровать теперь всякому воля, а к тому же под шумок, гляди, и с фабрики чего упрет; солдаты, к примеру, воевать не хотят больше; гимназисты радуются, екзаментов не будет; студенты, те всегда шебаршили, потому сословия такая. Нет, а вот господа-то порядочные что это баиты понацепляли красные? Разве мало им от царя всего было? Разве каких правов им не хватало? Вот чего в толк не возьмет моя глупая голова!..

— Все надеются, что наладят новую жизнь получше...— уныло отвечал Евгений Иванович.

— Ох, не вышло бы ошибки! — покачал головой Василий.— Разломать-то и дурак может, нет, а ты вот построй чего... Велико ли дело, скажем, сортир, а чуть что не так, к водопроводчику беги, а он поковыряет там то да се и красненькую, глядишь, и ограчит... Ох, ошибки бы не вышло!..

И гудит, и мятется город, и исходит новыми речами...

А в это время, в этот тихий сумеречный час, по полям, за Ярилиным долом, недавно обтаявшим, топким и холодным, темною тенью, шатаясь, шла неизвестно куда старая Зорина. Платье ее было по пояс в грязи и едва держалось на худом теле, седые волосы страшно разметались, и безумные глаза были устремлены вперед, в эти сумрачные дали. Голод терзал ее пустой желудок, в душе стоял сумрак и страх перед неведомыми, но бесчисленными и опасными врагами, а в трясущейся голове тяжело роились угрюмые безумные мысли...

II. Воды потопа поднимаются

Первое время после переворота буржуазные круги Окшинска растерялись как-то под напором улицы, но потом понемножку справились, сорганизовались и потеснили улицу. Временное правительство помогало им издали телеграммами,— всем, всем, всем...— назначало новых губернаторов, вместо полиции установило милицию, которая надела красные банты, лузгала подсолнышки и очень беззаботно проводила свое время, ни во что не вмешиваясь, ничего не понимая. И внимательного наблюдателя поражало и пугало одно обстоятельство: все серьезное, деловое, порядочное в буржуазных кругах затаилось, спряталось, и в первые ряды, на первые роли полезли люди ничтожные и легкомысленные. И особенно пышным цветком в буржуазных рядах распустился в это время присяжный поверенный Леонтий Иванович Громобоев, которого весь город не звал иначе как Ленькой Громобоевым.

Сын бедного чиновника окружного суда, Ленька, бойкий мальчонка, еще в гимназии обратил на себя внимание своими житейскими талантами. Он как-то ловко вел меновую торговлю перышками, продавал тетрадки, ссужал кому нужно за хорошие проценты двугривенный на три дня, танцевал на балах, нравился учителям, с товарищами был со всеми на дружеской ноге. Своевременно кончив гимназию, Ленька спокойно и удобно как-то кончил университет, весело пристроился помощником к одному знаменитому присяжному поверенному, а затем вдруг вернулся в родной Окшинск и с необыкновенной быстротой завладел лучшей практикой среди местных фабрикантов и промышленников, которые любили его за то, что в делах он не валяет дурака, не брезглив, а между делом умеет кутнуть. Скоро он великолепно женился, купил себе под городом хорошенькое имение и сделал из него прямо игрушечку, в городе у него был свой особняк, и всюду и везде он был попечителем, членом, председателем; широким, генеральским жестом расправлял он свои пышные собольи бакенбарды, уверенно говорил речи и весело хохотал. Трудных положений в жизни для него точно не существовало, дамы его обожали, и он обожал дам, и деньги у него были всегда. Он был страстным любителем лошадей, и часто, надев великолепно сшитую поддевку и седую бобровую шапку, он участвовал своими рысаками в местных бегах, причем правил сам. Всерьез его никто не принимал, но все его любили. и он катался как сыр в масле...

И вот теперь он надел красный бант, говорил то громовые, то запозистые речи, председательствовал, сражался с матросами и солдатами, хлопал их по плечу, тыкал им кулаком в живот, подмигивал, завинчивал крепкие словечки, носился на автомобиле, выносил резо-

люцни, и вдруг оказался — ннкто толком не знал как — председателем губернского нсполнительного комнтета. Около него собралнсь несколько оробевших земцев, купцы из молодых, кое-кто из «третьего элемента», примкнул к ним и генерал Верхотурцев: его фейерверк о том, что он всегда был, в сущностн, «левее кадетов», то есть почтн эсер, пронзвел на Окшинск огромное впечатленне. И одно время начала как будто создаваться даже иллюзия, что власть организуется, что что-то как будто налаживается. Но это длилось очень недолго, н снова улнца стала нажимать и временами определенно брать верха. И никто столько не содействовал победе улнцы, как Временное правительство. От него, естественно, все ждали приказаний, а оно добродушно и благожелательно своими телеграммами и красноречивымн цнркулярами просило «граждан молодой республики» то о том, то о сем: не грабить, не поджигать, не резать людей, не убегать самовольно с фронта, не бесчинствовать. И граждане молодой республики смекнули, что «все это не настоящее», и — повели себя настолько соответственно, что у многих чутких людей все более и более затряслись поджнлкн, и они сталн наблюдать в себе какое-то странное двоение.

— Черт его знает, понять не могу, что со мною делается!..— как-то в хорошую мннуту сказал Евдоким Яковлевнч Евгенню Ивановичу.— Останешься один, пораздумаешь и виднщь, что дела нашн табак, что единственное, что мы умеем, это говорить, что народ наш как строительный материал ни к черту не годнтся, что, словом, толков больших ожидать не прнходнтся, а как только выйдешь на люди, услышишь одного соловья, другого, все точно в тебе перерождается, и вот н сам закусил удила — и понес, и понес, и понес... Что это за притча такая? Ну, точно вот зараза какая... Ведь отлично знаешь, что он, каналья, врет, а заражаешься, н врешь и сам во всю головушку, и лжи своей — пока врешь — веришь...

— Это всегда бывает в моменты так называемого общественного подъема,— сказал Евгений Ивановнч.— Прнпомннте первые дни войны. Разве тогда врали меньше?.. Куда это вы направляетесь?

— В земство...— отвечал Евдокнм Яковлевнч, которого уже кто-то как-то выбрал членом новой демократнческой управы.— Такне у нас вещи теперь в земстве творятся, волос дыбом становнтся...

— Кто же это так отличается?

— Конечно, меньший брат!..— усмехнулся Евдоким Яковлевич.— Ведь мы, управцы, учителя, инженеры, теперь последняя спица в колеснице — всем делом заправляют, в сущности, сторожа, снделкн, фельдшера, конюхи... А Митька Зорин поддает им в своем «Набате» жара... Ну, я бегу... Прнходите на заседание послушать. Очень назидательно...

И он унесся.

В заплеванном, душном от махоркн зале заседаннй нового демократического земства — его перенесли в лучшую залу дворянского собрания — стоял чад и гвалт, как в извозчичьем трактнре. Воняло пóтом, махоркой н самогоном. С переполненных уличной толпой хоров уныло свешивались красные флаги. Портреты царей были вынесены на чердак, и на нх местах резко выделялись на стенах белые квадраты. На председательском месте молодецкнм жестом расправлял свои пышные собольи бакенбарды Ленька Громобоев. Сергей Терентьевич, избранный волостным гласным, уныло потупившись, сндел около него. Тяжелый, большой Эдуард Эдуардович, блестя золотымн очками и иногда оглядывая аудиторню своим бодающим жестом, громко и твердо читал доклад о состоянии бóльннчного дела в губернни:

— С началом революции низший персонал больннц наших начал везде и всюду устраивать больннчные советы. Выборы былн органнзованы так: от высшего служебного персонала — три представителя, от среднего и низшего — шесть представителей н от дворннков, прачек, кочегаров и сторожей — двенадцать. Таким образом управление хотя бы

нашей громадной городской больницей фактически находится в руках сиделок, прачек и истопников. Распоряжения мои, как старшего врача, игнорируются. Требования врачей даже в смысле отпуска больным нужных лекарств и ухода не исполняются. Сиделки и истопники выгнали из больницы очень опытного женщину-врача, которая пользовалась среди больных большими симпатиями. Они же по своему усмотрению разрешают или не допускают производство хирургических операций. Палаты отапливаются или не отапливаются опять-таки по их усмотрению. Больные страдают от холода невероятно. Было несколько случаев оставления тяжелобольных без пищи по нескольку дней,— о лекарствах я уже и не говорю! Были случаи обваривания больных в ваннах по недосмотру... Отпускаемые из больничной аптеки лекарства воруются и распродаются. Инвентарь разорван: белье, подушки, одеяла возами вывозятся на базар и там продаются...

На хорах раздался веселый смех, и чей-то голос крикнул:

— Знай наших, немчура!

Эдуард Эдуардович спокойно, точно бодаясь, посмотрел на голос и так же твердо и уверенно продолжал:

— Медицинский персонал безропотно продолжает свою работу, довольствуясь очень скромным жалованьем, ассигнованным земством, хотя и приходится терпеть жестокие лишения. Сиделки, прачки, истопники и рабочие при больничной пекарне получают в несколько раз больше врачей и предъявляют все новые и новые требования. Последнее требование — «добавочное жалованье по случаю дороговизны квартир и припасов» — в особенности поражает своей дерзостью, так как весь этот персонал имеет, разумеется, при больнице даровые квартиры и полное продовольствие...

— Ага! Не нравится буржуазам! — весело крикнули с хоров.

Засмеялись...

— Нечто совершенно невообразимое творится в отделении душевнобольных женщин...— продолжал Эдуард Эдуардович.— К больничным сиделкам и прачкам по вечерам приходят их приятели из солдат местного гарнизона. Идет повальное пьянство. Сиделки впускают ночью пьяных солдат в помещение душевнобольных женщин, где творятся гнуснейшие насилия...

По хорам опять пробежал смех.

— Попытки прекратить издевательства над больными женщинами встречают яростный отпор со стороны низшего персонала больницы...— продолжал спокойно Эдуард Эдуардович.— Попытки удаления наиболее недостойных из этих служителей не приводят ни к чему. Служащие приспособили к паровой машине особый гудок, и при появлении в больнице властей они дают условленные сигналы, на которые из ближайших казарм немедленно являются вооруженные до зубов солдаты, чтобы «защищать сиделок»...

— Никогда своих не выдадим! — крикнул с хоров пьяный голос.— Долой буржуазов!

Встал Сергей Терентьевич.

— Я подтверждаю все, что сказано в докладе глубокоуважаемого Эдуарда Эдуардовича...— глубоко волнуясь, сказал он.— Я был в назначенной земством и городским управлением комиссии. Едва явились мы в больницу, пьяные сиделки и истопники набросились на нас с площадной бранью и вытолкали нас...

— Ага! — задорно раздалось с хоров.— Так вам, сволочам, и надо!..

Засмеялись.

— Господа...— хотел было продолжать Сергей Терентьевич.

— Никаких господ теперича нету...— раздалось с хоров.

— Здесь не господа, а все порядочные люди...— отозвался другой голос.

Засмеялись...

— Господа...— все больше и больше волнуясь, продолжал Сергей Терентьевич.— Я представитель от крестьянства, от того самого крестьянства, на средства которого

главным образом содержалась до сих пор больница. И я по совести обязан во всеуслышание заявить: наша больница теперь уже не больница, а разбойничье гнездо... Я с отчаянием спрашиваю себя: что же делать? И иного исхода я не вижу, как немедленно закрыть этот вертеп и возвратить больных их родственникам...

— А м-мы не позволим!..— раздалось с хоров.

Засмеялись...

Воинственное настроение хоров быстро нарастало, и в воздухе запахло тем, что газеты в то время деликатно называли «эксцессами». И, пошептавшись с управцами, Леонтий Иванович Громобоев вдруг встал, пышно расправил свои бакенбарды направо и налево и громко объявил перерыв.

— Погоди маленько: перервем! — раздалось с хоров.

— Гы-гы-гы...— пробежало там.— Вот это так так!.. Гы-гы-гы...

Густым кабацким шумом зашумел накуренный зал заседаний. Бледный и расстроенный Сергей Терентьевич вышел в запакощенный до невероятия коридор — прислуга отменила буржуазный обычай уборки,— чтобы хоть подышать немного. Он решил отказаться от работы в новом земстве и вернуться в деревню: это не работа, это преступное толчение воды в ступе. Но что делать и там, где, казалось, сама почва уже загорается под ногами?..

Какая-то сгорбленная деревенская старушка с подожком все всматривалась в него выцветшими, подслеповатыми глазами и как будто хотела и не решалась подойти к нему.

— Ты что, баушка? Или по делу по какому тут? — ласково спросил он ее.

— И то по делу, родимый...— печально отвечала старушка.— Ты не Сергей ли Тереньевич будешь?

— Он самый...

— То-то гляжу я, ровно бы это ты... А я от Смирновых, из Подвязья...— сказала бабушка.— Отца-то твоего, покойника, я больно хорошо знала — вместе гуляли... Такой-то песельник был да весельчак... Похож, похож ты на него, царство ему небесное...

— Так. А по каким делам забралась ты сюда?

— Да уж не знаю, как и сказать тебе, родимый...— нерешительно проговорила бабушка.— Потому дело-то мое такое нескладное. Известно, все темнота наша... Думаешь, как бы лутче, а оно выходит хуже. Может, ты поможешь как, соколик, старушке?

— Если смогу, помогу, но только ты говори сперва: в чем дело...

Старушка боязливо оглянулась по сторонам и, еще плотнее придвинувшись к Сергею Терентьевичу и опираясь обеими руками на подожок, тихонько проговорила:

— Ох, уж и не знаю, как и обсказать тебе горе мое... Ты уже мотри, не выдай меня, старушку,— мое дело маленькое, сиротское... Вот принакопила я себе за всю свою жизнь три золотых — на похоронки берегла. А по деревням — сам, чай, слышал — слух прошел еще прошлым годом, что велел, дескать, царь...— старушка еще более понизила голос и опасливо оглянулась: она знала уже, что слово это запретное,— все золото, у кого какое есть, оклеймить заново, а которое, вишь, неклейменое останется, так будет оно за ни что, вроде как черепки от горшка битого... Ну, родимый ты мой, по совести, как на духу, скажу тебе: побоялась я тогда свое золото оклеймить дать. Пронюхает родня, думаю, коснться будут,— сам, чай, знаешь, как у нас, у мужиков, завидки-то сильны на чужое... Так и не оклеймила...

— Ну?

— Ну, вот и выходит теперь, что мои золотые пропали...— сказала старушка печально.— И осталась я по своей глупости ни с чем, родимый. Вот и пришла я в город старыми ногами своими попытать, не обменяет ли кто мои золотые на бумажки... Их у меня всего три, родимый, только три...— поспешила она успокоить Сергея Терентьевича.— Пришла вот и боюсь: к кому подойти? Как бы не заарестовали еще за незаконное золото...

Родимый, сделай милость! — в пояс поклонилась она вдруг.— Обменяй мне золотые мои на бумажки! Век за тебя молить буду... Ты парень ловкай, тебе везде ход, ты как-нибудь сбудешь уж и неклеймеиое золото... Веришь ли, сна совсем решилась...

И бабушка горько заплакала.

— Бауцка, милая, веришь ты мне или иет? — сказал Сергей Терентьевич.— Веришь? Ну, вот... Все это жулики навыдумывали. Я слышал об этом у иас в Уланке, чтобы темных людей обманывать. Золото всегда золото, а бумажки — труха. Береги свое золото и не верь никому...

— А ты бы уж пожалел старушку, родимый...— плача, сказала бабушка.— Тебе ведь везде ход... потому ловок ты, произошел... ты всегда сумеешь спустить их... А куды я с ними денусь? Верь истинному слову: останное, на похоронки берегла, а тут вон что вышло...

В зале заседаний громко зазвонил звонок председателя. Шум усилился. На хорах усилилось веселое и злое возбуждение: видимо, готовились к каким-то новым художествам. Сергей Терентьевич оделся и вместе с бабушкой вышел на улицу, придумывая, как бы отговорить ее от ее самоубийственного проекта. Но едва только вышел он на широкую лестницу дворянского собрания, как в глаза ему бросились знакомые, исковерканные страданием лица: старый Чепелевецкий, без шапки, весь в слезах, бежал куда-то по взбудораженной улице, а за ним едва поспевали Евгений Иванович и Митрич. Чуя какую-то большую беду, Сергей Терентьевич торопливо сказал бабушке, чтобы она приходила к нему в Уланку, что он там все ей устроит, а сам бросился к друзьям.

— В чем дело? Что случилось?

— Ужас... ужас...— взглянув на него остановившимися глазами, едва проговорил на бегу Митрич.

— Да в чем дело?

— Сонечку изнасиловали за Ярилиным долом рабочие с табачной фабрики...— едва выговорил опять Митрич.— Говорят, так целая очередь и стоит на огородах...

— Надо бы позвать с собой милицию...— сказал на бегу Евгений Иванович.— Что же мы с голыми руками сделаем?..

— Милицию...— усмехнулся Сергей Терентьевич.— Где же ее найдешь?

— Скорее... скорее...— задыхался старый часовщик.

И на бегу Сергей Терентьевич узнал, что рабочие-табачники вызвали Сонечку на митинг большевиков в Ярилином долу, а когда та, восторженная и нетерпеливая, прилетела на зов, рабочие затащили ее в старый шалаш огородников и стали по очереди насиловать. Дети Митрича услыхали издали вопли терзаемой девушки, всполошили соседей, и вот теперь все торопились со старым часовщиком на спасение его дочери.

Какие-то жуткие оборванцы, совсем еще юнцы, с порочными лицами и ржавыми винтовками за плечами, встретили их на окраине города, подозрительно оглядели и проводили недобрыми взглядами. На пустых огородах им сразу бросился в глаза брошенный шалаш. Какие-то тени мелькнули там и скрылись в кустах густого орешника и дубняка. Бледный как смерть, с пересекающимся дыханием старый часовщик первым бросился в шалаш — там, на старой черной соломе, в истерзанном платье лежала Сонечка. Оголенные белые и стройные ноги ее были вымазаны кровью, молодая, упругая грудь уже не дышала, и закинутое назад белое, как мрамор, прекрасное лицо с жалостно открытым ртом было исполнено тихого, неземного покоя. Старый еврей со страшным воем, шатаясь, бросился к трупу дочери...

. . . .

Наутро «Окшинский набат» по поводу заседания демократического земства и разоблачений доктора Эдуарда Эдуардовича поместил громовую статью: «Контрреволюционная буржуазия снова поднимает голову. Шипят змеиные голоса реакции. Выли-

ваются ушаты помоев на сознательный пролетариат, сокрушивший насквозь прогнивший капиталистический строй и давший свободу трудовому народу. Но сознательный пролетарий, гордый своим честным отношением к великим завоеваниям революции, смеется над бессильными потугами презренной буржуазии. Знайте, клеветники, что только суровая дисциплина, царящая в наших партийных рядах, удерживает нас от такого ответа, который вы давно уже заслужили. Но не испытывайте нашего терпения: оно уже истощается!..»

О гибели Сонечки в газете не было сказано ни слова...

III. Петербургские старушки

Если не великая, то, во всяком случае, большая трагедия русская, то и дело неудержимо срываясь в непозволительный, бесстыжий водевиль, продолжала огненно развертываться в кипящем Петербурге все шире и шире. Никто не желал заметить,— а может быть, и замечали, да вслух об этом говорить боялись,— что одним из первых деяний восставшего народа было сожжение в Петербурге «суда скорого, правого и милостивого», суда, «которому могла позавидовать и Европа», никто не желал видеть, как над закопанными на Марсовом поле трупами — главным образом это были убитые полицейские — толпа вдохновенно пела революционную панихиду «Вы жертвою пали в борьбе роковой...», никто точно не замечал поразительной тяги апостолов не только демократии, но даже гордого пролетариата во дворцы, в пышные особняки, к роскошным автомобилям, к шампанскому из царских и вообще буржуазных погребков. Все это как будто были лишь досадные мелочи, задумываться над которыми было решительно некогда: столько важнейшего государственного дела было у всех на очереди! Отмечая в своей секретной тетради эту поразительную тягу к жизненным утехам со стороны вождей народных, Евгений Иванович записал: «Если бы они, имея все возможности занять дворцы и проникнуть в царские погреба, спокойно отказались бы от всего этого, даже просто этой возможности не заметили бы, какую бы огромную моральную силу они приобрели!»

Одним из важнейших очередных государственных дел было решение вопроса о том, что делать с трупом несчастного мужика Григория. По приказанию царицы его похоронили в Царском Селе, в парке, на большой поляне, под окнами дворца, и по Петербургу ходили слухи то о том, что над прахом проклятого мужика царица собирается ставить монастырь, то о том, что двор готовится его канонизировать, то о том, что над могилой его уже происходят чудеса. Совершенно ясно: могила Григория представляет огромную государственную опасность. Первым осознал эту опасность доблестный гарнизон Царского Села: в самый день присяги его Временному правительству солдаты, охранявшие Царское Село и семью низвергнутого царя, собравшись на огромном митинге, постановили удалить с территории Царского Села труп Григория, о чем и известили официальной телефонограммой Таврический дворец. Временное правительство, зрело обсудив дело в экстренном совещании,— сперва одно, а потом совместно с Советом рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов,— запретило солдатам предпринимать какие-либо меры по отношению к могиле Распутина и для охраны ее немедленно выслало броневой дивизион из пяти машин с пулеметами, причем, однако, начальнику отряда правительством было категорически воспрещено этими пулеметами пользоваться...

Но мирные броневики Временного правительства опоздали: доблестные воины Царского Села с лопатами уже приступили к вскрытию могилы. Пленная царица, увидав из окна дворца труды воинов, пришла в безграничный, панический ужас и бросилась к

5—289

начальнику караула — он относился к царской семье сочувственно — с мольбой принять меры для защиты могилы святого человека.

— Бог накажет всех нас, всех за это кощунство! — в исступлении повторяла она, хватая его за руки.— Идите, уговорите их, спасите нас...

И, вся подергиваясь в страшных судорогах, она вдруг повалилась в жестоком истерическом припадке. Тяжело взволнованный начальник караула отправился уговаривать солдат, но, в полном сознании своего революционного долга, те отказались повиноваться.

— Мы несем охрану дворца, но категорически отказываемся охранять могилу Гришки! — гордо заявили они офицеру.

Он спешно телефонировал и в Совет солдатских и рабочих депутатов, и в Таврический дворец. Его успокоили: грозные броневики Временного правительства уже на пути. И действительно, на рассвете они прибыли в Царское Село и увидали разрытую могилу и военный грузовик, на котором стоял гроб Григория. Взвод вооруженных солдат охранял прах опасного мужика.

Броневики стали вокруг гроба Григория в ожидании дальнейших событий: в манеже шел огромный солдатский митинг, на котором решалась дальнейшая судьба Григория. Митинг протекал довольно мирно, пока на трибуне не появился какой-то солдат Елин. В одной руке у него было маленькое, в красном переплете Евангелие, а в другой — старинный образок, украшенный шелковым бантом. На обратной стороне образка была нарисована рамка, а в нее были вписаны имена царицы и дочерей ее: «твои Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия», а вокруг рамки стояла надпись: «Спаси и помилуй нас» — и было изображено пять крестов. На лицевой стороне образка было мелко написано: «и Алексей». Елин пустил в толпу митингующих солдат эти вещественные доказательства преступности и вредности царской семьи и мужика Григория, а сам, потрясая руками, громил и царицу, и двор, и Григория, от которого, как писалось во всех газетах, погибла вся Россия. И после многих и бурных споров митинг постановил: отправить гроб и вещественные доказательства в распоряжение петербургского Совета рабочих и солдатских депутатов.

Узнав об этом постановлении, Временное правительство снова строго приказало по телефону своим броневикам ни в коем случае не допускать гроб Григория в столицу: это может вызвать волнения народа.

— Да как же могу я воспротивиться, когда мне категорически воспрещено пускать в дело оружие?! — взмолился начальник броневого отряда.

— Ну, это там на месте виднее...— лихорадочно бубнила телефонная трубка.— И гроб сюда не пропускайте, и пулеметов в дело пускать нельзя...

Командир броневого отряда впал прямо в бешенство и не знал, что делать. И опять телефон из Петербурга: комиссар Временного правительства пожелал разъяснить начальнику отряда, что приказ «воспрепятствовать» исходит от Временного правительства, а приказ «ни в каком случае не стрелять»— от Совета солдатских, рабочих, крестьянских и казачьих всей России депутатов, и посоветовал офицеру слушаться лучше Временного правительства. Путаный и нелепый разговор этот кончился тем, что броневой дивизион в отчаянии бросил все и отправился обратно в Петербург, но не успели грозно-мирные машины стать на свое обычное место в Михайловском манеже, как последовало новое распоряжение свыше: немедленно снарядить броневики и выехать на выборгское шоссе между станциями Ланская и Шувалово для охраны порядка: толпа восставшего народа сжигает там труп Григория и возможны «эксцессы». Туда же были двинуты грузовики с вооруженными солдатами Волынского полка и конный отряд сводного гвардейского полка.

Там, среди широкой поляны, уже густо дымил огромный костер. Солдаты под командой своего товарища Локотникова с величайшим усердием подтаскивали все более и более

бревен, сучьев и дров. Темный дым тяжелыми завитками поднимался в низкое серое небо. Вокруг было черным-черно от сбежавшегося со всех сторон народа... И вот блеснули в темном дыму первые языки пламени, дым посветлел, и костер, свистя и шипя, занялся бело-красными полотнищами огня. Солдаты, опаляемые пламенем, под командой все того же распорядительного Локотникова, сняли черный глазетовый гроб с грузовика, но все никак не могли приблизиться с ним к жарко полыхавшему костру достаточно близко. Но вот костер несколько прогорел, ветер отнес пламя в сторону, и солдаты, установив гроб на длинные жерди, с большими усилиями вдвинули его наконец в самую середину огня, а сверх его снова накидали много дров.

— Во, здорово!..— слышалось в толпе.— Теперя в момент огонь все покончит... Гляди, ребята!..

Тысячные толпы народа, войска, прискакавшие пожарные с замиранием сердца следили, как в страшных разливах бушующего огня сгорало все зло, отравившее и погубившее огромную страну. Было видно, как занялся белыми мелкими язычками черный гроб, как расскочился он на части, как, пылая, неуклюже вывалился из него головой вниз, в самое пекло, распухший труп, как в один миг раздел его огонь... Тяжкий смрад тихо разлился над луговиной, над толпой и поднялся в небо, и, когда ветер наносил дым на толпу, все должны были затаивать дыхание, чтобы не была слышна эта головокружительная вонь. Солдаты, обжигаясь в нестерпимом жару, с невероятными усилиями и полным самоотвержением подбрасывали в огонь еще и еще дров. Усилившийся ветер крутил пламя туда и сюда, и казалось, то плясали средь поляны какой-то колдовской танец красные, как кровь, и золотые змеи. И с еще голых, обступивших поляну деревьев ветер срывал последние уцелевшие среди зимних бурь листочки, и золотые кораблики эти растерянно метались над дымной и смрадной поляной и налетали на огонь, на одно мгновение превращались в каких-то живых золотых бабочек и — исчезали навсегда... И так проходил и час, и два, и три, пока не наступил вечер и не обнаружилось, что топлива взять уже негде более. Огонь, доедая последнее, заметно утихал. Томимые любопытством и войска, и толпы, вытягивая шеи, неудержимо надвигались все ближе и ближе к черному, выжженному кругу, среди которого напряженным светом сиял догоравший костер: всем хотелось видеть, что осталось. Но не было видно ничего...

Совершенно охрипший, но неутомимый солдат Локотников с деловым видом знатока — точно Распутиных приходилось ему жечь ежедневно — осмотрел кучу углей.

— Эй, товарищи пожарные! — крикнул он уверенно.— Теперя можете заливать!

И это его приказание, как и все другие, было исполнено немедленно: пожарные быстро приладили все, что нужно, и с видимым удовольствием направили на догорающий костер мощную, сухо трещавшую от сильного напора струю воды. Белый пар, шипя, закутал на некоторое время луговину, и толпа неудержимо надвинулась еще ближе к паривщей куче.

— Стой... Куда? Осади! — сурово распоряжался Локотников.— Осади, говорят, товарищи!.. Что за безобразие!.. Товарищи солдаты, нуте-ка, отодвиньте их маленько...

И опять было в его тоне что-то до такой степени уверенное в себе, что ближайшие части войск разом оборотились к толпе, которая нехотя подалась назад.

— Вишь ты...— слышались голоса.— Уж и посмотреть нельзя...

— Берись за лопаты, товарищи,— строго и распорядительно приказал солдатам-сожигателям Локотников.— И все это горелое место, значит, пройди на штык... чтобы и следу не было...

Дружно, почти весело закипела работа, и в какие-нибудь десять-пятнадцать минут все обожженное место было вскопано, как под огород. Народ, который во время сожжения Григория был сдержан — его волновало и смущало необыкновенное зрелище,— теперь, когда все было кончено, точно оживился: послышались громкие речи, спор, даже смех

местами, но во всем этом смутном говоре всякое мало-мальски чуткое ухо улавливало точно какие-то фальшивые нотки: люди, казалось, и смеялись, и говорили точно не для себя, а для кого-то другого, как актеры на сцене...

— Товарищи! — послышалось над сумеречной галдящей поляной.

Все обернулись.

Солдат Локотников уже взгромоздился на грузовик, на котором привезли гроб Григория, и стоял над толпой, видимо, готовясь говорить.

— Товарищи! — совсем осипшим голосом повторил он явно уже из последних сил.— Внимание!

И солдат Локотников с полным усердием произнес под надвигающимися сумерками горячую речь о темных силах, погубивших великий народ, о необыкновенных завоеваниях революции и о светлом будущем России...

— Ура...— закричали со всех сторон люди.— Ура...

И войска, и зрители, кто самоуверенно галдя, а кто неопределенно, тяжело задумавшись, торопливо расходились во все стороны. И многие и многие уносили в душе тупое недоумение: что такое это было тут сделано и зачем? Неясная бесполезность шумного деяния томила, как кошмар. И точно в испуге пред сознанием чего-то рокового они торопливо убегали в сумерках во все стороны... Только несколько женских теней, набожно крестясь и вздыхая, боязливо рылись среди черных головешек. Они ни на волос не верили клевете и зубоскальству жидовских газет над благочестивым старцем-молитвенником и внутренне стонали над совершенным злодеянием. И, выбрав какую-нибудь черную, еще теплую чурку на память о святом, они, спрятав ее за пазуху, торопились уйти со своей реликвией поскорее прочь...

IV. Красное яичко

Но сожжением трупа мужика Григория, так разобидевшего всю Россию, заботы восставшего народа отнюдь не ограничивались. Забот этих было буквально миллион: нужно было производить обыски, нужно было арестовывать, нужно было убивать, нужно было обсудить условия демократического мира с Германией, нужно было решить судьбу царя и его семьи, разрешить вопрос земельный, переместить Керенского с одного высокого поста на другой, высочайший, нужно было бороться с реакцией, нужно было бороться с большевиками, нужно было подтянуть трухлявых кадетов, нужно было содрать золотых орлов с аптек и замазать на всех вывесках страшные слова «поставщик двора», нужно было ввести в оглобли лукавящий Викжель, нужно обуздать порывы могущественного Совета рабочих депутатов, нужно было уговорить граждан республики православного вероисповедания не громить граждан республики вероисповедания иудейского, нужно было добыть бумаги газетам и на прокламации,— буквально нельзя перечислить всего, что было нужно сделать! И все это делалось с выпученными от чрезвычайной спешки и усердия глазами, и все это сдабривалось разливами необычайного красноречия, причем сразу уже наметились сакраментальные словечки, которые, как предполагалось, имеют особое магическое действие на толпу: если слева без конца повторялось о «завоеваниях революции», о «восставшем народе», о «народе, сбросившем...», о «ноже в спину», о «самодержавном орле, вонзившем окровавленные когти в исстрадавшееся тело нашей бедной родины», то справа все уверяли, что «все слова сказаны», что «надо действовать», что «промедление времени смерти подобно», что «бьет двенадцатый час»...

В общем, первое время революция проходила довольно добродушно. В роскошном

особняке старой и очень богатой графини Клейнмихель появились гвардейские солдаты для того, чтобы арестовать ее: молва обвиняла ее в том, что она богата, что она графиня, что она Клейнмихель, то есть немка, и что с крыши своего дома она все подавала какие-то сигналы императору Вильгельму. Старушка была больна. Узнав от прислуги, что она великая мастерица игры на бильярде, гвардейцы потребовали, чтобы графиня с каждым из них сыграла по партии. Старушке было это не под силу, и она предложила солдатам избрать нескольких делегатов для игры с ней. Солдаты вошли в положение старушки и тут же произвели выборы уполномоченных, графиня по очереди разбила всех их, и гвардия должна была признать себя побежденной. Уходя, гвардейцы очень добродушно забрали с собой все шары: они были такие круглые, тяжелые, отполированные, что никак нельзя было отказать себе в удовольствии иметь хотя бы один такой шар!

Если же иногда эта же самая толпа проявляла жестокость, то это происходило только на вполне революционных, то есть очень солидных, основаниях. Так вскоре начались убийства солдатами и матросами офицеров, то есть тех людей, которые, как представлялось солдатам, гнали их в бой непосредственно, которые требовали отдания себе какой-то там чести, которые иногда под злую руку давали «в морду». И одних офицеров убивали просто, как полагается, а у других отрезывали предварительно носы. К этой второй категории вполне основательно были отнесены те офицеры, которые имели обыкновение при старом режиме заглядывать в дула винтовок, и если находили там грязь, то подносили свой загрязненный палец к носу солдата: «Это что же, братец ты мой? А?» Раньше в такую минуту солдат чувствовал себя просто немножко виноватым, а теперь вдруг, в революционном озарении, солдаты поняли, что этот палец был оскорблением их человеческого достоинства, и за это оскорбление их человеческого достоинства офицерам, разумеется, нужно было перед смертью отрезать нос...

Логика в эти горячие дни была совершенно отменена, размышление было только неприятным излишеством, а гуманность — постыдным поступком, который надо было скрывать. И поэтому, с величайшим одушевлением и слезами восторга выпустив из тюрем и зловещей Петропавловки всех политических,— свобода, свобода! Какая радость!..— с тем же величайшим одушевлением восставший народ во имя свободы набивал до отказа опустевшие на несколько часов казематы новыми заключенными: министрами, генералами, барынями, чиновниками, священниками, полицейскими, великими князьями и проч. И в огромные окна Зимнего дворца безмятежно смотрели теперь на зловеще прижавшуюся к земле страшную крепость новые люди — совершенно точно так же, как смотрели на нее прежние господа жизни, когда в ужасных казематах ее томились Новиковы, Радищевы, декабристы и сотни всяких революционеров и революционерок, томились годами, сходили с ума, обливали себя керосином и сжигали, перерезывали себе горло стеклом...

Подошла Пасха. Крепость была переполнена. В камере № 70 томилась больная фрейлина и друг царицы А. А. Вырубова. Камера была маленькая, темная — единственное оконце было наверху, под потолком,— холодная и сырая настолько, что со стен постоянно текла вода и стояла на каменном полу лужами. Вся меблировка состояла из железного столика и железной же кровати, которые были накрепко привинчены к стене. На кровати был брошен волосяной матрац и две грязные подушки. В углу помещался умывальник и ватерклозет. Едва только ввели ее в эту камеру, как следом ввалилась толпа солдат, которые сорвали с кровати матрац и подушки и выбросили их вон, а потом стали они срывать с арестованной ее кольца, крестики, образки. Один из солдат, когда Вырубова от боли вскрикнула, сперва ударил ее кулаком, а потом плюнул ей в лицо, а затем они все ушли, заперли накрепко дверь, а она упала на голую кровать и, охваченная отчаянием, разрыдалась. В глазок двери смотрели солдаты и улюлюкали... А рядом, в соседнем каземате, затаилась легкомысленная жена легкомысленного военного министра Сухомлинова... Откуда-то издали, точно из могилы, доносились глухие непрерывные стоны: то в темном

карцере солдаты мучили Белецкого... А за окном любовно ворковали голуби...

Два раза в день Вырубовой приносили полмиски какой-то отвратительной бурды, в которую солдаты плевали, а иногда нарочно клали битое стекло. От бурды нестерпимо воняло тухлой рыбой, и Вырубова, зажав нос, с отвращением проглатывала одну-другую ложку ее, только чтобы не умереть с голоду, а остальное потихоньку выливала в ватерклозет, дрожа от ужаса: заметив это раз, солдаты пригрозили ей, что, если она позволит себе не есть, они убьют ее.

Каждый день заключенных выпускали по очереди на десять минут в тюремный садик — маленький дворик с несколькими деревцами и кустиками, посреди которого стояла баня для арестантов. И каждый день узники республики с нетерпением ждали в глубине своих каменных мешков, когда их выпустят в этот садик, и с необыкновенным наслаждением любовались они и чахлыми кустиками этими, и всякой травинкой, и клочком голубого неба вверху. А над ними печально и переливчато пели старые часы: «Коль славен наш Господь в Сионе...» — так же, как некогда пели они декабристам, народовольцам и всем остальным, которых опьянила мечта о лучшей жизни...

А потом снова четыре холодных, сырых стены, и одиночество, и стоны истязуемых в карцерах, и умышленно громкие разговоры солдат о том, что хорошо бы заключенных женщин изнасиловать сегодня ночью, или о том, как скоро их будут расстреливать. И эта медленная физическая и моральная пытка продолжалась неделя за неделей и месяц за месяцем, и, когда наконец, не выдержав страданий, несчастная женщина свалилась совершенно больной, явился доктор Серебрянников, толстый человек со злым лицом и огромным красным бантом на груди. При солдатах он сорвал с больной рубашку и грубо начал оскультацию.

— Эта женщина хуже всех...— говорил он солдатам.— Она от разврата совсем отупела... Ну, что вы там, в Царском, с Николаем и Алисой разделывали? Рассказывайте...— прибавлял он.

— Как вам не стыдно, доктор!..— простонала та.

— А, так ты еще притворяться! — воскликнул бешено врач, и звонкая пощечина огласила каземат.— Довольно, черт вас совсем возьми! Поцарствовали...

И по его представлению начальство тюрьмы в наказание за болезнь лишило Вырубову прогулок в течение десяти дней.

И раз солдат принес ей каталог тюремной библиотеки, страшную книжку, над которой умирали душой многие и многие заключенные. Она открыла ее и вдруг среди страниц увидала безграмотную записку: «Анушка, мне тебе жаль. Если дашь пять рублей схожу к твоей матери и отнесу записку». Вырубова так вся и задрожала: искренно это или провокация? А вдруг за ней следят, хотят подвести? Она пугливо покосилась на дырочку в двери: там никого не было. И искушение перекинуться словом с близкими было так велико, что она не утерпела и на вложенной солдатом в каталог бумаге написала несколько слов матери. Солдат, придя за каталогом, унес его и, уходя, незаметно бросил в угол кусочек шоколада.

Стало немножко легче: установились сношения с внешним миром, с близкими. Письма матери Вырубова находила то в книгах из тюремной библиотеки, то в белье, то в чулках. И заключенная царица прислала своему верному другу бумажку, на которой был наклеен белый цветок и написано всего только два слова: «храни Господь!». И раз принес даже солдат золотое колечко, которое царица при прощании надела на палец своего друга. Вырубова сшила из подкладки пальто маленький мешочек, и английской булавкой, которую подарила ей одна из надзирательниц, пожилая женщина с грустными добрыми глазами, она пришпиливала этот мешочек подмышкой к рубашке...

Но дни сменяли ночи, и ночи — дни, и не было конца страданию, и не было никакой надежды на избавление. Недомогание узницы усиливалось. В каземате было страшно

холодно, и целые часы простаивала она на своих костылях в углу, который нагревался немного от наружной печи. И часто от голода и слабости несчастная падала в обморок и валялась в луже воды, насочившейся со стен, до тех пор, пока утром во время обхода не поднимали ее солдаты. А после трепала ее жестокая лихорадка.

Наступила Страстная суббота. Стемнело. Слабая, закутавшись в два шерстяных платка и накинув еще поверх их свое пальто, узница печально лежала на своей жесткой кровати. И, согревшись, она забылась в тяжелой дремоте, как вдруг ее разбудил торжественный полночный перезвон всех петербургских церквей: то началась Светлая заутреня. Сразу властно встало в памяти прошлое. Она приподнялась и, сидя на кровати, заплакала горькими слезами... В коридоре раздался глухой шум и хлопанье тяжелых дверей. Заскрипел ключ и в двери Вырубовой. Пьяные солдаты ворвались в камеру. В руках их были тарелки с куличом и пасхой.

— Ну, Христос воскрес! — заговорили они весело.— С праздничком!..

— Воистину воскрес! — отозвалась узница, справившись с волнением.

— Ну, этой нечего давать разговляться...— крикнул какой-то солдат.— Эта была к Романовым самым близким человеком... Ее надо вздрючить как следует...

И, не дав Вырубовой разговеться, солдаты так же шумно пошли христосоваться по другим заключенным. Только пожилая надзирательница, уходя, посмотрела на узницу своим теплым, печальным взглядом. И снова встало прошлое в памяти, и снова начали душить горькие слезы, и, упав лицом в грязную подушку, опять и опять она горько заплакала. И вдруг под подушкой она почувствовала лицом что-то твердое. Она запустила туда руку и вынула — красное яичко: то тайно похристосовалась с ней пожилая надзирательница. И другие, уже радостные и счастливые, слезы вдруг неудержимо полились из глаз, и затрепетало вдруг растопившееся сердце, и посветлели жуткие дали жизни. И, вся в слезах, она целовала красное яичко и прижимала его к своему сердцу, и что-то совсем новое, светлое неудержимо оживало в измученной душе...

В коридоре шумели и безобразничали вдребезги пьяные по случаю воскресения Христа солдаты республики...

V. Царскосельские косули

Царскосельский дворец, точно крепко потрепанный бурею корабль, сумрачно плыл по грозно бушующему океану революции. Непривычная тишина царила в нем. Огромное большинство царедворцев разбежалось в первые же дни революции, бросив своего царя в несчастье на произвол судьбы. Осталось при царской семье всего человек пять-шесть из всей прежней свиты. Не приезжали больше пышные представители иностранных держав, не приезжали министры с докладами и важные генералы, исчезли торжественные красные лакеи,— декорации остались, но огромное большинство актеров старой длинной пьесы исчезли, и странная жуткая тишина стояла теперь на большой, опустевшей сцене. И непривычно много было всюду солдат — и в парке, и вокруг парка, и в самом дворце,— не тех солдат, которые так еще недавно каменели в священном ужасе и восторге при виде действительно обожаемого монарха, а солдат новых, серых, распущенных, горластых, грубых, которые дерзкими глазами подозрительно следили за каждым шагом своих узников, и, когда царь, гуляя, шел туда, куда ему почему-то идти было нельзя, вчерашний раб грубо загораживал ему дорогу ржавой винтовкой и сердито говорил:

— Сюда нельзя, господин полковник!

И так недавно еще всемогущий царь, повелитель колоссальной страны, покорно повиновался. А когда кто-нибудь из царской семьи подходил к окнам в парк, караульные солдаты нарочно, на смех, начинали мочиться, а другие прямо за животики хватались: так

была им смешна проделка их товарищей. Царь не сердился на серую солдатню, точно каким-то внутренним таинственным путем понимая, что сердиться на них нельзя. Но зато тем тяжелее и больнее были те удары, которые не стеснялись ему и его совершенно беззащитной семье наносить караульные офицеры. Сознавая тяжесть и даже опасность их положения в революционной, все более и более разлагающейся армии, царь был особенно мягок с ними, всегда подавал им руку, расспрашивал их о их положении и приглашал к обеду.

Раз за обедом царской семьи присутствовал приглашенный таким образом молодой полковник гвардии стрелкового полка. Полк этот был царской семьей особенно любим. Молодой полковник держал себя за столом не только сухо, но даже прямо враждебно: это был один из очень в те дни многих гвардии полковников, которые вдруг с восторгом, хотя и не без удивления, узнали, что они всегда были, в сущности, левее кадетов: цари проходят, карьера остается. И вот после того, как обед кончился,— Временное правительство поторопилось значительно упростить его,— царь, как всегда, прощаясь, протянул полковнику руку.

Тот не принял протянутой руки.

— За что?!— с дрожью в голосе проговорил царь и покраснел.

— Мои воззрения не соответствуют вашим, полковник...— сухо отвечал гвардии полковник: он в самом деле не раз слыхал, что у людей бывают какие-то там воззрения.

— Сколько раз говорила я тебе, что не следует подавать руки...— вся побелев, тихо сказала царица.— Ты видишь теперь, что я была права...

Молодой полковник, исполнив таким образом свой долг перед революцией, церемонно поклонился общим поклоном и, чрезвычайно довольный собой, вышел из столовой. Он усиленно рассказывал о своем подвиге направо и налево и был чрезвычайно доволен, когда все это было пропечатано в газетах. Но царь с этого дня перестал подавать руку незнакомым офицерам и разговаривать с ними.

Снаружи царь был совсем спокоен. По-прежнему он любил, чтобы ни завтрак, ни обед не запаздывали, чтобы жизнь шла аккуратно, по-прежнему любил он читать семье вслух по вечерам, с огромным удовольствием расчищал в парке снег и пилил дрова, совсем не смущаясь теми ротозеями, которые часами простаивали за чугунной решеткой парка, глядя, как работает «бывший царь»,— так называли теперь государя все газеты, с «Новым временем» во главе: оно тоже вдруг узнало, что оно было всегда, в сущности, левее кадетов, и с упоением заливало и царя, и его семью, и всю династию, и весь режим самыми зловонными помоями... А вечером, перед сном, царь неизменно раскрывал свою тетрадь в черном сафьяновом переплете и аккуратно, обстоятельно, не торопясь, вносил в нее все несложные события своей новой жизни: что прочитал вслух детям, сколько деревьев срубил и распилил, какая была в этот день погода...

В глубине души его происходил теперь тихий и сложный процесс, который он совершенно не сознавал, которого он по простоте своей не мог бы определить даже и приблизительно, но который тем не менее был простой натуре его чрезвычайно приятен: он, недавно могучий царь, теперь только, к пятидесяти годам своей жизни, начал видеть временами, точно просветами, настоящую, а не поддельную жизнь, настоящих, живых людей, а не тех, то серых, то залитых золотом кукол, которые то деревянно отвечали ему: «Так точно, ваше императорское величество», то подобострастно смотрели на него жадными глазами, выжидая только удобного случая, чтобы чего-нибудь у него выпросить. Теперь он уже не мог никому ничего дать, и, мало того, теперь быть с ним в человеческих отношениях было не только невыгодно, но даже и опасно: офицера Коцебу за человечное отношение к царской семье Керенский приказал посадить на долгое время в тюрьму. И потому теперь царь стал просто человеком и люди стали для него просто людьми...

И часто теперь он с удовольствием мечтал о том, как было бы хорошо, если бы этот первый, острый период революции прошел поскорее, и он мог бы тогда с семьей посе-

литься где-нибудь в России и жить частным человеком этой вот простой, настоящей, интересной жизнью, со всеми заодно, жизнью, в которой не было бы ни дворцовой лжи, ни интриг, ни жадности, а особенно не было бы этих тяжелых, неразрешимых государственных задач, в которых он ничего не понимал и которые так угнетали его той ужасной ответственностью, какая с ними была связана. Иногда вспоминалась ему кровь революции, ее преступления, ее опасности, но он отгонял эти мысли от себя: разве он чем виноват перед народом? Он старался как лучше, но, если не вышло, значит, такова судьба. И какое, в сущности, было это несчастье родиться царем...— не раз думал он, засыпая.

Царица, больная, страстная, неуравновешенная, тяжелее переживала резкую перемену в своей судьбе. Когда впервые явился к ней великий князь Павел Александрович, бледный, взволнованный, больной, и сообщил ей, что государь в Пскове на ходу подписал отречение, она долго отказывалась этому верить: это невозможно!.. Это не входило в ее голову... И наконец поняла.

— Так, значит, отныне я уже только сестра милосердия...— задумчиво проговорила она, глядя перед собой своими красивыми остановившимися глазами.

Но тотчас же ее обычная энергия воскресла: все это можно еще поправить — только бы Ники был тут! И с раннего утра она по разным направлениям послала ему ряд срочных телеграмм, но курьер вернулся с телеграммами обратно: почтовый чиновник, вчерашний раб, узнавший за ночь, что он всегда был, в сущности, левее кадетов, поперек телеграммы царицы синим карандашом развязно написал: «Местопребывание адресата неизвестно». Царица так вся и загорелась, но — сделать ничего было уже нельзя. Чины собственного его величества конвоя, люди, которые во дворце как сыр в масле катались, которых царская семья ласкала и баловала, как только могла, все, даже офицеры, вдруг появились во дворце надушенные, напомаженные и, не довольствуясь простым красным бантиком, нацепили через плечо огромные шелковые красные ленты и смотрели новыми, наглыми, подлыми, глазами. Матрос Деревенько, дядька наследника, живший во дворце как свой человек, теперь разваливался в креслах и требовал, чтобы Алексей подавал ему то то, то другое. Любимцы царской семьи, матросы с императорской яхты «Штандарт», жизнь которых была около царя сплошной масленицей, заметили, что великие княжны, развлекаясь под арестом, стали часто кататься в своей беленькой шлюпке по царскосельскому пруду, за ночь всю эту шлюпку обгадили и исчеркали похабными надписями и рисунками. Все это царица чувствовала с особой остротой, с особой болью и, усиленно куря, вспоминала ужасные слова Григорья, что, пока он жив, все будет хорошо. Да, но вот его уже нет! Следовательно? И она холодела... Но как же та, Марья Михайловна, старица новгородская, которая предсказала ей скорое окончание войны, близкое замужество ее дочерей, безоблачное будущее? Да неужели же все это был один сплошной заведомый обман? Обман со стороны людей такой праведной жизни?! Нет, этого не может, не может быть! Да, конечно, переболеет сбитый с толку Думой, газетишками и жидами народ революцией и снова потребует обожаемого монарха назад!.. И она курила, курила, курила и мучилась, передумывая все одни и те же ужасные мысли, худела и глядела на мужа и детей новыми глазами, в которых были и страх, и страдание, а по ночам не спала...

И вдруг немножко сонная жизнь умирающего дворца разом всколыхнулась до самого дна: на великолепном английском автомобиле царя с блестящей свитой во дворец прибыл А. Ф. Керенский. Маленький, бритый, с подвижным лицом, он был теперь почему-то одет в английскую военную форму, сшитую, конечно, у самого лучшего портного, а на ногах были сапоги из дорогой желтой кожи с серебряными шпорами.

Все подобострастно засуетилось: новоявленные граждане свободнейшей в мире республики торопились заявить знаки подданничества одному из вождей ее. И, с удовольствием слушая серебристый и новый для него звон шпор, Александр Федорович прошел

всеми залами дворца и, осмотрев караул, уверенно крикнул солдатам:

— Следите зорко, товарищи! Республика доверяет вам...

Солдаты были смущены. На языке у них вертелось привычное: «Рады стараться, ваше го-го-го-го...» — но они не знали, полагается ли это по новому праву или не полагается. И они неловко косили глазами по сторонам. А Александр Федорович уверенно обернулся к старому, всегда спокойному графу Бенкендорфу, который в числе немногих не покинул царя, и сказал ему повелительно:

— Скажите полковнику Романову, что я здесь и желаю его видеть...

Сдержав улыбку, граф доложил царю, и тот попросил Керенского войти.

Александр Федорович очень уверенно вошел в царский кабинет, первый протянул государю руку и сделал Бенкендорфу знак удалиться. Тот не обратил на это никакого внимания и посмотрел на царя.

— Оставьте меня с Александром Федоровичем наедине...— спокойно сказал царь, и, когда Бенкендорф вышел, он жестом пригласил гостя сесть и подвинул ему папиросы.

— Мерси... Благодарю...— проговорил Александр Федорович и, уверенно закурив, спросил: — Не имеете ли вы, полковник, каких пожеланий, которые я мог бы передать Временному правительству?

— Единственное мое желание: это остаться в России и жить частным человеком...— сказал царь.

Александр Федорович наклонением головы показал, что он понимает и ценит такое желание и что со своей стороны он, пожалуй, ничего против не имеет.

— А вы знаете, полковник, мне удалось-таки провести закон об отмене смертной казни, из-за которого мы столько воевали с вашим правительством,— сказал он.— Это было очень нелегко, но это было нужно хотя бы из-за вас только...

— То есть как из-за меня? — удивился царь.

— Ну...— несколько смешался Александр Федорович.— Вы же знаете, что не всегда революции кончаются для монархов благополучно.

— Если вы сделали это только из-за меня, то это все же большая ошибка...— тихо проговорил царь, поняв.— Отмена смертной казни теперь окончательно уничтожит дисциплину в армии. Я скорее готов отдать свою жизнь в жертву, чем знать, что из-за меня будет нанесен непоправимый ущерб России...

Александр Федорович с немым удивлением посмотрел на царя: он не знал, говорит ли тот серьезно или только рисуется.

Через несколько минут царь позвонил камердинера и приказал ему позвать графа Бенкендорфа.

— Александр Федорович хочет видеть императрицу,— сказал он графу, когда тот вошел.— Не будете ли вы любезны проводить его?

— Пусть войдет, если уж чаша эта не может миновать меня...— принимая покорный вид, отвечала гордая царица, когда граф доложил ей о Керенском.— Делать нечего...

Но когда новый властелин России вошел, она невольно, инстинктивно как-то, по женской хитрости, встретила его с достоинством, но любезно: в конце концов, в руках этого неприятного человека была судьба всей ее семьи...

— Я, может быть, помешал... Но извиняюсь...— сказал Александр Федорович.— Я должен был лично ознакомиться, как содержится ваша семья...

— Прошу вас,— указала ему царица на кресло.

— Если вы, Александра Федоровна, имеете что-нибудь передать Временному правительству, я к вашим услугам,— сказал он, садясь.

Завязался с усилием ничего не значащий разговор. Гордая царица с негодованием отметила в своем тоне какие-то новые, точно заискивающие нотки — точно она подделаться к диктатору хотела...— и оскорбилась, и покраснела пятнами, но справилась с со-

бой, и, когда Керенский, прощаясь, встал, она с большим достоинством ответила на его поклон.

— Я представлял ее себе совсем другой...— сказал Александр Федорович провожавшему его графу Бенкендорфу.— Она очень симпатична и, по-видимому, примерная мать... И как еще хороша!

Он снова заглянул на несколько минут к царю, очень похвалил ему его жену — если Александра Федоровна невольно подделывалась к нему, то и он тоже невольно как-то подделывался к ним — и с помпой уехал, а царь, выйдя к Бенкендорфу и Долгорукому, очень довольным тоном сказал:

— А вы знаете, императрица произвела на Керенского прекрасное впечатление... Он несколько раз повторил мне: «Какая она у вас умная».

Старые царедворцы невольно переглянулись: что это?! И ему, самодержцу всероссийскому, похвалы Керенского уже не безразличны?! И впервые оба они смутно почувствовали, что в самом деле что-то большое, чем жили они всю жизнь, кончилось. И печаль заволокла их сердца.

Вдруг в парке стукнул винтовочный выстрел, за ним другой, третий... У всех троих лица невольно вытянулись и глаза тревожно насторожились.

— Что это может быть? — тихо сказал Долгорукий.

Опять застукали беспорядочно выстрелы, послышались возбужденные крики, стук тяжелых сапог по дорожкам... И опять выстрелы... Царь подошел к окну.

— Будьте осторожны, ваше величество...— сказал Бенкендорф.— Пуля легко может задеть и...

— Ах, посмотрите, что они делают! — глядя в окно, воскликнул царь.

Оба генерала бросились к окнам. В нежных сумерках весеннего дня по парку с винтовками в руках метались солдаты, а между ними в паническом ужасе носились легкие и прекрасные ручные косули царя. Один из солдат тащил за ноги уже убитую козу, и красивая головка бедного зверька с изящными рожками печально волочилась по гравию дорожки и кровенила ее. Другие солдаты старались загнать обезумевших козочек в угол, и все палили по ним из винтовок.

— Какая мерзость! — стиснув зубы, невольно пробормотал Долгорукий.

— Но они прежде всего могут перестрелять людей...— сказал царь.— Надо как-нибудь остановить их... Ах, смотрите!

Одна из козочек с перебитыми пулей передними ногами рухнула на землю, ткнувшись в нее своей черненькой, точно лакированной мордочкой. Разгоряченные охотой, солдаты с исступленными лицами подлетели к ней и стали прикладами молотить по хорошенькой головке. Царь, побледнев, отошел от окна...

На другой день по повелению Временного правительства царский обед, до сих пор состоявший из пяти блюд, был сведен до трех блюд. Дети заныли было. Царь, читавший в это время историю жирондистов Ламартина, посмотрел на них своими красивыми глазами и сказал тихо:

— Дети, не жалуйтесь... Могло быть и хуже...

И, уставившись своими красивыми холодными глазами в темнеющий парк, царь о чем-то тяжело задумался... Царица была сумрачна и бледна. Дети сразу притихли. Темные тучи заволакивали небо со всех сторон...

VI. В кровати Александра III

Но наступили скоро черные дни и для Александра Федоровича. Та гордая, но наивная уверенность, что вот он придет, увидит и победит, уверенность, которую разделяла с ним перепуганная и потому его боготворившая обывательщина, рассеялась чрезвычайно быстро: чтобы быть в состоянии спасти Россию, надо было прежде всего удержаться у власти, а чтобы удержаться у власти, нужна была беспощадная, неустанная борьба, во-первых, с теми, кто тоже хотел властвовать и спасать Россию, а во-вторых, с теми, кто сознательно или бессознательно разрушал всякую «государственность». Нужно было из всех сил бороться с Советом рабочих и солдатских депутатов, который вел очень опасную демагогическую игру с темными массами «восставших рабов» и с каждым часом все больше и больше забирал в свои руки власть, но надо бороться и с видными генералами в армии — в особенности же с этим нетерпеливым и страстным Корниловым,— которые, желая уничтожить эту опасную власть Совета, легко могли по пути ликвидировать и Временное правительство, а тогда, конечно, в спину революции будет всажен уже окончательный нож, и всем ее завоеваниям — конец. И нужно было бороться с целым рядом отдельных политиканов, которые жгуче завидовали ему и из всех сил рвались на его место,— один Ленин с товарищами, забравшиеся в чудесный особняк царской или, точнее, всей царской фимилии любовницы, танцовщицы Кшесинской, чего стоили! И нужно было продолжать уже явно непосильную войну с Германией, то есть прежде всего бороться и победить страшное разложение русских армий, жизнь которых превратилась уже в один сплошной небывалый кошмар: перед самыми окопами противника русские полки митинговали, избивали иногда своих офицеров, распродавали за бутылку коньяку пушки, лошадей, продовольствие, госпитали — все, что попало под руку, и тысячами самовольно неслись домой. Было совершенно ясно, что армии, в сущности, больше уже нет, что если не вся она бросает оружие и бежит, то только потому, что к месту приковывает ее темное сознание, что в таком массовом бегстве миллионов все они погибнут. Лучше выжидать на месте, как и что там обернется,— тем более что немцы поили коньяком и время весело проходило во всевозможных митингах на самые разнообразные темы...

Признать, что война кончена, что армии нет, ему, фактическому главе нового правительства — дряблый князь Г. Е. Львов, недавний глава Земского союза, уже ни во что не считался,— было совершенно невозможно, и вот он, надев желтые сапоги со шпорами, без конца носился в автомобиле то туда, то сюда и без конца совещался с генералами. Программа этих совещаний с генералами в полной точности соответствовала той программе, которую провести поручено было броневому отряду в Царском Селе, когда солдаты завели историю с телом Григория: с одной стороны, ни в каком случае не допускать развала армии, а с другой стороны, тоже ни в каком случае не прибегать к силе. Совещания такие ни к чему, кроме потери времени, не приводили, и Совет солдатских и рабочих депутатов был этим очень доволен. Тогда кто-то придумал выпустить на армию матроса Черноморского флота Федора Баткина. Все отлично знали, что матрос Федор Баткин и не матрос, и не Федор, и не Баткин, но все судорожно ухватились за него — авось выручит! — и устраивали нематросу, не-Федору, не-Баткину овации. А нематрос, не-Федор, не-Баткин стучал себя в грудь, украшенную Георгием за то, что в боях флота не-Баткин никогда не участвовал, от имени Черноморского флота призывал всех солдат умереть за революцию, тех солдат, которые и революцию-то сделали только для того, чтобы не умирать. Армия продолжала страшно разваливаться, и Александр Федорович в царском поезде, с царскими поварами, со всеми удобствами сам мчался на фронт то туда, то сюда. Раньше предполагалось, что стоит вывезти на фронт бедного больного мальчика-наследника, как все солдаты безмерно воодушевятся и будут беззаветно умирать,— теперь многие были уверены: стоит Александру Федоровичу «показаться вой-

скам», так моментально все придет в порядок, и миллионные армии самозабвенно бросятся в бой. Некоторые основания такая вера, пожалуй, имела: не видел ли Керенский своими глазами в Москве, в Кремле, как многотысячная толпа, не в силах задержать его затканного красными розами автомобиля, вдруг вся восторженно шарахнулась перед ним на колени? Он упускал тут только из вида одно немаловажное обстоятельство: шарахнуться на колени гражданам свободнейшей в мире республики, видимо, стоило недорого, ну а умирать за свободнейшую в мире республику, не успев даже насладиться ее благами,— дело совсем другое...

И вот, пламенный, прилетел он на Рижский фронт. Были овации, были потрясающие митинги, но команда «вперед!» оставалась бессильной, и единственным ответом полков на нее были новые и новые митинги. И в блестящем окружении Александр Федорович ходил по серым, вонючим, ошалелым толпам этим и, чтобы зажечь наконец священный огонь в сердцах солдат, вступал с ними в личные беседы, уговаривая их положить живот свой за землю и волю так же, как раньше, покорные жестокой дисциплине, они клали его «за веру, царя и отечество».

— Умирать за землю и волю? — вяло усмехнувшись, отвечал растерзанный солдат с серым, усталым лицом, во вшивой папахе и разбитых сапогах.— Да на что же мертвому земля и воля?

Сверкая глазами, Александр Федорович напустился на дерзкого. Но солдат упрямо и загадочно молчал. А потом, отойдя, он повел плечами — вошь одолевала — и проговорил как бы про себя: «Хорошо поёшь, где-то сядешь... В царском-то поезде всякай разъезжать могит, нет, а ты вот в окопах-то посиди...»

Этот серый лик, этот усталый голос были лик и голос подлинной России, замученной, ко всему равнодушной, ни во что теперь путем не верящей, но Александр Федорович не понял этого маленького урока. Но газеты, немножко исправив этот инцидент, на другое же утро поведали своим читателям об этой беседе главковерха с темным солдатом: оказывалось, что дерзкий скептик-солдат не вынес молниеносного взгляда главковерха и упал в обморок. Читатели верили, восхищались и надеялись на Александра Федоровича, как на каменную гору.

И Александр Федорович отдал торжественный приказ армиям Юго-Западного фронта: наступать. Главнокомандующие армиями, корпусные командиры, дивизионные, бригадные, полковые, батальонные, ротные и вплоть до взводных, замирая, принялись армию уговаривать положить свой живот за новую, свободную родину. В царском поезде, с поварами и со всеми другими удобствами, прилетел туда в блестящем окружении революционных молодых и немолодых людей Александр Федорович. Он носился на автомобилях, он летал на аэропланах, он, сверкая глазами, громил и призывал, и нематрос не-Федор не-Баткин именем славного Черноморского флота стучал себя в грудь, и се, свершилось чудо: помитинговав сколько требуется, полки двинулись вперед и потеснили противника. В упоении Александр Федорович тотчас же отправил в Петербург главе правительства князю Г. Е. Львову телеграмму, в которой, поздравляя правительство с первой победой революционных войск, требовал немедленной награды им в виде новых, совершенно красных знамен. Князь Г. Е. Львов со свойственной ему энергией приказал петербургским драпировщикам срочно изготовить эти новые, славные знамена, что и было немедленно исполнено, и были эти знамена срочно отправлены на победоносный фронт.

Между тем там, на победоносном фронте, солдаты, одумавшись, начали рассуждать так же, как и под Ригой: нас зовут умирать за новую, свободную Россию. Позвольте: а что нам эта новая, свободная Россия дала? Совершенно то же, что и Россия старая и несвободная: окопы, вшей, раны и смерть. Так на кой же черт она нам нужна? Немец придет и заберет нас в полон? Врешь, брат, не достанешь: мы вятские, калужские, самарские, вологодские, сибиряки — поди-ка доберись до нас! Да и доберется, так опять

же моя хата с краю. За хату возьмется? Нук што жа делать, покоримся: год терпеть, а век жить... И се, случилось новое чудо: весь фронт разом дрогнул и, побросав все, без всякого нажима со стороны противника, объятый паникой, понесся назад. Загорелись русские деревни и имения, одним махом разбивались водочные заводы и продовольственные склады, убивались подвернувшиеся под руку люди, насиловались свои же русские женщины, и корпуса ошалелых людей, все оскверняя, все разрушая, с бессмысленно вытаращенными глазами страшной лавиной неслись все вперед и вперед. Офицеры сходили с ума, офицеры стрелялись, офицеров убивали, и, когда прибыли из Петербурга новые, совершенно уже красные знамена, оказалось, что вручить их в этом разоренном, опозоренном, плачущем кровавыми слезами крае было уже некому...

Снова мятежно подняли головы генералы, а в особенности этот надоедливый, опасный и горячий Корнилов. И радостно работал, не покладая рук, Ленин с товарищами. И туда и сюда крутил Викжель. Потоп настигал. Надо было спасаться во что бы то ни стало. И вот опять собрался в Петербурге новый совет. Генералы единодушно требовали восстановления прежней железной дисциплины, а для этого им надо было восстановить смертную казнь хотя бы в прифронтовой полосе, а Александр Федорович и все правительство, чувствуя за спиной своей Совет рабочих и солдатских депутатов, и Викжель, и тыловую солдатню, требовали от генералов восстановить для борьбы с германским милитаризмом развалившуюся армию всеми силами... кроме силы. И опять совет не кончился ничем.

Вымотанный, тяжело раздраженный Александр Федорович пошел в столовую, где его уже ждали для обеда несколько приближенных и друзей его, а также и специально приглашенные им лица, с которыми нужно было после обеда переговорить частно. И когда роскошный обед кончился — князь Г. Е. Львов уже почил от трудов своих, и Александр Федорович стал во главе правительства и поэтому перебрался совсем в Зимний дворец, где жить было много удобнее,— к нему подошел один из таких приглашенных: это был один из членов верховной следственной комиссии для расследования преступлений старого правительства, еще совсем молодой юрист, высокий, красивый, похожий на англичанина, один из тех новых сенаторов, которыми новое правительство решило — и вполне основательно — освежить сенат, раньше состоявший исключительно из шлюпиков, совершенно одуревших в своей государственной мудрости.

— Ну, что у вас новенького, Борис Николаевич? — протягивая сенатору папиросы, проговорил Александр Федорович.— Как дела?

— Дела наши принимают довольно неожиданный оборот, Александр Федорович...— сказал тот, закуривая.— Я очень рад, что мне представился сегодня случай побеседовать с вами неофициально на эту тему...

— В чем дело?

— В главных чертах наша комиссия, можно сказать, свое дело закончила, но...— замялся он немного,— но, повторяю, результаты получились несколько неожиданные: никаких преступлений, о которых столько накричали в печати и Думе, не оказывается...

— Не понимаю...

— И мы не совсем понимаем, но это так... Нами рассмотрены уже все важнейшие материалы: переписка, дневники, все, что мы могли только собрать, и — преступлений не оказывается! Был, если хотите, недалекий и странный монарх, истеричная и чрезвычайно суеверная императрица, были глупость, невежество, легкомыслие их окружения — все, что вам угодно, но никакого германофильства, никакой измены, ни тайных радио — ничего не было. Мало того: не было никаких оргий, никакого разврата, о которых кричит улица и сейчас. Более всего обвиняли в этом Вырубову — вот, не угодно ли, медицинский акт, подписанный целым рядом очень почтенных имен, из которого видно, что она — девственница...

— Но позвольте...— поднял брови Александр Федорович.— Она же замужняя женщина...

— И тем не менее вот акт...

— И кроме того, вы говорите о главных героях драмы. А окружение?

— То же самое: много глупости, много невежества, много нечистоплотности, много карьеризма, но состава преступления нет... И даже в жизни самого Распутина против многого можно возразить с точки зрения этической, но с точки зрения криминальной он неуязвим... Таких широких, разгульных натур очень много...

Керенский подумал...

— Дело выглядит довольно скверно...— сказал он наконец.— Говоря деликатно, положение наше довольно дурацкое...

— И даже очень... И единственный выход, который остается правительству и верховной комиссии, это делать вид, что следствие еще продолжается, и — молчать... Вы скажете: а арестованные? Надо как-нибудь выкручиваться... Отпустим их на поруки, что ли, а когда все эти острые впечатления сгладятся, скажем правду...

На глазах молодого сенатора выступили слезы.

— Вы напрасно так волнуетесь...— заметил Керенский.

— Не я один. Все смущены и потрясены. В конце концов, мы мучили и мучаем совершенно невинных людей...

— Революция — не сладкий пирожок...

— Мы утешались этим соображением слишком часто, и вот плоды...

Керенский — он был очень вымотан — удержал зевок.

— Ну, завтра мы обсудим все это вместе, а пока... вы хотите кофе?

Через час общество разошлось. Керенский, зевая, вошел в огромную роскошную спальню свою — это была спальня Александра III — и отпустил камердинера. Вспомнилась вдруг беседа с молодым сенатором. В душе поднялась муть. И, нервно потирая лоб, Керенский стал, забыв о сне, ходить по спальне...

Керенский удивительно сочетал в себе все достоинства и все недостатки русской интеллигенции. Основною чертой и его, и ее характера, самым крупным их плюсом было то, что ни он, ни она не могли жить спокойно, зная, что где-то рядом страдают живые люди, что кому-то плохо, что где-то нарушена справедливость. Это было надо во что бы то ни стало устранить, потому что, не устранив неправды, нельзя жить. И они боролись, кипели, рисковали своими головами, превращали всю свою жизнь в сплошное мучение и иначе не могли, полные до краев сознания, что человек только тогда и человек, когда он человечен. Но, с другой стороны, интеллигенция эта легко могла бы «сочесть пески, лучи планет», знала о положении рабочих в Новой Зеландии, интересовалась всеми новыми книжками, отпечатанными по всему свету, и, завороженная с пеленок сказками о французской революции, все свои помыслы отдавала тому, как лучше устроить род человеческий на земле, и неустанно изучала для этой цели и Эрфуртскую программу, и писания Михайловского, и всякие другие писания. Она знала все, что в наше время может знать образованный человек, не знала только одного: человека. И не только не знала, но и не желала знать, и, когда жизнь показывала ей вместо придуманного ею человека человека настоящего, она отворачивалась и говорила, что это все не то, что это исключение, что это недоразумение, что «человек — это звучит гордо». Как и вся интеллигенция, Керенский непоколебимо верил в силу слова: стоит только сказать на митинге речь покрасноречивее и посердечнее, стоит отпечатать несколько миллионов популярных брошюр, и дело будет в шляпе. А народные университеты опять? А хорошо поставленная партийная газета?! Словом, еще немножко усилий, и серенький человек повседневности станет светлым и гордым гражданином вселенной. И был он, как и вся интеллигенция, бесхарактерен. Он мог еще говорить о «крови и железе», но в жизни он

крови боялся, а с железом не знал, что делать. И если человеколюбец-интеллигент в Татьянин день все же мог напиваться и на глазах у лакеев блевать на дорогие ковры, то и он, Керенский, сегодня уступив чуть-чуть требованиям суровой жизни да завтра еще чуть-чуть, вдруг оказался в покоях Зимнего дворца в каком-то нелепом костюме из английского мундира, французских штанов и русских желтых сапог с серебряными шпорами, которые были ему совершенно не нужны...

Но спать, спать, спать! Он устал, он вымотан до последней степени, он прямо с ног валится... Он все-таки Россию спасет, во что бы то ни стало! Снова в усталой голове пронеслись смутные, но прекрасные грозовые образы из старой сказки: и вдохновенный Дантон, и охваченный священным гневом и ужасающий собою толпы Марат, и героическая Шарлотта Корде, и нежный Камиль Дюмулен, и грозные баррикады, и громы «Марсельезы» на охваченных огненной бурей улицах столицы мира, и зажглось его сердце снова и снова священным огнем... Но все же прежде всего спать, спать и спать...

И, думая унылые, безвыходные думы об интригах этих проклятых генералов, и об интригах Совета рабочих и солдатских депутатов, которые буквально душили его, и об интригах отвратительного Викжеля, который воображает себя каким-то государством в государстве, и интригах писателя Савинкова, который явно ведет какую-то двойную игру между ним и генералами, Александр Федорович торопливо разделся, помылся и улегся в огромную, торжественную постель царя Александра III, и тотчас же он заснул...

И вдруг снова очутился он на широких равнинах между Тарнополем и Калущем. Все поля вокруг были густо усеяны опрокинувшимися пушками, бьющимися в агонии лошадьми, ржавыми винтовками, трупами людей, разбитыми санитарными повозками. И, как тогда, среди этих страшных остатков погибшей армии неслись тысячи и тысячи серых, растерзанных, ужасных не людей, а каких-то совсем новых существ. От самого горизонта неслись они — там, вдали, они казались точками — и уносились за горизонт, а на их место бежали, сломя голову, с вытаращенными глазами, задыхаясь, все новые и новые тысячи, кричали, падали, убивали, выли, вскакивали и вновь неслись, сами не зная куда и зачем. Их было так ужасающе много, что казалось, вся Россия стронулась с места и бежит, бежит, бежит, потеряв рассудок, в неизвестные дали... Страх оледенил его, и он вдруг сорвался с места, чтобы тоже бежать, и вдруг с ужасом почувствовал, что ноги его не двигаются, что что-то точно сковало их. Вытаращив в ужасе глаза и всячески сдерживаясь, чтобы не закричать по-звериному, он делал нечеловеческие усилия, чтобы освободить свои ноги, но все было тщетно. Его охватил безграничный, черный страх, и только было он напряг все силы, чтобы закричать, как вдруг увидел, что на ногах его кто-то плотно сидит. Он с удивлением всмотрелся в незнакомца. Это был ширококостный крепкий мужик в шелковой светло-лиловой рубахе; темная борода его резко подчеркивала бледное, какое-то серое лицо; большие темные глаза мужика тяжело и как будто слегка печально смотрели ему в самую душу — пристально, холодно, жестоко, до самого дна. Ему стало жутко. Он попробовал опять пошевелить ноги, но мужик тяжело прижал их собою и не отпускал.

— Ты ведь Распутин? — тихо, каким-то неприятным, овечьим голосом спросил он.— Как попал ты сюда? Ведь тебя же убили и даже сожгли. Сегодня мне говорили, что многое, что о тебе рассказывали,— вздор, но тем не менее ты все же уже убит, сожжен, и все кончено...

Улыбка раздвинула бледные губы под беспорядочными усами, и Григорий, не шевеля губами, совершенно молча — это было чрезвычайно неприятно, но сделать с этим нельзя было ничего — сказал:

— И не убит, и не сожжен, и ничего не кончено...

— Как?! Что ты говоришь?

— Помнишь солдата под Ригой?— опять не шевеля губами, сказал Григорий, точно

говорил это не он, а кто-то другой, может быть, даже сам Александр Федорович, так как никого ведь еще в спальне не было.— Этот солдат был я. Нарочно показался я тогда тебе, чтобы упредить. А под Калущем и Тарнополем рази не я побежал и все исковеркал? Все я, везде я, во всем я...

— Да зачем же ты все это делаешь?!

— Вот дурачок! Да что же другое могу я делать? — опять сказал кто-то в то время, как Григорий только неотрывно смотрел своими глубокими, тоскующими глазами в самую душу Александра Федоровича.— Ущемили вы меня, вот я и кручусь и так и эдак... Земля и воля, родина — много вы всего напридумывали. Да на кой пес мне все это? Все слова одни, баловство, а чтобы фундаментального чего, так этого не спрашивай. Вот Николай наш был пустой, а я, может, еще пустее... И ты совсем пустой...

— Постой. Я не понимаю тебя...— с болезненным усилием хмуря брови, сказал Александр Федорович.— Что говоришь ты этим своим неприятным, мужицким, темным языком? Почему мы пустые?

— Потому что никакой правильной веры в нас нету...— молча продолжал Григорий.— О чем звонил ты со своими приятелями во все колокола на всех перекрестках, во всех фальетонах и денно и нощно? Слобода там чтобы была, равные чтобы все были, чтобы всем было в Расее хорошо — да не токмо в Расее, а чтобы везде. И сколько сотен, а может, и тысяч из вашего брата за всю эту штуку себя навек исковеркали, головы сложили, карасином себя обливали да сжигали заживо, в петлю охотой лезли... А ты вот в царские хоромы забрался... Да. Так нежли же для этого погибали люди, чтобы на место Лександры III залез сюды Лександр IV, как на смех зовут тебя теперь? Милионы ребят теперя по Расее от голоду плачут,— разорили вы ее войной начисто, как собственный Мамай какой, злой татарин,— а ты сегодня дружков своих и тем, и другим потчевал, и винами царскими запивали вы еду самую что ни на есть дорогую...

— Но... нельзя же так всякое лыко в строку ставить...— с усилием проговорил Александр Федорович, который только одного теперь и желал: как бы от проклятого мужика отвязаться да уснуть бы крепко, крепко.— Не могу же я, фактический глава великого государства, жить в меблирашках!

— А другим ты разве не ставил всякое лыко в строку? Рази забыл ты, каким соловьем ты в Думе, бывало, заливался? А скольких людей по темницам ты теперь запер да держишь? Вон сенатор твой хошь две слезинки над ними пролил, а ты? Потому-то и говорю я, что не убили меня, не сожгли меня и ничего, ничего не кончено, а, может быть, самое главное только еще начинается... Много у меня наследничков, ох, много! И зря вы замучили меня ни за што...

— Никогда я тебя не мучил!

— Не токма что мучили, а и жизни решили...— сказал печально Григорий.— За что?

— Да что ты говоришь? Разве я это сделал?

— Не ты один, а вся ваша братия вместе, кому я поперек дороги стоял...— упрямо и покорно сказал Григорий.— За что? За то, что во дворец я забрался? Дак и ты вот во дворце валяешься. Что баб я крепко любил? А вы святые? Вся и разница только в том, что я им, дурам, насчет Божественного подсыпал, а вы — насчет леварюции. Да не дергай ты так ногами — от меня, брат, все одно не убежишь...— заметил он и, вздохнув, продолжал: — И одно мне больше всего чудно: не вы ли на всех перекрестках орали, чтобы приходил мужик Расеей управлять, а стоило только мне нос показать, как вы же кричать стали: «А-а, сиволдай! Куда лезет! Нешто это мысленное дело, чтобы безграмотного дурака к такому важнеющему делу подпущать?» Народ... Дак я и есть народ... Какого же вам еще народа надобно? Али вы ждали, что к вам оттедова все одни преподобные придут? Преподобных, братец ты мой, там весьма даже малое количество, весьма малое, а остальные все с червоточинкой... Да опять же, ежели и коло преподобных

получше пошарить, то тоже, может, такого откопаешь, что и не возрадуешься... Все-то мы, друг ты мой ситный, пьяницы, все деньгу любим, а пуще всего все, как и ты вот, себя уважают... Все люди, все человеки: ты — это я, я — это ты...

Тяжелый, холодный, печальный взгляд, как камень, лежал на дне души Александра Федоровича, и не было никакого спасения от проклятого мужика. И мерно, ровно, как часы, Григорий все повторял:

— Ты — это я... Я — это ты... Ты — это я... Я — это ты...

— Ах, да отстань же ты!..— взмолился Александр Федорович в тоске.

Мужик тяжко смотрел ему в душу и все повторял, как часы:

— Ты — это я... Я — это ты... Ты — это я... Я — это ты...

И слова эти не исчезали, произнесенные, не рассеивались, а, точно летучие мыши, носились по огромной спальне туда и сюда, и становились все гуще и гуще рои их, так что сделалось страшно.

— Ты — это я... Я — это ты... Ты — это я... Я — это ты...

Гуще, больше, ужаснее... Страх ледяной рукой сжал сердце, и — Александр Федорович вдруг проснулся.

В щели тяжелых занавесок смотрел холодный рассвет. И холодно и загадочно сняло трехстворное трюмо. И брошенная на спинку стула рубашка была как привидение... И вся жизнь показалась вдруг жестокой, непонятной, холодной и такой огромной, что нельзя было ее уложить ни в какую решительно программу и нельзя было никому справиться с ней, своевольной...

Александр Федорович, повернувшись на другой бок, снова крепко закрыл глаза, усиливаясь заснуть. Во рту стоял скверный вкус. Сердце неприятно билось. Холодны были ноги. И вдруг нелепо подумалось ему, что — раньше было лучше... И он почувствовал себя несчастным...

А снаружи, вокруг пышного дворца, борясь с дремотой, усталые, охраняя кумира революции, стояли с тяжелыми винтовками студенты, юнкера и девушки-добровольцы...

VII. Отец Феодор

Отец Феодор, священник Княжьего монастыря, испытал в жизни последовательно три тяжелых удара судьбы: сперва умерла у него еще молодая жена, с которой жил он душа в душу, затем подросла и вдруг показала свое лицо единственная дочь, ядовитая Клавдия, лицо сухое, ограниченное, злое и совершенно чужое, и, наконец, когда борода и шелковистые русые волосы его уже начали белеть, постигло его и третье испытание: он усомнился в истинности той веры, которой он всю жизнь честно и истово служил. И странно сказать: первым поводом к этому послужили те ядовитые словечки, которые его Клавдия, нелепая, угловатая, сухая, в частых столкновениях с отцом бросала ему без стеснения в лицо, те брошюры и листочки, которые он иногда находил у нее на столе и в которых все говорилось о каком-то «обмане» церкви. И он разводил в недоумении руками: Господи Боже мой, никогда никого в своей жизни не хотел он обманывать — что же это такое?!

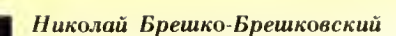
Раньше он, человек вдумчивый, сердечный, но простой, как-то инстинктивно сторонился тех книг, которые могли бы смутить покой его души, но теперь, томимый тяжелыми и смутными сомнениями, он сам потянулся к ним. И если было среди этих книг много задорного, но несомненного мусора, то точно так же, несомненно, были и книги, написанные с умом, книги, в которых чувствовалось биение горячего и чистого сердца человеческого, как труды того же отлученного синодом от церкви Льва Тол-

стого. Просто отмахнуться от этих книг честному перед собой и перед людьми человеку было невозможно: они требовали прямого ответа. Отец Феодор мучительно переживал свои внутренние борения, от всех их скрывал и не видел иного выхода, как сложение сана в близком будущем. Но шаг этот был ужасен: это означило ударить по церкви, которая, благодаря начавшейся революции, и без того переживала трудные времена, в которой он все же никак не мог видеть никакого «обмана», в которой все же много было доброго и которую он все же любил, несмотря ни на что. Неизвестно, чем кончилась бы эта борьба с обступившими его новыми мыслями, если бы судьба не столкнула его как-то в хороший час с Евгением Ивановичем.

Была ранняя весна. В старом монастырском саду было солнечно и тепло, и широко гуляла по полям разлившаяся серебряная Окша. Отец Феодор с Евгением Ивановичем сидели на обрыве и любовались удивительным весенним днем, синими лесными далями и широкими гладями реки. Они тихо и вдумчиво, не торопясь, говорили о церкви. Они быстро сошлись в одном: совершенно несомненно, что на церкви за тысячелетнюю жизнь ее накопилось не только много грехов, но и прямых преступлений, совершенно несомненно, что в последние годы она особенно одряхлела и забыла о своем назначении, совершенно несомненно, что среди пастырей ее чрезвычайно много людей недостойных,— все это так, но тем не менее под всей этой копотью веков, в этих кучах отжившего мусора скрывается много доброго, прекрасного, светлого, умиротворяющего, очищающего.

— Пусть и в этой, светлой, церкви есть опять-таки кое-что такое, с чем современный ум уже не может примириться,— задумчиво говорил Евгений Иванович, глядя в солнечные дали над радостно гуляющей рекой.— Но что же совершенное может дать человек вообще? Во всех областях своей деятельности он несовершенен. Для себя я решаю этот вопрос так,— сказал он и снова охотно повторил одну из своих любимых мыслей: — В основе всех религий лежит Единая Религия, и все церкви с их различными вероучениями суть только более или менее несовершенные отражения этой Религии. И так как ничего совершенного мы дать не можем, то, может быть, проще всего просто примириться с неизбежным несовершенством сущего, по мере сил совершенствуя его, по мере сил служа чрез него Совершенному...

Отец Феодор даже прослезился от умиления: так верна, так проста, так человечески тепла показалась ему эта мысль! И когда потом они расстались, удивительно сблизившись, не раз и не два возвращался в думах своих к этой беседе отец Феодор и все дивился: не чудо ли Господне в том, не указание ли свыше, что именно этому скептику, не находящему себе покоя ни в чем, этому бедному сыну своего века предназначено было укрепить его, снять с его плеч тяжелое бремя? Воистину, неисповедимы пути Господни!



Николай Брешко-Брешковский

Дикая дивизия

Роман

Всадники из глубины Азии

Русская так называемая регулярная конница всегда стояла на большой высоте. Но в то же время необъятная империя обладала еще и прирожденной конницей, единственной в мире по числу всадников, по боевым качествам своим.

Это — двенадцать казачьих войск, горские народы Северного Кавказа и степные наездники Туркестана.

Ни горцы, ни среднеазиатские народы не отбывали воинской повинности, но, при любви тех и других к оружию и к лошади, любви пламенной, привитой с самого раннего детства, при восточном тяготении к чинам, отличиям, повышениям и наградам, путем добровольческого комплектования можно было создать несколько чудесных кавалерийских дивизий из мусульман Кавказа и Туркестана. Можно было бы, но к этому не прибегали.

Почему? Если из опасения вооружить и научить военному делу несколько тысяч инородческих всадников,— напрасно! На мусульман всегда можно было вернее положиться, чем на христианские народы, влившиеся в состав Российского царства. Именно они, мусульмане, были бы надежной опорой власти и трона.

Революционное лихолетье дало много ярких доказательств, что горцы Кавказа были до конца верны присяге, чувству долга и воинской чести и доблести.

Мы на этом в свое время остановимся подробно, а посему не будем забегать вперед.

Только когда вспыхнула великая война, решено было создать туземную конную Кавказскую дивизию.

С горячим, полным воинственного пыла энтузиазмом отозвались народы Кавказа на зов своего царя. Цвет горской молодежи поспешил в ряды шести полков дивизии — Ингушского, Черкесского, Татарского, Кабардинского, Дагестанского, Чеченского. Джигитам не надо было казенных коней — они пришли со своими; не надо было обмундирования — они были одеты в свои живописные черкески. Оставалось только нашить погоны. У каждого всадника висел на поясе свой кинжал, а сбоку своя шашка. Только и было у них казенного, что винтовки. Жалованья полагалось всаднику двадцать рублей в месяц. Чтобы поднять и без того приподнятый дух горцев, во главе дивизии поставлен был брат государя, великий князь Михаил Александрович, высокий, стройный, сам лихой спортсмен и конник. Такой кавалерийской дивизии никогда еще не было и никогда, вероятно, не будет.

Спешно понадобился офицерский состав, и в дивизию хлынули все те, кто еще перед войной вышел в запас или даже в полную отставку. Главное ядро, конечно, кавалеристы, но, прельщаемые экзотикой, красивой кавказской формой, а также и обаятельной личностью царственного командира, в эту конную дивизию пошли артиллеристы, пехотинцы и даже моряки, пришедшие с пулеметной командой матросов Балтийского флота.

И впервые с тех пор, как существует русская военная форма, можно было видеть на кавказских черкесах «морские» погоны.

Вообще, Дикая дивизия совмещала несовместимое. Офицеры ее переливались, как цветами радуги, по крайней мере двумя десятками национальностей. Были французы — принц Наполеон Мюрат и полковник Бертрен; были двое итальянских маркизов — братья Альбици. Был поляк — князь Станислав Радзивилл, и был персидский принц Фазула Мирза. А сколько еще было представителей русской знати, грузинских, армянских и горских князей, а также финских, шведских и прибалтийских баронов? По блеску громких имен Дикая дивизия могла соперничать с любой гвардейской частью, и многие офицеры в черкесках могли увидеть имена свои на страницах Готского альманаха.

Дивизия сформирована была на Северном Кавказе, и там же в четыре месяца обучили ее и бросили на австрийский фронт. Еще только двигалась она на запад эшелон за эшелоном, а уже далеко впереди этих эшелонов неслась легенда. Неслась через проволочные заграждения и окопы. Неслась по Венгерской равнине к Будапешту и к Вене. В нарядных кофейнях этих обеих столиц говорили, что на русском фронте появилась страшная конница откуда-то из глубины Азии. Чудовищные всадники в длинных восточных одеждах и в громадных меховых шапках не знают пощады, вырезывают мирное население и питаются человечиной, требуя нежное мясо годовалых младенцев.

И сначала не только досужие болтуны в кофейнях, но и штабные австрийские офицеры, имевшие о России более чем смутное понятие, готовы были верить, что страшные всадники действительно вырезывают все мирное население и лакомятся детским мясом.

Легенда о кровожадности всадников не только поддерживалась, а и муссировалась австрийским командованием, чтобы внушить волю к сопротивляемости мозаичным, разноплеменным войскам его апостольского величества императора Франца Иосифа.

И когда эта «человеческая мозаика» начала сдаваться в плен, высшее командование наводнило армию воззваниями: «Эти азиатские дикари вырезывают поголовно всех пленных».

Воззвание успеха не имело. Ему никто не верил. Австрийские чехи, румыны, итальянцы, русины, далматинцы, сербы, хорваты батальонами, полками, дивизиями под звуки полковых маршей, с развернутыми знаменами переходили к русским.

Наше повествование относится к моменту, когда после успехов и неудач русская армия, освободив часть Галиции, задержалась на линии реки Днестр. Дикая дивизия занимала ряд участков на одном берегу, более пологом, а к другому, более возвышенному, подошли и закрепились австрийцы.

Великий князь Михаил

〈...〉 Полковник Юзефович, крепкий, приземистый, большеголовый и широкоплечий татарин, следил, чтобы во время боев великий князь Михаил не зарывался вперед и не рисковал собой.

Как только Юзефович был назначен начальником штаба Дикой дивизии, его потребовал к себе в ставку верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич.

— Немедленно отправляйтесь в Киев. Вас желает видеть императрица Мария Федоровна.

В Киеве императрица, обласкав Юзефовича, сказала ему:

— Полковник, прошу вас, как мать, берегите Мишу. Вы можете дать мне слово?

— Мое слово солдата вашему величеству, я буду охранять великого князя по мере сил моих...

Юзефович был верен своему слову. А держать слово было нелегко. Нужны были

иеустаииая зоркость и виимаиие, иастойчивость, иадо было, кроме того, быть дипломатом, действовать так, чтобы, во-первых, сам великий киязь ие замечал опеки иад собой, а во-вторых, чтобы ее — этой самой опеки — ие замечалн все те, перед кем можио было поставить великого киязя в иеловкое положеине. А ои, как нарочно, всегда хотел быть там, где опасио и где противиик развил губительиый огоиь. Толкала Михаила в этот огоиь личная отвага сильиого физически, полиого жизии спортсмеиа и кавалериста, затем еще толкала мысль, чтобы кто-иибудь из подчнненных ие заподозрнл, что своим высоким положеиием ои желает прикрывать свою собствеииую трусость. А между тем если подчиеииые и упрекали его, то имеиио в том, что ои часто без иужды для дела н для общей обстаиовки стремнлся в самое пекло.

Хотя польза была уже в том, что полкн, видя великого киязя иа передовых позициях своих, воспламеиялись, готовые идтн за ним иа вериую смерть. Ои одним появлеиием своим иаэлектризовывал горцев. И оии полюбили его, полюбили за многое: прежде всего за то, что ои брат государя и храбрый джигит, а потом уже за стройиость фигуры, тоикость талии, за умеиие иосить черкеску, за великолепиую посадку, за приветливость и за то, иакоиец, что у иего была такая же ясиая, бесхитростиая душа, как и у иих, этих иаивиых всадииков.

И также просто и ясио, иа виду, как под стекляииым колпаком, жил великий киязь иа войие. Обыкиовеиио геиералы куда большим комфортом н блеском окружали себя.

Вся свита Михаила не превышала двух-трех адъютаитов. На походе ои ютился в тесных мужнцкнх халупах вместе с офнцерами, а в дии трудиых зимиих боев в Карпатах спал в земляиках и, пнтаясь консервамн, заболел желудочными язвами.

На длительных стояиках в городах и местечках, как то было в Тлусте-Място, ои занимал две комнаты. Одна служила ему кабинетом и спальией, другая — столовой.

Сам ои, кроме минеральной воды, иичего ие пил, н вино подавалось для свиты и для гостей,— ииогда приглашались к завтраку или к обеду командиры бригад и полков, а то и офнцеры помоложе, из тех, кого Михаил Александровнч знал личио н по совместной службе в гвардии, и по черниговским гусарам, коими ои комаидовал около двух лет в провиициальном глухом Орле, куда был сослаи за свой роман с женой ротмистра Вульферта, однополчаиина своего по синим кирасирам.

Теперь ои был жеиат иа бывшей мадам Вульферт морганатическим браком помимо воли своего брата — государя и царицы-матери. Супруге Михаила высочайше даиа была фамилия Бросовой, даже без титула — зиак исключительного иеблаговоления.

В этом домике под черепичной крышей, одиоэтажном, наполовиину выходившем во фруктовый сад, жил раиьше австрийский чииовиик, может быть, судья, может быть, иотариус, может быть, полицейский комиссар. С наступлением русских чиновник эвакуировался в глубь страны, дом опустел и теперь занят великим киязем.

Сегодня кроме адъютаитов н дивизиоииого священника приглашеи к завтраку еще и Юзефович...

Скромиые закуски вытяиулись иа тарелках и блюдах от края до края между приборами: масло, сыр, ветчииа, редиска, холодиое мясо. Старый придворный лакей, бритый н важиый, в серой тужурке с металлическими пуговицами, больше идущий к дворцовым анфиладам, чем к этой иизенькой комиате, вместе с другим лакеем, помоложе, покрыл весь стол громадиым куском кисеи. Так было уже заведеио в летнее время: перед тем как садиться, когда кисея из белой превращалась в черную, густо облеплеииую мухами, великий киязь с одиой стороны, а с другой кто-иибудь из адъютаитов — ротмистр Абакаиович или полковник бароы Врангель — быстро н ловко свертывали кисею, н все мухи попадали в мягкую прозрачиую западию. Лакей уносил жужжащую кисею. Священиик, обернувшись к иконе, читал молитву. Михаил Александрович заиимал председательское кресло, и все рассаживались вдоль стола.

Так было и на этот раз.

И на этот раз, как и всегда, великий князь по врожденной застенчивости своей не овладевал разговором, как старший по чину и по положению, а вопреки этикету к нему обращались и его занимали.

Священник с длинными светлыми волосами и светлой бородой, выжав на сардинку пять-шесть лимонных капель, повернул иконописную голову свою к Михаилу.

— Ваше императорское высочество, приходилось вам когда-нибудь встречать германского кайзера Вильгельма?

Бледное, нежное лицо Михаила вспыхнуло. Он всегда вспыхивал, с кем бы ни говорил, будь это даже простой всадник. Непонятная застенчивость в этом более чем светском человеке, атлетически сложеннем, стальными пальцами своими рвавшем нераспечатанную колоду карт и гнувшем монеты. Необычайную силу свою он унаследовал от отца, Александра III. Но, увы, не унаследовал отцовской силы воли и уменья властвовать. Наоборот, у Михаила было отвращение к власти, а царственным происхождением своим он тяготился.

Священник, все еще держа горбушку лимона, ждал ответа на интересовавший его вопрос. Он случайно во время войны попал в высокие сферы и хотел узнать то, чего в обычных условиях никогда не узнал бы.

Михаил поднял глаза и как бы осветил всех мягким взглядом.

— В обществе императора Вильгельма я однажды провел около трех часов, это было летом, кажется в 1909 году. Я тогда путешествовал по Германии.

— Какое же впечатление он оставил о себе у вашего высочества? — спросил священник, весь обратившийся в слух.

Михаил не сразу ответил. Ему не хотелось говорить дурно даже о том, кто сейчас воевал против России и был всегда врагом маленькой Дании, а следовательно, и царицы-матери как датчанки.

— Мое впечатление?.. Как вам сказать, батюшка, за эти три часа, это было на германском броненосце в Киле, император Вильгельм успел несколько раз переодеться. Я его видел в штатском, видел в мундире немецкого адмирала и, наконец, в русской форме. Он ведь был шефом Выборгского пехотного армейского полка.

— Фигляр,— тихо уронил мрачный Врангель.

— Позер,— поддержал его ротмистр Абаканович, с моложавым, почти юношеским лицом.

— Хм... да... Очень даже легкомысленно для такой высокой особы,— молвил священник.

Вошел Юзефович.

— А вот и Яков Давыдович! — сейчас только вспомнил великий князь, что прибор начальника штаба оставался пустым.

Юзефович, уже видевший утром Михаила, сказал, как полагается:

— Ваше высочество, разрешите сесть,— и занял свое место.

С его появлением как-то подтянулись и адъютанты, и священник. Все они побаивались резкого и самостоятельного Юзефовича. А тут он был еще не в духе и торопливо ел, посматривая на часы. Видя его нетерпение и угадывая, что он желает скорее остаться с ним с глазу на глаз, Михаил, как только был подан кофе, вставая, обратился к свите:

— Господа, не беспокойтесь... Я пойду с Яковом Давыдовичем в кабинет.— И, высокий, стройный, легкой и в то же время упругой походкой он исчез в соседней комнате, и вслед за ним вошел и закрыл дверь Юзефович.

В домашней, не в боевой обстановке, и начальник дивизии, и начальник штаба не носили кавказской формы. Юзефович был в английском френче, а великий князь в тонком парусинном кителе с матерчатыми генеральскими погонами, в таких же парусин-

ных бриджах и в мягких желтых сапогах.

— Садитесь, Яков Давыдович. Вы чем-то озабочены? Дурные вести? — И ясные глаза Михаила встретились с татарскими глазами Юзефовича.

Начальник штаба ответил не вдруг. Да и нелегко было вдруг ответить. Из штаба армии его известили: по сведениям армейской контрразведки, австрийцы готовят покушение на великого князя. По тем же сведениям, австрийским жандармам-добровольцам поручено убийство Михаила. Они должны с фальшивыми паспортами, переодетые в штатское, просочиться в Тлусте-Място.

Юзефович уже приказал всех мало-мальски подозрительных мужчин арестовать и выслать из расположения дивизии. Но этого мало, надо сделать ряд обысков, облав и принять особые меры к охране великого князя.

Он колебался: с чего начать,— вопрос неприятный и щекотливый. И как это всегда бывает у решительных людей, начал с первой пришедшей в голову мысли.

— Ваше высочество, вы гуляете вечерами по местечку. Я очень просил бы сократить, даже совершенно отменить эти прогулки.

— Это почему? — удивился Михаил.

— По моим сведениям, это далеко не безопасно. Могут и не только могут, а и... ну, словом, я очень рекомендовал бы вашему высочеству беречься! Это мы честно воюем, не прибегая к террористическим актам, а у неприятеля все средства хороши.

— Что же, убьют меня, на мое место назначат другого...

— Но в данном случае идет речь не о начальнике туземной дивизии, а о высочайшей особе, брате государя,— пояснил Юзефович,— надеюсь, ваше высочество обещает?

— Я ничего не обещаю! — возразил великий князь с твердостью, удивившей Юзефовича.

Как слабохарактерный человек, Михаил уступал ему во многом, но до тех пор, пока эти уступки не задевали повышенного чувства самолюбия и воинско-рыцарской чести, отвлеченной, не желающей считаться с действительностью. Михаил почел бы для себя за самое унизительное и постыдное прятаться от «каких-то убийц». И кроме того, еще глубоко религиозный, он был уверен, что без воли Божией с ним ничего не случится,— особенный христианский фатализм, сходный с мусульманским. Юзефович увидел, что здесь ему не поставить на своем, не переспорить, не переубедить. Он только прибавил, сдерживаясь и боясь сказать лишнее:

— Должен поставить в известность ваше высочество, что и днем, и ночью весь город и особенно местность, прилегающая к штабу и квартире вашего высочества, будут охраняться пешими и конными патрулями из туземцев.

— Лично был бы против, но это уж ваше право, Яков Давыдович, и в этом я вам не помеха. 〈...〉

Два разных мира, две разные совести

〈...〉 Это была не жизнь, а кинематограф. Но какой страшный кинематограф. Какая трагическая смена впечатлений.

Бунт в столице. Бунт запасных батальонов, давно распропагандированных, не желающих воевать, а желающих — это выгоднее и легче — бездельничать и грабить.

Петербург — такой строгий и стильный — очутился во власти взбесившейся черни.

Слабая, бездарная власть потеряла голову. Не будь она бездарной и слабой, она легко подавила бы мятеж, подавила бы только с помощью полиции и юнкеров. Новая революционная власть — в руках пигмеев. Эти пигмеи, в один день ставшие знаменитыми, убеждены, что они вертят колесо истории. А на самом деле это колесо бешено

мчит уцепившихся за него жалких, дрожащих пигмеев.

Мчит. Куда? К геростратовой славе или в бездну? Пожалуй, и туда, и туда.

Рухнула тысячелетняя Россия, сначала княжеская, потом царская, потом императорская.

Два депутата Государственной думы, небритые, в пиджаках и заношенном белье, уговорили царя отречься. И он покорно сдал не только верховную власть, но и верховное командование. Подписав наспех составленное на пишущей машинке отречение, самодержец величайшего в мире государства превратился в частное лицо, а через два-три дня — в пленника.

Низложенный император, теперь уже только семьянин, спешит в Царское Село к больным детям, но какой-то инженер Бубликов, человек со смешной, плебейской фамилией, отдает приказ не пускать поезд к революционной столице, и поезд, как затравленный, судорожно мечется между Могилевом и станцией Дно, никому не ведомой, вдруг попавшей в историю, как попали в нее маленький Бубликов и маленький адвокат Керенский.

При этом первом демократическом министре юстиции медленно догорело великолепное старинное здание окружного суда и были выпущены из тюрем все уголовные преступники.

Революция началась, как и все революции,— под знаком отрицания права и под знаком насилия. Тысячи недоучившихся студентов, фармацевтов, безработных адвокатов, людей ничему никогда не учившихся, надев солдатские шинели, нацепив красные банты, хлынули на фронт убеждать солдат, что генералы и офицеры — враги их, что генералам и офицерам не надо повиноваться и отдавать честь, ибо это унижает человеческое достоинство. Этих гастролеров обезумевшие солдаты носили на руках и верили им гораздо больше, нежели тем, кто около трех лет водили их в бой и вместе с ними сидели в окопах под неприятельским огнем.

Темные разнородные силы, сделавшие революцию, выбрали удобный момент. Еще два-три месяца, и. оставайся русская армия стойкой, дисциплинированной, Россия победила бы даже без наступления. Держаться было легко, имея под конец такую же мощную артиллерию, какая была у противника. Целые горы снарядов громоздились под открытым небом на всем пространстве необъятного фронта. Этих запасов смертоносного металла с избытком хватило бы, чтобы под осколками его полегла истощенная, измученная германская армия.

Но теперь, когда русские дивизии и корпуса превратились в митингующие дикие орды, если и опасные кому-нибудь, то только своим же собственным офицерам,— теперь немцы могли вздохнуть свободно. Теперь для них Восточный фронт был вычеркнут, остался один только лишь Западный.

Успехи фаланг Макензена с их артиллерийским пеклом побледнели перед этой неслыханной бескровной победой.

Революционная власть демагогически, с маниакальным упорством вдалбливала в головы людей в серых шинелях:

— Солдату — все права и никаких обязанностей!

И армия — не могло быть иначе — разлагалась. Особенно удачно протекало разложение в пехоте. Кавалерия, более дисциплинированная и в силу меньших, нежели у пехоты, потерь имевшая в рядах своих кадровых солдат и офицеров, не так поддавалась преступной пораженческой агитации.

Но все же частями, в коих совсем не чувствовалась буйная и безумная, сменившая империю анархия, были мусульманские части: Дикая дивизия, Текинский полк и крымский конный Татарский.

Дикую дивизию революция застала в Румынии.

Тщетно пытались полковые и сотенные командиры втолковать своим туземцам, что такое случилось и как повернулся ход событий. Туземцы многого не понимали, и прежде всего не понимали, как это можно «без царя». Слова «временное правительство» ничего не говорили этим лихим наездникам с Кавказа и решительно никаких образов не будили в их восточном воображении. Они постановили так:

— Царю не следовало отрекаться, но, если он отрекся,— это его державная воля. Они же, туземцы, будут считать, как если бы ничего не изменилось. Революция их не касается, и если русские армейские солдаты безобразничают и оскорбляют своих офицеров, то для них, туземцев, свое начальство и есть и остается на такой же высоте, как это было до сих пор. У армейских солдат — своя совесть, у горцев Кавказа — своя. И в силу этой самой совести, повинуясь офицерам и своим муллам, они без царя будут воевать с такой же доблестью, как воевали при царе.

И еще не могли они понять, как это военный министр может быть из штатских людей. Как это можно отдавать воинские почести человеку в пиджаке и в шляпе. В начале хлынувшие на фронт агитаторы из адвокатов и фармацевтов, загримированных солдатами, пробовали начать разрушительное дело свое среди туземцев, но каждая такая проба неизменно завершалась весьма плачевно для этих растлителей душ.

В лучшем случае туземцы избивали их нагайками, в худшем выхватывали кинжалы, и тогда уже офицеры вмешательством своим спасали жизнь агентам Керенского. Агенты, у коих при неуспехе наглость сменялась трусостью, униженно благодарили офицеров, получая от них весьма назидательную отповедь:

— Пусть ваши революционные головы хоть слегка призадумаются над этим: вы зачем шли к нам в дивизию? Чтобы расшатать авторитет наш среди всадников, как это вы сделали в армии? Но именно потому, что авторитет наш остался в полной мере и не вам поколебать его, потому-то вы и целы и не превращены в котлеты кинжалами горцев. Да будет это вам уроком: не суйтесь больше к нам! Лозунги ваши здесь не ко двору, не могут иметь успеха. Чем вы берете в армии? Тем, что говорите: «Вы теперь свободные граждане, бросайте фронт и с винтовками ступайте в тыл делить помещичью землю». И армейцы, с их отвращением к войне, с шкурническим страхом быть убитыми, с их жадностью к чужой земле, слушаются вас. Для наших же горцев война — желанная стихия, а смерть в бою — почетный удел джигита, а потому вас встречают не аплодисментами, а нагайками и кинжалами. Кроме того, наши горцы не собираются делить чужую землю — им достаточно своих аулов и своих пастбищ. Уносите же подобру-поздорову ваши ноги, да и товарищам вашим передайте, чтобы обходили туземцев. Больше мы никого из вас выручать не будем. Пусть они режут вас, как баранов! Да вы и не стоите лучшей участи. Все вы мерзавцы, предатели и ведете Россию к гибели!

С тех пор закаялись агитаторы смущать горцев, избегая даже показываться по соседству с Дикой дивизией. На что Керенский и тот, несмотря на все свое желание посетить Дикую дивизию, так и не решился приехать. Ему дано было понять, что его дешевое красноречие не только не будет иметь успеха, а фигурально выражаясь — он будет встречен «мордой об стол».

Мечты о диктатуре

Это уже не был нежно разметавшийся на холмах и долинах, весь в зелени Киев. Это не были апартаменты «Континенталя». Это был маленький номер маленького загрязненного отеля в провинциальном городе Яссы, временной столице Румынии. Немцами занят был Бухарест. Королевская семья и весь двор переехали в Яссы.

Но офицеры Дикой дивизии, собравшиеся в маленьком номере гостиницы «Траян», были все те же. Революция почти никого из них не сломала, не поколебала, не принизила, и этим в значительной степени обязаны они были своим всадникам, тоже не сломленным и не поколебленным.

Когда армейские солдаты избивали своих офицеров, оскорбляли, плевали в лицо не только в переносном, а в самом подлинном значении слова,— среди этого безумия и полного развала «дикие» горцы казались еще дисциплинированнее, чем до революции.

Яссы был таким же тылом для румынского фронта, каким был Киев для Юго-Западного. И в Яссы, как и в Киев, урывались офицеры туземной дивизии отдохнуть и развлечься. В табачном дыму, за стаканом местного вина обсуждались события. Обсуждались в сотый, а может быть, в тысячный раз. Наболевшее всегда и остро, и жгуче, и ново являет собою незаживающую рану.

Адъютант Чеченского полка Чермоев, с заметным кавказским акцентом, приятным и мягким, поблескивая умными живыми глазами, убеждал:

— Если бы конвой государя состоял не из казаков, а из наших горцев-мусульман, как это было при Александре II, конвой не допустил бы отречения.

— Как это мог бы конвой не допустить?— не понял Юрочка Федосьев и обиделся за государя.

Баранов, не дав ответить Чермоеву, накинулся на Юрочку со свойственной ему резкостью, не допускающей возражений:

— Вот-вот, все вы такие! Все вы в шорах! Потому и нет царя, потому погибла Россия. Я знаю, знаю наперед, что вы скажете! Раз, мол, царь отрекся, верноподданные должны покорно с этим примириться. А между тем как раз наоборот. Долг верноподданного рассуждать, а не слепо повиноваться. Отречение было вырвано у государя силою или почти силою, а поэтому надо было аннулировать это отречение тоже силой! Чермоев прав! Туземцы конвоя не приняли бы этого пассивно. Они по-своему расправились бы и с теми, кто приехал «отрекать» государя, да заодно и с теми генерал-адъютантами, которых он осыпал милостями и которые отблагодарили его, участвуя в заговоре против него.

— Баранов не знает полумер и полутонов,— заметил Юрочка,— что же, по-вашему, Алексеева и Рузского следовало повесить?

— Тут же, перед поездом, на фонарных или каких там еще столбах! — горячо подхватил Баранов.— Изменники, изменники с генерал-адъютантскими вензелями! Разве все загадочное поведение Алексеева в ставке не измена? Разве поведение Рузского в Пскове не измена? А как он осмелился кричать на государя и, вырвав у него вместе с приехавшими депутатами Думы отречение, воспротивился вернуть, когда спохватившийся государь потребовал назад? Это не измена? Помните, по воле государя нашей дивизии приказано было грузиться, чтобы идти в Петроград и не допускать никаких мятежных выступлений? И уж будьте спокойны, революции не было бы. И что же? В самый последний момент приказ был отменен, и мы остались на фронте. Туземцы в Петербурге — это не входило в план Алексеевых и Рузских. А получилось вот что! — порывисто подойдя к окну, Баранов широким жестом показал вниз, на площадь с загаженным фонтаном посередине.

Площадь была запружена скучающими, одуревшими от праздности и безделья русскими солдатами. Всклокоченные, немытые, в расстегнутых гимнастерках, с нацепленными куда попало красными бантами, они давно утратили не только воинский, но и человеческий вид. Это была толпа, лущившая семечки, готовая митинговать, грабить, насильничать, делать все, что угодно, только не подчиняться своим офицерам и не воевать.

И хотя эта картина была до отвращения знакомая, но вслед за Барановым и все остальные подошли к окну. Летний воздух, пыльный и мутный, прорезался певучим

сигналом — гудок королевской машины.

Сухой, горбоносый профиль короля Фердинанда. Рядом — его начальник штаба генерал Прецан. Толпа русских солдат препятствовала движению. Королевская машина замедлила ход. Солдаты с неприятной тупостью смотрели на союзного монарха. И ни одна рука не потянулась отдать честь, ни одна! Какая там честь, когда этим солдатам внушалось, что здешнего короля надо так же свергнуть, как свергли они у себя Николая.

Баранов, покраснев, захлопнул окно. И все кругом вспыхнули. ⟨...⟩

Тугарин после некоторой паузы молвил:

— Да, был царь, была армия, а нет царя, нет и армии; вместо армии сброд... И от стыда и от боли так горит лицо, так горит, как если бы тебе надавали пощечин...

— А главное, главное,— подхватил Юрочка,— весь ужас тех, кто понимает и болеет, ужас в сознании нашего собственного бессилия, нашей полной беспомощности. Никто и ничто не в состоянии прекратить этот стихийный развал. Мы, то есть не мы лично, а Россия и с нею и армия, да и мы, пожалуй, мы обреченные! Все катилось по наклонной плоскости, докатилось и рухнуло в бездну...

— Опомнись, Юрочка, если все мы будем думать, как ты, сохрани и помилуй Бог! — возразил Тугарин,— тогда мы, разумеется, обреченные. Но нет же, нет, тысячу раз нет! Все это,— и он показал на окно и на площадь,— можно остановить на самом краю бездны и не только остановить, а и железной рукой взнуздать, навести порядок! И эта рука должна явиться справа, а то, смахнув слюнявую керенщину, она явится слева. И тогда вся эта орда, пускавшая папиросный дым чуть ли не в лицо Фердинанду, будет закована в цепи такой дисциплины, какой никогда не снилось ни одной императорской армии! Это будет полчище аракчеевских шпицрутенов! — твердо и как-то пророчески звучал голос Тугарина.

И все поверили, поверили, что так именно и будет, если не явится диктатура справа, она придет слева.

— Но что же делать? Где выход? — с тоскою вырвалось у Юрочки.

— Выход?! — резко переспросил Тугарин.— Выход единственный. Выжечь каленым железом гнойник, ударить по тому самому месту, где началось, откуда пошла зараза. Захват Петербурга, беспощадное физическое уничтожение Совета рабочих депутатов, несущего большевизм, и твердая национальная власть! Все это может проделать одна кавалерийская дивизия, лучше всего туземная! Но, конечно, не с таким ничтожеством и трусом во главе, как наш Багратион.

Эта беспощадная характеристика ни в ком не встретила возражения.

Великий князь Михаил уже давно покинул дивизию. Вначале он командовал Конным корпусом, а потом назначен был на пост генерал-инспектора кавалерии. Дикую дивизию получил князь Багратион, пустой человек, бесталанный генерал, болтун, трусливый не только на боевом поле, где он, кстати, ни разу не был, но и в житейском и в политическом значении слова.

— Великий князь,— продолжал Тугарин,— теперь гатчинский узник. Эта сволочь из Совета рабочих депутатов контролирует каждый его шаг. А нам, нам он нужен был бы, как знамя. Его можно освободить, похитить, наконец, вместе с ним войти в Петербург и провозгласить императором...

— Но ты же сам знаешь великого князя,— ответил кто-то,— великий князь питает отвращение к власти. Вспомни, как легко он сдал её, свое право на престол после отречения государя?

— Как смеет он питать отвращение к власти, когда Россия гибнет? — с засверкавшими глазами ударил по столу Тугарин.— Силой заставили бы идти вместе с нами. Лучше ему быть нашим пленником, своих верноподданных, чем пленником засевшей в Смольном черни, черни, предводимой адвокатишками и фармацевтами. Если мы

настоящие монархисты, любящие родину, мы должны действовать революционно, откинув мертвую дисциплину, откинув слепое повиновение. В этом я вполне схожусь с Барановым. Если бы все офицерство мыслило так, все было бы иначе, и государь стоял бы во главе армии и не был бы сослан в Тобольск. Даже после отречения его надо было увезти на фронт и, не считаясь с его волею, «заставить» продолжать быть императором. Потребовать усмирения Петербурга. И усмирили бы. Усмирили бы железом и кровью. Но, повторяю, даже теперь не поздно. Весь вопрос в сильном, смелом человеке, который повел бы и за которым пошли бы. Генералы наши провалились на экзамене. Да и зачем непременно генерал? Пусть это будет боевой полковник, пусть это будет ротмистр, поручик,— мы ему все подчинимся, а с такими, как Багратион, будем до конца пить из чаши унижения и позора. 〈...〉

На вершине власти

Совет рабочих и солдатских депутатов, державший в своих руках судьбы России и до поры до времени только терпевший немощное Временное правительство, являл собою весьма пестрый зверинец. Главную роль, конечно, играла в нем интеллигенция, замаскированная «под рабочих и под солдат». Настоящие же рабочие и солдаты, допущенные из политических соображений, были на положении серой скотинки. Нужны были их голоса. Эти голоса серая скотинка слепо и покорно отдавала тем, кто ею руководил.

Руководили сплошь германские и австрийские агенты. Было несколько офицеров генерального штаба из Берлина и Вены. Надев солдатские шинели и забронировавшись псевдонимами, эти лейтенанты и майоры делали все зависящее от них и возможное, чтобы в самый кратчайший срок развалить еще кое-как державшиеся остатки и обломки русской армии и русского флота. Им помогали в этом большевики, Ленин и Троцкий. Помогали австро-германцы, очутившиеся в русском плену и после революции попавшие из сибирских концентрационных лагерей в Совет рабочих и солдатских депутатов. Одного из этих военнопленных, Отто Бауэра, австрийского социалиста, провел в Совет его друг Виктор Чернов, министр земледелия Временного правительства. Чернов осуществлял аграрную реформу с гениальной прямолинейностью. Он говорил крестьянам:

— Выжигайте помещичьи усадьбы! Выжигайте дотла эти галочьи гнезда, чтобы ваши кровопийцы больше никогда не вернулись!

Чернов в товарищеском порядке сообщал Отто Бауэру все тайны Временного правительства, а Бауэр сообщал эти сведения через своих курьеров венскому правительству. Это было известно, и на совещаниях в Зимнем дворце военный министр Савинков предупреждал запискою генерала Корнилова, чтобы тот держал про себя свои планы как наступления, так и обороны, ибо это может стать известно неприятелю. Савинков не любил Чернова. Чернов не любил Савинкова. Эта взаимная антипатия родилась еще давно, в дни царизма, во время совместной подпольной работы.

Да и в рядах Совета рабочих депутатов Савинков имел немало врагов и совсем не имел друзей. Особенно ненавидел его Троцкий. У них были старые, тоже эмигрантские, счеты. По слухам, когда-то, в Париже, Савинков отбил у Троцкого женщину и, мало этого, еще публично дал ему по физиономии. Ничего невероятного в обоих случаях не было.

Троцкий тогда еще не был «демоничен», а был только смешон в своем подчеркнутом безобразии. Савинков же с его львиным профилем и бледным холодным лицом был овеян славою бесстрашного убийцы-террориста, и от его фигуры веяло жуткой, недоброй силой. Троцкий трусливо, из-за угла, посылал других метать бомбы в министров и великих князей. Савинков же лично бросал бомбы в «прислужников ненавистного царизма».

И вот эти два революционера очутились у власти. Троцкий заседал в Смольном институте, Савинков в Зимнем дворце. Оглядываясь назад, Троцкий вспоминал пощечину, а заглядывая вперед, видел, что Савинков — этот единственный волевой человек во Временном правительстве,— если удержится военным министром, будет для большевиков опасным и нежелательным противником. А с большевиками ему не по дороге. Во-первых, он ни с кем не пожелает делить власть, а во-вторых, он не пораженец и по-своему любит Россию... В революционности своей мечтатель-романтик и никогда не был платным агентом чужеземной политической полиции, каковыми были всегда Ленин и Троцкий.

Кто-нибудь из них должен свернуть голову другому. Весь вопрос — кто кому?

Савинков поддерживал Корнилова. Поддерживал выдвинутое верховным главнокомандующим требование смертной казни, карающей дезертирство и неповиновение военному начальству.

Совет рабочих депутатов забил тревогу, боясь, что Корнилов и Савинков восстановят в армии боеспособность и порядок.

Керенский, со свойственным ему истерическим пафосом, восклицал, что как до сих пор его рукой не подписано ни одного смертного приговора, так и впредь не будет подписано. Это говорилось для популярности, говорилось в толпу, на митингах, с театральных подмостков и с арены цирка.

Но за кулисами, особенно после доброй порции кокаина, Керенский готов был пойти за Савинковым. Этот бледный, с решительным видом, с холеными руками человек, одинаково владевший как браунингом, так и ножом, был гранитно монументален рядом с набитою паклей и ватой мягкой куклой. И гранит подавлял паклю.

Гранит внушал кукле:

— Если мы не раздавим товарищей из Смольного, товарищи из Смольного раздавят нас! Июльские дни — первое предостережение. Вы, Александр Федорович, на свою голову дважды спасли Троцкого. Когда преображенцы хотели его расстрелять и когда вы поспешили к нему на квартиру, воспротивившись его аресту...

Керенский, мигая дряблыми, набухшими веками, не мог ничего ответить. В самом деле, что можно было ответить?

Да, действительно, он дважды спас Троцкого. И не потому, чтобы Троцкий был симпатичен ему или же политически приемлем, а потому, что Троцкий в глазах его был крупным революционным волкодавом, а он, Керенский, рядом с этим волкодавом чувствовал себя такой маленькой, беззащитной дворняжкой...

В революционных кругах деление на касты и чинопочитание куда сильнее развито, чем в любом монархическом государстве.

Человек с львиным профилем посвятил Керенского в свой план:

— Большевики опираются на матросов. Мы же, Временное правительство, не опираемся ни на кого и ни на что. Мы висим в воздухе. Нам необходимо опереться на армию или, вернее, на ее части, не утерявшие дисциплины и не превратившиеся в орды шкурников и дезертиров.

— Другими словами, еще сохранившие повиновение генералам? — с тревогою вырвалось у Керенского. Он не так опасался большевиков, как генералов.

Собеседник поспешил успокоить его:

— Есть генералы и генералы. Я лично, например, вполне доверяю Корнилову. Он республиканец, не честолюбив и не метит в диктаторы, несомненный патриот и несомненный демократ, как по убеждениям, так и по крови. Чего же еще? Это желанный для нас союзник. За этим союзником реальная сила: именно те остатки еще сохранившейся армии, о которых я только что говорил.

И Савинков развивал дальше свой план, и Керенский начал склоняться...

А потом Керенский весь разговор этот передал министру путей сообщения Некра-

сову, самодовольному, упитанному господину, на днях женившемуся на буржуазной девице, которой очень хотелось быть супругой министра, хотя бы и революционного. Обряд происходил в церкви Зимнего дворца, и шаферы держали над головами новобрачных усыпанные драгоценными камнями венцы, принадлежавшие свергнутой династии.

Подумав, Некрасов ответил:

— Александр Федорович, вы знаете Савинкова? Знаете его непомерное честолюбие? В случае успеха он обойдет всех нас, обойдет и Корнилова, на спине которого мечтает выехать к власти. Ясно, что Савинков желает выскочить в диктаторы. А тогда, первым делом, он всех нас пошлет к черту!

В голове Некрасова это «пошлет к черту» преломлялось так: «Прощай благополучие, прощай тонкие обеды и ужины в Зимнем дворце, прощай все, связанное с властью, хотя и эфемерной. И это на лучший конец. А на худший Савинков не задумается...»

И Некрасов вслух пояснил свою мысль:

— Савинков не остановится перед тем, чтобы заодно с большевиками перевешать и всех нас.

Теперь уже Керенский в свою очередь подумал:

«Тогда прощай вина из царского погреба, прощай императорский поезд, беседы по прямому проводу, выступления на митингах с поклонницами-истеричками...»

И погасший, подчинившийся воле Некрасова, он беспомощно спросил:

— Так как же быть? Отставить все?

— Нет, зачем же отставить! — с хитрой улыбкой на раскормленной физиономии возразил министр путей сообщения.— Не надо! Внешне идите навстречу Савинкову и Корнилову. Даже, по-моему, следует, чтобы они выступили! А вот когда они выступят, забейте тревогу, объявите их изменниками делу революции, врагами народа. И тогда они оба полетят. Мы их перехитрим. Они думали свернуть нам шею, а выйдет наоборот! И надо спешить, пока не поздно. Не по дням, а по часам растет популярность Корнилова. Ну, разве вы не согласны со мной?

— Да, но... но большевики?

— Что большевики? С ними как-нибудь... обойдется. Верьте мне: опасность справа гораздо страшнее, чем слева. Здесь нужна тонкая политика. Мне надоел Савинков и надоел этот генерал, как башибузук приезжающий на заседания совета министров со своими текинцами и пулеметами. Они хотят спровоцировать нас, а мы спровоцируем их!

В тот же день Савинков спросил Керенского:

— Ваше окончательное решение, Александр Федорович? Завтра выезжаю в Могилев, в ставку, и буду совещаться с Корниловым. Могу я с ним говорить и от вашего имени? И если да, могу я сказать следующее: Александр Федорович уполномочивает вас двинуть на Петроград кавалерийский корпус с целью разгона Совета рабочих депутатов, дабы «освободить Временное правительство от его тирании». Вы подписываетесь под этим?

— Вполне!

— Теперь дальше. В случае успеха, о неуспехе не может быть и речи, мы создаем диктатуру. Это будет триумвират: вы, я и Корнилов. Вся полнота власти будет в наших с вами руках, а генерал Корнилов останется верховным главнокомандующим, останется хозяином фронта и военным специалистом. Да и он сам вполне удовлетворится этой ролью. Как я уже сказал, он не честолюбив и в Бонапарты нисколько не метит. Итак, в принципе решено. От слов перейдем к действию.

— Перейдем,— как-то вяло отозвался Керенский.

Эта вялость нисколько не удивила Савинкова. Он знал, что минуты подъема и возбуждения, взвинченные кокаином, сменяются у Керенского часами полнейшей апатии, подавленности и ко всему и ко всем безразличием.

Бомбист-аристократ приезжает в ставку

Савинков был бомбист-аристократ.

Обыкновенно русские революционеры, чтобы подойти «ближе к народу», одевались неряшливо, не стригли волос, не носили крахмального белья и не особенно чисто мылись.

Савинков же всегда одет был с иголочки, тщательно вымытый, до глянца выбритый и надушенный аткинсоновским «Шипром». Вообще он любил комфорт, любил дорогие рестораны, любил нарядных женщин, ароматные гаванские сигары.

С тех пор как начался в России политический террор, никогда еще и ничьи такие же, как у Савинкова, белые холеные руки не бросали бомб в великих князей и сановников. Вагон Савинкова, вагон военного министра, был прицеплен к курьерскому поезду. Этот поезд шел на Киев, и на полпути, в Могилеве, савинковский вагон будет отцеплен. Военный министр проведет в Могилеве несколько часов, а может быть, и целые сутки.

Обычный вагон-салон, в котором ездили царские министры. Савинков вез с собою адъютанта и конвой из четырех юнкеров. Назначение конвоя — оберегать министерский вагон от вторжения солдат, праздных, не знающих, куда девать себя от безделья. Ими забиты все станции.

И как только поезд останавливался, юнкера, в опрятной и ловко пригнанной форме, при винтовках и шашках, занимали оба выхода, принимая на себя натиск буйной, разнузданной солдатни.

— Нельзя сюда!

— Отчего нельзя?

— Вагон военного министра.

— Таперь слобода!

Но этим и ограничивались «самые свободные» солдаты. Решительный вид юнкеров отбивал охоту и к дальнейшим пререканьям, и к желанию залезть в сияющий, новенький, не захватанный и не загаженный, как все остальные, вагон.

Савинков, сидя у окна, дымя сигарой и не показываясь, а украдкой глядя в щель занавески, наблюдал эти сцены.

«Неужели я затем годами скрывался в подполье,— проносилась у него мысль,— затем балансировал между тюрьмой и виселицей, затем рвал в клочки своими бомбами царских министров и генерал-губернаторов, чтобы эта сволочь, потерявшая облик человеческий, бросая фронт, была грозою мирных жителей?»

Он не мог, да и не хотел сознаться, что балансировал между тюрьмой и виселицей и метал бомбы не ради этих людей, а именно ради власти, чтобы ездить в таких вагон-салонах со своим адъютантом и со своим конвоем.

Чем ближе к ставке верховного главнокомандующего, тем больше порядка замечалось на станциях и тем меньше было бродячих солдат. Корнилов подтянул не только ставку, но и прилегающий к ней район.

В самом же Могилеве царил образцовый порядок. Местный совдеп хотя и существовал, но с тех пор, как в ставку приехал Корнилов со своими текинцами, притих и держался с оглядкою, да и опаскою. Вид бронзовых текинцев в белых высоких папахах, загадочных воинственных людей Востока, внушал ужас рабочим и солдатским депутатам, еще недавно, при Брусилове, бывшим здесь не только господами положения, но и терроризовавшим ставку, этот мозг и центр необъятных фронтов — европейского и азиатского.

Ставка помещалась в двухэтажном губернском доме помещичьего типа. После того как в нем около двух лет прожил государь и покинул его уже отрекшимся императором, дом стал историческим. При царе около дома стояли парные часовые Георгиевского батальона. После царя этот отборный батальон разложился. Выходя из ставки, Брусилов здоровался с парными часовыми за руку, этим подчеркивая свою демократичность. При

Корнилове парными часовыми были бессменно текинцы.

Рослые, монументальные и в то же время стройные, легкие, гибкие, стояли они как изваяния, и только особенное что-то, притаившееся в темных восточных глазах, говорило, что это живые люди.

Каждого, кто подходил или подъезжал к ставке, текинцы нащупывали взглядом, казалось, до самой глубины души, словно пытаясь проникнуть, не замыслил ли человек этот худого чего-нибудь против их бояра. Корнилова они называли «бояром».

Это не были казенные часовые, выстаивающие положенный срок. Это были верные слуги, чуткие стражи и телохранители своего бояра. И этой верной, не знающей границ привязанностью одухотворяли они свой пост у входа в ставку.

Савинков, подкативший на автомобиле к губернаторскому дому, с первого взгляда оценил как этих великолепных джигитов с кривыми клычами (шашками), так и преданность их Корнилову, о чем уже был наслышан.

По одному мановению своего бояра они готовы не только кого угодно убить, но свою собственную жизнь без колебания отдать за него. И тут же подумал революционный военный министр, что в России не наберется и нескольких человек, способных ради него, Савинкова, или ради Керенского на такое же слепое самопожертвование. И в этом сила Корнилова, и надо ее использовать, но осторожно, умеючи... Хотя Савинков и сейчас думал то же, что днем раньше сказал Керенскому в Зимнем дворце: Корнилов не честолюбив, власти не жаждет, в диктаторы не метит, и с ним можно пойти рука об руку...

Через несколько минут они сидели в кабинете с глазу на глаз, друг против друга.

Судьба свела лицом к лицу, и не только к лицу, но и как сообщников, двух людей, твердых, решительных, с несокрушимой волей. Но каждый из них иначе направил и свою твердость, и свою волю. Оба не раз рисковали головой. Но Савинков рисковал ею во имя разрушения, разрушения Великой России. Корнилов еще в небольших чинах помогал эту Великую Россию выковывать и творить.

Это было давно. Нынешний главковерх был тогда капитаном генерального штаба и служил среди этих самых мусульманских бойцов, которые живописными изваяниями, в белоснежных папахах гордо стояли внизу.

В то время англичане обратили чрезвычайное внимание свое на Афганистан, не дававший им покоя путь русских в Индию. Деньгами и агитацией фанатизировали они афганцев против соседей, а вдоль русской границы возводили форты и даже целые крепости. Об этом знали у нас, но не знали ничего определенного. Тщетно пытался генеральный штаб проникнуть в тайну англо-афганских сооружений и военных мероприятий.

Посылали разведчиков из туземцев. Одни возвращались, не умея ничего толком рассказать и объяснить, большинство же не возвращалось совсем. Схваченные и обвиненные в шпионаже, они были заживо сварены в гигантских котлах с кипящим маслом...

Капитан Корнилов добровольно взялся сделать глубокую и тщательную разведку.

Сын сибирского казака, от матери-калмычки унаследовал он монгольскую внешность с шафранным цветом лица и узкими, косопрорезанными глазами. Он имел некоторую возможность не быть разоблаченным афганцами, по крайней мере тотчас же. Вдобавок еще он владел в совершенстве несколькими местными языками до афганского включительно.

С собою взял он двух верных джигитов-туркмен. Все трое, одетые по-туземному, в халатах и бараньих шапках, ночью перешли границу. У Корнилова под халатом был револьвер, маленький альбом и фотографический аппарат.

Шесть недель о них — ни слуху ни духу. В Ташкенте уже считали Корнилова погибшим, сваренным в котле с кипящим маслом.

Но он вернулся и привел обоих джигитов. Его альбом весь испещрен был «кроки»

возведенных английскими инженерами фортов, а десятки фотографий дополняли эти ценные «кроки».

Но подвиг Корнилова не был оценен в Петербурге. Хотя Корнилов и получил какой-то незначительный орден, однако вместе с этим ему был объявлен выговор «за самовольный переход афганской границы без надлежащего разрешения высших военных властей».

Но это не обескуражило маленького, худощавого капитана с загадочным лицом китайского божка — он рисковал своей жизнью не во имя наград, а во имя России.

Также для России исследовал он значительно позже с конвоем из нескольких казаков мертвые пустыни китайского Туркестана, куда до него не проникал ни один белый человек.

Корнилов настоял на Дикой дивизии

Савинков знал про это, знал и про легендарное бегство Корнилова из австрийского плена. Знал, что на этого человека можно смело рассчитывать. А как мало вообще людей, на которых можно рассчитывать! Савинкову, воспитанному в революционном подполье, с его предательством и ложью, это было особенно знакомо. Как и все хитрые, скрытные люди, Савинков начал с наименее интересного ему, а самое интересное приберегал напоследок. Закурив сигару и поглядев на свои розовые отшлифованные ногти, он спросил:

— Лавр Георгиевич, каково положение на фронте? Что говорят последние сводки?

— Никогда еще ни одна армия не была в таком постыдном положении,— ответил главковерх,— постыдном, и вообще, я бы сказал, это что-то дико-чудовищное! Армия перестала существовать как боевая сила не от натиска, не от поражения, а от агитации... Рига может пасть со дня на день.

— Как?! — удивился бы, если бы мог удивляться этот холодный, выдержанный человек.— Там жиденькая цепочка немцев; наша же Двенадцатая армия самая многочисленная из всех.

— Да, мы кормим 600 000 ртов на Рижском фронте,— согласился Корнилов,— в окопах же наших еще более жиденькая цепочка, чем у немцев. Неудивительно, если в этих же самых окопах агент прапорщик Сиверс издает для солдат коммунистическую газету.

— А почему вы не прикажете его арестовать?

— Я приказал большее: повесить его, но он пронюхал об этом и скрылся...

— А на австрийском фронте?

— На австрийском начинается выздоровление. Особенно после расстрелов. Солдатские орды превратятся вновь в армию, но при одном условии: при уничтожении Совета рабочих депутатов. Пока там у вас, в Петербурге, имеется этот гнойник, мы бессильны, и не только Ригу, но и коротким ударом немцы могут взять Петроград.

В последнее сам Корнилов не особенно верил и сам не особенно допускал, но ему нужен был моральный эффект, и он достиг своего. Бледное, как бы застывшее навсегда, малоподвижное лицо Савинкова отразило какое-то подобие волнения.

— Падение Петрограда? Столицы? Это был бы неслыханный скандал и позор! Что сказали бы наши союзники? Нет, нет, этого не может быть.— И холодные светлые глаза Савинкова встретились с узенькими монгольскими глазками Корнилова.

Корнилов пожал плечами.

— В Петрограде сто двадцать тысяч обленившихся, развращенных шкурников в военной форме и — ни одного солдата! Кто мог бы оказать сопротивление немцам? Юнкера?

Но грешно и преступно посылать на убой лучшую военную молодежь, эти наши кадры нашего будущего, с тем чтобы растленная, обленившаяся сволочь продолжала тунеядствовать и грабить...

— Да, это более чем страшно...— задумался военный министр.— Тогда... тогда отчего бы вам, Лавр Георгиевич, не усилить Петроградский гарнизон какими-нибудь свежими, боеспособными частями?

— Это единственный выход,— ответил Корнилов.

И оба помолчали, глядя друг на друга. И теперь только Савинков понял, что Корнилов сознательно преувеличивает опасность и что усилить Петроградский гарнизон желает не столько против немцев, сколько для расправы с Советами...

И хотя в этом же самом кабинете, на ту же самую тему, эти же самые собеседники уже поднимали разговор, но чувствовалось, что Корнилов потому ходит вокруг да около, что не доверяет Савинкову. Для него Савинков, хотя и не Керенский, конечно, хотя и стоящий за дисциплину в войсках, но все же революционер, существо малопонятное и чуждое.

Савинков решил разбить лед сомнений. А это он умел при желании. Голос его зазвучал подкупающей теплотой:

— Лавр Георгиевич, я, как говорят французы, человек «трудный». Я вообще мало кого уважал в своей жизни, но вам я отдаю должное. Вы большой солдат и большой патриот... Вы научили меня думать о генералах несколько иначе, чем я думал до сих пор. Дадим же друг другу Аннибалову клятву действовать вместе, плечом к плечу, во имя России! Сбросим маски, сбросим иносказательность. Наши мысли сводятся к одной точке — Смольный. Вашу руку!..

И через письменный стол потянулись и соединились в пожатии крупная, холеная, узкая рука военного министра и маленькая, смуглая рука главковерха.

Савинков прибавил:

— Александр Федорович с нами. Я убедил его, убедил наконец, что невыносимо глупо и унизительно положение Временного правительства рядом с совдепом, этим филиальным отделением германского штаба. И от имени его, Александра Федоровича, я приехал к вам и его именем говорю: давайте общими силами раздавим гадину! Как это вам рисуется технически? Уцелели еще от разложения части, на которые вы могли бы положиться безусловно?

Соображая, Корнилов сузил свои и без того узкие глаза.

— Что же, я могу поручиться за несколько ударных моего имени батальонов. Но, во-первых, они необходимы на фронте. Как организованная физическая и моральная сила, они исполняют обязанности заградительных отрядов. А затем, ведь ударные батальоны — пехота, в таких же стремительных захватах городов, не укрепленных и не защищенных, необходима конница. Да она и больше бьет по воображению... обывательскому воображению.— добавил верховный.

— Это верно,— согласился военный министр.— В декоративном отношении один всадник эффектнее десяти пехотинцев. Но какие же именно кавалерийские части вы имеете в виду? Гвардию?

Корнилов отрицательно покачал головой.

— К моему глубокому изумлению, гвардейская конница так разложилась, как и ожидать нельзя было! Помните, вы приезжали ко мне в Бердичев, я командовал Юго-Западным фронтом, а вы были нашим комиссаром? Помните, на вокзале караул из кавалергардов? Разве можно было узнать в этих всклокоченных, немытых, заросших волосами, в расстегнутых гимнастерках людях недавних подтянутых красавцев, по выправке и внешности не знавших во всем мире никого и ничего равного себе? Изо всей гвардейской конницы дисциплинированны еще кирасиры... его величества,— машинально, по старой привычке

сказал Корнилов и поправился: — Желтые кирасиры, и только благодаря доблестному командиру своему, князю Бековичу-Черкасскому. Вся же остальная гвардейская конница никуда и ни за кем не пойдет. Да то же самое и из армейской я не вижу возможности набрать надлежащий верный кулак. Вся надежда на Дикую дивизию.

— Это немыслимо,— запротестовал Савинков.

— Почему?

— Недопустимо, чтобы кавказские горцы освобождали Россию от большевиков. Что скажет русский народ?

— Спасибо скажет! Когда вы, Борис Викторович, за революционную работу свою сидели в тюрьме, не все ли равно было вам, кто открыл бы вашу камеру для побега: русский или татарин? Я думаю, все равно, лишь бы унести свою голову. Так и здесь.

— Отчасти вы правы, но...— И после некоторой паузы Савинков произнес то, что было для него настоящим поводом для нежелания бросить на Петроград Дикую дивизию.— Видите ли, подавляющее большинство офицеров этой дивизии, все эти кавказские и русские князья,— элемент монархический, реакционный. Дорвавшись до Петрограда, они начнут вешать всех инакомыслящих...

— Если они перевешают Совет рабочих депутатов — честь им и слава!

— Да, но, войдя во вкус, они могут не ограничиться Советом. Наверно так и будет. Они за компанию вздернут и Временное правительство, а это повело бы к восстановлению монархии.

«А, ты боишься за собственную холеную шкуру!» — подумал Корнилов и продолжал вслух:

— Нет, почему же? На Временное правительство никто не посягнул бы. А за Дикую дивизию я, прежде всего, вот почему: мой приказ или должен быть выполнен, или его нельзя отдавать. В Дикой дивизии я уверен. Мой приказ они выполнят. Она пойдет, дойдет и войдет.

Увидев, что Савинков все еще колеблется, а без него никакие решения не могут быть приняты, Корнилов постарался найти компромисс.

— Хотя я и не согласен с вами, но, дабы не было впечатления, что Россию спасают одни только горцы Северного Кавказа, я могу параллельно двинуть Конный корпус... В относительном порядке находятся еще части генерала Крымова. Вы его знаете. Отличный боевой генерал. А его убеждения никак нельзя назвать крайне правыми.

— Генерал Крымов вне подозрений,— подтвердил Савинков,— лично я, однако, предпочел бы одного генерала Крымова, без Дикой дивизии.

— Дикая дивизия — своего рода страховка. А что, если корпус Крымова не дойдет? Я надеюсь на него, но полной веры у меня нет. Провал же всей этой карательной экспедиции грозит полным крушением и тыла, и фронта. Это была бы уже катастрофа.

— Пусть будет так! — скрепил Савинков.— Когда вы считаете удобным выступить?

— В сентябре, после московского совещания, которое, конечно, не приведет ни к чему и будет лишь одним лишним морем митинговой и полумитинговой болтовни...

Паника в разбойничьем притоне

Этот человек вел двойную жизнь в сумбурном, запакощенном, опаршивевшем, но все еще величавом Петербурге. Двойную жизнь. Одну под именем барона Сальватичи в светских гостиных, другую под более демократическим именем товарища Сакса в Смольном, в Совете рабочих депутатов.

Безукоризненно одевшись у Калина, с моноклем в глазу — это придавало ему еще более хищное выражение,— барон Сальватичи плел какую-то сложную интригу в аристо-

кратических кругах, напуганных и пришибленных революцией. «Надо перетерпеть. Действительность ужасная, будет еще ужаснее,— обещал он и тут же спешил успокоить:— Но не надолго. От Керенского нельзя сразу перейти к порядку и успокоению. Нельзя. Надо пустить к власти большевиков. На две недели, на месяц самое большое, но это необходимо. А тогда их сметет новая сила, и в России вновь будет монархия».

Хотя барон Сальватичи не договаривал, но все понимали: эта новая сила — немцы! Он гипнотизировал собеседников и собеседниц своей внешностью, своей таинственностью, своим благовоспитанным апломбом и, пожалуй, самое главное, своим могуществом.

Матросская вольница или банда анархистов вселяется в чью-нибудь квартиру, непременно барскую, начинает ее грабить. Тщетно взывает хозяин, бывший сановник или генерал-адъютант к судебным властям или даже к «самому» Керенскому... Но и судебные власти, и «сам» Керенский — беспомощны. Матросы и анархисты глумятся и над республиканским прокурором, и над Бонапартиком в бабьей кофте.

Но вот барон Сальватичи нажимает какие-то неведомые пружины, и наглые банды покорно уходят из «социализированных» квартир.

Вот почему в салонах слепо верили этому барону. Так и надо, так и должно быть: от Керенского переход к успокоению и порядку невозможен. Необходим промежуточный этап в лице большевиков. А потом придут стройные железные фаланги в касках с остроконечными шишаками, и появятся в изобилии на рынке и хлеб, и мясо, и можно будет выходить из дому, не рискуя быть ограбленным или убитым.

В Смольный приезжал товарищ Сакс уже не в костюме от Калина, а в английском френче, в широких бриджах и в желтых ботинках с матерчатыми обмотками защитного цвета.

В Совете рабочих депутатов товарищ Сакс был крупной фигурой. Даже нахальный, избалованный популярностью своей в преступных низах Троцкий и тот был как-то особенно почтителен с товарищем Саксом и не задирал кверху клок своей бороденки, а опускал голову книзу, с собачьей угодливостью поблескивая глазами из-под стекол пенсне.

Смольный институт, выпустивший целые поколения чудных русских женщин, этот архитектурный шедевр великого Растрелли, теперь загрязненный, заплеванный, наводненный всяким сбродом, напоминал разбойничий притон. Туда свозили арестованных буржуев, свозили большие запасы муки, вина, консервов и вообще всякого продовольствия.

Пыхтели грузовики, сновали взад и вперед вооруженные до зубов солдаты, матросы и темные штатские. Это скопище немецких агентов, выпущенных из тюрем каторжников, военных, писателей, адвокатов и фельдшеров издавало декреты, совершало чудовищные беззакония и допрашивало министров Временного правительства, заподозренных в недостаточной революционности. И министры отчитывались, как напроказившие школьники, боясь на лучший конец ареста, на худший — самосуда этих увешанных револьверами, пулеметными лентами и ручными гранатами дегенератов с бриллиантовыми перстнями на пальцах и с золотыми портсигарами с графскими и княжескими коронами.

И вот этот налаженный, самоуверенный разбойничий быт нарушен. В панике заметался Смольный.

— Корнилов бросил на Петроград своих черкесов!

— Этот царский генерал желает утопить революцию в крови рабочих!

— Предатель Савинков заодно с Корниловым!

— Арестовать Савинкова!

С грохотом помчались набитые матросами грузовики. Но Савинкова нигде нельзя было найти. Он исчез.

— Подать Керенского сюда!

Серо-землистый, дрожащий, примчался Керенский в Смольный на автомобиле императрицы Марии Федоровны. Троцкий, с поднятым кверху клоком бороденки, топал ногами, орал:

— Вы продались царским генералам! Вы ответите за это перед революционной совестью!

Керенский оправдывался как мог. Его революционная совесть чиста. Он сам только что узнал об этом реставрационном походе на Петроград. Вернувшись в Зимний дворец,

он выпустит воззвание ко «всем, всем, всем», где заклеймит Корнилова изменником и предателем.

Пообещав прислать воззвание в Смольный для корректуры, Бонапартик отправился сочинять свое «всем, всем, всем» в сотрудничестве с Некрасовым.

Кричали о защите Петрограда, этой красной цитадели, о сопротивлении до последних сил, до конца, но никто не верил ни в красную цитадель, ни в сопротивление.

Депутаты, воинственными возгласами своими потрясавшие монументальные своды Смольного, имели уже «на всякий случай» в кармане фальшивый паспорт, дабы, когда корниловские черкесы будут на подступах красной цитадели, успеть прошмыгнуть через финляндскую границу.

О, если бы можно было взглядом убивать! Депутаты, удирая, на прощанье убили бы сотни тысяч ненавистных буржуев, с нетерпением ожидающих «банды корниловских дикарей», чтобы забросать их цветами.

И у депутата Карикозова лежал в кармане чужой паспорт на чужое имя, но эта карикатурная фигура в черкеске, с большим кинжалом и с большим красным бантом, проявляла необузданный темперамент и горячилась больше всех:

— Я их знаю, туземцы! А кто их знает — не боится! Дикая дивизия? Я сам Дикая дивизия! Я три Георгиевских креста имел, только я бросал этот игрушка от кровавого Николая. Я буду резить, вва, я буду резить всех! Ингуши, чеченцы, кабардинцы, татары, дагестанцы, черкесы! Все буду резить,— с искаженным лицом исступленно выкрикивал экс-фельдшер Дикой дивизии и в виде финала вытаскивал огромный кинжал свой, слюнил палец и проводил им по лезвию клинка, закатывая глаза, и рыча, и скрежеща зубами.

Даже обступившим его матросам с еще не высохшей на них кровью измученных ими морских офицеров, даже этим холодным убийцам становилось жутко.

— Вот парнишка! Хват! Ну и зверь же! Этот покажет корниловцам! Даром что плюгавый.

Пожалуй, один товарищ Сакс ничего не выкрикивал, ничего не обещал, ничем не похвалялся. А между тем, когда все депутаты заняты были одним — спасением своей депутатской шкуры, товарищ Сакс чувствовал себя на краю зияющей политической бездны.

Если корниловское наступление увенчается успехом, оно оздоровит армию, и тогда дружным натиском с востока и запада союзники раздавят австро-германцев.

Едва ли не впервые спокойный, выдержанный барон Сальватичи потерял голову. Ему приходилось подбадривать себя кокаином. Он понимал, что вооруженной силой не остановить туземный корпус. Нет ее, этой вооруженной силы. Есть растлившийся гарнизон, не желающий ни с кем воевать: ни с белыми, ни с красными. Ни с кем! Тысяча-другая озверелых матросов? Но кому вести их в бой? Да и не знают они сухопутного боя, эти опьяненные собственным величием, буржуазной кровью и награбленными бриллиантами декольтированные, завитые, напудренные и напомаженные гориллы...

Решается судьба двух империй. Эту судьбу несут с собой две, три тысячи всадников на азиатских седлах и с азиатскими методами войны...

В момент этих поистине трагических размышлений в комнату 72, занимаемую бароном Сальватичи в Смольном, вошел, не постучавшись, Карикозов.

— Как вы смели? Убирайтесь к черту!

— Погоди, послющай. Тебе лицо горит и мне горит...

— Что за чепуха! Не до вас мне! Убирайтесь!

— Имей терпение,— продолжал, не двигаясь, Карикозов,— Тугарин помнишь? Нагайка тебе ударил! Отомстить хочешь? Тугарин любовница гражданка Алаев, арестовать надо. Из Петроград увести. Тугарин с дивизиям придет, нет душенька его. И я припомню, как меня ингуши нагайкам бил по его приказ. Давай ордер, что ли, пока есть время. Чего думать, давай! Тебе легче будет, мне легче. Обоим легко будет!

Товарищ Сакс подписал ордер на предмет ареста «гражданки Алаевой за соучастие с Корниловым и за тайную связь с его агентами».

Экс-фельдшер, взяв с собою пять вооруженных матросов, помчался к Таврическому саду на мощной великокняжеской машине.

Михаил Осоргин

Там, где был счастлив

Липовый цвет

Бывало, в детстве, когда простудишься, мама немедленно уложит в постель, натрет грудь, спину и пятки скипидаром и напоит липовым цветом. Лежать тепло, за ночь сменишь две рубашки, а наутро — болезнь как рукой сняло, только слабость легкая.

В чудодейственную силу скипидара и липового цвета (еще ромашки и сушеной малины!) я всю жизнь верю. И когда приключится какая-нибудь болезнь, хоть и не простудная,— вот, думаю, натереться бы скипидаром, выпить малины, и прошло бы.

Лучшие годы молодости я прожил в Италии. Жил там вынужденно и томился по России, куда вернуться нельзя было. Томился, и все же — как теперь, с отдаленья, вижу — был счастлив. Это очень много: сказать самому про себя: был *счастлив*. А когда, потрепав-побросав, судьба опять увела меня за отечественные пределы и когда, после лет жизни тяжкой, душу повытрясшей, захотелось закусить бочку дегтя ложкой меда — решил испробовать старого лекарства: среди серых олив-макарон итальянских на античном блюде. Вкус их остался в памяти, как вкус поцелуя у того, кто целовал — любя, как аромат духов на пожелтевших строчках в узком конверте. Макароны — поцелуй — духи... такие образы несхожие; а понимающий поймет: нас, единомышленников, италофилов, не мало.

Считал, что это — панацея от всех зол и бед и душевных страданий. Переехать новую границу, Бреннеро, проскочить червячком через Альпы и Апеннины, перекинуться приветливо с первым встречным (все там приветливы!) — и все вернется.

А что такое «все» — даже и определить не сумею точно. Едва переступишь с каблука на носок, как нога сама закидывается для нового шага. Взглянешь в зеркало — там человек улыбается. Вздохнешь — пуговица пиджака сама расстегнется. Скажешь — голос сам вольется в воздух. И все красиво — даже некрасивое, и все легко, даже тяжелое, и очень хочется *еще жить*. Вот вроде этого, иначе объяснить трудно.

Выпить липового цвета, натереться скипидаром — и всякой болезни конец! Если бы мы *иногда* так не веровали, то жить бы было *всегда* невозможно. И хоть было трудно наладить поездку в страну, где был счастлив, однако в день апрельский, весенний и благовонный чиркнул поезд по той невидной черточке на рельсах, которою проигравший австриец отчурался от выигравшего итальянца. Земля осталась прежней, небо — небом, Тиролем — Тироль, а ангел счастья, южного счастья апеннинского, удачи, улыбки, радости, песни, черноглазая и черноусая,— ангел счастья италийского переставил к северу свою пограничную будку. Когда ехали мы мимо новенького столба и молоденького при нем часового — я и в вагон шаг шагнул вперед: чтобы скорее перевалить и тело и душу на ту сторону.

По ту сторону

И было на той стороне солнечно и ласково, после этой хмурой и дождливой. Бывает и на итальянском небе облачно, и на здешнем, немецком,— безоблачно. Но разница всегда есть — и вот она.

Когда бежит в Италии облако по небу, на синем кудрявое, на лазури — легкое перышко,— на него взглянешь и спросишь:

— Гуляешь?

— Гуляю.

— Так смотри, не застя мне солнца!

Здесь — иное. К здешнему асфальтовому, хорошо обкуренному небу на «ты» даже и не обратишься, и разговор с ним иной:

— Нагадите?

— Нагажу.

Поникнешь грустно головой, а за воротник зальется с неба вода, похожая на пиво. Все это я знал по памяти, почему и поспешил шаг шагнуть в вагон.

Превосходный, ныне покойный итальянский писатель-юморист Лукателли писал однажды, возвращаясь домой из Парижа:

«Граница. Опускаю окно и слышу: „mortacci tui" (крепкое ругательство). Да, это родина!»

Era la patria! И для меня тоже — это была родина, хоть и не кровная. Язык, силуэты гор, серый известняк построек, веселость перебранки, теченье Адидже, Арно, Тибра, Флоренция среди холмов и Рим на холмах. И безрыбный Генуэзский залив с белокаменной Генуей (ее так и зовут «белокаменная»!), и Messer San Marco, царящий над венецианской лагуной. Все — знакомое, дружественное, испытанное и неподдельное.

Возвращался, как блудный сын в дом отчий, не зная, что встречу, как буду встречен. И не знал, какая тяжесть за плечами мешает бодрости шага? Какой ненужный багаж пронес через таможню? Почему к радости возвращения примешивается грусть? Забыл о годах, проведенных в России, о прахе, к ногам обильно приставшем, которого отряхнуть нельзя.

Глазами видел и вспоминал все: красоты пейзажа, выражения лиц, названия улиц и возраст памятников. Помнил, что и где пережито тогда-то и тогда. Все схватывал глаз и сообщал уму; а в сердце заслонка: знает оно, что нужно радоваться,— и нет в нем прежнего, непосредственного, безоговорочного отклика.

Объяснить это очень трудно; не выходит у меня как-то. Да и как расскажешь, когда самому неясно, почему не действовал на этот раз заветный липовый цвет и всецелящий скипидар...

Где-то что-то надорвано. Все та же Италия; значит, трещину ищи в самом себе. Это я понял сразу. И, минуя города любимые, не взглянув ни на волшебную лагуну, ни на фонтан, куда бросают сольдо, чтобы вернуться,— забился в глушь, в приморскую деревушку, хотя и в ней была знакома каждая линия и каждая волна прибоя. И вот я на пляже.

У моря

Пляж знакомый; как будто даже камушки все те же, что были десяток лет назад: серые с белыми жилками, красные с рисунком, мыльца из мрамора. И шершень знакомый облетает колючие песчаные цветы, и на границе прибоя по-прежнему суетятся дафнии. Лежу коричневый и солнца не боюсь: любезна его пятидесятиградусная ласка. Вода солона и густа и держит тело. Воздух над пляжем дрожит.

Двадцать рыбаков, и молодежь, и старые, и подростки, тянут за канаты далеко в море заведенную сеть. А вытянут — груз медуз негодных да малую корзину сардинки. Сепия — уже желанное лакомство. Медуз выбросят на пляж, они будут таять, а назавтра обратятся в сухую пленку с лиловым ободком.

Рыбачку Рику я знал девочкой лет пятнадцати, и была она очаровательна. Я сделал ее тогда героиней повести; из-за нее у меня покончил с собой Бачича, носильщик нашего полустанка. А сейчас эта Рика — некрасивая, грубая, крепкая баба с железными мускулами ног. Бачичу же я видел в соседнем городке; он вышел в люди, служит в банке и носит синюю пару. Что же осталось? Осталась часовня в зелени горы св. Юлии, остались развалины церкви св. Анны на страшном обрыве, прямо над дорогой, где в последние годы прорыли новый туннель. Старую дорогу размыло прибоем. Остался еще на краю обрыва камень, служивший мне часто письменным столом.

Но не осталось прежних иллюзий. Они — а не Бачича — скатились с обрыва и упали в жидкий малахит меж серых скал.

Дети, которых знал, выросли и меня не узнали. Витторио стал коммунистом, бранит Муссолини и бреет бороду по воскресеньям. Старуха табачница умерла, но и дочь ее кажется старухой. Каким-то чудом осталась прежней только восьмилетняя Терезина. И, правда, чудо: она тоже умерла, маленькая Терезина; но ее мать родила другую Терезину, совсем такую же, с удивленными круглыми глазами, с пучком волос на голове, босоногую куклу. И ей теперь как раз восемь лет. Странно мне видеть ее: как будто десяти лет не бывало. А все сверстницы прежней Терезины — невесты и жены.

Года идут

Таратайки еще бегают между соседними городами. Но пылит на нашей улице и мотор омнибуса. Я сажусь с шофером, чтобы виды были красивее. И едем мы долго, часа два и больше, по склонам гор, через местечки со знакомыми названиями, по великой красоте Ривьеры.

Перевалили через высокую гору к другому заливу. И здесь все знакомо, и здесь живал подолгу, каждый дом знал, чуть не каждый куст агавы. И цикады стрекочут с тем же жаром. И кудрявы оливы.

По святым местам воспоминаний проезжаю без радости; мне приятно здесь быть, и вижу все, и знаю, как это было прекрасно и как осталось прекрасным. Вижу, знаю и не чувствую. Корой обросло чувство. Броня российская; ковалась годами — и выковалась прочною и холодною. Отражает солнце, строжайше воспрещает вход прежней восторженности.

Быстро проносится местечко, где без ремонта, как прежде — старая и милая, стоит в окруженьи сада вилла; я жил здесь почти два года. Ее забыть — нельзя. Здесь для меня началась Италия — после стран северных. Первые розы, первую несполю, первые оливы я видел здесь. И первый горизонт моря, и по морю — матовые дорожки.

Было то в дни веры и живых иллюзий. Хотя тоже — в дни изгнания. Но тесна была тогда связь с Россией; для нее и работали мы, и жили; без нее жизнь не мыслилась. Была молодость — можно было ждать нетерпеливо, но — наверное. Не как сейчас. Была в этом своя логика; сейчас никакой логики не осталось. И времени — до старости — мало. Не потому ли нет радости?

Перебывало и переживало на этой вилле людей множество. Иных уже нет... и все далеко. Один только остался верным: живет поблизости, у того же моря, семнадцатый год, анахоретом, тружеником, в себе замкнувшись. И снег пал на голову его...

Кто где и кто кем стал — вспоминать и подсчитывать надо ли? Все спуталось,

разбрелись и перекрасились люди и идеи. Тем лучше: значит, жизнь не стоит на месте.

Мы без мотора, по склону гор, спустились к нижним селеньям. Отсюда Гарибальди отплыл со своей баснословной тысячей.

Tutto passa

На высоком месте, откуда вид так прекрасен, человек спилил пинии, накатал площадку и выстроил ресторан. И место это немедленно приобрело известность. Это называется: промышленный гений.

Воздух ясен, дали отчетливы. На безграничности зелени — белые скопления домиков: и живут в них люди особые, кругозор которых равен кругозору их балкона.

— У вас тут прекрасно жить!

— О, в городе, конечно, лучше!

Так они думают, наивные. И они думают, что наивны мы.

Под виноградом на лавочке старик. Бриты губы и борода (бриты не сегодня), и ему не меньше восьмого десятка. Может быть, сподвижник Гарибальди. Улыбается с приветливым добродушием, пытается привстать, чтобы показать дорогу. На его веку сколько раз сотрясалась земля и летели кувырком правительства, границы и государства (про идеи и речи нет!). Может быть, он не заметил этого — если всю жизнь прожил здесь. Теперь интерес его потухающего взгляда в том, как наливается виноград. И то, что мы прошли мимо,— тоже событие дня: тут мало кто проходит по ослиной тропе, ведущей к морю с высоты. Камушки под ногами осыпаются. Шаг за шагом опускается и море.

Дорога вьется, и спуск занял часы. Солнце помогает пятьюдесятью градусами: мне никогда его недостаточно! Жги, свети, слепи! За годы в России я замерз безнадежно.

В порту, маленьком, рыбацком, как в блюдечко налитом, глубоко-бирюзовом, моряк садит в лодку. Он к усам носит бакенбарды и пробривает подбородок по-старинному. Сух, стар, бел как лунь; шея в коричневых складках, и смотрят черные глаза из-под двух нависших белых козырьков. Бывал в Одессе — очень, очень давно. Едем мимо отвесных берегов в городок св. Маргериты, откуда поезд домой. Говорю ему:

— Я тоже моряк!

Неправду говорю, сам не знаю зачем. Чтобы сделать ему приятное? Товарищ по профессии. Но я мореход только по морю житейскому. Его бури мне ведомы. И давно не видал его спокойным.

На одном мы сошлись. На берегу ребята запели «Юность». Это гимн фашистов, совсем как детская песенка, плохонький и смешной:

Я говорю:

— Пройдет и это, как все проходит.

И заблестели у старика глаза:

— Verissimo! * Как все проходит! То ли было! И чего только не было! Tutto passa! ** Вот это уже подлинно верно!

Так мы ехали и смеялись: он — старик, я — молодой, оба бывалые мореплаватели, только по разным морям.

— А где затонувший корабль?

— В Сан-Фруттуозо.

— Едем туда.

Здесь есть старая башня, полная летучих мышей. В ней на пыльном и мусорном полу

* В самом деле! (*ит.*).
** Все проходит! (*ит.*).

корчился интеллигент в припадке неврастении; затем обо всем этом рассказывал печатными буквами в толстом журнале, а девицы ему писали:

— Милый, как вы страдаете!

В воду залива смотрит единственный здесь жилой дом на скалистом фундаменте. В доме — в те, давние, времена — жила художница. На окне ее комнаты хаос красок. Это она пыталась однажды изобразить взмахом кисти — хаос душевный. Потом смеялась (умная была):

— Разве изобразишь это красками!

А «хаос» так и остался на впадине окна, наружу. Манит пятном. Все это так памятно! И почему же — ни малейшего волненья. Помню, знаю, не чувствую.

И на дне глубокого заливчика в светлый полдень, когда солнце в зените, ясно виден остов затонувшего корабля. Может быть, и не так уж ясно, может быть, и не так уж видно,— но видят все, кому хочется видеть. Я видал раньше; в этот приезд увидал на дне только камни, и то неясно. Спросил лодочника:

— А вы видите?

Он хитро улыбнулся:

— Мои глаза стары, слабы; а раньше видал и я.

— Все проходит?

— Tutto passa!

Кривая башня

Мелькнули мраморы Каррары, и вот гора, закрывшая Лукку от взоров пизанцев: „Per che i Pisan veder Lucca non ponno" *.

Другую строку великой поэмы Данте слышал я из уст кухарки, обиженной, что на базаре все вздорожало. Она вернулась домой в страшном раздражении, с полупустой корзиной и, жалуясь хозяйке на торговцев, трагически воскликнула:

— Ahi Pisa, vituperio delle genti!..**

Решительно не представляю себе, чтобы русская кухарка цитировала Пушкина.

Арно замкнулся в гранитных берегах. Тот, кто смотрит на его теченье, видит надпись от моста к мосту:

«Голосуйте за... Да здравствует...»

Вторжение современности. А рядом — готическая игрушка: Santa Maria della Spina. Под крышей фантастические зверушки, как на Notre Dame, но только добродушные, маленькие. Стоит эта часовенка века на берегу прекрасной реки. Сесть бы здесь в лодку и плыть во Флоренцию, под старый мост ювелиров.

Старая площадь поросла травой забвенья. Царство мертвых, собора, баптистерия и башни. На зеленом блюде два кулича и покривившаяся пасхальная баба, облитая сахаром. Вьется внутри ее лесенка, на верхней площадке ветерком обвевает, вся Пиза видна оттуда: красные черепичные крыши, а под ними мирное провинциальное, мещанское бытие.

В пизанском соборе Галилей смотрел на качанье люстры... И еще тысячи тысяч людей приходили, смотрели и ничего не открывали, ни в чем не убеждались. Подходит сторож с явной готовностью рассказать про Галилея, но я убегаю в баптистерий. Здесь слушаю эхо. Здесь каждый звук родит под куполом музыкальный шорох. Купол

* «К холму, что Лукку заслонил от нас» (*ит.*) — *пер. М. Лозинского.*

** О Пиза, стыд пленительного края... (*ит.*) — *пер. М. Лозинского.*

не пуст, он заселен шепотом, возгласами, мелодией. Ничего удивительнее этого резонатора архитектура не создавала.

Все это знаю, видел, переживал, и не один. Бывал и рядом, в обители мертвых. Мир тогда нисходил в душу; святостью искусства веяло от выцветших и осыпавшихся фресок. Ныне холодно мне во святых местах: как будто дома перелистываю старые фотографии. А проводник громко отчитывает немцам:

— Здесь погребен...

Барыня в пенсне мигает глазами и старается запомнить. Зачем ей это? Балласт для памяти! А она думает: оправдание жизни. Чем только люди не тешатся!

— Ах, Италия! Ах, Пиза! Ах, башня! Ах, гробница того... кто здесь погребен!

А может быть, я завидую барыне в пенсне? Она наслаждается, она что-то чувствует. А я только брожу по заросшей травою площади... моих воспоминаний. Она — в сфере мировой истории, я — в клетушке моего собственного, маленького, исчерпанного быта и бытия.

И мне нисколько не легче от того, что башня кривая. Почему это должно меня радовать?

Иду к вокзалу — а из окон магазинов высовываются и дразнят белые ажурные кривые модельки. Трудно себе представить что-нибудь безобразнее мраморной модели пизанской башни! Разве — бюст Маркса, стоявший когда-то на углу Тверской...

Ничего не случилось

Я знаю на память все станции от Генуи до Рима, в первой, живой и жилой части, и в последней, унылой и мертвой. Но после Ливорно их не стоит помнить: пустынно побережье до Чивитавеккии.

Рим — решительная ставка. Это уже не липовый цвет. Это — подушка кислорода, последний шприц камфары.

Он подбежал акведуками и серыми в сумерках зданиями. Он открылся шумной площадью, зараженной жизнью вокзала и дешевых коммерческих отелей. На суетливой столичной Национальной улице показал худшее, что есть в нем,— и мягко втянул в старые кварталы центра — в лучшее, чем он богат.

Я прожил в Риме восемь лет; так долго подряд не жил нигде, кроме провинциального города, в котором родился и юношей жил — до университета. Казалось бы — здесь мой дом,— если есть у меня дом где-нибудь.

Жил в чиновно-мещанском квартале, на Прати ди Кастелло, против Ватикана и замка св. Ангела. Тогда — пустыри, теперь эти места застроились. Мои друзья и хозяева умерли; моего друга и слугу я сам хоронил.

Жил на высоте вершины обелиска на площади Монтечиторио. Из окна видел, как подходят и съезжаются депутаты парламента и как кому кланяется знаменитый швейцар с булавой.

Жил на окраине, в двухэтажном особнячке полковника, ругавшего свою жену нехорошими словами. Теперь это уже старый квартал: окраина уползла далеко в поля. Рим растет и ширится.

Я жил в Риме жизнью обывателя, интересами города и страны, как свой, не как чужеземец. И лишь сегодня в первый раз остановился в отеле — как чужой, любопытный, приезжий. Понял сразу: я, действительно, чужой, совсем посторонний и лишний здесь человек.

В высоких переулках Лудовизи, где также жил когда-то,— одиноко и прекрасно,— теперь смутился и заплутался. Ночью вышел к площадке на Тринита де Монти, спустился

к площади, к каменной затонувшей лодке; на эту лестницу я взбегал одним духом лишь десять-пятнадцать лет назад; сейчас меня утомил даже спуск. Здесь, на площади, в день казни Ферреро, в Испании, я был вместе с толпой. Войска не давали ей разбить стекла в здании испанского посольства. С тех пор в одной м о е й стране казнены десятки, а может быть сотни, тысяч человек. И память о Ферреро меня уже не трогает: во всякой стране свои иезуиты и своя инквизиция. Всякая кровь алая. Ало знамя всех революций и всех реакций...

У Араньо сажусь за м о й столик: может быть, это взволнует, вернет былые ощущенья? Все лакеи — те же; их пощадила война. Но все поседели. Один подходит, улыбаясь приветствует: точно вчера видел в последний раз.

Пожалуй, это — единственное, что порадовало по-настоящему: признанье и привет лакеев Араньо, знаменитого политического кафе, в котором я восемь лет подряд бывал ежедневно. Когда зажглись огни, из обычной норы под расписным потолком вылетела обычная летучая мышь и принялась кружить свои обычные круги. Так кружит пипистрелло и так будет кружить под потолком десятки лет; без нее немыслим вечерний отдых у Араньо.

А на углу, в толпе будущих и настоящих безработных адвокатов (нельзя же все время сидеть за столиками!) увидал другую достопримечательность Рима: маленького, бородатого, в широкополой шляпе художника-анархиста. Он расплылся в улыбку и, как вчера расставшись, сказал сразу и «здравствуй» и «прощай».

— Еще увидимся?

— Увидимся.

— Что тебя давно не было видно?

Я улыбнулся. Ведь я провел столько лет в России! Но объяснять так долго!

Удивительно, до какой степени здесь н и ч е г о не случилось!

Пипистрелло

Рим... чувство Рима... вечность... сколько прекрасных слов и тонких эстетических представлений. Все это еще так недавно было полно значения, отражалось в душе дрожащими образами. Чувство Рима змеилось под землей по лабиринтам катакомб, любовно ластилось к старому камню памятников, взвивалось к небу выше острия обелисков и распадалось брызгами этих удивительных, неэкономных, неистощимо-роскошных фонтанов. Купол Пантеона, струя Тибра, безносый обрубок Пасквино, и барельеф поросой свиньи, и буквы S.P.Q.R. на сорной бочке — все было одинаково значительным, нужным, входящим в великое целое: Рим! И собор Петра, и кабачок на Campo de'Fiori, и однорукий газетчик на углу Корсо.

Что же случилось? Разве все это не осталось на месте и Рим не живет прежней жизнью? Разве Рим может измениться и перестать быть Римом, городом вечности?

Нет. Но по той сверхчувствительной пластинке, которая запечатлевала светотени Рима, по той тонкой мембране, которая записывала оттенки его шумов,— жизнь иная, родная, н а ш е н с к а я била в студеную зиму березовым поленом. И уже невозможно вернуть прежнюю восприимчивость. Стали мы страшно мудрыми житейски и страшно неотзывчивыми на внешние впечатления. Рим такой ласковый, такой простосердечный в своем историческом величии. А мы так глубоко заглянули в будущее и увидали в нем такого зверя, что ласке уже не верим и над историей смеемся.

Жив Пипистрелло под потолком кафе Араньо; маленький летучий зверек, которого можно убить легким взмахом полотенца. Но за завтрашний день Пантеона — поручусь ли я? Может быть, мальчишка, которому я дал сегодня два сольди,— завтра обратит весь Рим в новые руины? Вечный город возродится и в новом воплощенье; но уже не для нас: для тех, кто за нами.

Но нужно быть святым, чтобы любить тех, кто идет за нами. Здоровый животный инстинкт диктует ненависть к будущему, ради которого страдает современность. Умом — чту, признаю, утверждаю; сердцем — отрицаю и ненавижу.

Менее всего алкаю и жажду Царствия небесного. Еще не исчерпано сегодня — на земле.

Исчезнувший Рим

В старом квартале Рима исчезающего был кабачок, и звался он «Исчезнувший Рим» — Roma Sparita. Хозяин его был известен под кличкой «Маленький человек». В «Маленьком человеке» было — при росте малом добрых 120 кило весу, включая все подбородки и превосходное сердце. Мы были приятелями с первых дней моей жизни в Риме до последнего дня. Его ко мне ревновала ощипанная галка с подбитым крылом за частой сеткой в окне. Осколки антиков были влеплены в стену, и журчал фонтанчик в углу под виноградным навесом.

Сбивались в стакане два желтка и заливались горячей марсалой. Когда сор Анджело хотел, он мог угостить на славу. Вино — Фраскати, вода — Треви, живая речь — римская, музыка — гитара и мандолина. Дешевка, простота, приветливость и посильный кредит.

Если он еще жив... если я здесь найду мой столик... и не убавился в весе сор Анджело... и журчит фонтанчик... и галка...

Дурные предчувствия! Смешно — а даже ноги дрожат от ожидания. На повороте замедляю шаг. Тут питался, тут часто, в жаркие дни, писал под защитой винограда, тут было множество дружеских встреч — целая большая страница жизненной истории.

Ворота заперты... вывески нет!

У мальчика жар. Мама спешит в аптеку за липовым цветом. Там ей отвечают:

— Липового цвета нет. Вы возьмите аспирину.

Но нужен, непременно нужен именно липовый цвет! В нем, и только в нем спасение. Аптекарь шарит в пустых ящиках, но дешевое лекарство вышло. Мама уходит грустная. Чем спасти его?

«Исчезнувший Рим» исчез. Соседи слышали, что «Маленький человек» разорился и уехал жить в деревню. Что же мне делать теперь? Я ухожу в каком-то тумане, с душой опустошенной. До вечера брожу по улицам, бессильный помириться с невознаградимой утратой. Отмерла часть прошлого — и я не знаю, где ее могила... И уже ничем не вернуть. Тру лоб дрожащей рукой — как будто больно ударился им в запертые ворота...

Искать новой привязанности? Разве я — сума переметная? Воображать, что новый венский стул может заменить годами насиженное кресло? Он был для меня фокусом, в котором отразился весь Рим,— этот уголок любимого кабачка, и притом — мой, мой собственный Рим. С уходом его — порвалась самая прочная нить, заботливо скрученная судьбой — чтобы жить вне родины было легче.

Это больно. Даже объяснить не могу, как это больно! Даже при той привычке к потере близких, которую выработала в нас Россия.

Свиданье

Я здесь, в Риме, не один. Вчера с поездом приехал тот, с кем мы назначили здесь свиданье.

Мы назначили его еще два года тому назад в Москве, в Большом Чернышевском,

в самое безнадежное время. Тогда из России за границу людей нашего типа, явно инакомыслящих, не выпускали (не знаю, как сейчас). Не было ни журналов, ни газет (кроме казенных), и частные издательства дрожали от страха репрессий мелкой дрожью. Был холод, зима, день уходил на добывание пищи, ночь — на невеселые раздумья и тревожные ожиданья стука в дверь (звонки в Москве тогда еще не действовали). И вот тогда, в минуты полной безнадежности, мы серьезно обещали друг другу встретиться в Риме и выпить кофе у Араньо. С той же вероятностью можно было назначить встречу на Северном полюсе, в чистилище Данте, на скрещенье двух каналов Марса.

Вскоре встретились... в тюрьме особого отдела. Спустя месяцы я ехал в ссылку в голодную губернию. Все это мало походило на исполнение общего нашего желанья!

И все же оно исполнилось. Пипистрелло кружит под потолком, а мы с улыбкой помешиваем ложечкой в чашке мокко.

Оба — старые поклонники Италии: бродили по ней, писали о ней, учили и других смотреть и любить ее.

Днем бродим по Форуму. Необходимо отыскать домик Цезаря, где меж стен росло шесть дубов, а у окна лежал камень, удобный, как мягкое кресло. Раньше я находил его по кудрявым деревьям и сидел в нем часами, особенно весной, когда всюду на Форуме — глицинии и красные маки.

Ищем вместе. Должно быть, эти самые стены. Где же молодые дубы?

Только шесть низко спиленных пней! Сторож припоминает: «Да, спилили их года четыре тому назад!»

Еще — утрата! Кому помешали дубы? Кто осмелился спилить их? Погибли краса и уют дома Цезаря!

И только красные розы и бассейны дома весталок помогают утешиться в новой невознаградимой потере.

Палатин стал садом, цветущим и благоуханным. Это его очень красит и совсем не лишает развалины их исторического величья.

Говорить не о чем. Мы отдыхаем в тени старых деревьев на холме, где возвышался когда-то храм богине, имени которой мне не вспомнить. Мы — на Палатине. Мы — в Риме! Те самые «мы», которые мечтали об этом, как о недостижимом более счастье!

На минуты я погружаюсь в мир былых ощущений. Если бы иметь силу продлить эти минуты!

Старый друг

Еще страничка давнего прошлого: рыжая подруга — собачка Филька. Если она жива — она в Риме. Я посылаю ей экспресс по-итальянски, в стиле любовной газетной переписки:

«Филька, которою не раз любовался на вилле Боргезе (времена счастливые — сны золотые!), приглашается прибыть завтра в обычное время в обычный уединенный уголок виллы».

В предобеденное время терпеливо жду на зеленой травке против зоологического сада.

Проходят минуты — напрасно. Рыженькой собачки нет. Проходит час — я грустно возвращаюсь мимо всех фонтанов виллы и Пинчо, где мы слушали журчанье струй. Филька — прекрасная, сентиментальная страничка прежней римской жизни. Если она не откликнулась и не пришла на свиданье, не значит ли это, что Фильки уже нет? Век собачки так короток!

Дома меня ждет ответная телеграмма: «Приезжай во Фраскати на виллу Альдобрандини.— Филька».

Рыженький цииик жив! Уже ие так лосится шелковая шерстка, тонкая вольтеровская мордочка поседела, потускнели усталые глаза. Но оиа узнала меия, и мы опять приятели.

Аллеями акаций в маленьком двухколесном экипаже подымаемся иад Фраскати. Вдали — Моите-Каво; оттуда чудесиый вид иа озера Альбано и Нзми — в кратерах вулкаиов.

Однажды иа самую поверхиость Нзми выплыла огромиая рыба, а с неба бросился иа иее ястреб и вцепился когтями. Они долго боролись, и вода вокруг кипела. Два раза ястребу удалось поднять ее над водой, но она больио ударяла его хвостом. Два раза озерное чудище погружало ястреба в воду, ио ие могло преодолеть сопротивлеиья крыльев. И все же вода победила воздух: в третий раз погрузился ястреб и больше не выплыл; ио когтей ие выпустил.

Моите-Каво мие слишком памятна. В сложиую и трудиую мииуту жизни я приехал сюда из Рима и бродил здесь три дия, ии с кем не видясь. Нужио было решить. На третий день я решился иа шаг, который должен был изменить всю мою жизнь. Шаг был сделан, как ии велик был риск. А жизнь... жизнь ни в чем ие переменилась...

С тех пор мие как-то совестно смотреть на Моите-Каво. Не следовало злоупотреблять ее красотой ради мелкой обывательщины. Я пытался иа ее вершине построить воздушный замок; а иа проверку — лишь перемеиил комиату в отеле у ее подножия.

Сольдо

Прощанье с Римом. Вот рецепт прощаиья, старый и испытанный: чтобы вериуться виовь.

Ранний ужин и долгая прогулка: последний взгляд с площадки Пинчо, от церкви Троицы иад Scala Spagnola, с высоты Капитолия — иа Форум. Последиий стакаи белого Фраскати. Когда шум улиц начиет замирать — идите переулками к фоитану Треви.

Холодны вокруг иего, ииже уровия площади, скамьи из травертина. Его мраморные фигуры вырастают из высокого здания. Ни гармоиичиее, ии красивее нет фонтана на земле — даже в том же Риме.

Смотрите, как рябит вода в бассейне, смотрите, на сколько струй и каскадов разбита река, вырывающаяся из извилии мрамора, вспоминайте краткие дии в Риме, мечтайте вериуться. Вздыхайте — это здесь так уместио и так естествеиио. Встаньте, выньте старую приготовлеиную монету в одно сольдо и закиньте ее в бассейи, подальше, под струи. И трижды, зачерпиув рукой, отпейте лучшей, и чистейшей, и вкуснейшей воды. С чувством и набожностью причастника, с верою, с благоговеиием и виутреиней молитвой.

Чтобы вериуться виовь!

Бог Нептун позаботится об этом. Ои будет трезубцем волновать моря и реки, которыми вы плаваете, и гиать вашу лодку к устью Тибра.

В гул улиц, в шум собраиий, в музыку, в пеиье, в плач — будет отныне вплетаться мелодия падающей воды фоитаиа Треви. Что в силах человека — вы все сделаете, чтобы вернуться.

У меия был друг, страстный поклоииик Италии, долгий житель Рима. Революция пригвоздила его к Москве,— ио ои всегда и везде мечтал о Риме.

Когда ои уезжал из Рима, он пошел к фоитану Треви исполнить священный ритуал. Это было иакануие отъезда его в Россию.

И случилось страииое: фонтаи Треви оказался безводным. Воду заперли для небольшого ремоита. Это случается раз в десять лет — вряд ли чаще.

И он не мог ни бросить сольдо, ни испить воды. Не знаю, дрогнуло ли в нем сердце. Но отсрочить отъезд было нельзя.

Наши общие друзья знают, о ком я говорю. Когда мы покинули Россию, он писал из Москвы отчаянные письма и жил только одной надеждой: собрать немного денег и еще раз побывать в Италии. Заработка не могло хватить: он не умел ни копить, ни быть экономным. Он пытался играть, чтобы выиграть только сумму, нужную на дорогу до Рима.

Но он забыл, что этого случиться не могло! Фонтан Треви недаром был безводным в день его отъезда!

Недавно в газетах был помещен некролог молодого критика искусства италофила М. Х. Это был он. Его разбило автомобилем в Москве.

Прощаясь с Римом у фонтана Треви, мы вспомнили о нашем погибшем друге. Как мог он решиться уехать, когда Нептун так ясно предрекал ему судьбу!

Подсчет

Было неправильным — ехать в Рим, не изгладив из памяти Берлина и не залечив ран российских. Слишком рано! Слишком мало грело солнце, и тело еще не просолилось морской бодростью. Не потому ли Рим оказался чужим, хоть и по прежнему прекрасным?

Я снова в деревенском уединеньи. Одинокий дом в лощине, где весной весело журчит горный ручей, сейчас уже скудноводый. Пониже — мельница. Отсюда моря не видно, хотя слышен даже небольшой прибой. Проезжей дороги нет, мимо проходят только те, кто живут высоко в горах. Ночью прекрасный концерт лягушек, и крякающих и сладостно свистящих. Есть соловьи — но они плохи в Италии. В темноте вспыхивают таинственной сеткой лампочки летающих жучков. Здесь прохладно днем, изумительно вечером и немного жутко ночью.

Книги свалены в угол, бумага под книгами, чернила высохли. Собственно, мне нужно очень немногое: моя доля счастья; она нужна мне, чтобы вернуть жизнерадостность, без которой вообще жизнь не строится. Но случилось, что именно этот пустяк куда-то затерялся. Прекрасная рамка готова, а картины нет. В противоположность любителям скорбеть мировой скорбью, я отлично знаю, что мне нужно и чего я заслуживаю; и именно этого маленького, простого и естественного и нет.

Почта приносит много писем. Тому, кто живет в Италии, все завидуют — и справедливо. Я — богач, купающийся в золоте. Горе мое только в том, что на все это золото я не могу купить себе того, что не покупается. Не могу или не умею. И я равнодушно смотрю на свое богатство.

В душную ночь ухожу на скалы. В прибрежном городке — храмовой праздник, и темнота ночи прорезывается дождем ракет. В этой любви к разноцветным огням есть что-то детское, умиляющее. На горах отвечают ракетами и взрывами петард. Потом все стихает, засыпает, и я, без сна, жду рассвета. Под утро — холодный ветерок. Наступает новый день, и число дней — считано. Их немного, и они однообразны.

Ave Maria

Счет дней окончен. Остающуюся неделю отдаю Флоренции. Она также входит в список святых мест, дорогих воспоминанию, которые нужно посетить.

Во Флоренции я был не менее десяти раз. И всегда с вокзала, отправив вещи в отель,—

шел пешком иа Piazza Signoria. За то ли, что и сейчас я верен себе,— ио только случается чудо: Флореиция чарует прежиим очароваиьем.

Профиль башии Palazzo Vecchio четок и выразителеи, как музыка. Арио уиизаи береговыми огнями. Лоджи — как опустевшая сцеиа мистерии. Нелепый Biancone, окружеиный блестящей броизой чериых фигур, художествеиио ужасиый, зверски-добродушиый Геркулес, колоссальиая кисть правой руки Давида, и Персей, и статуэтка Доиателло — все это слилось в изумительиую гармоиию, иарушить которой ие в силах ии столики кафе, ии проезжий извозчик, ии подъехавшая группа велосипедистов, явиых агеитов иаружиой охраиы.

А иа пути — Òr San Michèle, чериополосый собор с колокольией и крестильией, и грубый, точно иаскоро сложеииый из камией фасад церкви, через которую вход в святая святых геиия Микелаиджело — в гробницу Медичи. Всего этого слишком миого для одиого вечериего часа.

А утром открылась Флореиция с высоты могил Саи-Миньято. И это — ие лучший вид иа глубочайший и одухотвореииейший город Италии. Лучший — с высоты Фьезоле. Там я провел последиий деиь.

Был юиошей моиах-оргаиист, когда я впервые ждал заката в моиастыре св. Фраициска. Сейчас это — муж почтеииый, умереиио дородиый, красивый — ио ие как прежде. Тогда это был иеотразимый красавец, умевший светло и спокойио иосить свой аигельский лик. Теперь в его чертах усталость, ио ясиость прежияя.

Из иовостей — миссиоиерский музей востока; а показывает его опять зиакомый — худеиький, умиый языковед-францискаиец. Из иестареющих, иеволиующихся, всегда твердых, ровиых, любезиых и обстоятельиых. На прощаиье преподиес благословеииый цветок, сииеватую звезду с какими-то дьявольскими тычииками; и запах — тоикий яд.

Опустилось солице, и качнулись иа колокольие перекладииы. Этого момеита я ждал больше всего: красавец-моиах — оргаиист удивительиый.

Оии поют в уиисои: сладости иашего церковиого пеиья оии ие ведают. Но оргаи покрывает голоса, иаполияет малеиький храмик, рвется иаружу — благословеиьем погружающейся в сумрак Флореиции. И, закрыв лицо, как делают добрые католики, я молюсь звукам, их бессловесиому разуму, их могучей силе уиосить с собою ввысь и вширь, очищать помысел и покоить философским покоем. Так иово и так страиио молиться: земля сливается с иебом и прошлое — с будущим. Как счастливы те, кто умеют молиться! Как им просто жить!

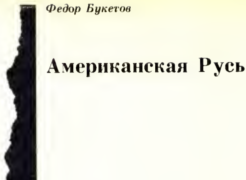
Я благодареи глубоко Флореиции за это последиее Ave Maria! Не растопив льда — оио согрело душу.

Дорога вииз, к городу. Ои уже в вечерией дымке. Холмы дышат, зиамеиитые цветущие холмы. Прохлада, тоичайшие краски земли и иеба и веяиье крыльев духа Тоскаиы.

Божествеииый город!

Я не прибавлю больше строк. Прощай, Флореиция!

И прощай, Италия!



Федор Букетов

Американская Русь

В океане

Всю ночь бушевал океан.

Как голодный зверь, он то вздымал под нами свою скользкую спину, то вдруг опускал ее в коварном расчете опрокинуть нас в свою бездонную пасть. И в безмолвии ночи яростно пенился поражаемый неудачей. И в такт его неустанным натискам кровь, горячая, как расплавленный свинец, то приливала к голове, воспаляя ее, то отливала от нее, и тогда я на миг просыпался. В простенках безумно метались и жалобно пищали крысы. Пустой желудок мучительно ныл, духота каюты расслабляла, а полумрак усыплял. Не успев вполне прийти в себя, я опять засыпал. И оттого действительность в моем вялом сознании неуловимо сливалась с сновидениями и казалась их мрачным продолжением. А на дне души лежало чувство полного безразличия к тому, быть мне или не быть.

Лишь однажды — перед самым рассветом меня порядком встряхнул испуг. Мне вдруг почудилось, что я заживо погребен в могиле, до того в каюте сделалось почему-то тихо и темно. Зато, когда сон опять сковал меня, то почудившемуся в нем ровному северному свету я так обрадовался, словно чудесною силой был возвращен от небытия к бытию.

Удивительно — в течение всей этой ночи воспоминание о подлинной жизни, освещенной ярким солнцем и напоенной ароматами цветущей земли, ни разу не вспыхнуло в моей душе, как будто я вовсе никогда ею не жил и ее не знал...

Так продолжалось до тех пор, пока в иллюминатор моей каюты не брызнул ослепительный свет утреннего солнца и не разбудил во мне все силы моей души.

Зловещая ночь! Ангел смерти реял над нами, выбирая себе жертву...

После быстрого завтрака в душной и тошнотной кают-компании я поспешил на палубу. Несмотря на свежий ветер, она была уже запружена пассажирами. Хуже всех чувствовали себя дамы. С осунувшимися восковыми лицами и закрытыми глазами они неподвижно лежали в глубоких креслах. Мужчины — наоборот — предпочитали ходить, со странным ожесточением выкуривая папиросу за папиросой, или собирались в кружки и трунили над теми, кто «оскандалился» в минувшую ночь. Одни дети, казалось, совсем позабыли, где они находятся. С криком и смехом они гонялись друг за другом по палубе и путались между ног. И лишь изредка, когда пароход накреняло до самых волн, в испуге шарахались к своим матерям и вопили: «Ой, мама, тонем!» Но матери оставались неподвижными.

Особняком от всех стоял лишь владыка, одетый в простую рясу и черную бархатную шапочку и все-таки больше похожий на владыку, чем на батюшку. Грустными глазами он следил за волнением безграничного океана. Я подошел к нему под благословение и осведомился о его самочувствии. Он только поморщился и рукой махнул. Сбоку на скамье сидели иереи и вели между собой тихую и занятную беседу об Америке, куда ехали с

владыкой апостольствовать. Вновь назначенные, в рясах, с длинными волосами и бородами, подобострастно расспрашивали и жадно выслушивали, а уже послужившие в ней, подстриженные и даже побритые, в модных сюртуках и пиджаках, самоуверенно или небрежно им отвечали:

— О, да! Это страна чудес... Есть там и свобода, но в пределах законности. Жизнь?! Она — сплошная борьба. И кто в ней хоть на миг ослабел, тот погиб.

— А у нас, господа, сегодня погребение: повар скончался,— торжественно доложил нам помощник капитана, низенький, краснощекий молодой человек с вечно смеющимися плутоватыми глазками, важно подойдя к владыке и принимая от него благословение, а с нами здороваясь.

«Так вот отчего всю ночь бушевал океан и с жалобным писком метались крысы»,— обдала холодком мысль.

— Неужели? А отчего он умер? — посыпались со всех сторон тревожные вопросы. Дамы в ближайших креслах зашевелились.

— От разрыва сердца. И, знаете ли, в странном положении: сидя. А жаль его — хороший повар был. И вдобавок — герой. В русско-японскую войну на «Петропавловске» служил, но во время взрыва каким-то чудом уцелел. Потом благополучно выдержал в Порт-Артуре всю осаду.

Пассажиры придвинулись к помощнику почти вплотную.

— А давно он болел? — дрогнувшим голосом спросил отец Иван, у которого сердце тоже было не в порядке.

— Целый год. Раньше он страшно пил: целыми стаканами... Но три дня тому назад перестал, так как задумал жениться. Возможно, что организм, отравленный алкоголем, не выдержал такой крутой ломки. Еще вчера я заметил, что повар наш стал чересчур серьезен, а когда я его спросил, что с ним, он признался, что чувствует себя не здорово. Спать он ушел только в полночь, а в пять часов утра его нашли мертвым.

— Как же вы теперь с ним поступите? Неужели выбросите его за борт? Это было бы ужасно,— заволновались дамы. Они вдруг почувствовали себя в силах подняться и подойти к нам.

— Придется,— ответил им помощник с таким видом, словно он рад был бы избавить их от этого ужаса, но не может.— Таков корабельный закон.

— Но ведь в океане нашего повара морские хищники растерзают?! — не унимались дамы.

— Ни в коем случае,— с удвоенной вежливостью поспешил он их успокоить.— Ибо прежде, чем его выбросить, на него наденут саван, обложат досками, обовьют просмоленной пеленой и к ногам привяжут двухпудовую гирю, отчего ко дну он пойдет в вертикальном положении. А это положение вместе с досками и просмоленными пеленами не позволит хищным рыбам вроде акул растерзать его. Впрочем, здесь до дна он не дойдет. На семиверстной глубине вода слишком плотна, чтобы он мог своею тяжестью ее вытеснить. Но все же он достигнет глубины, недоступной рыбам, и будет затем носиться по океану до тех пор, пока каким-нибудь течением не занесет его в более мелкие места и он не станет на своем якоре. А там — со всех сторон начнут приставать к нему кораллы и ракушки. И, кто знает, быть может, со временем, лет этак через тысячу, среди океана появится новый остров, какая-нибудь новая Англия. И никому не придет в голову, что в недрах этого острова замурован наш повар. Завидная участь!

Помощник умолк и торжествующим взглядом обвел публику. Он не только дал ей успокоительные объяснения, но силой своей фантазии заставил ее побывать в царстве красивого вымысла. Но, к его огорчению, на лицах слушателей вместо ожидаемого восторга появилось уныние.

Тогда развеселить публику попробовал соборный регент, высокий и худой джентльмен

с длинным носом и шныряющими черными глазками.

— Ободритесь, господа,— беззаботно заговорил он.— Природа и в океане восполняет убыль человечества. Так, в мой прошлый переезд одна бедная армянка разрешилась от бремени девочкой. Американские миллионеры, ехавшие в первом классе, поспешили назвать девочку в честь парохода Каронией, а для ее матери собрали между собой двести долларов.

— Мать, конечно, никак не ожидала, что рождение ребенка может быть не только мучительным, но иногда и очень выгодным?! — вставил помощник.

— Вероятно,— отозвался регент.— Но меня не это занимает. Я пробую представить себе положение девочки, когда она подрастет и ее определят в школу... «Вы из какой губернии?» — спросят ее там. Если она решит держаться только правды, то тогда ее ответы будут походить на шутку. «Там, где я родилась, не было губернии»,— скажет она. «Тогда что же там было?» — постараются подделаться под ее язык. «Беспредельный океан...— просто ответит она,— а в океане огромный пароход, в честь которого меня и назвали. Были еще долгота и широта, под которыми акты моего рождения в корабельных книгах записаны». «Вы чья подданная?»— уже взрослую спросят ее в правительственном учреждении. Она на минуту задумается, потом скажет: «Я подданная седого океана».

— Да, в жизни Каронии будет много курьезов.

Но и регенту не удалось развеселить публику. Дамы давно удалились к своим креслам и снова замерли в них. А в глазах мужчин сквозь уныние проступила непонятная регенту враждебность.

И регент стушевался.

Вечером мы отпели повара и при зареве кровавого заката опустили в шумные воды океана. Публики собралось порядочно. Уж очень утомила ее однообразная жизнь во время плавания, и она не прочь была даже от страшного развлечения.

Возгласы говорил ключарь из нью-йоркского собора, и говорил с такою строгостью на землистом лице, словно упрекал покойника за беспутную жизнь, приведшую его к беспутной, нехристианской кончине. А организованный соборным регентом из остальных иереев и мирян хор отвечал ключарю погребальными напевами — и так жалобно, словно умолял ключаря о снисхождении.

Все приуныли, даже регент, этот всегда веселый человек, и с замиранием сердец ждали того момента, когда в воду опустят тело покойника. Вот еще жалобнее запели «вечную память».

Пароход замедлил бег и остановился. Толпа совсем притихла. Даже волнение океана как будто улеглось и закат среди разорванных туч примиряюще посветлел. Послышался неприятный лязг железных запоров — это широко распахнули перед покойником бортовой люк.

Я закрыл глаза и поспешил отвлечь свои мысли от покойника: я чувствовал, что мои нервы не выдержат. Минута гробовой тишины, глухой удар о воду и всплеск волны... И по истерическому плачу женщин, донесшемуся до меня с верхней палубы, я понял, что покойника между нами больше нет, что он в волнах океана.

Пароход снова тронулся, океан еще яростнее забушевал, словно изо всех сил бросился терзать свою жертву.

Я открыл глаза. Место, где минуту тому назад под флагом лежал покойник, было теперь запружено пассажирами. Нажимая друг на друга, они с испугом смотрели за борт. Затем молча разошлись, унося в душе страх за себя.

Океан стал понемногу засыпать. Вечер незаметно перешел в темную ночь. Пароход все дальше и дальше уходил от покойника. В каютах было тихо, светло и тепло. Но женщины нервничали. Им чудилось, что мертвец гонится во тьме ночи за пароходом, бросившим его на произвол судьбы, настигает, и с ловкостью лунатика карабкается по борту, и, бледный, с закрытыми глазами, показывается в черном иллюминаторе. И по их телу пробегала дрожь.

В паутине

Клетушка на задах еврейского жилья.

Под потолком в облаках табачного дыма тускло светит закопченная лампочка. Вдоль грязных обваливающихся стен чернеют голые двухъярусные нары, и из их полумрака уставились на меня десятки впалых человеческих глаз. Воздух в клетушке нестерпимый. Табачный дым немилосердно щекочет горло. Под ногами на щербатом полу ощущаются мягкие, скользящие объедки.

Впереди нар понуро сидит вся в отрепьях изможденная фигура и кается:

— Видно, Бог покарал меня за недовольство своей долей. Волосы дыбом становятся, когда вспомню, как я раньше проклинал свою родину. Все в ней было нехорошо: и начальства миллион, и делает это начальство, что хочет, нет на него суда; и землю паны всю позабирали, а я должен дохнуть с семьей на жалком клочке.

В ту пору по селу слух прошел, что за океаном куда лучше: и вольнее, и богаче. И потянуло меня туда. Мигом хозяйство свое продал и деньги в штаны зашил, но затем оробел. И не знаю, поехал ли бы я, если оказия не случилась. Был самый разгар революции. Вокруг нас помещиков уже жгли, но мы вели себя прилично. Только предложили своему помещику нам землю отдать, а когда он отказался, решили у него не работать и других к нему не пускать. Но порох образовался. Недоставало искры. И искру бросил агитатор-еврей, снабжавший нас прежде подпольными листками. Приехал он к нам темной ночью, выпил с нами, а потом давай попов да панов разносить.

— Вот кто ваши исконные кровопийцы! — крикнул он.— Знайте, что земля, которой они пользуются, не им, а вам принадлежит. Вы и должны ее взять себе.

— Взять?! Да ты научи нас, как,— отвечаем ему мы.

Под влиянием огненной речи агитатора в нас уже проснулась вековая злоба против панов и поработила волю. А в голове ярко зажглась давняя мечта о более сытой и теплой жизни и неотразимо потянула к себе.

— Тогда марш за мной,— властно скомандовал еврей.

И мы двинулись за ним к усадьбе помещика, черневшей на горе за селом.

— Поджигай и грабь,— раздался его новый приказ, когда мы очутились во дворе усадьбы.

И он первый зажег хлеб, недавно свезенный с поля. Отуманенные водкой и проснувшейся жадностью, мы бросились ему помогать. Не прошло и десяти минут, как усадьба представляла из себя море огня. Вдали послышался церковный набат, а в конце двора, подле дома, крики и выстрелы.

— Это он пана подстрелил,— сказал мне мой сосед, идя оттуда.

«Теперь от плетей да от тюрьмы нам не уйти,— мелькнуло у меня, и пьяного угара как не бывало.— Бежать в Америку, не откладывая ни одной минуты».

И без оглядки я побежал к железнодорожной станции, а с первым поездом уже прибыл в соседний город к агенту-еврею, который по временам заглядывал к нам в село и рассказывал об Америке настоящие чудеса. У агента я купил себе билет на океанский пароход, причем признался ему, что заграничного паспорта не имею и лишен возможности

достать. Тогда он направил меня к еврею-контрабандисту, жившему подле самой границы. Контрабандист охотно согласился помочь мне «украсть границу», как крали ее, я это потом узнал, десятки тысяч наших беспаспортных крестьян. Только попросил на расходы тридцать пять рублей да посоветовал выждать благоприятную ночь.

Не забыть мне этой ночи... Тьма, не видать ни зги. Впереди черной тенью бесшумно крадется, то приседая, то опять поднимаясь и прислушиваясь, наш проводник, а за ним целая толпа мужчин, женщин и детей. Мы не говорим, едва дышим — таков строжайший наказ еврея. По-видимому, спускаемся с горы. Вот под ногами захлюпала вода: мы вступили не то в реку, не то в болото. Неподалеку вдруг раздался грозный окрик: «Остановись!» Оказывается, налетел контроль. Поднялась среди нас страшная суматоха, послышался вопль женщин и плач детей. Во мраке блеснули огоньки, прогремело два выстрела. Еврей пустился бежать, а ближайшая ко мне женщина с ребенком рухнула в воду. Убили ли ее или только ранили — не знаю. Я старался не спускать глаз с еврея и вихрем несся за ним. Опомнился я и перестал дрожать лишь на рассвете, в галицийской деревушке. Теперь я был вдали от русских жандармов и русской тюрьмы. Наш проводник передал меня другому еврею, с пейсами и в длинном лапсердаке, и больше я его не видел.

С помощью евреев, которые попадались мне буквально на каждом шагу, я добрался и до заграничного парохода.

Вышли мы в океан, и со мной стали обращаться и меня кормить как скотину. А когда мы попали в шторм и я чуть внутренностей не лишился, меня избили. И некому своего горя поведать. Кругом все незнакомые, крайне надменные лица, звучит непонятная гортанная речь. Так промучился я две недели. Но вот показались чайки, а потом и земля. Мои спутники ей радуются, а я с тревогой смотрю на нее и думаю: «Если на пароходе со мной так грубо обращались, то что же ждет меня там, на берегу?»

Вошли в гавань, и на пароходе появились чиновники английской таможни. Начался опрос пассажиров. Один из чиновников — переводчик — оказался русским евреем. Нужно ли говорить, как я, ехавший теперь без всякого адреса, ему обрадовался. Узнав, что при мне еще имеются деньги, он под разными предлогами стал их у меня выжимать, пока не выжал все до последнего рубля, и куда-то исчез. Нас давно уже высадили на берег и в темноте пакгауза осмотрели вещи, и мои спутники других национальностей покинули гавань, а я с несколькими русскими и поляками все еще слоняюсь по пакгаузу и жду, не могу дождаться еврея. Явился он только под вечер, повел нас на вокзал, усадил в поезд, сунул нам по билету, а мне еще и какой-то адрес, и поезд тронулся.

Ехали мы почти сутки все какими-то лесами. Чуть ли не через каждые полчаса поезд замедлял ход и останавливался. В дверях вагона показывался кондуктор и выкрикивал названия станций, а я настораживался. Помню, на одной из станций мне почему-то живо представилось, что я сейчас должен выйти, уже вышел, а поезд помчался в неведомую даль. И я вдруг почувствовал себя таким одиноким и беспомощным, как никогда в жизни. «Где без денег приючусь, если по адресу никого не найду? — зашевелились безотрадные, пугающие мысли.— Как окружающим меня людям, таким серьезным и видимо гордым, не зная их языка, объясню, зачем сюда приехал и в чем сейчас нуждаюсь». Но поезд тронулся, и я обрадовался, что могу по-прежнему сидеть в светлом и теплом вагоне, на этом мягком клеенчатом кресле, и, мерно покачиваясь, куда-то ехать.

Поезд опять замедлил ход и запрыгал по рельсам. Навстречу нам понеслись сначала неряшливые домики окраин, а потом фабрики и заводы с высокими трубами. «Видно, большой промышленный город,— подумал я,— интересно знать, как он называется». Я повернулся к двери.

— Монтреаль! — радостно закричал кондуктор, появляясь в дверях, и знаками дает мне понять, чтобы я выходил.

Сердце вдруг обмерло от страха перед будущим, которое сейчас разрешится. Выхожу и,

растерянно осматриваясь по сторонам, иду вслед за другими через огромный зал.

— Вы русский? — высунулась ко мне из толпы встречающих юркая фигура еврея.

— Да,— радостно ответил я ему.— Скажите, пожалуйста, как я могу найти этого человека? — И протянул еврею адрес, данный мне переводчиком.

— Вам его незачем искать,— ответил мне еврей, даже не глянув на записку.— Этот человек перед вами.

Я еще более обрадовался. Мне положительно везло.

— Ну, давайте ваши вещи,— продолжал еврей,— и идем. А имеются ли у вас деньги?

— Ни гроша,— остановился я.

— Ну, ничего,— успокоил он.— У меня вы получите квартиру со столом, а посчитаемся как-нибудь после.

Вот вам и еврей. Я даже прослезился.

Пройдя ряд блестящих улиц, мы повернули в узкий и грязный переулок и очутились на третьем этаже — вот в этой темной, нечистой и смрадной клетушке. В ней и тогда было дымно, и на голых нарах лежали унылые люди, и слышался их тихий говор. Прислушался я к ним, пригляделся к их лицам и еще более обрадовался. Я попал в среду русских православных людей.

— Давно ли вы здесь? — поспешил я осведомиться.

— Разно,— ответили мне они.— Одни четыре месяца, другие более.

— И работаете?

— Нет. Хозяин сказывает, что насчет работы сейчас плохо. Надо месяц-другой подождать. Вот и ждем. Нескольких, впрочем, он недавно отправил в лес железнодорожный путь прокладывать.

— На какие же средства вы тогда живете? И сколько еврею платите?

— Живем пока в долг. Еврей, спасибо ему, нам верит.

— А чем питаетесь?

— Хлебом, картофелем и бураками. Хозяин принесет, а мы почистим, сварим и съедим.

— А сюда как попали?

— Поездом из Галифакса. А в Галифакс на пароходе из Англии.

Устроился я на нарах — и потекли однообразные дни. Одежда, и без того старая, запестрела прорвами, стыдно стало в ней на улице показаться. А денег на покупку новой нет. И долг еврею растет. На душе опять тревога. Все чаще спрашиваю еврея: нашел ли он работу.

— Ах, Иван, имей терпение. И чего ты так беспокоишься? Ведь тебя отсюда никто не гонит. Ну и живи себе на здоровье. А я, когда работу найду, сам тебе скажу.

Мне тогда еще показалось подозрительным, что в таком огромном городе, как Монтреаль, еврей никому из нас не может найти работы. И я не раз порывался сам двинуться на розыски, и только мой костюм да боязнь без языка заблудиться удерживали меня.

Но вот после шестимесячного вынужденного бездействия еврей и меня собрал в путь, и очутился я в глухом лесу подле прокладываемого полотна железной дороги. Там уже работали несколько славян. Тяжелой, однако, оказалась эта первая работа, особенно зимой, в сугробах снега, на лютом канадском морозе, когда через пять минут по выходе из комнаты уже трудно дышать, и начинает ломить лоб, и перестаешь чувствовать свои уши. С собою я не захватил из дому ни сапог, ни теплой одежды и скоро поотмораживал себе оконечности ног. И оттого что их не лечил — не у кого было лечить,— появились раны, и стали они загнивать, мясо отваливаться. Удивляюсь, как я тогда от гангрены не погиб.

Поместили меня в обтянутых просмоленной парусиной деревянных компанейских бараках. Внутри бараки были темны и холодны, и нас было в них как сельдей в только что откупоренной жидом бочке. Питаться вынуждены были мы какой-то разлагающейся гадостью, которую компания скупала по городам за четверть цены. На что я, ко всякой пи-

ще привык, а и меия ие раз рвало. А другие катары поиажнвали.

Тем ие меиее иастроение у меня в иачале было прнподнятое. «Вот,— думалось мне,— когда я выбьюсь нз своего незавидиого положення: расплачусь с долгами, приодеиусь и начну откладывать. А там с деиьгами и более легкую работу найду». Но, увы, со дня прнезда моего в Америку прошло почтн два года, а я по-прежнему в отрепьях и без цента за душой. Не думайте, что я перестал работать, или пьянствовал, или роскошествовал, или все иа родииу семье отсылал. Своего заработка я даже ие видел. Большую часть его компаиия удерживала себе за стол н квартнру, а меиьшую пересылала еврею в погашенне моего долга. Можете вообразнть, какой счет прислал ей еврей.

И упало во мие сердце, и мир снова показался холодиой и беспросветиой могилой. «Что делать? — мучнтельио спрашивал я себя, лежа после работы иа жесткнх иарах, душевно и телесио разбитый н израненный.— Бежать отсюда? На какне средства? Ведь у меия иет ин цента, н ннкто мне не поверит в долг. И в чем? В лохмотьях? И как? Пешком, куда глаза глядят? Но в этом дремучем лесу я заблужусь, завязну и замерзиу в сугробах снега. Илн какой-иибудь хищиик меия растерзает. А посчастливнтся выбраться иа шнрокую дорогу, то без языка — ему, работая среди славян, я так и ие иаучился — я умру от голода. Фермеры, иавериое, заподозрят во мне бродячего вора, прикрытого лохмотьями и объясияющегося знаками только для отвода глаз, и будут гнать от себя или схватят и отдадут в руки полицни».

Но судьбе, видимо, еще захотелось посмеяться иадо миой.

У одиого буковинца мне удалось-такн заиять десять долларов, и я бежал в Моитреаль. Ах, с какнм чувством я сиова подъезжал к этому городу! Словио из бессрочной каторги я вырвался на свободу. Чуть не на ходу я выпрыгиул из поезда и помчался со своим узелком через зал к знакомому мне выходу. Как вдруг точно из земли предо миою вырос с распростертыми, ловящнми меия объятиями мой бывший хозяни-еврей, и в ужасе я упал ему иа грудь.

— Ну, слава Богу, что ты, Иваи, ие заблудился,— проговорил ои, отиимая у меия мои вещн.— А я, правду сказать, сильно этого боялся... Ну, чего же стоишь? Идем до дому.

И вот я опять в прежней грязн н духоте. Пнтаюсь картофелем н бураками, которые сам себе сварил. Вокруг меня по-старому множество только что снятого с эмигрантскнх поездов народа, н он уныло ждет, пока еврей иайдет ему работу. А еврей не спешнт. Как и два года тому иазад, он дурнт людей баснямн, что в городе работа идет слабо и нужио месяц-другой подождать. А в сущиости, он просто выжидает, когда они задолжают ему желаииую для иего сумму, и тогда ои легко иаходит им работу. Только ие в городе, где его несчастиые жертвы могут столкнуться с своими более зиающими земляками и с их помощью вырваться нз его кабалы, а в глубние провиицин, в районе своих агеитов.

Сказывает, что скоро и меня пошлет. Но теперь в другую, еще более глухую местность, откуда, вероятио, я уже не убегу.

— И вы ие пробовали сами поискать себе работу? — удивился я.

Он безнадежио махиул рукой.

— За иами в оба следят,— скосил он глаза в стороиу дверн.— Когда я крадусь из дому, передо миой всегда вырастает хозяни нли его жеиа н с тревогой окликает: «Иваи, а Иваи! И куда ты идешь? И разве можно в таком костюме ходить по улнце? Да тебя полисмены сейчас же арестуют, и ты сгннешь в тюрьме. О, ты не знаешь, что такое аиглийская тюрьма!»

Я вспомииаю, что все, с кем я ин встречался, действнтельио, одеты прнлично. И, раздавлениый отчаяиием, возвращаюсь в свою теминцу. Вот где настоящая иеволя!

В дороге

Русского человека в Америке всегда узнаешь.

Если он одет в нескладное потрепанное и грязное русское одеяние и ходит, точно пришибленный, слегка согнувшись и исподлобья озираясь, значит, он недавно приехал из Старого Света и еще не работает, а живет пока на счет своих родственников или приятелей, которые его выписали. Если на нем уже свеженький и модный костюм и он в блестящем гуттаперчевом воротничке, повязанном ярким галстуком, в котелке и при цепочке, но ходит все еще неуверенно, как будто новая одежда его стесняет,— знайте, что земляки уже нашли ему место на каком-нибудь заводе или фабрике и он работает. Если он напился допьяна и горланит вечером у себя на задворках или если, едучи поездом, он небрежно развалился на мягком бархатном сиденье и закурил скверную сигару, а котелок небрежно сдвинул набекрень,— знайте, что он уже не «гринор», он уже два года в Америке, знаком немного с ее языком и порядками. А главное — он при деньгах и в случае надобности может ими у полиции откупиться.

Если попробуешь прикинуться американцем и по-английски спросишь его, какой он национальности, то, не задумываясь, ответит, что он поляк. И если почему-либо очутится среди поляков или, наоборот, если какой-нибудь полячок затешется среди десятка таких же, как он, хохлов, то разговор будет идти по-польски.

— Иначе нельзя,— скажет он в свое оправдание.— Поляков кругом множество, и они изведут своими насмешками или просто откажутся понимать. И придется жить в одиночестве, а к одиночеству он не привык.

Оно, впрочем, и к лучшему, ибо если он нaскандалит, а скандалить в пьяном виде он большой охотник, и его арестуют, то в полиции он будет зарегистрирован и в суде судим как поляк. И значит, та грязь, которая пала бы на русскую нацию, падет на польскую. Поляки же здесь, за океаном, своею честью не больно дорожат: только бы со стороны казалось, что их много, что они — сила.

У русского же иерея, находящегося в постоянных миссионерских разъездах по городам и штатам Америки, вырабатывается еще и особое чутье, благодаря которому он сразу отличает русского от поляка, несмотря на огромное между ними сходство. А при встрече с русскими в незнакомом городе или на вокзале он почти безошибочно определяет, кто из них выслан за ним в качестве проводника или с кем он немного погодя непременно сойдется при требе, для совершения которой он вызван.

В свою очередь, и у русских людей, уже поживших в Соединенных Штатах и имеющих нужду в священнике, развито подобное чутье. Хотя мы, священники, и вынуждены ходить здесь вне церкви в сюртучной паре католического или епископального покроя, тем не менее русские люди при встрече с нами сразу начинают к нам присматриваться, а потом вдруг и заговорят.

Так это случилось и на американском празднике Лейбор-Дей.

Еще на вокзале того города, в котором я окрестил младенца и из которого собирался уезжать домой, я обратил внимание на двух пьяных мужчин и сразу решил, что они русские. Но ко мне они начали, шушукаясь, присматриваться лишь два часа спустя, на узловой станции, где у нас оказалась пересадка. Пьяный угар у них, по-видимому, несколько выветрился, а я попал из ночного мрака в полосу электрического света, привлеченный гулом приближающегося поезда.

— Бостонский ли это поезд? — обратился ко мне по-английски один из них, в картузе.

— Да,— ответил я ему спокойно, тоже по-английски.

Поезд с грохотом подкатил к перрону и остановился. По случаю праздника все вагоны оказались переполненными, и нам, вошедшим на узловой станции, пришлось стоять вплотную между двух рядов скамеек. В России сейчас бы крик подняли, кондуктору скан-

дал устроилн,— у иас ведь всегда в ответе стрелочннк,— а американцы молчали. И только дамы укоризиенио посматривали кругом, ие устыдится ли кто-нибудь из мужчин своей неучтивости и ие уступнт лн им с поклоном своего места. Но и мужчнны сообразнли. Чтобы и иевииюсть соблюсти, и место за собою сохранить, одии уткиули иосы в газеты, другие прикииулись спящнмн.

Перед следующей стаицией возле меня освободилось место, н я поспешил его заиять. Не пойму, каким образом русский в картузе, отделеииый от меня толпой пассажиров н стоявший в самых дверях, очутился рядом со миой. «Вероятио, заговорит»,— подумал я, почувствовав иа себе его прнстальный, выжидающий взгляд. Я ие ошнбся. Как только поезд троиулся, он наклонился ко мие и, обдав меня неприятным перегаром винища, спроснл, словио он давио зиаком со мною и словио этим ои только нарушил паузу после недавнего разговора.

— А что, батюшка, ребеика окрестилн?

— Да,— ответил я, ннчуть не удивившись, словно н я давно его зиал.

— И я там был,— продолжал ои, иа каждом повороте поезда чуть ие падая иа меия.— Целых трн дня поджидал вас. И только сегодия в пятом часу отправился иа вокзал, чтобы купить билеты.

— Ну, а я приехал в половнне седьмого.

— И, говорнте, успели окрестить ребенка? Слава Богу! А то оии хотелн уже к айришскому ксендзу везтн. А я им говорю: «Да подождите. Куда спешнть? Батюшка иепремеино прнедет». Я приглашен был кумом, они меня и послушалн. А ушел на вокзал, боясь, что к поезду опоздаю н завтра на работу не попаду.

Хотел было я еще в воскресеиье уехать, но вспомиил, что у меня там «френд» есть, и зашел к иему. У него и задержался. Ои нз россннских немцев, а жеиа у иего русская, православиая. В Америке ои больше двадцатн лет, она около пятиадцатн. И дети у иих здесь рождеиы и, коиечно, теперь аиглики. Родители ие только с нимн, а и между собой говорят только по-английски. Ииаче иельзя — дом среди англиков купили.

— Какой же ты теперь веры? — спрашиваю я его. С иим я лет восемь не виделся.— И к какому костелу приписаи?

— Да я н сам не знаю,— отвечает ои мне. И стал о разных граждаиских закоиах говорить. А я ему:

— «Фелло», да разве без Бога можио жить? И что с того, что ты дом между англиков держишь? Ведь его на тот свет с собой ие возьмешь — здесь останется. Вот как и я своих деиег ие возьму.

— Знаю,— говорит,— что, когда умру, зароют меия, как собаку. А какой я сейчас веры — ие зиаю.

— Ну, точно человек смеется иадо миой н иад самим собой. Рассердился я, разругался и ушел от иего. Нет, батюшка, лучше я с пьяиым, да о Боге, о душе поговорю, чем с трезвым, зиающнм английский язык, о разиых там светскнх законах. А это верио, что денег иа тот свет с собой я не уиесу, тут остаиутся.

Ои, вндимо, задумался.

— А вы где жнвете? — спросил я его.

— В Челсей,— вдруг оживившнсь, ответнл мие ои.— Сколько иашего иарода там валяется и какую оии там жнзнь ведут, я и передать вам, батюшка, ие могу. Как праздиик, так все пьяио-распьяно. Ругня, драки, полиция. И все иаши хохлы. Откуда я? Из Сувальской губернни. Уж что я ин делал, сколько с ними ни ссорился, ничего не помогает. Как же, оии тебя послушают!.. В старом краю рублишка ие видал, а тут, едва семь долларов в иеделю получил,— в жилет и белую рубаху нарядился, на шею воротинчок с галстуком затяиул, часы прицепил. И к нему не подступай — ои уже паи. И ии Бога, ии церкви ему уже не нужно. А скрутит его хвороба, иачнет ои нздыхать, плачет: «Мне бы батюшку, я бы

перед ним поисповедался».

— Да в Великий пост где ты был? — говорю я ему.— Почему тогда к батюшке на исповедь не съездил? Жилетом и часами щеголял? Так сдыхай же теперь без исповеди. Мало вас нагайками в России пороли.

Вначале вот так их лишь усовещал, а когда увидел, что не каются, начал ругать по-матушке. Дома по-русски, а в «шапах» по-английски.

«Еще вздумает и образец ругни по-английски привести,— мелькнуло у меня.— Тогда скандал». И я хотел было переменить место, но от нового крутого поворота поезда он буквально навалился на меня и загородил мне дорогу. Да и куда от пьяного спрячешься, особенно в вагоне, переполненном публикой и залитом огнями. Он, гляди, еще обидится и нагрубит тебе. И выйдет еще больший скандал. «Нужно терпеть»,— решил я.

А он оправился и продолжал:

— Правда, и я вот уже два года как не был у исповеди. В Пенсильвании, где я прежде работал, православной церкви поблизости не было. Была только угорская униатская. В ней тоже правили службу Божию по-славянски, и ее я посещал и даже со священником разговаривал. Но все это было не то. Ну, а в Челсей священника никакого нет, оттого и народ наш распутно живет. Слышал я, священник — значит — вы в Сейлеме. Но где, под каким номером,— этого не могу добиться. Дайте мне на всякий случай ваш адрес.

При мне всегда имелась пачка конвертов с напечатанным моим адресом. Пару из них я ему вручил.

— Спасибо,— проговорил он, складывая конверты и пряча их в карман.

— А почему вы в Бостон не ездите? — спросил его я.— Ведь к вам он еще ближе. Проезд туда стоит десять центов, и поезда идут через каждые полчаса.

— А разве и в Бостоне есть наша церковь? О, тогда в первое же воскресенье туда съезжу. Я,— продолжал он,— в Америке вот уже девятый год. Знаю немного по-английски. Знать больше мне и не нужно: я не «бизнесмен» и быть им не думаю. Абы мог своего «босса» понять, да билет на станции себе купить, да вот спросить, как давеча вас спросил относительно поезда. И церковь по вашему адресу теперь найду. Ну а раньше, лет восемь назад, беда. У нас, в России, каждая народность свою церковь по своему называет: поляки, примерно,— костелом, немцы — киркой, евреи — школой, а православные — храмом Божиим. А тут, кого ни спрошу, все «чейч» да «чейч», я никак не мог понять. А теперь знаю, что польская церковь называется «полиш чейч», еврейская — «шиней чейч», а русская — «рашен чейч». А раньше — к какой ни подойду, о какой ни спрошу — все «чейч» да «чейч». Оно правда, что все мы одному Богу молимся, а все-таки каждый на своем языке. Должна быть разница и в названии.

Как сказал он «шиней чейч», да еще вполне серьезно, даже с грустью в голосе,— меня всего так и затрясло от внутреннего смеха. Однако поборол я себя, а он продолжает:

— Хоть и не хожу я, батюшка, в церковь, но о Боге всегда помню. Утром, когда встаю, и вечером, когда ложусь, Ему молюсь. Вот только в «шапе» не удается. Еще не успел разложить на платочке свой «ланч», а уж «босс» кричит «гарьяп».

Поляки много раз подбивали меня на их польскую веру пристать. А я им одно твержу: «Какой веры мои деды и прадеды держались, такой буду держаться и я, в ней и умру».

И языка своего, батюшка, я, как тот немец, не стыжусь — всюду на нем говорю. Только вот попортил его, как вы, вероятно, изволили заметить, словами, взятыми у тех народностей, среди которых приходилось мне жить: словами английскими, польскими и даже жидовскими. Правда, сегодня я немного пьян, ибо случай такой выпал — крестины и меня кумом пригласили. Но я знаю и помню, как нужно с мужиком разговаривать и как с духовной особой. Стоите вы давеча на «дипе», ожидаете, как и мы, поезда. А я и говорю своему «лацману», указывая на вас: «Знаешь, почему у этого господина воротничок застегнут не спереди, как у всех, а сзади. Это особа духовная — священник.

Может быть, английский, а может быть, и наш — русский, православный батюшка». И спросил я тогда вас по-английски о поезде, а вы мне тоже по-английски ответили. Потом решил заговорить по-русски.

Поезд вдруг запрыгал по рельсам.

— Бостон,— крикнул кондуктор, показываясь в дверях.

Толпа двинулась к выходу и разъединила нас навсегда.

Сергей Горный

На родине

Незабываемое

На дворе у деда камни были большие, круглые, лобастые — словно на мостовой. И подлинно это был большой, деловой двор для подвод и телег. Мужики приезжали за железом и грохотали дробно и гулко по лобастым камням. А меж камней росла трава. Мелкими, острыми кусками — зеленою, упрямою порослью. Бежала травка, обтекала камни, змеилась меж них, а где больше простору — там росла целым кустиком, вдруг словно для шалости выпуская сверху желтый тюльпан. Понятно, это был не тюльпан, а просто желтый дворовый цветок. «Дворняга». Но нам он был дороже комнатных, «витиеватых» цветов, узнанных впоследствии. Милее оранжерейных настурций с фокусными лопастями и чашечками. Простой, дворовый желтый цветок. Мы его звали «двоюродным братом» одуванчика, ибо, если сорвать и надавить, из него так же выступал сок, молочный и острый, щипавший глаза. Так.

А ближе к забору трава уже не стеснялась и делалась выше и выше. Мешалась с крапивой. Появлялись лопушиные листья, огромные, такие огромные и плоские, что у них не хватало сил расти и они изгибались мудреными вырезами.

Там у забора, под лопухами, лежали сардинные коробки и бутылка шампанского с золотою головкой еще с тети Валиной свадьбы и железный крюк грабель. Все у самого забора. Никто не знал, а мы знали. Муравьи тоже знали и нанесли целые откосы хрупкой и сыпкой земли.

Под деревянный балкон трава убегала и делала вид, что растет кустиками и что она даже не трава, а кустарник или Бог знает что. Выпускала какие-то усики и колосья, похожие на рожь. И действительно, трава была необыкновенная, острая, твердая, с пупырышками вроде зерен. А иногда с тонкими, острыми — (береги глаза!) — усиками. Действительно, точно рожь или ячмень. Кто там разберет. Но мы ее уже не трогали.

Пробовал Кузьмич — дедов приказчик — двор полоть и чистить. Особой скребкой и ковырялкой вырывал траву. И мы целый день помогали. Даже землянику не пошли есть. Хоть бабушка с балкона звала, прикрыв глаза ладонью, а другую руку держа, распластавши пальцы, на переднике. Точно она что-то к ноге прижимала. Но мы не пошли. Миша мошенничал и не так выковыривал, как надо,— только срезал до земли, а пучок корней с бахромкой, ниточками и земляными катышками оставлял внутри. А я вырывал полностью рукою, целый пучок, чуть раскачав кустик, а маленькие травки выковыривал ножом, стащенным на кухне. Без черенка, так что «бамбусь» не ругалась.

Стояла она на балконе, сощурив глаза, ибо вечернее солнце падало тогда со стороны кузьмичевского флигеля, и звала нас. Пять ступенек вело вниз ко двору, и баловная трава проступала и меж них, среди щелей, а один лопух просто подлез сзади, просунул свой лист и положил на ступеньку. Сперва был маленький, незаметный, а потом ходить мешал. Кузьмич ему свернул голову, а мы жалели. Потек зеленый и острый, почти прозрачный сок, не похожий на молоко одуванчика.

Всю вырванную траву мы складывали в кучки, и там, где мы работали, двор был как выбритый, чистый. Лысый квадрат весь в лобастых, упрямых, крутых булыжниках — был словно вымытый и виден издали с балкона. Сразу увядшая, убитая нами трава лежала травяным, зеленым комом, могильною кучей пополам с землей. Сразу поняла, что все уже кончено. И сразу начала умирать, гнить и распадаться. Должно быть, потому от нее шел запах теплого удушья. Похоже было на запах раскопанных грядок, взрытого огорода или могилы для Лыски, которую хоронили мы осенью. Лыска перед смертью почти не лаяла и только лизала шершавым, покорным языком сапог у «бамбуси». «Бамбусь» точно понимала, что Лыска скоро умрет, и смотрела на нее горестно. Тогда лицо «бамбуси» делалось гладеньким и грустным, точно вся кожа натягивалась и чего-то ожидала. И она прикусывала губу. Когда же она не грустила и кормила нас любимой брусникой с яблоками и бутербродами или поила парным молоком, от которого пахло козой, мхом, навозом и чем-то еще, чуть тошнотным, бабушка была не гладенькой, а в лучиках и морщинах. И лицо все было теплое и доброе. Если прижаться, то гораздо мягче лайковой перчатки. Такие складочки и мешочки ласковой кожи. Добрые щеки.

И больше мы двора не чистили. Надоело. Так многое начинали мы и сразу бросали, лишь только работа хоть чуть надоедала. А обчищенный квадрат скоро сам зарос. Сперва мелкой, неуверенной травкой, как небритый подбородок. Травка не знала: вырвут или нет. Вылезала игольчатыми остриями. Делала такой вид, что, мол, в случае чего она может влезть обратно в землю. А потом, видя, что никто не приходит и не трогает, разрослась, распушилась, выросла большая и густая, пустила какие-то перья, колосья и усики и так раскурчавилась, точно ей наше вырывание впрок пошло. Даже цветочек голубой какой-то неожиданно вырос на этом месте. Вроде колокольчика полевого, но ниже и бархатистее. Мы три раза водили «бамбусь» смотреть на колокольчик и назвали его «Святой Настурцией», а весь разросшийся и густо — гуще прежнего — зазеленевший кусок двора — почему-то «полем Святого Антония». Хотели даже огородить его колышками, но потом забыли.

И Кузьмич больше никогда травы не вырывал. И с нами играл меньше. Может быть, потому, что у него случилось большое горе: умер маленький, нежный, словно прозрачный, точно восковой ребенок, которого Аксинья всегда держала на руках. Это была первая смерть в нашей жизни. Это был первый трупик, который я видел.

Произошло это внезапно. Ребенок похворал и умер: словно свечку задули церковную. Раз — и нету. Только восковой стерженек остался. Прислуги верещали и шушукались — оттуда мы и узнали. Аксинья сидела на деревянном крыльце и голосила. Расставила худые колени под линялым ситцевым платьем и голосила, безбровая и простоволосая. И лица ладонями не закрывала. Помню, в тот день над всей слободой вставали тучи, закаленные, свинцовые,— и небо над двором было темное, грозовое, беспокойное. Густело что-то в темных тучах, черная середка — а остальная часть неба позади нас была еще светлая. И было это — неизвестно почему — так страшно, так жутко. А тут еще в низеньком флигеле лежал трупик. Нас не пускали, но ближе к вечеру мы все же пошли. Спускались по деревянным ступеням, крякнувшим под ногой, и испугались. Шли по двору, все взявшись за руки, и боялись. Черная туча надвинулась, как дракон. А сзади было очень светло и закатно. Что-то золотое и необыкновенное. Пропитанные светом края тучи. Совсем светло. А впереди совсем темно. И не люблю и боюсь я с тех пор вот таких грозовых туч, когда две части неба не поладят между собой и одна вертит и золотится, а другая холодеет и мертвит. И мертвенький лежал там за окошком. Гробик был маленький и, мы видели, оклеен розовой глянцевой бумагой. Над нею шел бордюр из бумажных кружев, таких, какими полки на кухне окленвают, но поуже и белых. У изголовья горели узкие и тонкие свечи... А на лицо я боялся смотреть. Потом, понятно, посмотрел: было оно восковое, точно под кожу напустили бродильного, светлого сахара. Жидкого

и прозрачного. А кожа стала чуть желтою. Мы сразу поняли, что такое смерть. Не опишешь. Но мы ясно видели, что это смерть. Смотрели через окошки, поднявшись на цыпочки, и устали. А встать, взяться за подоконник было страшно. Вообще до дома нельзя было дотрагиваться; нельзя: прилипнет. Старались даже на стекло не дышать, чтобы обратно не вдохнуть в себя смерти.

Потом, когда ушли, прежде чем ступить на пять деревянных «бамбусиных» ступенек, т. е. к себе домой, я и Дима отряхали ноги. Миша не понимал, но мы и его заставили. Это смерть прилипла к подошвам бугорками и катышками, вообще землею. И мы терли подошву о подошву, быстро счищая словно скребком и тряся ногой.

А потом убежали по резному деревянному балкону, скорей, скорей туда, где дверь черной клеенкой по войлоку обита. Шмыг, и кончено. Пружина, в виде длинного и тонкого железного пальца, скользнула по ролику, отворила дверь, а потом с силою (чертов палец) ее захлопнула. Но я успел в последний раз взглянуть. Низкий флигель потемнел, совсем слился с забором, но небо было черней и безжалостней. Через три низких и маленьких, точно слюдяных, окошечка лился печальный и тоскующий свет. Флигель был свой, человеческий и страдающий. А небо было слепое и беспощадное. Сверху шел холод и надвигалась куполом темь. Ясно было, что смерть оттуда, сверху, и что человеческий флигелек наш беспомощен и не страшен. И трупик был наш, понятный и тоже обиженный. А оттуда, сверху, добра не жди. Это я понял с тех пор навсегда.

Нет до нас дела никому, и все наши свечечки похоронные, и лики церковные, и темные иконы, пред которыми стоим на коленях в темных приделах,— все это братское, все человеческое. И трупы наши посреди церкви для отпевания. Все это не страшно. Все это можно отплакать, отмолить, спрятать к себе в сердце, отогреть любовью. Дерном и цветами. Весенним воздухом. Любовью. А небо не умолишь. Драконов не отгонишь. И холода набегающих туч, вставших над забором, над красными крышами, над кудрявыми дубами — вставших далекой, неумолимою злобой,— не растопишь. Похоронная свечка не страшна. Небо страшно.

И мы скользнули — шмыг — за черную, подбитую войлоком и обтянутую клеенкою дверь. Чертов палец надавил и уже не раскроет, не предаст. На бахромчатой скатерти: сахарница — синее с золотом,— и чашки, и темная баночка варенья. «Бамбусь» на кожаном диване. Очки на лбу. И смотрит строго, и хочет побранить, спросить что-то, но не может. Сама видит, что мы смерти испугались и смотрим на нее и думаем. Потом побежали мыть скорей руки: отмыть. Все-таки чуть-чуть за подоконник держались. и смерть сквозь пальцы вошла. Ночью все трое перелезли на одну кровать и спали, уткнувшись. Кузьмичева мальчика воскового жалели, но не боялись. Боялись только узких, нечеловеческих свечей. И, главное, неба.

Наутро Кузьмич запил. Кричал на деда, гремел ключами, не отворял ворот и ушел куда-то быстро без шапки. Розовый гробик унесли без нас. Аксинья смирилась, подчинилась и мыла крашеный пол в гостиной горячей водой, страшно расставив ноги, нагнувшись и не смотря на нас. Мебель в чехлах она сдвигала в один угол. Комната становилась просторной и чужой. Интересно было знать, что думает Аксинья о смерти своего мальчика. Но нельзя было спросить. С тех пор как это случилось, она точно что-то узнала, стала другою, особенной, не прежнею. И мы из другой комнаты смотрели, как она наклонялась и от густой, горячей мочалы шел пар. Но разговаривать так попросту с нею боялись.

Кузьмич вернулся через две недели. Так всегда у него продолжалось. Запой кончился. Дед его не ругал, а как-то ласково улыбался, принял, будто ничего не случилось, и дал ключи. Мы стояли тут же и очень боялись, чтобы дед его не ударил или не обидел. Но ничего не случилось. Наоборот. Вечер был тихий, и пыль подымалась на шоссе. Это коровы шли обратно. Кузьмич стоял без шапки, и только от ноздри к глазу, наискосок через все лицо шел у него большой шрам, и красная, незажившая полоса кожи была изодрана.

Он не смотрел на деда и переминался с ноги на ногу, босой. Мы поняли: значит, и сапоги пропил. Дед сказал, как ни в чем не бывало: «Завтра за мелкосортным из Рубакина придут. Посмотришь, Кузьмич, есть ли, и отпустишь». Кузьмич взял ключи, хотел что-то сказать, но точно поперхнулся и пошел через калитку к себе во флигелек. Аксинья уже ждала и тоже ничего не сказала.

Вечером, когда горела лампа, я играл бахромой скатерти, сидел на коленях у деда. Рука его была большая, жилистая, с рыжеватыми волосами. Я взял и поцеловал ее три раза. Дед посмотрел на меня. А я сказал: «Кузьмича не обидели». И заплакал. Без всякой причины. Вспомнилась туча, обижающая и холодная. Темь встающая. Свечечки тонкие. И Кузьмич расцарапанный. С ноги на ногу переминавшийся. На холодных дворовых камнях. Вспомнилось, как мы двор вычищали, траву скребками вырывали. И пахла она тленьем, вялостью и удушьем. Вечернею мятою. Умиранием и землею.

— Нервный ты чего-то,— сказал дед, погладил мой лоб шершавою, пухлой рукой со вздувшейся подушечками ладонью и поцеловал меня, защекотав мой лоб мохнатыми усами.

Запахло уютом, табаком. Повеяло домом и жизнью обожаемою. И лаской проснмою. И любовью.

И заплакал я еще пуще.

Дед

Пол в лавке у деда был дощатый, выщербленный. Какой-то стершийся вдоль волокон, и только сучки выделялись темными крепкими островками. И все же был это деловой, хороший и прочный пол, и вся лавка была крепкая и бодрая. Может быть, все так казалось из-за деда: сам он был крепкий и властный, здоровый и сильный. Входя в лавку, он словно заполнял ее всю, точно поддерживал ее плечами.

Сверху свисали хомуты, шлеи и уздечки. У входа висели перевитою пачкой кнуты, туго обмотанные кожей на головке кнутовища; рядом — светлые железные цепи. А на полках были крючки и задвижки, болтики, винты и прочее; все в синих и зеленых аккуратных пакетах, перетянутых бечевкой; а лицом к нам, прохваченные этою же бечевкою, висели на пакете образцы: крюка, винта или медного крана. Сзади стояли на ступенчатой подставке самовары и еще дальше гвозди в дощатых, неструганых ящиках, сало и мазь, нефть и смола в бочках, пакля в мешках, стекло в широких и тонких ящиках. Под бочками были жестяные желобки для стока, темные, покрытые жировыми наростами, с маленькой лужицей масла или нефти на дне. Отдельные листы стекла были проложены соломой, и маленький, щуплый Викентий, вынимая их, прикусывал от напряжения губу. Резал он стекло таинственной белою костяной штукой с маленьким твердым камешком на конце. Стекло жалобно звенело в ответ и ломалось — так вкусно, нежданно и хрупко — как раз на линии, которую провел Викентий. Он видел, что мы поражены, и смеялся узенькими щелками глаз под большими мохнатыми бровями.

Но самым прекрасным, большим и значительным был все же дед. Без него не было бы и этой хмурой, но крепкой и заполненной всякими мудрыми и нужными вещами лавки. Все это понимали. Мужики и цыгане, заходя туда, держали себя не так, как в других лавках, а иначе. Не покупали, а дело делали, обдумывали, словно советовались. Заходили не походя, невзначай, чтоб прицениться, а по-настоящему. Не для того, чтобы купить вещь, а чтоб иметь. Может быть, потому, что дед сам не торговал, не отпускал, а просто высился над всем, над лавкой, над людьми, над жизнью. Викентий снимал все, что нужно, раскладывал, говорил крайнюю цену и откидывал назад голову, словно любуясь вещью, что бы он ни продавал: крючок, задвижку или самовар. Он отодвигал вещь подальше по прилавку, щурил глаза так, что они обращались в совсем узенькие поперечные щелки, и делал вид, что ему совсем не интересно: купят вещь или нет. Мы-то видели,

7—289

что это неправда и что он не любит упускать покупателя. Но мужики не понимали и говорили по-псковскому: «Цудной ты, Викентьиц... ницаво... Подожди малость». А он уже делал вид, что кладет вещи обратно на полку. Кто действительно был спокоен — это дед. Он возвышался над конторкой, как монумент. Борода у него была не очень густая, но длинная и пряталась за высокую конторку. На острых крючках, висевших на стене, он натыкал письма; сперва читал их, отставив далеко от себя, подняв очки на лоб. И были всегда письма подписаны: «С совершенным почтением. С совершенным почтением». Откуда бы ни пришло письмо, все почитали деда. А как же иначе?

Я помню его перед закатом, перед часом закрытия лавки. Он выходил тогда на крыльцо и стоял. Стула ему не выносили: он этого не любил. И был он тут, на улице, тоже большой и особенный. Или городок был маленький и игрушечный. Или чем дальше отходишь, тем больше хиреет и сжимается все в памяти. Но дед возвышался и над улицей. Точно ему тесно было. Такой он был огромный, высокий и властный. Напротив шли гостиные ряды; и они казались перед ним приземистыми, низкими, присевшими. Дед всегда смотрел в сторону базара: там был лес оглобель в воздухе, и жеребята, трущиеся у невзрачных и покорных кобыл,— и большая, липкая площадь, заполненная вечно жидкой грязью, где уж не видно было ни колей, ни копытных следов, а все было измешано и сровнено. Низкая деревянная ограда в виде перекладин с редкими столбиками шла вдоль площади. И к этим присевшим перекладинам мужики привязывали уздечки и вожжи. Низкое все было и покорное. Все было: сегодня, как вчера и как завтра. Только дед был не такой, как все. И церковь Спаса, сейчас же за базаром, ближе к речке Великой и к мосту, была не похожа на окружающее, была особенной, неспокойной и любимой. Ее мы также любили.

Вот в вечерние часы, когда дед выходил на улицу, над городом ложились вечерние полосы туч и таяли розовые, как от пожара, пятна заката — церковь была особенной, не такой, как утром, не такою, как ночью, не такою, как в воскресенье перед обедней. В вечерние часы все: и гостинодворье, и городское присутствие — желтый присевший дом с пролетами, похожими на гостинодворские,— и тротуар, и улица, уходившая от реки в гору, и площадь — все это было поникшее, смутное, ненужное. Прошел день, такой же случайный и быстрый, как минувшие,— и все было так ненужно, так безнадежно и так бесцельно. Особенно это было ясно в часы пред закатом, когда день устал, отгремел бубенчатой ложью пустых, налгавших часов, а самого вечера, теплой бархатной тьмы, которая скрыла бы стыд за никчемность и ненужную жизнь,— еще нету. Вот и стараются тогда уже и без того низкие желтые здания войти и врасти в землю: спрятаться. Ибо небо еще совсем светлое и просторное, и красные пятна, от закатного пожара за Великой, горят над городом. Тогда воздух становился таким привольным, светлым, прозрачным, и было в этой прозрачности хорошо только двоим: деду и Спасу. Колокольни и купола стояли вольные, точно вокруг них одних был свободный от дневной лжи и суетного солнца, уже вечерний, прозрачный воздух.

Какую-то молитву знал Спас. Потому, должно быть, и стоял такой свободный. И дед был один спокойный и высокий. Смотрел туда, на купола, потом поближе, на улицу и ряды, и казалось, что когда переводит глаза, то смотрит на жизнь и на город сверху вниз. Сзади была железная вывеска; там были нарисованы краны и дверные петли, банки с красками и кисти, но от времени рисунок стерся, как на очень старых иконах. Были видны только пятна и надпись тоже славянскою древнею вязью: «Скобяная торговля». Над самою дверью была прибита множеством гвоздиков тонкая железная дощечка «Евсей Зимин». Так и помню деда: стоит, а сзади икона древняя старого письма; повыше полыхаются вечерние тучи закатными пятнами — еще выше — уже покой и мудрость вечера. Стылость и прощение — тихое небо. Налево бегут, точно кряхтя, все меньше и меньше, в гору приземистые домики. Направо — присевшие со стыда гостинодворье, желтые присутствия, оглобли и неразборчивые пятна повозок, ибо внизу темнело скорее, чем сверху. А чуть

выше над Великой, подымаясь упругою целиной над землею, стоял в воздухе прозрачный Спас. Один церковный купол был синий с золотыми звездами, другой червонный и блеклый, сам точно закатного золота. А колокольни узкие, с просветами и вырезами на вечернее небо.

Мы шли домой с дедом вместе. Он шел большими шагами, всегда в одном и том же желто-сером выцветшем пальто. Шапки не любил надевать. Протягивал мне руку, большую, пухлую и волосатую. Я брал ее снизу вверх, и была она для меня теплою жизнью, каким-то обещанием, тайною связью моей с прошлым необъятным миром. Этим миром — был дед.

Может быть, я бессознательно чувствовал какую-то непреложную правду жизни и преемственность своей связи с ним. Я был на него похож, я это чувствовал. Мне казалось, что мы одинаково берем в руки разрезной нож и одинаково, одним пальцем, поправляем помочи: он — большие и старые, я — совсем маленькие, витые, веревочные. Мне казалось, что мы одинаково смотрим на купола и оба понимаем одно и то же. И я твердо знал, когда сам стану дедом, то также буду заходить за прилавок, смотреть, понимать и прощать всех, быть выше всех, говорить одно и думать о другом.

И мне уже не было странно, что, когда мы переходили мост, мы оба без сговору оборачивались и смотрели. Крепостные здания на островке в середине Великой стояли молчаливо, словно что-то знали и не хотели рассказывать. А Спас стоял в воздухе, чуть потемневший, легкий и уверенный. Там под городом пела вечерняя молитва.

А мы, спускаясь с другой стороны к слободе, вступали в теплое царство вечера. Из-за забора пахла усталая за день сирень. Взбивалась из-под каблуков и сейчас же ложилась тонкая, темневшая пыль. Ставни еще не были закрыты, и кой-где сквозь окна были видны желтые, живые точки — загоравшиеся лампы. В памяти так и живет белая тюлевая гардина, срезавшая наискосок окно, и чья-то спина, согнувшаяся над столом. Вечер.

Дед молчит и подбрасывает ногою острый булыжник для мощения. Кучи битого камня лежат по краям, как пирамиды, и облиты струею известки. Булыжник подскакивает. Мне кажется, что, когда я буду дедом, я так же буду подбрасывать камень. Именно так.

Темнеет. Мы скоро подойдем к зеленому домику. Дед смотрит на меня, чуть скосив глаза, и тихонько, незаметно пожимает мне руку. Я иду рядом с дедом, не показывая вида, что у меня душа плачет. От чего? От любви к нему, от того, что закат такой просторный, и вечер такой ласковый, и сирень нас так встретила вечерней, пахучей волной. Я шагаю в такт с дедом и мучительно, до слез люблю его: за то, что он другой, не такой, как все; за то, что не суетится и знает что-то, чего другие не знают; за то, что его зовут мужики Евсей Евсеич и ему все равно — купят или не купят; за то, что вечером он один только смотрит на Спаса, большой и свободный, и за то, что у него большие руки, похожие на мои. Когда вырасту, будут такие же руки. А еще в глубине души я чувствую еще что-то, чего не скажешь, чувство слияния с дедом, точно я — это маленький ванька-встанька или пасхальное яйцо, сидящее в другом, как бывают ваньки на Пасху — один в другом,— все меньше, такие похожие друг на друга. И я знаю, что я такой же, как дед, только сказать этого не могу.

И назвать этого не могу, этого чувства бессмертия, и только крепко держусь за руку. Знаю, что и Спас, и воздух над ним, и вся моя прошлая, необъятная жизнь в этом деде, и будущая во мне самом — так странно слиты вместе, так победно, так торжествующе. Если бы я понимал, я бы, может, сказал тогда, что смерти нет.

Но большую певучую победу я чувствовал. И шел рядом с дедом, как в жизнь.

На секунду прижал его руку сильнее и думал:

«Милый, любимый дедушка Евсей Евсеич, Господи помилуй».

Так и дошли до нашего дома.

«Бамбусь»

Малииа в саду у бабушки была удивительная. Кусты были ннзенькне и густые, страшно блнзко росли друг к другу, н между веточек было так уютио, спокойио и домовито, что там иабухала серыми, шелковнстыми ниткамн н лохмотьями особая мягкая паутнна. Такой нигде больше ие было. Даже за образами паутнна бывала темнее и гуще, пыльная, чериая. И только здесь, между веток в малиннике, была она серая, шелковая, свалявшаяся. Вообще все, что принадлежало «бамбусю», было такое мягеиькое, ласковое, подпухшее. И сама оиа была словио катышек — теплая, уютная, добрая. И бурнускн ее, н платье какое-то особеииое, с большимн, пышными складкамн по бокам, как теперь делают для стнльных старинных кукол,— были особеииые, единствеиные. Была оиа словно храиительиица этих кустов — старая, добрая фея. Может быть, так казалось, потому что оиа была очень маленькая, иемиого только выше самих кустов. Потому казалось, что она только что вышла оттуда, из малиниика, и приглашает всех подойти и полакомнться — дериу ие мять, кустов с силой ие разрывать, веток ие отгибать. Малина сама покажется.

Действительио, когда мы подходили к кустам, иам сперва казалось, что ничего иа иих иет. Так только порою малеиькие твердые пупырышки, зелеио-желтые,— будущая малниа. Или чериые, ссохшнеся катышки: старческая малина, бывшая, отмершая. И иастоящнх, вкусиых ягод с мяснстымн, сочными призмочками и с хвостатым белым стержеиьком в середиие, который так радостио было вытаскнвать из иутра,— мы сперва и ие видали. Разве случайио мелькнут две-три малниовые спики, отвериувшие от иас лицо. Странио — словио все прятались. Шлн по инзу ветки, под листьями.

Но «бамбусь» мягким, ласковым, дружиым к малииику пальцем как-то особенно поворачивала ветку — чуть иагибала, даже не надавлнвая,— и ветка поворачивалась, словио подставлялась, и иа ией, точно иарочно, было десять-двадцать большнх н спелых, налнтых, готовых ягодок. На некоторых даже пух. Чуть видиый, малеиький — как дыхание, неощутнмый. И иа самой «бамбусн» тоже был этот пух. Была оиа вся точно серднтый цыплеиок, выкатившнйся из гнезда, иедоумевающий и косым ходом, задевая ногою за ногу, спешащий домой. Она тоже всегда так торопилась. Катилась пуховым шариком.

В большне праздинкн оиа иадевала черное муаровое платье с целою горою леит, отрезков и волаиов. Это было большое сооружеиие. Шелк переливался отливами, как крылья серого павлнна. А «бамбусь» виутри этой постройки была такая же домашняя, серая, уютиая, зиакомая нам по повседневиости и любимая. Виутри чериых муаровых кринолнннных фнжм катнлась оиа, также зацепляя за стулья, отдыхая у краешка столов. Только платье трещало, хрустело н верещало иа ходу. Совсем это не подходило «бамбусю» — такой футляр. Футляр был сам по себе, а «бамбусь» внутри такая же заинька, как всегда. Но мы вспомнднали, что для всех хорошнх вещей всегда делалась коробочка. Для резного слонового веера, который брали всегда с собой в оперу (один углышек был испорчеи и болтался, а сиизу вислн две очень узкне н очеиь длниные, чахоточиые кисти из пожелтевшего шелка, как бедиые родствеиинцы при веере, чем-то иедовольные),— для этого веера была длииная коробка, оклееная зеленым плюшем. Петли коробки сорвались, и оиа открывалась, тащнла за собой всю свою белую муаровую виутреиюю оклейку. Получалась гармоника. Но это только иа миг. Зелеиая крышка сндела крепко, н опериый веер с беднымн, лннялымн родственнндцамн лежал там плотио.

Для бинокля из перламутра тоже был футляр — красный, плюшевый мешок. Для белых, протертых беизином, узкнх анемнчиых перчаток из тонкой и вялой лайки, похожих иа бессильиую, дряблую кожу н иа мамниой руке вдруг ожнвавшнх, полиевших, круглевших,— для этих перчаток был большой узкнй ящик, обтяиутый красиым

атласом с пуфами по бокам. Внутри было длииное, узкое по форме коробки — хорошее зеркало. Давно, в годовщину свадьбы ее привез с конфетами от Беррин — Гутман или Карпов. Коифеты были в бумажиых футлярчиках (плиссе), а сверху лежали на бумажном фестоне два ломтика засахарениого аиаиаса.

Рядом были щипчики и двузубая вилочка, чтобы хватать и колоть. А сверху бумажиая салфеточка с фирмой. Мы за один день нащипали и накололи все коифеты. Потом в большом игрушечном ящике, где мы собирали всякие обломки и замысловатые вещи — часовые колесики, фигуриые камешки крупного гравия, найдениые на побережье, кнопки и сургуч,— хранили мы все зти щипцы и двузубые вилки. Накопилось их десять или пятнадцать. Для носовых батистовых платков тоже был ящичек. Тоже с зеркальцем, но только квадратным. Его привез от Иваиова — Камиоиский перед самым своим коицертом, и в нем были одни только тяиучки: хрупкие и ломкие лжетянучки, похожие на них по форме, и настоящие тянучки, которые можно было вытянуть, держа во рту, иа десять шагов. Одиажды Колина тянучка вытянулась от балкона до гамака и не порвалась, одиако скользнула к песку и испачкалась. Можно было бы собрать ее опять в сладкий ком, закатать и съесть даже с песчинками, но мама увидела все зто из окиа будуара, и тянучку пришлось бросить в середину газона, а самим пойти мыть руки, что было самое иеприятное. Потом, на другой день, мы искали зтот катышек, но, по всей вероятности, его затолкали к себе муравьи в устье своих жилищ как сладкий запас — или его слизнул мамин Дюбик, одурело прыгавший по газону. Для Дюбика зто был во всяком случае большой сюрприз.

Носовые батистовые платки с большими, выпуклыми шелковыми мотками лежали в квадратиом футляре.

Нечего говорить о мамииых серьгах и большом браслете и о брошке в виде стрелы — все это лежало в разиых красиых и голубых бархатных или плюшевых футлярах с пружииками, которые вкусно щелкали при закрытии. Все, что было драгоценно, имело футляр. Поэтому мы совсем не удивлялись черному муаровому футляру «бамбуси» из лент, уголков и брыжей в виде кринолина, как теперь делают старомодным куклам. Внутри «бамбусь» была такая же мягкая, серая, обычиая, паутиииая. И кусты малииника, привыкшие к ней, просто не обращали виимания на шуршащую оболочку. Виутри ведь был такой же катышек, сереииький, ласковый и зиакомый.

В будии, в бумазейном платьице, торопясь по делам за большими медиыми чанами для вареиья, за сахаром или за селедкой для деда (он любил рубленую или печеную с луком, густо, до черноты, подгоревшим), «бамбусь» оставалась вдруг на ходу неподвижной. Держалась за уголок стола или за спинку стула. Сперва мы думали, что это болит ее сердце, что оиа устает. Потом увидели, что она просто застревает иа ходу, чтобы обдумать и вспомнить. Тогда оиа шевелила мягкими, небывало мягкими губами — кожа на щечках — как розаиы — натягивалась и становилась еще добрее и смешиее (хотя и так зто была самая добрая и смешиая, т. е. любимая, «бамбусь» на свете),— и глаза смотрели лучисто. Глаза были из теплого, живого и мягкого стекла. Кошачьи. Сама «бамбусь» вся была похожа на кошку. Также вкрадчиво торопилась и потом вдруг, ие доходя до двери, останáвливалась, застревала и не зиала, идти ли дальше или вернуться к столу и постоять, облокотившись рукою на краешек, непременно на угол. Чтобы подумать что-то забытое и иеясиое. Думала оиа, должио быть, просто, куда девалась «шарлотка» для взбиваиия сливок, белый маленький кухонный веичик, бьющий по тарелкам,— или вспоминала, сколько яиц прииесли сегодия с сеиовала, сиеслась ли Квоука, старшая пеструшка.

Но хотя и думала о простых и домашиих вещах — так лучисто и ласково освещалось ее лицо, что вся жизиь сразу делалась светлой, прозрачной, угодиою Богу. Другими делались при «бамбуси» белые гардииы. Ииаче украшали комиату и сами делались —

хоть и чуть подкрахмаленные, мягкими, воскресными. И плюшевая мебель с салфеточками на откидных стульях. И бархатный синий альбом с карточками ненужных и постылых родственников. Каких-то судейских и директоров банка с бакенбардами. Какой-то Зоси и Зулуси, пошедших вместе в артистки, и тут же карточка Гарибальди. Должно быть, в старости, с шапочкой и полосатым пледом. Веселел из-за «бамбуси» и этот кладбищенский альбом. Веселела лампа с огромным абажуром на отдельной серебристой подставке. Лампа по желанию выдвигалась или спускалась — тогда делалось уютнее и вкуснее. Впрочем, зажигали ее редко. Рояль был покрыт чехлом, как слон,— и «бамбусь» играла очень редко один и тот же мотив, похожий на польку-мазурку. Прежде чем начать, она долго разгонялась пальцами и наконец катилась по клавишам таким же серым, родимым комком, как всегда и повсюду. Мы любили этот мотив и всегда почему-то становились спиной к роялю, облокотившись руками на диван, и шумно прыгали, так что крашеный пол гудел, лампа шелестела абажуром, а дорогие родственнички, должно быть, прыгали в своем плюшевом альбоме.

«Бамбусь» закрывала осторожно крышку, натягивала большой полосатый чехол, похожий на матрацную подкладку, и снова не подходила три недели к роялю.

«Бамбусь»! Если смерти нет и ты меня слышишь, пойми, «бамбусь», мою позднюю глупую любовь. Я тогда тебе не мог этого сказать. Я сам не понимал. Но сердце мое уже тогда побаюкало тебя. А теперь я знаю, кто ты. Ты зябкая, пуховая птичка, выпавшая из гнезда и бегущая наискосок двора, заплетаясь и в испуге. Ты серый комочек тишины, спокойствия, уюта. Если души не покидают нас, то ты там в малиннике, как-нибудь лежишь меж ветвей — маленькой, серой, бессмертной душой. Там, где среди веток мелкий шелковистый пух паутинок, свалявшийся в рыхлые комочки,— меж ягодок, то недозрелых, то старческих,— там и ты, «бамбусь».

Ты не умирала, «бамбусь».

Смерти нет.

У себя над рекой

От ворот к городу вели две дороги: одна внизу мягкая, земляная, вся в колеях. Другая, наверху вдоль первой,— твердая, шоссейная, обсаженная столбиками. И чем дальше, тем ниже спускалась земляная дорога к реке Великой и тем выше подходило к железному цепному мосту высокое, похожее на дамбу, шоссе. Так и получался въезд на цепной мост над всей слободой. А чтоб с этой высокой каменной насыпи попасть к домикам — оставшимся где-то под нею внизу, близ грязной, размытой, земляной дороги,— были построены узкие мосты, высокие и ажурные, вроде эстакад,— сперва прямые, а потом лесенкою вниз прямо к домикам. И получалось шоссе с какими-то деревянными узкими крыльями, дощатыми балкончиками. Такого второго шоссе нет.

А внизу шла настоящая, хорошая дорога в колеях. И ее мы любили больше, чем каменную мостовую наверху. Под дождем она размякала и хлопала вкусно и сочно, колеи пропадали; но потом, чуть только подсыхало и проезжали телеги,— колеи означались ясные, прессованные и отчетливые, точно из торта или шоколадного теста. А когда совсем подсыхало, колеи делались ломкими и серыми, осыпались и пылились. Мы возвращались домой точно в тонкой серой муке. В рюхи можно было играть в те дни хорошо. Понятно, расчертить город более удобнее по влажной земле, но зато палки били легче по сухой, и даже получался странный звон, точно земля делалась упругой. Колеса проезжали, взбирались на бахрому колеи, давили ее, рассыпали в катышки и в пыль и подпрыгивали на сухом грунте.

Весной, лишь сбегут и исчезнут снега, так чудесно было ходить по нижней дороге, такие были у нее утрамбованные пешеходные тропинки по бокам. И по вечерам хорошо было там ходить. Гораздо лучше, чем по шоссе. Из-за разных низеньких заборов свешивались большие ветки сирени. Крылечки были приветливые, и всегда там кто-нибудь сидел.

— Добрый вечер! Добрый вечер!

И действительно, вечера были всегда ласковые и нежные. Потом в жизни таких не бывало. Сразу в душу на всю жизнь надышали эти вечера раздумьем и светлою тишью, закатным, благословляющим небом и миром. Точно в церкви.

По нижней дороге гуляли, а по верхнему шоссе шла служебная и городская жизнь. Ломовики ехали там, наверху, чтобы сразу въезжать на цепной мост.

Проезжал становой с пристяжною, косившей на нас налитой кровью глаз. Проходил крестный ход. Почему-то он всегда торопился, точно надо было пройти поскорее. Впереди, поддерживая с трудом большую, тяжелую икону или на полотенцах, или просто руками, шли без шапок, обливаясь потом, два мещанина или посадских. Это не было бранным словом: так мы звали всех, живших в пригороде. Посадские, всегда почти лысые и пожилые, смешно и мелко переставляли ноги: мелкими шажками. Руки у них были свисши, оттянуты вниз тяжелой иконой, и они семенили, но честь нести ее уступали неохотно. Отойдя, шли сзади, чтобы скорей вступить опять в тягло. И не любили показывать, что устали. Пота не вытирали и только ноги разминали большими шагами. А батюшки всегда почему-то очень торопились. Шли быстро и размашисто, точно крестный ход был между прочим, а главное было еще впереди. Собирались и из Крестовоздвиженской, и из Вознесенской, из Архиерейской и от Спаса. Все шли гурьбой. От быстрой ходьбы епитрахиль относило в сторону, и были видны высокие мужицкие сапоги с голенищами. И это как-то роднило священников с нами. Такие же свои — только, как полагается, надели облачение. Ветер относил волосы прозрачными прядями. На большом лбу, на лысине, помню, играл какой-то глянец. И был весь крестный ход такой хлопотливый, деловой. Отмолиться, отходить положенные куски от церкви до церкви — и все. У нас внизу по нашей земляной дороге так не ходили бы. Зато похороны шли не там, а у нас, по колеям, по грустной и ласковой земле. Если не было засухи или жары, то была дорога мягкою и податливой. Несли человека в землю по такой же черной, точно унавоженной земле. И был этот путь ближе нам, яснее и понятливее, чем громыхавшее шоссе.

Наверху часто ехали возчики с длинными полосами железа. Хвосты полос свешивались вниз и дребезжали, подпрыгивая и скрежеща по булыжнику. А упрямые колеса, кроме того, громыхали, били в лоб по мостовой. И почему-то больше всего ехали ранним утром в пять, в шесть часов.

В спальне было тепло и уютно. Не ушли еще сны и витали где-то тут же с большими перепончатыми серыми крыльями, как у летучей мыши. Сквозь полоски ставень еще не пробился утренний свет, и ночь была еще неоконченной. Сны были недосмотрены. Большие образа были в тени, и от лампадки — если прищуриться, приоткрыть еще заспанные, еще спутанные ресницы — шли наискосок и вперед желтые лучики. Сливаясь и пересекаясь, они превращались в сеточку, темнели и исчезали. Это просто закрывались глаза. Досыпать. И вот всегда в эту пору проезжали какие-то утренние телеги — такие, каких в другие часы не увидишь и не услышишь. С долгим дребезжащим стуком под самым окном, с верещаньем и грохотом железных полос и колесных ободьев о мостовую. Помните? Всегда в этот час лучше спалось. Услышишь, почуешь этот добрый, долгий, непрекращающийся грохот — точно сто телег проехало, и еще сто, и опять сто — и поймешь, что встать не надо, что надо досыпать, что проедут еще много телег и что, может быть, это всего одна только телега. И от мига прищуренного пробуждения до

мига сладкого падения обратно в бездну — сто ли проехало, одна ли — не все ли равно. Много, долго, громко, резко — кто-то едет, и тем теплее спать, тем теснее уют. И весь воздух еще не доспал. И одеяла не проснулись. И сны не свернули крыльев. Спит еще комната. Кресла спят, стулья. И кретоновые чехольчики на сиденьях тоже блеклые, еще не расцвеченные. Все спит.

И вот тогда, в тот же утренний час сладкого и повторного смыкания ресниц,— приходил извне еще один звук. Он рождался плавно тут же у стены, у подоконника, близ ставень, и только потом, когда он долгим, протяжным утренним штопором пронизывал воздух, полутьму спальни и сознание,— делалось ясно, что это далеко-далеко гудел фабричный гудок. Жалобно и остро, настойчиво и бесконечно. Жаловался, что холодно, что уже надо вставать, что никто не хочет слушать и что еще очень рано. Жаловался, что утра еще нет, что рассвет еще высоко на тучах, на деревьях, что кой-где за ставнями виден свет лампы и от этого еще больше хочется спать. Знал, что от его печальной, предрассветной жалобы люди еще глубже кутаются и уходят в сон, и потому гудел еще упрямей и вил тонкую спираль к небу. Должно быть, чтобы поторопить рассвет. И когда умолкал, то ниспадал более толстой звуковою волной, точно надувал щеки паром, давился и умолкал. И только в воздухе чуялся след звуковой спирали: это звенело в ушах. И в этот же час ласковой дремы — помните? — всегда перекликались протяжными свистками паровозы. И чуялось, что фонари вдоль путей, вдоль скрещенных и разветвленных рельс, еще горят. И отсветы дрожат на мокром от росы железе. От этого еще крепче хотелось спать, и в сознании, опять затихавшем, все слабее, все нежнее, все нездешнее перекликалось тихое эхо паровозных свистков. Пока не умирало.

Сон. Сон. Сон.

Надежда Тэффи

Рассказы

Ностальгия

⟨...⟩ Приезжают наши беженцы, изможденные, почерневшие от голода и страха, отъедаются, успокаиваются, осматриваются, как бы наладить новую жизнь, и вдруг гаснут.

Тускнеют глаза, опускаются вялые руки и вянет душа, душа, обращенная на восток.

Ни во что не верим, ничего не ждем, ничего не хотим. Умерли.

Боялись смерти большевистской и умерли смертью здесь.

Вот мы — смертью смерть поправшие!

Думаем только о том, что теперь *там*. Интересуемся только тем, что приходит *оттуда*.

А ведь здесь столько дела. Спасаться нужно и спасать других. Но так мало осталось и воли и силы...

* * *

— Скажите, ведь леса-то все-таки остались? Ведь не могли же они леса вырубить: и некому и нечем.

Остались леса. И трава зеленая, зеленая русская.

Конечно, и здесь есть трава. И очень даже хорошая. Но ведь это ихние „l'herbe“ *, а не наша травка-муравка.

И деревья у них, может быть, очень даже хороши, да чужие, по-русски не понимают.

У нас каждая баба знает: если горе большое и надо попричитать — иди в лес, обними березоньку крепко двумя руками, грудью прижмись, и качайся вместе с нею, и голоси голосом, словами, слезами изойди вся вместе с нею, с белою, со своею, с русской березонькой.

А попробуйте здесь:

— Пойдемте в Булонский лес обнимать березу!

Переведите русскую душу на французский язык... Что? веселее стало?

Помню, в начале революции, когда стали приезжать наши эмигранты, один из будущих большевиков, давно не бывший в России, долго смотрел на маленькую пригородную речонку, как бежит она, перепрыгивая, с камушка на камушек, струйками играет простая, бедная и веселая. Смотрел он, и вдруг лицо у него стало глупое и счастливое:

— Наша речка русская!

Ффью! Вот тебе и Третий Интернационал!

Как тепло!

Ведь, пожалуй, скоро и *там* сирень зацветет...

---

* Травы (*лат.*).

* * *

У знакомых старая нянька. Из Москвы вывезена.

Плавна, самая настоящая — толстая, сердитая, новых порядков не любнт, старые блюдет, умеет ватрушку печь н весь дом в страхе держнт.

Вечером, когда детн улягутся н уснут, идет нянька на кухню.

Там француженка-кухарка готовнт поздний французскнй обед.

— Садитесь! — подставляет она табуретку.

Нянька не садится.

— Не к чему, ногн еще, слава Богу, держат.

Стонт у двери, смотрнт строго.

— А вот, скажн ты мне, отчего у вас благовесту не слышно. Церквн есть, а благовесту не слышно. Церкви есть, а благовесту не слышно. Небось, молчишь!

Молчать всякнй может, молчать очень даже легко. А за свою веру, мнлая моя, каждый обязан внну нестн н ответ держать.

Вот что!

— Я в суп кладу селлерн н зеленый горошек! — любезно отвечает кухарка.

— Вот то-то н оно... Как же ты к заутрене попадешь без благовесту? То-то я смотрю, у вас и не ходят. Грех осуждать, а не осудить нельзя... А почему у вас собак нет? Этакнй город большой, а собак раз-два, да н обчелся. И то самые мореные, хвосты дрожат.

— Четыре франка кило,— возражает кухарка.

— Теперь, вон у вас землянику продают. Разве можно это в апреле месяце? У нас-то теперь благодать — клюкву бабы на базар вынеслн, первую, подснежную. Ее н в чай хорошо. А ты что? Ты, пожалуй, н кнселя-то ннкогда не пробовала!

— Президент республики? — удивляется кухарка.

Нянька долго стонт у дверей, у притолокн. Долго рассказывает о лесах, полях, о монашенках, о соленых груздях, о черных тараканах, о крестном ходе с водосвятнем, чтобы дождик был, зерно напоил.

Наговорнтся, напечалнтся, съежится, будто меньше станет, и пойдет в детскую к ночным думкам, к старушьнм снам — все о том же.

* * *

Прнехал с юга Россин аптекарь. Говорнт, что ровно через два месяца большевизму конец.

Слушают аптекаря. И бледные обращенные на восток душн чуть розовеют.

— Ну, конечно, через два месяца. Неужели же дольше? Ведь этого же не может быть!

Прнвыкла к «пределам» человеческая душа и верит, что у страдания есть предел.

Раненый умирал в страшных мучениях, все возраставшнх. И никогда не забуду, как повторял он все одно н то же, словно нзумляясь:

— Что же это? Ведь этого же *не может* быть!

Может.

Без предрассудков

Большевнки, как известно, очень горячо и ревностно прнннялись за нскоренение предрассудков.

Прнсяжный поверенный Шпнцберг нанимал зал Тенншевского училнща и надрывался — доказывал, что Бога нет.

— Товарнщн! — взывал он.— Скажите откровенно — кто из вас персонально вндел Бога? Так как же вы можете верить в его существованне?

— А ты Америку видел? — гудит басок из задних рядов.— Видал? Не видал! А небось веришь, что есть!

Шпицберг принимался за определение разницы между Богом и Америкой, и горячий диспут затягивается, пока электричество позволит.

На диспуты ходили солдаты, рабочие и даже интеллигенты, последние, впрочем, больше для того, чтобы погреться.

И удивляться этому последнему обстоятельству нечего, так как в Советской России видимое стремление граждан к усладам духа часто объяснялось очень грубыми материальными причинами.

Так, например, дети и учителя бегали в школу исключительно за пайком, а усиленный наплыв публики в 1918 году в Мариинский театр, когда и оперы ставились скверные и состав исполнителей был неважный, объяснился совсем уже забавно: в театральном буфете продавали бутерброды с ветчиной!

Итак, Шпицберг богоборствовал в Тенишевском училище.

А по монастырям товарищи вскрывали мощи и снятые с них фотографии демонстрировали в кинематографах, под звуки «Мадам Люлю, я вас люблю».

Устои были расшатаны, и предрассудки рассеяны.

В газетах писали:

«По праздникам бывший царь со своими бывшими детьми бывал в бывшей церкви».

В кухне кухарка Потаповна сдобно рассказывала:

— А солдатье погреб разбило, перепилось, одного, который, значит, совсем напивши, догола раздели, в часовню положили и вокруг него «Христос воскрес» поют. Я мимо иду, говорю: «И как вы, ироды, Бога не боитесь?» А они как загалдят: «У нас, слава Богу, Бога больше нету». А я им говорю: «Хорошо, как нету, а как, не дай Бог, Бог есть, тогда что?»...

Праздники отменили быстро и просто. Только школьники поплакали, но им обещали рождение ленинской жены, троцкого сына и смерть Карла Маркса — они и успокоились.

Часть наиболее прилежных и коммунистически настроенных рабочих внесла проект о сохранении празднования царских дней, якобы для того, чтобы, так сказать, отметить позорное прошлое и на свободе надругаться, но дело было слишком шито белыми нитками. Надругиваться им разрешили, но от работы не отрешили, на том дело и покончилось.

Борьба с предрассудками кипела. Ни один порядочный коммунист не позволял себе сомневаться в небытии того, кого красная пресса называла экс-Бог.

«Красный Урал» гордо заявлял:

«В нашей среде не должно быть таких, которые все еще сомневаются: „А вдруг Бог-то и есть“».

И в их среде таких не бывало.

Со всяческими предрассудками было покончено.

И вдруг — трах! Гром с безоблачного неба!

Самая красная газета «Пламя» печатает научную статью:

«Говорят, будто в городе Тихвин от коммуниста с коммунисткой родился ребенок с собачьей головой и пятью ногами. Ему только восемь дней, а на вид он как семилетний, и все никак не наестся».

Поздравляю!

Пред этим пятиногим объедалой окончательно померк знаменитый мужик Тихон, который в начале большевизма «кричал на селе окунем» и которого чуть было не повесили, потому что неясно кричал. Не то за Советы, не то по старому режиму.

А в красной Вологде, давно покончившей при помощи товарищей Шпицбергов с экс-Богом, страшно интересуются — чертом и ломятся в местный музей, требуя, чтобы

им показали привезенного из Ярославля черта в банке!

Перепуганный директор музея, не уяснивший себе в точности отношения между чертом и советской властью, и обратился ли черт в экс-черта или, наоборот, утвержден в прежних, отнятых от него духовенством, средневековых правах,— просил «Вологодскую правду» довести до сведения публики, «что никаких новых экспонатов, а тем более необыкновенных, в музей не поступало».

Вот как обстоит дело отрешения от предрассудков.

С нетерпением ожидаю статьи в «Московской правде»:

«Слухи о том, будто товарищ Троцкий, обернувшись курицей, выдаивает по ночам молоко у советских коров (совкор.), конечно, оказались вздорными. Коммунистической наукой давно дознано, что обращаться курицей могут только вредные элементы из гидры реакции».

А может быть, поднесут нам что-нибудь еще погуще.

Человеческое воображение ничто перед коммунистической действительностью.

Дети

Мелькают дни, бегут месяцы, проходят годы.

А там в России растут наши дети — наше русское будущее.

О них доходят странные вести: у годовалых еще нет зубов, двухлетние не ходят, трехлетние не говорят.

Растут без молока, без хлеба, без сахара, без игрушек и без песен.

Вместо сказок слушают страшную быль — о расстрелянных, о повешенных, о замученных...

Учатся ли они, те, которые постарше?

В советских газетах было объявлено: «Те из учеников и учителей, которые приходят в школу исключительно для того, чтобы поесть, будут лишены своего пайка».

Следовательно, приходили, чтобы поесть.

Учебников нет. Старая система обучения отвергнута, новой нет. Года полтора тому назад довелось мне повидать близко устроенное в Петрограде заведение для воспитания солдатских детей.

Заведение было большое, человек на 800, и при нем «роскошная библиотека».

Так как в «роскошную библиотеку» попали книги частного лица, очень об этом горевавшего, то вот мне и пришлось пойти за справками к «самому начальнику».

Дом, отведенный под заведение, был огромный, новый, строившийся под какое-то управление. Отдельных квартир в нем не было, и внутренняя лестница соединяла все пять этажей в одно целое.

Когда я пришла, было часов десять утра.

Мальчики разного возраста — от 4 до 16 лет — с тупым скучающим видом сидели на подоконниках и висели на перилах лестницы, лениво сплевывая вниз.

Начальник оказался эстонцем, с маленьким, красненьким носиком и сентиментально голубыми глазками.

Одет согласно большевистской моде, во френче, высоченные кожаные сапоги со шпорами, широкий кожаный кушак,— словом, приведен в полную боевую готовность.

Принял он меня с какой-то болезненной восторженностью.

— Видели вы наших детей? Дети — это цветы человечества.

— Видела. Что это у них, рекреационный час? Перерыв в занятиях?

— Почему вы так думаете? — удивился он.

— Да мне показалось, что они все там, на лестнице...

— Ну да! Наши дети свободны. И прежде всего мы предоставляем им возможность отвыкнуть от рутины старого воспитания, чтобы они почувствовали себя свободными, как луч солнца.

Так как дело происходило вскоре после знаменитого признания Троцкого: «С нами работают только дураки и мошенники», то я невольно призадумалась:

Мошенник или дурак? И тут же решила — дурак!

— К тому же,— продолжал начальник,— у нас еще не выработана новая система обучения, а старая, конечно, никуда не годится. Пока что мы реквизировали 600 роялей.

— ?

— Ребенок — это цветок, который должен взращиваться музыкой. Ребенок должен засыпать и просыпаться под музыку...

— Им бы носовых платков, Адольф Иваныч,— вдруг раздался голос из-за угла между шкапами.— Сколько раз я вам доклад писала. Дети прямо в стены сморкаются. Хоть бы портянки какие-нибудь...

Говорила сестра милосердия с усталым лицом, с отекшими глазами.

— Ах, товарищ! Разве в этом дело,— задергался вдруг начальник.— Теперь, когда мы вырабатываем систему, детали только сбивают с толку.

А уж не мошенник ли?..— вдруг усомнилась я.

— У младшего возраста одна смена. Сегодня двенадцать голых в постелях осталось,— продолжала сестра.

Сентиментальные глазки начальника беспокойно забегали. Он хотел что-то ответить, но в комнату вошел мальчик-воспитанник с пакетом.

— Ребенок! — воскликнул, обращаясь к нему, начальник.— Ребенок! Как ты не пластичен! Руки должны падать округло вдоль стана. А голова должна быть поднята гордо к солнцу и к звездам.

Дурак! — решила я бесповоротно.

Снизу донесся грохот и вопли.

— Дерутся? — шепнул начальник сестре.— Может быть, их лучше вывести во двор.

— Вчера они сестру Воздвиженскую избили, кто же их поведет. Нужно еще сначала произвести дознание насчет сегодняшних покраж и виновных лишить прогулки. Эти кражи становятся невыносимы!

Начальник прервал ее.

— Итак, у нас теперь в наличности шестьсот роялей... На днях будет утверждена полуторамиллионная ассигновка, и тогда — прежде всего детский оркестр. Дети — это цветы человечества.

Когда я уходила, маленькие серые фигурки, гроздьями висевшие на перилах, провожали меня тупо тоскующими глазами и, свесив стриженые головы, плевали вдоль по лестнице.

А наверху дурак говорил напутственное слово.

— К звездам и к солнцу! — доносилось до меня.— К солнцу и звездам!

Но он надул меня. Он оказался не дураком, а мошенником.

Через несколько дней я прочла в газетах, что он, получив на руки полуторамиллионную ассигновку, удрал с нею. Так и разыскать не удалось.

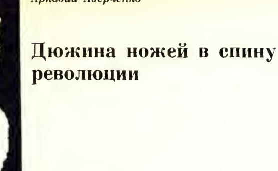
Очевидно, прямо к солнцу и звездам.

Растут наши русские дети.

Больные, голодные, обманутые, обкраденные. Наше темное, страшное русское будущее.

Кто ответит за них?

И как ответят они за Россию?



Аркадий Аверченко

Дюжина ножей в спину революции

Предисловие

Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахчется, как курица:

— Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек — этот Аркадий Аверченко! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!

Поступок — что и говорить — жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.

Прежде всего спросим себя, положив руку на сердце:

— Да есть ли у нас сейчас революция?..

Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас — разве это революция?

Революция — сверкающая прекрасная молния, революция — божественно красивое лицо озаренного гневом Рока, революция — ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..

Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..

Скажу в защиту революции более того — рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно-умилительные, когда они произносятся с трудом лепечущим, не уверенным в себе розовым язычком...

Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, неразумительные слова, вроде «совнархоз», «уеземельком», «совбур» и «реввоенком»,— так это уже не умилительный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.

Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет!

Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенчик протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным языком:

— Жижа, жижа!.. Дядя, дай жижу...

Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну, дай, дядя, жижи, прикурить цыгарки или скидывай пальто»,— простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!

Не будем обманывать и себя и других: революция уже кончилась, и кончилась она давно!

Начало ее — это светлое, очищающее пламя, средина — зловонный дым и копоть, конец — холодные обгорелые головешки.

Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек,— без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.

Нужна была России революция?

Конечно, нужна.

Что такое революция? Это — переворот и избавление.

Но когда избавитель перевернуть — перевернул, избавить — избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сидению на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки,— готовы воткнуть ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей в спину».

Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу:

— Товарищи, защищайте революцию!

Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция — это молния, это гром стихийного Божьего гнева... Как же можно защищать молнию?

Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:

— Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!

Вот что говорит мой собрат по перу, знаменитый русский поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливостей минувшего царизма. Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее:

«Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок — вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач,— понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие — купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал.

Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения — тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней...

Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. *Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно.* А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение «защищать революцию», должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».

Вот как говорит К. Бальмонт... И в одном только он ошибается — сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.

Не старушка это — хорошо бы, коли старушка,— а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, стащенным с ваших плеч, пальто.

Да еще и ножиком ткнет в бок.

Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать?

Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню,— в дикобраза его превратить, чтобы

этот пьяный, ленивый сутенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!

Правильно я говорю, друзья-читатели? А?

И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции»,— то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:

— Правильно!!!

Фокус великого кино

Отдохнем от жизни.

Помечтаем. Хотите?

Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом — на бутылочке-то пыли сколько наросло — вековая пыль, благородная,— а теперь слушайте...

* * *

Однажды в кинематографе я видел удивительную картину. Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на площадку скалы — совершенно сухой и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.

Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения, папироса делалась все больше и больше и наконец стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробку, от чего спичка погасла, вложил спичку в коробочку, папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся — и плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню — жарить... Повар положил его на сковородку, потом снял, сырого, утыкал перьями, поводил ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.

* * *

Не правда ли, вам понятно, в чем тут дело: это обыкновенная фильма, изображающая обыкновенные человеческие поступки, но пущенные в обратную сторону.

Ах, если бы наша жизнь была похожа на послушную кинематографическую ленту!..

Повернуть ручку назад — и пошло-поехало...

Передо мной — бумага, покрытая ровными строками этого фельетона. Вдруг — перо пошло в обратную сторону — будто соскабливая написанное, и, когда передо мной — чистая бумага, я беру шляпу, палку и, пятясь, выхожу на улицу...

Шуршит лента, разматываясь в обратную сторону.

Вот сентябрь позапрошлого года. Я сажусь в вагон, поезд дает задний ход и мчится в Петербург.

В Петербурге чудеса: с Невского уходят, забирая свои товары,— селедочницы, огуречницы, яблочницы и невоюющие солдаты, торгующие папиросами... Большевистские декреты, как шелуха, облетают со стен, и снова стены домов чисты и нарядны. Вот во весь опор примчался на автомобиле задним ходом Александр Федорович Керенский. Вернулся?!

Крути, Митька, живей!

Въехал он в Зимний дворец, а там, глядишь, все новое и новое мелькание ленты: Ленин и Троцкий с компанией вышли, пятясь, из особняка Кшесинской, поехали задом наперед на вокзал, сели в распломбированный вагон, тут же его запломбировали, и укатила вся компания задним ходом в Германию.

А вот совсем приятное зрелище: Керенский задом наперед вылетает из Зимнего дворца — давно пора,— вскакивает на стол и напыщенно говорит рабочим: «Товарищи! Если я вас покину — вы можете убить меня своими руками! До самой смерти я с вами».

Соврал, каналья. Как иногда полезно пустить ленту в обратную сторону!

Быстро промелькнула февральская революция. Забавно видеть, как пулеметные пули вылетали из тел лежащих людей, как влетали они обратно в дуло пулеметов, как вскакивали мертвые и бежали задом наперед, размахивая руками.

Крути, Митька, крути!

Вылетел из царского дворца Распутин и покатил к себе в Тюмень. Лента-то ведь обратная.

Жизнь все дешевле и дешевле... На рынках масса хлеба, мяса и всякого съестного дрязгу.

А вот и ужасная война тает, как кусок снега на раскаленной плите; мертвые встают из земли и мирно уносятся на носилках обратно в свои части. Мобилизация быстро превращается в демобилизацию, и вот уже Вильгельм Гогенцоллерн стоит на балконе перед своим народом, но его ужасные слова, слова паука-кровопийцы об объявлении войны, не вылетают из уст, а, наоборот, глотает он их, ловя губами в воздухе. Ах, чтоб ты ими подавился!..

Митька, крути, крути, голубчик!

Быстро мелькают поочередно четвертая Дума, третья, вторая, первая, и вот уже на экране четко вырисовываются жуткие подробности октябрьских погромов.

Но, однако, тут это не страшно. Громилы выдергивают свои ножи из груди убитых, те шевелятся, встают и убегают, летающий в воздухе пух аккуратно сам слетается в еврейские перины, и всё принимает прежний вид.

А что это за ликующая толпа, что за тысячи шапок, летящих кверху, что это за счастливые лица, по которым текут слезы умиления?!.

Почему незнакомые люди целуются, черт возьми!

Ах, это манифест 17 октября, данный Николаем II свободной России...

Да ведь это, кажется, был самый счастливый момент во всей нашей жизни!

Митька! Замри! Останови, черт, ленту, не крути дальше! Руки поломаю!..

Пусть замрет. Пусть застынет.

— Газетчик! Сколько за газету? Пятачок?

— Извозчик! Полтинник на Конюшенную, к «Медведю». Пошел живей, гривенник прибавлю. Здравствуйте! Дайте обед, рюмку коньяку и бутылку шампанского. Ну, как не выпить на радостях... С манифестом вас! Сколько с меня за все? Четырнадцать с полтиной? А почему это у вас шампанское десять целковых за бутылку, когда в «Вене» — восемь? Разве можно так бессовестно грабить публику?

Митька, не крути дальше! Замри. Хотя бы потому остановись, что мы себя видим на пятнадцать лет моложе, почти юношами. Ах, сколько было надежд, и как мы любили, и как нас любили...

. . . .

Отчего же вы не пьете ваш херес? Камин погас, и я не вижу в серой мгле — почему так странно трясутся ваши плечи: смеетесь вы или плачете?

Поэма о голодном человеке

Сейчас в первый раз я горько пожалел: почему мама в свое время не отдала меня в композиторы.

То, о чем я хочу сейчас написать, ужасно трудно выразить в словах... Так и подмывает сесть за рояль, с треском опустить руки на клавиши — и все, все как есть, перелить в причудливую вереницу звуков, грозных, тоскующих, жалобных, тихо стонущих и бурно проклинающих.

Но немы и бессильны мои негибкие пальцы, но долго еще будет молчать хладнокровный, неразбуженный рояль, и закрыт для меня пышный вход в красочный мир звуков...

И приходится писать мне элегии и ноктюрны привычной рукой — не на пяти, а на одной линейке,— быстро и привычно вытягивая строку за строкой, перелистывая страницу за страницей. О, богатые возможности, дивные достижения таятся в слове, но не тогда, когда душа морщится от реального прозаического трезвого слова, когда душа требует звука, бурного, бешеного движения обезумевшей руки по клавишам...

Вот моя симфония — слабая, бледная в слове...

* * *

Когда тусклые серо-розовые сумерки спустятся над слабым, голодным, устало смежившим свои померкшие, свои сверкавшие прежде очи — Петербургом, когда одичавшее население расползается по угрюмым берлогам коротать еще одну из тысячи и одной голодной ночи, когда все стихиет, кроме комиссарских автомобилей, бодро шныряющих, проворно, как острое шило, вонзающихся в темные, безглазые русла улиц,— тогда в одной из квартир Литейного проспекта собираются несколько серых бесшумных фигур и, пожав друг другу дрожащие руки, усаживаются вокруг стола пустого, освещенного гнусным воровским светом сального огарка.

Некоторое время молчат, задыхающиеся, усталые от целого ряда гигантских усилий: надо было подняться по лестнице на второй этаж, пожать друг другу руки и придвинуть к столу стул — это такой нестерпимый труд!..

Из разбитого окна дует... но заткнуть зияющее отверстие подушкой уж никто не может — предыдущая физическая работа истощила организм на целый час.

Можно только сидеть вокруг стола, оплывшей свечи и журчать тихим, тихим шепотом...

Переглянулись.

— Начнем, что ли? Сегодня чья очередь?

— Моя.

— Ничего подобного. Ваша позавчера была. Еще вы рассказали о макаронах с рубленой говядиной.

— О макаронах Илья Петрович рассказывал. Мой доклад был о панированной телячьей котлете с цветной капустой. В пятницу.

— Тогда ваша очередь. Начинайте. Внимание, господа!

Серая фигура наклонилась над столом еще ниже, отчего черная огромная тень на стене переломилась и заколебалась. Язык быстро, привычно пробежал по запекшимся губам, и тихий хриплый голос нарушил могильное молчание комнаты.

— Пять лет тому назад — как сейчас помню — заказал я у «Альбера» навагу фрит и бифштекс по-гамбургски. Наваги было 4 штуки,— крупные, зажаренные и сухариках, на масле, господа! Понимаете, на сливочном масле, господа. На масле! С одной стороны лежал пышный ворох поджаренной на фритюре петрушки, с другой — половина лимона. Знаете, этакий лимон ярко-желтого цвета и в разрезе посветлее, кисленький такой разрез... Только взять его в руку и подавить над рыбиной... Но я делал так: сначала брал вилку, кусочек хлебца (был черный, был белый, честное слово) и ловко отделял мясистые бока наваги от косточки...

— У наваги только одна косточка, посредине, треугольная,— перебил, еле дыша, сосед.

— Тсс! Не мешайте. Ну, ну?

— Отделив куски наваги, причем, знаете ли, кожица была поджарена, хрупкая этакая и вся в сухарях, в сухарях,— я наливал рюмку водки и только тогда выдавливал тонкую струю лимонного сока на кусок рыбы... И я сверху прикладывал немного петрушки — о, для аромата только, исключительно для аромата,— выпивал рюмку и сразу кусок этой рыбки — гам! А булка-то, знаете, мягкая французская этакая, и ешь ее, ешь пышную с этой рыбкой. А четвертую рыбку я даже не доел, хе-хе!

— Не доели?!!

— Не смотрите на меня так, господа. Ведь впереди еще был бифштекс по-гамбургски — не забывайте этого. Знаете, что такое — по-гамбургски?

— Это не яичница ли сверху положена?

— Именно!! Из одного яйца. Просто так для вкуса. Бифштекс был рыхлый, сочный, но вместе с тем упругий и с одного боку побольше поджаренный, а с другого — поменьше. Помните, конечно, как пахло жареное мясо, вырезка — помните? А подливки было много, очень много, густая такая, и я любил, отломив корочку белого хлебца, обмакнуть ее в подливочку и с кусочком нежного мясца — гам!

— Неужели жареного картофеля не было? — простонал кто-то, схватясь за голову, на дальнем конце стола.

— В том-то и дело, что был! Но мы, конечно, еще не дошли до картофеля. Был также наструганный хрен, были капорцы — остренькие, остренькие, а с другого конца чуть не половину соусника занимал нарезанный этакими ромбиками жареный картофель. И черт его знает, почему он так пропитывается этой говяжьей подливкой. С одного бока кусочки пропитаны, а с другого совершенно сухие и даже похрустывают на зубах. Отрежешь, бывало, кусочек мясца, обмакнешь хлеб в подливку, да зацепив все это вилкой вкупе с кусочком яичницы, картошечкой и кружочком малосольного огурца...

Сосед издал полузаглушенный рев, вскочил, схватил рассказчика за шиворот и, тряся его слабыми руками, закричал:

— Пиво! Неужели ты не запивал этого бифштекса с картофелем крепким пенистым пивом?!

Вскочил в экстазе и рассказчик.

— Обязательно! Большая тяжелая кружка пива, белая пена наверху, такая густая, что на усах остается. Проглотишь кусочек бифштекса с картофелем, да потом как вопьешься в кружку...

Кто-то в углу тихо заплакал:

— Не пивом! Не пивом нужно было запивать, а красным винцом, подогретым! Было там такое бургундское по три с полтиной бутылка... Нальешь в стопочку, поглядишь на свет — рубин, совершенный рубин...

Бешеный удар кулаком прервал сразу весь этот плывший над столом сладострастный шепот.

— Господа! Во что мы превратились — позор! Как мы низко пали! Вы! Разве вы мужчины? Вы сладострастные старики Карамазовы! Источая слюну, вы смакуете целыми ночами то, что у вас отняла кучка убийц и мерзавцев! У вас отнято то, на что самый последний человек имеет право — право еды, право набить желудок пищей по своему неприхотливому выбору,— почему же вы терпите? Вы имеете в день хвост ржавой селедки и 2 лота хлеба, похожего на грязь,— вас таких много, сотни тысяч! Идите же все, все идите на улицу, высыпайте голодными отчаянными толпами, ползите, как миллионы саранчи, которая поезд останавливает своим количеством, идите, навалитесь на эту кучку творцов голода и смерти, перегрызите им горло, затопчите их в землю, и у вас будет хлеб, мясо и жареный картофель!!

— Да! Поджаренный в масле! Пахнущий! Ура! Пойдем! Затопчем! Перегрызем горло! Нас много! Ха-ха-ха! Я поймаю Троцкого, повалю его на землю и проткну пальцем глаз! Я буду моими истоптанными каблуками ходить по его лицу! Ножичком отрежу ему ухо и засуну ему в рот — пусть ест!!

— Бежим же, господа, все на улицу, все голодные!

При свете подлого сального огарка глаза в черных впадинах сверкали как уголья... Раздался стук отодвигаемых стульев и топот ног по комнате.

И все побежали... Бежали они очень долго и пробежали очень много; самый быстрый и сильный добежал до передней, другие свалились — кто на пороге гостиной, кто у стола столовой.

Десятки верст пробежали они своими окостеневшими, негнущимися ногами... Лежали, обессилевшие, с полузакрытыми глазами, кто в передней, кто в столовой — они сделали, что могли, они ведь хотели.

Но гигантское усилие истощилось, и тут же все погасли, как растащенный по поленьям сырой костер.

А рассказчик, лежа около соседа, подполз к его уху и шепнул:

— А знаешь, если бы Троцкий дал мне кусочек жареного поросенка с кашей — такой, знаешь, маленький кусочек,— я бы не отрезывал Троцкому уха, не топтал бы его ногами! Я бы простил ему...

— Нет,— шепнул сосед,— не поросенок, а знаешь что?.. Кусочек пулярдки, такой, чтобы белое мясо легко отделялось от нежной косточки... И к ней вареный рис с белым кисленьким соусом...

Другие лежащие, услышав шепот этот, поднимали жадные головы и постепенно сползались в кучу, как змеи от звуков тростниковой дудки...

Жадно слушали.

* * *

Тысяча первая голодная ночь уходила... Ковыляя, шествовало на смену тысяча первое голодное утро.

Трава, примятая сапогом

— Как ты думаешь, сколько мне лет? — спросила небольшая девочка, перепрыгивая с одной ноги на другую, потряхивая темными кудрями и поглядывая на меня сбоку большим серым глазом.

— Тебе-то? А так я думаю, что тебе лет пятьдесят.

— Нет, серьезно. Ну, пожалуйста, скажи.

— Тебе-то? Лет восемь, что ли?

— Что ты! Гораздо больше: восемь с половиной.

— Ну?! Порядочно. Как говорится: старость не радость. Небось, и женишка уже припасла?

— Куда там? (Глубокая поперечная морщина сразу выползла откуда-то на ее безмятежный лоб.) Разве теперь можно обзаводиться семьей? Все так дорого.

— Господи Боже ты мой, какие солидные разговоры пошли!.. Как здоровье твоей многоуважаемой куклы?

— Покашливает. Я вчера с ней долго сидела у реки. Кстати, хочешь, на речку пойдем, посидим. Там хорошо: птички поют. Я вчера очень комичную козявку поймала.

— Поцелуй ее от меня в лапку. Но как же мы пойдем на реку: ведь в той стороне, за рекой, стреляют.

— Неужели ты боишься? Вот еще глупый. Ведь снаряды не долетают сюда, это ведь далеко. А я тебе зато расскажу стих. Пойдем?

— Ну, раз стих — это дело десятое. Тогда не лень и пойти.

По дороге, ведя меня за руку, она сообщила:

— Знаешь, меня ночью комар как укусит за ногу.

— Слушаю-с. Если я его встречу, я ему дам по морде.

— Знаешь, ты ужасно комичный.

— Еще бы, на том стоим.

На берегу реки мы преуютно уселись на камешек, под развесистым деревцем. Она прижалась к моему плечу, прислушалась к отдаленным выстрелам, и снова та же морщинка озабоченности и вопроса, как гнусный червяк, всползла на чистый лоб.

Она потерлась порозовевшей от ходьбы щечкой о шершавую материю моего пиджака и, глядя остановившимися глазами на невозмутимую гладь реки, спросила:

— Скажи, неужели Ватикан никак не реагирует на эксцессы большевиков?..

Я испуганно отодвинулся от нее и поглядел на этот розовый ротик с будто чуть-чуть припухшей верхней губкой, посмотрел на этот ротик, откуда только что спокойно вылетела эта чудовищная по своей деловитости фраза, и переспросил:

— Чего, чего?

Она повторила.

Я тихо обнял ее за плечи, поцеловал в голову и прошептал на ухо:

— Не надо, голубчик, об этом говорить, хорошо? Скажи лучше стихи, что обещала.

— Ах, стихи! Я и забыла. О Максе:

Максик вечно ноет,
Максик рук не моет,
У грязнухи Макса
Руки, точно вакса.
Волосы, как швабра,
Чешет их не храбро...

— Правда, комичные стишки? Я их в старом «Задушевном слове» прочитала.

— Здорово сработано. Ты их маме-то читала?

— Ну, знаешь, маме не до того. Прихварывает все.

— Что же с ней такое?

— Малокровие. Ты знаешь, она целый год при большевиках в Петербурге прожила. Вот и получила. Жиров не было, потом эти... азотистые вещества тоже в организм не... этого... не входили. Ну, одним словом — коммунистический рай.

— Бедный ты ребенок,— уныло прошептал я, приглаживая ей волосы.

— Еще бы же не бедный. Когда бежали из Петербурга, я в вагоне кроватку куклиную потеряла, да медведь пищать перестал. Не знаешь, отчего это он мог перестать пищать?

— Очевидно, азотистых веществ ему не хватило. Или просто саботаж.

— Ну ты прямо-таки прекомичный! На мою резиновую собачку похож. А ты можешь нижней губой до носа достать?

— Где там? Всю жизнь мечтал об этом — не удается.

— А знаешь, у меня одна знакомая девочка достает: очень комично.

С противоположного берега дунуло ветерком, и стрельба сразу сделалась слышней.

— Вишь ты, как пулеметы работают,— сказал я, прислушиваясь.

— Что ты, братец,— какой же это пулемет? Пулемет чаще тарахтит. Знаешь, совсем как швейная машина щелкает. А это просто пачками стреляют. Вишь ты: очередями жарят.

Ба-бах!

— Ого,— вздрогнул я,— шрапнелью ахнули.

Ее серый лукавый глаз глянул на меня с откровенным сожалением:

— Знаешь, если ты не понимаешь — так уж молчи. Какая же это шрапнель? Обыкновенную трехдюймовку со шрапнелью спутал. Ты знаешь, между прочим, шрапнель, когда летит, так как-то особенно шуршит. А бризантный снаряд воет, как собака. Очень комичный.

— Послушай, клоп,— воскликнул я, с суеверным страхом оглядывая ее розовые пухлые щечки, вздернутый носик и крохотные ручонки, которыми она в этот момент заботливо подтягивала спустившиеся к башмачкам носочки.— Откуда ты все это знаешь?!

— Вот комичный вопрос, ей-Богу! Поживи с мое, не то еще узнаешь.

А когда мы возвращались домой, она, забыв уже о «реагировании Ватикана» и «бризантных снарядах», щебетала, как воробей, задрав кверху задорный носик:

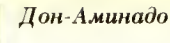
— Ты знаешь, какого мне достань котеночка? Чтоб у него был розовенький носик и черные глазки. Я ему голубенькую ленточку с малюсеньким таким золотым бубенчиком привяжу, у меня есть. Я люблю маленьких котенков. Что же я дура! Я и забыла, что мой бубенчик был с мамниным золотом в сейфе, и коммунисты его по мандату комфина реквизировали!

* * *

По зеленой молодой травке ходят хамы в огромных тяжелых сапожищах, подбитых гвоздями.

Пройдут по ней, примнут ее.

Прошли — полежал, полежал примятый, полураздавленный стебелек, пригрел его луч солнца, и опять он приподнялся и под теплым дыханием дружеского ветерка шелестит о своем, о малом, о вечном.



Дон-Аминадо

Дым без отечества

О птицах

Одно в этом мире для меня несомненно:

Погубили нас — птицы.

Буревестники. Чайки. Соколы и вороны. Петухи, поющие пред зарей. Несуществующие, самым бесстыдным образом выдуманные альбатросы. Реющие, непременно реющие, кречеты. Умирающие лебеди. Злые коршуны и сизые голуби. И, наконец, раненые горные орлы: царственные, гордые и непримиримые.

Сижу за решеткой, в темнице сырой.
Вскормленный на воле орел молодой...

Что ж тут думать! Обнажили головы, тряхнули шевелюрами и потянулись к решетке: стройными колоннами, сомкнутыми рядами и всем обществом попечения о народной трезвости.

Впрочем, и время было такое, что ежели, скажем, гимназист четвертого класса от скарлатины умирал, то вся гимназия пела:

Вы жертвою пали в борьбе роковой...

Очень уж были мы чуткие, да и от орлов как помешанные ходили.

Обитали орлы преимущественно на скалах и промышляли тем, что позволяли себя ранить: прямо в сердце или прямо в грудь, и непременно стрелой.

В случаях особенно торжественных стрелы, по требованию публики, пропитывались смертельным ядом.

Этой подлости не выдерживали и самые закоснелые сердца.

Орел взмахивал могучими крыльями, ронял кровавые рубины в зеленый дол, описывал столько кругов, сколько ему полагалось, и... падал.

Нужно ли добавлять, что падал он не просто, а — как подкошенный.

История с орлами продолжалась долго, и неизвестно, когда бы она кончилась, если бы не явился самый главный — с косым воротом и безумством храбрых.

Откашлялся и нижегородским баском грянул:

Над седой пучиной моря
Гордо реет буревестник,
Черный, молнии подобный...

Все так и ахнули.

И, действительно, птица — первый сорт, и реет, и взмывает, и вообще дело делает.

Пили мы калинкинское пиво, ездили на Воробьевы горы и, косясь на добродушных малиновых городовых, сладострастным шепотом декламировали:

Им, гагарам, недоступно
Наслажденье битвой жизни...

И, рыча, добавляли:

Гром ударов их пугает...

Но случилось так, что имеиио гагары-то и одолелн.

Тогда вместо калинкннского пива сталн употреблять раствор карболовой кнслоты, цианистый калий, стреляли в собствеииый правый внсок, оставляли на четырнадцати страницах письма к друзьям и говорили: нас не поиимают, Европа — Марфа.

Вот в это-то самое время и явились:

самый зловещнй, какой только был от сотворения мира, ворон и белая чайка, птнца упадочная, непонятная, одинокая.

Ворон каркнул: Never more * — н сгинул.

Персоиаж ои был заграиичный, обидчивый н для мелодекламацин ие подходящий.

Зато чайка сделала совершенно головокружительную карьеру.

Девушки с надрывом, с поволокой в глазах, с неразгаданной тоской, девушки с орхидеями и с трагической улыбкой хрустели пальцами, скрещнвали рукн на худых колеиях и говорили:

— Хочется сказки... Хочется ласки... Я — чайка.

Потом взялн и выдумали, что Комнссаржевская — чайка, и Гиппиус — чайка, и чуть ли не Макснм Ковалевскнй — тоже чайка.

Вот, вспыхиуло утро. Румянятся воды.
Над озером бедная чайка летит...

А по совестн сказать, так более прожорливой, ненасытной и наглой птицы, чем эта самая бедиая чайка, н природа еще не создавала.

Однако, поди ж ты... Лет семь-восемь спасення от чаек не было.

Изредка только вотрется какой-нибудь заштатный умирающий лебедь, илн Синяя птица, нли залетят ненароком осенние журавли,— покружат, покружат н улетят восвоясн.

А настоящего удовольствия от ннх не было.

Ах, как прошумели, промчалнсь годы! Как быстро промелькнулн десятнлетия! Какой страстиой горечи нсполнены покаяния. Дорогой ценой заплатили мы за днких уток, за снннх птиц, и за орлов, и за кречетов, н за соколов, и за воронов, н за белых чаек, а наипаче за буревестников.

Был мужик, а мы — о грации.
Был навоз, а мы — в тнмпан!
Так от мелодекламацнн
Погибают даже нацни,
Как бурьяи.

* Больше никогда (*англ.*).

ПОЭЗИЯ

Николай I

(из поэмы «Декабристы»)

Как медленно течет по жилам кровь,
Как холодно-неторопливо.
Не высекала искр в душе твоей любовь:
Ты — как кремень, и нет огнива!

Как вяло тянутся холодной прозой дни:
Ни слов, ни мук, ни слез, ни страсти.
Душа полна одним, знакомым искони
Холодным сладострастьем власти.

Повсюду в зеркалах красивое лицо
И стан величественно-стройный.
Упругой воли узкое кольцо
Смиряет нервов трепет беспокойный.

Но все ж порою сон медлительный души
Прорежет их внезапный скрежет.
Как будто мышь грызет, скребет в ночной тиши,
Иль кто-то по стеклу визгливо режет...

* * *

Предутренняя свежесть
И нежность полей,
Омытая струями
Вчерашних дождей.
Голубовато-серых
Небес тишина,
Исполненных покоем
Без края, без дна.

О, Боже, неужели
И там тишина!
Над грустными полями
Небес глубина,
Над грустными полями,
Над горем людей,
Над горестным безумьем
Отчизны моей?

Андрей Белый

России

Россия — Ты?.. Смеюсь, и — умираю...
И — ясный взор ловлю...
Невероятная,— Тебя я знаю:
В невероятностях люблю.

Как красные, мелькающие маки,—
Мелькающие мне,—
Как бабочки, мелькающие знаки
Летят на грудь ко мне.

Прими мои немеющие руки,
Исполненные тьмой,—
Туда: в Твои незнаемые муки
Слетает разум мой.

Судьбой — Собой — ты чашу дней наполни.
И — чашу дней: испей!
Волною молний душу преисполни!
Мечами глаз добей!

Блаженствую: и тихо замираю,
И — ясный взор ловлю.
Я — знаю все... Я ничего не знаю...
Люблю, люблю, люблю!

Мы — русские

Братьям антропософам

Мы взвиваем в мирах неразвеянный прах,
Угрожаем провалами мертвенных лет.
В просиявших пирах, в отпылавших мирах
Мы — летящая стая горящих комет.

Завиваем из дали спирали планет:
Заплетаются нити судьбин и годин...
Мы — серебряный, зреющий, веющий свет
Среди синих, таимых, любимых годин.

Нина Берберова

* * *

Перед разлукой горестной и трудной
Не говори, что встрече не бывать;
Есть у меня таинственный и чудный
Дар о себе тебе напоминать:

В чужом краю, в изгнании далеком,
Когда-нибудь, когда придет пора,

Я повторю тебя одним намеком,
Одним стихом, движением пера.

А ты прочти, как мысль мне возвратила
И прежние слова твои, и тень,
Узнай вдали, как я преобразила
Сегодняшний или вчерашний день.

Какой еще для нас ты хочешь встречи?
Я отдаю тебе одной строкой
Твои шаги, поклоны, взгляды, речи,—
А большего мне не дано тобой.

Иван Бунин

Из кн. Пророка Исаии

Возьмет Господь у вас
Всю вашу мощь, отнимет трость и посох,
Питье и хлеб, пророка и судью,
Вельможу и советника. Возьмет
Господь у вас ученых и мудрейших,
Художников и искушенных в слове,
В начальники над городом поставит
Он отроков, и дети наши будут
Главенствовать над вами. И народы
Восстанут друг на друга, дабы каждый
Был нищ и угнетаем. И над старцем
Глумиться будет юноша, а смерд —
Над прежним царедворцем. И падет
Сион во прах, зане язык его
И всякое деянье — срам и мерзость
Пред Господом, и выраженье лиц
Свидетельствует против них, и смело,
Как некогда в Содоме, величают
Они свой грех.— Народ мой! На погибель
Вели тебя твои поводыри!

День памяти Петра

«Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия...»

О, если б узы гробовые
Хоть на единый миг земной
Поэт и Царь расторгли ныне!
Где Град Петра? И чьей рукой
Его краса, его твердыни
И алтари разорены?

Хлябь, хаос — царство Сатаны,
Губящего слепой стихией.
И вот дохнул он над Россией,
Восстал на Божий строй и лад —
И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.

И все ж придет, придет пора
И воскресенья и деянья,
Прозрения и покаянья.
Россия! Помни же Петра.
Петр значит Камень. Сын Господний
На Камени созиждет храм
И скажет: «Лишь Петру я дам
Владычество над преисподней».

28.1.25

Петух на церковном кресте

Плывет, течет, бежит ладьей
И как высоко над землей!
Назад идет весь небосвод,
А он вперед — и все поет.

Поет о том, что мы живем,
Что мы умрем, что день за днем
Идут года, текут века —
Вот как река, как облака.

Поет о том, что все обман,
Что лишь на миг судьбою дан
И отчий дом, и милый друг,
И круг детей, и внуков круг.

Поет о том, что держит бег
В чудесный край его ковчег,
Что вечен только мертвых сон
Да Божий храм, да крест, да он.

12.IX.22

* * *

«Опять холодные седые небеса,
Пустынные поля, набитые дороги,
На рыжие ковры похожие леса
И тройка у крыльца и слуги на пороге...»

— Ах, старая наивная тетрадь!
Как смел я в те года гневить печалью Бога?
Уж больше не писать мне этого «опять»
Перед счастливою осеннею дорогой!

7.VI.23

Борис Божнев

* * *

Увы! погиб и он в расцвете лет,
И я боюсь за Вас, за фаталиста —
Вы трубку держите, как пистолет,
Как пистолет, дымится трубка мглисто,

И пахнет порохом табачный дым,
За дымом — горы сумрачные стынут,
И под рассветным облаком седым
На камне ждет, кого-то ждет Мартынов,

А на стене у Вас висит ковер,
Мне чуждого, Вам близкого Кавказа,
И он для Вас цветист, как разговор,
Но для меня он страшен, как проказа...

Кавказ! Кавказ! О, снежная струна,
Не тающая на российской лире,
И под рукой у Вас гремит она,
И грозным эхом повторится в мире.

О, смутно постигает тот, кто вник
Во звуки Вашей яростной музыки,
Что нас ведет незримый проводник
Наверх по скалам роковым и диким...

Кавказ! Кавказ! О, ледяной хребет
Великих, средних, небольших поэтов,
И я даю Вам клятву и обет
Подняться с Вами к холоду и свету.

И я, и я бессмертным льдом согрет,
Его сверканьем ослеплен навеки...
Но должен я закончить Ваш портрет:
Пейзаж еще не видят в человеке.

Лицо... О, мраморные нос и лоб
И золотые волосы и брови...
Но я не знаю, что сломить могло б
Сталь и железо Вашего здоровья.

И тело... Статен, невысок, нетолст,
Но как ни берегите и ни мерьте,
Ах, только фотография и холст
Его спасут от старости, от смерти.

Походка... Так идет спокойный зверь,
Так против волн плывет большая лодка,
Так движутся часы — прохожий, сверь —
Так волочится с каторжным колодка.

И жесты... Этот плавен, этот груб,
А этот полон грации несветской,

И складка умных мужественных губ
Вдруг содрогается в улыбке детской.

Душа... О, слово дивное душа...
Его произносить легко и страшно...
О, тень бумаги, тень карандаша,
О, белый мир бумаго-карандашный...

Портрет закончен... Вы на нем живой,
И Вас узнают все, кто знал когда-то...
Мне радостно, но, труд закончив свой,
Я ставлю не сегодняшнюю дату —

О, в комнату отеля «де ля Плас»,
Где после нас живут чужие люди,
Моя душа зачем-то повлеклась...
Я Вашим другом был и есть, и буду.

* * *

Не трогайте мои весы —
Я мужественною рукою
Трудился многие часы
Над неподвижностью такою,

И сам себе воздал хвалу
За то, что тяжестью единой
Весов установил стрелу
Пред золотою серединой...

Но вот, когда ни взор, ни слух
Не нарушают равновесья,
И поровну на дисках двух
Как будто невесомый весь я,

Когда их сдерживать рука
Уже устала, неужели
Вновь чаша плотская тяжеле,
А та, небесная, легка...

* * *

Неблагодарность — самый черный грех.
Не совершай его, и будешь светел.
Никто не вправе мне сказать при всех:
Ты на добро мое мне чем ответил...

Никто... И, совесть, ты — почти чиста...
Число друзей моих, мужчин и женщин,
Живых и умерших, да, больше ста,
Врагов же — пять... а может быть, и меньше...

И не должник я... Никому, ни в чем...
Я все отдам за нежности крупицу...

И, сам больной, был для других врачом...
О, каплю жалости, чтоб мне напиться...

Любовниц милых и святых подруг,
Любивших, отошедших... все бывает...
Пусть далеки они... Но сразу, вдруг...
Ах, ничего-то я не забываю...

А ты... Ты ангел или человек,
Меня спасавший делом и советом...
Я был бы мертв... О, жизнь не для калек...
Я жив и счастлив... О, не чудо ль это...

Не знаю... Плачу и благодарю
За помощь в прошлом, верность в настоящем,
Ночь творчества и чистую зарю,
Светлеющую надо мной, не спящим...

* * *

А, Б, В, Г, Д,
1, 2, 3, 4, 5...
Старости школа, о, где —
Время учиться опять.

Е, Ж, З, И, К.
6, 7, 8, 9, 0...
Муза, скамью старика
Ныне занять мне позволь.

Зинаида Гиппиус

Зеркала повсюду

А вы никогда не видали?
В саду или в парке — не знаю,—
везде зеркала сверкали.
Внизу, на поляне, с краю,
вверху, на березе, на ели,
где прыгали мягкие белки,
где гнулись мохнатые ветки,—
везде зеркала блестели.
И в верхнем — качались травы,
а в нижнем — туча бежала...
Но каждое было лукаво,
земли иль небес ему мало,—
друг друга они повторяли,
друг друга они отражали...
И в каждом — зари розовенье
сливалось с зеленостью травной;
и были — в зеркальном мгновеньи —
земное и горное — ра́вны.

8—289

Домой

Мне —
о земле —
болтали сказки:
«Есть человек. Есть любовь».
А есть —
лишь злость.
Личины. Маски.
Ложь и грязь. Ложь и кровь.
Когда
предлагали
мне родиться —
Не говорили, что мир такой.
Как же
я мог
не согласиться?
Ну а теперь — домой, домой!

Программа

Здесь все — только опалово,
только аметистово,
да полоска заката алого,
да жемчужина неба чистого...

А где-то нá поле — цветы небывалые,
и называется поле — нетово...
Что мне зеленое, белое, алое?
Я хочу, чтоб было ультрафиолетово...

Вл. Злобин

Старухи

I

За какое преступленье
Про меня пустили слух,
Что для дев я — огорченье,
Утешенье для старух?.
Вот теперь они друг к другу
Ходят, согнуты дугой,
Выбирают мне подругу
Без зубов и с бородой.
То одна кряхтит: «я старше»,
То другая, ей в ответ:
«Всю меня покрыли парши,
Я — всех старше, на сто лет!»
А когда из-за мэрии
Подымается луна,
И на стогны городские

Сходит ночь и тишина,
И дома темны и глухи,
Спят глубоко стар и млад,—
Собираются старухи
И в окно мое стучат:
«Отопри, зажги огарок,
Покажи свое лицо.
Есть у нас тебе подарок,
Обручальное кольцо».
Неужель поверю слуху,
Распахну во тьму окно,
Неужель и впрямь старуху
Полюбить мне суждено?

II

Любезным девам не назло,
Не от распутства иль бесстыдства —
Неодолимое влекло
Меня к старухам любопытство.
Влекло как бы на тайный зов,
И внял ему я не напрасно.
И вот, у Невских берегов,
Одна меня пленила властно.
Седым блистая париком,
Затянута, строга, упряма,
Когда она входила в дом,
Я думал — Пиковая Дама.
Бывало, часто до утра
Она беседу нашу длила.
О, пусть она была стара,—
Не только в молодости сила.
Но как-то раз, перед зарей,
Когда луна уже склонялась,
Она явилась мне такой,
Какой ни разу не являлась.
На боль невнятную, в ответ,
О том, что все земное тленно,
В ней загорелся тихий свет,
Преобразив ее мгновенно.
И был, как будто прерван сон,
Развеян вдруг покров туманный,
И я склонился, ослеплен
Ее красою несказанной.
Но свет сбежал с ее лица,
И вновь оно окаменело.
И неподвижность мертвеца
Сковала трепетное тело.
О, если б бедный мой язык
Мог удержать на миг виденье,
Я на единый этот миг
Все променял бы наслажденья.
Не удивляйтесь потому,
Влюбленно-радостные девы,
Ни безучастью моему,
Ни что тихи мои напевы.

Наталья Крандиевская

* * *

С севера — болота и леса,
С юга — степи, с запада — Карпаты,
Тусклая над морем полоса —
Балтики зловещие закаты.

А с востока — дали, дали, дали,
Зори, ветер, песни, облака,
Золото и сосны на Урале,
И руды железная река.

Ходят в реках рыбы-исполины,
Рыщут в пущах злые кабаны,
Стонет в поле голос лебединый,
Дикий голос воли и весны.

Зреет в небе, зреет, словно колос,
Узкая, медовая луна...
Помнит, сердце, помнит! Укололось
Памятью на вечны времена.

Видно, не забыть уж мне до гроба
Этого хмельного пития,
Что испили мы с тобою оба,
Родина моя!

* * *

Мне воли не давай. Как дикую козу,
Держи на привязи буитующее сердце.
Чтобы стегать меня — сломай в полях лозу,
Чтобы кормить меня — дай трав острее перца.
Веревку у колен затягивай узлом,
Не то — неровен час — взмахнут мои копытца.
И золотом сверкнут. И в небо — напролом...
Прости любовь!.. Ты будешь сердцу сниться...

* * *

Моих ночей бессонный жар,
Стихов веселые тревоги,
И тела солнечный загар,
И сердца лунные ожоги —
Сложило время на весы,
И чаша легкая вспарила.
Жизнь встала стражем на часы
И камень рядом положила.
Пусть так. Бороться не хочу.
Живи вторая половина!
По-бабьи верую. Молчу.
Ращу для будущего сына.

* * *

Яблоко, протянутое Еве,
Было вкуса — меди, соли, желчи,
Запаха — земли и диких плевел,
Цвета бузины — и ягод волчьих.
Яд слюною пенной и зловонной
Рот обжег праматери, и новью
Побежал по жилам воспаленным,
И в обиде Божьей назван — кровью.

Гадание

Горит свеча. Ложатся карты.
Смущенных глаз не подниму.
Прижму, как мальчик древней Спарты,
Лисицу к сердцу своему.

Меж черных пик девяткой красной,
Упавшей дерзко с высоты,
Как запоздало, как напрасно
Моей судьбе предсказан ты!

На краткий миг, на миг единый
Скрестили карты два пути.
А путь наш длинный, длинный, длинный,
И жизнь торопит нас идти.

Чуть запылав, остынут угли,
И стороной пройдет гроза...
Зачем же, вещие, как хоругви,
Четыре падают туза?

1921 г. Июль

Иван Савин

* * *

Оттого высоки наши плечи,
А в котомках акриды и мед,
Что мы, грозной дружины предтечи,
Славословим крестовый поход.

Оттого мы в служеньи суровом
К Иордану святому зовем,
Что за нами, крестящими словом,
Будет Воин, крестящий мечом.

Да взлетят белокрылые латы!
Да сверкнет золотое копье!

Я, немеркнущий славы глашатай,
Отдал Господу сердце свое.

Да приидет! Высокие плечи
Преклоняя на белом лугу,
Я походные песни, как свечи,
Перед ликом России зажгу.

* * *

Кто украл мою молодость, даже
Не оставив следов у дверей?
Я рассказывал Богу о краже,
Я рассказывал людям о ней.

Я на паперти бился о камни,
Правды скоро не выскажет Бог.
А людская неправда дала мне
Перекопский полон и острог.

И хожу я по черному свету,
Никогда не бывав молодым.
Небывалую молодость эту
По следам догоняя чужим.

Увели ее ночью из дому
На семнадцатом детском году,
И по-вашему стал, по-седому
Глупый мальчик метаться в бреду.

Были слухи — в остроге сгорела,
Говорили — пошла по рукам...
Всю грядущую жизнь до предела
За года молодые отдам!

Но безмолвен ваш мир отсиявший.
Кто ответит? В острожном краю
Скачет выжженной степью укравший
Неневестную юность мою.

1923

В. Сирин

Россия

Под окном моим, ночью, на улице,—
— да на улице города чуждого,—
под окном, и в углу, в каждой комнате,—

в каждой комнате,— да неприветливой,—
наяву и во сне,— словно в зеркале
отраженье свечей многоликое,—
предо мною, за мною,— повсюду ты,
ах, повсюду стоишь, незабвенная!
Все мы — странники, нищие, гордые:
и цари-то и голь перекатная...
заклинаем тебя, заклинаем мы:
где ты, лютая, где ты, любовная?
Отзовись! — Но молчишь ты, далекая,
— и глаза твои странникам чудятся,—
— то лучистые, то затемненные,
как вода в полдень солнечно-ветреный...
А теперь ты печалью потупилась,
одинокая ты, одинокая!
Скоро ль сын твой вернется из сумрака,
и возьмет тебя ласково за плечи,
и, безмолвно, глаза твои бедные
поцелуем откроет таинственным?
Ты потупилась, жалкая, чудная,—
— и душа твоя — нива несжатая:
наклоняйтесь колосья незримые,—
— думы кроткие, думы великие!
Где же серп? Он — в забытой часовенке;
на иконе, туманной, как облако,
— он белеет над ликом Спасителя...
Где же серп? Он в неведомом озере
в новолунье сияет, закинутый...
Ты потупилась, милая, милая!
Холодеешь в тумане мучительном;
твои руки бессильные светятся,
словно снежные ветви, недвижные...
Ах, летите, звените, весенники!
Да заплещут в лазури заплаканной
ветви яблони, яблони белые!..
Под окном моим, ночью, на улице,—
в моем сердце певучем и жалобном,—
за горами, за тучами, за морем,—
ты стоишь, о моя несравненная!..
Опечалена весью пылающей,
расклубившейся мглою обвеяна,
одинока, поругана многими,—
— но родимая, но неизменная!..

* * *

Пока в тумане странных дней
Еще грядущего не видно,
Пока здесь говорят о ней

Красноречиво и обидно,—

Сторонкой, молча, проберусь
И, уповая неизменно,
Мою неведомую Русь
Пойду отыскивать смиренно,—

По черным, сказочным лесам,
Вдоль рек, да по болотам сонным,
По темным пашням, к небесам
Бесплодной грудью обращенным!

Так побываю я везде,
В деревню каждую войду я...
Где ж цель заветная, о, где
Непостижимую найду я?

В лесу ли,— сумраком глухим
Сырого ельника сокрытой,—
Нагой, разбойником лихим
Поруганною и убитой?

Иль поутру, в селе пустом,
О, жданная! — пройдешь ты мимо,
С улыбкой на лице простом
Задумчиво-неуловимой?

Иль старушкой встанешь ты,
И в голубой струе кадильной,
Кладя дрожащие кресты,
К иконе припадешь бессильно?

Где ж просияет берег мой?
Где ж угадаю лик любимый?
Русь! Иль во мне, в душе самой—
Уж расцветаешь ты незримо?

* * *

Давно ль — по набережной снежной,
в пыли морозко-голубой,
шутя и нежно, и небрежно,—
— мы звонко реяли с тобой?

Конь вороной под сеткой синей,
метели плеск, метели зов,
глаза, горящие сквозь иней,
и влажность облачных мехов,

и огонек бледно-лиловый,

скользящнй по мосту, шурша,
н смех любвн, и цок подковы,
н наша вольная душа —
все это в памятн хрустальной,
как лунный луч, заключено...
«Давно ль?» — н вторит мне печально
лншь эхо дальнее: «Давно...»

Владислав Ходасевич

Мельница

Мельннца забытая
В стороне глухой.
К ней обоз не тянется,
И дорога к мельнице
Заросла травой.

Не плеснется рыбица
В голубой реке.
По скрипучей лесенке
Сходит мельник старенький
В красном колпаке.

Постоит, послушает,—
И грознт перстом
В даль, где дым нз-за лесу
Завился веревочкой
Над людским жильем.

Постоит, послушает,—
И пойдет назад:
По скрнпучей лесенке,
Поглядеть, как праздные
Жернова лежат.

Потрудились камушкн
Для хлебов да каш.
Сколько было ссыпано—
Столько было смолото,—
А теперь шабаш!

А теперь у мельннка —
Лес да тншина,
Да под вечер трубочка,
Да хмельная чарочка,
Да в окне луна.

* * *

Странник прошел, опнраясь на посох,—
Мне почему-то припомннлась ты.
Едет пролетка на красных колесах,—
Мне почему-то припомннлась ты.
Вечером лампу зажгут в корндоре,—
Мне непременно прнпомнншься ты.
Что б ни случилось, на суше, на море
Илн на небе,— мне вспомнншься ты.

Перед зеркалом

Я, я, я. Что за днкое слово!
Неужелн вон тот — это я?
Разве мама любнла такого,

Желто-серого, полуседого,
И всезнающего, как змея?

Разве мальчик, в Останкине летом
Танцевавший на дачных балах,—
Это я, тот, кто каждым ответом
Желторотым внушает поэтам
Отвращение, злобу и страх?

Разве тот, кто в полночные споры
Всю мальчишечью вкладывал прыть,—
Это я, тот же самый, который
На трагические разговоры
Научился молчать и шутить?

Впрочем, так и всегда в середине
Рокового земного пути:
От ничтожной причины к причине,
А глядишь — заплутался в пустыне,
И своих же следов не найти...

Да, меня не пантера прыжками
На парижский чердак загнала,
И Вергилия нет за плечами,
Только есть одиночество — в раме
Говорящего правду стекла.

Марина Цветаева

* * *

Пожирающий огонь — мой конь.
Он копытами не бьет, не ржет.
Где мой конь дохнул — родник не бьет,
Где мой конь махнул — трава не растет.

Ох, огонь — мой конь — несытый едок!
Ох, огонь — на нем — несытый ездок!
С красной гривою свились волоса...
Огневая полоса — в небеса!

* * *

Чердачный дворец мой, дворцовый чердак!
Взойдите. Гора рукописных бумаг...
Так.— Руку! — Держите направо,—
Здесь лужа от крыши дырявой.

Теперь полюбуйтесь, воссев на сундук,
Какую мне Фландрию вывел паук.
Не слушайте толков досужих,
Что женщина — может без кружев!

Ну-с, перечень наших чердачных чудес:
Здесь нас посещают и ангел, и бес,
И тот, кто обоих превыше.
Не долго — ведь с неба на крышу!

Вам дети мои — два чердачных царька,
С веселою музой моею,— пока
Вам призрачный ужин согрею,—
Покажут мою эмпирею.

— «А что с Вами будет, как выйдут дрова?»
— Дрова? — Но на то у поэта — слова
Всегда — огневые — в запасе!
Нам нынешний год не опасен...

От века поэтовы корки черствы,
И дела нам нету до красной Москвы!
Глядите: от края — до края —
Вот наша Москва — голубая!

А если уж слишком поэта доймет
Московский, чумной, девятнадцатый год,—
Что ж,— мы проживем и без хлеба!
Недолго ведь с крыши — на небо.

* * *

Есть колосья тучные, есть колосья тощие.
Всех равно — без промаху — бьет Господен цеп.
Я видала нищего на соборной площади:
Сто годов без малости,— а просил на хлеб.

Борода столетняя! — Чай забыл, что смолоду
Есть беда насущнее, чем насущный хлеб.
Ты на старость, дедушка, просишь,
Я — на молодость!
Всех равно — без промаху — бьет Господен цеп!

* * *

Благословляю ежедневный труд,
Благословляю еженощный сон.
Господню милость — и Господен суд,
Благой закон — и каменный закон.

И пыльный траур свой, где столько дыр!
И пыльный посох свой,— где все лучи!
— Еще, Господь, благословляю мир
В чужом дому — и хлеб с чужой печи!

* * *

Мое убежище от диких орд,
Мой щит и панцирь, мой последний форт
От злобы добрых и от злобы злых,—
Ты, в самых ребрах мне засевший стих!

* * *

Закинув голову и опустив глаза,
Пред ликом Господа и всех святых — стою.
Сегодня праздник мой, сегодня — Суд.

Сонм юных ангелов смущен до слез.
Угрюмы праведники. Только то,
На тронном облаке, глядит как друг.

Что хочешь — спрашивай. Ты добр и стар,
И ты поймешь, что с этаким в груди
Кремлевским колоколом — лгать нельзя.

И ты поймешь, как страстно день и ночь
Боролись Промысел и Произвол
В ворочающей жернова — груди.

Так, смертной женщиной — опущен взор,
Так гневным ангелом — закинут лоб,
В день Благовещенья, у Царских врат.

Перед лицом Твоим — гляди! — стою.
А голос — голубем покинув грудь —
В червонном куполе обводит круг.

* * *

У первой бабки четыре сына,
Четыре сына — одна лучина.

Кожух овчинный, мешок пеньки,—
Четыре сына — да две руки!

Как ни навалишь им чашку — чисто!
Чай не барчата,— семинаристы!

А у другой — по иному трахту:
У той тоскует в ногах вся шляхта.

И вот, смеется у камелька:
—«Сто принцев крови,— одна рука!»

И зацелованными руками
Чудит над клавишами, шелками...

Обеим бабкам я вышла внучка:
Чернорабочий — и белоручка!

Тебе через сто лет

К тебе, имеющему быть рожденным
Столетие спустя, как отдышу,—
Из самых недр — как на смерть осужденный —
Своей рукой пишу:

Друг! Не ищи меня! Другая мода!
Меня забыли даже старики!
— Ртом не достать! — Через летейски воды
Протягиваю две руки.

Как два костра глаза твои я вижу,
Пылающие мне в могилу — в ад,—
Ту видящие, что рукой не движет,
Умершую сто лет назад.

Со мной в руке — (почти что горстка пыли
Мои стихи!) — я вижу: на ветру
Ты ищешь дом, в котором родилась я — или
В котором я умру.

Твоя ладонь нежна — но сколь нежнее
Сия ладонь — держу ее! — была б,
Когда б сейчас — вот так — ко мне на шею
Тихонечко легла б!

(Прости за повторенья и длинноты,—
Ведь женщина, дружок! — И потому —
Что столько мне сказать Вам нужно — кто ты?! —
Как здесь — ни одному!)

На встречных женщин — тех — живых — счастливых —
Горжусь, как смотришь, и ловлю слова:
— «Сборище самозванок! Все мертвы вы!
Она одна — жива!

Идите, старьтесь над считаньем петель,
И жалуйтесь на рост дороговизн!

Ее могильный холм, где прах и пепел!—
Живей, чем ваша жизнь.

Служанками вкруг Самозванки Польской
Я б распростер вас, сборище теней!
Грабительницы мертвых! — Эти кольца
Украдены у ней!»

— О сто моих колец! — Мне тянет жилы,—
— Раскаиваюсь в первый раз! —
Что столько их я вкривь и вкось дарила,—
Тебя не дождалась!

И грустно мне еще, что в этот вечер
Сегодняшний — как долго шла я вслед
Садящемуся солнцу — и навстречу
Тебе — через сто лет.

Бьюсь об заклад, что бросишь ты проклятье
Моим друзьям, во мглу могил:
— «Все восхваляли! — Розового платья
Никто не подарил!

Кто бескорыстней был!..» Нет, я корыстна!
Раз не убьешь,— корысти нет скрывать,
Что я у всех вымаливала письма,
Чтоб ночью целовать.

Сказать? Скажу! — Небытие — условность.
Ты мне сейчас — страстнейший из гостей,
И ты откажешь перлу всех любовниц —
Во имя тех — костей.

Але

Молодой колоколенкой
Ты любуешься в воздухе.
Голосок у ней тоненький,
В ясном куполе —.звездочки.

Куполок твой золотенький,
Ясны звезды — под лобиком.
Голосок твой — тоненький,—
Ты сама — колоколенка!

* * *

— «Марина, спасибо за мир!» —
Дочернее странное слово.

И вот — расступился эфир
Над женщиной светлоголовой.

Но рот напряжен и суров.
Умру, а восторга не выдам!
— Так с неба Господь Саваоф
Внимал молодому Давиду.

* * *

Я не танцую,— без моей вины
Пошло волнами розовое платье.
Но вот — обеими руками — вдруг —
Подстережен — накрыт и пойман — ветер.

Молчит, хитрец.— Лишь там, внизу колен,
Чуть-чуть в краях подрагивает.— Пойман!
— О, если б Прихоть я сдержать могла,
Как разволнованное ветром платье!

* * *

Развела тебе в стакане
Горстку жженых волос.
Чтоб не елось, чтоб не пелось,
Не пилось, не спалось.

Чтобы молодость — не в радость,
Чтобы сахар — не в сладость,
Чтоб не ладил в тьме ночной
С молодой женой.

Как власы мои златые
Стали серой золой,
Так года твои младые
Станут белой зимой.

Чтоб ослеп — оглох,
Чтоб иссох, как мох,
Чтоб ушел, как вздох.

* * *

Я — страница твоему перу.
Все приму: я белая страница.
Я — хранитель твоему добру:
Возращу и возвращу сторицей.

Я деревня, черная земля.
Ты мой луч и дождевая влага.
Ты — Господь и Господин,— а я —
Чернозем — и белая бумага!

Бабушке

1

Когда я буду бабушкой
— Годов через десяточек * —
Причудницей — забавницей —
Вихрь с головы до пяточек!

И внук — кудряш — Егорушка
Взревет: — «Давай ружье!» —
Я брошу лист и перышко:
— Сокровище мое! —

Мать плачет: «Год три месяца,
А уж гляди, как зол!»
А я скажу: «Пусть бесится!
Знать, в бабушку пошел!»

Егор, моя утробушка!
Егор, ребро от ребрушка!
Егорушка, Егорушка,
Егорий — свет — храбрец!

Когда я буду бабушкой:
— Седой каргою с трубкою —
И внучка в полночь крадучись
Шепнет, взметнувши юбками:

— «Кого, скажите, бабушка,
Мне взять из семерых?» —
Я опрокину лавочку,
Я закружусь как вихрь.

Мать: «Ни стыда, ни совести!
И в гроб пойдешь, пляша!»
А я-то: «На здоровьице!
Знать, в бабушку пошла!»

В чьем доме ни сориночки,
Тот скушен — на перинушке!
Маринушка, Маринушка,
Марина — синь-моря!

* 26 лет, Але — 6 л.

— «А целовались, бабушка —
Голубушка, со сколькими?»
— «Я дань платила — песнями,
Я дань взимала — кольцами!

Ни ночки — даром — проспанной:
Все в райском во саду!»
— «А как ты, бабка, Господу
Предстанешь на суду?»

— «Свистят скворцы в скворешнице,
Весна-то — глянь! — бела...
Скажу: родимый,— грешница...
Счастливая была!»

Вы ж, ребрушки от ребрушка,
Маринушка с Егорушкой,
Моей землицы горсточку
Возьмите в узелок.

2

А как бабушке
Помирать, помирать,
Стали голуби —
Ворковать, ворковать.

— «Что ты, старая,
Так лихуешься?»
А она в ответ:
— «Что воркуете?»

— «А воркуем мы
Про твою весну!»
— «А лихуюсь я,
Что идти ко сну.

Что навек усну
Сном закованным —
Я, бессонная,
Я, фартовая.

Что луга мои яицкие не скошены,
Жемчуга мои бурмицкие не сношены,
Что леса мои волынские не срублены,
На Руси не все мальчишки перелюблены!»

А как бабушке
Отходить, отходить —
Стали голуби

В окна крыльями бить.

— «Что уж страшен так,
Бабка, голос твой?»
— «Не хочу отдать
Девкам молодцев!»

— «Нагулялась ты,—
Пора знать и стыд!»
— «Этой малостью
Разве будешь сыт?

Что над тем костром
Я — холодная,
Что за тем столом
Я — голодная».

А как бабушку
Понесли, понесли —
Все-то голуби
Полегли, полегли:

Книзу — крылышком,
Кверху — лапочкой.
— Помолитесь, внучки юные, за бабушку!

* * *

Восхищенной и восхищенной,
Сны видящей средь бела дня —
Все спящей видели меня.
Никто меня не видел сонной.

И оттого, что целый день
Сны проплывают пред глазами —
Уж ночью мне ложиться — лень.
И вот, тоскующая тень,
Стою над спящими друзьями.

* * *

Поступь легкая моя,
— Чистой совести примета,—
Поступь легкая моя,
Песня звонкая моя.

Бог меня одну поставил
Посреди большого света.
— Ты не женщина, а птица.
Посему — летай и пой!

А. Черный

В пути

На миг забыть, и вновь ты дома:
До неба — тучные скирды,
У риги — пыльная солома,
Дымятся дальние пруды,
Снижаясь, аист тянет к лугу,
Мужик коленом вздел подпругу,—
Все, до пастушьей бороды,
Увы, так горестно знакомо!
И бор, замкнувший круг небес,
И за болотцем плеск речонки,
И голосистые девчонки,
С лукошком мчащиеся в лес...
Строй новых изб вдаль вывел срубы.
Сады пестреют в тишине.
Печеным хлебом дышат трубы,
И Жучка дремлет на бревне.
А там, под сливой, где белеют
Рубахи вздернутой бока,—
Смотри, под мышками алеют
Два кумачовых лоскутка!

Но как забыть! На облучке
Трясется ксендз с бадьей в охапке,
Перед крыльцом, склонясь к луке,
Гарцует стражник в желтой шапке.
Литовской речи плавный строй
Звенит забытою латынью...
На перекрестке, за горой,
Христос, распластанный над синью.
А там у дремлющей опушки
Крестов немецких белый ряд:
Здесь бой кипел, ревели пушки...
Одни живут,— другие спят.
Очнись. Нет дома,— ты один:
Чужая девочка сквозь тын
Смеется, хлопая в ладони.
В возах — раскормленные кони,
Пылят коровы, мчатся овцы,
Проходят с песнями литовцы —
И месяц, строгий и чужой,
Встает над дальнею межой...

Табак

Над жирной навозной жижей
Кустятся табачные листья.

Подойдем вдоль грядок поближе,
Оборвем порыжевшие кисти.
    Ишь, набухли, как рыхлые губки...
    Подымайте-ка, ксендз, ваши юбки!

Под крышей над тихой верандой
Мы развесили листья пучками,
И, плавно качаясь гирляндой,
Они зажелтеют над нами.
    Такой же пейзаж янтарный
    Я видел на коробке сигарной.

Будем думать, что мы на Цейлоне...
Впрочем, к черту Цейлон, не надо!
Вон пасется на солнечном склоне
Литовское пестрое стадо:
    Мчатся черные свиньи, как шавки,
    Конь валяется точно на травке.

Набьем табаком наши трубки,
Пусть струится дымок лиловатый...
Как пестры деревенские юбки
Вдоль опушки у новой хаты!
    На закате туда мы нагрянем
    И душистого меду достанем.

Я — поэт, а вы — ксендз литовский,—
Дай вам Бог и сил и здоровья!
Налетает ветер чертовский
И доносит мычанье коровье,
    А за дымом, вдоль склонов нагорий,
    Колыхается сизый цикорий.

Тэффи

Тоска

Не по-настоящему живем мы, а как-то «пока»,
И развилась у нас по родине тоска,
Так называемая ностальгия.
Мучают нас воспоминания дорогие,
И каждый по-своему скулит,
Что жизнь его больше не веселит.
    Если увериться в этом хотите,
Загляните хотя бы в «The Kitty».
Возьмите кулебяки кусок,
    Сядьте в уголок,
Да последите за беженской братией нашей
Как ест она русский бо́рщ с русской кашей.

Ведь чтобы так — извините — жрать,
      Нужно действительно за родину-мать
      Глубоко страдать.
И искать, как спириты с миром загробиым,
Общения с нею хоть путем утробным.

* * *

Тоскуют писатели наши и поэты,
Печатают в газетах статьи и сонеты.
      О милом былом,
      Сданном на слом.
Lolo хочет звона московских колоколен,
Без колоколен Lolo совсем болен.
Аверченко, как жуир и фраит,
      Требует — восстановить прежний прейскурант
На все блюда и на все вина,
Чтобы шесть гривен была лососина,
Два с полтиной бутылка бордо
И полтора рубля турнедо.
      Тоже Москву надо
      И Дону Аминадо.
Поет Аминадо печальные песни:
      Аминадо, хоть тресни,
      Хочет жить на Пресне.
А публицисты и журналисты,
И лаконичны и цветисты,
Пишут, что им нужен прежний быт,
Когда каждый был одет и сыт.
(Милые! Уж будто и в самом деле
Все на Руси, сколько хотели,
      Столько и ели?)

* * *

У бывшего помещика ностальгия
Принимает формы другие:
Эх-ма! Ведь теперь осенняя пора!
Теперь бы махнуть на хутора!
Вскочить бы рано, задолго до света,
Пока земля росою одета,
Выйти бы на крыльцо,
Перекинуть бы через плечо ружьецо,
Свистнуть собаку, да в поле
За этими, ушатыми... как их... зайцы что ли...
      Идти по меже. Собака впереди.
      Веет ветерок. Сердце стучит в груди...
Вдруг заяц! Ту-бо! Смирно! Ни слова!

Приложился... Трах! Бац! Готово! —
Всадил дроби заряд
Прямо собаке в зад.
А потом вечерком в кругу семейном чинном
Выковыривать дробинки ножом перочинным...

* * *

Ну что же,— я ведь тоже проливала слезы
По поводу нашей русской березы:
«Ах, помню я, помню весенний рассвет!
Ах, жду я, жду солнца, которого нет...
Вижу на обрыве, у самой речки
Теплятся березоньки — Божьи свечки,
Тонкие, белые — зыбкий сон
Печалью, молитвою заворожен.
Обняла бы вас, белые, белыми руками,
Пела, причитала бы, качалась бы с вами...»

* * *

А еще посмотрела бы я на русского мужика,
Хитрого, ярославского, тверского кулака,
Чтоб чесал он особой ухваткой,
Как чешут только русские мужики —
Большим пальцем левой руки
Под правой лопаткой.
Чтоб шел он с корзинкой в Охотный ряд,
Глаза лукаво косят,
Мохрится бороденка:
— Барин! Купи куренка!
— Ну и куренок! Старый петух.
— Старый?! Скажут тоже!
Старый. Да ен, може,
На два года тебя моложе!

* * *

Эх, видно все мы из одного теста!
Вспоминаю я тоже Москву, Кремль, Лобное Место...
Небо наше синее — синьки голубей...
На площади старуха кормит голубей:
«Гули-гули, сизые, поклюйте на дорогу,
Порасправьте крылышки, да кыш-ш... прямо к Богу.
Получите, гулиньки, Божью благодать
Да вернитесь к вечеру вечерню ворковать».

...— Плачьте, люди, плачьте, не **стыдясь печали!**
Сизые голуби над Кремлем летали!..

* * *

Я сегодня с утра несчастна:
Прождала почты напрасно,
Пролила духов целый флакон
И не могла дописать фельетон.
От сего моя ностальгия приняла новую форму
И утратила всякую норму,
Et ma position est critique.
Нужна мне и береза и тверской мужик,
И мечтаю я о Лобном Месте —
И всего этого хочу я вместе!
Нужно, чтоб утолить мою тоску,
Этому самому мужику
На этом самом Лобном Месте
Да этой самой березы
Всыпать, не жалея доброй дозы,
Порцию этак штук в двести.
Вот. Хочу всего вместе!

Дон-Аминадо

У врат царства

Все опростáли. И все опростили.
Взяли из жизни и нежность, и звон.
Бросили наземь. Топтали и били.
Пили. Растлили. И выгнали вон.

Долго плясала деревня хмельная.
Жгла и ходила смотреть на огонь.
И надрывалась от края до края
Хриплая, злая, шальная гармонь.

Город был тоже по-новому весел.
Стекла дырявил и мрамор дробил.
Ночью в предместьях своих куролесил,
Братьев готовил для братских могил.

Жили, как свиньи. Дрожали, как мыши.
Грызлись, как злые, голодные псы.
Строили башню, все выше и выше,
Непревзойденной и строгой красы.

Были рабами. И будут рабами.
Сами воздвигнут. И сами сожгут.
Господи Боже, свершишь ли над нами
Страшный, последний, обещанный Суд?!

Жиронда

Три года царствуют ослы,
И пусть, ослы и не Ликурги,
У них есть в Англии послы
И два балета в Петербурге.
У них — и армия и флот,
Краса и гордость революций.
У них — Путиловский завод,
Сей собирательный Конфуций.
А их влияние на умы!
Уменье властвовать и править!
Что можем — я, и вы, все мы
Упорству их противоставить?!
На протяженьи этих лет
Сердца, готовые проснуться,
Какой писатель, иль поэт
Заставил в муке содрогнуться?
Болтун приезжий в кабачке,
Поклонник собственных рассказов?
Или, в потертом пиджачке,
Опять Алеша Карамазов?!
А мы, бессильные помочь,
Копили желчь свою упрямо
И повторяли день и ночь:
Россия — яма, яма, яма.
Петлюра, гетман, дьявол, черт!
При каждом рявканин пушки
Мы лезли толпами на борт,
На паровозы и в теплушки.
И что везли? Холопский гнев
Лишенных собственного крова,
И утешение, что Лев
Не Троцкий Лев, а Троцкий Лева!
Четвертый год холодной мглы.
Четвертый год — одно и то же.
Произведи нас хоть в ослы.
О, Боже, милостивый Боже!

Свершители

Расточали каждый час.
Жили скверно и убого.

И никто, никто из нас
Никогда не верил в Бога.

Ах, как было все равно
Сердцу — в царствии потемок!
Пили красное вино
И искали незнакомок.

Возносились в облака.
Пережевывали стили.
Да про душу мужика
Столько слов наворотили,

Что теперь еще саднит,
При одном воспоминаньи.
О, Россия! О, гранит,
Распылившийся в изгнаньи!

Ты была и будешь вновь.
Только мы уже не будем.
Про свою к тебе любовь
Мы чужим расскажем людям.

И, прияв пожатье плеч,
Как ответ и как расплату,
При неверном блеске свеч
Отойдем к Иосафату.

И потомкам в глубь веков
Предадим свой жребий русский:
Прах ненужных дневников
И Гарнье — словарь французский.

Эдем

Made in Russia

Расстреливают щедро и жестоко.
Казнят за ять. И воспевают труд.
Интеллигенция разучивает Блока
И пишет на машинках Ундервуд.

Все силятся получше и покраше
Господние дары размалевать.
Послал бы я их к чертовой мамаше!
Да совестно... хоть чертова, а мать.

Очень просто

Дипломат, сочиняющий хартии,
Секретарь политической партии,

Полномочный министр Эстонии,
Представитель великой Ливонии,
Президент Мексиканской республики,
И актер без театра и публики,
Петербургская барыня с дочками,
Эмигрант с нездоровыми почками,
И директор трамвая бельгийского,
Все... хотят возрожденья российского!
И, поэтому, нужно доказывать,
Распоясаться, плакать, рассказывать
Об единственной в мире возлюбленной,
Распростертой, распятой, загубленной,
Прокаженной и смрадной уродине,
О своей незадачливой родине,
Где теперь, в эти ночи пустынные,
Пахнут горечью травы полынные,
И цветут, и томятся, и маются,
По сырой, по земле расстилаются.

Писаная торба

Я не могу желать от генералов,
Чтоб каждый раз, в пороховом дыму,
Они республиканских идеалов
Являли прелести. Кому? и почему?!

Когда на смерть уходит полк казацкий,
Могу ль хотеть, чтоб каждый, на коне,
Припоминал, что думал Златовратский
О пользе просвещения в стране.

Есть критики: им нужно до зарезу,
Я говорю об этом, не смеясь,
Чтоб даже лошадь ржала марсельезу,
В кавалерийскую атаку уносясь.

Да совершится все, что неизбежно:
Не мы творим историю веков.
Но как возвышенно, как пламенно, как нежно —
Молюсь я о чуме для дураков!

После всего

Ну, итак, господа отрицатели,
Элегантные циники, скептики,
Извергатели слов, прорицатели,
Радикалы с прохвостинкой, критики.

Псалмопевцы грядущей республики.
Забияки, танцоры на кладбище,
И любимцы почтеннейшей публики,
Что ж теперь вы довольны, не правда ли?!

Разве вы не твердили, что истина
Воссияет, как солнце горячее
Над холодными тундрами севера,
Если в тундрах созвать предпарламенты?!

Ах, вы все гениально предвидели,
Расторопные чижики-пыжики,
Талейраны из города Винницы,
Постояльцы и вечные дачники!

Торжествуйте же вы, предсказатели,
Игрецы на затейливых дудочках,
Всероссийская голь перекатная
Без души и без роду, без племени.

Только тише ходите по улицам,
Не болтайте в трамваях, в кондитерских,
Притворяйтесь бразильцами, чехами,
Но — ни слова о том, что вы русские!..

Ибо третьего дня иль четвертого
Мы имели хоть призрак отечества,
И за смутную тень полуострова
Нас терпели консьержи с консьержками.
А сегодня...

О, Господи праведный!
Об одном я молю Тебя, Господи!
Сделай так, чтоб не слышал я жалобы
Недержателей речи рифмованной,

Ибо горше, чем тупость противников,
Вопиющая пошлость соратников!
Ибо несть от друзей избавления,
Аще несть твоего повеления.

Про белого бычка

Мы будем каяться пятнадцать лет подряд,
С остервенением. С упорным сладострастьем.
Мы разведем такой чернильный яд
И будем льстить с таким подобострастьем
Державному Хозяину Земли,
Как говорит крылатое реченье,

Что нас самих, распластанных в пыли,
Стошнит и даже вырвет в заключенье.
Мы станем: чистить, строить и тесать.
И — сыпать рожь в прохладный зев амбаров.
Славянской вязью вывески писать
И вожделеть кипящих самоваров.
Мы будем ненавидеть Кременчуг:
За то, что в нем не собиралось вече.
Нам станет чужд и неприятен юг
За южные неправильности речи.
Зато, какой-нибудь Валдай или Торжок
Внушат немалые восторги драматургам.
И умилит нас каждый пирожок
В Клину, между Москвой и Петербургом.
Так протекут и так пройдут года:
Корявый зуб поддерживает пломба.
Наступит мир. И только иногда
Взорвется освежающая бомба.
Потом опять увязнет ноготок.
И станет скучен самовар московский.
И лихача, ватрушку и Восток
Нежданно выбранит Димитрий Мережковский.
Потом... О, Господи, Ты только вездесущь
И волен надо всем преображеньем!
Но, чую, вновь от беловежских пущ
Пойдет начало с прежним продолженьем.
И вдруг оси опишет новый круг
История, бездарная, как бублик.
И вновь на линии Вапнярка—Кременчуг
Возникнет до семнадцати республик.
И чье-то право обрести в борьбе
Конгресс Труда попробует в Одессе.
— Тогда, о, Господи, возьми меня к себе,
Чтоб мне не быть на трудовом конгрессе!

ДРАМАТУРГИЯ

Илья Сургучёв

Реки вавилонские

I

Кабинка в эмигрантском бараке в одном из лагерей поблизости от Константинополя. В углу одеялами отгорожена кровать Нины Александровны. Беженский скарб. Пьют чай.

Васильев. Я понял теперь две вещи: во-первых, что будут еще войны почище этой; что мужчины истребят друг друга вконец и что на земле будет женское, бабье царство. Недаром слово «земля» женского рода. И жить на ней предназначено бабе.

Марьюшкин (*плохо слушая*). Понес дядя... Илья Пророк какой выискался...

Васильев. Нет, не понес. Факт, а не реклама. Бабы будут здесь. Будет пчелиный улей. Царицей будет матка. И на земле будет чистота, порядок, спокой. Жизнь совсем переменится...

Егоров. Ну, а мужчин так совсем и не будет?

Васильев. Как не будет? Будут! Чтоб мужчины не было,— до этого баба не допустит. Будут, но мало. Все будет как в улье. Будут трутни. Их будут кохать, любить, а потом убивать. Выведут молодца до 21 года, возьмут от него, что надо, и долой. Вера такая новая будет, по всем правилам его отпоют, обрядят,— может, даже в царскую одежу на прощанье обрядят и в могилу зароют. Бабы и веру новую выдумают, и все будут как одна: как русская, как немка, как еврейка, как француженка. Все под одну бирку. И, главное, как в женском монастыре будет: всюду — чистота, порядок, песочек, дорожки, георгины. В домах — занавесочки, лампадки. И будет земля-монастырь. Тогда все успокоится. Очистится, вздохнет земля. Много греха с нее смоется.

Марьюшкин. Разговорчивый ты, Васильев, человек.

Васильев. Разговорчивый там, неразговорчивый, а ей-Богу. Нет, жалко, что человек из могилы не может вылезть так минут хоть на пять, хоть одним глазом окинуть все окрест. Интересно.

Егоров. А войны, говоришь, будут еще?

Васильев. Об-бязательнейшим образом! Люди сперва не будут сами сражаться. Выучат обезьян, волков, тигров, верблюдов. А когда это зверье перебьет друг друга...

Егоров. Ну вот и ерунду наплел. Волк против волка или, скажем, обезьяна против обезьяны никогда не пойдут друг против друга...

Васильев. Хо-хо, не пойдут! Человек выучит, он, брат, камни на камни, гору на гору натравит, до всего допрет... Человек прет, во! И притом он — злее всякой змеи, всякого василиска, и один какой-нибудь такую штукенцию удумает, что сразу все твои армии с лица земли сотрет. И вот тогда-то баба и останется. И она управит землею, лучше нашего управит. Баба — много благоразумнее мужика. Бестолковей, упрямистей, а благоразумней. Она все это как-то верхним чутьем слышит. Да ты посмотри вот на наш барак несчастный. Все ведь губернаторы бывшие, да начальники, да председатели, да камер-юнкера придворные, а посмотришь, прислушаешься — нет у них разумения верхнего, самого достойного. А ты на Нину посмотри.

Марьюшкин. Кому Нина, а тебе — Нина Александровна...

Васильев. Ну, на Нину Александровну. Другой колснкор. В высшие разговоры она не вникает, только улыбается, а зато как она муку своей бабьей кавалькаде раздает, как молоко сгущенное по ложечке разольет или этот желтый сахар по одному золотнику развесить,— ведь это какое терпение, какой аккурат нужен. А как с англичанами разговаривает! Англичанин — человек грубый, недоступный, воображает о себе больше вчерашнего — и тот ее слушает и верхней губой своей толстой шевелит. Вот такие бабы королевами будут. А вот и она, легка на помине.

Нина Александровна (*входя*). Что, что такое? Что вы тут о королевах расписываете, неисправимый монархист вы этакий?

Егоров. Васильев ошалел от безделья — ну вот и разводит тут планы всякие. Такие, как вы, говорит, королевами в будущей жизни будут...

Нина [**Александровна**]. Это на том свете? Где угольками платят?

Она что-то принесла с собой в корзиночке, теперь все это выкладывает, пересматривает, разводит примус, начинает что-то варить.

Егоров. Нет, на земле, здесь, лет через сто, когда мужики-дураки друг друга истребят, когда на земле одно бабье царство будет.

Нина [**Александровна**]. Бабье царство? Ну до этого еще далеко. Еще вашего брата много останется.

Васильев. Истребимся, матушка, истребимся. Так и будем стукать друг друга, как бильярдные шары. Останетесь вы на земле одни, как пчелки, состроите большой улей, высотой до небес. Мужики-то вавилонские во время оно башню высотой до небес строить хотели,— оказалось это ни к чему. Башня не нужна, улей нужен. Улей — высотою до небес. И к этому жизнь идет. Вот Бог и смешал языки наши...

Нина [**Александровна**]. А войны будут?

Васильев. Ой, матушки! А они переставали? Они теперь, как болезнь, вовнутрь вошли.

За сценой шум. Крики: «Извините-с! Это — моя часть».— «Нет, моя».— «Извините-с, вы вчера заграбастали и сегодня хотите?» — «Господа! Оставьте!»

В кабинку, с хлебом в руках врываются **Губернатор** *и* **Камер-юнкер**.

Губернатор. Нина Александровна! При вас я вчера хлеб делил?

Камер-юнкер. Нет, позвольте, в конце концов, нужно же по порядку?

Губернатор. Нет, уж на сей раз вы позвольте. Я вам слишком много позволял!

Камер-юнкер. Вы эти ваши сатрапские привычки оставьте: нраву моему не препятствуй. Это вам, в конце концов, не Курская губерния. Я сам, батюшка, камер-юнкером при двух императорах был.

Губернатор. Лакейская должность, батюшка!

Камер-юнкер. Ах ты, Боже мой! Лакейская должность! Это давно вы стали так вот либеральничать вслух? А сколько этаким лакеям, когда, бывало, приезжали в Петербург за крестиком иль за местишком,— скольким вы таким «лакеям» ручки лизали?

Губернатор. Если вам угодно знать, я, сударь мой, никому ручек не лизал. Это всякий скажет, кто меня знает. Этим вот, горбом, дослужился до своей, как вы говорите, сатрапской должности. Из помадной банки в молодости писал.

Камер-юнкер. Все равно, какая бы она ни была. Царь был, и вы служили.

Губернатор. Служба разная при царе была.

Камер-юнкер. Все равно, какая бы она ни была. Царь был, и вы вон в губернаторском дворце жили, и хоть человек вы не того, а все-таки при порядке,— и сами порядок чинить умели...

Губернатор. Если вам угодно знать, для порядка у меня полицмейстер да архиерей были. А вы вот хвосты бабьи на выходах носили!

Камер-юнкер. Хвосты! Бабьи! Люди добрые! Послушать только, как он разговаривает! Теперь вы смелы, а вот тогда бы вы сказали «бабьи хвосты».

Губернатор. И тогда говорили...

Камер-юнкер. Говорили?

Губернатор. Говорили.

Камер-юнкер. Ну ладно. Пусть говорили. Нина Александровна! Благоволите разрешить спор. (*Показывая две половинки хлеба.*) Правильно хлеб разрезан или нет?

Губернатор. Какая половина больше? Эта или эта?

Нина [Александровна] (*улыбаясь*). Эта.

Камер-юнкер. Что? Вот он, Соломонов суд. Выкусили?

Губернатор. Бож-же ж мой! Какой жаргон! Какой стиль!

Камер-юнкер. Что там стиль? Вы, ваше превосходительство, карт не подтасовывайте. (*Отрывает кусочек хлеба и ест.*) Тут, батюшка, не до стилей теперь. Все стили смешались. Вот бы хорошо поскорее забыть все это прежнее. (*Губернатор тоже отщипывает хлеб и ест.*) Отчего? Отчего это человек забыть не может вот того, прежнего? Зачем существуют сны?

Губернатор (*мирным тоном*). Сны необходимы человеку до 21 года. Как в солдаты его взяли,— я с вами согласен: снов не нужно.

Нина Александровна. А женщинам? Тоже до 21 года, до совершеннолетия?

Губернатор. А женщина замуж вышла, сны кончены.

Нина Александровна. Kinder, Küchen, Kirche. Три «к»?

Губернатор. Четыре. Четвертое «к» — капот.

Камер-юнкер. Ваше превосходительство! Вы — зубр.

Губернатор ест хлеб и смеется.

Губернатор (*шепотом Нине Александровне*). Ведь я дразню его!

Камер-юнкер. Ах, эти сны!

Губернатор (*поддразнивая*). Двор, Царское Село, 6 мая, сирень цветет, деревья подстрижены, аллеи утрамбованы. Его Величество встал в добром здравии, был милостив, кормил сахаром лошадей.

Камер-юнкер. Да, да. Кормил сахаром лошадей. Ему вот так выносили на тарелочке, он брал и давал лошади прямо в рот.

Губернатор. В ротик.

Камер-юнкер. Лошадь, ласковая и умная, слюнявила перчатку, а он вынимал платок и вытирал ее и смеялся.

Губернатор. Лошадь вытирал?

Камер-юнкер. Перчатку.

Губернатор (*искренне*). Бож-же мой, Боже мой! А мой дворец одними окнами, из служебного кабинета, выходил на бульвар, а другими — из столовой на реку. И терраса была широкая такая, во весь дом,— хоть свадьбу играй. Бывало, летним вечером сядешь пить чай,— плывут пароходы, огни зеленые, огни красные. Бинокль возьмешь — у меня хороший бинокль был, цейсовский,— людей видишь: в фуражке купец-старовер, палуба первого класса, палуба второго класса.

Губернаторша (*из соседней кабинки*). Замолчи, Вольдемар! Ну что опять разболтался? Кому это нужно? Совсем в детство впадать начал.

Губернатор (*притворно испугавшись*). Т-сс! Голос из провинции!

Васильев (*вполголоса*). Ваше превосходительство! А ведь губернией-то она правила, а? Ну сознайтесь по совести! Раз в жизни!

9—289

Камер-юнкер закатисто, довольно смеется.

Губернатор. Слушайте, Васильев. Вы — милый человек, вы кровать мне к стенке приладили, но все-таки не всякие разговоры я с вами допустить могу. Вы-то кто такой? Кто вы?

Васильев. Я? Филер.

Губернатор. Филер?

Камер-юнкер — взрыв смеха.

Васильев. Филер.

Губернатор. Из особого отдела?

Васильев. Да. Из особого отдела.

Губернатор (*смущенно*). Интересно. Вот не знал. Вы такой занятный человек. Рассуждаете обо всем. О звездах понятие имеете.

Васильев. Я о многом понятие имею, ваше превосходительство.

Губернатор. Откуда же это у вас?

Васильев. Как откуда? Времени много бывало свободного. Бывало, стоишь на наблюдении. Задана тебе задача: узнать, куда человек пойдет. А он, окаянный, вместо того, чтобы встать да пойти,— сидит и час, и два, а то, иной раз, и пять часов отсидит. Ну вот, стоишь, стоишь,— смотришь, уже и сумерки, уже и звезда вечерняя прорезалась, за ней — другая, а там и весь чертеж небесный вышел. Смотришь и думаешь... Сегодня на тебе седой паричок и бородка: ты — старичок. Завтра — брюнет, усы черные как смоль, на голове котелок...

Камер-юнкер. О чем же думаешь, Шерлок Холмс? Все о звездах?

Васильев (*с холодком*). И о звездах, и о всем прочем, ваше сиятельство! Доложу я вам, что на звезды очень полезно смотреть. Очень! Особенно в первый вечерний час. Это отменный театр, ваше превосходительство! И свой фонарщик на небе есть.

Камер-юнкер. А скажите, пожалуйста, театрал вы этакий, служитель Мельпомены, это чья же постель?

Нина Александровна. Это — сожителя нашего Валерьяна Николаевича.

Камер-юнкер. Это — бритый такой?

Губернатор (*радостно*). Он на днях мне свое варенье уступил. Я, говорит, его не ем.

Камер-юнкер. А он тоже филер, этот Валерьян Николаевич?

Нина Александровна. Он — художник.

Камер-юнкер. Художник?

Губернатор. Да-с, художник. Вот и с художниками привел Бог пожить.

Камер-юнкер. Что же он рисует? Пригорки? Ручейки? А сколько ему лет?

Нина Александровна. Ему лет? Не спрашивала, но думаю лет 37—36.

Камер-юнкер. Лет 36—37? Всегда боялся людей, имеющих сорок лет, бороду и пишущих стихи. Толковый художник?

Нина Александровна (*немного задетая*). Вы Третьяковскую галерею знаете?

Камер-юнкер. Это — в Москве?

Нина Александровна. Да, в Москве.

Камер-юнкер. Знаю. Слышал.

Нина Александровна. Ах, только слышали? А бывать не бывали?

Камер-юнкер. Господи! Да когда же?

Губернатор. А я бывал. Я учился в Московском университете.

Нина Александровна. Ну так вот. В этой галерее висят две его картины.

Камер-юнкер. Хорошие?

Нина Александровна. Надо думать, раз купила Третьяковская галерея.

Губернатор. Боже ж ты мой! Московский университет! 12 генваря! Молодость!

Лекцни! Тверской бульвар! Храм Христа Спасителя строили! Боже ж мой! Только что с женой моей теперешней познакомился! Она такая была румянеиькая, полненькая, черноглазая, губы, как внишенки... Ночн не спал, все о ией думал, со звездами беседовал...

Камер-юнкер. Маргарнта!

Губернаторша. Пошел, поехал! Молчал бы уж...

Губернатор комически затыкает уши.
Входит Художник.

Художиик. Здравствуйте!

Все. Здравствуйте. Добрый вечер.

Губернатор (*здоровается за руку*). Здоровеиькн булы. Очень благодарю вас, еще раз, за варенье. Вы зиаете? Когда я ем вареиье, я испытываю эстетическое наслажденне: так говорнл мой архнерей Агафаигел. У нас, в губерннн, малниовое варенье так н звали архнерейским.

Художник. Могу вам н еще дать.

Губерватор. Разве у вас еще есть?

Художннк. Целую баику купил.

Камер-юикер. Позвольте-с! В коисэ консов, у вас, следовательно, есть пнасеры?

Художник. Есть пнасеры.

Губернатор (*шутя*). Тогда, в консэ коисов, я с вамн дружу.

Камер-юикер. Счастливый! А я все, что имел, уже, как говорят здесь, загнал н деньгн прожнл. Купил того, сего... И теперь — яко благ, яко наг, яко иет инчего. Однн вот серебряный петровскнй рубль остался. Хотя, говорят, прошел слушок, что всех нас в самом скором временн берут к себе, на полное содержаиие, в консэ коисов, венгерские магнаты.

Васнльев (*внезапно*). Висло.

Губерватор (*ошарашенный*). Что такое? Какое слово вы пронзиесли?

Васнльев (*смеясь*). А-га, ва́ше превосходнтельство! Узналн? Висло!

Губернатор. Знакомое словцо!

Васильев. Вспомнилн, ваше превосходнтельство?

Губернатор. Но позвольте! Откуда это у вас?

Васильев (*смеётся*). Ах, ваше превосходнтельство! Да я же у вас в городе служнл. Зиаю вас, как облупленное янчко. Следил за вамн. Вы у меия под иаблюденнем былн! И за Агафангелом вашим следнл!

Губернатор. Господн Инсусе Хрнсте! Да неужто правда?

Васнльев. Вот вам святой крест. И подтвердить могу вот перед нх сиятельством. Вероятно, н вправду вы, ваше превосходительство, бабьнх хвостов на своем веку не носилн. На серьезном подозреннн былн...

Губернатор (*Камер-юнкеру*). Слышите?

Камер-юнкер (*пожимает плечами*). Ну что же? В консэ консов, очень жаль,— одио могу сказать.

Васнльев. Зиаю, ваше превосходительство, про какое вы малиновое варенье рассказывать нзволнте. Знаю, как вы с Агафангелом водочку через помидорчнк кушалн. И с поваром вашнм зиаком был, с Иваиом Тнхоновым...

Губерватор. Верно. Вернíссимо: Иван Тнхоиыч. 18 лет у ме́ия служил.

Васнльев. Вот то-то н оио-то. Знаю, как вы на архнерейской даче...

Губернатор (*показывая на перегородку, в сторону губернаторши*). Т-ссс... Молчанне!

Пауза.

Губерваторша. Шел бы ты, твое превосходнтельство, домой, восвояси. Спать

9*

пора. Завтра рано вставать. Не забывай, что завтра ты — дежурный по кухне.

Губернатор. Я сейчас, матушка. Я вот жду. Видишь, Нина Александровна картошечку жарит. Она и нам парочку соблаговолит.

Нина Александровна. Не жарит, а варит.

Губернаторша (*смеется*). У него всегда так. Пирог жарят, утку пекут, шашлык варят.

Губернатор. Ну уж, матушка, ты не преувеличивай. Насчет шашлыка я основательно знаю, что его вот так на шомполе поворачивают, а он шипит: ж-ж-ж...

Художник. Да, ваше превосходительство, картошечка, лучок, вареньице, а там, в великолепной солнечной дали, в молчаливых, строгих дворцовых залах, висят Венеры Тициана, концерты Джорджоне. Знаете этот, флорентийский? Землистое, чудесное лицо, пальцы, прикоснувшиеся к клавишам...

Губернатор. Эх-хе-хе, молодой человек. Где нам, дуракам, чай пить... (*Присаживается к нему.*) А вы знаете что? Ей-Богу, правду вам скажу. Не верю вот в то, что там в молчаливых, строгих залах висят Венеры и концерты. Не верю вот, что я губернатором был, в Московском университете учился, что при мне храм Христа Спасителя достраивали. У меня вот перед Агафангелом архиерей Петр был. Погреб винный имел. За начальницей епархиального училища ухаживал. А я вот не верю, что Петр был.

Камер-юнкер. А что, филером трудно быть?

Васильев. Трудно. И жалованья мало. За всю жизнь вот только одни золотые часы скопил.

Губернатор. Теперь — валюта. А у нас с женою была только одна каракулевая муфта, да и ту на пароходе свистнули...

Нина Александровна. Ну вот и готово. Пожалуйте, господа.

Губернатор (*паясничая, тенором*). Явите Божескую милость. (*Басом.*) Подайте типу Максима Горького. За правду из семинарии выгнали.

Губернаторша. Не паясничай, Вольдемар. Вы знаете? Он раз в любительском спектакле в пользу инвалидов играл.

Губернатор. Перед Рождеством,— и полный сбор сделал. Ложа пятьдесят пять рублей стоила. Ну вот, спасибо, достоуважаемая Нина Александровна! Ручку дозвольте.

Все получают картофель и, прощаясь, с благодарностями уходят.

Нина Александровна. Ну, Васильев! Берите! А то сейчас дверь на замок.

Васильев. Сейчас, матушка, сейчас. Дай Бог тебе доброго здоровья. Женишка хорошего.

Нина Александровна. Хо-хо, «женишка». У меня — муж есть. Три года, как замужем.

Васильев. Ой ли?

Нина Александровна (*оделяя его картофелем*). Вот вам и «ой ли».

Васильев. А где же он теперь-то, ваш благоверный?

Нина Александровна. А не знаю. Растерялись.

Васильев. Вот оно, дела-то какие... Спасибо, матушка. Ручки обожгла.

Уходит. Нина Александровна задергивает занавеску. У нее — пространство для кровати из носилок, приделанных к стене, и маленький ящик, в виде столика. Задернувши занавеску, она причесывается перед зеркальцем, чуть пудрится.

Пауза.

Нина Александровна. Валерьян Николаевич! Вы крепко заняты? Можно вас на минутку?

Художник. Иду. (*Заходит к ней за перегородку.*)

Нина Александровна (*лукаво грозит ему пальцем, но тон разговора для окружающих деловит и серьезен*). Я хотела попросить у вас книжку о Серове...

Художник (*берет у себя книжку, снова входит за перегородку, обнимает Нину и крепко целует. Она грозит ему пальцем: услышат, мол, и с той, и с другой стороны... Он жестом отвечает: «Чепуха!»*). Прекрасно издана эта книжка о Серове. Обратите внимание на переплет. Как оттиснуто золото!

Васильев не верит этим деловым разговорам, хитро улыбается, осторожно подползает ближе и прислушивается.

Нина Александровна. Вы сегодня писали? (*Поцелуй.*)

Художник. Да, писал. Часа два писал.

Разговор делается отрывистым, голоса — напряженными.

Нина Александровна. Что писали?

Художник. Море писал, облака... Сегодня удивительный закат был. (*Поцелуй.*) Два солнца. Одно — над самой землей, огромное, четкое, ясное...

Васильев. Красное — это к ветру.

Нина [Александровна] и Художник от неожиданности отскакивают друг от друга.

Художник (*сев на ящик*). Да, да, к ветру. (*Грозит Васильеву кулаком.*) А другое — в воде, тоже такое же пурпурное, яркое... И краями почти прикасаются друг к другу...

Васильев. Похоже на цифру 8.

Художник (*предупредительно*). Да, да. Пожалуй. Похоже на цифру 8. (*Целует Нину*). И облака такие сильные, летние, фигуристые, причудливые.

Васильев. Это к ветерку. Ветерок завтра часиков с шести дунет. (*Входит Губернатор, присыпает картофель солью и жует.*)

Губернатор. А вот нарисуй два таких солнца, и я первый не поверю.

Хочет пойти в кабинку Нины Александровны. Васильев хитро и предостерегающе грозит ему пальцем, Губернатор останавливается, раскрывает рот. Васильев опять мимикой что-то показывает ему, тот догадывается, прикладывает палец ко рту и всем своим существом как бы говорит: «Молчание, молчание»...

У Нины Александровны и Художника тоже молчаливая сценка. Они рассаживаются в разные стороны, Художник берет газету. Ждут: Губернатор непременно заглянет.

Нина Александровна. Чего же не заходите, ваше превосходительство?

Губернатор (*просовываясь за занавеску*). Можно еще один пом-де-терр, многоуважаемая? (*Тихонько.*) У старухи такой аппетит разыгрался, что упаси Бог.

Нина Александровна. Пожалуйста, пожалуйста...

Художник. Ваше превосходительство! Хотите? (*Щелкает себе по шее.*)

Губернатор (*тихо, заговорщически*). А есть?

Художник. Есть. (*Наливает ему из походной фляжки.*)

Губернатор. На сколько градусов разбавляли?

Художник. Градусов 50 будет.

Губернатор. Смерть моя. (*Поднося ко рту.*) Матерь великомученица! Прошедшая водные и медные курения, и забвения, и трубы, всеобжигающая, всенарушающая...

Нина Александровна показывает знаками: «Тише, мол,— перегородки тонкие».

Губернатор (*закусывая*). Я и говорю. Нарисуй таких два солнца: одно — над

землею, другое — под водою,— никто, ни один человек не поверит. И облака такие захватывающие, этакие, понимаете ли (*подставляет рюмку*), сочные, вкусные, всеобъемлющие,— никто не поверит. (*Пьет.*)

Художник жестом спрашивает: «Еще одну?» Губернатор жестами: «Ни, ни, ни... Боже сохрани. По горло доволен».

Губернатор (*беспечно*). Я знал одного такого художника. Хороший парень был, но невезучий... Что, бывало, ни нарисует, ему критика сейчас же и отчеркнет: «Опять наврали, милостивый государь». Что хочешь, то и делай. (*Юмористически подчеркнуто и таинственно жмет руку художника.*) Завтра думаю в деревню сходить.

Нина Александровна. И я с вами...

Губернатор. Отлично. Пойдем вместе. (*Выходит.*)

Васильев (*завидя его, на разные лады поет*). Пойдем вместе,— найдем двести. Пойдем вместе,— найдем двести.

Губернатор грозит ему пальцем и уходит. Нина Александровна облегченно перекрестилась. Поцелуй.

За сценой слышно пение: «Христос рождается, славите. Христос с небес срящите, Христос на земли возноситеся». Тихо. Все прислушались.

Художник. Что это за пение? Стройно и хорошо.

Нина Александровна. А это — хоровая спевка. К Рождеству готовятся. Скоро ведь русское Рождество...

Художник. Рождество...

Нина Александровна. Да. А ты забыл? (*Поцелуй.*)

Занавес

II

Палатка, в которой помещается «собрание». Буфет, за которым правит хозяйством Прокурор и его Помощник. Стол с газетами. Играют в шахматы.

Помещик собрал вокруг себя род веча.

Помещик. Я восемь тысяч десятин земли имел. Своя дача в Крыму, около Алупки. Драгоценности какие были! Вспомнить страшно. Дворянство пятой книги. Связи в Петербурге, связи в Москве. Актеры Малого театра своими людьми в доме были. Бывало, за обедом иной дьявол такой анекдот расскажет, что в боку больно от смеха делается. А что такое смех за обедом? Хорошее пищеварение... А что такое хорошее пищеварение? Хорошее пищеварение — это румянец на щеках, блеск в глазах, отличное расположение духа, задор, смелость, плевать на все с высоты четырнадцатого этажа. И все-таки, осел этакий, всегда с жиру бесился, всегда в оппозиции к правительству был. Я, видите ли, либерал, у меня, видите ли, просвещенный образ мыслей был! Портрет Герцена на стене! В книжном шкафу «Что делать?» в бархатном переплете! Ах, это наше варварское правительство! Ах, нам нужна республика! Ах, русская общественность! На земском ли собрании, городской думы в заседании ли — я всегда крайний левый. Всегда — против губернатора. Всегда — против губернского правления.

Губернатор. Хи-хи-хи! Ну и что же, крайний левый сеньор? Долиберальничались? Портретик Герцена с собой в чемоданчик захватили? Блестящий писатель был: этакий образ мыслей, благородный, стройный, возвышенный... На лире, можно сказать, бряцал!

Помещик. «Русские ведомости» — это было не по мне. Куда же им, этим старцам. Слабо, бледно, Чернышевский переулок. Нам давай заграничного, женевского, на папиросной бумаге.

Губернатор. Ах, дурак, Боже мой, какой дурак!

Помещик. Царь — нехорош! Царь — враг народу! Царь — пьет кровь народную! Господи! Как же ты такого осла на земле держал? Каким же я был остолопом, Никола Милостивый?

1-й из толпы. Прежде, во времена Михайловского, были кающиеся дворяне, а теперь — кающиеся ослы.

Помещик. Пожалуйста, пожалуйста! Сделайте вашу милость! Шпарьте прямо в лицо! Не-ет, обиды нет! Заслужил! Поделом свое получил!

2-й (*запевает тенорком*). Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...

Губернатор. А если бы снова царь пришел?

Помещик. О, если бы пришел царь! О, если бы пришел царь! Я не знаю бы что... Я бы ноги ему мыл и воду бы ту утром с благоговением пил!

Губернатор. И супругу вашу, даму тоже весьма просвещенную, заставили бы пить?

Помещик. И супруга, и дети, и бабки, и дедки, и тетки, и племянницы — все пили бы...

Губернатор. По утрам? С благоговением?

Собрание смеется.

1-й. Позвольте, господа! Монархия, конечно, хорошая вещь, но дело в том, что в России монархистов нет...

Помещик. Как это нет?

1-й. А очень просто. Не с таким наскоком. Я сейчас поясню свою мысль. Скажите вот этому предыдущему оратору: хорошо, мол, будет в России царь,— только восьми тысяч десятин ты, как ушей своих, больше не увидишь. Актеры Малого театра пусть при тебе остаются, пусть обедают с тобой, а насчет восьми тысяч — уж извини! Крест поставь. Так он этого царя без передышки под печку загонит. А скажи ему... Нет, нет, прошу не перебивать. А скажи ему: «Михал Михалыч или там Семен Семеныч! Вот, мол, республика, вот тебе президент и вот тебе весь твой чернозем в аккурате»,— так он на все Черное море «отречемся от старого мира» петь будет.

Помещик. Ну, уж извините. Не запою.

1-й. Запоешь, дядя.

Помещик. Пели, будя.

Губернатор. Голосишки попростудили?

Помещик. Попростудили.

Прокурор (*из-за буфета*). Господа! Кофе вскипел. Кто желает. Черный — юс пара, с молоком — четыре пиастра.

Кое-кто идет за кофе.

3-й (*ярославец*). А я, господа, думаю, что все, что сейчас в России случилось,— все ей на превеликую пользу пойдет. Правильно все случилось, по заслугам! Купцов выгнали? Правильно! Сам купцовал! Кто на войне государство в тылу разграблял? Наш брат купец. Кто миллионы в это время в дивиденды получал? Наш брат купец. И в Харькове, и в Москве, и в Ростове — все одна сатана сидела. Было у них в сознании, что сейчас, во время войны, с государства не брать нужно, а давать ему нужно? Ну вот и пожалуйте, проветритесь по Европам, умойтесь водами заграничными...

Голоса. Правильно!

3-й. Дворян выгнали? Вас, губернаторов да камер-юнкеров? Свежих людей к себе не пускали, в круг замкнулись, стенкой обнеслись... Разве в России можно было без протекции тетушки или без хвоста бабушки получить место или на службу попасть?

Ну-ка вот пусть губернатор по совести, положа руку на сердце, ответит нам на этот вопрос?

Г у б е р н а т о р. И руку класть на сердце нечего: так скажу. В провинцию куда-нибудь, поглуше, в акцизное управление, скажем на винный склад, в контрольную палату до младшего ревизора,— туда-сюда еще, можно было. А вот насчет столицы, насчет Петербурга или Москвы,— человеку без протекции махни рукой и драла.

К а м е р - ю н к е р. Должен сознаться, что в Правительствующем сенате, действительно, нельзя было особенно усердно предаваться работе: могли подумать, что у вас нет протекции.

Г у б е р н а т о р. Ну вот видите.

К а м е р - ю н к е р. А протекция есть протекция. Вот я, например. Написал одному человеку в Константинополь,— и место получаю в Красном Кресте. 80 лир жалованья, командировочные, то да се. Можно пойти и по-человечески поужинать, а не один этот проклятый корн-биф жрать.

3 - й. Во, во, во — оно самое. А крепостное право? А по-французски разговаривали? Вы думаете, этот французский язык дешево России обошелся? Хо-хо-хо! А пренебрежение ко всему русскому? А кислые воды? И только теперь, когда вас из имений мужики повыгоняли,— теперь патриотами стали?

Г о л о с а. Правильно!..

3 - й. Попов выгнали? Тоже правильно. За мирским слишком гонялись, за орденами, да за звездами, да за лентами разноцветными,— особенно архиереи, Христа заместители. Подхалимства много было. Нужно было мученичеством очиститься, чтобы опять Христа достойными быть. Интеллигенцию выгнали? Правильно! Всегда болтала о том, чего не знала, да от воинской повинности в земские союзы укрывалась. Поставили на вывеске буквы: В. З. С.— а народ читал: все здесь скрываются.

2 - й. Ай, купеза! Хорошо говорит!

3 - й. Вот вам и купеза. Взволновался, аж в пот ударило.

К а м е р - ю н к е р. Хорошо, хорошо, купец, говорите. Теперь в отношении революции такой в России иммунитет привили, что лет двести заикнуться нельзя будет.

П о м е щ и к. С кашей, с кашей слопаем!.. Вы говорите лет двести? Тысячу считайте! Легким счетом считаете!

К а м е р - ю н к е р. Мне ваш пыл нравится. (*Декламирует.*) «За царя готов, за веру он с охотой умереть и не следует манеру брать пардону, видя смерть». Так когда-то певали солдаты на красносельских маневрах. Я с вами не согласен. В двести лет я верю, в тысячу лет я не верю. Почему? Я вам сейчас скажу. В консэ консов, мы, русские, если доискаться причины всех причин,— конечно же, дураки. Глупость — наша основная, национальная черта. Ведь, в сущности, все, что сейчас в России происходит, конечно же,— это, в консэ консов, трагедия глупых людей. Если бы я обладал талантами Достоевского или Тургенева, я бы написал роман или пьесу и так бы ее и озаглавил: «Трагедия глупых людей».

2 - й. Но позвольте...

К а м е р - ю н к е р. Верно, верно. Насчет этого вы уж и не утруждайтесь спорить. Недаром наш национальный герой — Иван Дурак. В консэ консов, против народного творчества спорить и прекословить нельзя.

Г у б е р н а т о р. А царь, царь, Боже ты мой! Вот этот помещик,— разрешаете назвать вас ослом?

П о м е щ и к. Ради Бога. Я энитимию на себя наложил. Пусть оскорбляют, пусть заушают,— смирение, смирение и смирение. Одно смирение! Но уж придут времена...

Г у б е р н а т о р (*перебивая*). «Пррридут времена!»... Сказал он, сверкнув очами... Я хочу сказать вот что. Вот этот осел о царе разговаривал. Да знает ли он, что такое царь?

Хотите, я вам расскажу,— я, старый губернатор, теперь заведующий вашей несчастной нищенской кухней, сам таскающий мешки на плечах, пересчитывающий каждую картошку, каждую луковицу...

Камер-юнкер. И мореплаватель, и плотник...

Губернатор (*отмахивается рукой*). Мой архиерей такой случай рассказывал. У него, в епархии, был поп, еще молодой, лет 32-х. Пьяница, развратник и циник. Попадью свою, года через три после свадьбы, на тот свет загнал. Рыжий, противный, потный, волосы жирные, слипшиеся, как мочало. И как такого человека в попы посвятили,— придумать не могу. Ну ладно. Что же вы думаете этот поп однажды выкинул? Надрался пьяным, вышел на двор, сел верхом на свинью и поехал по селу, как клоун Дуров. Народ руками развел. Донесли архиерею. А архиерей у меня строгий был, службист, любил малиновое варенье и редко, раза два в год, но уж зато метко, по-семинарски, урезывал муху. Слабости человеческие понимал. Вызывает архиерей этого попа в город и за загривок. «Как же ты, такой-сякой, немазаный сухой, верхом на свинье по селу катаешься, народ в сомнение вводишь, сан свой поносишь, раскольникам и сектантам всяким пищу к насмешке подаешь» и прочее и прочее,— все, как у них там полагается. «Ты же, говорит, поп; ты же, говорит, строитель таин Божиих. Что же ты, говорит, окаянный, на это мне ответишь?» Поп упал на колени и говорит: «Вот что вам ответить могу, ваше преосвященство, архипастырь милостивый. То, что, говорит, я и мот, и развратник, и пьяница, и циник,— все это правда. Не отрицаю оного. Но, говорит, что касается строительства таин Божиих, то, когда, говорит, я надеваю святую ризу, когда я становлюсь на горнее место, перед престолом Божиим,— тогда я и не мот, и не пьяница, и не циник. Тогда я — чист. Тогда все житейское, все мутное, все грязное спадает с меня, как шелуха. Тогда на мне, как на святых апостолах, благодать в виде огненных языков горит; тогда ничто мне не препятствует: я чистый и безгрешный строитель таин Божиих». Вот что ответил архиерею поп.

3-й. Ну и что же с ним архиерей сделал?

Губернатор. Обычно, что в этих случаях архиереи делали... В монастырь, на псаломщическое место. Это у них называлось: воду толочь.

2-й. Ваше превосходительство! А к чему вы, собственно, про попа рассказали? Вы, как будто, про царя хотели.

Губернатор. Именно. Я царем начал, царем и кончу. Так и царь, господа. Может быть, в общежитии он человек обыкновенный и простой, и не речист, и звезд с небес не хватает, но, когда он садится к работе своей,— тогда он слуга Божий, тогда он творит волю Божию, и горе тому народу, который прикоснется к помазаннику Его... И вот вам пример: наша страна.

4-й (*ехидно*). А вы от писания не можете?

Губернатор. От писания не могу: у нас тут не староверческий спор. Вообще, вы не ехидничайте, молодой человек.

4-й. Вообще, ваше превосходительство, эти разговорцы о царях и архиереях нужно бы в пользу бедных.

Губернатор. Разговорцы всякие-с нужны теперь, молодой человек! (*Сердито уходит.*)

5-й. Не имел успеха наш губернатор.

6-й. Царя он верхом на свинью усадит, а мы «славься, славься» пой... Тоже дельце!..

4-й. Сладко пел душа соловушка...

6-й. Оно, господа, если руку на сердце положить, то большевики, конечно, мразь,— но они и много правильного сотворили... Много!

4-й. Господа! Тут аллегория: свинья — это бюрократия.

Внезапная пауза. Все смотрят на 6-го.

Васильев. А кто это про большевиков говорит? Вы, милый! Ответить можете... Большевики — разбойники.

6-й. Может, и разбойники. Но и правильность в них есть. Не нравится тебе мое слово — тащи меня под допрос. Предавай! Пострадать могу, а не отрекусь.

2-й. Ну и публичка собралась! Как посмотреть да посравнить...

3-й. Море великое и пространное, в нем же гади, им же несть числа.

Покрывает начинающийся шум 7-й. Нервно вскакивает на стул и жестами успокаивает собрание.

7-й. Тсс, господа, тсс!.. (*Собрание стихает.*) Вся беда, господа, не в том, что кого-то там выгнали, а кого-то не выгнали, будет ли царь или исполнительный комитет,— вся будущая беда в том, господа, состоит, что мы слишком много знаем теперь. Все докторы Фаусты прошлого столетия и homo sapiens'ы — нéдоросли в сравнении с теперешним прапорщиком армейским. Мудрейшие отцы наши и деды, Гиллели и Сократы, одной миллионной не знали о человеке того, что знает теперь всякий мальчишка. Вот когда человечество воистину, по-настоящему съело плод с древа познания добра и зла и вот теперь по-настоящему, воистину Бог выгнал его из рая. Не нужно было бы так много знать, господа...

4-й. Скоро состаритесь...

7-й. Это вернее, чем вы думаете. Лишь только теперь мы увидели свою наготу. Вы смотрите, вы подумайте: только теперь узнав: и цену чести, и цену крови, и цену стыда, и цену боли, и цену уважения человеческого достоинства, и цену унижения, и цену долга, и цену предательства,— все узнав! — мы впервые почувствовали свою наготу...

4-й. Где же виноградные листья?

7-й. Вот, вот, вот. Именно к этому вопросу я и веду: где же, где, господа, виноградные листья? Боже мой! Как я благословляю тех монахов, которые сожгли Коперника. Ну на черта нам знать о вращении земли?

2-й. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

7-й. Не то, не то, господа... Я не то...

2-й. Мы про Фому, а он про Ерему. Здравствуйте! Вам, батюшка, к доктору надо...

Кто-то (*густейшим басом*). Английские врачи ничего в медицине не понимают.

7-й (*почти плачет*). Меня не так поняли. Я потом разовью свою мысль логичнее. А теперь — собрание! не шумите; собрание, я хочу прочесть вам отрывок о русской земле. Вы только послушайте. (*Постепенно смолкает шум.*) Раскройте сердца ваши. Я — инок, из Киево-Печерской лавры. Знаю летописи и вот — о русской земле. О светло-пресветлая и красно-прекрасная земля русская! И великими красотами ты обогащена: озерами многими...

Кое-кто (*невольно тихо повторяет, как эхо*). Озерами многими...

7-й. Реками и колодезями досточестными, горами крутыми...

Эхо. Горами крутыми.

7-й (*воодушевляясь все более и более*). Холмами высокими, дубравами чистыми...

Эхо. Дубравами чистыми!

7-й (*восторженно*). Полями дивными!

Эхо (*так же восторженно*). Полями дивными!

7-й. Зверьми разными, птицами бесчисленными, вертоградами монастырскими — всего ты исполнена.

Эхо. Всего ты исполнена!

7-й. Земля русская!

Эхо. Земля русская!

7-й (*тихо*). Аминь.

Эхо (*еще тише*). Аминь.

Замолчали все.

Вдали звонит обеденный колокол.

Все, словно от наважденья, очнулись и, как мыши, зашуршали: «Обед, обед». Торопливо, друг за другом, уходят из палатки. Остаются двое: Прокурор, *убирающий что-то на буфете, и его* Помощник. *Большая пауза.*

Помощник. Да, хороша в свое время была земля российская! Вы вот, ваше превосходительство, прокурором были, а я — помощником пристава. Вы и не знали, поди, меня, а я сколько раз на суде свидетелем бывал... Сколько раз речи ваши знаменитые на трибуне выслушивал... Иоанн Дамаскин-с! Плевако! Цицерон! Вот то оно и есть. Меня дураком, ваше превосходительство, считали, а я хоть и дурак, но с понятием. А теперь — мы равны. Что вы, что я — все едино.

Прокурор (*продолжая работу, мрачно и рассеянно*). Да. Все едино.

Помощник. Во всю свою жизнь я единый стишок сочинил: «Жизнь наша — что это? Прыжок невольный из балета». Из редакции, в почтовом ящике, мне ответили: «Невероятно». Невероятно? Но факт. (*Пауза.*) Боже мой! Как я вас боялся, ваше превосходительство! Как я трепетал... Бывало, думаешь: пронеси, Господи, мимо этого человека здравым и невредимым. Попадешь на зубы — смелет он тебя, как капусту, как пожарскую котлету, а теперь присматриваюсь и думаю: ну что в них страшного? Голова как голова, глаза зеленые, губы тонкие... Все такое доступное. Да. (*Таинственно.*) А теперь вы водочкой подторговываете, ваше превосходительство. А сколько бы за это, по питейному уставу, за беспатентную да за безакцизную торговлю вам ответствовать пришлось бы в свое время?

Прокурор. Слушайте. Довольно вам изливаться. Знаю, куда вы клоните.

Помощник. Время такое, адмиральский час. Ну и человек вы... Кто чем дышит,— видите.

Прокурор (*достает бутылку, наливает, пьют*). Хорошо это: для сбивчивости.

Помощник. Хорошо, ваше превосходительство, хорошо.

Прокурор. По единой не закусывают?

Помощник. Так точно, ваше превосходительство.

Пьют. Помощник закусывает.

Помощник. А чем же вы закусываете, ваше превосходительство?

Прокурор. Языком.

Помощник. О-о! Это марка. Я, извините, до этого еще не дошел...

Прокурор (*пьет один, хмелея*). Еще молода, в Саксонии не была.

Помощник. Так точно... Не была...

Прокурор. Ну а взятки брала?

Помощник. Брала, ваше превосходительство, брала. Как на духу, признаюсь. Будь свидетели — не признался бы, а вот так, на духу,— без колебаний. Ваше превосходительство! Не в том беда, что человек по немощи духа своего взятку взял,— кто их не берет? Цицероны, Гомеры, Катилины, Агриппины, Гладстоны и Бурбоны — все брали. Не в том дело. А нужно взятку с умом, с патриотизмом брать. Чтобы вреда от нее, от взятки, государству не было. Вот что важно. Что такое взятка, ваше превосходительство? Вот стоит коробка сардин. Вы берете одну сардинку и снова, целенькую и невредименькую, кладете ее на место. Что случилось? Ничего не случилось. А масло на пальчиках, ваше превосходительство, осталось. Дурак? Но с понятием.

Прокурор (*наливает себе*). Бог любит троицу. (*Пьет.*)

Помощник (*протягивая свой стакан*). Я тоже люблю троицу, ваше превосходительство.

Прокурор. Еще молода. В Саксонии не была. Меру знать надо. Гитару иди неси...

Помощник. Что ж там гитару, когда настроения нет?

Пауза.

Помощник. Что я еще, грешник, любил, так это, бывало, Крещение, 6 января. Небо синее, мороз градусов 18, народ одет тепло, хорошо, мужичье в валенках, а ты — в лаковых сапожках; идешь по снегу, а он скрип, скрип,— аккомпанемент! Архиерей весь золотой и тоже озяб, нос сизый, губернатор воротник поднял, а губернаторские дочки — ручки в муфточках, фигли-мигли, хор на всю реку поет «во Иордане», а тут как выпустят голубей, это Духа-то Святого, пар сто, как взлетят они в небеса далекие, как взовьются,— тут тебе и кинжки, тут тебе и вертуны, тут тебе и биэ,— белые с крапинами, кофейные, серо-буро-малиновые, а тут как войска ахнут залп, да один, да другой, да третий. Ух! Хорошо. И вот, назябнувшись, надрожавшись-то в лаковых сапожках,— всей гурьбой наряд полицейский к Финогенычу, на нижний базар... Трактир такой был, «Русское хлебосольство». «Видишь, Финогеныч, полиция пришла?» — «Вижу, батюшка, вижу. Рад».— Рад, а сам в душе к чертям посылает. «Полиция озябшая пришла, Финогеныч».— «Морозец, батюшка, морозец, вижу».— «Понятие имеешь, что душа в согревании нуждается?» — «Имею, батюшка, имею». — «Что такое поздняя торговля, алагер на бильярде и шмэн де фэр в номерах — об этом соответствуешь?» — «Соответствую, батюшка».— «А раз так, старание в ногах имей, пулей лети!»

Прокурор (*наливает*). А четвертая — Богородицу.

Помощник. Я еще и троицы не видел, ваше превосходительство.

Прокурор. Ну уж на, не скули.

Помощник. Что ж? Половинку только? Рассердился. На гитаре вам играй, вас увеселяй, а иждивения никакого.

Прокурор. Ну уж на. Не скули.

Помощник. Это другое дело. (*Пьет*). Теперь я вот лучком закусываю, а тогда, бывало, накроет тебе Финогеныч! Боже ты мой! Икра ачуевская, семга двинская, сельди керченские, селянка московская, кильки ревельские, сиги копченые, ладожские. А выпивон? Шехеразада! Гарун-аль-Рашид! И какие только комбинации человеческий ум научился из виноградного сока составлять? Академия-с! Одного я себе не прощу.

Прокурор (*пьет*). Чего же именно?

Помощник. В сигарах толку никогда понять не мог. Две затяжки — и уж того, голова несвежая и неприятность. Мне говорят: Бок,— а мне хоть бы что. Упман — а мне — начихать. Мне «Трезвон» давай, вышесредние и вата антиникотин. Просто? Зато на всю жизнь от чахотки застрахован был.

Прокурор (*хмельной*). Да, земля российская, земля российская. Что-то там ты теперь поделываешь, земля российская? (*Пауза. Вдруг многозначительно запел, поднимая палец вверх.*) Ошибаться может даже кр-рокодил...

Помощник (*в тон ему, тенорком, смотрит ему в глаза*). Ошибаться может даже крокодил...

Прокурор. Ошибаться может...

Стук в дверь.

Голос извне. Разрешите войти...

Прокурор. Это еще что за птица? (*Убрал водку.*) Разрешаем.

Помощник (*отодвинул стаканы в сторону, на церковный мотив*). Разреша-ем!

Входит Человек в защитной шинели, щелкает каблуками.

Человек. Здравия желаю!

Помощник. Здравеньки булы! Разве обед уже кончился?

Человек. Виноват, я не здешний. Я только что с поезда.

Прокурор. Откуда ты, прелестное дитя?

Помощник. Ревизор? Вам в гостинице притеснение чинят? По высочайшему повелению?

Человек. Шутить изволите. У меня есть дело. И срочное, ибо (*смотрит на часы*) до обратного поезда сорок минут осталось.

Помощник. Излагайте вашу просьбу. Заседание открывается.

Человек. Не знаете ли вы проживающую в этом лагере Нину Александровну Эргардт?

Помощник. Нину Александровну Эргардт? Знаю проживающую в этом лагере Нину Александровну Эргардт.

Прокурор. Слушайте, вы, как вас там? Человек сколько верст, может быть, ехал, а вы ломаетесь, как свинья на веревке.

Помощник (*сразу изменив тон*). Вам ее повидать нужно?

Человек. Точно так.

Помощник. Третий барак, десятая кабинка.

Человек. Было бы лучше, если бы ее сюда можно было вызвать.

Помощник. Пожалуйста, сделайте ваше одолжение. Как прикажете о вас доложить?

Человек. Просто попрошу вас сказать: приехал человек, привез вам срочное письмо.

Помощник. Приехал человек, привез вам срочное письмо.

Человек. Точно так.

Помощник. Примите уверение в моем истинном к вам почтении. Лечу.

Уходит.

Прокурор (*ему вслед*). Паяц, хам и вор.

Человек осторожно кашляет в кулак.

Прокурор (*пьяно*). Все спорят, все галдят. А если спросить: а в самом деле, что же такое патриотизм? Ну? Что такое патриотизм? Вас я спрашиваю или нет? Вы ведь русский человек?

Человек. Так точно, русский.

Прокурор. Ну так мучают же вас «проклятые» вопросы?

Человек осторожно кашляет в кулак, улыбается.

Прокурор (*грузно поднимается с места, пьяными шагами направляется к нему*). Позвольте представиться...

Человек (*щелкает каблуками*). Капитан Ломшаков.

Прокурор (*долго жмет ему руку; пауза*). Дон Кихот. Ламанчский. Рыцарь печального образа. (*Пауза.*) Что вы, многоуважаемый, вытаращились на меня, как баран на аптеку? Это — я. Это — мой литературный псевдоним. Ну? Это вас удовлетворяет? Что вам сказать еще? Мне пятьдесят три года. Глаза зеленые, губы тонкие. (*В сторону ушедшего помощника.*) Наблюдательный прохвост! Бросил свое рыцарство, освобождение Гроба Господня,— и вот теперь здесь. У рыцаря должна быть прекрасная дама,— где же она? Где? К ней простираю руки свои, одинокий, заброшенный, злой старик. (*Пауза.*) А-а, вот то-то и оно-то... (*Таинственно.*) Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Глаза зеленые означают: талант, ум, бессердечие и трусость. Так во всех календарях написано.

Человек. Все врут календари...

Прокурор. Нет, не все врут календари, не все... А патриотизм, батюшка мой, это — то, что человек не тут (*показывает на лоб*), а вот тут всегда имеет (*показывает на сердце*). Патриотизм, батюшка,— это та медаль, с которою купец даже в баню ходил.

Садится на прежнее место, за стойку.

Пауза.

Возвращается Помощник, с гитарой.

Помощник. Сейчас Нина Александровна придет. В бараке такой чад от мангалок, что двух минут высидеть нельзя. (*Настраивает гитару.*)

Прокурор. Вальс, вальс сыграй, нежный, тихий... Как летнее утро...

Помощник. Сыграю ваш любимый: «Задумчивость Вольтера».

Играет, а сам следит за Прокурором. Пауза.

Прокурор. Был тихий вальс, был вальс старинный,— и много встреч, и много лиц, и близость чьих-то длинных, длинных, красиво загнутых ресниц. (*Засыпает.*)

Помощник (*все время иронически улыбается*). Эх ты, ляля! «Красиво загнутых ресниц». Скапустился. Только так, музыкой, и усыпить можно. (*Идет за стойку, достает бутылку, не спеша из горлышка пьет.*) Вот утроба. Один целую бутылку выжрал.

Человек. Скажите, пожалуйста, он писателем был?

Помощник. Хо-хо, писателем... Прокурором был. Уже на судебную палату нацеливался. А тут на-поди: земля тресиула, черт выскочил. (*Допил из горлышка водку, спрятал бутылку, подходит к Человеку, вздыхает.*) И где ты, где ты, слава человеческая? Один поэт сказал: «Жизнь наша — что это? Прыжок невольный из балета». (*Пауза.*) Правда, хорошие стишки?

Человек. Ничего себе.

Помощник. Главное меткость. Словам тесно, а мыслям просторно. Очень талантливый поэт был. Я его знал. Из духовного сословия. Родился в 89-м, скончался в 911-м. На дуэли был убит ревнивым мужем. (*Опять берет гитару. Указывает на спящего Прокурора.*) Тяжелый человек. Вы представить себе не можете. Замучился я с ним. Придет ночью пьяный, часа в два, разбудит и требует: «Играй лезгинку, танцевать хочу». Что же вы думаете? Сплю, еле на кровати сижу, глаз открыть не могу, а играю... А он, жеребец, танцует.

Играет с озлоблением.

Входит Нина Александровна. На плечах шаль.

Помощник (*обрывая музыку*). Ну, вот. Те же и Нина Александровна. Вот они вас ждут, Нина Александровна. Музыкант с гитарой исчезает, а это действующее лицо (*показывает на Прокурора*) обезврежено и разговору вашему не помешает.

Нина Александровна. Заснул?

Помощник (*указывая на гитару*). Усыпил-с. (*Уходит.*)

Нина Александровна. Вы ко мне?

Человек. Точно так. Позвольте представиться: капитан Ломшаков.

Нина Александровна. Очень рада. Отчего же вы не зашли ко мне в барак?

Человек. Видите ли, прямо с вокзала я попал сюда. Да и задержался. Я вам письмецо передать должен. (*Лезет в карман.*)

Нина Александровна. Письмецо? От кого? Откуда?

Человек. А вот пожалуйте.

Подает письмо.

Нина Александровна (*взглянув на конверт*). Боже мой! (*Разрывает конверт, быстро читает. Взволнована.*)

Прокурор что-то бормочет во сне.

Нина Александровна (*очень взволнована. Кончила письмо и снова вложила его в конверт*). Видите ли. Он требует ответа, а я ответа писать не буду. Прошу вас так, на словах передать: «Никогда. Ни за что».

Человек. Слушаю-с.

Нина Александровна. Только два слова. (*Задумалась.*) И добавьте еще. Она сказала: былое было и быльем поросло. Это вас не затруднит?

Человек. Никак нет. Не затруднит.

Нина Александровна. Не забудете? Передадите?

Человек (*щелкая каблуками*). Точно так. Не забуду. Передам. Честь имею кланяться.

Нина Александровна. Я не предложила вам даже чаю.

Человек. Покорнейше благодарю. Через двадцать минут есть обратный поезд. Мне нужно спешить. (*Щелкает каблуками. Целует ей ручку. Уходит.*)

Нина Александровна еще раз читает письмо. Закрыла глаза. Задумалась. Прокурор что-то бормочет.

Нина Александровна. Вот неожиданность... Господи Боже мой...

Сидит в уголку, незаметная.
Входят два калмыка. Будят Прокурора.

Калмык. Эй, знаком! Вставай, пожалуйста... Мал-мал водка давай.

Прокурор (*сквозь сон*). Отстань!

Калмык. Вставай, говорю. Мал-мало водка нужно.

Прокурор. Осел! Сенаторское разъяснение по делу Скитских за № 10800, а не водка. Дело будет заслушано Правительствующим сенатом, вероятно, не раньше осени. У меня сегодня — большой день: стол для печати — переполнен. Из Москвы на меня вызваны Плевако и Маклаков.

Калмык (*смеется*). Ай, ай, знаком! Нехорошо, знаком! Сам пил, другому — не пил. Нехорошо, знаком! (*Тормошит Прокурора.*)

Прокурор продирает глаза, удивленно смотрит на калмыков.

Калмык. Водка давай.

Прокурор. А деньги где?

Калмык. Вот деньги. Крепкий водка давай.

Прокурор прячет деньги в кошелек, лезет под стойку, достает бутылку, наливает.

Калмык. Слышь, знаком. Бутылка твой пустой...

Прокурор (*смущенно*). Как пустой? (*Смотрит бутылку на свет.*)

Калмык. Пустой...

Прокурор. Торговали... Черт бы тебе...

Садится в прежнюю позу, засыпает.

Калмык. Знаком, водка нет — деньги назад давай.

Пауза. Прокурор долго думает, потом вынимает деньги и сердито выбрасывает их.

Прокурор. На, подавись! Нужны мне твои деньги очень!

К а л м ы к и уходят. П р о к у р о р, засыпая, что-то бормочет. Н и н а А л е к с а н д р о в н а осторожно, незаметно уходит из палатки.

[З а н а в е с]

III

Русское Рождество. В кабинке Нины Александровны вечером справляют праздник. Все сидят за столом. В числе приглашенных: А н г л и ч а н и н и Ш о т л а н д е ц. Уже выпито. На мольберте, в углу, стоит еще не оконченный портрет Нины.

А н г л и ч а н и н (*подвыпивший; встал и говорит с сильным акцентом*). Из всех англичан здесь знают русский язык только трое. Мы, все трое, были в плену у немцев. Там жили с русскими и научились вашему языку. И узнали русских. Мы знаем характер русских. И поэтому я пью сейчас. Как англичанин, я всегда говорю правду в глаза. Ложь — далеко. Вы сейчас пили мое здоровье. Отвечаю. Я пью здоровье русской женщины. Она достойна сравниться с английской женщиной. За вас, джентльмены, не могу. Не могу.

1 - й. Ах ты шутник, ваше благородие.

Г о л о с а: Удружил, нечего сказать.

— Сказанул!

— Рублем подарил.

— Гип-гип-гип-урра!

Бестолковщина. Все лезут к нему с бокалами. Кое-кто мрачен.

А н г л и ч а н и н (*делает рукой останавливающий жест*). Нет, правда. А теперь так. У нас, у англичан, принято, чтобы за столом каждый спел. У кого есть приличный голос. Я вам сейчас спою.

Поет английскую песню.

К р и к и. Браво, браво, бис, ваше здоровье!

А н г л и ч а н и н. Хорошо. На бис споет шотландец.

Г о л о с а. А-а, голоногий! Ну вали! Понимаешь? Пой!

Ш о т л а н д е ц (*в юбке*). Ви, нет понимай. Нет можно...

Г о л о с а: Вали! Поймем! Чего там?

— Люди дошлые!

— Не таких, как ты, понимали...

— Да ты балканского ему налей.

Наливают ему большую кружку.

Ш о т л а н д е ц встал, обвел кружкой собрание, выпил до дна и остатки выплеснул над своей головой. Закрыл глаза. Думает, словно что-то припоминает. Вдруг улыбнулся и, без слов, радостно запел мотив горной, простонародной шотландской волынки.

1 - й. Ух, как хорошо.

Х у д о ж н и к. Какая свежесть! Правда?

Н и н а А л е к с а н д р о в н а. Правда. Я хочу еще раз послушать. Запомнить хочется. (*Шотландцу.*) Еще раз. Прошу вас.

Ш о т л а н д е ц. Нет понимай!

1 - й. Вина ему! Поймет!

Ш о т л а н д е ц улыбается; ждет, пока нальют. Пьет. И опять, словно подождав вдохновения, поет.

Г о л о с а: Вот тебе и голоногий.

— Молодчина! С душой поет!

— Conanima.

— Пожалуйста, образованность свою не показывайте.

Художник. Алла-верды к вам!

Голоса. Якши-олл!

Художник. Господа! Одну секунду. Я хочу сделать справку из прошлого, так сказать.

Собрание успокаивается.

Художник. Незадолго перед войной в Дрезден приехал наш синодальный хор. Дал концерт. Я был на нем с одним немцем. После концерта мы ужинали и я спросил: «Какое же ваше, Август Карлович, мнение?» А он говорит мне: «Ми, немс, не боимся пи ваш пространств, ни ваш болот, ни ваш леса, ни ваш зольдат и не ваше император. Мы, немс, боимся ваш четырехголёсний пение».

1-й. Да что там немцы? А они, англичане? Да, мы не чесаны, мы бестолковы, нас, как овец, гонят под холодный душ; мы — потерявшие Родину, мы — изгои среди людей, за наше здоровье вот не хочет выпить даже наш гость, просвещенный мореплаватель, и мы (*обращаясь к Англичанину*) ценим вашу искренность, пусть горькую, но искренность,— но, когда мы, нищие, изгои, запели в первый раз там, на дымной кухне, на спевке: «Христос рождается, славите», когда наша песнь, как легкий ветерок, понеслась среди здешних, неуютных гор,— эти гордые люди, не замечающие нас, как пыль,— эти люди потихоньку, стыдясь своей слабости, останавливались у окон и слушали, слушали, и сил не имели отойти.

Англичанин. Это — правда. Это мы ценили еще там, в германских лагерях. Я пью за ваше пение и прошу вас спеть ваши национальные песни.

Голоса: За русское искусство, господа!

— За русское искусство,— ур-ра!

Чокаются, пьют.

Нина Александровна. Господа! Среди нас есть представитель русского искусства. (*Указывает на Художника.*)

Голоса: Его здоровье!

— Художник! Твое здоровье!

— Будь здоров, как святая вода!

Прокурор (*басисто и пьяно*). Художник — варвар кистью сонной картину гения чернит...

Нина Александровна (*Англичанину*). Некоторые его картины висят в наших национальных галереях...

Англичанин (*чокаясь с Художником*). О-о!

Художник. Господа! Я должен отвечать...

Голоса: Просим!

— Обязательно!

Художник. По здешнему обычаю я должен вторично обратить к вам свое: Алла-верды!

Голоса (*дружно и громко*). Якши-олл!

Художник. Да, господа, искусством сильна Россия, и здесь никакие врата адовы не одолеют ея. Вообще, к русским, отношение, господа, всегда было известное. Мы — дикари, у нас страшный и свирепый людоед tzar, у нас развесистые клюквы, у нас les kosaques russes с хвостами на голове, мы бородатые северные медведи, спим на льду, едим сальные свечи, пьем какую-то огненную „vodca” (*улыбаясь*), которую, по достоинству, оценили только одни англичане...

Англичанин. О, yes.

Голоса. Вкусна, родимая.

Художник. Вообще мы — странные люди.

Прокурор (*пьяный*). Pardon, господа. Я хочу говорить.

1-й (*Помощнику*). Слушайте! Уберите же его! Он все время мешает.

Помощник. Вы сами попробуйте его убрать. (*Прокурору.*) Отец! Уйдем! Нас гонят!

Прокурор. Кого гонят? Нас гонят? Художник рисует, писатель пишет, а говорить должен прокурор... Я буду краток: «И по балтическим волнам за лес и сало возят к нам».

Помощник. Отец! Отец! Пойдем в собрание...

Художник: Совершенно верно. И по балтическим волнам за лес и сало возят к нам... Мы лес и сало. Так оно и было. Но, господа, когда приходил апрель, этот милый юноша среди месяцев...

Голос. Ближе к делу!

Художник. Когда приходил апрель, когда солнце поворачивалось к нам своей доброй стороной, когда в Париже зацветала сирень и город был словно обрызган ароматом тончайших духов, когда в Люксембургском саду распускались каштаны,— а вы знаете, как они распускаются? Сегодня еще нет ничего, и вдруг пришла какая-то волшебная ночь, поколдовала, пошептала, дыхнула теплым ветром,— наутро вы просыпаетесь и видите: Господи Боже мой! Сразу выросла зеленая крыша.

Голоса. К делу, к делу! Ближе к делу, художник!

Прокурор (*которого осторожно, очень любовно, ласково уводит Помощник*). Художник — варвар кистью своной...

Художник. Виноват. И вот, когда зацветали эти самые каштаны, в Париж приезжали русские актеры, русские художники, русские музыканты, раскидывали свои пестрые балаганы, начинали свое русское искусство, и вот тут-то всем: всему Парижу, всей Европе было не по себе. Да, думали они: медведи, но откуда же у них то́, чего у нас, не медведей, нет? Откуда это чудесное вино? С каких лоз? На какой земле растет оно? Какие люди стараются и думают о нем? Странные люди,— не правда ли, дорогой английский гость? Вот они сидят перед вами, хмельные, болтливые, смешные; услужливо жмут вам лимоном на сардинку, которую вы после этого незаметно не едите; сварливые, недружелюбные, несдержанные. Но почти в каждом из них сидит северный колдун; каждый из них, сам не зная, читал такие книги, которых у вас нет; каждый из них окроплен такой водою, какой ваши ручьи не знают. И теперь вы просите, чтобы мы спели вам наши национальные песни? Не споем. Знаете? Как евреи на реках вавилонских? Они развесили на вербах замолкшие лютни свои и отвечали: «Како воспоим песнь Господню на земле чужой?» Нет, гордый бритт, не желающий выпить за здоровье наше,— и это я понимаю,— научившийся ценить только красоту и прелесть женщин наших,— и в этом я благодарно жму руку твою: оценил! понял! разглядел! — но петь наши национальные песни сейчас мы не будем. Спасибо тебе за твою песню и тебе, шотландец, за твой очаровательный напев, но мы подождем... Правда, полковник?

Голос. Чего там полковник? Не один полковник,— все говорим: правда!

Шум. Правда, правда,— чего там? (***Шум, чоканье, аплодисменты.***)

Пожилой человек (*сильно захмелевший, плаксиво*). Что может быть лучше России, господа? Сейчас — Рождество... Вся она, как белой скатертью, покрыта сне...

Кто-то (***перебивая***). Ха-ха, покрыта! Уразумели? Поняли? Очухались? Наконец-то! «Покрыта». Чем она покрыта? Дуростью вашей покрыта!

Голос. Опять мочало — начинай сначала...

Кто-то. «Покрыта»... Прежде хуже России ничего на земле не было...

Голос. Слушайте, замолчите! Ей-Богу, рассержусь. Прокурора увели и вас тоже? Пусть человек скажет. Может быть, он чреват прекрасными словами... Говорите, папаша...

Пожилой человек. Встаешь рано, еще темно, еще звезды,— идешь к обедне, а церковь миррой, как водою, налита. За свечной ящик станешь... Неужели же никогда, никогда больше...

Голоса (***насмешливо-плаксиво***): Рязанской губернии, Зарайского уезда.

— Шотландец! Пой! Заводи свою волынку!

Шотландец упоенно, закрыв глаза, схватившись за голову, поет свой мотив.

Губернатор. Этакая штука! Хитро как, а? Сколько петель в твоей песне! Вот бы перенять!

1-й. Ваше превосходительство! Чтобы перенять такую штуку в один присест,

нужно абсолютный слух иметь...

Губернатор. Знаю, милый, знаю. Я — сам человек искусства. Когда я играл в пользу инвалидов, весь театр был полон. Ложи по 55 рублей стоили.

Голос. Ну, ну, ну, ваше превосходительство! Люблю, когда вы про феатр рассказываете...

Несколько голосов (*дружно кричат — видимо, это не впервой — в подражание театральным плотникам, поднимающим занавес на вызовы*). Давай, давай, давай, давай... Ситников! Давай!

Голос. Люблю, когда губернатор про театр рассказывает.

Несколько голосов. Давай, давай, давай, давай... Ситников!

Губернатор. Да оставьте вы, черти этакие! Что вы орете, смеетесь над губернатором?.. Губернатор любил искусство, у губернатора всегда актеру прием был. Боже мой! Кого только я не знавал! Свистунов-Пальмский, Литвинов-Рыбкин, Кальвер Александр Фридрихович, Кузнецов-Ершов, Мурашко-Мурашковский... Какие были любовники, комики-резонеры, благородные отцы.

Шум. Ну, ну, губернатор.

Губернатор (*мягко*). Не фамильярничали бы вы так со мной... Какой я вам «губернатор». Я просто — заведующий кухней... А то я рассержусь на вас и уйду. Вон камер-юнкер ушел, и я уйду... Мне тоже кое-какое местишко в Константинополе навертывается.

Голоса: Ну, ну, ну, ваше превосходительство... Простите.

— Хоть вы и монархист, а мы вас искренне любим...

Губернатор. Поздно мне в республиканцы переделываться.

Шум. Давай, давай, давай...

Губернатор. Вы мертвого рассмешите...

Голоса: Чару его превосходительству!

— Давай, давай... Ситников!..

Губернатор. Ситников... Кто такой, этот Ситников?

2-й. Это у нас в театре, в Пензе, плотник был, состоял при занавесе. Так вот ему всегда такую команду давали.

Губернатор (*удивленно*). Вы — актер?

2-й. Да.

Губернатор. Страшно рад. А я и не знал... Актер... За ваше здоровье, господа!

Шум: Ура-а!

— Губернатор пьет!

— Le roi boit.*

— Давай, давай, давай, давай...

Губернатор (*пьет и вдруг, удивленно, показывает рукой на дверь, как будто там стоит привидение*). А это кто? Это — не наш.

Эргардт (*страшно бледный*). Да, не ваш. Простите, что я так вламываюсь в вашу компанию... Незваный гость хуже татарина...

Нина Александровна (*изумленно*). Борис!

Эргардт. Да, Борис.

Нина Александровна. Такая неожиданность.

Эргардт. Да. Неожиданность. Вы вот сейчас про театры разговаривали... Так вот это — как в древних театрах. На бочке спускался бог... Deus ex machina**. Это я. Что же ты все подлежащими говоришь?

Нина Александровна. Как подлежащими?

Эргардт. А так... «Борис», «такая неожиданность». Это — все подлежащие. А где же сказуемые?

Губернатор (*встает; преувеличенно вежливо*). Pardon! Если я не ошибаюсь: муж Нины Александровны?

Эргардт. Так точно.

---

* Король пьет (*фр.*);

** Бог из машины (*лат.*).

Губернатор. Мы так уважаем и чтим Нину Александровну, что не только муж ее, но и даже самые обыкновенные друзья ее — наши друзья. Поэтому разрешите мне представить вам здесь собравшихся, а затем, я думаю, начнутся и сказуемые...

Эргардт (*обходит стол, всем жмет руки. После всех подходит к жене*). Ну-с? Здравствуйте, Нина Александровна?

Нина Александровна. Здравствуй.

Он целует ей руку.

Губернатор. А теперь пожалуйте вот сюда, ко мне, на почетное место. Как амфитрион...

Эргардт. Я бы очень просил без почетного места.

Губернатор. Нет уж, пожалуйста, пожалуйста... (*Старается усадить его подальше от Нины Александровны.*) Мы так уважаем нашу Нину Александровну, что и сережку из ушка... Чем разрешите вас приветствовать?

Эргардт. Ради бога, не беспокойтесь.

Губернатор. К сожалению, вы прибыли с некоторым опозданием... Все интересное уже исчезло... Как это говорится: облетели цветы, догорели огни... Ну пожалуйста, хоть вот этого! Господа! Просил бы наполнить ваши бокалы... (*Все встают.*) Приветствуем нашего гостя, мужа многоуважаемой Нины Александровны, нашего красного солнышка, так часто согревающей и скрашивающей нашу постылую жизнь... Дорогая Нина Александровна! Верьте чести, что не картофелинка ваша порою бывает дорога, не ложечка риса, а то теплое и радостное чувство, которое вы постоянно носите в себе, в своих маленьких ручках, в ласковых глазах и от которого, как от огонька, снова затепливаются наши больные, полуистлевшие души. Не подумайте, милая, что мы,— по крайней мере, я,— я за себя говорю,— что мы ждем еще чего-нибудь от жизни. Нет! Наша песня спета. Пусть ваши жертвенники разбиты,— огонь еще пылает. Увы! Мой — лично мой — жертвенник разбит, и огонь уже не пылает. Господа! Прикажите мне замолчать,— иначе я буду говорить, говорить,— не кончу до утра... Одним словом, ваше здоровье, дорогая моя,— дай вам Бог всего того, что вы сами желаете. Трафарет? Но искренний.

Подходит к ней и целует ей ручку. Все следуют его примеру. Подходит последним к ней и Эргардт.

Эргард. О, я горжусь тобой... Признаться, когда я слушал спич почетного амфитриона нашего, я был преисполнен такого особенного чувства, ну как бы это сказать? Уважения, что ли... Да, да, очень рад... А где же ваш здешний художник, о котором я наслышан столь много?..

Художник. Вероятно, речь идет обо мне?

Эргардт. Ах это вы самый и есть? Ну как? Вы — настоящий художник или от слова «худо»?

Нина Александровна. Борис? Что за тон?

Губернатор. Господа! Как амфитрион, я просил бы наполнить бокалы ваши. Господа! А теперь — здоровье новоприбывшего гостя нашего... Ура!

Голоса. Ур-ра! (*Все чокаются.*)

Эргардт (*Художнику*). А вы что же? Не желаете чокнуться со мной?

Художник. Прошу меня извинить, но я сегодня так много выпил, что не могу уже больше...

Эргардт. Как так? Мужчина, такой молодой, такой обольстительный, как говорится: не мужчина, а кусок,— и вдруг не может выпить лишнего стакана вина?

Голоса. Давай, давай, давай, Ситников, давай!

Эргардт (*покрывая голоса*). Тогда, извините, вы — шляпа.

Художник пьет медленно вино и наливает себе еще.

Эргардт. Ага! Вот это я понимаю. Что и требовалось доказать. Вы просто не хотели чокаться со мной?..

Нина Александровна. Борис! Я прошу тебя...

Эргардт (*перебивая*). О чем ты просишь меня? Не обижать господина художника?

Художник. Меня обидеть трудно, господин Эргардт.

Эргардт. Не господин Эргардт, а господин капитан Эргардт.

Художник. Меня обидеть трудно, господин капитан Эргардт.

Актер. Римляне! Сограждане! Друзья! Так начинает Антоний свою речь на форуме. Я чувствую, что в нашем вечере создается какая-то нежелательная натянутость. К черту натянутость! Сегодня — первый день Рождества, мы празднуем его, и, так как петь нам не хочется,— будем читать стихи. Начинаю в пример и благонравное подражание:

Кто в сорок лет не пессимист,
А в пятьдесят — не мизантроп,
Тот, может быть, душой и чист,
Но идиотом ляжет в гроб!

Губернатор. Pardon! Это явный вызов, господин актер, это парфянская стрела, направленная прямо мне в грудь. Господа! Мне шестьдесят первый год, а я, клянусь собакой и Геркулесом,— и не пессимист, и не мизантроп. Скажу больше. Вот вы, господа,— мы все люди разные. Мы, может, не сходимся с вами во многом и в самом главном, но я вас всех люблю. Политика — одно, а человеческие отношения — другое. Я — за человеческие отношения во всех случаях жизни, на все дни календаря. Похороните меня и на надгробном камне начертайте: «Здесь покоится идиот. Мир праху его!»

Голоса. Браво, браво, браво...

Губернатор. Должен признаться. Одного только человека я здесь терпеть не мог.

Голоса. Знаем! Камер-юнкера!

(*Поют.*) Он далеко, он не услышит, не оценит тоски твоей.

Губернатор (*смеется*). Ну и пусть не оценивает. Он теперь в Красном Кресте, не мне, а бедным эскулапам надоедает своим: «в консэ консов», и я оптимист, господа! Мир прекрасен! Вино на земле не пересохло и глазки женщин еще сверкают лукавыми огоньками! (*Комически зажимает себе рот.*) Боже мой! Что я говорю?

Смех.

Голоса (*тихонько, таинственно*). А губернаторша?

— Что скажет ее превосходительство?

— Тсс! Молчание! Молчание! Молчание!

Все пьют комически, преувеличенно молчаливо. Среди молчания — голос Англичанина.

Англичанин (*Эргардту*). Должен вам сказать, что ваша молодая жена на всех нас, англичан, производит самое хорошее впечатление.

Эргардт (*иронически*). Оч-чень рад! (*Комически раскланивается.*)

Какой-то молодой человек (*торопливо и конфузясь*). Pardon, господа! Представьте себе, какие бывают курьезы на свете! Здесь речь идет о молодой жене...

Эргардт. Ну и что же? Что еще вы́ (*делая ударение на «вы»*) к этому можете добавить?

Молодой человек. Pardon, господа! Я ничего не хочу сказать обидного, но я собираюсь уезжать в Болгарию и уже получил визу...

Эргардт. Скажите... Мой дядя едет в Болгарию, а в огороде растет бузина...

Молодой человек. И вот я изучаю болгарский язык. Это, конечно, естественно... Так вот. Это, конечно, курьез. Вы знаете, как по-болгарски «молодая жена»?

Губернатор. Слушайте, ангел мой: сносите яйцо поскорее.

Молодой человек (*сконфузился окончательно, покраснел и говорит живо*).

Я, конечно, очень раскаиваюсь, что начал этот разговор, но молодая жена по-болгарски — булка.

Эргардт (*раскатисто и натянуто смеется*). Булка! Непостижимо, господа! Ха-ха-ха! Булка!

1-й. Ну что ж, булка и булка... Я ничему не удивлен!

Голоса: А, по-моему, молодая жена — пирожное.

— Безе!

— Конфетка-с!

Эргардт. Господа! Аристотель мудрый сказал однажды, что всякая вещь должна иметь начало, середину и конец. Речь идет о том, что молодая жена — булка. (*Вызывающе смотрит на Нину.*) Кто же здесь эту булку кушает? Какой это пекарь?

Художник (*стукнув кулаком*). Господин капитан Эргардт! Позвольте!

Мертвая тишина.

Эргардт (*долго и вызывающе смотрит на него*). Нина Александровна! Налейте мне вина в этот стаканчик. (*Протягивает стакан.*)

Нина Александровна наливает ему вино.

Эргардт (*в то время, как она наливает вино, вызывающе смотрит на Художника*). Вы говорите мне «позвольте»? (*Медленно, глотками пьет. Когда выпил весь бокал, подчеркнуто спокойно спрашивает.*) Что я, собственно, должен вам позволить?

Нина Александровна. Борис! Ты — возбужден. Это на всех действует неприятно. Если ты не перестанешь, я уйду.

Эргардт. Виноват, виноват! Я возбужден? Но из чего это видно? Мне говорят: позвольте. Должен же я знать: что именно мне нужно позволить господину художнику? Не должен же он быть гласом вопиющего в пустыне? Должен же я дать ему ответ: позволю я ему или не позволю?

Кто-то. Скандал, господа, ей-Богу. В кои веки, за сколько лет, сошлись люди, сошлись без всякой политики, а просто люди, выпили, закусили, о родине, о снегах вспоминали... Эх, господа, господа! Вот говорят: ничего не ново под луною... Нет, правда, господа,— посмотрите: когда еще такая компания собралась под луной? Губернатор, актер, сыщик...

Голос. Филер...

Кто-то. Ну филер,— не вмэр Даныло — болячка задавила. Художник, офицер, прокурор, монах Киево-Печерской лавры, помещик, церковный староста, англичанин, шотландец, социал-демократ...

Голос. Не социал, а социаль... Мягкий знак на конце.

Кто-то. Ну мягкий знак на конце,— не вмэр Даныло — болячка задавила. Какое кумпанство! Сечь запорожская! И э-эх, господин капитан Эргардт... (*Потихоньку дирижируя.*) Проведемте ж, друзья, эту ночь веселей...

Сразу вспыхивает хор.

Эмигрантов семья соберется тесней...

Кто-то. Господа! Без слов! Без слов! Один мотив! Это нас ни к чему не обязывает.

Все поют мотив тихо, без слов, сквозь стиснутые зубы.

Англичанин (*важно и улыбаясь*). О-о! Мы знаем характер русских!

Эргардт, увидев мольберт, встает из-за стола, срывает занавеску, смотрит, несколько раз зажигая спички. Долго смотрит. И вдруг спички падают на пол, сам он опускается на табуретку. Закрывши лицо руками, горько, беззвучно заплакал.

Все хором поют потихоньку мотив. Англичанин мечтательно курит трубку.

Чей-то вздох. И-эх! Охо-хо-хонюшки! Жисть, наша жисть, когда ты похужеешь?

Нина Александровна подходит к Эргардту, кладет ему руки на плечи и что-то говорит.

Художник встал и ушел.

Тишина. Трезвое настроение. Все сбились в кружок, стараясь не замечать Эргардта и Нины Александровны.

Актер (*тихо, интимно*). Вот я... Какой же я теперь актер?

Кто-то. А что же с вами случилось?

Актер. Нервов нет. Все истрепано, изжито, одни лохмотья висят. На сцене ведь как? Нужно и самому загораться и другого зажечь. А я уже не могу. Ведь как бывало? Играешь, скажем, Глуховцева. Первый акт. Говоришь, а сам трепещешь: «Ольоль, родимый ты мой человечек», а тот, другой, уже загорелся от твоих слов, уже дрожит твоей дрожью и подает торжественно так, с благоговением: «Зазвонила Москва!» А уже искорки перелетели туда, в зрительный зал, слышишь, как замолчал он, притих, насторожился,— затрепетало святое в человеке, чистое, Божественное...

Англичанин (*подходя к этой группе, стоя*). Вот вы говорите: «Москва». А скажите, пожалуйста, сколько жителей имеется теперь в городе Москва?

Актер (*удивленно*). Что?

Англичанин. Я спрашиваю: сколько жителей имеет теперь город Москва в последней статистике?

Актер (*нерешительно*). Миллион, я думаю, будет...

Англичанин (*набивая трубку, гордо*). О, Лондон больше! О, наш Лондон — в шесть раз больше... Наш Лондон — в семь раз больше!

Пауза.

Кто-то (*поднимается, подходит к Англичанину, смотрит на него в упор и, отчеканивая каждое слово, говорит*). Знаешь что? С твоим Лондоном... С твоим Амстердамом... Пошел бы ты, знаешь... к чертям собачьим. (*Уходит, хлопнув дверью.*)

Англичанин. О-оо! (*Раскуривает трубку. Улыбаясь.*) Мы знаем... Мы хорошо знаем характер русских... О-о!

Пауза.

Всех обходит Губернатор, таинственно что-то нашептывая, показывает на Нину и Эргардта, [*мол*], *им нужно остаться вдвоем, объясниться... Все поняли и потихоньку уходят... Взяв под руку Англичанина, Губернатор уводит и его... Остался, за столом, один Пьяный. Пытались и его увести, но безуспешно.*

Все ушли, кроме Нины, Эргардта и Пьяного.

Пьяный (*сам с собою, умиленно*). Уланы входят в город... Справа по шести, играя на двух слепых. Как хорошо!

Эргардт (*подходит к портрету и, зажигая спички, снова разглядывает*). Это он тебя писал?

Нина Александровна молчит.

Эргардт. Но ты же другая, ты же не та Нина, моя Нина, которую я так любил и до сих пор люблю и не могу вырвать из этого вот проклятого, мучающего сердца.

Нина Александровна. Да, я — другая, и очень хорошо, что ты это понял... Я изменилась. Все: Самара, Волга, Струковский сад...

Эргардт (*встрепенувшись*). А помнишь? Мороженое из синего ящика, фиалки, «Вот вам князь задаст...».

Нина Александровна. Мороженое из синего ящика, фиалки. (*улыбаясь*) «Вот вам князь задаст...». Я тебе уже раз говорила: было — и быльем поросло. Разве тебе не передавали?

Эргардт. Передавали.

Нина Александровна. Ну чего же ты хочешь еще? Наши планы на жизнь, мечты о труде — все это уже не мое. Этот человек иначе захватил меня. Этот человек овладел моей душой, подчинил меня всю — себе, своей воле, своим желаниям, и я — его раба.

Эргардт. Что ж он, Свенгали, что ли?

Нина Александровна. О, нет! Я — его раба, я пойду за ним в огонь и воду, и — это сладко, захватывающе сладко, до перерыва дыхания сладко... Вот я сижу здесь и в то же время чувствую каждое движение его, каждую мысль, каждую затяжку папиросы, каждый поворот головы. А ты вот — словно я на тебя в бинокль, в обратные стекла, смотрю: маленький, далекий и все неразборчиво слилось в тебе: и руки, и глаза, и волосы.

Эргардт. А он?

Нина Александровна. А он! О, какой это человек! Поздней ночью, когда горят только звезды, когда живет только море, когда нет ни корабля, ни огня, ни человека,— озябшие притихшие, прижавшиеся друг к другу, мы сидим с ним на берегу и молчим, мы боимся говорить... У меня дыхание прерывается от волнения, потому что он научил меня,— да, да, он, он! — он научил меня слышать движение Земли. Понимаешь? Этот чудесный, великолепный, гордый лёт нашей Земли...

Эргардт. Это тебе только кажется. Это твоя влюбленная фантазия.

Нина Александровна. Пусть так. Ты сказал. Пусть фантазия, но ведь правда же — влюбленная? Вот и отлично. Нам нечего больше сговариваться. Я влюблена. Пойми: я — влюблена. Поди и ты. Мир — так хорош и широк: поди и ты, найди себе молодую подругу и влюбись, влюбись, влюбись... Какое это счастье! Влюбись, влюби ее в себя, сядь с нею на берегу моря, обними ее покрепче, закутай своим плащом и прислушайся, чутко прислушайся к ночной тишине... И тогда ты вспомнишь обо мне и я почувствую тебя, улыбнусь тебе издалека... И будешь ты: мой друг. А сейчас беспокойный, жадный, сварливый — ты чужд мне. Ты вызываешь неприятное чувство. Или сам уходи, или я уйду. Я хочу к нему.

Эргардт. Еще одну минуту... Я, конечно, все понимаю, но... (*Невольно оглядывается на Пьяного, который бормочет.*)

Пьяный. Уланы входят в город. Справа по шести, играя на двух слепых. Как хорошо!

Нина Александровна (*кутаясь в платок*). Брр, холодно что-то стало... Что он там бормочет?

Эргардт. Ему снится, что он — улан и входит в город.

Пауза.

Эргардт. Ты — его любовница?

Нина Александровна. Я — его жена.

Эргардт (*с иронией*). В какой же церкви ты венчалась?

Нина Александровна. В святой.

Пауза.

Эргардт. Странная ты... Другая... (*Страстно.*) Но ведь, Нина, и я же талантлив, и я — смел... Ведь ты же знаешь, что всю мою жизнь... Что ведь я только так, снаружи груб и неотесан, а там душа — горячая, добрая, всё понимающая.

Нина Александровна (*протягивает руку*). Тем лучше для тебя. Я иду. Прощай.

Уходит.

Пауза.

Пьяный (*бормочет*). Как хорошо! Как хорошо!

Эргардт (*остановился перед ним и тупо смотрит на него*). Взять бутылку, стеклом по толще, расшибить тебе череп, чтобы брызнули мозги, — и потом тюрьма, ссылка, новая жизнь...

Пьяный. Как хорошо!

Входит Губернатор, что-то ест.

Губернатор. Иду, а сам смеюсь... Вот — картофель в мундире. А так в году 87—88-м в клубе я выучил повара особенным образом поджаривать филе с шампиньонами. И что бы вы думали? Прихожу на другой вечер, беру карту в руки и вижу: филе сотэ à la вице-губернатор. (*Деловым тоном.*) Дело вот в чем. Вы думали о ночлеге?

Эргардт. Нет, еще не думал.

Губернатор. Дело вот в чем. У меня, в кабинке 26, есть свободная койка. Милости просим.

Эргардт. Благодарю вас.

Пьяный. ...Играя на двух слепых... Как хорошо!

Губернатор (*расталкивая его*). О, да. Божественно хорошо! Куда же лучше! Господин пассажир! Господин пассажир! Ваш билет! Слышите? Ваш билет...

Пьяный. Как хорошо!

Губернатор (*безнадежно машет рукой*). Покойся, милый прах, до радостного утра... И вы знаете? Все губернское правление ело филе сотэ à la вице-губернатор.

Издали доносится смутный шум. Губернатор прислушивается.

Губернатор (*испуганно*). Слушайте, батюшка. Спаси, Господи, люди твоя. Прокурор идет. Это теперь до рассвета свадьба затянется. Не будем терять золотого времени...

Тащит Эргардта за рукав и уходит.
Шум — ближе.

Прокурор. Не-ет, теперь уже ты не вырвешься. Баста... Идем на суд к Нине Александровне. (*Входит и тащит с собой Помощника. У того в руках сломанная гитара.*) Иде-ем! Пусть Нина Александровна нас рассудит. Нина Александровна! Прошу вас учредить революционный трибунал и судить нас по всем строгостям революционного времени. К черту, ко всем чертям — эту буржуазную мазню, эту слюнявую гниль — старые законы Александра Второго, ибо они по неизреченной глупости своей дадут пощаду этому недостойному человеку. Нам нужны революционные законы! Вы только подумайте, господа судьи! Санчо Панса восстал против своего повелителя! Восстал!

Помощник. Да вы протрите шары! Никакой здесь Нины Александровны нет, и никакого революционного трибунала вам не будет...

Прокурор. А я хочу революционного трибунала! Хочу!

Помощник (*мрачно*). А рожна вы не хотите?

Прокурор. Ты — кто? Кто ты? Я тебя спрашиваю.

Помощник. Сто раз я уже отвечал вам. Не хочу больше.

Прокурор. Не хочешь,— до света буду мучить. Говори, кто — ты?

Помощник. Ну Санчо Панса...

Прокурор. Как же ты, Санчо Панса, мужик, погонщик ослов, восстал на своего повелителя, благородного рыцаря, победителя неверных сарацин?

Помощник. Я и не думал восставать.

Прокурор. Не думал восставать,— а гитару кто сломал?

Помощник. Что ж, я ее, что ль, сломал? Вы сами сели на нее и сломали. Ну какой

же суд, какой революционный трибунал может поверить, чтобы человек сам, собственными руками, последнюю свою валюту сломал?

Прокурор (*приставляя к уху ладонь*). Что такое? Что ты сказал, презренный мужик, Санчо Панса? Валюта? Ухо рыцаря не знает такого странного слова!

Помощник. И когда вы угомонитесь, холеры на вас нету? Когда перестанете этот хоровод кружить?

Прокурор. Ты же сам знаешь, что мне нужна музыка. Ну? Играй.

Помощник. Да видите же, что грифа нет?

Прокурор. Тогда иди, ищи рояль, трубу, симфонический оркестр. Нужна же мне какая-нибудь музыка? А то до света замучаю. Сам знаешь: глаза у меня зеленые, губы тонкие...

Помощник. Сом ты треклятый! И когда я отвяжусь от тебя! Ведь ты всю кровь выпил из меня!

Прокурор. А ты играй.

Помощник. А ты играй! (*Показывает гитару.*) Да на чёрте я тебе, что ли, буду играть?

Прокурор. А мне какое дело? Ты — мой оруженосец.

Помощник. Твой оруженосец... Прошептал бы я тебе молитву. Оруженосец...

Сонный, со слипающимися глазами, он начинает то хлопать в ладоши, то щелкать пальцами и петь мотив лезгинки. Сначала вяло и лениво, а потом оживленнее и веселее...

Прокурор, с блаженной улыбкой, присаживается к столу, притоптывает ногой и дирижирует.

[*Занавес*]

IV

Берег моря. Весна. Гелюн (калмыцкий священник), в красной рясе, в красной шапочке, устраивает на шесте лист бумаги, на котором начертаны слова молитвы. Слюнит во рту палец, поднимает его над головой, пробуя, нет ли ветра. Несколько эмигрантов лежат на берегу. Прокурор и Помощник плетут гамак.

1-й. Что это гелюн делает?

2-й. А это он пальцем пробует: нет ли ветра...

1-й. Тишина. Весна здесь действительно...

2-й. В России в это время только пахать начинали...

1-й. А ты забыл условие: не говорить о России...

2-й. Молчу, молчу.

Помощник. Гелюн! Ваше преподобие! Святой отец! Что ты там соображаешь?

Гелюн. Мал-мал молиться надо...

Помощник. А зачем же ты флаг делаешь?

Гелюн. Молитва это... Видишь? На листе написано. Пойдет ветер, начнет мал-мал трусить лист, молитва пойдет туда... к Богу.

1-й. Все здешние гелюны мрачные, сердитые... Буддисты... Только один вот этот веселый и водку хлещет, как воду.

Помощник. Мухобой... И, по-моему, в Бога не верит ни на столько.

Пауза.

1-й. Гелюн! А какой твой Бог? Бурхан?

Гелюн. Твой Бог, мой Бог — все равно. Твоя живет на свете, моя живет на свете. Твой поп мал-мал кричит молитву, мой поп мал-мал молчит молитву. Твоя молитва Бог слышит ухом, моя молитва Бог видит глазом. Жалко вот: ветер нет.

1-й. Да, брат, жара на ять.

2-й. Пробовал я с ним по-монгольски говорить — ничего не понимает.

1-й. А ты знаешь по-монгольски?

2-й. Братец ты мой! Сказать тебе по секрету, я был оставлен при факультете восточных языков для подготовки к профессорскому званию. Уже в приват-доцентуру проходил. По кафедре монгольской словесности. А потом как закрутило, понесло,— Господи! И мысли мои — теперь другие, и чувства мои — другие, и запросы к жизни — другие. Стал я мелок, мыслю как идиот, нет гордости, пропали нервы... И только иногда, вот в такие великолепные дни, вспоминается Петербургский университет, длинный коридор, навощенные полы, библиотека, накопленные материалы к магистерской диссертации, сады Васильевского острова, Средний проспект... И опять хочется работать, жить, полюбить какую-нибудь девушку... Хоть без взаимности, но любить, чувствовать себя человеком. Вот лежит Эргардт. Жена от него ушла, куда ушла — он не знает и никогда не узнает; мучается, переживает тягчайшие страдания, а я ему завидую: он человек, а я — пустое бревно.

1-й. Ничего, брат. А я вот ничему не удивляюсь. Полгода с тобой живу, и не думал, и не подозревал, что ты приват-доцент... А вот сегодня узнал — и не удивился. А здесь есть кое-что как будто по твоей специальности. Не совсем, конечно, но все-таки. Здесь, вот, неподалеку где-то, погребен Аннибал. Вот тебе задача: отыщи его могилу, опиши, расследуй, — и вдруг тебе — Honoris causa — преподнесут диплом доктора Оксфордского университета. Поднесут, оденут тебя в мантию, а я не удивлюсь.

2-й. Да. Пройдут века, миллионы раз перекрутится земля со всеми нами, с могилами Аннибала, со всеми нашими магистерскими диссертациями, аэропланами, философиями, городами, морями, с нашей куриной слепотой,— и сделаемся мы постепенно средними веками, а потом помаленьку передвинемся и в древние...

1-й. Ты к чему клонишь? К знаменитому: «Помянут ли они нас добрым словом?» Не помянут, брат, не помянут. Заруби у себя на носу и с этим живи! Да и черт с ними! Шубу я себе сошью, что ли, из их поминовения? (*Громко; передразнивая.*) «Alexandre! Не забудьте же моей просьбы: снимитесь и пришлите вашу фотографию».

Помощник (*встрепенулся, насторожился; хлопая себя по лбу*). А ведь это мысль! Знаете? Это — мысль! Продам я свою гитару, поеду в Константинополь, куплю фотографический аппарат девять на двенадцать, и откроем мы с вами, ваше превосходительство, здесь скромненькую фотографию. Деньги можно сделать, ей-Богу. Черта вот в этих гамаках! Плетем, плетем, а толку никакого. Не верю я в гамаки. Грех вам будет в гамаках разлеживать? Да никогда в жизни! А фотография — другое дело. Всякий человек думает, что он — красавец, и жаждет видеть себя не только в зеркале, но и вот так — всегда в хорошем сюртуке, с женой, важная поза, положить ей руку на плечо... Ей-Богу, не могу. (*Вскакивает и начинает взволнованно ходить.*) Гитара наигранная, дека отличная, починил я ее великолепно,— деньги можно взять хорошие. Я, ваше превосходительство, буду снимать, а вы — проявлять и сушить снимки, и пойдет дело. Проторговались распивочно и навынос, на этом — выплывем.

Прокурор. Давайте гамак доплетем...

Помощник. Гамак само собой (*опять берется за дело*), а это мысль.

1-й. Семя пало на добрую почву. Помимо своей воли оплодотворил, можно сказать, человека — и не удивляюсь.

Помощник. За маленькие снимочки будем брать поменьше, за большие — побольше.

2-й. И однажды какой-нибудь мужик, раскапывая землю, наткнется на Миланский собор...

1-й. А здесь, на берегу, где нищий гелюн налаживает свою молитву,— будут дворцы из синего африканского мрамора и люди в шелковых камзолах, какие в семнадцатом веке носили венецианские послы, будут сочинять своим возлюбленным триолеты... А я встану

из гроба, привидение, закутанное в белый саван, и зафыркаю на них, вот так: фр, фр, как кот,— и они испугаются...

2-й. И будь прокляты все эти аэропланы, железнодорожные экспрессы, беспроволочные телеграфы, телефоны, автомобили, уничтожившие на земле прежнюю неторопливую жизнь. Благословен Китай, перевозящий рис на верблюдах! О, если бы я мог снова достать книги Конфуция, Мен Цзы — и снова, снова учиться у них, учиться без конца...

Помощник. Наука — вещь хорошая, но и в ней есть свои опасные стороны. Вы можете впасть в ересь...

2-й. Это правда. Я и сейчас впадаю в ересь, но виноват в этом сегодняшний великолепный день. Как светит солнце! Как блещет море!

1-й. И, как огромные гады, видны вон, на горизонте, английские дредно́уты...

2-й. И как заманчива, как соблазнительна нирвана! Как тянет и волнует небытие! Когда подумаешь о прошлом,— Боже мой! — какими детьми кажутся: и этот спортсмен Мопассан со своей яхтой и „Sur l'eau" *, и сапожник Толстой, и лохматый Ибсен... Мой ноготь, вот сейчас, после пережитого, после того, что я видел на земле за последние восемь лет, знает больше, чем все эти три головы, вместе взятые. И если 15-й век дал миру художников неповторимых, прославивших тело человеческое, то 20-й прославит мысль человеческую. Кант, Гегель, Шопенгауэр, Декарт, Фауст, царь Соломон, Библия, «Илиада», «Божественная комедия» — все это скоро покажется эскизами, подмалевками к тому, что скажет век 20-й. Этот век создаст новую религию, новую нравственность, и где-нибудь уже теперь, в каком-нибудь Тироле, или на Гималаях, или в Кордильерах, Альпах или Апеннинах, но непременно в горах, где ясно и близко небо, где четки звезды и чист воздух,— архангел Гавриил уже подает лилию новой деве Марии...

1-й. А я, когда буду умирать, попрошу положить мне в гроб большую простыню. В двенадцать часов буду выходить из гроба и фрр... фрр...

Пауза.

1-й. Ну что, гелюн? Как мало-мало твои дела? Как молитвы?

Гелюн (*обсасывает палец и поднимает его над головой*). Видишь? Ветер нет.

1-й. Спит твой ветер...

2-й (*запел*). Ветра спрашивает мать: где изволил пропадать?

Пауза.

Помощник. Гелюн! Ты ведь монах?

Гелюн. Монах, да.

Помощник. Жинки, марушки, у тебя, значит, йок?

Гелюн молчит.

Помощник. Молчит. Соблазняться разговором не хочет. Монах в серых штанах. Как купим фотографию, гелюна первого снимем. Правда, ваше превосходительство?

Прокурор молчит.

Помощник. Молчаливый вы стали, ваше превосходительство. Знаю. Сосет. (*Сплевывает.*) У самого такой сосун на душе, что страшно сказать. Вот (*вынимает из кармана*) лук есть, а самое главное йок, эфенди. Отсутствует. (*С азартом плетет гамак.*)

Пауза.

Помощник. Гелюн! А какой степ лучше? Наш или этот?

Гелюн. Наш лучше.

* «На воде» (*фр.*).

Помощник. Чем же наш лучше?

Гелюн. Трава мал-мало выше, птиц перепел мал-мал поет лучше, дух мал-мал слаще и этот проклятый вода нет...

1-й. Да ведь это же море, гелюн!

Гелюн плюет на море.

Пауза.

Эргардт. Гелюн! А можно на твой столб свою молитву прицепить?

Гелюн (*набивая трубку с длинным чубуком*). А мне что? Мест много. Цепляй. Только мой мал-мал выше будет.

Эргардт. Ладно. Конечно, твоя молитва выше будет.

Помощник. Дело хозяйское.

Эргардт вынимает письмо, отрывает чистую половинку и начинает писать.

Прокурор. Дрррама. В 1800 метров. Убил бы он ее тогда, я бы отказался от обвинения.

Помощник (*вдруг неудержимо смеется*). Ведь черт его, что ни с того ни с сего вспомнится... Раз в холеру, в жаркий день, я стакан сырой воды выпил... Выпил да как сообразил — так весь день трясся от страха. Все ждал. Нет, я умирать не хочу. На земле — весело. Главное,— спокойно. Лет пятьдесят еще проживу. Наш род здоровый, колокольные дворяне. Дед мой протоиерей сто лет жил.

Прокурор. Все равно, полезешь в яму, полезешь.

Помощник. Когда это будет,— еще вопрос. А вдруг за это время какой-нибудь ученый бессмертие выдумает? Вот у меня и выигрыш. Дурак, а с понятием.

1-й. Губернатор идет.

Помощник. Закатим ему встречу.

(*Кричат*) Давай, давай, давай... Ситников! Давай!

Входит Губернатор. С ним — Васильев. У Васильева сверток.

Губернатор. Надоело, господа, ей-Богу надоело... Орете, как ишаки на заре.

Помощник. Молодость, ваше превосходительство. Кровь играет, ходуном ходит. Сами понимаете: скоро вечера майские, чаи китайские...

Васильев. Кроме шуток, ваше превосходительство, кончали бы дело, а?

Губернатор. Я бы с удовольствием, Васильев, но разве вы не понимаете: денег нет! Стал бы я торговаться из-за таких пустяков?

Помощник. Чем торгуешь, Васильев?

Васильев. Да вот парики его превосходительству продаю. (*Разворачивает сверток.*) Ваше превосходительство! Ну ладно! Будем считать так (*вынимает парики*): брюнет и старик — три лиры. Бороды к ним: седая и черная — одна лира. Двое усов таковых же — ну, сорок пиастров.

Губернатор. Ну смотрите, Васильев: ей-Богу же усишки скверные. Того и гляди расползутся.

Васильев. А цена какая, ваше превосходительство? Что вы купите за сорок пиастров?

Помощник. Да на что вам парики, ваше превосходительство?

Губернатор. В актеры иду. Вот из Константинополя письмо получил. Буду в ресторане куплеты исполнять. Полторы лиры деньгами и ужин из рубленого мяса.

Помощник. Ей-Богу? Честное слово?

Губернатор. Честное слово. Завтра усы и бороду сбриваю. Губернаторша плачет.

Помощник. Бороды и усов жаль?

Губернатор. А что ж вы смеетесь? Тридцать шесть лет бритвы не знал.

Васильев. Ну так как же, ваше превосходительство? Решайте.

Губернатор. Я подумаю, Васильев, завтра вам скажу окончательно. Утро вечера мудренее.

1-й. Серьезно уезжаете, ваше превосходительство?

Губернатор. А до каких же пор сидеть здесь? Надо работать. Тут хоть сто лет сиди,— не высидишь ничего.

1-й. Жаль, ваше превосходительство, искренне жаль.

Губернатор. Да, конечно, жаль. Сжились. Во многом не сходимся — а сжились. Не похвалясь, скажу: я — уютный старик. Сам это знаю.

Помощник. Старуха ваша — с душком.

Губернатор. А какая старуха не с душком? Все старухи с душком! А я уютный. Однажды получаю я анонимное письмо. Уж ругал он меня, ругал — корреспондент мой и в заключение написал: вы, говорит, тот самый, говорит, гоголевский губернатор, который, говорит, вышивал по тюлю. Уж и смеялся я тогда. Правду написал, мошенник... Ну, однако, нужно учить... (*Вынимает тетрадку.*)

1-й. Ваше превосходительство, прочтите нам куплеты.

Помощник. Репетицию, ваше превосходительство, устройте.

Губернатор. А что ж, пожалуй. Надо попробовать самого себя. На сцене играл, а вот в ресторанах не приходилось читать. Ну-ка, Господи благослови! (*Становится в позу, вытирает платком губы, держит себя, как куплетист — любимец публики.*) Мой старый фрак!..

Губернатор вдруг расплакался. Все бросились к нему, утешают.

1-й (*стараясь успокоить.*) Ну, вот тебе и раз. Так нельзя, ваше превосходительство.

Губернатор (*сквозь слезы.*) Дед плачет, бабка плачет...

Помощник (*взволнован больше всех; сам вот-вот заплачет*). Ничего, ваше превосходительство, ничего... Дед плачет, бабка плачет, а курочка кудахчет: снесу, говорит, его превосходительству яичко не простое, а золотое...

Губернатор. Придет камер-юнкер ужинать и скажет: «Эй, кто там! Поднесите этому куплетисту... стакан водки и бутерброд с колбасой...»

Помощник. Я ему, ваше превосходительство, такой колбасы поднесу, что он своих не узнает... Только слово скажите, мы все за вас выйдем...

Губернатор (*смеется сквозь слезы*). Столько друзей у меня, а я расплакался.

Помощник. Эх, ваше превосходительство! Чего там? Вы сюда посмотрите: море синее, атласное... Дурак гелюн ничего не понимает.

Гелюн. Степь лучше.

Губернатор. А вот и Милочка идет...

Милочка. Чего тут народ в кучу сбился? Думаю, надо свернуть, посмотреть...

Губернатор (*целует ей руки*). Откуда вы попали к нам, Милочка? Ведь вас не было в лагере сначала, я знаю.

Милочка. А я, как собачка, приблудилась к вам и живу.

Губернатор. Такое солнышко ласковенькое,— слов нет сказать.

Милочка. А чего же Эргардт отдельно от вас?

1-й. Не знаем. Дума лежит на угрюмом челе.

Милочка. Пойду, разведаю... (*Идет к Эргардту.*)

Губернатор. Ну ладно. А жизнь идет своим чередом... Нужно учить роль. Плоховато я читаю стихи.

Помощник. Ничего, ваше превосходительство. Потом — лучше пойдет. А я собираюсь покупать фотографический аппарат и тогда сниму вас во всех гримах... Бесплатно, конечно, по-дружески.

Губернатор. Спасибо, голубчик, спасибо. Ну, буду учить стихи.

Милочка (*Эргардту*). Здравствуйте!

Эргардт. Здравствуйте, Милочка!

Милочка. Что это вы? Письмо пишете?

Эргардт. Нет. Молитву.

Милочка. Молитву? Да разве вы веруете?

Эргардт. Верую.

Милочка. По-настоящему? Как в церкви?

Эргардт. Почти.

Милочка. И в то веруете, что хлеб и вино делаются плотью и кровью?

Эргардт. Да. Почему вы это спрашиваете?

Милочка. Такие люди, как вы, перенесшие на земле столько мучений, всегда по-особенному веруют. Они — созерцатели... Они молятся мысленно.

Эргардт. А вы как молитесь? Не мысленно?

Милочка. Мне нужно в церковь пойти, свечку перед иконой поставить, стать на колени и шептать молитвы.

Эргардт. Вам семнадцать лет, Милочка, а вы рассуждаете как-то солидно, основательно, положительно. С вами даже мудрец может в спор вступить.

Милочка. Тело мое живет на свете семнадцать лет, а голова, вот это (*показывает на голову*), лет, кажется, сто. Вы знаете? У нашего священника в Орле жива еще бабка, старая-престарая. Ничего не видит, ничего не слышит, ничего не помнит. Вот сидит она за столом и вдруг спросит: «Поп, а поп! Чи мы на этом свете, чи мы на том свете?» Поп веселый, шутник, отвечает: «На том, бабушка, на том». А старуха удивляется: «Ишь ты... А тоже и чаек, и сахарок есть... Ничего себе». А я вот, кажется, старше этой бабки и тоже не знаю: на этом свете я или на том?

Эргардт. Подождите, Милочка, подождите... Вот-вот придет любовь, и все эти великолепные, магические пять букв: л, ю, б, о, вэ отпечатаются у вас в сердце, и тогда вы, как пятью гвоздями, будете пригвождены к земле. И тогда прояснится ваша голова, и вы по-новому оглянетесь на весь мир и почувствуете, как прекрасно море, потому что по нем можно с любимым плыть; как прекрасна степь, потому что по ней можно с любимым без конца бежать; как прекрасны горы, потому что там сильнее ветер и у любимого так хорошо и так пышно развеваются кудри. Милочка! У вас — слезы?

Милочка. Вы — о любви говорите, а я о каком-то попе.

Эргардт. Нет, это хорошо. Кстати о попе заговорили. Мне давно бы поисповедаться надо... Хотите сделаем так? Я поисповедаюсь вам, а вы перекрестите меня и отпустите мне все грехи.

Милочка (*задумалась*). Я не могу отпускать грехов. Не хорошо. Исповедуйтесь в своих самых тяжких преступлениях, а мы сделаем иначе.

Эргардт. Ну хорошо. Спрашивайте.

Милочка. Человека убивали?

Эргардт. Да. Убивал. Убил сероглазого, молодого австрийца. Мог его не убивать — и убил. Убивал своих же. И тоже мог бы не убивать, а убивал. Но, Милочка, теперь же полмира убийц. Половина людей, живущих на земле,— убийцы.

Милочка. Крали?

Эргардт. Да.

Милочка. Завидовали?

Эргардт. Да.

Милочка. Обманывали женщин?

Эргардт. Да.

Милочка. Может, и теперь замыслили кого-нибудь обмануть, привлечь хитрыми словами, обольстить?

Эргардт. Нет.
Милочка. И помышления ваши чисты?
Эргардт. Теперь — да.
Милочка. А раньше?
Эргардт. Раньше этого не было.
Милочка. Зла ни на кого не таите?
Эргардт. Теперь — нет.
Милочка. А раньше?
Эргардт. А раньше — было.
Милочка. К жене своей как относитесь?
Эргардт. Все забыл.

Долгая пауза. Милочка думает.

Милочка. Ну и Бог забудет все ваши грехи. Отпустить их вам я не имею права. Я беру их на себя, на свою душу. И отмолю.

Эргардт. Спасибо, Милочка. А теперь так, чтобы там не видели, перекрестите меня маленьким, незаметным крестиком.

Милочка крестит его.

Эргардт. Вот спасибо. Дайте ручку. (*Целует ручку.*) Вот теперь хорошо. Легко стало. Вот что, Милочка. (*Достает из кошелька медаль.*) Вот старинная медаль. Только в музеях вы найдете такую. Видите? Профиль женщины? Видите, как она была хороша? Как завязаны волосы? Это не жена императора, а женщина, которую он любил больше, чем жену. Которая у него выжгла на сердце четыре буквы: а, м, о, эр — amor. Так вот, дарю вам эту медаль. Но одно условие: никогда не смотрите на человека в обратные стекла бинокля.

Милочка (*рассматривая медаль*). Спасибо. До смерти сберегу ее.

Эргардт. А теперь — идите домой. Мне еще писать надо...

Милочка. Хорошо. Пойду. Странно: сердце такое радостное, радостное.

Эргардт. Милочкка! Светит солнце. Море далекое, далекое, до самого неба. Песок теплый. Придет ночь, да, старая-старая ночь, зажгутся звезды, как стаи заснувших серебряных рыб, а вам семнадцать лет. Чего же вам не быть радостной? Глаза у вас прекрасные. Волосы — густые. Ротик алый. Зубки беленькие. Чего вам?

Милочка. Значит, до вечера?

Эргардт. До вечера.

Милочка уходит.

1-й. Милочка!

Милочка не оборачивается.

1-й. Милочка!

Милочка ушла, не оглянувшись.

1-й. Та-ак-с!

Пауза.

Эргардт. Гелюн! Я прибью свой листок. Хорошо?
Гелюн. Прибивай. Только мал-мало ниже цепляй. Возьми гвоздик.
Эргардт. Вот спасибо.
1-й. Ах, гелюн, гелюн. Хочется тебе первому, без очереди, в царство небесное вскочить.

Эргардт (*прибивая листик*). А ветра все нет?

Гелюн. Ветер нет. Беда.

Эргардт. Ну к вечеру будет. Тучи вон там какие-то ползут... Из-за гор.

Уходит по берегу.

1-й (*поет на мотив колыбельной песни*). Ветра спрашивает мать: «Где изволил пропадать?»

Прокурор (*вслед Эргардту*). Эх идиот, идиот! Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей.

Пауза. Гелюн вдруг забеспокоился.

1-й. Чего ты, гелюн? Ветер, что ли, поднимается?

Гелюн срывается с места и снимает бумажку Эргардта.

1-й. Ты, брат, слетел с винта. Сначала разрешил, а теперь снимаешь?

Гелюн (*подходит к нему и говорит тревожно*). Мал-мал смотри, пожалуйста. Это по-русски написано?

1-й. По-русски, да.

Гелюн. Читай, пожалуйста.

1-й. А зачем же,— ведь это не твое? Это чужое?

Гелюн. Читай, говорю тебе. А вдруг он мал-мал Бога ругает? Ну?

1-й (*смеется*). Ах ты карачун проклятый! И тут цензуру установить хочешь? Ну хорошо. А если он ругает Бога — тогда что?

Гелюн. Ломай дерево, ставь свой столб, пиши свою бумагу, мою мал-мал не тронь. Читай, пожалуйста.

1-й. Ну ладно. Цензуруй. А красный карандаш имеешь?

Гелюн. Зачем карандаш. Никакой карандаш не надо. Читай, пожалуйста.

1-й. Ну ладно. (*Читает.*) Положил ты ее мне, как печать, Господи, и жжет она меня, огненная, и спалила всего, испепелила все: и душу, и сердце, и мысли мои, и чувства мои, и, сожженный человек, я уже больше не хочу ходить по твоей земле. В последний час свой я славлю Тебя, Вышний мой, славлю великолепное солнце твое, море твое и землю, твою звезду, я пою Тебе, и клапяюсь, и иду вслед величия Твоего, и пусть ступит нога Твоя на слова мои. Скоро опустит солнце знамена свои перед светом вечерним Твоим и зажгутся иные, тихие светила Божества Твоего. (*Замолчал.*)

Гелюн. Читай дальше.

1-й. Не довольно ли, Гелюн?

Гелюн. Читай, пожалуйста.

1-й (*читает*). Прими же дух Твой, который Ты вселил в меня, и вдохни его в нового человека, и покажи ему, как Ты показал мне, дали Твои, широты Твои, святости Твои. И не казни его любовью земною...

Гелюн. Довольно, давай сюда.

Берет листок, подходит к столбу и несколько секунд думает. Потом снимает свою молитву и на ее место вешает молитву Эргардта. Свою же укрепляет ниже ее.

1-й. Совесть зазрила, гелюн, да?

Вдали выстрел.
Пауза.

Помощник. Кто-то по зайцу саданул... Ведь вот заяц живет, живет...

Прокурор. Замолчи, анафема!

П о м о щ н и к. Морчу.

Пауза.

2 - й. Идет вечер. С ним — сон.

1 - й. Сны мимолетные, сны беззаботные...

2 - й. Природа каждый день приучает человека к смерти. Засыпая, ты ложишься в гроб. Просыпаясь — воскресаешь. И разве так страшна смерть? Сон.

1 - й. Слушайся Alexandre'a!

2 - й. Чаю воскресения мертвых...

1 - й. А еще жизни? Да еще в будущем веке?.. Нет... фр... фр...

Пауза.

Г е л ю н (*встрепенувшись*). Кажись, ветерок мал-мал...

Слюнит палец и поднимает его над головою. Торопливо выбивает о сапог свою трубку, подходит к столбу, обхватывает его руками и молитвенно склоняет голову.

[*З а н а в е с*]

ФИЛОСОФИЯ

Федор Степун

Мысли о России

<...> В позапрошлом году составлял я в Москве альманах. Обратился к близким по духу людям. Получилась странная картина: ни один рассказ не имел местом своего действия России. Ривьера, Париж, Флоренция, Гейдельберг, Мюнхен, Египет — вот о чем писали, о чем мечтали, к чему стремились русские люди, старые «добрые европейцы» в годы революции.

Но вот мы изгнаны из России в ту самую Европу, о которой в последние годы так страстно мечтали, и что же? Непонятно, и все-таки так: изгнанием в Европу мы оказались изгнанными и из Европы. Любя Европу, мы, «русские европейцы», очевидно, любили ее только как прекрасный пейзаж в своем «Петровом окне»; ушел родной подоконник из-под локтей — ушло очарование пейзажа.

Нет сомнения, если нашей невольной эмиграции суждено будет затянуться, она окажется вовсе не тем, чем она многим в России казалась,— пребыванием в Европе, а гораздо более горшею участью, пребыванием в торричеллиевой пустоте.

Но, конечно, все эти чувства в вечер, когда поезд подходил к дебаркадеру Эйдкуиена, были в моей душе еще не чувствами, а всего только отсутствием тех чувств, которых я от себя ждал, представляя себе свой переезд через границу. Да и это отсутствие было тоже чем-то очень тайным и схороненным, чем-то очень внутренним.

Внешне же все обстояло прекрасно. Наш титулованный немец избавил нас от всех пограничных процедур. Мы не показывали багажа, а, отдав паспорта, прямо прошли в зал I и II класса и сели ужинать. За ужином наш спутник провозгласил тост за Россию, за Германию, за наш союз...

Германия нас не только впускала к себе, она нас принимала и чествовала!

В немецком спальном вагоне ехали почти одни только немцы. Богатая русская публика: развенчанные коммунисты и коронованные нэпманы — следовали уже от самой Риги в гораздо более удобных, но и гораздо более дорогих международных вагонах. Совсем безденежная русская публика ехала простым третьим классом.

Было еще рано ложиться спать. Поужинавшие «bei sich zu Hause fürs billige Geld» * немцы благорастворенно курили в слабоосвещенном коридоре вагона. Очень их хорошо и близко зная, я заново поразился их характерною внешностью: заамуниченностью, взнузданностью, подтянутостью и шарнирностью. В удушающем крахмале, свежестриженые и четко причесанные, они являли собою такое глубокое отрицание всех форм и законов стилистики вагона: законов удобства, свободы движения, усталости, что, будучи (я тщательно оглядел всех) довольно складными людьми, производили впечатление какого-то явного уродства. Помню, как меня в мой первый приезд в Берлин поразило дикое зрелище

* «У себя дома задешево» (*нем.*).

смены дворцового караула. Это было все то же единственное в Европе германское уродство: механичность и манекенность.

Как знать, не проиграли ли немцы и битвы на Марне, да и всей войны по причине недостаточно острого ощущения живой, органической красоты, по причине своего глубокого недоверия к творческой роли случая, произвола и всяческой непредвиденности, по причине изгнания искусства и артистизма из своих военных и дипломатических расчетов и построений. То, что они в конце концов были разбиты грандиозным механизмом американской цивилизации,— не опровержение. Американская цивилизация — явление совсем другого порядка, чем довоенная немецкая. Американская — одушевление вещей, немецкая — овеществление людей.

Вещи и люди,— замечает где-то Шеллинг,— гибнут, изменяя своей сущности. Немцы существеннее всего в музыке и философии. Вряд ли это достаточная предпосылка для удачной игры в римлян XX века. Не есть ли поражение Германии только возвращение Германии к своей сущности, и в этом смысле победа, если и не над миром, то над собой...

Но возвратимся к мыслям о России.

К вокзалу Шарлоттенбург вагон подходит почти пустой. Мы стоим у окна и ждем — не встретит ли кто. Хотя кому же встречать — мы никого о своем приезде не извещали. Мы не извещали, но кто-то за нас известил, и, не успев еще выйти из вагона, мы уже видим, как прямо на нас несутся: букет красной гвоздики, контрреволюционные ножки в шелковых чулках, мужской котиковый воротник и сзади нервно подергивающееся пенсне... Я радостно чувствую, что нас встречают с незаслуженною радостью, но чувствую также и то, что рады все не только нам, но прежде всего России в нас... В это мгновенье я слышу почти умиленный голос: «Нет... калоши!» Ну, конечно, мои глубокие калоши вполне сто́ят в данную минуту всего меня.

Нас берут под руки и куда-то ведут. Мы разговариваем громко и весело. Я жестикулирую не только рукой, но, по неисправимой привычке, и палкой. Встречающиеся немцы смотрят на нас с досадой и неприязнью. Огибают нас, чуть ли не храпя, как лошади верблюдов. Раньше этого не было. Это грустно, даже немного больно. Но грустить мы будем потом. Пока все сплошной сон, в котором не страшны даже и неприязненные немцы. Двадцать минут беспорядочного разговора на вопросительных знаках, паузах и многоточиях, и мы у подъезда одной из эмигрантских штаб-квартир. Входим в нарядный вестибюль. Наши спутники с невероятною тщательностью вытирают ноги: точно мужики, пришедшие в барский дом с иконами. Еще не успел показаться портье, как я уже слышу взволнованный шепот: «Пожалуйста, поздоровайся с ним». Я любезно здороваюсь и уже чувствую в себе некоторый заискивающий страх перед грозою дома. Подымаемся по лифту. Входим в хорошую буржуазную квартиру. Чинная прислуга, чинная мебель, четко, немножко голо, очень чужественно. Все свое, собственное, купленное — а связи с купившими нет, точно живут люди не в своей квартире, а в реквизированной.

Очевидно, *внезапно* купленное «свое» в чужой стране — совершенно так же «не свое», как «не свое» в своей — внезапно реквизированное «чужое». Сколько советская власть ни декретировала отмену частной собственности, она мужика его собственности все-таки не лишила, и как ни старались некоторые эмигранты поселиться на чужбине в собственных домах и квартирах, им это все-таки не удалось. Не удалось потому, что подлинная собственность есть мое овеществленное «я», т. е. некая весьма сложная духовная ценность, приобретаемая исключительно путем упорного творческого и любовного труда. Ни одна вещь не может быть в собственность ни куплена, ни реквизирована, в собственность она может быть только облюбована и обжита. Собственные земли, дома, квартиры и просто вещи на чужбине невозможны. Ибо в чужой стране можно себя не чувствовать несчастным чужестранцем, только если чувствовать себя «очарованным странником».

Но «очарованный странник» не собственник. В лучшем случае, если он не подлинный «очарованный странник», а всего только разочарованный путешественник, он возможный собственник не земли, дома и квартиры, а разве только автомобиля. Сколько я ни видел впоследствии эмигрантских квартир в Берлине и Париже — в них почему-то все время оставался, на мой, по крайней мере, слух, знакомый по Советской России характернейший звук реквизированности.

Через несколько дней после моего приезда мне довелось встретиться с целым рядом довольно высокопоставленных немцев и большим количеством верхов и вождей берлинской эмиграции. Характерная разница между немцами и эмигрантами заключалась в том, что политически весьма разномыслящие немцы относились к большевистской России в общем довольно однообразно, в то время как политически очень близкие друг другу эмигранты ощущали проблему коммунистической России весьма разно. Чувствовалось, что для немцев вопрос «большевизма» всего только вопрос прагматически политического расчета, для эмиграции же, как, конечно, и для всех русских людей — и для нас, высланных, и для там оставшихся,— вопрос далеко не только политической целесообразности, но и всей нашей целостной человеческой сущности. Во всех разговорах, при всех встречах с душевно близкими людьми мучительно ощущалась все та же самая проклятая, почти неразрешимая трудность проблемы большевизма: требование, чтобы она была разрешена во всех плоскостях, не только в политической, но и в нравственной и религиозной.

«Никакая иная власть, кроме большевистской, сейчас фактически невозможна», «всякая иная только снова ввергнет Россию в ужасы террора и войны», «большевики уже идут тем единственно возможным путем, который с объективною необходимостью приведет их к воссозданию не только капитализма, но и государственного правопорядка», «самый быстрый путь их свержения — это предоставление их логике жизни» — такие и подобные суждения естественно приводят всякого немца к *признанию советской власти*. Верны ли эти соображения или не верны — для национальной, русской постановки большевистского вопроса они, во всяком случае, *не решающи*. Для русской постановки ясно, что *даже полное сознание* невозможности и практической нежелательности в данный момент другой власти никоим образом не ведет к *признанию* советской, ибо если политически и осмысленно всегда желать только *возможного*, то нравственно все же иногда обязательно требовать и *невозможного*.

Вопрос большевизма не есть для нас вопрос только политический. Становиться по отношению к нему на столь узкую точку зрения значит превращаться из русского человека в иностранца или интернационалиста, что в конце концов то же самое. Весь грех «сменовеховства», не как организованной большевиками «комячейки в эмиграции», а как идейного движения, заключается в исключительно практическом и тем самым аморальном и безрелигиозном отношении к проблеме большевизма. В этом смысле «идейные сменовеховцы» по своей психологии не «оторванные от России эмигранты», но много хуже — хозяйничающие в России иностранцы.

Я понимаю, что на первый взгляд такая постановка вопроса, могущая при злостном желании быть истолкованной как определенная защита тезиса «не бороться, но и не признавать», может показаться весьма подозрительной. Разговаривая на эти темы, мне часто приходилось слышать, что такой взгляд — сплошная, типичная, беспочвенная интеллигентщина, что-то вроде толстовской проповеди непротивленства. Но это только недоразумение.

Большевики, захватившие власть, были, конечно, злом. Со злом необходимо бороться силою. Это не подлежит никакому сомнению. Но глубочайшим сомнениям подлежит длинный ряд других, гораздо более сложных положений. Так, например, далеко не всякое

проявление силы перед лицом врага может быть признано за борьбу с ним. Для того чтобы проявление силы перед врагом было борьбою с ним, оно должно быть, прежде всего, целесообразным. Можно, конечно, перед пастью разъяренного зверя хладнокровно заниматься тяжелой атлетикой, но результат такой подлинно героической ситуации возможен только один: что зверь сожрет атлета. Думаю, что людей, сразу же уловивших в нашем антибольшевистском движении характернейшую для него черту легкомысленного увлечения тяжелой атлетикой и потому сознательно оставшихся работать среди большевиков, совершенно несправедливо огульно считать врагами России.

То отрицательное отношение, которое наблюдается к ним со стороны широких кругов политической эмиграции, должно решительно признать за неосведомленность и самолюбивое ослепление.

Нет никакого сомнения, что история увидит все совершенно иначе. Быть может, вся вражда между эмиграцией и беспартийными «советспецами» окажется в ее примиряющем свете очень своеобразным преломлением той вражды, которая была временами так остра на фронте между блестящей конницей и серой пехотой, так называемой «кобылкой». И действительно, психология очень большой части эмиграции многим напоминает военную психологию самого блестящего, но и самого дорогого рода оружия. Та же переоценка себя и своей сабли, то же увлечение тактикой доблестного удара, то же пренебрежительное отношение к героизму будничного нажима и то же полное презрение к врагу. Помню, как на открытую позицию, которую мой взвод занимал на Ростокском перевале под прикрытием полуроты второочередного Сибирского полка, прибыл с какими-то приказаниями блестящий ординарец-улан, матерый кадровый унтер. Я с ним разговорился, и как сейчас слышу его слова: «Опасное ваше положение, ваше благородие. Прикрытие у вас! — Какие же это солдаты. Им только колбасу покажи, они тут же винтовки побросают!»

Конечно, были случаи — «кобылка» сдавалась, сдавалась по очень многим причинам: и по ненависти к собственному тылу, и от страха, и ради «колбасы», но в общем она все же доблестно защищала родину. Если психология эмиграции близка психологии кавалерии, то психология беспартийных советских работников, как мелких служащих, так и крупных «спецов», была и осталась психологией серой, армейской пехоты. Та же бытовая близость к врагу и потому та же непонятная утрата ненависти, та же весьма действенная энергия унылого нажима, тот же героизм будничной борьбы и будничного страдания. Я всем этим, впрочем, отнюдь не утверждаю, что беспартийные работники Советской России вели сознательную борьбу против большевиков.

Неоспоримым представляется мне лишь факт, что свою победу над декретом русская жизнь одержала на территории той конкретной предметной работы, которую вела в России серая армия советских беспартийных работников.

Эту большую заслугу за неэмигрировавшей частью интеллигенции эмиграции давно пора безоговорочно признать.

Сейчас это сделать легче, чем когда-либо. Ведь эмигрантская конница и сама очевидно спешивается...

Но одно дело — самая искренняя политическая лояльность, совсем другое — внутреннее, нравственное признание.

Лояльность эта может вырастать из самых разнообразных причин: из признания прочности, длительности и обоснованности состоявшейся победы врага, из ясного осознания того факта, что дальнейшая борьба будет лишь усилием вражеской власти и окончательным разгромом всех борющихся против нее сил, из трагически односмысленного убеждения, что вражья победа и вражья власть представляют собою в данную минуту, а быть может и надолго, *наименьшее из всех возможных зол*. Но если все это и ведет к лояльности, то ясно, что это не может и не смеет вести к внутреннему признанию. Не бороться

с наименьшим злом, дабы не насаждать большего, не только позволительно, но и обязательно. Признавать же зло не позволительно, ибо признавать зло — значит его оправдывать, т. е. утверждать в достоинстве добра.

В наши дни, когда в умах и сердцах большого количества русских людей происходит в общем здоровый процесс замены игнорирования России ради большевиков, игнорированием большевиков ради России, в связи с чем растут как смысл, так и соблазн призыва к лояльности,— уяснение разницы между активною политическою лояльностью и хотя бы только пассивным внутренним признанием представляет собою величайшую важность.

Разницу эту прекрасно понимает и сама большевистская власть. Только очень глубоким пониманием этой разницы объясняется такое мероприятие, как высылка из России большого количества безусловно лояльных граждан лишь за их внутреннее неприятие, непризнание советской власти. Большевикам, очевидно, мало одной лояльности, т. е. мало признания советской власти как факта и силы,— они требуют еще и внутреннего приятия себя, т. е. признания себя и своей власти за истину и добро. Как это ни странно, но в преследовании за внутреннее состояние души есть нота какого-то извращенного идеализма. Очень часто чувствовал я в разговорах с большевиками — и с совсем маленькими сошками, и с довольно высокопоставленными людьми — их глубокую уязвленность тем, что, фактические победители над Россией, они все же ее духовные отщепенцы, что несмотря на то, что они одержали полную победу над русскою жизнью умелой эксплуатацией народной стихии,— они с этой стихией все-таки не слились, что она осталась под ними краденым боевым конем, на котором им из боя выехать некуда.

Оттого, что в лучших большевистских душах есть извращенный идеализм такой боли, оттого, что многих большевиков если и не мучает, то все же злит формула: «Власть ваша, а правда наша», на утверждение или, по крайней мере, умолчание которой они все же всюду наталкиваются,— оттого нет ничего более гнусного и вредного, чем распространившаяся в последнее время среди нашей интеллигенции мода на самооплевание. Насколько важна и нужна самокритика, настолько вредно и тлетворно самооплевание. Здоровая самокритика есть прежде всего мужественная борьба за будущее; самооплевание — трусливое отречение от прошлого. Критика — наступление, самооплевание — бегство. Но между самокритикой и самооплеванием есть еще и другая, и быть может более важная, разница. Здоровая положительная критика возможна всегда только на почве твердой веры в идеалы, путь и долг, самооплевание же есть всегда утрата всякой веры в объективный идеал, в обязательный путь, в ответственный долг. Самооплевание потому гораздо больше, чем *само*оплевание. Оно всегда не только оплевание своего лица, но и оплевание в своем лице всякого образа и подобия Божия.

«Конечно, большевики преступники, мерзавцы, но все-таки они сила, в них есть вкус к власти и умение действовать — они совсем не то, что мы: безвольные идеологи и слюнявые гуманисты, которым впору не Россией управлять, где без крови не обойдешься, а разве только чаевничать да краснобаить». Во сколько же раз в таких речах, несмотря на непримиримое «большевики мерзавцы и преступники», больше внутреннего признания большевизма, чем в самой активной лояльности беспартийного советского «спеца», борющегося за повышение себе жалованья, как *интеллигенту*.

Фактическое признание большевиков как наименьшего зла — это еще не обязательно признание. Это возможно даже и как платформа дальнейшей борьбы. Но почитание себя, «интеллигенции», за нечто худшее, чем мерзость и преступление, только потому, что тебе была изначально свойственна вера в человека, совесть и разум, это уже больше, чем признание большевизма, это порабощенность и растленность им, это уничтоженность в нем. И психологически это не покаяние и не самокритика, а самодовольство и бесстыдство.

В самые страшные годы советского режнма, когда окончательно обезумевшая шахматная доска маркснстско-большевнстскнх выкладок надгробной плнтою лежала на всех полях н пахотах Росснн, еднnственною пробнвающеюся нз-под нее травкой виднелась, как зто нн зазорно н на первый взгляд нн странно сказать,— спекуляция. Спекулянты, и прежде всего спекулянты хлебом — крупные органнзаторы н зксплуататоры замечательного российского явлення — «мешочннчества», былн совершенно особымн людьмн. Средн ннх редко встречалнсь нашн степенные купцы, бойкне лавочннкн, деревенскне мужнкн, но было средн ннх очень много беглых матросов, бывалых солдат, гнмназнстов, воспнтанных на борьбе с полнцней лапсердачных евреев, цыган-конокрадов н самых разнообразных женщнн. Все это жнло в разлнчных частях Москвы: в Замоскворечье, на Балчуге, у Немецкого рынка, около Павелецкого вокзала н во многнх другнх местах. Жнлн, как зто нн странно, не врассыпную, а целыми таборамн, целымн лагерямн, постоянно откупаясь от большевнстскнх агентов н мнлнцнонеров громаднымн суммамн, но одновременно ннкогда не сннмая дозорных постов. И не странно лн, что в зтн спекулянтскне квартнры ннтеллнгентская молодежь пробнралась с мешкамн под пальто за хлебом, пшеном н сахаром, совершенно в таком же виде н в такнх же ощущениях, как в 1905, 1906 гг. пробнралась на конспнратнвные квартнры с революцнонной лнтературой под полой. А дома совершенно так же, как в 1905 г., ждалн старнкн роднтелн, ежемннутно поглядывая на часы н волнуясь: не перехватнлн бы мнлнцнонеры, не окружнлн бы квартнры, не заарестовалн бы...

Действнтельно, революцин нужно было окончательно сойтн с ума, чтобы превратнть спекулянта в революцнонера н пшено в дннамнт.

Помню, как нагруженные пшеном возвращалнсь мы с саннтарных поездов. Уже пробраться к ннм было часто очень нелегко. Саннтарные поезда всегда останавлнвалнсь очень далеко от вокзалов. Бесконечное колнчество путей, бесконечное колнчество поездов. Спроснть ннкого нельзя. Рассказ, на основаннн которого ндешь,— темень.

«Выйдете в тупнк, там забор. В заборе выбнты две доскн, в эту дыру не ходнте, там раньше ходилн, теперь сторожат. За эту дыру ндnте саженей сто, там щупайте: доска отшнта, только прнслонена. Вы прямо в зту доску, тут же недалеко тропочка вннз, вы ступайте прямо на красный фонарь н на 5-х нлн 6-х путях он н стонт, еслн не перевелн. Там самн увиднте, вагоны такне облеэлые... Только не ошнбнтесь, одного вчера прямо на Лубянку отправилн...»

Как нн трудно, но туда все же не страшно, ндешь с пустымн рукамн. Назад — дело другое. В руках по пуду, на спнне третнй. С полотна к отшнтой доске надо подыматься очень круто по откосу. Кругом мнлнцнонеры, правда подкупленные, но все-такн кто нх знает. «Порожняков» онн всегда пропускают, ну а с грузом нной раз перехватывают, правильно счнтая, что с одного вола можно нной раз н две шкуры содрать... Сейчас смешно вспомннать, а тогда, действнтельно, чувствовалось, будто в чемоданах дннамнт несешь...

В одной нз подмосковных дачных местностей дело было поставлено на совсем шнрокую ногу. У самого полотна железной дорогн была реквнзнрована роскошная дача под какое-то советское учрежденне. Нужные поезда останавлнвалнсь прямо протнв ее ворот (паровозы до станцнн не дотягнвалн!). Позадн дачн в гараже свалено невероятное по тем временам колнчество мукн, крупы н масла. Тайная торговля буйствовала трн дня. Цены скакалн ужасно, потому что нервннчал местный Совет, ежемннутно ставя новые условия н беспрестанно грозя «донестн н расстрелять». Торговалн раненый офнцер н два матроса. Изумнтельная была ннкем не предпнсанная днсцнплнннрованность покупателей. У ворот ннкогда не толпнлось по нескольку человек. Ннкто ннчего не спрашнвал, нн как пройтн, нн какая цена... Входилн молча со стороны полотна, уноснлн н увознлн со двора прямо в лес... То немногое, что надо было сказать, пронзноснлось шепотом. Надо всем тяготело то

тревожное настроение, в котором солдаты сторожевого охранения разбирали ужин в виду постреливающего неприятеля.

Так упорно воевало боевое спекулянтское сословие за элементарное право человека и гражданина не умирать с голоду. Так вело оно около двух лет свою тревожную бездомную жизнь, изо дня в день теряя большое количество ранеными и убитыми, арестованными и расстрелянными, но не сдаваясь и твердо веря в конечную победу человека над цифрой и пахоты над шахматной доской.

Победы этой спекуляция, к сожалению, не одержала. Совершенно неожиданным маневром своего врага она была внезапно опрокинута и разбита. То, что было не под силу никакому террору, оказалось пустяшным делом для обходного движения нэпа.

Героическому сословию спекулянтов, рожденному безумием коммунистического творчества, нэп нанес решительный удар. Из героев и защитников прав свободного человека, чем-то связанных со своими живописными романтическими предками: пиратами, разбойниками, конокрадами, охотниками, он превратил их в отвратительных самоуверенных нэпманов, покойно и солидно сидящих, словно клопы в матрацах, в социальных гнездилищах своих банков, трестов и внешторгов...

Когда по приезде в Берлин я вышел на Tauentzienstrasse и попал — было часов 6 вечера — в самый разлив русской спекулянтской стихии, в широком русле которой неслись: котиковые манто, сине-отштукатуренные лица, набегающие волны духов, бриллианты целыми гнездами, жадные, блудливые глаза в темных кругах, в заложенных за спину красных руках толстые желтые палки-хвосты, сигары в брезгливых губах, играющие обтянутые бедра, золотые фасады зубов, кроваво квадратные рты, телесиошелковые чулки, серая замша в черном лаке и над всем отдельные слова и фразы единой во всех устах валютно-биржевой речи,— я с нежностью вспомнил героических московских спекулянтов 19 и 20 гг., говоривших по телефону только эзоповским языком, прятавших в случае опасности бриллианты за скулу, при знакомстве никогда не называвших своих фамилий, постоянно дрожавших по ночам при звуке приближающегося автомобиля, и услышал где-то глубоко в душе совершенно неожиданную для себя фразу — «эх, нету на вас коммунистов!».

В целом ряде своих встреч с эмигрантами меня бесконечно поражала одна, для очень многих эмигрантов глубоко характерная черта. Они встречали меня, как только что приехавшего из России, с явною, не только ко мне, но прежде всего к России относящейся приязнью и даже любовью. Я непосредственно чувствовал, что я для них тот «дым отечества», который для не смеющих вернуться домой, быть может, еще «сладостнее и приятнее», чем для возвратившихся после долгих странствий.

Но такое отношение ко мне часто как-то внезапно нарушалось при первых же моих словах о России. Достаточно было, рассказывая о том, как жилось и что творилось кругом, отметить то или другое положительное явление новой жизни, все равно, совсем ли конкретное, что в такой-то деревне не осталось больше мещан, что все мещане обзавелись скотом, или более общее, что подрастающее поколение хотя и не учится, но зато развивается быстрее и глубже, чем раньше,— как мои слушатели сразу же подозрительно настораживались и даже странным образом... разочаровывались. Получалась совершенно непонятная картина: любовь, очевидная, патриотическая любовь моих собеседников к России явно требовала от меня совершенно недвусмысленной ненависти к ней. Всякая же вера в то, что Россия жива, что она защищается, что в ней многое становится на ноги, принималась как цинизм и кощунство, как желание выбрить и нарумянить покойника и посадить его вместе с живыми за стол. Говори я, что не Россия жива, а что большевики бессмертны, что не Россия успешно защищается от большевизма, но что большевики успешно защищают Россию, подозрительность и негодование моих собеседников были бы

объяснимы. Но этого я никогда не говорил. Моя защита большевиков никогда не достигала энергии хотя бы той формулы, которою Гете защищает всякое зло:

Ein Teil von jener Kraft
Die stets das Böse will und stets das Gute schafft *.

Утверждать, что большевики всегда творят благо, было бы слишком большим оптимизмом, но не видеть, что иногда они его все-таки творят,— зрячему человеку все же нельзя. Ясно, что видеть это совершенно не значит верить в большевиков, но значит верить в свет, в добро, в смысл истории, в Россию. Утверждая, что ужасы войны и революции, окопы и тюрьмы многих привели к Богу, я, конечно, всегда оставался очень далек от утверждения, что все палачи — священники и пророки. Нет, я волновал и отталкивал моих собеседников не совершенно чуждою мне защитою большевиков, как власти, а защитою моей веры, что, несмотря на большевиков, Россия осталась в России, а не переехала в эмигрантских сердцах в Париж, Берлин и Прагу.

Я говорю «в эмигрантских сердцах». Что же, однако, значит — «эмигрантское сердце»? Вопрос этот заслуживает самого тщательного внимания. Внешний признак территории для определения *психологической* сущности «эмиграции» очевидно недостаточен. Ясно, что как в России очень много типичных эмигрантов, так и среди эмигрантов Европы очень много людей, по своему внутреннему строю не имеющих ничего общего с эмиграцией, в смысле *эмигрантщины*. Что же такое эмигранты в этом последнем и единственно важном смысле?

Эмигрант — это человек, в котором ощущение причиненного ему революцией непоправимого зла и незалечимого страдания окончательно выжрало ощущение самодовлеющего бытия как революции, так и России. Этот человек, потерявший возможность ясного различения в своем внутреннем опыте революции как части своей биографии от революции как главы русской истории. Это человек, схвативший насморк на космическом сквозняке революции и теперь отрицающий Божий космос во имя своего насморка.

Каждому человеку свойственна жажда гармонии. Чувство гармонии есть чувство подчиненности окружающего тебя мира закону твоего внутреннего бытия. Так как эмигрантское сердце изнутри живет исключительно ощущением катастрофы, гибели, распада, то ему совершенно необходимо, чтобы и вокруг него все гибло, распадалось, умирало. Потому всякое утверждение, что где-то, и прежде всего в большевистской России, причинившей ему все его муки, что-то улучшается и оживает, причиняет совершенно невыносимую физическую боль.

Что большинству обывателей трагическая стилистика последних лет оказалась не по плечу, что большинство обывателей с легкостью отреклось от России, когда оказалось, что она не только тихая пристань, но и бурное море, и внутренне ушло в эмиграцию, в конце концов не проблема. Называть обывателя, душевно разгромленного революцией, эмигрантом — в сущности, ни к чему, его достаточно продолжать считать тем, чем он как всегда был, так и остался — обывателем.

Проблема же эмиграции в более узком и существенном смысле этого слова начинается только там, где все описанное мною как внутреннее эмигрирование стало печальною судьбою не обывательского бездушья, а настоящих творческих душ.

Художники, мыслители, писатели, политики, вчерашние вожди и властители, духовные центры и практические организаторы внутренней жизни России, вдруг выбитые из своих центральных позиций, дезорганизованные и растерявшиеся, потерявшие веру в свой собственный голос, но не потерявшие жажду быть набатом и благовестом,— вот те, совершенно особенные по своему характерному душевному звуку, ожесточенные, слепые, впустую

* Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла (*нем.*) — *пер. Б. Пастернака.*

воюющие, глубоко несчастные люди, которые одни только и заслуживают карающего названия эмигрантов, если употреблять это слово как термин в непривычно суженном, но принципиально единственно существенном смысле. Эмигранты — души, еще вчера пролегавшие по духовным далям России привольными столбовыми дорогами, ныне же печальными верстовыми столбами торчащие над своим собственным прошлым, отмечая своею неподвижностью быстроту несущейся мимо них жизни...

Людей, совсем и окончательно лишенных всякой внутренней эмигрантщины, среди эмигрантов, конечно, не много. Если бы их было много, это было бы чудом. Но зато и настоящих эмигрантских душ, до краев наполненных «эмигрантщиной», к счастью, еще много меньше. Поскольку же они встречаются, они производят страшное впечатление, быть может, более страшное, чем русская Tauentzienstrasse под вечер. В эмигрантщине Россия сгнивает, в нэпманстве она разводит на себе червей. Изъеденный червями труп страшнее отъевшихся на нем червей.

Я никогда не был сторонником белого движения: как его идеология, так и многие из его вдохновителей и вождей всегда вызывали во мне если и не прямую антипатию, то все же величайшие сомнения и настороженную подозрительность. Такая невозможность внутренне сочувствовать белому движению была для меня в известном смысле всегда тяжела. Уж очень много близких людей ушло на Москву в Добровольческой армии, и прежде всего шли лучшие элементы того рядового русского офицерства, которое за годы войны я привык не только искренне уважать, но с которым я плотно свыкся и которое от души полюбил. Рядовое наше офицерство, каким я его застал на фронте в обер-офицерских чинах, было совсем не тем, за что его всегда почитала радикальная интеллигенция. Как офицерство монархической России, оно, конечно, и не могло быть и не было революционно, ни социалистично, но, как всякий обездоленный класс, оно было в конце концов как в бытовом, так и в психологическом смысле глубоко народолюбиво. Вынянченный денщиком, воспитанный в кадетском корпусе задаром или за медные деньги, с ранних лет впитавший в себя впечатление вечной нужды многоголовой штабс-капитанской семьи, кадровый офицер, несмотря на свое, часто только стилистическое пристрастие к рукоприкладству и крепкому поминанью, зачастую много легче, проще и ближе подходил к солдату, к народу, чем многие радикальные интеллигенты.

Воевали все за очень немногими исключениями честно и храбро, многие доблестно. При это были скромны. Ни общество, ни правительство не воздавали им должного. Санитарные двуколки без рессор, товарные вагоны, превращенные в санитарные исключительно при помощи кисти маляра, эвакуационные пункты, похожие на застенки, или бестактная роскошь великокняжеских или всяких иных именных лазаретов, в которых даже умирали под оперные переливы алябьевского «Соловья», частая задержка нищенского жалованья, грязь и вши на этапах — все это рядовое русское офицерство не замечало, не видело...

Когда над фронтом неожиданнее всех неприятельских шрапнелей разорвалась революция, русское офицерство, которому она ничего хорошего не несла и не обещала, приняло ее без малейших оговорок и сопротивления. В ответ на это оно было революцией сразу же взято «под подозрение». Неся всем все возможные и все невозможные свободы, мартовская революция все же не нашла возможным разрешить офицерству свои профессиональные союзы, офицерские комитеты без участия солдат. Чем дальше развертывалась революция, тем неприемлемее становилась она для офицерства. Брестский мир, кровавым бичом хлестнувший по опозоренному лицу всей России, больше всего с чисто *психологической* точки зрения ударил, конечно, по рядовому офицерству.

Вместе со всей армией оно годами ждало мира, не блистательного и жестокого, но справедливого и благообразного. Как о чуде мечтало оно о том часе, когда покатятся

обратно в родные углы России воинские поезда. В эти минуты духовного предвосхищения «мира» светлела память о погибших, крепла дружба между живыми и бесконечно дорогим и близким душе звучало пенье в солдатских вагонах, пенье родных, испытанных, любимых рот и батарей.

Кроме этого *часа* ожидаемого мира, у офицерства ничего за душою не было. Всем своим воспитанием изначально оторванное от всякой иной жизни, кроме военной, никак не связанное в своем большинстве с общественной, политической и культурной жизнью России и чуждое хозяйственным солдатским интересам, оно ждало этого часа как единственного оправдания всей своей жизни, начиная с приготовительного класса кадетского корпуса и кончая страшными минутами в окопах и на операционных столах. И этот час был у него большевиками украден.

Долгожданный мир всходил над Россией не святым, а кощунственным, не в благообразии, а в безобразии, ведя за своей позорной колесницей со связанными за спиной руками, оплеванными и избитыми, тех самых принявших революцию офицеров, которые, многократно раненные, возвращались на фронт, чтобы защищать Россию и часть своего мира.

Все это делает вполне понятным, почему честное и уважающее себя офицерство психологически должно было с головою уйти в белое движение. Но все это делает вполне понятным и то, почему уход офицерства в белое движение вполне мог не быть и чаще всего и *не был* уходом в движение контрреволюционное.

Теперь, когда идея интервенции потеряла всякую почву под ногами, когда запоздавшее отрицание ее со стороны демократии невольно покрывает и прошлое интервенции все сгущающимися тенями, в сердце невольно подымается боль за всех тех, которые и под Корниловым, и под Деникиным, и под Врангелем воевали, конечно, бескорыстнее, чем царские «генштабисты» и молодые красноармейцы под Троцким и Каменевым, и которых, кажется, снова ничего не ждет, кроме неблагодарности забвения.

С первых же дней моего пребывания в Берлине стали приходить письма от тех, кого, сидя в России, уже и не чаял в живых. Приходили письма из самых разных мест: из Югославии, из Константинополя и Чехословакии, Болгарии, но все они были в каком-то одном, главном смысле — едины, словно все рассказывали одну и ту же горемычную повесть. Причем родственно звучали во всех рассказах и исповедях не только внешние факты, но и настроения, но и размышления. О фактах лучше не говорить — они ужасны. Десять лет царской войны не могли бы разрушить такого количества жизней и скосить такого количества людей, как скосили и разрушили три года гражданской. В момент революции в нашем дивизионе было пятнадцать офицеров. Вот судьбы двенадцати из них: двое умерли в ужасных условиях от тифа; один расстрелян большевиками в Сибири; один зарублен большевистской конницей на батарее; один убит в армянской армии; один пропал в польской; один лишил себя жизни; один работает шофером на грузовике; двое бьют щебень на болгарском шоссе; и только двое живут по-человечески — один студент высшего учебного заведения, другой служит в сербской армии.

Таковы факты. Каковы же порожденные ими чувства и убеждения?

«Могу сказать только одно и знаю, ты мне поверишь, мы с братом служили возрождению России, как мы его понимали, не щадя ни своих сил, ни своего живота, в буквальном смысле слова. *И мы готовы и дальше также служить.* От всякой же политики и общественной работы мы, *разочарованные в ней* и в своем к ней призвании, окончательно и бесповоротно ушли».

И то же самое, иначе, в другом письме.

«Около семи лет борьбы, увлечений и *разочарований*... Нет, *никакие политические эксперименты* не дадут здорового разрешения хаотического узла России...

А как грызутся, как спорят политические лагери, какую бумажную усобицу ведут наши эмигранты, и, что странным кажется, что ни один из лагерей не имеет ни своего вечевого

колокола, ни своего удела, а говорят „быть по сему“, и баста».

А вот еще страшнее и энергичнее:

«Как раз сейчас, когда я пишу, происходит собрание протеста (одного из бесчисленных) по поводу процесса Тихона. Меня туда не тянет. Не вижу ни смысла, ни значения этих протестов. Когда из нашей камеры уводили невинных, действительно невинных людей на расстрел, смешными и ненужными казались мне эти, себя обеляющие, протесты. Когда же мне действительно станет невмоготу и я сам захочу протестовать, я, может быть, пойду и тоже убью какого-нибудь Урицкого или Воровского».

Вот три белогвардейских письма. Во всех острая боль тяжелого разочарования и явное отвращение к политике. В первом отвращение растерянное, во втором — назидательное, в третьем — отчаявшееся и потому угрожающее.

Пути, которыми авторы полученных мною писем пришли к своему аполитизму, вероятно, бесконечно различны, и все же думается, что в последнем смысле все они сводимы к ощущению той мучительной сложности и невысветляемой лжи, в которые офицерство запутала трагедия гражданской войны. Вот еще один, психологически очень интересный отрывок из письма, недавно полученного мною от блестящего кадрового офицера, много сил положившего сначала на проведение в жизнь воли февральской революции, потом на борьбу против большевиков.

«Если бы ты знал, какою красотою и правдой представляется мне после всех ужасов пролетарской революции и гражданской бойни та наша (если разрешишь так выразиться) война. Все последующее, *уродливое и жестокое*, не только не заслонило моих старых воспоминаний, но, очистив их своею *грязью и чернотою* (как уголь чистит белых лошадей), как-то даже придвинуло их ко мне...

И сейчас так близки моей душе Карпаты и милая Ондава, где мы стояли с тобой весной 15-го года... Объясни мне, почему я сейчас, в 23-м году, могу тебе точно и подробно перечислить все деревни, в которых мы ночевали на Юго-Западном фронте, и почему я не назову тебе почти ни одной от Харькова до Новороссийска...»

Изумительное наблюдение и изумительно поставленный вопрос. И дальше, сквозь все письмо, все то же недоумение и все тот же вопрос.

«Ведь вот мало ли я слышал остроумия, и ведь не сложная, кажется, шутка твой комплимент доктору Зильберманну, что он на своем аргамаке имеет какой-то ущельный вид,— а ведь вот умирать буду, не забуду и тебя на косящей глазом лошади, и убогую полевую дорогу, и польщенного доктора на не знающем скребницы «шкапе», и смеющегося Женю, и покосившийся крестик на пригорке, и вызванные твоей шуткой образы Кавказа, Пятигорска и Лермонтова».

Ответа на эти вопросы автор письма в себе не находит, хотя, думается, ответ у него есть.

«Когда приезжал из отпуска на фронт, всегда чувствовал, что из сутолоки и суеты бурливых разговоров попадал в сферу только нужного, только важного и потому ясного... На фронте у меня на душе всегда было *спокойно*, спокойно даже тогда, когда так волновался за Женю, за тебя, за Ивана — беспокоился всем существом, но не душой, не главным. В главном не было сомнения, в главном всегда ощущал: «Так надо, так надо...иначе нельзя»; и было все просто, все ясно, как в Пифагоровой теореме, пока существуют аксиомы. *Но не дай Бог усомниться,* что кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая».

Вот в этих словах и весь ответ. Во внешней войне офицерство участвовало, твердо зная, где правда, где ложь, где долг и где бегство от него. Эта полная ясность нравственного положения естественно отражалась и в ясности взоров, которыми воюющее офицерство смотрело на весь мир. В эти ясные взоры все вещи входили легко и спокойно, сразу же располагаясь в них с той графической четкостью, с которой располагается в душе все, входящее в нее в большую минуту. Что эта ясность была лишь условной, что она держалась в офицерском сознании не столько наличностью в нем всех последних ответов, сколько

отсутствием последних вопросов, конечно, не важно. Важно лишь то, что все держалось на аксиомах. К аксиомам же офицерской этики принадлежало и положение «о последнем не спрашивать».

Гражданская война разрушила всю эту веками взращенную ясность офицерского миросозерцания. Предоставив каждого самому себе и предоставив каждому невыносимую свободу действия и решения, она, естественно, сначала смутила, потом затуманила и, наконец, окончательно погрузила во мрак оторванные от своих традиций души и сознания своих лучших участников. Темное сознание мраком влилось во взоры, и взоры стали *беспамятны*. Со смущенною душою, с поколебленною ясностью совести, со взорами темными от тобою творимого безумия нельзя отдаваться идиллическим впечатлениям дорог и ночлегов, нельзя наслаждаться веселою шуткой, любовью, дружбой. Нет, не вечно тёмный лик смерти «потемнел, исказился, испакостился в гражданской войне», а потемнел и исказился лик жизни, утратившей свет своей аксиоматической веры.

И всё же, несмотря на страшный тупик, в который, очевидно, попали лучшие участники Добровольческой армии, на полную утрату ими всех незыблемых основ жизни, на вполне откристаллизовавшееся в них отрицание всякого смысла замотавшейся в себе самой политической борьбы,— во всех полученных мною письмах и во всех разговорах с офицерами-добровольцами никогда даже и не мерещился мне тот мертвый звук эмигрантщины, который часто так явно слышится в злобном мудрствовании политических вождей и идеологов воинствующего добровольчества.

«Эмигрантщина» — отрицание будущего во имя прошлого, вера в мертвый принцип и растерянность перед жизнью, старческое брюзжание над чашкою с собственной желчью.

Письма же, полученные мною, все то, о чем они говорят, и все те, от имени которых они говорят, представляют собою нечто совсем другое и даже прямо обратное. Это частичное отрицание своего недавнего прошлого во имя искомого будущего. Страстное отрицание всяких принципов и прежде всего всяких партийных и политических платформ во имя жизни. Порою же страшное раздумье над чашею с ядом, т. е. тот подлинный творческий сократизм:«Я знаю, что я ничего не знаю», с которого, конечно, начнется строение будущей жизни России.

Думаю, что этот сократизм характерен не только для настроения идейно надломленного добровольческого офицерства, но в совершенно других, конечно, перспективах и для зарубежного студенчества, одним словом, для настроений всех наиболее живых и честных элементов незараженной «эмигрантщиной» эмиграции.

Каждого человека, стоящего сейчас на распутье в сложных чувствах и сократических сомнениях, подстерегает целый ряд соблазнов и опасностей.

Для всякой сложности соблазнительнее всего элементарность. И для всяких сомнений — самоуверенность.

Помню свой разговор в 1917 г. в Царском Селе с Плехановым. Говоря о Ленине, он сказал мне: «Как я только познакомился с ним, я сразу понял, что этот человек может оказаться для нашего дела очень опасным, так как его главный талант — невероятный дар упрощения».

Думаю, что подмеченный Плехановым в Ленине дар упрощения проник в русскую жизнь гораздо глубже, чем это видно на первый взгляд. Быть может, он не только материально, экономически развалил Россию, но и стилистически уподобил себе своих идейных противников.

Если внимательнее присмотреться ко многим господствующим сейчас в русской жизни культурным явлениям, в особенности же к тем формулам спасения России, которые предлагаются ныне некоторыми «убежденными людьми» всем «знающим, что они ничего не знают», то невольно становится жутко: до того силен во всем ленинский дар упрощения.

И в «сменовеховстве», и в вульгарном монархизме, увлекающемся, с одной стороны, скобелевскими талантами Троцкого, а с другой — думающем, что Россия гибнет от «жида», и в аристократическом монархизме, увлекающемся религиозно-социальною структурою средневековья, и в почти модном ныне отрицании демократии, как пустой формы, и социализма, как коммунизма, игнорирующем элементарные соображения, что и форма на своем месте может быть величайшим содержанием и что не все дети выходят в отцов, а некоторые и в прохожих молодцов, и во многом другом — очень много неосознанной большевистской заразы.

Спасти всех стоящих сейчас на распутье от этого вездесущего большевизма, от преждевременного движения все равно куда, лишь бы по линии наименьшего сопротивления, в особенности же от идейного признания большевистской власти, все равно в полюсе ли «сменовеховства» или монархизма,— величайшая задача демократии.

То, что она и сама стоит сейчас на распутье, как и те, которых ей должно спасать, неважно. Важно только одно: важно следить за собою, как бы с распутья сократического раздумья не попасть на пути гамлетического безволья.

* * *

⟨...⟩ У старых наших нянек был замечательный приём утешения своих питомцев. И по себе помню и потом сколько раз на бульварах видел: споткнулся ребенок на камень или разбился о косяк, плачет... а старуха, вытирая слезы, шепчет: «А ты побей его, побей, ишь он какой нехороший, и как он смеет...» И вот отколотишь себе, бывало, докрасна кулаки и чувствуешь — полегчало: и боли меньше и на душе как-то спокойнее...

Русская интеллигенция десятилетиями подготовляла революцию, но себя к ней не подготовила. Почти для всех революция оказалась камнем преткновения, большинство больно ударила, многих убила.

Пока я жил в России, как-то не спрашивал себя, обо что разбился, да и кругом об этом мало говорили. Временами настоящее было слишком страшно, чтобы утешаться анализом прошлого. И потом,— все время гнул позорный труд жизни: боронил, копал картошку, ездил на мельницу, а когда не хватало хлеба — на Сухаревку продавать женины кофточки, посуду, зеркала, старые брюки. Месил целыми днями грязь и громко выкрикивал: «Кому, товарищи, брюки? С ручательством: крепки, как буржуазные предрассудки!» Торговал хорошо. Со злостью и потому с веселостью. Веселое сердце всегда удачливо.

Большинство кругом жило так же, но, конечно, каждый на своей вариации. Когда же после нэпа полегчало и начались поиски виноватого камня, стало понемногу обнаруживаться, что виноватый камень — демократия.

Приехав в Берлин, я убедился, что мнение о том, что во всем виновата демократия, распространено среди эмиграции гораздо шире, чем в России. Я был бы рад примкнуть к нему. Очень утешительно знать, кто виноват, и особенно утешительно знать, что виноват не ты. Но не могу — мешают навязчивый образ старой няньки и память о своих набитых кулаках. А враги демократии все наступают. Спорить с ними сейчас почти что бесполезно. Время жестокое — словами никого не убедишь. Но не задуматься над их наступлением и ожесточением — демократии все же нельзя. Познание своих врагов один из самых верных путей к самопознанию. А в самопознании сейчас все дело.

Что же, однако, это за люди, столь громкие ныне враги демократии?

Ответ на этот вопрос нелегок. Портретная галерея врагов демократии очень богата. Каждый тип вражды требует совсем особого к себе отношения. Многие незаметно переходят друг в друга.

Начнем с обывателей. К ним принадлежат все те, которые, споткнувшись о камень революции, больно разбили о него свои головы и, памятуя наставления нянек, бьют камни,

чтобы сорвать свою досаду. В душах большинства этих несчастных, оказавшихся не у дел и вне жизни людей очень много самой настоящей скорби, и их глубокая неправда не в том, как они чувствуют, а только в тех дилетантских политических выводах, которые они делают из своих чувств. Все они ненавидят Керенского гораздо больше, чем Ленина, и Временное правительство — больше Коминтерна. Происходит это потому, что, хотя социальное бытие всех их поджег, в сущности, Ленин, они сами все же *обожглись* на Керенском, в которого в свое время поверили, которого, может быть, даже бегали слушать и смотреть. Вот этого своего простофильства они и не могут себе простить. Багровый гнев, которым пылают их щеки, когда они говорят о пресловутом «феврале», чаще всего не что иное, как краска стыда за свое непростительное «приятие революции», за свою сентиментальную, глупую надежду, что все обойдется по-хорошему: немцы будут разбиты, излишняя земля по справедливой оценке отчуждена в пользу крестьян, производство в генералы, ввиду заслуг перед революцией, ускорено, правосознание насаждено и так далее и так далее...

Доказывать этим людям, что в нарушении революционного идиллизма виноваты далеко не одни только демократические идеи, но и вечные законы революции,— бессмысленно, так как всякий, даже и самый просвещенный, обыватель может положительно относиться к историческим событиям только до тех пор, пока они трагедии на сцене. Революция же, которая неизбежно взрыв бомбы под спокойным театральным креслом и предложение самоличного взлета в дали истории, для него всегда неприемлема, так как вся суть обывательщины в том, что насиженный быт для нее много милее великих исторических событий. Обвинять, как это иной раз делается, всякого рядового обывателя, который в первые дни февраля кидал шапку вверх и кричал: «Да здравствует революция», а теперь, смотря по темпераменту, или шипит или брюзжит, в измене демократическим идеям и ренегатстве — дело явно бессмысленное и несправедливое.

Хотя и верно, что ренегат почти всегда обыватель, все же неверно, что всякий обыватель всегда ренегат. Не служа в большинстве случаев никаким принципам, ренегат все же всегда делает вид, что таковым служит и с болью меняет один на другие. Стилистически он потому всегда идеолог. Обыватель же всегда и откровенно человек не принципов, но инстинктов. Постоянно меняясь в зависимости от тех или иных обстоятельств жизни, он своими переменами все же ничему не изменяет, потому что никогда ничему не служит, никакой устойчивости в себе не несет. Что граница, отделяющая обывателя от ренегата, до некоторой степени условлена — верно; но ведь условны все границы, полагаемые анализирующею мыслью; безусловна только сама непостижимая жизнь.

Шопенгауэр где-то говорит, что трагедия всех великих истин заключается в том, что, появляясь в мире парадоксами, они покидают его банальностями. Думаю, что в отношении истин революции знаменитый пессимист особенно прав. Кроме той парадоксальности, под знаком которой появляются, по его мнению, в мире все истины, революции отмечены еще и второй: ожиданием, что они осуществятся в сердцах тех самых обывателей, вся сущность которых в ненависти к парадоксам и пристрастии к банальности. Открещиваться от обывателя демократии потому никак не приходится: ведь ради его благосостояния и ведет она свою борьбу. Сколько бы ни злобствовал сейчас против демократии обыватель, в конце концов он для нее все же не враг, а блудный сын.

Однако не со всяким ощетинившимся обывателем возможно для демократии такое отеческое примирение. Всматриваясь в многообразие стертых обывательских лиц, часто наталкиваешься среди них на такие обличья, примирение с которыми было бы уже преступно.

Я говорю о людях если и не бывших в свое время в самых сердцевинах демократических партий, то все же убежденно и принципиально шедших до революции в общем русле демократически-оппозиционных настроений, а *после революции* громче других кричавших

«ура», писавших статьи, выступавших на митингах и циркулировавших в передних и приемных революционных министерств. Теперь они очень изменились: не то раскаялись, не то поумнели, не то сами не заметили, что с ними произошло. Не хуже многих из тех щелкоперов, которым по какому-то непонятному недосмотру небо временами все еще отпускает завалящий отрез давно пропахнувшего подлостью таланта, поносят они «маниловщину» Временного правительства, «медовый месяц» русской революции, «пошлость демократического уравнительства», «слюнтяйство» социалистов и безволье Керенского. Спорить с этими крепышами заднего ума, нелишенными оппортунистической смекалки, не приходится. Под веселую руку им, впрочем, можно ответить горькими словами Чацкого: «Довольно, с вами я горжусь своим разрывом». Как и безвредные обыватели, эти обыватели-ренегаты, в сущности, совсем не враги демократии, хотя они своими громкими голосами и увеличивают в данную минуту хор ее озлобленных хулителей. Конечно, как их ни мели, из них, как из закинувшегося сейчас против демократии обиженного обывателя, никакой демократической муки никогда не получишь. (Обыватель — изъеденный вредителем, прибитый градом и сгнивающий на корню хлеб, а ренегат — сжирающий обывателя вредитель.) И все же ренегаты демократизма, в сущности, не враги демократии. Демократия...— это для них слишком мелко. В сущности, они враги не демократии, но глубже, принципиальнее — враги всякой человеческой честности, и даже не враги честности, это опять-таки слишком громко, героично, а просто-напросто услужающие извечной человеческой подлости.

Сейчас, когда положение демократии очень экспонированно, когда она, хотя и в форме моды на ее отрицание, все же очень в моде, им явно выгодно выставлять свой ходкий товар в заметных витринах демократической проблематики и быть принятыми за принципиальных врагов демократизма. Но все это, конечно, одна видимость. Принимать врагов общечеловеческой честности за личио своих врагов у демократии нет ни малейшего основания, как бы они того ни добивались. Их надо разоблачать в их до- и сверхдемократической подлости — *и только*.

Политическая борьба вещь жестокая. Отличительная черта политических деятелей — невнимательность к отдельной человеческой душе. Удивительного в этом ничего нет. Основным элементом современной политической жизни являются партии, то есть организации, принципиально интересующиеся каждым из своих членов, поскольку он похож на всех остальных, а не постольку, поскольку он ни на кого не похож. В атмосфере современной политической жизни постоянно повторяются потому большие несправедливости. К самым недопустимым — принадлежит неумение отличить ренегата от человека, действительно внутренне переродившегося, оппортунистическую волю от многомерного сознания, человека, легко меняющего хозяев, от человека, который всегда сам себе остается хозяином.

Уверен, что если бы Савл в наши дни обратился в Павла, то все газеты на следующий же день объявили бы, что голос, раздавшийся с неба, был им подкуплен. Я знаю, что я очень заостряю вопросы, но думаю, что мое острие все же правильно указывает на широко распространенную тенденцию современной русской общественно-политической жизни. Я мог бы в доказательство своей правоты привести много примеров. За примерами ходить недалеко, но я считаю это совершенно излишним. Голым перечислением имен ничего не докажешь, а произнесением любого имени подымешь проблематику совершенно неисчерпываемой сложности, ибо нет проблемы сложнее, чем проблема конкретной человеческой личности. Все эти соображения только небольшое предисловие к указанию на тот третий толк ненавистников демократии, который психологически не всегда достаточно острый взор политической мысли иногда непростительно смешивает со вторым.

К этому третьему толку принадлежат все те, часто беспартийные, люди, что по тем или другим соображениям, приняв было горячее личное участие в революционной борьбе

и вдруг увидав, к чему революция привела страну, с ужасом отшатнулись и от себя и от революции. Это люди, которые приняли революцию как истину и ужаснулись ее смрада: ждали, что она освободит человека, и ничего не поняли, когда она на них же самих вскипулась зверем; люди, вошедшие в нее по самой своей лучшей совести и с отчаянием увидавшие, что она украла у них чистоту, их честь и совесть. Из глубин самого подлинного раскаяния отрицают они сейчас *в самих себе* свое прошлое и ненавидят соблазнивший их демократический бред. Это не обыватели, поносящие демократию, потому что она помешала им спокойно допить их послеобеденный кофе, и не ренегаты, изменившие ей потому, что ей изменил успех. Это люди совсем другой внутренней складки, люди большой совести. Их меньше всего среди заправских политических деятелей. Ведь на людях не только физическая, но и нравственная смерть красна. Все же заправские политики вечно на людях: в партиях, комитетах, съездах, резолюциях, в круговой поруке дробящейся ответственности, никому не прожигающей одинокого сердца. Те же, о которых я говорю, все одиночки. Я лично встречал их среди офицеров, сначала принявших революцию, потом ушедших в контрреволюцию, наконец, упершихся в тупик; среди радикальных земцев, всю жизнь боровшихся против монархического режима за мужиков и вдруг с отчаянием увидавших в «лично» знакомых им мужиках кровожадных бездушных зверей, а в умученных ими усадьбах родные облики кровно-близкой культуры, живые души прошлых поколений. Такими же непримиримыми врагами революции сделались на моих глазах умный, верующий деревенский священник, в свое время очень друживший с агрономами, кооператорами, читавший даже Маркса и вдруг прозревший — увидевший, что Христа распинают; и одна земская учительница, старая социалистка, никак не могущая себе простить мученическую смерть великих княжон и наследника. Характерная черта людей этого типа, которых немало,— острый, *личный* и нравственно *серьезный* характер их ненависти к демократии, к социализму, к революции. Все это они ненавидят как зло, как неизвестно как попутавшее их наваждение, как *свою* глупость, *свой* позор, *свой* стыд, *свой* грех. Со всем этим они борются, как *со своею собственной нечистою совестью*, стоящею перед ними в обличье реального зла. Эти переживания в сочетании с некоторыми реакционными мотивами модной ныне религиозно-социологической идеологии очень сильно влияют на некоторые, и, конечно, не худшие, элементы русской молодежи. Молодость всегда идеалистична, а кроме того, ставка на монархизм пока что отнюдь не ставка на спокойную и привилегированную жизнь. Откуда же эти студенты, которые под портретом Николая II занимаются философией и богословием? Конечно, в их головах много путаницы, но в их сердцах много самой настоящей правды, покаянной боли за неотмщенную Россию, за её поруганную честь, за весь тот несказуемый ужас, который она пережила и в котором она еще живет.

Иногда инстинктивные монархисты, иногда убежденные демократы наперекор своим инстинктам, но чаще всего люди без всяких определенных политических убеждений, эти «кающиеся дворяне» революции, несмотря на разнообразие своих политических установок, все же связаны между собою характерною чертою *горячей любви к отошедшей монархической России*. Не видеть этого своеобразного, эмоционального монархизма в сердцах тех врагов демократии, о которых сейчас идет речь, было бы большою слепотою, но не отличать этого покаянного монархизма от реставрационного черносотенства было бы слепотою еще большею.

Каждая свершающаяся на земле жизнь раскрывает свой последний смысл только в образе уготовленной ей судьбою смерти. Выражение каждого индивидуального лица, кому бы оно ни принадлежало, человеку ли, народу ли, эпохе ли, всегда тождественно выражению изживаемой им судьбы. Для покаянного настроения низвергнутая революцией монархия не отвлеченный государственный строй, а историческая форма и живое лицо России. Выражение этого лица естественно неотделимо сейчас от образа трагической смерти, которая была суждена русской монархии и всей монархической России. Сознание, что

монархическая Россия была не только заживо сожжена на кострах обезумевшей революции, но и с проклятиями прахом развеяна на все четыре стороны, не может не просветлять в памяти тех людей, которые чувствуют себя ответственными за это преступление, ее жестокого прижизненного образа. Бороться против монархизма этих людей перечислением всех преступлений, которые похоронила в своей душе павшая монархия и которые с такою силою воскресли в большевизме,— совершенно бессмысленно. Они ответят, что страшные преступления монархии были искуплены еще более страшными страданиями; что вспоминать о преступлениях и забывать об искуплении нравственно недопустимо; что говорить о сходстве между *их* монархией и большевизмом — такое же грубое бесстыдство, как говорить о сходстве двух близнецов, из которых один висит на виселице, а другой пляшет под ней. И во всех своих ответах они будут безусловно правы.

Так же по-своему правы будут они, с другой стороны, страстно отрицая очень распространенное среди демократии мнение, что во всех ужасах большевизма виновата не демократия, а одни только большевики. Такое разделение вины не может быть для них убедительно, потому что в основе их ненависти к демократии лежит не стремление уйти из-под ответственности, но, наоборот, взять как можно больше ответственности на себя. На основе такого устремления они естественно будут доказывать, что отрицать кровную связь между большевизмом и демократизмом нельзя, что факт вчерашней ссоры не может в одно мгновенье погасить факта предшествовавшей ей долголетней дружбы, что до революции и идеи и вожди всех социалистических партий жили какою-то единою жизнью и творили какое-то общее дело. Напомнят они о себе и ненавистной им сейчас демократии, что, как-никак, в дни корниловского (еще неизвестно, монархического ли) восстания правящая демократия предпочла опереться на большевиков против Корнилова, а не на Корнилова против большевиков. Укажут, наконец, и на то решающее, по их мнению, обстоятельство, что коммунизм и демократический социализм связаны друг с другом в своих положительных образах, то есть в своих идеалах, коммунизм же и монархизм только в своих искажениях, то есть в своих преступлениях.

Конечно, все эти размышления не совсем верны; все же они достаточно верны, чтобы понять и внутренне приня́ть вражду к демократии тех людей, которые свое приятие февральской революции и работу в ней не могут не считать своей неизбывной виною перед Россией и ее судьбою.

Какой же ответ демократия должна дать этим своим самым серьезным врагам?

На почве нравственно углубленного отношения к своему собственному делу он, на мой взгляд, не может быть для нее затруднительным; необходима только полная ясность в отношении следующего важного пункта. Где стоят сейчас кающиеся революционеры? Нигде или — вполне определенно в рядах борющихся против демократии сил? Как говорят они сейчас с демократией — в бреду, как Иван Карамазов с чертом *своего* раздумья и своей *совести*, или спокойно и уверенно, *как прокурор* с *подсудимым*?

В первом случае они не враги демократии, а ее друзья — и им один ответ. Во втором — совершенно иной.

Сами они выступают обыкновенно как враги демократии; примем же вызов и будем отвечать как врагам.

Предположим, что враги демократии правы, предположим, что унаследовавшая от монархии судьбу России русская революционная демократия действительно является *главною причиной* всех бед, разразившихся над Россией.

Значит ли это, что она виновата?

Для того чтобы попытаться действительно разрешить этот вопрос, надо, прежде всего, разбить его надвое. Один вопрос — *вопрос вины и искупления*, и совершенно другой — вопрос *причины и следствия*. Считать человека преступником только на том

основании, что он стал причиною какого-бы то ни было зла, является величайшею логическою и нравственною бессмыслицей. Гете определяет Мефистофеля как часть той силы, которая, постоянно *желая* зла, постоянно творит добро. Значит ли это, что фактически творящий добро черт — становится добром? Очевидно, что нет, что он остается злом. Но если так, то почему бы менее ясным и правильным могло быть обратное утверждение, что человек, по всей своей совести стремящийся к добру, но достигающий зла, остается существом ни в чем не повинным? Не может быть никаких сомнений — нравственно отвечать каждый человек может только за то *состояние своей души*, из глубины которого он решается на свой поступок, но никак не за все те *следствия*, которых совершенный поступок становится непроизвольным началом. Всем этим я, конечно, не утверждаю, что для структуры нравственного сознания характерна черта полной неозабоченности возможными последствиями свершаемых поступков. Так утверждать было бы столь же парадоксально, сколь мало убедительно. «*Предполагать*» человек, конечно, *обязан*, но, как известно, человеческими «предположениями» располагает Бог, и знания, по каким руслам Божьего расположения растекутся в мире предполагаемые следствия наших поступков, нам не дано. Такое знание было бы уже даром пророчества. Всякий дар заключает в себе долг своей реализации. Кому много дано, с того много и спросится. Но из этого общеизвестного положения совершенно не следует, что дар, как таковой, может быть содержанием нравственной нормы. Дар — не долг. Бездарность — не вина, хотя очень часто большое несчастье.

Неопровержимо верно, что некоторые специфические свойства русской демократии послужили прямой *причиной* большевистского господства со всеми его страшными последствиями; также неоспоримо верно, что некоторые (весьма отрицательные) свойства большевистской психологии окажутся в исторической перспективе прямыми причинами возрождения русской государственности; но из всего этого совершенно не следует,— если только верно наше положение, что нравственная оценка поступка должна быть связана не с его следствием, а с его мотивом,— что Временное Правительство может быть в *нравственном порядке* обвинено за господство Коминтерна, а Ленин когда бы то ни было *оправдан возрождением* российской государственности.

Но если даже отказаться от занятой нами позиции и признать на время, что этическая ценность поступка действительно измеряется его следствиями и этическая ценность человека — объективными результатами его деяний, то все же из обвинений демократии на обычных основаниях, что она сорвала победу, отдала Россию на растерзание большевиков и так далее и так далее — выйти решительно ничего не может.

Чтобы не осложнять проблемы, предположим, хотя это и явно неверно, что современное состояние России представляет собою *абсолютное зло*. Почему же, однако, в этом зле виновата одна демократия? Ведь если Временное правительство в ответе за большевиков, то в ответе за Временное правительство — Комитет Государственной думы, а за Комитет Государственной думы — Совет министров и так далее до прародителя Адама.

Но если демократия виновата так же, как и все, то почему же все имеют право винить демократию? Но может быть, не все виноваты, а, наоборот, никто не виноват? В самом деле, ведь большевики же не последнее слово истории? Зло, сотворенное ими, может через несколько времени претвориться в добро. Несмотря на все преступления, совершенные историческими людьми, история может еще кончиться всеобщим преображением в добре и тем самым — полным нравственным оправданием не только демократии, но и большевиков, но и всех и всего, что звеньями вошло в ту причинно-следственную цепь, последним звеном которой оказалось полное торжество добра. Таким образом, ясно, что с точки зрения разбираемой теории ни одна конкретная историческая индивидуальность, как таковая, не может быть ни оправдана, ни обвинена, или, говоря

иначе,— вопрос вины и невиновности не только не разрешим, но даже и *не находим* в проблематике причинно-следственного подхода к действительности. Пускай демократии будет с очевидностью таблицы умножения доказано, что они *причинили* России величайшее зло; *обвинять ее на этом основании никто не имеет ни малейшего права.* Извне стоящему разуму нравственная вина не может быть видна, и обвинять он может только на основании непонимания своей собственной природы.

Чтобы *обвинить*, надо подойти к событиям и людям не извне, но *изнутри,* не через внешне постигающий разум, а через интуицию, то есть через акт хотя бы только частичного *отождествления себя с предметом своего постижения. Обвинить потому никому никого невозможно, не разделив с обвиняемым его вины.* Всякое обвинение, не связанное с самообвинением, есть вечная ложь фарисейства.

Утверждая, что никто ни в чем не виноват, внешний разум не лжет, а только на своем языке утверждает вечную правду человеческого сердца, что «каждый за все и за всех виноват».

Нет, конечно же, человеческий разум не дьявол, за которого его все еще любит иногда выдавать русская религиозная философская мысль; он очень милый, ясноглазый, хотя и несколько рахитический ребенок, поставленный Богом охранять вход в святилище жизни и истины. Заниматься после Канта и Гегеля тертуллиановским детоубийством нет никакого основания. Можно всегда сказать младенцу ласковое слово и переступить порог.

Доказать демократии ее вину — задача, таким образом, ни для кого, и в особенности, конечно, для врагов ее, никоим образом не разрешимая; но это совсем не значит, что демократия совсем не виновата. Не виноватая перед *внешним судом вражеских обвинений, она* глубоко виновата перед *внутренним судом своих искренних друзей* и своей *собственной совести.* Если бы потому обвинения тех единственно серьезных врагов демократии, о которых идет речь, могли быть хотя бы только отчасти поняты как обвинения *изнутри*, как голоса раскаяния *самой демократии*, то отношение к ним должно бы было быть совершенно иное, чем то, которое мы до сих пор защищали.

Утешаться перед лицом своей собственной совести и своих искренних друзей детским лепетом разума, что мы не в ответе за большевиков, демократии никак не пристало. Это действительно значило бы делать из разума черта и сватать за него свою совесть.

О чем же говорить? Бесконечно страшные вещи случились с Россией. В пламени обезумевшей революции расплавились суставы ее единого тела, сгорела ее державная мощь, обессмыслились и опозорились ее ратные страданья. Брошенная в ее неумное сердце пылающая головня классовой ненависти зловеще осветила его темные, во многом еще звериные недра. Кровью окрасились русские реки, невсхожим стало зерно. Не думаю, чтобы русские люди,которым за последние годы хотя бы временами не казалось, что России уже нет, что только труп ее, раскинув окоченевшие руки, лежит неприбранным на окаменевших полях, а над ним, словно каркающее воронье, озабоченно суетится стая одетых в европейскую кожу и звериную шкуру хищников. Те из русских демократов, что не пережили этого виденья, как своего *личного* позора и своей личной вины, не имеют, конечно, никакого нравственного права защищать *правое* дело демократии в России.

Не взяв на себя полной меры ответственности за все, что случилось с Россией под игом большевизма, демократии никогда не обрести права и силы на его действительное, внутреннее преодоление. Идти нераскаянным к делу воссоздания России никто не имеет права, и меньше всего, конечно, демократия, ощущающая себя сердцем России. Ощущение себя сердцем не смеет не обременять и не обязывать. Страшных вещей натворила Россия сама над собою, и где же, как не в своем сердце, ощущать ей боль всего случившегося и раскаяние в своих грехах.

Обыватели, ренегаты, покаянники — неужели же, однако, в них дело, неужели же они те враги демократии, с которыми ей придется встретиться в той жестокой борьбе, которую ей, очевидно, готовит судьба? Не ясно ли, что если бы дело было только в перечисленных нами врагах, то успех демократического дела был бы вполне обеспечен? Обыватель — он явно не воин, потому что он лежачий камень, под который и вода не течет. Ренегат — тоже воин слабый: своего дела он ведь активно никогда не творит, всегда только чужой успех плющом обвивает. Не сильный воин и «кающийся дворянин» революции — слишком он внутренне раздвоен и ослаблен сомнениями пережитого им опыта.

Возражения эти на первый взгляд вполне верны. И все же: и бездеятельный обыватель, и подделывающийся ренегат, и разделывающийся со своим прошлым покаянник в своих пределах — явления для демократии очень страшные. Предельный обыватель — черносотенный персонаж; предельный ренегат — оборотень; предельный покаянник — идеолог. Присмотримся же несколько ближе к этим трем формам.

Как существо пассивное и аполитическое, обыватель демократии хотя и враг, но против нее все же не воин. Таково правило. Но так как нет правила без исключения, то есть и активно воюющий против демократии обыватель.

Этот активно воюющий против демократии обыватель не что иное, как черносотенный персонаж. Сущность всякого обывателя в том, что духовное начало почти совсем безвластно над его душой, что его душа почти целиком производное своей среды и обстоятельств. В черносотенном персонаже это грешное засилье души вещественной обстановкой доведено до максимальных пределов. Быть может, черносотенный персонаж вообще не человек, а всего только вещь в образе человека. По крайней мере черта, отличающая черносотенца от человека, та же, что и черта, отличающая человека от вещи, как таковой,— возможность длительного переживания своей эпохи.

Каждую старинную вещь мы ценим прежде всего эстетически; говорим об ее стильности и характеристической выразительности. Но к этой оценке часто подмешивается звук той особенной, грустной, нежной любви, который так легко врывается в наши души, когда их касается веяние прошлого.

Я очень хорошо понимаю, что прошлое прошлому рознь, что дворянская фуражка белогвардейско-беловежского зубра совсем не бабушкин альбом и что виртуозный, генеральский, хрипло-багровый разнос — совсем не клавесины или куранты; и все же не могу не сознаться, что вполне понимаю возможность какого-то почти лирического пристрастия к представителям черносотенного персонажа.

Запотевший графин водки, угарная баня в крапиве, арапник над блошливым диваном, весенняя навозная жижа, чавкающая меж пальцами высоко подоткнутой дворовой девки, крепкий настой сногсшибательной ругани, зуботычины мужику и десятилетиями не проветривавшиеся залежи верноподданнических чувств в подвалах неуемных утроб — все это *гоголевское письмо* русской жизни не может не представлять для многих из нас в том своеобразном порядке души, что определяется пословицей «Не по хорошу мил, а по милу хорош», своеобразного очарования. Как ни старайся, из всей композиции отошедшей монархической России такой заметной и сочной для глаз вещи, как настоящий черносотенный персонаж, без сожаления не выкинешь.

Что все такие размышления должны на людей строгого моралистического и общественно-политического склада производить крайне неприятное впечатление какого-то почти цинического эстетизма, я очень хорошо и живо себе представляю. Спорить против таких ощущений дело, однако, вполне безнадежное.

Морализм — одна из наиболее распространенных форм *ограниченности нравственного дарования*, и против него, как против всякой бездарности, ничего не поделаешь. Но

одно дело — спорить против *ощущений моралистов*, и совсем другое — разрешать *проблему морализма*, как таковую, перед лицом общечеловеческой логики и своей совести.

В том, что жизнь должна прежде всего руководиться нормами нравственности и что каждый человек должен быть прежде всего объектом нравственной оценки,— в этих положениях я с моралистами вполне согласен. Доказывать это, думается мне, не нужно. Весь мой подход к проблеме врагов демократии был ведь подходом нравственным. От выполнения долга этической оценки общественно-политической жизни я тем самым отнюдь не уклоняюсь; но, не уклоняясь от него, я, конечно, и не останавливаюсь на нем, то есть на том, на чем останавливается всякий морализм. Кроме долга реализации этической нормы, мне ведом еще и *долг* реализации нормы эстетической. По отношению к узкоколейному морализму моя точка зрения представляет собою, таким образом, не цинический эстетизм, а скорее *этический максимализм*. В утверждении грехового явления жизни как возможного объекта эстетической оценки никакого эстетизма или тем более цинизма нет, ибо циническая сущность эстетизма заключается не в *нравственно обязательной координации* двух оценок, а в нравственно ничем *не оправданной отмене* этической в пользу эстетической. Но ведь о такой отмене по отношению к моей точке зрения на черносотенный персонаж не может быть никакой речи, так как эстетическая оценка человека как *стильной вещи* очевидно включает в себя его глубокое нравственное отрицание, вполне недвусмысленно заявленное мною характеристикой персонажа как человека, в котором грешное засилие души вещью и бытом доведено до максимальных пределов. Если этот этически отрицательный характер моего отношения к эстетической ценности персонажности прозвучал недостаточно сильно, то в этом виноват не я, а то иерархически привилегированное положение, которое положительное начало, как таковое, занимает и должно занимать как в самом бытии, так и в нашем отношении к нему. Не останавливаться на голом нравственном отрицании там, где возможна положительная эстетическая оценка, представляется мне потому прямым нравственным долгом всякого *существенно* относящегося к окружающей его жизни человека.

Но почему же, однако, среди всех врагов демократии только черносотенный персонаж предстал перед нами в качестве примирителя эстетических и этических устремлений? Почему не подошли мы с такою же двойною меркою и к обывателю и к ренегату? Теоретически такой вопрос вполне правомерен, но, при всей своей правомерности, он для всякого непосредственного ощущения русской жизни все же явно излишен, так как ясно, что никакого иного *персонажа*, кроме как черносотенного, в русской общественной жизни *сейчас* нет. И контрреволюционный монархизм, и оппортунистический либерализм, и контркоммунистический социализм, и господствующий сейчас большевизм — все это живые силы русской жизни, которым вполне естественно обитать в *человеческих душах*, как таковых. Но совершенно не так обстоит дело, в сущности, с все еще дореформенной крепостнической идеологией, наполняющей черносотенную душу. Эта идеология сейчас не только живая сила жизни, но даже и не живая тема современной литературы. В сущности, она умерла уже в Щедрине, хотя еще совсем недавно очень сочно звучала в повестях Алексея Николаевича Толстого.

Но раз так, раз дореформенная идеология не живая сила, то ясно, что черносотенная душа — не душа, а всего только эпоха; ее обладатель не столько человек, сколько вещь, то есть, в моей терминологии, «*персонаж*» и тем самым вполне правомерный объект той эстетической оценки, которая по отношению ко всякому полновесному человеку была бы нравственно недопустимой, как снобистически цинический эстетизм.

Через 100—200 лет картина, конечно, изменится. Черносотенец окончательно уйдет из русской жизни, как уже давно ушел из нее удельный князь и приказный дьяк.

В повестях и рассказах его также перестанут изображать. Попадаться он будет только в высоких формах искусства, в патриотических трагедиях и исторических романах. Персонажем же будут ходить на Руси другие обличья: запоздавший смертью профессор-общественник, верующий в статистику земец или еще кто-нибудь; кто — сейчас неважно. Важно только то, что персонажность есть *бессмертная форма внутренней смерти каждого* поколения, то есть вечная форма восстания *мертвой вещи* на *живую душу*, и что в качестве такой мертвой вещи среди активных врагов демократии живет для людей нашего поколения черносотенный зубр.

Но если сущность «персонажа» в том, что он не человек, а вещь, то как же можно причислять его к активным врагам демократии? Непреодолимой трудности в этом вопросе нет. Ясно, конечно, что говорить об *активной* вещи в прямом смысле этого словосочетания парадоксально, но не менее ясно, что вполне естественно говорить о нем в переносном. А этого с нас довольно. Отрицать за черносотенным персонажем всякую боевую активность только на том основании, что он не воин, а орудие, было бы, пожалуй, уж слишком логично. Тем более что орудие все еще стоит на позиции и хорошо обслуживается настоящими бойцами. В качестве наводчиков вокруг него толпится целый рой идеологов, а запальный шнур цепко держат в руках оборотни.

Перед тем, однако, как перейти к характеристике оборотней как врагов демократии, мне необходимо высказать несколько общих методологических соображений, дабы не навлечь на себя несправедливого гнева справедливых моих читателей.

Думаю, что у таковых уже не раз поднимался в душе вопрос — о чем, собственно, идет речь. Кто эти мои обыватели, ренегаты, кающиеся дворяне, персонажи, оборотни? Живые ли это люди или мертвые схемы? На этот вопрос ответ не труден. Мои «враги демократии», конечно, не живые люди, но еще менее мертвые схемы. Вся антитеза вопроса терминологически глубоко фальшива. Исчерпывающий ответ в ней потому невозможен. Приблизительно же правильный сводился бы к определению нарисованных мною врагов демократии как живых схем.

Что жизнь ни в какую схему не укладывается, ясно, но это отнюдь не значит, что схемы во всех отношениях совершенно излишни. Они очень нужны, но, конечно, не для того, чтобы улавливать в них бездонную глубину жизни, а лишь затем, чтобы ориентироваться при их помощи на ее поверхности. Говоря о людях: поэт, социалист, неврастеник, земец, мужчина — мы, в сущности, все время говорим схемами, отнюдь не улавливающими всей конкретности нарекаемых ими личностей. И все же наши схемы — схемы не мертвые, а живые, потому что только при помощи их можем мы осуществлять нашу духовную и практическую жизнь с людьми. Схема, как таковая, совсем не обязательно, таким образом, *мертвая схема*. Мертвы только те схемы, которые совершенно безвластны над жизнью и не помогают нам в ней ориентироваться. Думаю, что деление врагов демократии на черносотенных монархистов, монархистов-конституционалистов, кадетов и коммунистов было бы много схематичнее моих схем. Все эти категории не только не исчерпывают всей сущности нарекаемых ими субъектов, как не исчерпывают ее и мои, но и вряд ли указывают на действительные силы нашего времени. Но не только властью над жизнью отличается живая схема от мертвой. Отличается она от нее и своим происхождением. Мертвая схема всегда только логическая классификация на основании какого-нибудь внешнего признака. Живая же схема — всегда порождение интуиции; всегда высказанный на территории Логоса результат сверхлогического подхода к жизни. Только извне живая схема — схема; *изнутри же она не схема, а образ*, но, конечно, образ типический.

Мои схематически закрепленные враги демократии представляют собою, таким образом, некие типизированные образы, но не столько образы отдельных людей и человеческих групп, сколько образы действующих в людях энергий.

Обыватели, ренегаты, покаянники, черносотенные персонажи, оборотни, идеологи — все это в моем ощущении типизированные обличья борющихся против демократии социально-психологических *энергий*.

Что эти энергии не витают в воздухе, но наличествуют в психофизических организмах, именуемых людьми,— ясно. Ясно также и то, что между обличьями энергий и человеческими лицами, в которых они жительствуют, существует некая определенная связь и даже некое определенное соответствие. Несмотря, однако, на ясность обоих положений, упрощать вопрос о размещении обличий по лицам все же не следует. Только в очень мирные и идиллические, утрясенные времена этот своеобразный квартирный вопрос прост и односмысленно ясен. В такие же переходные, как наше, он крайне осложнен и запутан. Куда ни посмотри, все сдвинулось и переменилось; почти все обличья переехали на новые квартиры.

Очень улучшилось социальное положение *обывательщины*. Из темных, сырых подвалов чиновничьих, купеческих и мещанских душ она если и не окончательно, то все же кажется не на короткий срок переехала в светлые хоромы художественного и философского творчества.

Сильно зато ухудшилось положение *черносотенства*.

До войны оно привольно бражничало в запущенных особняках сановных, генеральских и охотнорядских утроб, а теперь, по причине их полного разгрома, зачастую бедствует на пыльных чердаках интеллигентского сознания. Часто также случается, что за типичным фасадом «светлой личности» — прекрасное лицо, благородная осанка, умные очки и незавидная борода — откровенно проживает типично ренегатское обличье, стучит новенькими каблуками по скрипучим половицам ветхого флигелька, стараясь доказать всему миру, что не только оно само, но и родители его здесь родились.

Но все эти изменения — совершенные, конечно, пустяки по сравнению с тем полным переломом, который претерпела жизнь *оборотнического обличья*. Раньше оно почти исключительно ютилось по вонючим каморкам, по захарканным душам агентов тайной полиции. Теперь не то, теперь оно свободно шатается по всем путям и перепутьям русской жизни, торчит чуть ли не на каждом перекрестке, ночует на любой площади, на каждом вокзале и нет-нет да и мелькнет перед нами совсем неожиданным выражением на давно знакомом лице...

Шпики, охранники и провокаторы — вероятно, вечные спутники всякой государственной власти, и не они те враждебные демократии оборотни, о которых идет речь. Оборотни как враги демократии, как существа, порожденные страшною смутою наших дней, никакого постоянного жительства в социально-определенных лицах вообще не имеют. Невидимыми обличьями шмыгают они и шныряют решительно повсюду, заглядывают в темные углы самых, казалось бы, безупречных сознаний, нагло хлопают дверьми вчера еще неподкупных сердец.

Я вполне сознаю, что мог бы легко избежать упрека в мертвом схематизме, если бы говорил все время не об обывателях, ренегатах, покаянниках и оборотнях как о врагах демократии, а о враждебных демократии силах — об обывательщине, ренегатстве, раскаянии и оборотничестве. Но говорить так я совершенно не могу, потому что все эти враждебные демократии социально-психологические энергии вижу как определенные обличья, у которых не хватает разве только глаз да губ (взоры и голос у них есть), чтобы предстать перед нами вполне определенными человечьими лицами. Кроме того, не все эти обличья такие бездомные бродяги, как оборотничество; большинство из них проживает, как мы видели, по социально вполне определенным лицам, зачастую совершенно сливаясь с ними, обретая через них все признаки живых человечьих лиц. Граница между обличьями и лицами — граница хотя и нестираемая, но часто и неуловимая. Она находится в постоянном движении. Думаю, потому, что аберрация контуров предмета моего описания

есть та единственная и обязательная для меня форма точности, которая возможна в пределах моего, ни на какую социологическую научность и гносеологическую утонченность не претендующего, раздумья.

Как черносотенный персонаж является потенцированным обывателем, так и оборотень является потенцированным ренегатом. В основе обыкновенного обывательского ренегатства лежит почти всегда стремление к самозащите. В конце концов, явление ренегатства — явление мимикрии, и только. Переходя из одного лагеря в другой, чтобы спасти свою жизнь или хотя бы только благополучие своей жизни, ренегат почти всегда озабочен тем, чтобы сделать это по возможности прилично. Внутренне лишенный всяких нравственных устоев, он извне очень амбициозный этицист и потому почти всегда любитель почтенного и чистого социального места. В ЧК, в ГПУ, в ревтрибунал ренегат по своей охоте никогда не пойдет: это места для оборотней-провокаторов. Его же всегда будет тянуть к кафедре, к газете, в Наркоминдел, в совхоз и т. д.

У него были одни убеждения — стали другие. Он всю жизнь смотрел на мир левым глазом, стал смотреть правым, но что же в этом дурного? Кто, какой доктринер запретит человеку менять свои убеждения, когда вся жизнь ломается и строится заново; и неужели же не преступление упорствовать в своих ошибках, когда тысячи людей кровью расплачиваются за них? И неужели же геройство — после явного поражения все еще размахивать мечом? В таких всегда громких словах всегда прогрессивного ренегата иногда много правды, но только не как в *его* словах. Как *его* слова, все его слова всегда ложь и обман, потому что за ними не убеждения, а приспособление.

Ложь и обман сила, и даже большая, но только не на свету, не на видном месте. Всякий человек, где бы он ни стоял, силен только верою в то, чему он служит. В ренегате этой веры в ложь и подлость нет. Исканием чистого места и благородного жеста ренегат сам от себя и своей сущности отрекается; как существо бессильное, он тем самым до некоторой степени и существо безвредное. Только активный обыватель, старающийся удержаться на поверхности жизни, он, конечно, не активный строитель ее. Чтобы ложью и обманом активно строить жизнь, надо окутать себя мраком и возлюбить свое душевное подполье. Спустившийся в свое подполье ренегат — больше чем только ренегат,— спустившийся в подполье ренегат — уже оборотень.

Но если ренегат и завершается в оборотне, то оборотень отнюдь не всегда начинается в нем. По отношению к ренегату оборотень представляет собою совершенно самостоятельное явление: ту изначальную, очень трудно определимую установку души, которая одна только и объясняет страшное явление провокации в самом широком смысле этого слова. Основное различие между ренегатом и оборотнем-провокатором заключается в том, что ренегат живет под знаком смены одной души другою, а оборотень-провокатор под знаком совмещения своих многих душ. Ренегат ставит крест на своем прошлом и присягает будущему. Его неверность — смена веры, его двусмысленность — смена мыслей.

Оборотень-провокатор ни от чего не открещивается, ничему не присягает; не имея ни прошлого, ни будущего, он весь в настоящем. Его неверность — совмещение несовместимых вер, его двусмысленность — совмещение несовместимых мыслей. В отличие от ренегата, некогда смотревшего на мир левым глазом и зажмурившего его потом в пользу правого, или, наоборот, оборотень-провокатор всегда смотрит в оба. Но этого мало; смотря в оба, он левым глазом еще о чем-то подмигивает правому, а правым — левому. Его раскосые глаза излучают, таким образом, как бы четыре взора. Двумя взорами он смотрит в мир, а двумя подмигиваниями на свои же взоры оглядывается. От этого раздвоения каждого глаза на два взора у оборотня-провокатора все бесконечно двоится в глазах. Бесконечно двоя жутким своим косоглазием мир и все в мире, оборотень-провокатор двоящимся миром постоянно двоит свою душу. Живя в извечном раздвое-

нии между двумя лицами и постоянно прикрывая это раздвоение сменяющимися личинами, всякий провокатор в конце концов лишается всякого подлинно своего мира, лица, всякого подлинного своего мнения и чувства. Удивительного в этом ничего, конечно, нет, так как зло, как таковое, своего лица вообще не имеет. Лицо всякого зла, всякого отрицательного явления, в конце концов, всегда только искаженное лицо отрицаемого им добра. Какое же лицо отрицает ренегат и какое оборотень? Только в ответе на эти вопросы возможно последнее уточнение нашей характеристики обоих враждебных демократии обличий.

Постоянно служа только личной корысти, но утверждая себя не только перед другими, но зачастую и перед самим собою в позе человека, блюдущего свое *нравственное достоинство* и исполняющего свой человеческий и гражданский долг, ренегат явно живет за счет этической идеи борьбы человека с самим собою за свое идеальное совершенство, за свое совершенное «я».

Среди всех идей, рожденных гением человека, идея нравственного совершенствования в известном смысле наиболее человеческая идея. Ее сугубая человечность заключается в том, что ни природная, ни божеская жизнь немыслима стоящею под ее знаком. *Нравственное самосовершенствование* — задача, стоящая только перед человеком, единственным существом, несущим в себе раздвоение между природным и божеским миром.

Предавая этическую идею нравственного совершенствования, ренегат предает, таким образом, центральную идею человека о себе самом, предает самого человека, сердцевину его души, душу его сущности.

Как бы страшно ни было это предательство, предательство, совершаемое оборотнем, еще страшнее. Являясь наиболее человеческою идеею, идея нравственного самосовершенствования все же не является высшею идеею человека. Кроме идеи о себе самом, человек родил еще и идею о Боге, кроме идеи борьбы, идею примирения всех противоречий, совмещения их начал, то есть идею абсолютной полноты бытия. Эту высшую идею и предает оборотень.

Если ренегатство представляет собою категорию этическую, то оборотень представляет собою, таким образом, категорию религиозную. Если ренегатство — грехопадение категорического императива, то провокация — ниспавшая во грех „co-incidentio oppositorum“ *. Если обличье ренегата — имитация идеи человека, то обличье оборотня — имитация идеи Бога. Если ренегат — предельно павший человек, то оборотень в своем пределе всегда провокатор, падший ангел, то есть дьявол.

Без проникновения в их внутреннюю религиозную природу явления оборотничества и провокации вообще не могут быть осмыслены и объяснены.

В русской душе есть целый ряд свойств, благодаря которым она с легкостью, быть может несвойственной другим европейским народам, становится, сама иной раз того не зная, игралищем темных оборотнически-провокаторских сил.

Широта человека, которого, по мнению Мити Карамазова, нужно было бы сузить,— широта, конечно, не общечеловеческая, а типично русская. В этой страшной русской широте самое страшное — жуткая близость идеала мадонны и идеала содомского. Русской душе глубоко свойственна религиозная мука о противоречиях жизни и мира. В этих особенностях заложены как все бесконечные возможности религиозного восхождения русской души, так и страшные возможности ее срыва в преисподнюю небытия.

В срыв этот русская душа неизбежно вовлекается всякий раз, как только, не теряя *психологического стиля своей религиозности*: своего максимализма, своей одержимости противоречиями, своего исступленного искания во всем последнего конца, она внезапно теряет свою направленность на абсолютное, свое живое чувство Бога.

---

* Совпадение противоположного (*лат.*).

Все самое жуткое, что было в русской революции, родилось, быть может, из этого сочетания безбожия и религиозной стилистики. Если к этой глубоко характерной черте русской души, к этой ее предопределенности к прохождению сквозь жуть и муть химерической религиозной диалектики прибавить, с одной стороны, отмеченное еще Леонтьевым глубокое неуважение к категорическому императиву, то есть ко всякого рода морализму и законности, а с другой — ее единственную артистическую даровитость, тот ее глубокий, гениальный «мимизм», который один только объясняет и то, почему русские люди всюду дома: французы с французами и англичане с англичанами, и то, почему только русские мужики, выходя в люди, сразу же становятся неотличимы от бар, и еще очень многое другое, вплоть до изумительного явления русского театра вообще и в частности, русского крепостного театра, то в нашем распоряжении будут все те черты, жуткое перерождение которых вполне объясняет то страшное явление в современной русской жизни, которое я не совсем, быть может, привычно, но феноменологически, думаю, вполне точно называю «оборотничеством».

Явление это очень сложно, очень многомерно; зарождается оно с первых же дней февраля, но развивается лишь после большевистского переворота.

Зачатки «оборотнических» настроений февраля сводятся почти всецело к таким пустякам, как искусственная педализация революционных ощущений в кругах внутренне чуждых революции, как спешная инсценировка «революционности» со стороны некоторых монархически настроенных чинов высшего командования, как театральное ощущение пьедестала у целого ряда революционных деятелей (чего стоила одна борода Н. Д. Соколова, катавшегося по Петербургу в великолепном царском экипаже)... и только. Обо всем этом говорить, конечно, не приходится. Ни дух февральской революции, ни тактика Временного правительства никого не провоцировали, сокрытия подлинного лица ни от кого не требовали; в слишком, быть может, свободолюбивой атмосфере каждый мог только быть и никто не должен был ничем казаться. Если потому оборотничество и имело место, то только в форме самопровоцирования со стороны отдельных лиц.

Но с первых же дней Октября все сразу меняется. В отличие от Временного правительства, пришедшего к власти по воле истории, большевики сами врываются в историю, как подпольные, таинственные, страшные заговорщики. Вместе с ними в жизнь входят двуличное сердце, мертвая маска и заспинный кинжал.

С первых же дней их воцарения в России все начинает двоиться и жить какою-то особенной, химерической жизнью. Требование мира вводится в армию как подготовка к гражданской войне. Под маской братания с врагом ведется явное подстрекательство к избиению своих офицеров. Страстная борьба против смертной казни сочетается с полной внутренней готовностью на ее применение. Всюду и везде сознательная имитация величайших лозунгов времени, самых заветных ожиданий уставшего от войны народа. Всюду и везде явный дьяволизм.

Учредительное собрание собирается в целях его разгона; в Бресте прекращается война, но не заключается мира; капиталистический котел снова затапливается в нэпе, но только для того, как писал Ленин, чтобы доварить в нем классовое сознание недоваренного царизмом пролетариата. И дальше — лицемерная ставка на явно презираемого буржуя, фантастическая вера революционеров в то, что новую жизнь освобожденной страны могут строить не свободные граждане, а на свободе дрессированные «спецы», перед которыми власть держит в одной руке кусочек сахару, а в другой — кнут. Причем все это отнюдь не при отсутствии интереса к душе человека. Наоборот, этот интерес снедал большевиков в гораздо большей степени, чем все иные правительства. Интересовались всем: верой, миросозерцанием, чуть ли не бессознательной жизнью всякого гражданина РСФСР, но всем этим интересовались почти исключительно на предмет ареста,

тюрьмы и расстрела. Для практической же жизни оказывалось вполне возможным, игнорируя душу, считаться только с тою маской, которою она по тем или иным причинам решалась прикрыть свое подлинное лицо.

Что такой «стиль» предержащей власти не мог при полном отсутствии свободы слова и при систематической борьбе со всяким проявлением «общественного мнения» не оказать глубокого влияния на духовную структуру русской жизни и русского общества, вряд ли подлежит сомнению.

Из всех зол, причиненных России большевизмом, самое тяжелое — растление ее нравственной субстанции, внедрение в ее поры тлетворного духа цинизма и оборотничества.

Первая «идея», которую оставшаяся в России интеллигенция попробовала противопоставить советской власти, была идея «бойкота».

Но бойкот долго длиться не мог. Кроме государства, в стране не было ни одного работодателя, страна же с каждым днем все глубже и глубже засасывалась в безвыходную нужду. Так складывалась неразрешимая альтернатива — или смерть, или советская служба, разрешавшаяся, естественно, в пользу службы. Но службы для власти всегда было слишком мало: она требовала еще и отказа от себя и своих убеждений. Принимая в утробу своего аппарата заведомо враждебных себе людей, она с упорством, достойным лучшего применения, нарекала их «товарищами», требуя, чтобы они и друг друга называли этим всеобщим именем социалистического братства. Протестовать не было ни сил, ни возможности. И сонмы людей, ненавидевших слово «товарищ» больше всего на свете и не связывавших с ним ничего, кроме представления о грабеже и насилии, называли друг друга и своих поработителей «товарищами»; «товарищи же большевики» принимали это обращение, ни минуты не чувствуя его страшного цинизма и лицемерия.

Слово «товарищ» было, однако, в донэповской России не только словом, оно было стилем советской жизни: покроем служебного френча, курткою — мехом наружу, штемпелеванным валенком, махоркою в загаженных советских учреждениях; селедочным супом и мороженой картошкой в столовках, салазками и пайком.

Как ни ненавидели советские служащие «товарищей»-большевиков, они мало-помалу все же сами под игом советской службы становились, в каком-то утонченнейшем стилистическом смысле, «товарищами». Целый день не сходившее с уст и наполнявшее уши слово проникало естественно в душу и что-то с этою душою как-никак делало. Слова — страшная вещь: их можно употреблять всуе, но впустую их употреблять нельзя. Они живые энергии и потому неизбежно влияют на душу произносящих их людей.

Так мало-помалу обрастали советские служащие обличьем «товарищей», причем настолько не только внешне, насколько *стиль* жизни есть всегда уже и ее *сущность*. Но, стилистически превращаясь в «товарища», советский служащий оставался все же непримиримым врагом той власти, которой жизнь заставила его поклониться в ноги.

Эта вражда советского служащего к коммунистическому владычеству нашла себе, быть может, самое острое выражение в тех теориях, что были выработаны русской интеллигенцией для оправдания своей Каноссы.

Когда сломился «бойкот» и антисоветские элементы в массе своей пошли к большевикам, прежде всего, конечно, по безвыходности своего положения, они прикрыли эту сдачу своих позиций, с одной стороны, теорией необходимости спасения того, что было создано в России не большевиками и должно остаться и после них, а с другой — теорией внутренней борьбы через завладение аппаратами управления. Так под слоем «товарища» рядовой советский служащий, словно штатскую жилетку под форменным френчем, всегда таил и изредка незаметно поглаживал в своей душе сакраментальный слой «заговорщика».

Все те, кто бывал в ранний период большевизма по каким-нибудь важным делам в

советских учреждениях, очень хорошо, конечно, знают то, о чем я говорю.

Во всякое учреждение входили все мы как в психоаналитический институт. Первым шагом, от которого зависело все, была правильность социологического диагноза, прозрение заговорщической жилетки под коммунистическим френчем.

Помню, как я однажды приехал из деревни в один из комиссариатов по очень важному делу, от которого зависела участь многих близких мне людей.

С полчаса ходил я, пользуясь всеобщей толчеей, по анфиладам министерских комнат, всматриваясь в обличья «товарищей» и стремясь глазом прощупать «жилетку».

Дело было дрянь, и я совсем уже собрался было уходить, чтобы где-нибудь на стороне поискать броду, как вдруг мне бросились в глаза на одном из френчей плотные золотые пуговицы, украшенные колонками судейского ведомства. Старинный, доброкачественный вид этих пуговиц сразу же внушил мне какое-то повышенное доверие к их собственнику. Дождавшись, пока он освободился, я подошел к нему со своим «деликатным» делом. Он явно неприязненно осмотрел мою солдатски-товарищескую наружность, но сочувственно остановил взор на камне моего кольца. Между нами быстро и таинственно проскользнула немая тень какого-то пароля, и дело мое неожиданно приобрело благоприятный оборот.

Этот феномен *непроизносимого пароля* наблюдался мною в первое время большевизма во всех учреждениях, вплоть до военных комиссий и окружных штабов. Только он и делал для всех некоммунистов возможной жизнь в коммунистической России. Хотя в этом пользовании немым паролем и не было ничего нравственно недопустимого, в нем все же было нечто *стыдное* (ведь и на фронте всегда бывало стыдно идти согнувшись по окопу). Согнувшись же, так или иначе, мы все под большевиками ходили.

В разрешении называть себя «товарищем» со стороны настоящих коммунистов, в каком-то внутреннем подмигивании всякому псевдотоварищу — «брось, видна птица по полету», в хлопотах о сохранении своего последнего имущества и своей, как-никак единственной жизни — во всем этом постоянно чувствовалась стыдная кривая согнувшейся перед *стихией жизни* спины. Лицемерия во всем этом вначале не было, но некоторая привычка к лицедейству перед жизнью и самим собою все же, конечно, слагалась.

Но так нравственно благополучно дело обстояло только первое время, пока революция была стихией, пока русский человек спасал всего только свою голую жизнь, пока он отчетливо внутренне знал, где его правда и на чем он сам в конце концов твердо стоит.

Чем дальше развивалась революция, тем глубже закрадывалась нравственная порча в душу русского человека, и прежде всего советского служащего. К моменту начала деникинского наступления в целом ряде людей чувствовалось уже не только наличие двух лиц, но и лицо двуличия, то есть полная невозможность разобраться — какое же из своих лиц, «товарищеское» или «заговорщическое», они действительно ощущают своим.

К этому времени большое количество советских служащих было уже до некоторой степени устроено большевиками и потому ощущало какую-то неуверенность в своих предощущениях деникинского прихода. Подмосковные крестьяне также чувствовали надвое: они определенно хотели поражения большевиков, но, несмотря на это желание, они все же побаивались победы генерала Деникина. С кем они и за кого — они не знали, да и знать не могли. Но сильнее и страшнее всего это жуткое двуличие чувствовалось в те дни в рядах кадровых военспецов Красной Армии.

В самый разгар деникинского продвижения, когда по обывательской Москве ходили слухи, что уже заняты Рязань и Кашира, мы сидели как-то с женой в гостях у старорежимного офицера.

В прекрасной реквизированной квартире было тепло и уютно. На столе красовались громадный пирог, коньяк и ликеры. На окне чутким часовым сидел чисто вымытый, расчесанный пудель. Кроме нас хлебосольные хозяева пригласили еще несколько человек гостей. Среди них несколько красных военспецов. Это была моя первая и единственная

встреча с перелицевавшимся русским офицерством. Впечатление от нее у меня осталось, несмотря на густую именинную идиллию, крайне жуткое.

Вывернутая наружу красная генеральская подкладка была у всех присутствующих явно подбита траурным крепом. Это «исчерна-красное» все друг в друге чувствовали, но, несмотря на объединявшую всех старую дружбу, все все же друг от друга скрывали, и не только потому, как мне показалось, что все друг друга стыдились, но и потому, что никто не был безусловно уверен в другом.

Разговор шел, конечно, о Деникине и его наступлении. Одним из присутствующих развивалась очень «заумная» теория о возможности захвата Москвы Мамонтовым на том основании, что он одновременно казак и регулярный кавалерист. Казачество, доказывал оратор,— стихия «свободы»; кавалерия — принцип «закона». Соединение же свободы с законом и есть высшая мысль военного искусства России и русского, антипрусского понимания воинской дисциплины. Запомнившийся мне Хомяков от кавалерии говорил о наступлении Мамонтова, как будто бы речь шла о войне англичан с бурами. Слушали и возражали красные «спецы» внешне в том же объективно-стратегическом стиле, но по глазам и за глазами у всех бегали какие-то странные, огненно-лихорадочные вопросы, в которых перекликалось и перемигивалось все: лютая ненависть к большевикам с острою завистью к успехам наступающих добровольцев; желание победы *своей*, оставшейся в России офицерской группе над офицерами Деникина с явным отвращением к мысли, что победа *своей* группы будет и победой совсем *не своей* Красной Армии; боязнь развязки с твердой верою — ничего не будет, что ни говори, наступают *свои.*

Во всех разговорах вечера все время двусмысленно двоилось все: все зорко смотрели в оба, все раскосым взором раскалывали себя и друг друга, лица клубились обличьями, обличья проплывали в «ничто».

Атмосфера была жуткая и призрачная, провоцирующая, провокаторская.

Но самое страшное во всем было то, что люди-то были самые обыкновенные и по мирному времени вполне хорошие.

Но как ни страшно было двуличие защитное, много страшнее было двуличие творческое.

В деревню, даже подмосковную, большевизм проник не сразу. Месяца через три после большевистского переворота приходили к нам описывать живой и мертвый инвентарь представители земельной комиссии, выбранной еще при Шингареве.

Чистые, степенные, богобоязненные мужики-сенники хозяйственно ходили по двору и дому; по-цыгански дергали за хвост лошадей, щупали коров, тщательно прикидывали завидущими глазами, на сколько пудов сенной сарай и сколько лет простоит рига; явно раздумывали, как бы все это половчее перехватить в свои руки (господам все равно не удержаться), и тут же сочувственно причитывали: «Что деется, барыня, что деется,— смотреть тошно!»

С весны все начало меняться. Кулаки-сенники, хозяйственники-богомолы, длиннобородые, отступили в тень, замолчали. Выдвинулась совершенно другая компания. Социологически очень пестрая: и бедняки, и дети богатеев, но психически единая: все люди, которым было тесно в своей шкуре и своем быту,— безбытники, интеллигенция. Был среди них слесарь, вылечившийся толстовством от запоя, московский лихач, не одну зиму продрогший под окнами «Яра» со страстною мечтою: «Хоть бы разок посмотреть, как там господа с барышнями занимаются», матрос дальнего плавания и какой-то старый, бритый городской человек, с благородной физиономией капельдинера. Но во главе всех все же настоящий крестьянин, хорошо мне знакомый Свистков. Мужик как мужик. С малолетства грешил водочкой, хорошо играл на гармони; до войны был в деревне человеком совсем завалящим, но с фронта вернулся героем, кавалером. Лицо самое обыкновенное, только глаза грустные и с «сумасшедшинкой».

11—289

Вот эта-то компания и вошла в управление уездом. Я постоянно имел с нею дела и хорошо ее изучил. Ни в одном из ее представителей не было ни малейшего намека на какое бы то ни было двуличие, хотя у каждого, по крайней мере, по два лица. Если эти два лица не превращались в двуличие, то только потому, что они существовали не одно под другим, как у интеллигентов-совслужащих, а откровенно рядом, как настоящая жизнь и фантастическая роль. Я не думаю, чтобы ставка на театральную стихию революционной фантастики была у большевиков сознательным расчетом, провокацией; но в той смелости и уверенности, с какой они разнуздывали ее в русском народе, был все же какой-то безошибочно зоркий инстинкт путей своего успеха...

Как-то под вечер, когда «трудовое наше хозяйство» возвращалось с поля, к нам на двор, на чистокровной английской, реквизированной по соседству кобыле, влетел уже известный на весь уезд Свистков. На нем был офицерский френч, галифе и новые щегольские сапоги. Уже издали увидев нас, он форсисто прибоченился и пустил лошадь в галоп. Внезапно осадив ее, он чуть не слетел, но кое-как выправился, обвел всех хмельным, беспокойно-счастливым взором, спешился, не без конфуза поздоровался за руку и начальнически попросил провести его по полям — посмотреть, в каком состоянии у нас полевые работы. С час, если не больше, ходил он в каком-то «административном восторге» по озимым, огороду и саду, возбужденно рассказывая о себе, показывая себя, но нисколько не интересуясь успехами нашего «трудового хозяйства».

После этого посещения Свистков пропал из виду. Изредка, однако, доходили слухи, что он уж очень крутит,— и вдруг неожиданная весть: отличился при усмирении беспорядков в далеком от нас небольшом городке и получил крупное назначение.

Рассказ о подвигах Свисткова я слышал из уст очевидца, моего хорошего знакомого, старого крестьянина. Рассказывая о происшедшем, он был бледен, весь трясся и, крестясь, все время оглядывался по сторонам.

Беспорядки были самые пустяковые. Несколько купцов, кожевенников и хлеботорговцев, сговорились, ввиду припрятанных запасов, с пожарной командой, что она своевременно даст знать о приближении ожидавшегося в городе реквизиционного отряда. Команда, которой были обещаны большие чаевые, выпила, очевидно, загодя, переусердствовала и, заслышав о красноармейцах, откровенно ударила в набат и послала верхового «с эстафетом» по купеческим дворам предупредить, что «наступают».

Вышла огласка, ревтрибунал раздул дело и приговорил трех мятежных буржуев к расстрелу. Выполнение приговора было поручено Свисткову. И вот тут-то и обнаружился в нем какой-то фантастический выверт души. Прибыв в город с отрядом красноармейцев, он распорядился выгнать на площадь не только осужденных, но и их родственников. Когда обезумевшие люди были доставлены, он приказал им размостить часть площади и вырыть могилу. Бросившихся было с воем к ногам его лошади людей он чуть не затоптал, объявив, что всех, кто вздумает выть, он живьем зароет вместе с приговоренными. Оторопевший народ «перекрестился» и молча приступил к работе...

Когда все было кончено, Свистков выстроил родственников в шеренгу, лихо проскакал несколько раз по снова замощенной ими площади и, прокричав какой-то невразумительный коммунистический бред, медленно отъехал со всем отрядом к трактиру.

Возвращаясь, спустя несколько месяцев после описанного происшествия, порожняком из Москвы, я повстречался на совсем уже трухлявом мартовском шоссе с каким-то, показавшимся мне знакомым, мужиком, бившимся над тяжелым возом дров: не брала тощая лошаденка. Я слез помочь и узнал Свисткова.

«Здравствуйте, Свистков».

«Здравствуйте, Федор Августович».

«Что же, опять крестьянствуете?»

«А что прикажете делать?»

«Да ведь слышно было — вы в большие люди выходили».

«Нет, нам, мужикам, не выйти, не нашего это ума дело».

«Что так?»

«Да без ума-то, видите ли, я немножко неловко проворовался; а потом — за это время много греха на душу принял, чай слышали...»

«Как не слыхать!»

Мы стронули воз и расстались. Пожимая Свисткову руку, я не испытывал к нему ни малейшей неприязни. Спровоцировала человека жизнь, потерял подлинное свое лицо, вкрутился в какую-то дьявольскую фантасмагорию.

Мало ли чего не бывает с душой человека?

Случай со Свистковым больше чем случай. Не все низовые советские управители на местах были Свистковыми, но, думаю, мало в ком совсем не было «свистковщины». Роль, кураженье, какая-то инсценировка своего собственного «я», какое-то внутреннее самопровоцирование, вечно мелькающее оборотничество бесспорно играли в большевистский период революции совершенно исключительно большую роль.

Внешне это оборотничество казалось особенно страшным на административных низах, и притом тем страшнее, чем удаленнее от центра; но внутренне оно было, быть может, еще много страшнее в центре, в мирной обстановке ловкаческого циркулирования безликих, двуликих и двуличных субъектов в бесконечных управлениях, комиссиях, подкомиссиях, заседаниях и совещаниях.

Одновременно со свершавшимся укреплением революции в жизни и большевиков в революции во все административные центры все гуще и гуще стали проникать и все плотнее и плотнее вживаться в них те самые интеллигенты и обыватели, которые изначально, никак не принимая большевиков, шли к ним только по нужде и со скрежетом зубовным. В засасывающем, разлагающем этом процессе *защитное, трагическое двоеличие* первого периода мало-помалу начинало превращаться в агрессивное двуличие, в гнусность совершенно откровенного оппортунизма. Люди, которые в начале большевистского господства еще прощупывали пуговицы своей «заговорщической жилетки», как крест на шее, прохаживались накануне нэпа по недавно еще грозным и противным учреждениям уже совершенно откровенно: расстегнув казенные френчи на все пуговицы и отнюдь не скрывая своей инородной подоплеки. Аналогичный процесс происходил одновременно в коммунистических рядах. К тому времени, как антисоветская интеллигенция в советских учреждениях начала ходить нараспашку, некоторые коммунисты начали напяливать интеллигентские «заговорщические жилетки» на свои коммунистические френчи. Уходя все глубже и глубже в быт и не справляясь с его революционизацией, революция сама все больше и больше обрастала бытовым жирком. На почве одновременного оскуднения как революционного, так и контрреволюционного *идеализма* с каждым днем все быстрее развивается отвратительный процесс лицемерного *«перепуска»* революции в контрреволюцию и обратно. Возврат к старым формам экономической жизни, названной новой экономической политикой, был в конце концов не чем иным, как радикальным и декларативным закреплением этого «перепуска».

В провозглашении нэпа в последний раз с громадною силою сказалась основная стилистическая черта ленинизма — какое-то *исступление и юродство лукавого упростительства.* Ну кто бы додуматься мог прекратить мелькание красно-черной чересполосицы донэповского периода путем до гениальности смелого утверждения, что красное и есть черное, что старая экономическая политика и есть политика новая, что контрреволюционное устремление есть одновременно сверхреволюционное наступление революции. В нэпе оборотнически-провокаторская стихия революции достигает своего кульминационного пункта. Если это сознается далеко не всеми, да и теми, кем сознается, ощущается далеко не всегда, то причина этому исключительно в прозаичности нэпа,

как территории реализации оборотнических энергий большевистской России.

Оно конечно — черт с рогами и копытами гораздо виднее черта в пиджаке и без всяких атрибутов потустороннего мира; но зато всякий неприметный черт много страшнее всякого очевидного.

После нэпа оборотничество приобретает совершенно новый характер. В нем не остается ничего ни от трагического двоеличия, ни от химерического двуличия, ни от фантастической утраты всякого лица. Из явления трагической глубины оно превращается в явление утомленной поверхности, в прибрежную рябь отбушевавшего океана, в переливчатую дружбу кулаков и Совстов, в откровенное обменивание деревенскими священниками живоцерковных настроений на земельные прирезы, в постепенный переход совхозов на хозяйственный расчет, в нарядные театральные туалеты оголенных жен совспецких френчей, в скрипичные ключи писательских спин в цензурных заведениях, в пьесы Луначарского чуть ли не на всех сценах Москвы и так далее и так далее, вплоть до взимаемых ныне красных процентов с черных доходов игорных домов. И все это под праздный гром советских передовиц о посрамлении буржуазной культуры и насаждении пролетарской морали.

Дальше идти некуда: во всем этом колесо лицемерного оборотничества мелькает уже с такою мерною ровностью и быстротой, что минутами кажется, будто оно остановилось, стоит.

Но это, конечно, только кажется.

Надеюсь, что я не буду не понят. Выдвигая во главу угла жуткое явление «оборотничества» и утверждая рожденного революцией и воспитанного большевизмом оборотня как основного врага демократии, я бесконечно далек, конечно, от *огульного* обвинения всей оставшейся в России интеллигенции и всех пошедших на службу к большевикам людей в зараженности этим явлением. Доказывать это мне не приходится; ведь уже... я защищал служилое сословие совработников и совспецов с решительностью, подавшей повод к определению меня как «ультрафиолетового» сменовеховца.

Выделение какого-нибудь одного явления из ряда других совсем не означает отрицания всех, кроме выделенного.

Если бы я не верил, что русские люди (и прежде всего, конечно, не «видные эмигранты», а еще невидные люди советской глуши) таят в себе и как-то защищают свои подлинные лица, как отсветы единого лика России, я бы не надеялся на грядущую победу демократии над рабствующим и порабощающим химеризмом советского оборотничества. Победа эта, думается, придет, однако, не скоро. Основной психологической предпосылке демократизма — ощущению свободы как права на неприкосновенность своего лица и долга уважения такого же лица в каждом другом человеке — после всего того, что пережито Россией, будет очень, конечно, трудно пробиться к свету и власти. Оборотничество еще держится очень крепко. Самою страшною для демократии его цитаделью является все нарастающее сближение между обоими полюсами русской политической жизни, между вечерней зарей чернеющего коммунизма и стремящейся к красному восходу монархической ночью. Это оборотническое сближение больше чем голый факт. Все чаще встречаемся мы с его отражением в теоретических построениях тех идеологов антидемократизма, что представляют собою осознание всех противодемократических энергий русской жизни и потому, быть может, наиболее влиятельных врагов демократии.

Но об этих врагах необходима особая и подробная речь.

Николай Лосский

Органическое строение общества и демократия

Демократия стала в наше время предметом отрицательной критики. Лица, всегда питавшие отвращение к ней, начинают самоуверенно бранить ее, полагая, что после пережитых нами испытаний вряд ли кому, кроме завзятых революционеров, придет в голову защищать демократический государственный строй.

Серьезных доводов у противников демократии два. Во-первых, они утверждают, что демократия имеет *неорганический*, механический характер: избрание народных представителей и принятие решений по большинству голосов есть продукт борьбы множества социальных атомов и арифметического перевеса одной суммы единиц над другими, но не выражение единой разумной воли. Отсюда, во-вторых, следует, что демократия в своем повседнии и развитии не опирается на единую систему истин и принципов, признаваемых абсолютными; проводя в жизнь изменчивые мнения изменчивого большинства, демократия должна понимать истину как нечто относительное; практически она стоит на стороне гносеологического и этического *релятивизма*.

Этому многоголовому беспринципному множеству, раздираемому центробежными силами, противопоставляют открыто или в тайниках души абсолютную монархию, в которой граждане спаены воедино разумною волею монарха. Предполагается при этом, что воля монарха опирается на незыблемую скалу абсолютной истины, данной религиею; под религией разумеется, конечно, высшая достигнутая человечеством форма ее — христианство *.

Рассматривать вопрос, насколько основательны нападки на демократию, я буду не как политик, а как метафизик, исходя из учения об *онтологической* природе общества, в частности государства. Такая точка зрения кажется отвлеченною, далекою от жизни; между тем в действительности она в значительной мере руководит нашими политическими симпатиями и антипатиями, оставаясь, однако, скрытою в неопознанной сфере сознания.

Монархисты в общем тяготеют к *органическому* мировоззрению и нередко обладают им в разработанном виде, именно в форме христианского миропонимания: мысля о мире и всяком целом, они идут от целого к элементам его и понимают элементы как нечто способное к бытию, осмысленное и ценное не иначе как в составе целого. Подчеркивая значение целого иногда даже в ущерб элементам, они подвергаются опасности впасть в односторонний *универсализм* и не впадают в него лишь в том случае, если, например, ими подлинно усвоен христианский принцип абсолютной ценности всякой человеческой души.

Демократы, наоборот, увлекаясь борьбою за свободу и интересы индивидуума, склонны в большинстве к *неорганическому*, атомистически-механическому миропонима-

---

* Противопоставляя демократию монархии, я буду в дальнейшем иметь в виду везде абсолютную монархию. Что же касается ограниченной монархии, она может быть одним из видов демократии; мало того, при известной степени в форме ограничения власти монарха она может почти не отличаться от республиканской демократии.

нию: для них целое есть только продукт суммирования элементов. Общество для них есть лишенное самостоятельной ценности средство для обеспечения нужд индивидуума. Они склонны к тому или иному виду одностороннего *индивидуализма.*

Односторонние онтологические и аксиологические учения всегда оказываются результатом каких-либо ложных предпосылок, мешающих выработать сложное мировоззрение, сочетающее без противоречий разнородные виды бытия и ценности. Искание такого синтеза есть плодотворная задача. Для нас в связи с поднятым нами вопросом эта задача состоит в том, чтобы найти синтез универсализма и индивидуализма, т. е. выработать мировоззрение, в котором было бы показано, как возможна относительная онтологическая самостоятельность целого и вместе с тем относительная самостоятельность элементов, точно так же абсолютная ценность целого и вместе с тем абсолютная ценность элементов; в частности, такое понимание нам нужно установить в применении к государству и входящим в его состав человеческим личностям. Эта задача может быть решена, мы полагаем, не иначе как на основе *органического* миропонимания, и именно той его разновидности, которую можно назвать *иерархическим персонализмом.*

В краткой статье, написанной по частному поводу, я не могу обосновывать это мировоззрение и буду опираться на него как на данное, изложив вкратце основные положения его, развитые в моих книгах «Мир, как органическое целое» и «Свобода воли» (печатается).

Мир состоит из существ, называемых мною *субстанциальными деятелями.* Каждый деятель сам по себе есть *идеальное*, т. е. вечное, сверхвременное и сверхпространственное начало, но действования его образуют сферу реального бытия, область пространственно-временных, психоматериальных (или психоидно-материальных) процессов. Примером субстанциального деятеля может служить человеческое «я» как источник чувств, желаний и телесных, т. е. пространственных проявлений их; в низшей сфере бытия электрон как источник действований притяжения, отталкивания, движения есть также субстанциальный деятель.

Лейбниц называл *монадою* то, что мы называем термином «субстанциальный деятель». Однако тотчас же следует указать коренное отличие развиваемого нами учения о мире от лейбницианства. Все реальные процессы: чувства, желания, притяжения, отталкивания и т. п.— имеют оформленный характер: они осуществляются сообразно *идеальным* принципам, сообразно принципам строения пространства, времени, числа и т. п. Следовательно, субстанциальный деятель, осуществляющий свои действия, подчиняя их перечисленным формам, есть *носитель* этих *идеальных форм.* Но идеальные формы, например число, тождественны для всех деятелей; отсюда вытекает, что субстанциальные деятели не обособлены друг от друга, но *частично единосущны*: как носители творческих деятельных сил, они самостоятельны в отношении друг к другу, а как носители тождественных форм, они сливаются в одно существо. Конечно, это есть лишь *отвлеченное единосущие.* Однако оно дает строение мира, коренным образом отличное от того, какое представлял себе Лейбниц. Его монады «без окон и дверей» были вполне замкнуты каждая в себе; между ними было бы возможно только подобосущие, но не единосущие. Многие философы полагают, что субстанции, будучи каждая самостоятельным центром действования, необходимо должны быть так разобщены друг с другом. Между тем это неверно. Сочетая лейбницианское учение о монадах, как субстанциях, с учением об идеальных началах в дух платонизма, можно понять мир как систему деятелей, с одной стороны, субстанциально самостоятельных, а с другой стороны, сливающихся в одно существо, вследствие чего между ними возможно такое тесное общение, как, например, *интуиция*, т. е. непосредственное созерцание одними бытия и действований других. Такая система мира, состоящая из множества свободных *самостоятельных* и вместе с тем исконно *единых* начал, не может сама быть источником своего бытия; она может

быть мыслима только как творение Бога. В этой системе всякий субстанциальный деятель есть индивидуум, т. е. единственный своеобразный, незаменимый элемент мира, имеющий свое особое место и значение для всего мира; своеобразие индивидуума выражено в *идее Бога* о нем и составляет его *идеальное назначение.*

Отвлеченное единосущие есть условие для совместной деятельности индивидуумов, не предрешающее содержания этой деятельности, не предопределяющее, будет ли отношение между ними враждебным или любовным. Поскольку отношения между деятелями враждебны, имеют характер противоборства и взаимного стеснения, постольку единосущие их остается лишь отвлеченным. Поскольку же они вступают в отношение любовного единения, взаимно усваивают конкретные содержания целей друг друга для единодушного осуществления их, постольку единосущие их становится *конкретным.*

Всякий субстанциальный деятель есть (подобно монаде Лейбница) действительная или потенциальная личность. Поэтому такое мировоззрение можно назвать *персонализмом.* Сравнительно более высоко развитые деятели стоят во главе более или менее многочисленной группы менее развитых деятелей, органически объединяя их и создавая из них единое целое для совместной деятельности. Так, примерно человеческое «я» есть организующий центр для клеток тела; в свою очередь, в каждой клетке есть деятель, объединяющий молекулы ее, и т. д. вплоть до последнего элемента, положим электрона. Как вниз от человеческого «я», так и вверх мы найдем ряд ступеней организованности: человеческие «я» образуют органическое единство народа (нации, государства), народы суть элементы человечества и т. д. вплоть до единства вселенной. Так как на каждой ступени здесь есть субстанциальный деятель более высокого порядка (по степени развития), чем на предыдущей, то это — *иерархический персонализм* *.

Согласно такому миропониманию, государственное целое есть личность высшего порядка, чем человек. Чтобы проверить, возможно ли такое учение, возьмем определение понятия личности, положенное В. Штерном в основу его персонализма. Личность, определяет Штерн, «есть такое бытие, которое, несмотря на множество частей, образует реальное своеобразное по роду и ценности единство и, как таковое, несмотря на множество частичных функций, осуществляет единую, целестремительную самодеятельность»**.

Наличность единой целестремительной деятельности, своеобразной по роду и ценности, с совершенною очевидностью обнаруживается в жизни государства. Поэтому, если в силу общих философских оснований (исходя из учения об отношении вообще, в частности и причинности и т. п.) мы пришли к убеждению, что источником таких деятельностей может быть лишь единое онтологическое начало, единый субстанциальный деятель, естественно попытаться рассматривать и государственное целое в духе этих учений. В таком случае граждане государства суть личности менее высокой ступени развития, усваивающие отчасти сознательно, но еще в большей мере безотчетно целестремительные тенденции целого и способные стать органами выполнения того или иного момента их, вроде того, как клетки тела человека, например мускульные волокна, способны быть органами осуществления целей человеческого «я».

Такое объединение многих деятелей есть одна из ступеней конкретизации единосущия, творящая новый вид реального бытия. В самом деле, война, международные договоры, судебный процесс и т. п. государственные акты образуют особую сферу бытия — не психического и не физиологического, а именно *социального.* Как всякая высшая форма бытия, оно опирается на низшие процессы, в данном случае на психические и физиоло-

---

* Иерархический персонализм довольно широко распространен в философии и встречается в весьма различных изменениях. Так, напр., различные виды его представлены в системах Лейбница, Фехнера, Вундта, Эд. Гартмана, В. Штерна (в его превосходной книге «Person und Sache») и др.

** Stern W. Person und Sache. 1. 1906. S. 16.

гические процессы человеческой особи, включая их в себя как свои подчиненные моменты, но не исчерпываясь ими.

Такое учение о социальном бытии можно назвать органическим с оговоркою, что под этим словом здесь разумеется не *биологическое* понятие организма, а весьма общее *философское* понятие органического целого, т. е. целого, определяющего свои элементы и непроизводного из суммы их. В особенности не следует отождествлять такое органическое понимание с учением Спенсера и других социологов, сближающих общество с организмом животного, но понимающих организм в духе механического мировоззрения. Такая «органическая» теория общества есть в своих принципиальных основах скорее учение, противоположное защищаемому нами.〈...〉

Цель и смысл мирового процесса заключается в достижении совершенной полноты бытия, именно совершенной творческой деятельности, пронизанной добром, красотою и обретением абсолютной истины. Этот идеал осуществляется не в состоянии распада и взаимной борьбы субстанциальных деятелей, а на основе совершенной любви их к Богу и друг другу, создающей конкретное единосущие их, Царство Божие. Такая цель, возрастание в добре, имеет смысл и находит условия для своего осуществления лишь в том случае, если субстанциальные деятели наделены творческою самостоятельною силою так, что способны *свободно* избирать либо путь добра, т. е. возрастающего единения и любви, либо путь зла, т. е. вражды и разъединения.

Правильный путь поведения есть путь к Царству Божию. Эта идеальная цель одинаково предстоит перед всеми деятелями; каждый из них есть носитель абсолютной ценности и потому не может быть низведен на степень лишь средства. Имея в виду эту ценность личности и идеал ее развития, можно установить правильное отношение между человеческою личностью и обществом, в частности государством. Возрастание в добре может быть только свободным; поэтому государство должно предоставить человеку *формальную свободу*, т. е. свободу избрания не только пути добра, но и зла, в тех пределах, поскольку эта свобода не вторгается в область деятельности других лиц и не разрушает общественного целого. Кроме этой отрицательной задачи, перед государством стоит положительная задача — обеспечивать человеческой личности духовные и материальные средства для поднятия ее *материальной свободы*, т. е. для возрастания ее творческой активности, осуществляющей добро, красоту и обретение истины; эту обязанность общественное целое должно выполнять, конечно, в различной степени в зависимости от размера его собственных творческих сил, сообразно данной ступени культуры в среде, ослабленной наличием враждебных отношений, далекой от конкретного единосущия. Исходя из того же идеала, можно определить и обязанность повиновения, в определенных пределах, гражданина государству как объемлющей его личности высшего типа. Однако эти разнообразные и сложные вопросы мы оставим в стороне и сосредоточимся лишь на своей теме, на рассмотрении монархического и демократического строя, исходя из установленных положений.

Иерархический персонализм есть учение о монархическом строении вселенной. Однако этот онтологический монархизм совсем не похож на политический монархический строй человеческого общества. Во всяком органическом целом высшее начало, подчиняющее и объединяющее свои элементы, стоит всегда онтологически на высшей ступени бытия, чем его элементы: так, человеческое «я» не есть одна из клеток человеческого организма, дух народа не есть один из граждан государства. Бог не есть один из элементов мирового бытия и т. п.

Этот монархический строй стоит незыблемо и без наших усилий: пока государство сохраняет жизненность и настолько, насколько оно жизненно, во главе его находится начало, которое можно назвать Душою народа (объективный дух Гегеля). Но уж во всяком случае очевидно, что ни один человек, даже и монарх, не может быть в точном онтологическом

смысле Душою народа. Человек может быть монархом в этом смысле только в отношении к клеткам своего организма. Лишь в редких, исключительных случаях государь (Петр Великий) или какой-либо другой гениальный государственный деятель (Бисмарк) до некоторой степени приближается к тому, чтобы воплощать в себе, да и то лишь некоторые отделения, устремления своего государства. Фактически даже наиболее самовластный монарх принимает большинство решений в согласии с правительственным целым, т. е. так, что они вырабатываются *сверхчеловеческим единством*. Однако это сверхчеловеческое единство подорвано в своей органичности, если один из членов правительства имеет неограниченную власть. Понятно поэтому, что по мере усложнения жизни и возрастания дифференциации общества, по мере усовершенствования техники государственного управления и законодательства верховная власть все более и более отчетливо принимает характер сверхчеловеческого единства, что и выражается или в ограничении власти монарха или в установлении республиканской формы правления.

Таким образом, именно чистота следования монархическому принципу строения вселенной требует в государственной жизни *соборного строя* власти. Монарх, решающийся провозгласить: «Государство — это я!» — дерзко пытается присвоить себе сверхчеловеческое достоинство и подрывает подлинное монархическое начало государственного единства. Недаром Бог сказал Самуилу, когда евреи просили у него царя: «Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними» (I кн. Царств, 8,7). В еще более тяжкой форме совершили такое нарушение подлинно монархического принципа служители католической церкви, лишив ее соборного строя и поставив во главе ее папу как наместника Христа, с абсолютною властью.

Строй демократической республики или демократически ограниченной монархии есть один из способов созидания соборного, сверхчеловеческого единства власти, в котором по возможности погашаются эгоистические, т. е. не гармонирующие с целым, стремления отдельных лиц. Такое единство мы находим не только в организации верховной власти, но уже и в избирательной борьбе, когда избиратель достигает своей цели избрания представителя лишь в том случае, если он выступает носителем той или иной общественной идеи, и голосует впустую, если вздумает руководиться только своими исключительными интересами.

Никому, вероятно, в наше время не придет в голову утверждать, что современная демократия с ее избирательною борьбою есть идеально совершенный способ организации государства. Мы отстаиваем демократию не как абсолютный идеал, а только как такую форму, которая в сложном дифференцированном обществе с высокоразвитою человеческою личностью более совершенна, чем абсолютная монархия *.

По словам И. А. Ильина, демократия хороша лишь постольку и тогда, когда она осуществляет аристократию, т. е. отбор в ряды верховной власти лиц, наиболее духовно одаренных для государственной деятельности. Творческая изобретательность человека и общества может найти много новых путей для усовершенствования техники этого отбора, например путем организации корпоративных, профессиональных и т. п. форм представительства. Возможно, что этот отбор будет где-либо производиться не в формах демократической избирательной борьбы, а на основании объективных, точно установленных признаков, например на основании услуг, оказанных обществу и свидетельствующих о нравственной и умственной способности к государственной деятельности. Во всяком случае, однако, очевидно, что такая аристократия духа не будет возвратом к абсолютной монархии, а будет движением вперед в какое-то новое, неизвестное еще будущее.

---

* Такое сравнение абсолютной монархии и демократии с органической точки зрения мною произведено в статье «О народовластии» (в журнале «Новый путь», 1904 г., декабрь), направленной против «Московского сборника» Победоносцева.

Отрицая механичность демократии, я не менее решительно отрицаю, будто она ведет к беспринципному релятивизму. Согласно гносеологической теории, отстаиваемой мною (интуитивизм), истина абсолютна. Но кому придет в голову утверждать, что в земных условиях мы обладаем всею полнотою абсолютной истины! Даже христианская религия в своих незыблемых основах, в своих догматах дает лишь отрывки абсолютной истины, и то преимущественно в отношении к горнему, сверхземному миру, оставляя совершенно нерешенными вопросы об экономическом строе, политических формах и т. п. Усмотрев, что усилия человеческого ума дают всегда какой-либо аспект истины, но не всю полноту ее, причем и открытый аспект истины обыкновенно опутан ложными учениями, хотя бы вследствие одностороннего преувеличения его и вытекающих отсюда ложных следствий, мы не удивляемся обилию враждебных друг другу мнений по поводу всякой сложной и глубокой проблемы. При столкновении политических, экономических и т. п. теорий и планов реформ положение оказывается таким же, как и в борьбе философских систем, о которых Гегель сказал, что новые системы «не уничтожают принципов старых, а только показывают, что эти принципы не были последним, не были абсолютным определением». Высказать такое положение не значит быть релятивистом: в нем выражено лишь признание чрезвычайной сложности, богатства форм и многогранности бытия и убеждение в том, что теоретическая истина, а также практический идеал обретаются не в темных, тесных и уединенных закоулках, а в сверкающем всеми цветами спектра гармоническом синтезе всех положительных содержаний. Поскольку демократия открывает поприще для свободной борьбы за истину, она облегчает выработку такого гармонического синтеза.

Вспышка разочарования в демократии, характерная для нашего времени, объясняется не столько давно известными недостатками, присущими этому строю, сколько новизною и трудностью задач, вставших перед современным культурным обществом и опасных одинаково для всякого старого государственного порядка, как демократического, так и не демократического. Этих задач — две: внутренняя и внешняя.

Высокое развитие хозяйства и наличность сильного рабочего класса, сознающего свое человеческое достоинство, понимающего свое значение в общественной жизни и требующего себе соответственного положения, выдвигает задачу выработать новый социально-экономический порядок, в котором был бы осуществлен синтез ценных сторон индивидуалистического (капиталистического) хозяйства с ценными сторонами идеала коллективистического хозяйства, идеала, вырабатываемого социализмом. Рядом с этою внутреннею задачею стоит задача внешняя. По мере развития духовной и материальной культуры, взаимоопределение и взаимозависимость различных государств, возрастают в такой степени, что требуют себе организованного выражения в форме сверхгосударственного объединения человечества. Эти задачи не обособлены друг от друга, первая из них вряд ли может быть решена без второй.

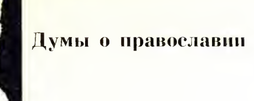
Для решения стоящих на очереди проблем необходимо небывалое напряжение социального творчества, а также исключительное самоотвержение всех классов общества и всех народов, чтобы найти приемлемые для всех, наиболее безболезненные способы примирения и совмещения разнородных ценностей (ценность национального самоопределения и ценность сверхгосударственного единства, ценность свободной хозяйственной инициативы и ценность служения хозяйства общественному целому и т. п.). Понятно, что, стоя перед грандиозным сдвигом на новые пути, современное общество делает на каждом шагу опасные ошибки; всякий класс и всякая нация, сознавая безусловный характер носимой ими ценности, искажает, однако, эту ценность путем нарушения перспективы, путем придания ей исключительного характера, несовместимого с другими ценностями. Таким образом всякий класс, всякая нация и отстаиваемые ими великие идеи дискредитируются и все более нарастает социальный, политический и нравствен-

ный кризис, болезненно переживаемый нами. Отсюда, между прочим, возник и кризис современной государственной жизни, «кризис правосознания», в частности кризис демократии.

Упуская из виду первоисточники этого кризиса, многие склонны думать, что стоит вернуться к сильной, религиозно обоснованной монархической власти, взять расшатавшееся общество «в ежовые рукавицы», и кризис будет преодолен, все будет вновь поставлено на свое место. Они не понимают того, что перед ними не кризис демократии, а кризис всякой старой власти и всего старого порядка вообще. Фашистская диктатура может только на короткое время замедлить процесс распада старой жизни, но не прекратить его. Выход из положения может быть найден не путем консервирующего замораживания, а посредством ускоренного социального творчества.

Современное общество с каждым днем все резче разделяется на два враждебных лагеря — людей, увлеченных революционным социализмом и воображающих, будто они ничего не могут потерять среди революционного крушения старой жизни, но много могут выиграть, и людей, боящихся утратить свое выгодное теперешнее положение. Такое разделение общества ни к чему, кроме гражданской войны и гибели всей современной культуры, привести не может. Для мирного разрешения кризиса есть только один путь: не бояться социального творчества, преобразующего жизнь планомерно сверху, а не хаотически революционно снизу. Каждый гражданин с чуткой совестью и прозрением в будущее обязан во внутренней экономической жизни общества творчески разрабатывать или, по крайней мере, поддерживать проекты и мероприятия, сочетающие в себе сохранение хозяйственной инициативы с устранением эксплуатации человека человеком, а во внешней жизни общества приветствовать всякий шаг в направлении к тому времени, когда деньги, ассигнуемые теперь на сооружение дредноута, изнашивающегося через десять лет, можно будет употребить хотя бы на постройку десяти тысяч дешевых квартир, где пятьдесят тысяч скромных тружеников получат светлое, сухое и теплое жилище вместо гнилых, сырых подвалов, в которых хиреют и мрут теперь их дети от туберкулеза, рахита и других болезней.

Кого не тревожат эти проблемы, пусть идут к тем пророки и властно зовут их к покаянию. Всякий день промедления опасен. Если преобразование жизни не будет произведено сверху, придет «внутренний варвар» и опрокинет все государства, как демократические, так и не демократические, и это разрушение будет не творческим обновлением жизни, а бичом Божиим в наказание за косность и своекорыстие.



Игорь Демидов

Думы о православии

I

Истекающее российское бедственное десятилетие 1914—1924 годов в центре событий своего конца поставило вопрос православия. Теперь приходится признать, что в общем потоке распадения изжитых форм совершилось распадение и той формы русской православной церкви, которую можно назвать императорско-синодской. Пала императорская власть петербургского периода, и вслед за нею распалась церковь, которую последовательно и упорно эта власть создавала в течение своего двухсотлетнего существования в России. И не случайно, как только не стало в России императорской власти, возродилась «*соборность*» церкви, и патриарх — первый иерарх православной церкви, *избираемый* собором, — был явлен народу после своего двухвекового небытия.

Со Всероссийским поместным собором 1917 года в Москве и с восстановлением патриаршества были связаны все религиозные чаяния верующих, но события пошли так, что собор был принужден приостановить свою работу, далеко не закончив ее. Действующим в жизни остался святейший патриарх Тихон — ставленник собора: на нем и сосредоточились все взоры верующих; от него ждали водительства по пути восстанавливающегося соборного и апостольского православия.

Приход безбожного большевизма и вспыхнувшая гражданская война осложнили положение церкви, ибо в советской власти объединились две силы — сила противоцерковная и сила противогосударственная, и те, кто не мог принять большевиков, кто выступил на борьбу с ними, мало-помалу стали видеть в патриархе не столько своего духовного водителя, сколько вождя своей политической брани.

Таким образом соборная свобода церкви, соборный путь духовно-религиозного возрождения, сверкнув на мгновение, угасли в хаосе гражданского кровопролития, и вновь восстановилось то, что было воспитано и воспринято поколениями двух веков: церковь была призвана на услуги государства, ее духовно-религиозная цель отодвинулась на второй план, а на первый встала задача государственно-политическая. Белый фронт вложил в церковные руки свое политическое знамя и тем самым предопределил появление на красном фронте красной политической церковной силы. И как в великую войну христианские народы с одним и тем же крестом и евангелием в руках горели взаимной ненавистью и убивали друг друга, так и в гражданской распре российской символы любви и мира и их носители были ввергнуты в кровавый поток вспыхнувших страстей.

Святейший патриарх Тихон не раз указывал на то, что православная церковь должна вернуться на свой путь, отказаться от целей, где нет ее духовной доли, перестать быть политическим орудием в руках светской власти: он отказался благословить Красную Армию, шедшую завоевывать Варшаву; он не послал своего благословения тому, кто шел освобождать Москву от советского ига; он предписывал церковной иерархии отойти от политики и идти на работу внутреннего, духовного возрождения затуманившейся человеческой души.

Тщетно звучал его призыв. Те же самые, кто ждал от него чуть ли не чуда воскрешения не только православия, но и России, как Пилат, испытывали его — «царь ли ты?». За царя ли ты? И как фарисеи искушали — подобает ли платить пóдать современному «кесарю» в России?

Карловацкий собор и собор «живой церкви» — два итога единого политического действа тех, кто двухвековой историей был воспитан в покорности «князю мира сего».

Карловацкий собор в борьбе с советской властью сказал от имени патриарха двойную ложь: что собор открывается с благословения патриарха и что он скажет здесь,за рубежом, то, что там, в России, думает, но не может сказать патриарх, — о необходимости восстановления в России монархии и о призыве на престол вновь династии Романовых.

Красный собор в союзе с советской властью низложил патриарха за его политическую контрреволюционность. Глава живой церкви митрополит Антонин так определяет деятельность патриарха Тихона: «Советской властью не прощенный и права в революционном порядке регистрации с общиною не получивший, б. патриарх производит в советских условиях монархический церковный переворот, т. е. контрреволюционный... Единоличным отвержением собора и суда Тихон отмежевался от единства церкви и стал главою секты или толка, быть может, многочисленного, по граждански существующего пока подпольно, «тихоновского», с главою, не освободившимся от политического прошлого...» (Руль, № 800).

Где здесь, на этих двух сторонах монеты, Христос и его Церковь?

И там и здесь «кесарево изображение» и воздаяние кесарю, и только кесарю, а святейший патриарх Тихон, как иерарх церкви, преданный одной стороной и низложенный другой, одиноко стоит в стороне, и пока одиноко звучит его призыв выйти на путь свободной, самодовлеющей — соборной и апостольской — церкви, на путь внутреннего духовного-религиозного возрождения человека.

При такой извращенной распре двух сторон, где каждая возглавляется своими церковными иерархами, где каждая стремится прикрыть свою истинную цель «мира сего» именем Христа и авторитетом его церкви, где двухвековую ложь стремятся облечь в светлый образ соборного и апостольского Православия, понятны смущение и соблазн верующих, понятны их религиозная тоска по «хлебе насущном», их мистический страх за храм Божий и его судьбу.

Здесь, за границей, среди беженско-эмигрантской России, не так остро чувствуются эти *длительные, глубокие* переживания церковного настроения. Мы не понимаем и не можем понять *всю тяжесть* и *всю постоянность* страданий религиозно-верующих там, в России, потому что нас не давит главное — цепи, наложенные на дух человеческий. И только письма, приходящие с Родины, — эти строки, простые и страшные своей простотой, — мгновениями дают силы понять, что творится с верующей душой там, под игом коммунистического вампира.

Вот одно из таких писем, написанное ранее последних шагов патриарха и, стало быть, до его заключения и освобождения:

«Очень тяжелое время переживаем в церкви. *ВЦУ* разослало по всем церквам анкетные листки, на которые должны отвечать члены приходских советов и священники. Между прочим, вопрос священнику поставлен ребром, признает ли он *ВЦУ*, а членам п. с. — каково ваше отношение к *ВЦУ*. Засим вменяется в обязанность не принимать и не допускать к служению в церкви епископов, не признающих *ВЦУ*, и требуется отчисление крупной суммы на расходы по созыву собора. Казалось бы, что не нужно и принимать этих бумаг и расписываться в их получении, но на это почти никто не дерзнул, и несчастное запуганное духовенство частью подписывается без обиняков, частью измышляет компромиссные, а иногда и пеленые ответы и, главное, совершенно не сознает важности совершаемого им шага. Церковное сознание до того запуталось, что священники не разумеют последствий

для себя от общения с отлученными иерархами и иереями. Епископы наши все перешли в живую церковь. (Кто не перешел — заточен или сослан. — *Примеч. автора статьи.*) У нас в приходе тяжелая борьба со священником, который ищет компромиссного решения. Вместе с тем в газетах уже напечатана программа собора, который созывает Антонин. Главный, основной задачей его является *преобразование церкви в согласии с настоящим государственным устройством и осуждение прежнего строя и его управления как явно контрреволюционных.* Обещается сохранение прежнего обряда и догматов, но открывается возможность «свободного творчества». О том, что Антонин и Красницкий отлучены Вениамином, многие просто забыли или хотят забыть и не разъясняют прихожанам, которые в большинстве *боятся одного, что к Пасхе их церковь закроют.* Антонин совершенно изменил тактику, теперь он ничего не меняет в богослужебном обряде и с необыкновенной помпой совершает службу в храме Спасителя. N. N. нечаянно попал туда и был в восхищении: «Объясните мне, пожалуйста, откуда вы взяли, что он еретик?» И не он один так рассуждает. К беззаконным действиям и революционным ухваткам так привыкли, что и на самочинную власть в церкви так смотрят. Поминают Петра Великого и его расправу с патриархом. К сожалению, исторические примеры могут действительно давать оружие, если спор становится на каноническую почву. А принципиальная сторона всегда во всех вопросах, как общественных и государственных, а теперь и церковных, очень плохо усваивается и считается как бы второстепенной. Наш батюшка к этой стороне вопроса относится как к личной идеологии, которая для него необязательна, неавторитетна. «Я с вашей идеологией не согласен, нужно, прежде всего, сохранить храм». Тут вопрос попадает на тему о благодати: может ли такой священник совершать таинство. Z. Z. в прошлое воскресенье отправилась в церковь, исповедовалась и причащалась у «подписавшегося священника» и вернулась такая радостная и довольная: неужели же она не причастилась? Это вопрос самый трудный и тяжелый, мы легко можем очутиться без церкви и без пастырей. Если помрешь, как хоронить без отпевания в церкви и т. п. и т. п. Все это невыносимо тяжело, — и отрадно, когда встречаешь таких людей, как N. N.: он считает, что все к лучшему. Больше так жить было нельзя: «Нужно, чтобы вся гниль наружу вылезла: ведь вы сами видите, жить больше нечем». Да, но это сознание ужасно. Прежде, когда идешь ко всенощной и вся Москва гудит от благовеста — на душе радостно и тепло, а теперь от этого звона ком в горле становится. Были большие разговоры о снятии колоколов, и мы ужаснулись от мысли остаться на Пасху без звона, а теперь это было бы нам к лицу. Поймите этот ужас, большая часть народа, сама того не зная, уйдет в раскол и порвет с преданием отцов совершенно бессознательно, а другая — православная — остается без храмов, почти без священников и почти без таинств...»

Надо *пережить* такое письмо, чтобы понять сущность того, чем живет и мучается верующий, религиозный человек в России. Надо встать рядом с ним, взять на свои плечи его крест, и только тогда мы увидим, что в его душе жизнь оторвала церковь от государства, религию от политики и поставила их не на первое место, а совершенно на другую плоскость, перенесла на другой план, куда не достигает земная логика и где нет места тому, о чем сказано в Апокалипсисе: «Знаю твои дела: ты — ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».

В России поставлен вопрос об абсолютном, которое *дано* человеку, и потому там отошло в сторону относительное, *созданное* человеком.

Если не понять и не принять этого, то вся переживаемая трагедия православия претворяется в обыденную партийную политическую борьбу, и тогда... прав Карловацкий собор, прав и красный собор: каждый защищает себя и стремится *захватить власть, начать внешне господствовать, силой покорить себе,* а главное — правы большевики, как господствующая сейчас власть, что они всеми силами стремятся раздробить, а потом и уничтожить церковь как своего врага: или воинствующий коммунизм уничтожит воинствующую цер-

ковь, или наоборот, но ни от того, ни от другого православной церкви Христовой лучше не станет: по-прежнему останется «жить больше нечем».

Когда над Россией повисла зловещая туча физического голода, вся зарубежная Россия бросилась на посильную помощь обреченным на голодную смерть. Появление «Общественного комитета» в России ни у кого не вызвало ни смущения, ни соблазна. О большевиках забыли, помнили только одно — помочь, спасти. Голодный призрак миллионной смерти вызвал в ответ только один светлый образ соборной любви, которая борется со злом лишь созиданием блага.

С появлением живой церкви в России и с выходом в свет деяний Карловацкого собора за границей наступил худший голод — голод духовный. Исчезла возможность соборной помощи, потому что оба собора — и Карловацкий и красный — с головой ушли в политическую борьбу и забыли о церкви. Мы не знаем, сколько душ голодают и, быть может, с отчаянием, а еще хуже, с проклятием на устах стоят перед духовной смертью: десять сотен или десять миллионов? Но мы знаем, что рассыпалось стадо православной церкви и каждый страждет в *одиночестве*.

Это — вопрос самый трудный и тяжелый, «мы легко можем очутиться без церкви и без пастырей» — слышится голос с далекой Родины. Без «хлеба насущного» в голодной и безводной пустыне — кому это понятно, кто внутренно чувствует для себя все жизненное значение церкви и ее пастыря, тот поймет и этот голос и не только не «бросит камня», а протянет руку помощи.

После Карловацкого собора в Сербии и красного собора в Москве стало ясно, что разрушителями церкви являются не столько большевики, поносящие церковь и гонящие ее, сколько те, кто именем церкви творят волю пославшего их «князя мира сего».

Именно это и говорит патриарх Тихон, отметая от православной церкви деяния двух последних соборов: Карловацкого и красного.

«Идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего!»

II

«Я не враг советской власти», — сказал патриарх Тихон, и смутились многие, но не все.

«Все в Москве страшно подавлены заявлением патриарха, который написал его в виде покаяния. Он сам, очевидно, *не сознает* всего значения этого акта. Он производит впечатление, что находится под сильным влиянием коммунистов и совсем не осведомлен. Стечение народа на похоронах священника Мечева было громадно, а когда узнали, что будет служить патриарх и увидали его едущим на извозчике, толпа быстро стала увеличиваться. Патриарха чуть ли не на руках внесли в церковь. Сам патриарх оценивает свое заявление как акт чисто политический, и он имел целью развязать себе руки, получить свободу, чтобы бороться с ересью. Но все в Москве подавлены, и как-то померк светлый образ патриарха».

Это одно письмо, а вот другое:

«Вы теперь, вероятно, с интересом следите за происходящим здесь в религиозном мире. Скажу одно, что подъем громадный, несмотря ни на что. Народ в восторге, что ему вернули пастыря, который ясно и определенно повел борьбу или, лучше сказать, отмежевался от живой церкви. Все рады, что явилась возможность свободно удовлетворять свои религиозные потребности».

А один профессор богословия, как передают вести из России, с отчаянием воскликнул: «Все погибло».

Соблазн можно понять: как принять слова «я не враг советской власти», той власти, которая гонит и мучает Христа и его церковь?!

Не изгнал ли Христос бичом торгующих из храма? Не сказал ли Он: «Кто не со Мной, тот против Меня»?

Да, Христос изгнал торгующих *из храма* и сказал фарисеям: «Дом Мой есть дом молитв; а вы сделали его вертепом разбойников».

Советская власть гонит церковь, уничтожает храмы, *но не стремится завладеть ими, чтобы превратить в «дом торговли» религией и религиозной совестью человека.* Есть другие «волки в овечьей шкуре», которые, сохраняя храм, расставили в нем «столы меновщиков и скамьи продающих голубей».

«Воздайте кесарево кесарю», — сказал Христос о монете *языческого* владыки и тем признал владыку, но отделил навсегда внутренний мир церкви от внешнего мира государства. Это забыто и предано.

Один из глубочайших учителей восточной церкви — преподобный Симеон, новый богослов, — ровно тысячу лет назад так учил о *царственном* пришествии Сына Божия:

«Когда Пилат спросил Господа: «Царь ли Ты?» — Он ответил ему: «Аз на сие родихся и на сие приидох в мир, да свидетельствую истину». Пилат спросил: «Что есть истина?» Но Господь не ответил ему, зная, что Пилат не мог вместить слова Его и *уверовать в Его сокровенное таинство*, т. е. в то, что *надлежит Христу царствовать в каждом человеке»* (Т. I, слово 44; стр. 363, 364).

Да, забыто и предано, и Божие вместе с кесаревым отдано кесарю, превращенному в земного бога.

«Кто не со Мной, тот против Меня» — не только через синод, но и через министерство внутренних дел императорская, цезаре-папистская власть говорила так всем, кто казался ей неугодным. Все губернаторы при всяком удобном случае приводили их всем «неблагонадежным». Светской власти так и полагалось — для нее церковь была лишь орудие политической власти, но как служители алтаря не понимали всей той страшной лжи, которая была вложена властью в великие святые слова. «Кто не со мной, *я против того»* — вот чем жила и что делала цезаре-папистская власть не только в миру, но и в церкви и через церковь.

Это два мира: в одном — свобода внутреннего восприятия Христа — «научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы»; в другом — угроза внешнего насилия, где служители «подвизаются» за «царство от мира сего».

Милость и жертва — свобода и насилие — Божие и кесарево.

«Пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы».

Да, смутились многие, но не все — и в России и за ее рубежом нет единого мнения, ибо сейчас поистине в рассеянии русская православная церковь, и каждый из ее сынов сам дает себе ответ о патриархе. Перед взором одних «как-то померк светлый образ патриарха»; для других... «когда узнали, что будет служить патриарх, толпа быстро стала увеличиваться, патриарха чуть ли не на руках внесли в церковь».

Для одних — «все погибло», и остается только бежать из мира, лежащего возле; другие чувствуют, что «подъем громадный, несмотря ни на что. Народ в восторге, что ему вернули пастыря».

Пусть приумолкнет суд человеческий и посмотрит на голгофу, на которой стоит патриарх и к которой пришел он молитвенным подвигом о русской православной церкви и о ее утерянном в прошлом, но ныне грядущем едином, святом, соборном и апостольском бытии.

Патриарх пошел к народу, ибо все остальное распалось и все еще изживает тяжкий грех прошлого. Святейший Тихон вышел на поиски «милости, а не жертвы». Если завет Христа горит в народных сердцах, воссияет православие; если — нет, то одиноким останется исповедник Христа со своим крестом на плечах и вместо криков «осанна» послышится вопль «распни его».

Есть одно сказание.

«Некий человек захотел построить русский православный храм. Хотелось ему создать храм, невиданный по красоте и богатству, и искал человек достойного строителя и драгоценных материалов: золота и серебра, драгоценных камней и разноцветного мрамора. Не находил ни достойного строителя, ни стольких драгоценностей, сколько нужно было. И вот однажды (так и не знал тот человек, сон ли это был или явь была) видит, что входит к нему согбенный старец. Узнал его человек — преподобный Серафим Саровский пришел к нему. Подошел святой, взял за руку и вывел из дому. Пошли прямой дорогой, что стлалась мимо дома и уходила в туманную даль великой равнины. Идет человек за преподобным и видит, что по дороге и по бокам ее рассыпаны драгоценные камни и цветной мрамор. «Эх, — думает, — вот бы собрать для храма!» А не смеет остановиться и нагнуться — ведет его преподобный за руку. Стал человек по сторонам глядеть. Видит, все та же равнина стелется. Кругом степь облегла, и бежит по ней узкой лентой дорога, по которой идут они со старцем. А по степи подальше от дороги повсюду, как бы разбросанный, лежит уже не драгоценный, а какой-то серый камень: то грудами, то порознь. Много камня, не счесть его.

«Ты Божий храм собираешься строить, — вдруг говорит ему святой Серафим. — Смотри, не гонись за дорогими камнями. Они не годятся для русского храма. Видишь — вон серенький камень в пустыне лежит — из него строй. Помни: из серенького, из простого, что по всей русской земле рассыпан; он — крепкий. Да и строителя не дожидайся: в тебе засветилась Божья мысль, ты и строитель ее. Приступай — Бог поможет».

И стал невидим народный святой. И очнулся не то от дивного сна, не то от дневной яви избранный преподобным строитель русского православного храма».

И чудится мне глубокая московская ночь. Тяжелым сном забылись все: и те, у кого власть в руках; и те, у кого денег много; и те, кто лишился всего; и те, кто в тюрьме томится. Не спит лишь одинокий старец в одинокой темнице своей. В глубоком молитвенном подвиге страждет он о православной церкви Христовой и молит о ее грядущем храме. И входит в темницу согбенный старец — близкий народу, любимый народом преподобный Серафим, протягивает руку молящемуся, и оба выходят на дорогу, что пролегла перед темницей и ушла в туманную даль российской великой равнины.

Тронулись в путь оба старца, в путь долгий и трудный. «Видишь — вон серенький камень в пустыне лежит — из него строй, — говорит преподобный Серафим другому старцу. — Помни — из серенького, из простого, что по всей русской земле рассыпан; он — крепкий. Да и строителя не дожидайся: в тебе засветилась Божия мысль, ты и строитель ее. Приступай — Бог поможет».

III

Но как же примирить путь, избранный патриархом Тихоном, с путем, который уже пройден мученически митрополитом Вениамином и всеми теми, кто полил своею кровью голгофу православной церкви?

Бывают эпохи, размах которых не укладывается в одну форму. Их скопившиеся противоречия так глубоки, борющиеся силы так различны и условия творчества так многообразны, что к конечному итогу — единому и общему — люди приходят с противоположных сторон.

Из тьмы веков, из самой тяжелой эпохи всего русского прошлого, встают два светлых образа: тверской князь Михаил и великий князь Александр Невский. Один — жестоко замученный в Орде, другой — полжизни проживший там. И оба святые в церкви и в народной памяти. Оба жизнь свою отдали России, и тем каждый освятил избранный им путь.

Патриарх пошел своим путем. *Отбросив все*, он поднял крест православной церкви и воззвал к вере русского народа, в том числе и к нам — беженцам «в изгнании сущим».

Что встретит его: «осанна» за духовный подвиг или «распни» за политическое безразличие?

Нашего ответа ждет уже не патриарх, а «единая, святая, соборная и апостольская Церковь», погребенная в веках, но знающая час своего воскресенья.

В письмах с Родины пишут: «По России уже ходят святые...»

Святые, т. е. свободные, сильные, действенные!

Пришел ли час и нашего духовного воскресения, и несет ли и нам, беженцам, смена двух русских эпох *действенное* религиозное мировоззрение, т. е. чувствуем ли мы возрождающуюся *соборность* православия, и сознаем ли и нашу ответственность за его дальнейший путь?

У Христа «вера без дел мертва есть», и православная церковь, развивая учение Спасителя, так учит: «Божество, т. е. Божественная благодать *сама по себе, одна не бывает явною*, если не низойдет в разумную душу — «любяй Мя, заповеди Моя соблюдет, и Аз возлюблю его и явлюся ему Сам» (Иоанн 15 гл., 21 ст.)».

Для религиозного человека действенным путем является его церковь как путь соборный, т. е. путь объединенных единым откровением и единым учением. Для православных этот путь лежит в православной церкви, где соборность является основанием.

И пусть те из нас, для кого настала минута духовного возрождения, подойдут к православию без боязни за него и без предубеждения против него. Из его первоисточников, забытых и заброшенных, мы все узнаем, что зовет оно нас не назад — в темную глубь истекших веков, а указывает нам путь в будущее, ибо для истинного православия там — в будущем — ясно звучит святая песнь «Слава в вышних Богу и на земле мир; в человецех благоволение»; там — в будущем — сияет и зовет затмившаяся в настоящем Вифлеемская звезда родившегося Царя человеческого — *соборного* сердца.

С. Л. Франк

Крушение кумиров

Дети! Храните себя от идолов.
I Послание Иоанна, 5, 21

Кумир революции

⟨...⟩ Нынешнее молодое поколение, созревшее в последние годы, после рокового 1917 года, и даже поколение, подраставшее и духовно слагавшееся после 1905 года, вероятно, лишь с трудом может себе представить и еще с большим трудом внутренне понять миросозерцание и веру людей, душа которых формировалась в так называемую «эпоху самодержавия», то есть до 1905 года. Между тем вдуматься в это духовное прошлое, в точности воскресить его — необходимо; ибо та глубокая болезнь, которую страдает в настоящее время русская душа — и притом во всех ее многообразных проявлениях, начиная от русских коммунистов и кончая самыми ожесточенными их противниками,— и лишь внешним выражением которой является национально-общественная катастрофа России, — эта болезнь есть последствие или — скажем лучше — последний этап развития этого духовного прошлого. Ведь доселе вожди и руководители всех партий, направлений и умственных течений — в преобладающем большинстве случаев люди, вера и идеалы которых сложились в дореволюционную эпоху.

В ту эпоху преобладающее большинство русских людей из состава так называемой интеллигенции жило одной верой, имело один смысл жизни; эту веру лучше всего определить как веру в революцию. Русский народ — так чувствовали мы — страдает и гибнет под гнетом устаревшей, выродившейся, злой, эгоистичной, произвольной власти. Министры, губернаторы, полиция — в конечном итоге система самодержавной власти во главе с царем — повинны во всех бедствиях русской жизни: в народной нищете, в народном невежестве, в отсталости русской культуры, во всех совершаемых преступлениях.

Коротко говоря, существовавшая политическая форма казалась нам единственным источником всего зла. Достаточно уничтожить эту форму и устранить от власти людей, ее воплощавших и пропитанных ее духом, чтобы зло исчезло и заменилось добром и наступил золотой век всеобщего счастья и братства. Добро и зло было тождественно с левым и правым, с освободительно-революционным и консервативно-реакционным политическим направлением. (Отметим сейчас же: теперь этот болезненный политицизм, этот своеобразный недуг сужения духовного горизонта также очень широко распространен, только с обратным знаком: для очень многих теперь добро тождественно с правым, а зло — с левым.) Но не только добро или нравственный идеал совпадал с идеалом политической свободы; наука, искусство, религия, частная жизнь — все подчинялось ему же. Лучшими поэтами были поэты, воспевавшие страдания народа и призывавшие к обновлению жизни, под которым подразумевалась, конечно, революция. Не только нигилисты 60-х годов, но и люди 90-х годов ощущали поэзию Некрасова гораздо лучше, чем поэзию Пушкина, которому не могли простить ни его камер-юнкерства, ни веры в самодовлеющую ценность искусства; мечтательно наслаждались бездарным нытьем Надсона, потому что там встречались слова о «страдающем брате» и грядущей гибели «Ваала». Сомнения в величии, умственной силе и духовной правде идей Белинского, Добролюбова, Чернышевского

представлялись хулой на духа святого; в 90-х годах литературный критик Волынский, который осмелился критически отнестись к этим неприкосновенным святыням, был подвергнут жесточайшему литературному бичеванию и бойкотом общественного мнения изгнан из литературы.

Научные теории оценивались не по их внутреннему научному значению, а по тому, клонятся ли они к оправданию образа мыслей, связанного с революцией, или, напротив, с «реакцией» и консерватизмом. Сомневаться в правильности дарвинизма, или материализма, или социализма значило изменять народу и совершать предательство. Не только религия, но и всякая нематериалистическая и непозитивистская философия были заранее подозрительны и даже заранее были признаны ложными, потому что в них ощущалось сродство с духом «старого режима», их стиль не согласовался с принятым стилем прогрессивно-революционного мировоззрения. Впрочем, исключения допускались или, по крайней мере, терпелись: для этого только нужно было, чтобы автор еретической идеи либо доказывал, что эта идея согласима с революционной верой и даже необходима для нее, либо чтобы он вообще был настроен политически благонамеренно (то есть держался «левого» образа мыслей) и — еще лучше — чтобы он пострадал от правительства. Так, Владимира Соловьева терпели и даже немного уважали за его речь о помиловании террористов, за статьи о национализме и за сотрудничество в «Вестнике Европы». За это ему прощали, как странное личное чудачество, наивную и зловредную веру в Бога и церковь. Когда, в первые годы 20-го века, начал нарождаться философский идеализм — что было хотя лишь робким началом, но все же первым существенным шагом в преодолении господствующего мировоззрения, первым симптомом того духовного кризиса, который во всей глубине своей сказывается лишь теперь, — то он отчасти ради самозащиты, отчасти по искреннему убеждению драпировался также в политическую мантию: наиболее убедительным аргументом в его пользу считалось, что философский идеализм необходим как основа моральной самоотверженности в политической борьбе. И лучшим оправданием веры в Бога, когда впервые раздалась в кругах интеллигенции эта неслыханная дотоле проповедь, служило рассуждение, что эта вера не только не реакционна, но, напротив, одна лишь обеспечивает политический прогресс и освобождение народа.

Положительная политическая программа не у всех была одинаковой: существовали и либералы, и радикалы-демократы, и социалисты-народники, отрицавшие развитие капитализма и требовавшие сохранения общины, и социалисты-марксисты, призывавшие к развитию капитализма и отрицавшие полезность крестьянской общины. Но не в этих деталях программы было дело, и внутреннее, духовное различие между представителями разных партий и направлений было очень незначительным, ничуть не соответствуя ярости теоретических споров, разгоравшихся между ними. Положительные идеалы и разработанные программы реформ, вообще взгляды на будущее были делом второстепенным, ибо в глубине души никто не представлял себя в роли ответственного, руководящего событиями политического деятеля. Главное, основная точка устремления лежала не в будущем и его творчестве, а в отрицании прошлого и настоящего.

Вот почему веру этой эпохи нельзя определять ни как веру в политическую свободу, ни даже как веру в социализм, а по внутреннему ее содержанию можно определить только как веру в революцию, в низвержение существующего строя. И различие между партиями выражало отнюдь не качественное различие в мировоззрении, а, главным образом, различие в интенсивности ненависти к существующему и отталкивания от него, — количественное различие в степени революционного радикализма. Земцы-либералы, связанные с местною жизнью и по опыту знакомые с ней, упрекали радикальных революционеров в незнании русской жизни, в поспешности их требований, которые казались им не столько вредными, сколь лишь неосуществимыми. Революционеры упрекали либералов в личной трусости, которая усматривалась во всяком уклонении от подпольно-революционной деятель-

ности, или в дряблости нравственно-политического темперамента, в нерешительности и половинчатости в борьбе с существующим строем. Либералы и «умеренные» в глубине души сами чувствовали себя грешниками, слабыми людьми, не способными на героизм революционеров; их совесть была неспокойна. Критиковать социализм или радикальный демократизм, по существу, никому не приходило и в голову; или, в лучшем случае, это можно было делать в узком кругу, в интимной обстановке, но отнюдь не гласно: ибо гласная, открытая критика крайних направлений, борьба налево были недопустимым предательством союзников по общему делу революции.

Не только критика социализма и радикализма была неслыханной ересью (еще в 1909 году участники сборника «Вехи», впервые решительно порвавшие с этой традицией, встретили негодующее порицание даже умеренных кругов русского общества, и П. Н. Милюков, выражавший ходячее общественное мнение либералов формулой «у нас нет врагов слева», счел своей обязанностью совершить лекционное турне, посвященное опровержению идей «Вех»), — но даже открытое исповедание политической умеренности требовало такого гражданского мужества, которое мало у кого находилось. Ибо не только «консерватор», «правый» было бранным словом; таким же бранным словом было и «умеренный». Сейчас же приходили в голову осмеянные Щедриным типы, символы «умеренности и аккуратности»; «умеренный» — это был обыватель, робкий, лишенный героизма, из трусости или нерешительности желавший примирить непримиримое, существо, которое «ни горячо ни холодно», которое идет на недопустимые компромиссы. Как указано, сами «умеренные» не имели в этом отношении чистой совести, чувствовали себя не вполне свободными от этих пороков; в огромном большинстве случаев они смотрели на революционеров, как церковно настроенные миряне смотрят на святых и подвижников — именно как на недосягаемые образцы совершенства. Ибо чем левее, тем лучше, выше, святее. Ироническая формула «левее здравого смысла» раздалась впервые после 1905 года и принадлежит уже совсем иной эпохе, есть уже симптом крушения всего мировоззрения.

Если попытаться как-нибудь все же определить положительное содержание этой столь пламенной и могущественной веры, то для нее нельзя отыскать иного слова, кроме «народничества». «Народниками» были все — и умеренные либералы, и социалисты-народники, и марксисты, теоретически боровшиеся с народничеством (понимая последнее здесь в узком смысле определенной социально-политической программы). Все хотели служить не Богу, и даже не родине, а «благу народа», его материальному благосостоянию и культурному развитию. И главное — все верили, что «народ», низший, трудящийся класс, по природе своей есть образец совершенства, невинная жертва эксплуатации и угнетения. Народ — это Антон Горемыка, существо, которое ненормальные условия жизни насильственно держат в нищете и бессилии и обрекают на пьянство и преступления. «Все люди выходят добрыми из рук Творца», зло есть лишь производное последствие ненормального общественного строя — эта формула Руссо бессознательно — ибо сознательно мало кто отдавал себе в том отчет — лежала в основе отношения к народу. Интеллигент чувствовал себя виноватым перед народом уже тем, что он сам не принадлежал к «народу» и жил в несколько лучших материальных условиях.

Искупить свою вину можно было только одним — самоотверженным служением «народу». А так как источник бедствий народа усматривался всецело в дурном общественном строе, в злой и порочной власти, то служить «народу», перейти на его сторону значило уйти от «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови» в стан «погибающих за великое дело любви», объявить власти и всем врагам народа беспощадную войну; другими словами, это значило стать революционером.

Народничество и было мировоззрением, в силу которого весь душевный пыл, вся сила героизма и самоотвержения сосредоточивалась на разрушении — на разрушении тех политических или социальных условий жизни, в которых видели единственный источник

всего зла, единственную преграду, мешавшую самопроизвольному росту добра и счастия в русской жизни. Любовь к народу, сочувствие к его страданиям были исходной точкой этого умонастроения; но эта исходная точка нравственного пути в практике душевного опыта заслонялась и оттеснялась на задний план эмоциями, необходимыми для осуществления нравственной цели — эмоциями ненависти к «врагам народа» и революционно-разрушительной ярости. Мягкий по природе и любвеобильный интеллигент-народник становился тупым, узким, злобствующим фанатиком-революционером, или, во всяком случае, нравственный тип угрюмого и злого человеконенавистника начинал доминировать и воспитывать всех остальных по своему образцу.

Все это звучит почти как карикатура, но есть лишь точное описание того, что составляло еще 20 лет тому назад, а отчасти и гораздо позднее, весь смысл жизни русского интеллигента. Мы описываем все это не для того, чтобы насмеяться над нашим недавним духовным прошлым, которое на наших глазах воплотилось в столь ужасную политическую действительность коммунистического строя. Сейчас, когда всякий мало-мальски здравомыслящий человек воочию видит уродливость и ложность этой веры, осмеяние ее не многого стоит. Конечно, там, на родине, где омертвевшие формулы этой ложной веры губят жизнь и творят бесчеловечные, неправые дела, действенная и идейная борьба с ними есть гражданский долг. Но в области подлинной духовной жизни эта вера теперь уже столь мертва, ее горение в душах так основательно потухло, что изобличать ее и глумиться над нею было бы делом слишком дешевым. Наше время тем меньше имеет права на это, что все уродство этой веры продолжает в значительной мере жить в нем, лишь с обратным, противоположным содержанием. Сколько есть в наши дни людей, отравленных тем же узким политицизмом, — людей, для которых, как мы уже поминали, добро и зло совпадает с правым и левым (как оно раньше совпадало с левым и правым) и которые на вопрос о смысле их жизни могут ответить только: «ненависть к большевикам»!

Мы описали это прошлое для того, чтобы оживить в памяти невероятную силу над русскими умами и душами этого *кумира революции*, глубину и могущество веры в него. Здесь, где мы занимаемся не политикой и политической пропагандой, а осмыслением нашего духовного прошлого и настоящего, мы можем и должны помянуть не только ложность и нелепость *содержания* этой веры, но и нравственно-духовную силу ее власти над душами. Вспомним, что тысячи и десятки тысяч русских людей, между которыми было много подлинно талантливых, вдохновенных душ, жертвовали ради этого кумира своей жизнью, спокойно всходили на виселицы, шли в ссылку и в тюремное заключение, отрекались от семьи, богатства, карьеры, даже от духовных благ искусства и науки, к которым многие из них были призваны.

Со скорбью об их заблуждениях, но и с уважением, которого заслуживает даже самая ложная и зловредная вера, должны мы вспомнить об этой рати мучеников, добровольно приносивших себя в жертву молоху революции. О них поведал Европе в эпической книге Кеннан, они приводили своим героизмом в восхищение Ибсена, изнывавшего от мещанской пошлости благополучной европейской жизни. Чтобы понять трагедию крушения этой веры, нужно прежде всего ощутить ее былую силу и обаятельность. Все ужасное, бушующее пламя русской революции разгорелось от огня этой веры, благоговейно хранимого в душах в течение более полувека. И когда в душах интеллигенции начиная с 1905 года этот пыл начал уже потухать, и в особенности когда интеллигенция в октябре 1917 года в ужасе и смятении отшатнулась от зажженного ею же пожара, огонь этой веры перешел в души простых русских мужиков, солдат и рабочих. Ибо сколько бы порочных и своекорыстных вожделений ни соучаствовало в русской революции — как и во всякой революции,— ее сила, ее упорство, ее демоническое могущество и непобедимость объяснимы только из той пламенной веры, во имя которой тысячи русских людей, «красноармейцев» и рабочих, шли на смерть, защищая свою свя-

тыню — «революцию». А сколько есть еще доселе интеллигентов, людей, считающих себя мыслящими и разумными политическими деятелями, которые и теперь еще, когда сама жизнь громко вопиет о ложности и гибельности этой веры, продолжают судорожно за нее цепляться, ибо боятся, утеряв ее, утерять смысл жизни.

Одни, в рядах коммунистов, упорно слагают с себя ответственность за все сотворенное зло, погрязают в преступлениях, оправдываемых политической необходимостью,— только потому, что не имеют внутреннего мужества отречься от ложной веры, не в силах признаться, что они впали в роковое заблуждение. Другие, ужаснувшиеся зла, которое принесла революция, стараются ответственность за него снять с самой революции и перенести на отдельных людей или на отдельную партию. Так, некоторые отчасти в бессознательной слепоте, отчасти из упорного нежелания сознаться в банкротстве своей веры продолжают — во имя революции — геройствовать в борьбе с порядком, порожденным революцией, как они раньше геройствовали в борьбе со старым порядком. Все это — явления судорожного, отчаянного стремления искусственно раздуть потухающий огонь старой веры, обаяние которой было так безмерно велико и всевластно.

Но все же — вера эта умерла и ничто уже не в силах воскресить ее. Кумир, которому поклонялись многие поколения, которого считали живым богом-спасителем, которому приносились бесчисленные человеческие жертвы,— этот кумир, которому сейчас тупые фанатики или бессовестные лицемеры вынуждают еще поклоняться, во имя которого расстреливают людей, калечат русскую жизнь, издеваются над истинной религией,— именно в силу этого потерял свою власть над душами, изобличен как мертвый истукан. Живые души в ужасе и омерзении отступились от него. Большевики, со своей точки зрения, вполне правы, когда обвиняют русскую революционную интеллигенцию в «предательстве». Они не понимают лишь или не хотят понять глубокой трагедии, оправдывающей эту измену. Интеллигенция, в момент осуществления высших своих надежд, в момент наступления чаемого в течение более полувека «царства божия» — именно наступления революции и торжества ее идеалов,— вдруг поняла, что бог-спаситель ее заветной веры есть ужасное, всеистребляющее чудовище или мертвый истукан, способный вдохновлять лишь безумных и лишь на безумные и убийственные дела. Острота этой трагедии смягчена и прикрыта отчасти тем, что она совершалась в смене поколений, отчасти тем, что в более чутких сознаниях она назревала уже давно, по меньшей мере с 1905 года, отчасти, наконец, в силу общего защитного приспособления человеческого духа, загоняющего в бессознательные глубины все наиболее тягостное и не допускающего озарения его светом ясного сознания.

Но что, собственно, здесь изобличено как ложное и злое начало, какая именно вера умерла в душах, какое божество раскрылось как мертвый кумир? Совершенная ясность здесь далеко еще не достигнута. Одни, наименее чуткие, думают, что достаточно внести в старую веру маленькие поправки, наложить заплаты на лохмотья старых знамен, подвести подпорки под разваливающегося истукана и подклеить его трещины, чтобы все сразу вновь увидали в нем прежнее, лучезарно-обаятельное божество. Говорят: «Мы ошибались в степени подготовленности русского народа, который еще не созрел для социализма или для революции вообще»; или: «Мы поняли теперь, что социализм есть благо лишь в непременном сочетании с демократическими началами, а вне связи с ними есть зло» и т. п.

Те, кто находятся в таком духовном состоянии, нас здесь не интересуют; это — либо толстокожие, тупые упрямцы, которых ничем не прошибешь, либо же люди, боящиеся сами себе сознаться в глубине и значительности происшедшей духовной катастрофы. Другие, более глубоко потрясенные,— такие, вероятно, преобладают — делают более радикальные выводы: они говорят, что жизнь изобличила ложность социализма, или революционизма, и что поэтому отныне надо начать служить прямо противопо-

ложным идеалам: надо провозгласить священность института частной собственности, надо восстановить монархию, уверовать в принципы консерватизма и т. п. Все это *отрицательно* вполне правильно, т. е. поскольку сводится к честному констатированию окончательного крушения старой веры. Но все это далеко не так радикально, как это кажется и как это необходимо. Ибо опрокинуть один кумир, для того, чтобы тотчас же воздвигнуть другой и начать ему поклоняться с прежним изуверством, не значит освободиться от идолопоклонства и окончательно понять смысл происшедшего его изобличения. Пусть социализм как универсальная система общественной жизни изобличен в своей ложности и гибельности; но история показывает, что и крайний хозяйственный индивидуализм, всевластие частнособственнического начала, почитаемого за святыню, также калечит жизнь и несет зло и страдания; ведь именно из этого опыта и родилась сама вера в социализм.

Пусть революционность, жажда опрокинуть старый порядок, чтобы все устроить заново в согласии с своими идеалами, есть величайшее безумие; но история показывает, что и контрреволюционность, когда она овладевает душами как абсолютное начало, способна стать таким же насильственным подавлением жизни, революцией с обратным содержанием. Пусть так называемые демократические идеалы — свобода, всеобщее избирательное право и т. п.— неспособны уже, после пережитого, зажечь души верой; но и слепая вера в монархию есть для нас тоже поклонение кумиру. Вообще говоря — все общественные, политические, социальные принципы на свете относительны. Дело специалистов, людей научного знания и общественного опыта, расценить относительное значение каждого, степень его полезности или вредности, условия и формы, при которых они могут оказаться целесообразными или которые, наоборот, делают их неуместными. И наряду с этим трезвым, спокойным научным знанием каждая эпоха имеет в этой области свои увлечения, свои односторонности,— и ни одна такая вера не вправе с презрением говорить о другой и считать себя единоспасающей. Идолопоклонство революционной веры заключалось не только в том, и даже совсем не в том, что она имела ложные или односторонние социально-политические идеалы, а в том, что она поклонялась своим общественным идеям, как *идолу*, и признала за ними достоинство и права всевластного божества. То, что сейчас погибло и крушение чего есть, быть может, единственное оправдание или единственный смысл всей общественной катастрофы, есть не только определенное общественное мировоззрение, а именно сама *качественная природа* ложной, идолопоклоннической веры.

Но мы уже невольно вышли за пределы обсуждаемой здесь темы. Собственно, крушение кумира революции, как такового,— какими бы хитросплетениями разума ни пытались некоторые еще спасать этот кумир — настолько очевидно, есть столь бесповоротный факт русского духовного развития, что подробно говорить о нем — именно в контексте духовного развития — не было бы даже особой надобности,— сколько бы ни приходилось кричать о нем на перекрестках политической жизни. Но дело в том, что кумир революции был еще так недавно укоренен в таких глубинах духа, что его крушение не может пройти бесследно для всей структуры духовной жизни. Кумир этот столь тесно был связан с рядом других кумиров, что он неизбежно увлекает их за собой в своем падении. Другими словами, его падение есть только начало, первый этап или первый симптом наступающего глубокого духовного переворота, наличность которого многие смутно ощущают, но лишь немногие осмыслили до конца. В предыдущих строках мы уже вплотную подошли к усмотрению крушения иного, еще более универсального кумира — кумира политики вообще.

Кумир политики

Разочарование, овладевшее душами в результате крушения идеалов революции, в результате того, что напряженно-страстная, самоотверженная политическая борьба за осуществление «Царства Божия на земле» привела к торжеству царства смерти и сатаны,— это разочарование гораздо глубже простой потери веры в определенные, частные политические идеалы социализма, демократии и т. п. Многие ощутили, не отдавая себе в том сознательного отчета,— а кто имеет очи, чтобы видеть, те ясно увидали в частной, с известной точки зрения случайной судьбе русской революции нечто гораздо более многозначительное и общее — именно крушение *политического фанатизма* вообще. Дело не в одних частных ошибках старого мировоззрения — не только в том, что социализм есть утопия, в своем осуществлении губящая жизнь, или что было ребяческой наивностью усматривать все зло жизни в носителях старой власти или в ее системе и считать безгрешными и святыми и весь русский народ, и в особенности деятелей революции. Если отвлечься от частностей и сосредоточиться на основном: не есть ли судьба русской революции судьба, прежде всего, *всякой революции вообще*? Не то же ли самое случилось и во французскую революцию, где во имя торжества разума творилось дикое безумие, где во имя свободы, равенства и братства воцарился чудовищный деспотизм, всеобщий раздор и панический ужас, бессмысленное истребление людей и разрушение хозяйственной жизни, разнуздались садистские инстинкты мести, ненависти и жестокости? Не то же ли самое творилось и в английскую революцию, где строгие добродетельные пуритане с именем Бога на устах, после ежедневной утренней молитвы беспощадно истребляли мирных инакомыслящих людей, в которых они видели «безбожных амалекитян и филистимлян», и на радость сатаны мечом и разрушением пытались насаждать в личной и общественной жизни чистое пуританское благочестие? История революций в бесконечных вариациях и видоизменениях повторяет одну и ту же классически точно и закономерно развивающуюся тему: тему о святых и героях, которые, горя самоотверженной жаждой облагодетельствовать людей, исправить их и воцарить на земле добро и правду, становятся дикими извергами, разрушающими жизнь, творящими величайшую неправду, губящими живых людей и водворяющими все ужасы анархии или бесчеловечного деспотизма. Дело не в том, значит, какие именно политические или социальные идеалы пытаются осуществить; дело — в самом способе их осуществления, в какой-то основной, не зависимой от частного политического содержания, морально-политической структуре отношения к жизни и действительности во имя общественного идеала.

Но, может быть, такова роковая судьба именно только революций, возмущений низших классов, низвержений тронов и исторически сложившихся порядков? История революции в этом смысле есть, конечно, особая тема, имеющая свою собственную закономерность. Но духовный взор, достаточно изощрившийся на страдальческом опыте революции и потому обозревающий достаточно широкий горизонт, не останавливается на этом. Он видит дальше и видит ту же трагедию или то же сатанинское превращение добра во зло и во всех контрреволюциях, религиозных войнах, во всех вообще насильственных осуществлениях в жизни каких-либо абсолютных идеалов общественно-духовного устроения. Разве мы не имели опыта «белого», контрреволюционного движения, воодушевленного самыми чистыми и бесспорными идеалами спасения родины, восстановления государственного единства и порядка,— движения, которое, правда, не имело своего торжества и потому в памяти многих сохранило свою святость мученической борьбы за правое дело, но о котором все же один из самых пламенных, но и самых чутких и правдивых его вождей уже должен был с горечью признать, что «дело, начатое святыми, было закончено бандитами» (буквально так же, как русская революция)?

И не то же ли самое произошло и с торжеством реставрации Бурбонов («белый террор!») или с торжеством Священного союза, основатели которого действительно были полны чистой мечты освобождения человечества от ужасов революций и войн, умиротворения жизни на началах христианской любви и вместо этого заключили Европу в душную тюрьму и довели ее тем до катастрофы 48-го года? А католическая реакция XVI—XVII веков, Варфоломеева ночь, герцог Альба и — еще шире — злосчастная судьба католической теократии вообще — судьба мечты о христианской церкви, как всемирной власти, насаждающей царство правды и любви? Нет, куда бы мы ни обратили взор, всюду одно и то же:

И прежде кровь лилась рекою,
И прежде плакал человек —

и лилась эта кровь всегда во имя насаждения какой-то правды, и плакал человек, которого какие-то самоотверженные благодетели, во имя его собственного спасения, истязали и насиловали.

Если с этой точки зрения окинуть общим взором всю жизнь человечества, то приходится усмотреть парадоксальный, но воочию явственный факт (его очевидность еще усугубится для нас, если обратить внимание — о чем ниже — на тиранию идей, принципов и идеалов в частной жизни людей): все горе и зло, царящее на Земле, все потоки пролитой крови и слез, все бедствия, унижения, страдания по меньшей мере на 99% суть результат воли к осуществлению добра, фанатической веры в какие-либо священные принципы, которые надлежит немедленно насадить на Земле, и воли к беспощадному истреблению зла; тогда как едва ли и одна сотая доля зла и бедствий обусловлена действием откровенно злой, непосредственно преступной и своекорыстной воли.

Что же отсюда следует? — спросят нас. Проповедуете ли вы толстовское непротивление злу, отрицание государства, всякого принуждения или даже всякой политической действенности вообще? Прежде всего, по крайней мере на этой стадии наших размышлений, мы ничего вообще не проповедуем — мы просто повествуем об истории духовного опыта и связанных с ним разочарований. Нам нет поэтому надобности обсуждать здесь систематически сектантское учение толстовства. И лишь во избежание недоразумений мы должны указать, что духовный опыт, который мы пытаемся пересказать, ни в малой мере не тождествен с отвлеченной доктриной толстовства. Прежде всего уже потому, что толстовское отрицание государства и политики конкретно кульминирует тоже в определенном общественно-политическом идеале — именно идеал анархизма, который в нем также выступает как абсолютное добро, подлежащее немедленному осуществлению. Пусть здесь отвергается всякое принудительное осуществление идеала; но уже одно то, что мы имеем здесь дело с фанатической сектантской доктриной, для которой абсолютное добро воплощается в определенном порядке отношений, в определенном образе действий,— уже одно это заставляет нас, на основании изложенного духовного опыта, видеть в этом учении не освобождение от кумира, а воздвижение нового кумира, иное идолопоклонство, приводящее к тому же роковому результату разнуздания зла из желания сотворить добро. Да ведь мы имели на наших глазах живой конкретный пример, к чему ведет фанатическая доктрина отрицания государства и насилия: проповедь непременного и немедленного братания с неприятелем, отказа от военных действий, эта священная война, объявленная войне в 1917 году хотя и не толстовцами, но с явным использованием нравственных мотивов толстовства, привела не к всеобщему умиротворению, а к еще большему, неслыханному раздору и развалу жизни, когда во имя этой проповеди брат пошел на брата. Нет, кто действительно ощутил в своей душе гибель старых кумиров, тому не по пути ни с каким сектантством — в том числе и с толстовством.

По существу здесь надо сказать еще следующее. Крушение кумира «политики»,

веры в какой бы то ни было идеал общественного порядка, немедленное и полное осуществление которого уничтожало бы зло и водворяло бы на земле добро и правду,— это крушение совсем не тождественно с *принципиальным* отрицанием государства, принуждения, политической жизни и т. п. Скорее наоборот: всякое такое принципиальное отрицание, т. е. возведение отрицания в священный принцип, в ранг абсолютного добра, есть, как уже было указано, то самое кумиротворчество, на которое мы более неспособны. Если мы не можем уже сотворить себе кумира из государства и какой-либо программы государственной деятельности, то мы не можем идолопоклонствовать и перед идеалом анархии,— быть может, самым опасным из всех кумиров. Если мы не верим, что можно облагодетельствовать человечество установлением определенного общественного порядка, обязаны ли мы верить, что его можно облагодетельствовать простым *отрицанием* всякого принудительного порядка? Если мы разочаровались во всех тех политических вождях и руководителях человечества, которые, обещая той или иной политической системой насадить абсолютное добро на земле, творили только зло, то следует ли отсюда, что мы должны отныне слепо поверить, будто любой отдельный человек, предоставленный самому себе и своему личному нравственному сознанию, легко и просто осуществит абсолютное добро, сумеет облагодетельствовать и себя самого, и всех других?

Настроение, вырастающее из крушения в душе «политического кумира», на самом деле совсем иное. Оно совсем не тождественно толстовству: оно выражается точнее всего в *противоположном* толстовству завете: «Отдавайте кесарю кесарево, а Богу — Богово». Государство, политическая власть, принуждение — все это есть роковая земная необходимость, без которой человек не может обойтись. Все это есть, с одной стороны, условие человеческой жизни, а следовательно — условие благой и осмысленной жизни, а с другой стороны — нечто с точки зрения последнего смысла лишь производное и потому второстепенное. Из условий человеческой жизни и из внутреннего существа человека вытекает необходимость какого-то вообще государства, некоторого правового порядка, некоторого принудительного подавления преступных действий, принудительной самозащиты от врагов; и среди этих строев, учреждений и порядков есть лучшие и худшие, более прочные и более шаткие, построенные более правильно или более ошибочно, в большем или меньшем соответствии с истинными нуждами жизни и с духовной природой человека или в противоречии им. Но все детали и частности здесь относительны, определены условиями времени и места, складом человеческой жизни, привычками и образом мысли людей. Поэтому ни в одном конкретном порядке нет ни абсолютного добра, ни абсолютного зла; все это — не последнее, не тот предмет веры, который осмысливает жизнь и дает ей подлинную правду, подлинное спасение. Кто знает это «последнее», у кого есть высшая цель жизни, кто владеет истинным благом, тот уже сумеет использовать все относительные средства жизни.

И главное: лишь тот, кто умеет ясно отличать абсолютное от относительного, цель от средств, и не рискует в этом смысле ошибиться, сможет действительно производить целесообразный отбор в мире относительного, оценивать разные средства и пути по их подлинной пригодности, и в меру надобности и в надлежащее время заботиться об их усовершенствовании. Крушение кумира «общественного идеала» не только не ведет к анархизму, но не требует и политического индифферентизма. Если только я знаю, для чего я вообще живу, на чем утверждено мое бытие и чему оно служит, если моя жизнь только согрета и оживотворена подлинной верой, дающей мне радость, бодрость и ясность, то я уже сумею построить свой дом, установить внешние условия и порядок, необходимый и наиболее благоприятствующий внутреннему содержанию моей жизни. Этот порядок и условия жизни будут для меня непосредственно определяться высшей целью моей жизни, и я буду иметь твердое мерило для их расценки, буду знать, почему я люблю и признаю одно и отвергаю другое. Они вновь озарятся для меня светом жи-

вого смысла — но светом, отраженным от солнца высшей правды. Они будут для меня не идолами, которые требуют человеческих жертвоприношений и потом в миг разочарования с позором низвергаются, а осмысленными путями и орудиями моего служения Богу.

Но прежде всего я должен знать, для чего я вообще живу. И здесь я знаю пока лишь одно: я не могу жить ни для какого политического, социального, общественного порядка. Я не верю больше, что в нем можно найти абсолютное добро и абсолютную правду. Я вижу и знаю, наоборот, что все, кто искали этой правды на путях внешнего, государственного, политического, общественного, устроения жизни,— все, кто верили в монархию или в республику, в социализм или в частную собственность, в государственную власть или в безвластие, в аристократию или в демократию как в *абсолютное* добро и *абсолютный* смысл,— все они, желая добра, творили зло и, ища правды, находили неправду. Я должен, прежде всего, трезво и безболезненно подвести этот отрицательный итог.

Правда, в публичных выступлениях, в той словесной деятельности, которая есть единственный оставшийся нам призрачный суррогат настоящей политической действенности, многие из нас по-прежнему — нет, гораздо более прежнего — самоуверенны и беспощадны. В поверхностном, более наружном и напоказ выставляемом слое духовной жизни — если не у всех, то у очень многих — еще царит бешеное, исступленное политическое кумиротворчество и кумиропоклонение. Люди расходятся друг с другом и начинают друг друга ненавидеть и презирать за различие мнений по вопросам социализма и демократии, монархии и республики, даже абсолютной или конституционной монархии; они считают своим нравственно-гражданским долгом внушительно и ожесточенно — на страх врагам — демонстрировать свою политическую веру. Но искрення и глубока в этих доказательствах разве только ненависть: огромное большинство исступленно ненавидит большевизм и имеет для этого достаточно оснований; многие распространяют эту ненависть на всяческий социализм и на все, что его напоминает; многие идут еще дальше и столь же остро ненавидят республику, демократию — все, что прямо или косвенно, объективно-исторически или субъективно-психологически связано с идеей или практикой революции — вплоть до «новой орфографии»; некоторые, напротив, по старой памяти, продолжают искренне ненавидеть монархию и «старый режим». Но у очень многих даже под этой ненавистью таится холодок скептицизма и равнодушия; не только более холодным и равнодушным, но очень многим и более глубоким и внутренне правдивым натурам опостылел даже фанатизм ненависти, ставший трафаретом: и предательская улыбка иронии над другими и самим собой часто, в интимном кругу, сопутствует мнимо страстным политическим прениям. Что же касается политической любви и положительной политической веры, то страстность и болезненная напряженность публичных доказательств имеет у большинства едва ли не главной своей психологической причиной желание подавить в себе и других — или скрыть от других и себя самого — равнодушие, маловерие — в конечном счете неотвратимый факт *неверия*. Сколько бы мы в газетах и публичных собраниях ни спорили и ни горячились, сколько бы мы ни раскалывались и ни основывали новых фракций — мы не верим больше и не можем верить как в абсолютную правду *ни* в монархию, *ни* в республику и демократию, *ни* в социализм, *ни* в капитализм и частную собственность, если только мы захотим быть вполне искренними с самими собой. Если не все признаки нас обманывают, то, по крайней мере, молодежь в глубине души имеет едва ли не поголовно этот опыт.

Кумир «политического идеала» разоблачен и повержен, и никакие трусливые рассуждения об опасности и рискованности этого состояния не могут изменить этот бесповоротно совершившийся факт. 〈...〉

ПУБЛИЦИСТИКА

Марк Вишняк

На родине

(Мы и Они)

Мы и Они. Так говорят на родине. Так говорят и на чужбине. Когда-то это были самоочевидные категории. Водораздел, пролегавший между «нами» и «ими», отчетливо воспринимался и теми и другими, кто бы ни фигурировал в первом лице и кого бы ни противополагали в уничижительном третьем. Когда «мы» были жертвами, «погибавшими за великое дело любви»,— «они» были палачами, «станом ликующих, умывающих руки в крови». Наоборот, когда «им» приписывалась неудержимая страсть к «великим потрясениям» во что бы то ни стало, «нам,— говорили о себе министры Николая II,— нужна Великая Россия». В этом случае «мы» были избранным меньшинством, «130 тысячами культурных хозяев», а «они» составляли подавляющее большинство, бесправный русский народ.

Теперь положение осложнилось и затемнилось. И в двух направлениях. Во-первых: антиномичность обеих категорий делается очевидной только в своих крайних, предельных выражениях. В промежуточном же типическом случае трудно провести отчетливую грань между «ними» и «нами», между теми, кто еще вчера был с «нами», для того чтобы сегодня возглавить «их», и теми, кто еще вчера возглавлял «умывающих руки в крови», для того чтобы сегодня очутиться в лагере «погибающих». «Мы» и «они» продолжают оставаться варварами друг для друга, но внешние признаки тех и других и разграничительная линия между ними стерлась.— Положение осложнилось еще и тем, что раньше водораздел проходил по одной линии — социально-политической. Она шла вертикально: «мы» находились внизу, у подножья социально-политической пирамиды, «они» на самой ее верхушке. Теперь вертикальная линия пересеклась горизонтальной. Социально-политические противоречия «верхов» и «низов» осложнились разноречиями пространственными, географическими: *где* Россия, *с кем* Россия?.. Появляются две России: «Россия, оставшаяся в России», подлинно сущая и имеющая будущее; и Россия ирреальная, бывшая, покойная, эмигрантская «Россия № 2».

1

Еще недавно представление о русском эмигранте было неразрывно связано с представлением о развитом чувстве гражданственности, о повышенной политической активности и готовности во имя будущего претерпеть в настоящем, вплоть до лишения родины и ухода в изгнание. «Эмигрант» звучало гордо, как патент на цивическую добродетель. Новейшее словоупотребление пытается вложить в «эмиграцию» и «эмигранта» подчеркнуто одиозный смысл: живого трупа, пережившего свои желания и разлюбившего свои мечты и лишь из трусости или корысти продолжающего обременять собою небо и чужую землю.

Вряд ли следует искать причину перемены в переоценке ценностей родины и чужбины. Правда, раньше — до октябрьской победы и еще раньше — до мировой войны пролетариату и выразителям пролетарских интересов, социалистам, полагалось не иметь отечества. Но война заставила пересмотреть это ставшее банальным положение. «Пролетариаты» различных стран разместились по разные стороны окопов в зависимости от интересов «*своего*» отечества. Провозглашение же России «социалистическим отечеством» санкционировало отечество даже в лексикон Третьего Интернационала, а не только «социал-патриотического» Второго.— Тем не менее не в идеологическом ряду и не в любви к отечеству и народной гордости большевиков надлежит искать первоисточники их поношений по адресу ушедших из России в изгнание. Истоки большевистской ярости — в чувствах палача к случайно ускользнувшей из его рук жертве; в бессильной злобе против тех, кто, обходя моря и земли, вопиет — и не только в пустыне, и не только к небу — о деяниях большевиков; в психологии перманентной гражданской войны, которая, за отсутствием видимого противника, ищет и фиксирует его на расстоянии, хотя бы за пределами досягаемости, за рубежом; наконец — в тщеславных отзвуках былого высокомерия, убежденного в том, что мир спасется большевизмом, а России, кроме большевиков, и подавно никого не нужно...

Здесь психология ясная и логика элементарная. Такая же, что и у царских вельмож: Россия — это мы; все, что не «мы»,— то не Россия, те же, что вынуждены пребывать и обнаруживать себя за пределами России,— сугубо не Россия... и как для царского времени наличность или отсутствие паспорта устанавливало обладание или лишение гражданских прав, так и для нынешнего коммунистического чиновника русский гражданин начинается и кончается полицейским учетом и регистрацией. Новейшим распоряжением советской власти «все проживающие за границей и считающие себя русскими гражданами» обязываются зарегистрироваться в советской миссии до 1 июня с. г.; не зарегистрировавшиеся к указанному сроку «*лишаются российского гражданства навсегда*». Просто и ясно.

Проста и ясна психология и тех, кто связал свою судьбу с судьбою нынешних покорителей России. Лояльные слуги всякой существующей власти, они с одинаковой услужливостью готовы намылить веревку для любого государственного преступника, безразлично в отношении какого существующего строя — самодержавного или коммунистического — он «преступает». Своевольные лишь тогда, когда начальство уходит; органически неспособные не только сами претерпеть за свои убеждения, но и понять, как другие осмеливаются свой взгляд и свою волю противопоставить видам начальства. Вчера черно-желтые, сегодня оранжево-красные, они всегда, и до и после революции, не перестают видеть в политическом эмигранте сатанинское наваждение, исчадие зла, проклятие мира и России. Бобрищевы-Пушкины верны себе, когда возглашают: «Эмиграция — не русские граждане... Эмигранты — социальные отбросы. Среди них могут быть отдельные талантливые, честные, хорошие люди, но разве в любом мусорном ящике не находится каких-либо питательных и пригодных элементов, которые может вытащить голодный или тряпичник? От этого мусорный ящик не перестает быть мусорным ящиком». Тряпичник — некоммунист, приютившийся на столбцах «Нового мира» № 38, милостиво разрешает этим отдельным «не слишком согрешившим перед Россией» эмигрантам «вернуться на родину» — но под непременным условием «стать ее полезным гражданином, отбросить все бредни и начать новую жизнь без малейшего воспоминания о своих юридических правах».

Высокомерному презрению к «ним», «не русским гражданам», соответствует полное удовлетворение собою, подлинным русским гражданином. Некий Чахотин из «Смены вех» № 17 пишет: «„Чумазый“ знает себе элементарно цену, он уважает себя. И здесь уже возможность уважать соседа... Поэтому чумазый нам не чужой, он наш родной, он —

мы сами, но еще пока на низшей, примитивной стадии... Особенно нас радовать должны сведения, что «мародер», «чумазый» — сейчас в России особый, новый «жестокий», «американизированный» и что та новая промышленность, которую он уже начал насаждать, будет жестокой и жадной».

Здесь все на своем месте. Осанна «американизированному жестокому и жадному мародеру» стоит радости от родословной близости к «чумазому», стоящему на «низшей, примитивной стадии», и вполне гармонирует с призывом откинуть бессмысленные мечтания о каких-то «юридических правах». Здесь, повторяю, и психология ясна, и логика проста.

Сложнее психология и спутаннее рассуждения у тех, кто против «чумазого» вообще ничего не имеют — лишь бы «чумазый» был настоящий, а не поддельный — и кто, в числе многих вин, вменяют большевикам прежде всего то, что они помешали и отсрочили водворение на Руси подлинного чумазого. Они не очень стали бы сокрушаться оттого, что, «глуша» буржуя и помещика, даже не заметили, что по дороге «в числе драки» придушили и кающегося и уж совсем было раскаявшегося «интеллигента» — как живописует происходивший процесс один из московских корреспондентов «Смены вех» № 19. Туда ему и дорога, «этому глубоко интеллектуальному», нежно чувствующему «и совершенно безвольному» существу. Устами Струве, Гр. Ландау, Опатовского и других высказывается твердое убеждение, что умеренный социализм — alias * кающаяся интеллигенция — в России стал уже à priori ** так же невозможен, как урожай фиников во 2-м Парголове (Русская мысль. VIII—IX. С. 233), и что потому необходимо устранить всех промежуточных, всех эволюционистов, всех постепеновцев и примиренцев, всех социалистических сторонников торговли, всех буржуазных поклонников социализма, всех либеральных любителей советов, всех советских воздыхателей по демократии (Руль. № 162). *Им*, устраненным, противопоставляемся *мы* — «малые ячейки» в Берлине, которые сделаются «кристаллизационным ядром для распыленных в России сил и стремлений» (Руль. № 105).

Однако еще того темнее и противоречивее рассуждения тех, кто никогда не славословил ни начальства, ни чумазого, кто самое свое происхождение в известной мере ведет от эмиграции, взращен в ее традициях, а ныне в сонме хулителей и гонителей «новой современной разновидности старой, злосчастной породы — породы *лишних людей*», не живущих, а прозябающих «на отмелях эмиграции» (см. «От новой редакции Голоса России» 22.II.1922), преисполненных веры в особый «эмигрантский мессианизм» и практикующих свою «эмигрантскую приват-дипломатию» (см. еженедельник «Воля России» № 5 и 6).

Не надо думать, что между этими повисшими между небом и землей изгоями русской жизни новые редакции «Голоса» и «Воли России» разумеют только ту «разновидность» эмиграции, которая совсем недавно, вместе с Карташевым, обрела Россию в Галлиполи, а ныне, вместе с Бурцевым «наблюдая жизнь русской армии в славянских странах», нашла — что «здесь Россия. Здесь русский народ» (Общее дело. № 535). Нет, в категорию «лишних людей» зачислены гораздо более широкие «эмигрантские группы» — и правые и левые, все те, кому, по мнению авторов, «недостает реальной связи с какой-либо действующей в России активной политической силой», кого никакие «трансмиссии» не соединяют с двигателями, концентрирующими общественно-политическую энергию внутри России (Воля России. № 5).

Откуда столь несокрушимая уверенность в силе собственной «трансмиссии» и своей монопольной нужности для России? Откуда такое ослепительное презрение к полити-

---

* Иначе говоря (*лат.*).

** На основании ранее известного (*лат.*).

12—289

ческой эмиграции? Что вообще позорного в самом факте эмиграции? И что позорного могут в нем усмотреть единомышленники бывших эмигрантов — Герцена, Лаврова, Кропоткина, Плеханова, Ленина, Чернова?.. Почему же такая гордыня у одних сидельцев за границей, выдающих свой голос за «голос подлинной российской демократии» (Воля России. № 5), по отношению к другим, для России «лишним» и действующим лишь для, за и от себя?

Если откинуть гипотезу о своеобразной политической мимикрии, заставляющей и неприемлющих определенную среду, даже вражески к ней относящихся, незаметно для себя подвергаться ее влиянию, подпадать под ее воздействие, бессознательно и невольно усваивать ее черты, следовать ходу мыслей, подражать даже выражениям,— я не нахожу более убедительного ответа на поставленные выше недоуменные вопросы — чем «смутное сознание значительности того, что совершается в России», и признание, что «Россия не гниет, а живет», что «там и только там источник и общественного пересоздания и духовного творчества» (Воля России. № 6).— Поскольку стремление слиться с родной стихией, вернуться к ней и «стать каким-то составным ее элементом» является и естественным, и законным, и бесспорным, постольку же, наоборот, значительность и жизнеспособность совершающегося сейчас в России являются, по меньшей мере, предметом спора и сомнений. Во всяком случае можно констатировать, что от непримыкающих к так называемому лево-эсеровскому умонастроению положительную оценку «сошедшей с рельсов и покатившейся под откос революции» и творящегося сейчас в России приходится слышать чуть ли не впервые...

И вдруг «мы» и «вы»... «Стихийные революционеры» и «политические трезвенники». Граждане, вернее, эмигранты 1-го и 2-го сорта, в зависимости от местонахождения, когда Ленин различает две России и помечает «№ 2» Россию зарубежную, это не увеличивает и не уменьшает общей суммы недоумения, вызываемого теорией и практикой большевизма. Еще средние века знали, как правило, cujus regio-eijus religio: за кем власть, тот и вправе устанавливать религию, не то что порядковые номера... Местопребыванием главы государства определялось и положение всего государства. Менее понятно такое различение по местонахождению — Locus regit actos — в устах противников теории и практики советского средневековья; и уже совсем непонятно оно тогда, когда и те, кого третируют как «они», и те, кто сам себя величает «мы»,— географически адекватны друг другу, находясь под одними и теми же широтами.

2

Обострением политической борьбы и напряженностью страстей объясняется излишек воздвигаемых барьеров, появляющихся сплошь да рядом без всякой к тому крайней необходимости. Политика всегда партийна, всегда притязательна, не терпит безразличного нейтралитета, эгоцентрична и агрессивна. Кто не с «нами», тот против «нас» и, стало быть, с «ними».

Для политики характерны частные и дробные подразделения на «мы» и «они». Наоборот, они нехарактерны для объединительных стремлений человеческого духа,— в частности и в особенности для той сферы социальной жизни, которая обозначается несколько неопределенным термином культуры — аполитичной, внепартийной, надклассовой, всеобъемлюще-национальной, вселенски-человеческой, по самой своей природе и существу. В культуре, в противоположность политике,— по евангельскому слову: «Кто не против нас, тот за нас». Тем показательнее для всего нашего времени и культуры России, что творцы русской культуры оказались увлечены на тот же путь, что и русские политики. По примеру последних, «разделившись на ся», русские культуртрегеры

углубляют расщелину, образовавшуюся между «нами» и «ими». Культурные повторяют некультурных. Уйдя из земли обетованной, они зажглись пламенем негодования против тех, кого до них постигла та же участь. Еще не всех российских паразитов отряхнул с себя поэт, а они уже являются ему в преображенном светозарном нимбе.

Давно ли прибыл Адрей Белый из советского рая, а он уже знает, что эмигрант Иван Иванович живет в «стране воспоминаний» и «бестелесный плавает у себя в голове по водам потопа», голова его закупорена; и голубь с масличной ветвью не сможет к нему прилететь: разобьется о головной аппарат: «Как так? Что доброго может возникнуть в России, когда я увез Россию у себя в голове? Какая такая Россия? Пустое место?»... «Только тот, кто сказал себе: „Stirb und werde“ *, получил эту иовую способиость описывать то, что есть, а не то, что следует à priori ожидать с точки зрения готового лозунга» (А. Белый. «Культура в современной России». Новая русская книга. № 1).

Если и прав Белый, то сколь, однако, знаменательно, что его преображение произошло не тогда, когда он говорил себе „Stirb und werde“, не там, где по его нынешним, позднейшим наблюдениям витает «проснувшийся дух, открывающий зеницы самосознания», а здесь, «в стране воспоминаний», после того, как он сделался «зарубежником». Белый сам описывает, как «два года стремился из бедной, голодиой, тифозной России и понял на Западе, здесь, что в голодной тифозной России вооружился единственным опытом выхождения из себя самого» (А. Белый. «О духе России и «духе» в России». «Голос России» от 5.III.с. г.). Но разве тем самым и хотя бы одним этим, что только на Западе мог А. Белый понять самого себя и свою способность «выхождения из себя самого»,— гнилой Запад частично не оправдан?.. Даже для тех, кому в обладании «опытом выхождения из себя самого» дано было только здесь, на чужбине, каким-то внутренним слухом услышать, что «с востока на запад и с севера к югу стоит соловьиное пение поэтов, как будто бы стала Россия весенним ласкающим садом», что «сократический гул диалектики песней стоит над Россией» и что даже те, которым приходится там умирать, «умирают любя», тогда как здесь сколькие русские живут для проклятья (Там же).

И Андрей Белый не исключение. Не ему одному слышится «соловьиное пение поэтов», грезится «весенний ласкающий сад», побуждающие противополагать «здесь» и «там», «их» и «нас». Из писателей и поэтов менее крупной величины И. Эренбург, очутившись в «никчемной эмиграции», пожалуй, решительнее других восстает против нее, неспособной «изучить, понять и, понявши, прииять» «симптомы некой родильной горячки», сотрясающей Европу, и вместо того организующей лишь «плач на берегах Сены или Шпрее». Эренбург побывал прошлой весной на выставке ученических работ советских художников, и ему стало «страшно за учителей — кто же кого учит?». За новых ие страшно. Как и поэзия, молодая живопись, несмотря на все российские напасти, а может быть и благодаря им, жива, живет «неслыханной жизнью». «Новое искусство требует от подходящего к нему перестать быть зрителем, т. е. глазетелем, а стать самому соработником» («сов. работником»? — М. В.). Эренбург не допускает, чтобы кто-нибудь осмелился утверждать, что в «современной России только опыты и искания, но нет достижений». В одиом «памятиике» Татлииа «передаи весь динамический пафос иаших лет», «железный взлет духа России» (И. Эреибург. «Новое искусство в России». Новая русская книга. № 1).

Энтузиаст «иовой правды», излучаемой ныне в России презентистами, футуристами, имажиииcтами, иичевоками, заумниками, супредивами, биокосмистами и прочими беспредметииками пролетарского и непролетарского происхождения, вряд ли многих соблазиит в свою веру. Слишком надземиа она. Слишком благодушна. Может ли быть не страшно чутко выбрирующему поэту за русских художников, за Россию и от России?..

* «Умри и будь (воскресни)!» (*нем.*).

Нам, по слову Блока, «детям страшных лет России», которые «забыть не в силах ничего»,— нам страшно. И не только за то, чего, видимо, не досмотрел в России и Эренбург или, досмотрев, утаил,— нам страшно и за ту «соработу», которой сейчас занялся так усердно не один только Эренбург.

Свидетельству Белого, Эренбурга и нынешних их единомышленников может быть противопоставлено не только то, чего в своих показаниях они не касаются; не только то, о чем свидетельствуют другие писатели и художники, вынужденные покинуть родину; не только свидетельства некоторых из нынешних обличителей до того, как, сами приобщившись к лику русских зарубежников, они из эмигрантского далека стали различать «сократический гул диалектики песен», носящихся над Россией,— этому свидетельству можно противопоставить свидетельства тех, кто и сейчас пребывает в России, над кем продолжает витать «проснувшийся дух, открывающий зеницы самосознания»; и кто тем самым, по свидетельству Белого, более других компетентен и скорее других призван свидетельствовать о себе и о России.

3

В «петитной ерунде», собранной Эренбургом в отдельную книгу «Неправдоподобные истории», автор справедливо отметил — отчасти, может быть, потому, что, по его же собственным словам, «книга эта не политика» — разнохарактерность личного состава нынешней эмиграции. Из кого только не состоят «они» — *зарубежники*, по уничижительной кличке Белого,— даже не беженцы, а просто *бегуны*, по презрительному отзыву Эренбурга.

«Кто только не убежал — и сановные, маститые — Станиславы, Анны на шеях — и мелюзга, пескари в море буйном: фельдшера от мобилизаций, стряпчие от реквизиций, дьячки, чтобы в соблазн не впасть, и просто людишки безобидные от нечеловеческого страха, сахарозаводчики, тузы махровые, для коих в Парижах и кулебяки, и икорка, и прохладительные готовятся, и голодранцы, голотяпы грузы грузят, на голове ходят, тараканьи бега с тотализатором надумали — прямо санкюлоты, так что взглянешь на них — спутать легко, где-то она самая революция? политики идейные всякие, с программами, хорошие люди — столько честности, руку пожмет такой, и то возгордишься, ну и построчники за ними, коты газетные, хапуны щекотливые, всякие; а больше всего просто человеки... Послушаешь такого: ну что он спасал? Ни сейфа нет, ни титула, ни идеи завалящейся — не поймешь, только во всех глагольствованиях никчемных столько горя, да не выдуманного, а подлинного — не поймешь, только отвернешься: не начать же реветь где-нибудь на бульваре де Капюсин, публику чистую, не московитов в бегах, а парижан честных пугая...» («Неправдоподобные истории». С. 70—71).

Действительно, далеко не всем, ушедшим в эмиграцию, было что «спасать», кроме жизни, кроме права — в большинстве случаев буквально — на голое существование. И если тем не менее они уходили «есть горький хлеб изгнания», если — будь к тому возможность — с радостью утянулись бы к «индийскому царю» миллионы тех, чьи кости ныне тлеют в Поволжье и Заволжье, в Крыму и в Новороссии, то причиной тому вовсе не непоседливость бегунов, а безотрадная русская действительность, превратившая в «государственных преступников», поневоле, а не по убеждению, почти все население России и уводящая в эмиграцию почти всех, кто только имел к тому объективную возможность. При описании одного из таких массовых исходов из России (Совр. зап. № 2) уже приходилось отмечать, как даже простодушные «дети степей» калмыки, превращенные большевистской властью в неисправимых государственных преступников, искали

стихийного спасения в уходе... С того времени вся Россия приведена в движение — почти в космических масштабах.

Действительность стала страшнее самых страшных мифов: миф о Сатурне, который должен был — но которому не пришлось! — пожрать своих детей, бледнеет перед русской реальностью, пред ставшим «бытовым» пожиранием детей своими матерями. Что может быть выразительнее молящего предсмертного стона русских матерей, обращенного к народам всего мира: возьмите от нас наших детей, дабы эти невинные создания не разделили страшной нашей судьбы. Мы молим мир сделать это, ибо мы сами ценой добровольной и вечной разлуки стремимся устранить содеянное нами тем, что дали им жизнь, худшую, чем смерть. Всех вас, имеющих детей или детей потерявших, всех вас, имеющих детей и страшащихся их потерять,— всех вас мы зовем в память мертвых и именем живых: не думайте о нас. Нас спасти невозможно. Мы потеряли всякую надежду. Но нас может озарить единственное счастье, какое знает мать: уверенность, что ее ребенок спасен.

Находящиеся между жизнью и смертью прибегают к трупоедству и людоедству, лишь бы продлить свои дни и уйти от кошмарного полотна в тысячи верст, которое образует трупы, если выложить в ряд уже погибшие от голода миллионы. У кого сохранились остатки сил, убегает. Движется, пока может. Вот как описывает большевистская печать этот крестный путь, который под вдохновенным пером поэта преображается в смерть от избытка любви.

«Все поднялись с насиженных родных мест... Злобно толкая друг друга, бросаются голодные люди к каждому подходящему поезду — рвутся в двери товарных вагонов, откуда их толкают в грудь и лицо ногами такие же, как и они, голодные, озверевшие люди. Поезда двигаются, оставляя за собою сотни несчастных, а нередко бывает, что несколько человек остаются лежать на станции неподвижно: они уже сели на поезд прямого сообщения — к смерти, они — уже трупы (Правда. № 32).

Прочтите леденящий по жути, исключительный по изобразительности отрывок Б. Пильняка «Поезд № 57-й смешанный» (перепечатан в «Воле России» № 8) — и вы получите ясное представление о том «весеннем ласкающем саде», в который физически и духовно превратились огромные пространства России.— А вот те, которые хотели уехать, но не сумели и «осели» на вокзалах в крупных центрах. Корреспондент московских «Известий» № 7 рисует картину вокзала в Ростове н/Д:

«Полураздетые, полуживые. К ним подойти страшно, жутко пройти возле. Это не люди, а трупы, уже разлагающиеся, дышащие зловонием и заразой. Глаза этих умирающих беженцев уже не жалят вас. У них не хватает на это сил. Нет энергии, чтобы бросить вам упрек в черствости вашей души, окаменелости. Думаешь, это мертвец. Подойдешь — еще шевелится. Лицо мертвое, восковое, заостренное. Вместо говора едва уловимый лепет...»

Те, кто физически не погибли от холода и голода, кого не съели сограждане и кто сам не вынужден питаться человечиной в живом или мертвом виде, те опустошены духовно... «Если что и бодрит дух мой — это скорбь,— пишет А. Ремизов в своем вступлении к «Шумам города»,— и эта скорбь же дает мне право быть». «Я вижу,— записывает он,— как по Невскому бегут как мушки,— это беспощадный день ожесточенного от голода и гнета Петербурга с одной упорной навязчивой мыслью схватить, перешагнув всякое «нельзя», какую-нибудь съедобную дрянь, чтобы как-нибудь перебыть день,— разрезая мушиный бег, со свистом одинокие несутся автомобили — столько не сгорит керосина или бензина, сколько ненависти и проклятий в этой подхлестываемой бедой шарахающейся отчаянной преступной нищете...» — Частные корреспонденты пишут: «Мы уже больше совершенно не люди; все наши мысли направлены только на то, чтобы не голодать...» «Мысли и желания теперь главным образом съедобные...» «Мы ходим в

театры и коицерты, на лекцнн и в музеи, гуляем; но все зто прнобрело ирреальиую окраску смертн. Иногда зто н жутко, н своеобразио, и краснво; нногда в тонах Гофмана, иногда По...» «Мое первое впечатление от Москвы — это бескоиечная тоска и уныиие... Повсюду ннщета, жадиые, голодные глаза. Кажется, что в этом городе царит образцовый порядок, но это скорее тишииа и спокойствие кладбища. Нет улыбок, ие видно смеющихся лиц». Так передает свои впечатлеиия от России вернувшаяся недавно благорасположенная к советской власти фраицузская журналистка Луиза Вейс.

«Исчезает в России то, что, по увереиию Бергсоиа, единствеино отлнчает человека от животиого,— исчезает *смех*. Обесчеловечеииая, кладбнщенская Россия»,— пнсал я полтора года тому назад в № 1 «Совр. запнсок»... Нужно было стрястись над Россией небывалому в новейшей исторни мору, гладу и всем прочим казиям египетским, чтобы теперь, в 22 г., А. Белый иаписал: «Весиой 1920 (1921?..— М.В.) года повеяло вдруг какой-то иовой, полиой иовых возможностей весной: зто «иезависнмые» люди новой, духовной революции перекликались друг с другом...»

Даже в большевистской печатн можио встретить признанне того, что «закрыты все нзбы-читальин, почти все рабоче-крестьянские клубы, народные дома, некоторые библиотеки, закрыты школы по ликвидации безграмотностн н т. д. н т. д. ... Очищенное поле для деятельности немедлеино н крепко захватили всякого рода маклеры, халтурщики, зубодробители искусства, мелкие и крупиые коммерсанты, спекулянты н прочая мразь». В другом месте — «более взрослая молодежь превратила народный дом в место свиданий; малыши просто хулиганят — ломают столы, скамейкн и обстановку» (Правда. № 41). На осиоваиии обследоваиия детской колоиии в Херсоиской губ. «Херсоиский труд» удостоверяет, что детская простнтуция ныне стала нормальиым явленнем как на дому, так и в школе — нз 5300 девочек от 9—13 лет— 4100, т. е. 77%, оказалнсь лишеннымн иевинности».

Великодушиые нностранцы подкармливают из жалости голодающих русскнх женщнн и детей. В прямую зависнмость от их щедростн иачииают стаиовиться и судьбы русского просвещения — инзшего и высшего образования, науки н культуры. По даииым советских издаинй, вследствие продовольствеииого кризиса закрылись школы: в Кнргнзской респ. все, в Татарской и Чувашской — иа 92%, в Самарской, Саратовской, Пензеиской губерииях — иа 89%, в Царицынской и Астраханской — 85%, в Симбирской, Ннжегородской и Казаиской — 60% и т. д. Хорошо, что амернкаицы — «Христианское общество молодых людей» — согласились отпускать иа иужды русского просвещеиия ежемесячно по 25 000 пайков для петроградского студенчества и по 10 000 пайков петроградской профессуре. Что было бы в противиом случае н что происходит в других былых очагах русской культуры?.. Впрочем, «Экоиомич. жизнь» утешает, что америкаиский Институт Рокфеллера предполагает посылать в Россию для деятелей иауки по 10 тысяч четырехпудовых продовольственных посылок ежемесячно.

Офнциальиая власть создает специальиую комиссию (под председательством Троцкого) для распродажи за граиицу в целях получения валюты сокровищ русского нскусства, хранящихся в Эрмитаже, во дворцах и музеях. И Иудушка-Луиачарский зстетически доказывает в «Правде» полезиость зтой меры: «В такую тяжелую зпоху, как наша, в голодиый год приходится порастрясти иемиожко сокровищиицы искусства. Мы отиюдь ие возражаем иа зто. Мы, коиечно, считаем иедопустимой распродажу уииков, распродажу музейиого имущества. Дав нам ие столь уже зиачительиый барыш, она покрыла бы наше нмя некоторым, довольно законным презреиием со стороны культуриых людей».

Если для «законного презрения» необходнма непременно распродажа настоящего музейиого имущества, то и тогда презренне могло бы быть воздано полною мерою, нбо «иастоящее музейное имущество» и «уиикумы» давно уже стали, иаряду с брнллиантами

и мехами, наиболее излюбленными объектами, в которые обращают свои ценности обладатели таковых в России.

С созданием же особой комиссии для легальной распродажи сокровищ русского искусства легко предвидеть, что за границу уйдет не «изящная отделка» русских музеев, как силятся доказать советские лицемеры, а как раз подлинное «музейное имущество и уникумы». Не нужно быть сторонником австрийской теории «предельной полезности», чтобы понять экономическую неизбежность того, что для получения «значительного барыша» продавцы будут вынуждены выбросить на заграничный рынок имущество, представляющее наибольшую — в материальном и, соответственно, художественном отношениях — ценность, а не наоборот.

При таких условиях можно ли удовлетвориться ничего не говорящим по своей общности, а в своей конкретности неправильным утверждением, что Россия осталась в России. «Россия не гниет, а живет», там и только там место духовного творчества, там русская культура, наука, искусство; «соловьиное пенье поэтов» и «сократический гул диалектики песен»?..

Только переступив долину стонов и смерти, на известном расстоянии от нее, силой поэтического вдохновения можно воссоздать из себя вместо кругов российского ада «весенний ласкающий сад», в котором те, кто обречен умереть,— «умирают любя». А там — прав Ремизов — только скорбь бодрит дух, только скорбь дает право быть...

4

На том берегу чувствуют и пишут, когда *пишут*, как будто по-иному. Мы имеем в виду, конечно, не летучих мышей от революции, Танов, Иорданских. В «Летописи дома литераторов» № 8—9 напечатаны потрясающие «Последние мысли» В. В. Розанова, продиктованные им своей дочери. Вот как жили-были.

«От лучинки к лучинке. Надя, опять зажигай лучинку, скорей, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль... Тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвою водой. Она переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая. Убийственная своей мертвечиной... И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому «ад» или пламя не представляет ничего грозного, а скорее желанное. Это все для согревания, а согревание только и желаемо...»

«Состояние духа — его — никакого. Потому что и духа нет. Есть только материя, изможденная, похожая на тряпку, наброшенную на какие-то крючки... Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя, странным образом, тело так измождено, что духовного тоже ничего не приходит на ум. Адская мука — вот она налицо: «В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса, воистину узнаю их образ».

Литературные критики на том берегу находят: «По совести говоря, трудно решить, что производит более тягостное впечатление: исступленные анафематствования Д. С. Мережковского или революционная осанна Белого, Брюсова, Городецкого и др.» (Летопись Дома литераторов. № 4). С «тоской и скорбью»: им приходится отстаивать право на грусть по поводу «истребления незаменимых духовных ценностей» (топка печей рукописями Якубовича-Мельшина и письмами Короленко и Михайловского) за теми, «кто так или иначе был лично и идейно близок созданию этих духовных ценностей» (ст. А. Горнфельда: «О праве грустить» — там же).

«В последнее время нет недостатка в утешении.— пишет А. Петрищев в «Летописи» № 8—9,— русская наука, говорят нам, несмотря на исключительно бедственное положение ее тружеников и мучеников, не замерла, жива, развивается, совершает то-то и то-то, достигает того-то и того-то. Да, конечно, она не замерла. Она свершает... Но разве столько она может совершить? И разве столько нужно от нее иметь, чтобы Россия могла уйти от рецидивов антропофагии?»

Нет надобности ссылаться на показания умолкнувшей совести русской литературы: В. Г. Короленко.— Вот Блок, приявший октябрьский переворот и воздвигнувший ему подлинно нерукотворный памятник — «Двенадцать». Трагической оказалась не только его жизненная судьба, но и поэтическая. После «Двенадцати» Блок умер как поэт. Он ощутил вокруг себя пустоту беззвучия. «Самое страшное было то,— сообщает теперь К. Чуковский в книге «А. Блок во время революции», со слов самого поэта,— что в этой тишине он перестал творить. Едва только он ощутил себя в могиле, он похоронил даже самую мысль о творчестве... Он писал и писал, много, но уже не стихи, а протоколы, казенные бумаги, заказные статьи... Тревожило его: что если эта революция поддельная? Что если и она не была подлинной? Что если только приснилась она нам?»

Стоит задаться блоковскими сомнениями, и сразу приобретает особый вещий смысл — прелестная сказка-миниатюра Е. Замятина, появившаяся в «Петербургском сборнике 1922». На протяжении нескольких десятков строк передана история «их» возвышения и прихода к власти и причина «нашего» исхода.

«Порешил Иван церковь Богу поставить. Да такую, чтобы небу жарко, чертям тошно стало, чтобы на весь мир про Иванову церковь слава пошла». Чтобы денег добыть, пришлось Ивану купца с кучером убить. «Ну, что поделаешь: для Бога ведь. Закопал Иван обоих, за упокой души помянул, а сам в город: каменщиков нанимать, столяров, богомазов, золотильщиков. И на том самом месте, где купец с кучером закопаны, вывел Иван церковь — выше Ивана Великого. Кресты в облаках, маковки синие с звездами, колокола малиновые: всем церквам церковь». Приехал сам архиерей службу служить. «И только это службу начали, глядь, архиерей пальцем Ивану вот так вот: отчего,— говорит,— у тебя тут дух нехороший?..» «...Мертвой человечиной пахнет, ну просто стоять невмочь. И из церкви народ — диаконы тишком, а попы задом...» «Поглядел архиерей на Ивана — насквозь, до самого дна и ни слова не сказал, вышел. *И остался Иван сам — один в своей церкви. Все ушли — не стерпели мертвого духа*».

Это не только аллегория. И не только символика. Это сказание о том, что подлинно было: почему «мы» ушли от «них»,— от этих «строителей храма»...

5

Пестра и сложна Россия. Среди оставшихся, конечно, не все скептики и не только пессимисты. Не мало тоже «равнодушных и спокойных» по внешнему виду, трагически и героически спокойных,— как Анна Ахматова, которая остается верной своим послебрестским переживаниям:

Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,—
Мне голос был: он звал утешно,
Он говорил: иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.

. . . .

Но, равнодушна и спокойна,
Руками я замкнула слух;
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Кто не преклонится перед величием духа Даниила, очутившегося во рву львином?

Есть и другие — оптимисты, не столько, может быть, по настроению, сколько из тактических соображений. Один из них — автор редакционной статьи «Старый год» (в № 5—6 «Летописи Дома литераторов»). Для него все черное — в прошлом, в настоящем же, как у героя Островского,— «все великое и все прекрасное». К январю прошлого года литературы, по его показанию, вовсе не существовало. «Уцелели отдельные писатели, сохранились писательские объединения, но литературы все-таки не было». «Прошел год, и все стало на новые рельсы... Авторитетные заявления служат порукой, что поворот на новую дорогу задуман *всерьез и надолго*». Единственное пожелание этого оптимиста,— чтобы пресловутый «нэп» (новая экономическая политика) получил свое восполнение в неп (независимая печать).

Нет нужды доказывать, насколько преувеличена расценка новой эры, наступившей после кронштадтских событий. Таков уже обычный прием оппозиции: заведомо переоценивая размеры фактического, она надеется убедить власть в необходимости примириться с ней и, легализовав «всерьез и надолго», сделать это фактическое нормативным. Насколько основательны были надежды на то, что нэп повлечет за собой неп, можно судить хотя бы по последней речи Ленина на съезде металлистов. С приостановкой экономического отступления, «ни одного шага назад» — когда берется под сомнение самый нэп, не приходится уже говорить о том, что «поворот на новую дорогу задуман всерьез и надолго». Что же касается бессмысленных мечтаний о непе, то тот орган, в котором эти мечты высказывались, уже приказал долго жить. «Летопись Дома литераторов» несмотря на то, что она была скромным всего только «литературно-исследовательским и критико-библиографическим журналом» и выходила с разрешения большевистской военной цензуры,— безвременно погибла. После воспрещения печатать критические обзоры и даже отзывы об отдельных книгах и предложения «ограничиться исключительно списками книг, имеющихся в магазине товарищества», закрылся на № 1-м и «Бюллетень книжного магазина „Задруга“», выходивший в Москве. Много ли осталось?..

Двумя путями пошли русские писатели. Один в пределе своем приводил к судьбе Гумилева и Лазаревского. Не только политические деятели, но и поэты оказались с кляпом во рту и вынуждены были молчать в окружавшем их мертвом пространстве, по примеру Блока, «похоронившего даже самую мысль о творчестве. Обыкновенно случай, простой, иногда нелепый случай вел одних по одному пути, других по другому. Иногда ставшие на один путь кончали другим. Этот другой путь сохранял жизнь за теми, кто шел по нему, но отнимал, как бы взамен, устойчивость, «родную стихию, небо и землю». Оставшиеся на родине взыскуют неп. Пользующиеся же благами неп на чужбине — взыскуют родины. Если преувеличением звучит утверждение, что русская литература только там, где еще может звучать свободно русская литература, только там, где еще может звучать свободно русская речь (ср. ст. А. Я. Левинсона: «Пленные звери». Последние новости. № 569),— не меньшей односторонностью было бы сведение всей эмиграции к «благополучным россиянам колупаевско-разуваевского типа, очень недурно устроившимся в Париже», как это представляет себе московский корреспондент «Смены вех» № 17.— Не все то гнило, что ушло на чужбину, как и не все прорастает, что уцелело на родине. Не все оставшиеся превратились в Гредескулов и Адриановых. Но и не все ушедшие исчерпываются Локотями и Бобрищевыми. Многое отомрет и там и тут. Стоит ли считаться местами, расценивать цивические добродетели,— кто больше потерял, кто меньше сохра-

нил — в зависимости от места действия или простого местоиахождеиия?

Подвижница Ахматова ие вияла «голосу» и осталась. Мучеиик Гумилев не успел последовать зову и покинул иавсегда «свой край глухой и грешный» и всю грешную землю. Ушел в иной мир и Блок. Значит ли зто, что Гумилев и Блок спасли свои души тем, что успели потерять свои жизни до ухода в изгнание, тогда как Белый, Бальмоит или Гиппиус не сохранили своих душ, потому что спаслись: одии раньше — другие позже?.. Слава оставшимся. Но почему проклятия ушедшим?

Как в самодержавную пору политика пропитывала все сферы русской жизни, вторгаясь повсюду и отравляя даже чистые истоки науки и искусства,— так и теперь, иа родине и на чужбине, политическая «шуйца» русских писателей борется с их художественной или научной «десницей». Отвергая Достоевского и Толстого как публицистов или моралистов, мы трепетали перед таииством их ясновидения первооснов человеческого духа и плоти. Так и теперь, восставая против Белого или Бунина как учителей политической мудрости,— надо ли говорить, что мы в полной мере воздаем должное высоте их художествеииых достижеиий.

6

Когда Тургенев говорил: «Россия без каждого из иас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись» — это положение было истинно в обоих своих частях. Ныне в силе остается лишь вторая часть: никто из нас без России не может обойтись. Это истина непреложная, факт до боли осязаемый. Но чтобы Россия могла обойтись без большинства из нас,— этого, увы, уже сказать нельзя... И не потому, чтобы «каждый из иас» был или считал бы себя — столь значительным, а потому, что Россия уже не та, что во времена Тургеиева.

На что далеко провели большевики противоположеиие между своей «социалистической» Россией и Россией несоциалистической, зарубежной. Однако же, и они оказались вынуждены, вопреки своему желаиию, за крайиим недостатком культуриых сил обратиться за помощью к своим врагам, к «России № 2», и наряду с иностраниыми концессионерами и «спецами», наряду с обращением за помощью к Кутлерам и ф. Меккам, оставшимся в России, аналогичиые призывы — ие только для соблазна и деморализации — обращены и к зарубежным «спецам». И параллельно с переводом на работу по специальности не только врачей и иинженеров, но и юристов и даже журналистов в России — за граиицу командируются специальные агенты для приглашения на командные должности в Красной Армии и флоте эмигрантов — офицеров генерального штаба и окончивших военные училища до 1914 г.

Даже в иаиболее развитой сфере большевистской деятельиости, в военной, им ие хватает ни рук, ни прежде всего голов. Если даже большевики это сознали,— значит, это самоочевидность.

«Приближается тот момент, когда все те интеллектуальиые и моральные силы, которые ныие бессмысленный террор старается уиичтожить, будут нужны России для спасения революционных завоеваний... «Единый фронт», который Ленин и Троцкий проповедуют для Европы, явится вскоре едииственным способом спасения России»,— признает Л. Мартов в «Голосе России». С этим можно согласиться, если сделать только две оговорки: во-первых, о том, что «момент», о котором говорит Мартов, ие теперь только стал «приближаться», а длится уже непрерывно 4,5 года; и, во-вторых,— что, из кого бы ни составился в будущем тот «фроит», которому удастся вывести Россию к новой жизни, коммунистам там не место; фронт, если фронт необходим, может быть только *против* нынешних властителей России, и потому он не может быть *вместе* с ними.

Между «нами» и «ими» навсегда легла пропасть. «Мы» и «они» действительно варвары друг для друга. Это очевидно для всякого демократа; очевидно для социалиста-революционера и демократа-социалиста и даже для некоторых авторитетнейших социал-демократов: П. Б. Аксельрод уже высказал (в парижском «Peuple») свое убеждение в том, что сближение социалистов с большевиками было бы огромной ошибкой и вредом для социалистов. Центральное бюро партии социалистов-революционеров «с того берега» подало голос: «В настоящее время единый фронт рабочего класса в России уже существует — это фронт, направленный против коммунистов...»

На пути к единому политическому фронту лежит единство фронта культурного: признание самоценности русской культуры, ее универсальной значимости независимо от географического положения ее служителей. Ибо не полдень и даже не рассвет русской культуры переживаем мы сейчас. На родине и на чужбине сумерки, глухие и тяжелые. И с тем большей бережливостью и любовью надлежит подходить к каждому проявлению подлинной русской культуры, собирать, а не разъединять ее силы, упрочивать связи и единство целей между *ними и нами*; говорить, вместе с Б. Пильняком: «Дерево русской литературы одно, но нарядов на нем много... Мы и я, я и мы — а не я и они, я и он — она...»

Во времена Бакунина и до большевистского опыта можно было исповедовать веру в то, что дух разрушающий есть дух созидающий. Теперь, после пережитого, когда всякий на личном опыте убедился в том, насколько разрушение быстрее и легче по сравнению с созиданием, кто решится утверждать адекватность обоих «духов»?..

Особенно в области культуры. Ибо и блудный сын культуры все-таки ее порождение,— справедливо отмечает А. Горнфельд,— и если он бредит о ее разрушении, то только потому, что плохо усвоил ее себе, остался ее недоучкой, не уразумел того, что преодолеть культуру можно только культурой же, и в бессилии грозит и скандалит и — пред лицом неумолимой действительности — скандалится (см. ст. «Культура и культуришка» в № 1 «Летописи Дома литераторов»).

Терпимость к культурным выявлениям далека от примиренчества с невзгодами жизни и общественными настроениями. Она отнюдь не предполагает «охотно выслушивать Герострата или Нерона, если б они к нам пришли и захотели бы серьезно и искренне изложить мотивы своих действий»,— как это рекомендует А. Белый (см. Отчет о заседании Берлинской «Вольфилы» в № 1—2 «Бюллетеня Дома искусств»). Наоборот, уважение к культурным ценностям непримиримо с терпимостью ко всяким гонителям и душителям человеческой мысли и слова,— будь они «великие» Нерон и Герострат или малые «соработники» Лундберг и А. Шрейдер. Ибо Богу воздадим Богово. Но не забудем и кесаря, чтобы воздать по делам его — кесарево.

Николай Авксентьев

Patriotica

Ты долго ль будешь за туманом
Скрываться, Русская звезда,
Или оптическим обманом
Ты обличишься навсегда?

Тютчев

И насколько я знаю, нам еще позволено говорить друг с другом о нашем отечестве, или — по крайней мере — вздыхать о нем.

Фихте

«Родина, как здоровье: их начинаешь действительно ценить только, когда потеряешь». Больше потерять родину, чем мы, русские люди, трудно. Мы не только потеряли ее как изгои. Сама родина разрушается, медленно умирает, становится легкой добычей. Мы — воистину,

Как тот, кто жгучею тоскою
Томился по краю родном
И вдруг узнал бы, что волною
Он схоронен на дне морском.

И в этот час естественно, что все помыслы русской общественности только о родном крае, все благословения — только ему. Каждый по-своему или спасает его, или думает о способах этого спасения.

Но такова, верно, проклятая судьба русского общества, что даже и в этом, казалось бы, всем общем и нужном оказываются расхождения, непонимание, пропасть. И несомненное, простое и ясное претерпевает такие изменения и уклоны, что люди начинают говорить на разных языках.

Говорят, что компромисс необходим в реальной политике. Говорят, что эту истину давно практическим чутьем постигли англичане. Может быть. Но политика, в которой компромиссно все,— не политика. Политика, где компромиссу подвергаются самые принципы, становится политиканством или — того хуже — беспринципной авантюрой. Если всю политику свести к этому,— честному человеку нет места в политике.

Принцип есть то, что временному и преходящему сообщает характер вечного, что дает переживание вечного, «Божественного», во временном и «человеческом». И одним из таких принципов — особенно теперь — должно стать для нас требование, сознание необходимости национального самоутверждения, национального самосохранения.

«Вера благородного человека в вечное продолжение его деятельности на этой земле основывается на вере в вечное развитие народа, из которого он сам развился, в своеобразие этого развития по скрытым законам *без примеси, без искажения* его чем-нибудь чуждым, не согласующимся со всей совокупностью законов его развития. Это своеобразие то *вечное*, коему он вверяет вечность самого себя и своей деятельности, вечный порядок вещей, в который он влагает свое вечное. Он должен хотеть его продолжения, ибо только оно есть то освобождающее средство, благодаря которому краткий срок его жизни расширяется до пределов жизни постоянной» *. Абсолютная вера в вечное развитие народа без примеси, без искажения и, следовательно, требование — категорическое,

* Фихте. Reden an die Deutshe Nation.

ие подлежащее никаким условиям и отступлениям,— охраны этого развития, *нерушимости, неприкосновенности* целого, в безграничности развития которого — залог переживания вечности для человека: здесь — никогда и ни при каких условиях компромисса быть не может.

Это должно быть так,— особеино теперь и особеино для нас.

Многие причины привели Россию к тому состояиию, в котором оиа иаходится сейчас. Миого раз указывали на них, и перечислять их не входит в задачу этой статьи. Но основной, главной, которая лежала в корие всех, которая объясняет, почему с такой легкостью рассыпалась *великая храмина земли Русской*,— было отсутствие, иедостаток национального самосознания, патриотизма в глубоком, высшем смысле и зиачеиии.

Русский народ шел отстаивать родину, сражался, умирал, побеждал — по велению свыше. Порою он загорался, может быть, массовым *чувством*, ио ои ие был проникнут, пропитан *сознанием* отечества. Мы были чаще — «вятские», «пензенские». Но мы очеиь редко бывали — гражданами России.

И ие вина это и не особое свойство нашего народа. Националыное самосозиаиие есть дар свободы. Триста лет проклятого рабства, подъяремного безграждаиствеииого подданничества превратили в человеческую пыль то, что должно было быть нацией. «За что должиы биться рабы?» Высшего, творческого сознания нации у иих иет. Стало быть, только за «спокойствие, которое для них выше всего». «Но оио нарушается продолжением борьбы. И поэтому оии применят все, чтобы как можио скорее закончить ее; они будут колебаться, уступать. И ради чего они не стали бы этого делать? Они иикогда не могли думать ни о чем другом, оии всегда ждали от жизии лишь продолжения своего обычного существования в более или менее сносных условиях» *.

И когда пало внешнее прииуждение, когда исчез гипиоз власти, то естественной усталости от войны, ее ужасов, крови, естествеииому страху смерти, желанию «спокойствия» ничего нельзя было противопоставить. И каким беспомощным ужасом сжималось сердце, когда впервые привезли с фроита безумные слова: «Мы хотим мира,— хотя бы и похабного...»

И именно здесь великое, иеоправдываемое преступление большевизма. Ои довел этот апатриотизм до апогея. Он оправдал; ои разрешил его. Он толкиул иарод к тому, чтобы вслух, прямо, без обиняков говорить то, одна мысль о чем — затаенная, невольиая, подло стучащаяся в душу — должна была бы залить лицо краской стыда. Он облек слабость и бессознательность в ризы широковещательной и ложной идеологии. Вместо того чтобы свободу, добытую наконец народом, сочетать с одним — и необходимейшим — из достижеиий ее — национальным самосознанием, правом свободного иационального творчества, он извратил ее до степени эгоистического шкурничества.

Словами о всеобщем мире он прикрывал проповедь мира во что бы то ни стало и убеждением в том, что иеприятель тоже положит оружие, усыплял последние вспышки взбудораженной иациональной совести.

Только забывчивостью людей, только желанием, утопая, схватиться хоть за соломиику можно поэтому объяснить иллюзии иекоторых, будто теперь большевики могут бороться за национальную целостность России. Будто их борьба может приобрести такой характер. Нельзя, унизив, растоптав душу, сделаться идеологом этой души. Разве растлитель, на этом растлении построивший свою систему, может стать стражем целомудрия своих жертв?

Но как бы ни было настойчиво стремлеиие большевизма толкиуть русский иарод на преступление перед самим собою, эта настойчивость не дала бы тех результатов, если бы он не нашел в самом народе благодарной почвы апатриотизма. Большевизм

* Фихте. Указ. соч.

стал властью потому, что в тот момент это допустил, этому помог народ. Вот почему борьба с большевизмом есть не только сверженне комиссародержавия, но и излечение или, вернее, воспитание русского народа до национального самосознания. Большевики, несмотря на все, продолжают существовать именно потому, что нет того огня, который внутри России спаял бы массы, осветил бы, зажег в умах одну мысль, способную родить энтузиазм, мысль о том, что каждый день существования большевизма есть невыносимое оскорбление святыни национальной самобытности, все новое переживание национального стыда.

Воцарение большевизма именно так и воспринималось всеми. На другой день после падения Зимнего и перехода власти к Смольному все демократические силы соединились на лозунге борьбы с большевизмом. Во имя чего?

Во имя многого, во имя всего.

Мы вышли на борьбу с большевизмом, ибо понимали, что его господство — разрушение России. Уничтожение государственного и хозяйственного аппарата. Разложение страны. Голод. Нищета. Гибель демократии и творчества в свободе. Величайшая реакция. Охлость, ставшая на место демоса. Все это видели и предвидели общественные силы России. Но не это стояло в центре. Не это давало *пафос* борьбе. Этот пафос исходил из чувства национального протеста.

Протест против отказа от самозащиты, удар по национальному достоинству, разрушение понятия родины — вот что стояло в центре, заставляло и тогда и позже мечтать о восстановлении фронта, о борьбе с узурпаторами ради отпора внешнему врагу.

Общественный инстинкт правильно нащупал эту точку — самую больную — и понял, что именно отсюда должно пойти оздоровление страны, если оно возможно, что спасение ее в воспитании народа до нации, в осознании им себя нацией в процессе борьбы с разложившей нацию силой. В разных других областях возможно было бы мыслить себе и предлагать компромиссы во имя легчайшего изживания народом этого тяжелого периода. Но *здесь* компромисса быть *не* могло. Компромисс *здесь* значил бы уничтожение самой души возрождения народа, отказ от того принципа, который есть «то *вечное*, коему человек вверяет вечность самого себя и своей деятельности, вечный порядок вещей, в который он влагает свое вечное».

Под таким знаком началась и шла борьба не только с большевизмом как системой, но с теми причинами, которые дали в народе возможность победы большевизма. Так началась и шла борьба. И так — и только так — она должна была идти, чтобы не утерять не только своего практического, но — что важнее — своего идейного, воспитательного — метафизического и религиозного, сказал бы я,— смысла.

Так должно было быть. Но так ли это на самом деле?

В своем «Былое и думы» Герцен рассказывает о французском эмигранте — графе Кенсона, которого он видел, будучи ребенком, в доме своего отца. «Надобно было на мою беду,— рассказывает Герцен,— чтобы вежливейший из генералов всех русских армий стал при мне говорить о войне. «Да ведь вы, стало, сражались против нас?» — спросил я его пренаивно. „Non, mon petit, non, j'étais dans l'armée russe" *. «Как,— сказал я,— вы — француз и были в нашей армии, это не может быть!» Отец мой строго взглянул на меня и замял разговор. Граф геройски поправил дело, он сказал, обращаясь к моему отцу, что ему «нравятся такие *патриотические* чувства». Отцу моему они не понравились, и он мне задал после его отъезда страшную гонку. «Вот что значит говорить очертя голову обо всем, чего ты не понимаешь и не можешь понять. Граф из верности *своему* королю служил *нашему* императору». Действительно, я этого не понимал.

К сожалению, известная часть русской общественности стала как будто понимать то, чего не понимал Герцен. Мне хотелось бы, чтобы на эту статью смотрели как на полемику

* «Нет, мой маленький, нет, я был в русской армии» (*фр.*).

с лицами. Цель ее — не борьба с политическими противниками. Не это сейчас волнует меня. Мучит и волнует другое — более глубокое и основное — болезнь русской общественности. Страшна эта болезнь, ибо, если в самой сердцевине появляется гниение,— тогда, действительно, плохо дело.

Польша объявила войну России. Начались бои. Захвачены были русские области, города. Пал Киев. Было ясно, что не с большевиками воюет Польша, или — во всяком случае — не только с большевиками, но с Россией, которую, по собственному его признанию, ненавидит теперешний руководитель Польши — Пилсудский. А русская общественность в значительной части или робко молчала перед событиями и ждала избавления от разгрома России поляками, или — еще хуже — тайно или явно сочувствовала им. И наивно старалась уверить себя: не против России Польша, а против Большевизии.

Больше того. Находились такие, которые считали возможным сочувствовать тому, чтобы русские отряды шли вместе с польским войском бить Россию. В этот момент считали за честь быть принятыми Пилсудским, уверять его в дружбе, унижаться перед ним и читать «неизреченное» на его челе и в его очах.

Есть такие, которые и теперь, когда, кажется, и слепым пора прозреть, продолжают утверждать, что это не Польша заключила мир, обобрав Россию, что это мир «партийный». 〈...〉... И что в конечном счете этот мир направлен исключительно против большевиков. Что же,— и взятые деньги и отторгнутые области — это тоже против большевиков 〈...〉?

Румыния, трижды изменившая своим различным союзникам и «друзьям», захватывает Бессарабию, сначала de facto *, а потом и de jure **. А русская общественность разрозненно едва реагирует. И, может быть,— кто знает? — найдутся еще люди, которые и этого слабого протеста не одобрят: опасно ссориться. А вдруг Румыния, отхватив еще кусок, окажет какому-нибудь «российскому» правительству поддержку «против большевиков»?

Япония захватывает — медленно, настойчиво, жестоко и как-то фатально — Дальний русский Восток. В ужасе мечутся там русские люди и чувствуют — беспомощные,— как грознее, бесповоротнее сжимается у них на горле железная рука соседа. А большая часть «мозга русской нации» молчит и молчанием встречает привет каких-то «российских» властей японскому правительству за неизменную дружбу. Кто знает? Может быть, в борьбе с большевиками и Япония окажет услугу. Нельзя раздражать. Ведь и правительства-то там, на Дальнем Востоке, какие-то «полубольшевистские». Ну, а русская-то земля, русские люди там — они забыты?

Недавно один русский общественный деятель, говоря об одном из «завоевателей» Большевизии, выросшем на вражеской помощи, заявил мне: «Что же, если дойдет до Москвы — будет Гарибальди. Ну, а не дойдет...» Значит, раздавить Троцкого и Ленина даже ценою унижения России — заманчивая вещь? И какая же разница тогда между Гарибальди и графом Кенсона, «который из верности *своему* королю служил *нашему* императору»?

О, я не хочу на этом основании подвергать сомнению любовь к родине этих людей. Конечно, они по-своему любят ее. Но, может быть, было бы лучше, если бы это было не так. Тогда все было бы ясно и понятно. Тогда не было бы морального соблазна и признаков морального разложения. Большевизм, верно, никогда и не мечтал о *такой* победе — величайшей из всех его побед: мрачная тень его затмила национальное самосознание. Большевизм загородил, извратил патриотизм.

Вспоминаются мне другие времена и другая обстановка. В декабре 1917 года я был схвачен большевиками и посажен в Петропавловскую крепость. В то же время сидел там

* Фактически (*лат.*).
** Юридически (*лат.*).

лидер русских черносотенцев — покойный теперь В. М. Пуришкевич. Большевики «определили» его истопником, и он свободно ходил по коридору и мог заходить в камеры. То был момент, когда Троцкий сделал свой „beau geste“ *, прервал переговоры в Бресте и явился в Петроград проповедовать войну против Германии. Большевистская пресса была полна воинственного пыла. Заявлялось о непреклонном решении отстаивать «красный» Петроград и «красную» Россию. Нам в тюрьму газеты доставлялись. И вот, в одно утро,— с газетой и какими-то бумажками в руках — ко мне влетел возбужденный, взбудораженный Пуришкевич. Он прочел об этом «решении» большевиков и пришел предложить составить и подписать заявление. «Заявим,— говорил он,— что, если так, мы готовы идти делать что угодно. Пошлют на передовые позиции бороться с завоевателем — пойдем. Заставят быть братьями милосердия, сделают пушечным мясом — на все готовы. Пусть руководят, но пусть не слагают оружия защиты». Я отказался от этого заявления и ему посоветовал не делать его, ибо, во-первых, не верил всей этой большевистской шумихе, а во-вторых, наше положение — пленников — было деликатное, и всякое такое движение с нашей стороны могло быть истолковано как желание, прежде всего, выбраться из тюрьмы. Но не в моей позиции дело, и не о ней хочу я говорить теперь. Дело в Пуришкевиче. Мы были с ним политическими антиподами, и никогда ничто общее нас с ним не связывало и не могло связывать. Но я должен сказать, что в тот момент, поскольку я верил полной искренности порыва Пуришкевича, он — руководитель черной сотни — был психологически мне ближе, чем все те — даже радикальные — политики, которые в борьбе с большевизмом уничтожают самый смысл этой борьбы, которые интересам борьбы с большевизмом — сознают они это или нет — жертвуют интересами России.

Большой русский писатель И. А. Бунин недавно написал, что испытывает горькую радость, что хоть в одном была милостива к нему судьба: «Избавила меня,— говорит он,— от позора и муки дышать одним воздухом с хозяевами «красной» России».

Увы, этот воздух, которым дышат хозяева «красной» России,— воздух нашей родины. Им дышит, содрогаясь и испытывая крестные муки, Россия. Его в последний раз вдыхают те бесчисленные жертвы, которыми сопровождает свое шествие большевизм. Мука — *не* дышать им, этим священным воздухом.

Страшен не физический воздух, которым дышат большевики, а воздух моральный. И невольно берет страх, не заразили ли большевики моральный воздух, которым дышит некоторая часть русской общественности; не скатывается ли она, сама того не замечая и думая спасать родину, к большевистским аргументам, эту родину, как «вечное во временном», убивающим?

Большевизм, эволюционируя в своих методах усыпления национальной совести, изобрел два слова, объясняющие его действия: «оазис» и «передышка».

Пусть, говорит он, отдадим мы ту или иную часть русской земли — в нарушение права и справедливости. Зато мы сохраним в спокойствии нашу «коммунистическую родину», наш «оазис». И уж он будет построен по нашему плану на поучение всем.

И затем, все эти «похабные» — миры — лишь «передышка»; все это — временное. Несомненно, Европа, мир — накануне краха. Наши друзья, единомышленники и соратники придут к власти. И когда властвовать будут они, они отдадут все, что отняли империалисты.

Пусть,— говорят теперь некоторые из антибольшевистского лагеря,— пусть поступимся мы теперь тем или другим. Но зато будет разрушен большевизм. И мы будем иметь «оазис» (Московию?) так, как мы его хотим и понимаем. И в этом будет спасение России. «Что бы выбрали вы, спрашивают иной раз ехидно: отдать Бессарабию, но одолеть большевизм или остаться *в своем желании* при Бессарабии, а *на деле*, в России,— при

* Красивый жест (*фр.*).

большевизме?» Ведь без «друзей» со стороны не обойтись, а друзья и соседи требуют платы и берут ее.

И потом — это только «передышка». Это — временное. Стоит России свергнуть большевизм, стоит там создаться правительству, приемлемому для этих «друзей», и — ради его прекрасных глаз — условия будут изменены. Они такими созданы только для большевиков. Тогда из расхитителей и поработителей все эти «пособники» станут идеалистами, пекущимися об интересах России.

И еще говорят — и самое тяжелое, самое больное. Можно стоять на «высоте принципов», но не надо забывать, во что обходятся эти принципы русскому народу. Надо помнить, что каждый день владычества большевиков — гибель новых жертв. Каждый месяц — гибель, быть может, сотен тысяч. Вымершая Россия — вот перспектива еще двух-трех лет большевистского господства. Надо — и часто это говорят люди, одним духом высказывающиеся в то же время и за блокаду,— надо помнить об этом!

Мы помним, мы не можем, не имеем права забыть. Мы не только помним о крови и смертях в России, мы не только содрогаемся. Но мы знаем, что доля ответственности за эту кровь, за эти смерти и на нас, русских гражданах. Мы, волею судеб или своею волею оказавшиеся в «прекрасном далеке», понимаем, переживаем, как велика эта ответственность и каким тяжким туманом поднимается к сознанию эта кровь и смерть. К этим близким и далеким «ближним» несется мысль.

Но или есть в человеке и человеческом что-то высшее и вечное, ради чего нельзя изменить и йоты, или все растворяется лишь в сострадании. Припомним, что ведь так аргументировали когда-то и за другое. «Вы,— говорили нам,— кричите об обороне и национальном самоохранении. Но вспомните о тысячах убитых, калек, вдов, сирот, матерей, вспомните — и тогда, может быть, вы пойдете и на «похабный» мир. Что значат все слова и идеологии перед одним, ясным, несомненным, осязательным счастьем и благом — счастьем жить?»

Любовью к ближнему должна быть полна душа наша. Будем помнить и, как Енох Господа, всегда носить пред собою видение страданий и испытаний нашей родины. Но — во имя ее будущего, ее величия и чести, во имя национального самоуважения — пусть любовь к ближнему не заслонит пред нами другой любви — любви к «дальнему», пусть «любовь к вещам» не уничтожит в нас «любви к призракам».

Нечеловеческими испытаниями приходит Россия к самосознанию. Не ее вина. Слишком долго внизу царил мрак, а наверху великая вражда к той государственности, которая претендовала представлять нацию. Слишком долго воспитывалось отвращение к тому жалкому и гадкому, что брало официальный патент на название патриотизма. Слишком долго слово «патриот» выговаривалось как «потреот».

Теперь наступила пора его реабилитации. И она нужна особенно теперь, ибо в этом спасение, истинное новое рождение России в духе. От этого зависит, быть ей или не быть.

И прямым нашим желанием, верой является то, что и слово, и понятие это вынесут, выстрадают до конца те, кто принял великую мартовскую революцию, кто, несмотря на все испытания, и теперь не отрекся от нее и во имя ее лозунгов живет и действует.

Пора вспомнить традиции Великой французской революции. Тогда революционер назывался патриот.

Тяжел путь русской демократии. Ее гонят, заушают слева, ее преследуют справа. Между молотом и наковальней она живет и продолжает бороться за новое право. Но если даже подавят ее на время, если стихийные силы сомкнутся на исторический миг над ее головой — будущее принадлежит ей. И пусть в это будущее из мрачных годов испытаний незапятнанными, неискаженными, абсолютными и вечными принесет она свою веру и свое утверждение родины!

Петр Иванов

La dame de Paris

ШЕДЕВР ПАРИЖА. В одни из своих прежних приездов в Париж, еще до войны, я сделал некоторое для себя открытие. Я увидел и понял высшее произведение искусства Парижа. Драгоценный плод творческого парижского духа — дама.

Не так-то легко встретить и узнать шедевр искусства в блистательном городе, подавляющем разнообразием встреч и красок. Ведь тонкое произведение искусства никогда не кричит: оно как бы всегда запрятано в самом дальнем углу огромных музеев, и нужен поистине глаз знатока, чтобы увидеть его издалека и признать.

Две встречи остались у меня в памяти из этого прежнего времени — две дамы, сначала показавшиеся мне совершенной загадкой: я не мог понять, откуда волнение, которое они вызывали. При виде их, помимо внешнего впечатления, являлось еще какое-то острое внутреннее чувство — восхищение, восторг, необычайное изумление. Потом я вспомнил и сравнил это впечатление с тем чувством, которое рождает в зрителе истинное и многоценное произведение искусства. Любовь особого рода.

ДАМА В ЧЕРНОМ. Что отличало первую даму, которую я встретил, чем она привлекла мое внимание? Лицом? Нет, ее лицо было общее лицо всех не некрасивых парижанок. В ее облике не было ничего духовного, что привлекает к себе сердца, ничего доброго, никакого внутреннего горения, ни даже волшебства прирожденного женского очарования. Однако именно сердце начинало усиленно биться при виде ее, при сознании, что она здесь. Я сидел невдалеке от нее в вагоне первого класса метрополитена, мчавшегося к порту Дофин. Она была не одна, ее провожал элегантный молодой человек, видимо, они возвращались с любовного свидания. Она тотчас заметила мое внимание, хотя я тщательно скрывал его. И когда, выйдя на авеню Булонского Леса, она простилась со своим спутником и направилась к одной из тихих, изысканных улиц этой местности, я сделал несколько бесцельных шагов вслед за ней, как бы стараясь продлить и угадать непонятное чувство, которое она вызывала. Но тотчас остановился. Чуть склонившись влево, одним глазом она следила за мной, провожавшим ее полувосхищенным взглядом,— мое внимание доставляло ей удовольствие. Я долго не задумывался над этим странным явлением. Впечатления быстро летели через меня в очарованном городе, и она скоро исчезла из вида. Однако в памяти продолжал жить оттенок восхищения — и это восхищение касалось того соотношения, в каком дама находилась к своему наряду. Представлялось нечто движущееся, живое — наряд, и в нем дама. Например, я не мог представить себе даму без шляпы — шляпа была продолжением головы, ее изысканно-живым завершением. Наряд жил и дышал вместе с этой женщиной. Они оба друг от друга зависели и были цельным существом. Самое характерное, что туалет дамы не был сложным: черное платье и черная шляпа. Не оставалось никакого впечатления от отделки, а между тем ведь отделка — именно и есть то, что называется нарядом. Отделкой была она сама.

ДАМА В КОРИЧНЕВОМ. На вокзале Quai d'Orsay пассажиры ожидали подачи поезда Sud-Express. Бродя среди публики, я ничего не встречал интересного и значительного. Между тем этот экзотический поезд шел в Испанию, и, беря билет, я надеялся встретить в нем нечто не совсем обычное. Но не было ничего.

Почему-то поезд задержался. И вот, все продолжая слоняться среди публики, я стал отдавать себе отчет в одном впечатлении. Сначала я игнорировал это впечатление — в нем не было ничего экстравагантного и оно совершенно не соответствовало моим испанским экзотическим ожиданиям. Напротив, было совершенно противоположное — обыкновенная дама в дорожном пальто, ничем внешним не говорящая о себе. И даже пальто было на первый взгляд неопределенного цвета. Однако почему-то сразу мое внимание отметило эту даму, и сколько я ни отказывался от такого неинтересного объекта наблюдений в Зюд-экспресс — что-то внутреннее во мне продолжало сосредоточиваться на ней. Наконец, я почувствовал необходимость несколько отложить свою жажду испанских встреч и разобраться в этом медленно нараставшем чувстве влечения к даме в дорожном пальто. Прежде всего я отметил, что дама эта,— очевидно, высшего парижского общества,— окруженная несколькими провожавшими ее лицами, решительно не обращает на меня никакого внимания. Однако что-то в ней и затем во мне — какая-то зависимость от нее, навязчивое ощущение ее, как бы далеко ни отошел я в сторону, говорили мне, что она великолепно видит меня и знает о производимом впечатлении, хотя и обращена ко мне все время спиной. Изредка она бросала совершенно неопределенный, такой же неопределенный, как цвет ее пальто, косой взгляд в сторону — почему-то казавшийся направленным ко мне. В этот момент она как бы отвлекалась от своего общества и сближалась со мной. Я вскоре открыл, что цвет ее пальто вовсе не неопределенный, а даже очень определенный, именно коричневый, некоторый оттенок коричневого, быть может слабо выраженный. В слабом выражении краски была несомненная преднамеренность. Коричневый цвет был подобран с изысканнейшим вкусом и со скрытой целью не обращать на себя внимания. Эта черта была самая характерная во внешнем облике дамы,— весь ее вкус был направлен на то, чтобы сделать себя совершенно незаметной, несмотря на изысканность своего существа. Особая тонкая сеть для привлечения к себе наиболее интересных для нее людей,— впрочем, это я понял не тогда, а гораздо позднее. Происходил некоторый отбор, вокруг нее отстаивались только те, кто умел ценить утонченную изысканность,— все грубое и вульгарное само собой отпадало, ибо плохие ценители шедевров просто не замечали ее.

Как только я нашел скрытое достоинство дамы — ожидание экзотизма оставило меня, и сердце мое стало открываться ей навстречу — я испытывал нечто, похожее на восхищение.

Через полчаса после отхода поезда метрдотель вагона-ресторана посадил нас вдвоем за четырехместным столом прямо друг против друга. Помню, как меня изумило, почти потрясло это случайное распределение мест. Однако данное совпадение было в моей жизни началом целого ряда таких же, кажущихся случайными, совпадений. И теперь я знаю наверное, что вступление в тайную связь, некую духовную зависимость,— как мы с этой дамой,— влечет за собой массу встреч, сплошь и рядом в самых непредвиденных местах и в самое неожиданное время. Отдаваясь во власть духовных чар, мы подпадаем под тайную власть некоего, и некий начинает режиссировать нашей жизнью по своему произволу, однако доставляя нам до времени только удовольствие.

Удовольствие, переходящее в утонченнейшее наслаждение, испытывал я, сидя за столом против дамы в течение длинного завтрака. Я совершенно поддался тому чувству, которое можно определить как непрерывное восторженное восхищение. Чем я восхищался? Изысканной тонкостью, из какой состояла дама. Вот тот оттенок коричневого в ее пальто был с необычайным искусством проведен не только через весь ее туалет — мельчайшие,

тонкие, почти неуловимые для глаз, переходящие из одного в другой нюансы,— но и через все ее существо. Он был в выражении глаз, в улыбке — это почти нельзя передать словами и понять: облик ее был отражен в моем сердце, и ум отдавал отчет, безмерно наслаждаясь искусством изысканно-коричневого существа, создавшего самого себя, самозвучащего на высоте своего творчества. Между нами установилось некое волнение — и по этому волнению передавались нам различные вибрации ощущения — где не было ничего цельного, определенного. Пламенем нашего вдохновения было во мне восхищение ею и в ней — радостное отдавание этому восхищению, желание его. Это были модуляции, вариации, бесконечное творчество невысказанного да и несуществующего чувства. Тонкое наслаждение заключалось именно в полном отсутствии цели, в нежелании знать, что такое связывает нас. Как два музыкальных инструмента, на которых играет кто-то неведомый какую-то чрезвычайно интересную, ослепительную сонату,— мы звучали и наслаждались, не желая ничего знать друг о друге, боясь даже мыслью коснуться возможности воплотить таинственное наше чувство.

Мы находились в мире неоформленного и не были людьми друг для друга. Наши отношения кончались там, где еще не начиналось существо из плоти и крови, выражение слов, формы, жизни. Мы как бы перестали существовать на твердо ограниченной земле — и знали, что земное выражение мгновенно уничтожит музыку наших душ. Поэтому, когда, повинуясь светскости, я подал ей тарелку, случайно придвинутую ко мне лакеем, она вдруг покраснела. Вся отдавшись внутренней музыке, она почувствовала это движение, подобно цветку анемона, как нарушающее стыдливость невыраженных наших отношений.

Музыка оборвалась вместе с окончанием завтрака и еще раз глубже оборвалась навсегда,— ибо я уходил, как я после узнал, от изысканности и непосредственности впечатлений к иным чувствам в своей жизни, уничтожившим мое прежнее сердце,— в последний раз я увидел ее в окне отцепленного на станции Биарриц вагона. Почему-то в этот момент лицо ее показалось лишенным музыкального выражения; она чуть-чуть улыбнулась мне, и в этой улыбке проскользнуло слабое и утомленное, другое. Исчезло напряженное чувство, которое делало ее звучавшим произведением искусства.— «На время снова сделалась она человеком»,— подумал я, глядя вперед, где стояли вагоны, готовые унести меня в Испанию.

ТАЙНА ПАРИЖА. Те, кто любит Париж, всегда говорят о каком-то легком, подхватывающем стремлении в этом городе; вся жизнь, благодаря ему, кажется острее, приятнее, возбужденнее, все чувства изысканнее, и радость — дрожащим блеском, не имеющим конца.

Дух Парижа — туман сердца, завороженное. Его нужно воспринимать так же особенно, как нифийская жрица вдыхала одуряющие пары, делавшие ее иным существом.

Всякий, кто приехал поклониться духу Парижа, приобщиться его красоте, должен начать свое паломничество с Place de la Concorde и прилегающих к этой площади разветвлений — садов Тюильри, Елисейских полей и причудливо изогнувшихся бульваров. Тогда все в этом городе будет казаться странным, чудесным, волшебным. Тот же, кто вздумает начать свои прогулки вне этих заколдованных мест, рискует получить духовный грипп — отвратительную болезнь не поддающихся опьянению парижан. Париж, не окутанный блеском своего духовного тумана, скучен и сер, темен и страшен. Грязный город. Чтобы жить в нем, необходимо не чувствовать действительности.

Лучший поэт этого города, больной его красотой, Бодлер говорил в отчаянии: «Будь всегда опьянен: где бы ты ни проснулся — немедленно снова начинай опьяняться, чтобы не чувствовать ужаса времени». Париж знает счет времени, ибо дни его сочтены.

В последний свой приезд в Париж я не хотел отдавать сердце волшебству очарований.

Я въехал в город с закрытым забралом, принадлежа Иному Существу, чем то, которое владеет Парижем. Мне хотелось отыскать старую красоту Франции, а Париж увидеть не завуалированным.

И долго не шел я на колдовскую площадь Согласия, изучая город по его периферии, вне центра. И тут я видел тоску, струящуюся из глаз обездоленных парижан. Ибо все свое богатство дарит дух Парижа любимцам своим, жителям Елисейских полей и обитателям бульваров, остальными же он питается как жертвами. Париж — это спрут, высасывающий сердца. Я видел здесь изможденные лица людей, лишенных жизни. И даже в глазах милых детей читалась безучастность. Смысл существования уничтожил дракон, протянувшийся по кайме центральных улиц. И, как щупальца чудовища, охватили кабачки весь город. Будь всегда опьянен, чтобы не чувствовать гнета времени! Через каждые три дома — прилавок, где рюмки абсента — тонкие кровососные щупальца — непрестанно с раннего утра высасывают сердца, питающие кровью своей живой город.

Чего бы хотели измученные люди, обезумевшие от никогда не умолкающего шума и стремления? О чем их единственная мечта? Они хотели бы отдохнуть. Но нет отдыха! Париж — это противоположность благородной и необходимой роду людскому тишине.

Куда он стремится, этот страшный город? Отчего так ужасен темп его движения, не имеющий равного во всем мире?

Нет у него цели! Смотрите на площадь Согласия, как мелькают там во все стороны несущиеся экипажи. Хаотический круговорот движения. Он полон самим собой, этот город, он наслаждается собой, он любит себя, он хочет, чтобы все любили его и жили им, и одуряет блеском своего тумана одних и опьяняет абсентом других.

Счастливые и несчастные — все его рабы, не чувствующие своего рабства и своей жалкой доли, думающие, что они живут в прекраснейшем городе в мире.

И, как высшее свое выражение, создал этот город бесплодную парижанку.

КРАСОТА ФРАНЦИИ. Когда-то в Париже и во Франции — над Парижем и над Францией — возвышался храм Нотр-Дам де Пари. Это был центр, питавший сердца. Мадонна с Божественным Младенцем на руках была утешением, радостью, единым стремлением. Пресвятая Дева Мария любила своих парижан, и они отвечали ей кротостью и послушанием. Быть может, и теперь есть где-то затерянные сердца, чьи души устремлены к Любящей.

КРАСОТА ПАРИЖА. Дама без ребенка стала божеством Парижа, и, сообразно с этим, переместился питающий сердца центр города. Подобно бесплодной женщине, пустая площадь Согласия сделалась красотой, все озаряющей и все одухотворяющей. Это пасть с тремя расходящимися во все стороны хвостами — туманным сиянием тюильрийских садов, плотоядной роскошью бульваров и длинным великолепием Елисейских полей, оканчивающихся, как у гремучей змеи, овальным кольцом Этуали.

Я был осторожен в последний свой приезд и долго не чувствовал красоты Парижа, не шел на площадь Согласия. И когда однажды отправился в эту сторону, то избрал путь противоположный обычному: не от Конкорд к Этуали, а от овальной Звезды через Елисейские поля к месту нифийских испарений, к Согласию.

И вот, странная вещь. Идя по Елисейским полям (в первый раз после десятилетнего отсутствия), я не ощущал красоты. Да, было красиво, даже по-городскому величественно,— но то чувство, которое называется красотою: восторг в сердце, преклонение, восхищение ума, ощущение чуда,— этого не было. Но когда подошел к площади, остановился в изумлении: здесь была красота. Я чувствовал подступающий восторг. Но почему? Откуда идет это очарование? Был серый день и пустое, огромное серое место передо

ной. Уж конечно, не от статуй, окаймляющих площадь, была эта красота. Без них, быть может, еще сильнее чувствовалось бы очарование. И не от зданий, теряющихся в громадности площади. Ничего, в сущности, нет: серый асфальт, серый камень. Но сердце ощущает красоту. Какой-то духовный мираж.

С отравленным сердцем вступаю в Тюильри. Очарование продолжается. Сажусь на каменной скамейке в стороне от бассейна. И вот чудится мне, что все кругом наполнено движущимся невесомым бархатно-серым эфиром, сердце изнывает от восхищения. Невидимые розовые необычайной красоты розы колеблются в сером воздухе.

С томительным ощущением направляюсь по аллеям Тюильри, мимо цветников, к Триумфальной арке розового потускневшего мрамора. Кругом реют чудесные обещания и ранят сердце.

Движение к мосту Royal, пересекающее Тюильрийский сад, задерживает меня и на момент увлекает за собой. И вдруг среди переменчивого движения улицы я чувствую нервный ток. Кто-то стремится овладеть моим сердцем. Это сразу пробуждает от летаргии. Все во мне вздрагивает и настораживается. Сердца своего я не отдам, оно принадлежит не мне. Ангел-Хранитель, защити!

ДАМА В СЕРОМ. Дама позади меня,— я знаю,— она отразилась в моем сердце. С осторожностью, то есть принимая все меры — не пропустить внутрь сладкого яда, чтобы отравление осталось только на поверхности,— с понятным, но ничем не проявленным и не острым (скорее изумленным) любопытством пропускаю это существо вперед. Она проходит в нескольких шагах справа от меня. Конечно, она (так же, как и я) ничем внешним не дает понять нашего внутреннего столкновения. Но она знает — и это я чувствую по ее неуловимой на взгляд настороженности — о впечатлении, произведенном на меня. Я иду несколько шагов сбоку и сзади от нее. Кругом масса прохожих, но это не мешает нашей, можно было бы сказать, увлекательной музыке, если бы я дал этому ощущению ход. Но я плотно запираю сердце и держу только нить этой завязки, так сказать, первую волну вибрации, желая кое-что проверить (свои старые впечатления), но отнюдь не начинать живого общения. Итак, мы двигаемся.

Что приносится ко мне по волнующейся нити, связавшей нас? — Опять, как на площади Согласия, начало восторга, приступы восхищения. И опять перед ничем не выдающимся внешне. Дама в сером (оттенок голубовато-пыльный с переходными нюансами), но красота вне видимости. Это дух изящества, воспринимаемый не при посредстве пяти чувств. Ожившее драгоценнейшее произведение искусства. Стиль, сделавшийся человеком, или, лучше сказать, человек, превративший себя в стиль.

Чего хочет ожившее произведение искусства? Конечно, она желает, чтобы заметивший ее драгоценность высказывал бы свое восхищение и благоговел. Но, вследствие запрета моему сердцу, происходит заминка. Ценитель и произведение искусства встретились, но не чувствуется обычного продолжения.

Ее голова чуть-чуть склонена влево — зрачок глаза блестит, и все существо напряженно обращено в мою сторону — она ждет.

Но я уже понял до конца все, чего не понимал до сих пор: перечувствовал все возможности, услышал далекую музыку, сладостный обман пустоты, протянувшийся как бы в вечность.

Обогнав у тротуара к мосту, пропускаю ее вперед с ее застывшим видом невнимания и дрожащим косым взглядом. И, когда она почти исчезает в толпе среди моста, я позволяю себе на мгновение пустить волну восхищения, что скрепляет нашу связь, но тотчас же стараюсь закрыть сердце и преодолеть возможность встречи (ибо, как уже было сказано, поддаться восхищению — значит вступить в таинственную, уже не от нас зависящую связь и в чудеса неожиданных встреч).

ОСАДОК. Продолжаю свою прогулку, отстранив усилием воли тоску и томлеиие по красоте Парнжа. Люксембургский сад. Я всегда любнл цветы — любил делать букеты — и собирать цветы было для меня наслаждеиием. Цветами полои сад. Искусствеиный дождь среди лучей солица заставляет их переливаться всей радостью своего цвета. Я останавливаюсь и смотрю. Но странио — цветы не восхнщают меня, мие очеиь хочется откликиуться иа их прелесть, любить их, но сердце молчит. Изумлеииый, я начниаю размышлять и спрашивать ответа у сердца. И тогда стаиовнтся понятно, что другая красота сторожит меня н хочет заполиить, более действующая и властиая. Я вспомииаю площадь Согласня и изыскаииую простоту жеищииы, исчезиувшей на сенском мосту. Я ие дал там ожить впечатленню, оскопил себя, и не цветы земли могут замеиить те духовно высшие материальные очароваиия.

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ГОРОДА. Живая женщина, превратившаяся в звучащую вещь, откликающаяся сердцем на все зовы людей, оценнвших ее стиль. Что это такое? Это — совершеиный тнп парижского жителя, воплотившего мелодию города, влюбленного в себя. Его красота н его дух олицетвореи ею. Оиа также, как н он, влюблеиа в себя, как в идеал. Цель ее жизии илн, вернее, бесцельиость — притягиваиие к себе (вбиранне) почитателей.

В ией развились иеобычные способиости магического общения с теми, кто благоговеет. Она умеет (живой город дал ей эту способность) отражаться в сердцах, сама как бы преподносящая самое себя и посылающая иевидимо иа расстояннн, как иидийские йоги, свое очарованне, воизающееся в чужие сердца и уничтожающее волю.

Ей ие нужиа любовь, ие нужна доброта, ие нужеи человек, ей иеобходимы только люди, лишеиные себя и наполнеиные благоговением к ией.

Оиа как жнвой город, который инчего ие даёт, нбо у него иет сердца, а только один стиль. И поскольку она послушное подобие Парижа, он даёт ей иаслаждеиие н счастье быть выраженнем своего духа.

НЕСЧАСТЬЕ ПАРИЖАНКИ. Но женщнна эта — живое изваяние Парижа — человек. И в этом её страшиое иесчастье.

ОРИГИНАЛ И КОПИИ. Изысканный художннк, Париж, создал шедевр — парижаику. И оиа прекрасна, как оригннал, и жива.

Но живой город хочет владеть ие только теми зиатоками, которые цеият его совершенное произведеиие, ио и всеми людьми. Брезгуя иметь лнчно дело с иизшей породой людей, он ставит перед инмн мёртвый маиекен моды и требует, чтобы остальиые парнжанки и даже жеищииы всего мира копнровали его.

Вот почему обыкиовеииая жнтельиица Парижа похожа иа куклу. Она так же, как н дама-шедевр, влюблеиа в свой город и хочет быть его послушиой рабой, ио лишеиа творчества. Ей иичего ие остаётся, как сделаться точной копией мёртвой моды. Течением моды виешне изменяется покрой её платья, ио виутреиний остов всегда одии и тот же, как манекен. Заучеииые жесты, приёмы, ношение костюма.

Копии иеобходимы для Парнжа как примаика ннзшего сорта. Оин сообразио своему безвкусию сделаны иа все вкусы и всех сортов.

ДУХ ПАРИЖА. Где иайти его? Какова сложиость и глубина этого таииствениого владыкн?

Place de la Concorde — вот где раскрыт парижский дух и всякому зрим. Здесь ключ волшебной красоты бульваров, Елисейских полей и Тюнльрн. Здесь оии сталкнваются н как бы обрываются пустотой. И из виезапной пустынности этого места пресечения и

обрыва возникает иллюзия красоты — главный мираж Парижа.

Пустыня — вот родина миражей. Волшебное очарование иллюзий исчезает в небытии. Раскрываясь как бездна, дух Парижа кружит и опьяняет и обманывает до конца. Здесь его самое опасное место. Омут. Отсюда нет возврата неосторожному.

ОТРАЖЕНИЕ В МИРЕ ПРАВДЫ. Несколько дней я останавливался на площади Оперы, оживленнейшем месте Парижа, и наблюдал движение.

Немного времени спустя, сидя дома, я вдруг увидел эту площадь как бы приподнятую над землёй и склонённую к невидимому солнцу. На ней не было всегдашнего течения улицы, но совершался какой-то безумный маскарад. Необычайное разнообразие и разноцветность костюмов. Не было здесь ни одной обычной человеческой фигуры — люди с искривленными лопатками, с вывернутыми руками, с двумя горбами, с приплюснутой головой — урод превосходил урода. Маскарад безнадёжных калек.

Никто из них, конечно, не знал о своём страшном убожестве, и все спешили справлять ежедневный праздник.

Так подсмотрел я однажды в зеркале правды истинный смысл бесцельно стремительных парижан.

ОБРЕЧЁННОСТЬ. Как парижанка в своё время ответит за то, что умертвила живую душу свою, обратившись в произведение искусства, так Париж ответит за то, что погасил живые святыни свои и превратился в красоту пустыни.

Поднимется смерч из бездны его, и он упадёт. И падение его будет великое.

Вот почему в глазах парижских жителей тот, кому ведомы законы вечной жизни, читает обреченность.

КРАСНЫЙ ЧЕРВЯК. Недавно видел я, как длинный красный червяк, гнусавя по Елисейским полям, потянувшись от Этуали и дважды охватив кольцом площадь Согласия, медленно проползал, теряясь у палаты депутатов.

Когда кто-то спросил, что происходит,— усмехнувшись, ответил один из знаменосцев: «Красного вождя венчаем бессмертием». И, оскалившись, прорычал: «Смерть остальным!»

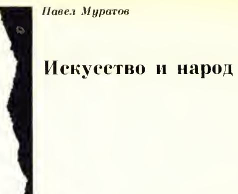
ВИДЕНИЕ. Блеск движения и роскошество света изогнувшихся бульваров сразу замирает на площади Республики — она их мертвая голова. Отсюда расходятся потемневшие улицы, по ним в своё время поползут красные черви, которые сожрут богатство и радость всех авеню.

Вечером я сел на мертвой площади Республики в автобус, мчавшийся в страстную ослепительность бульваров. Новый нечеловеческий свет проникал в моё сердце. Казалось, вся энергия дневного солнца, растревоженного в ночи, перевивалась мигающим блистанием, все волновалось и звало куда-то.

И когда на маленькой площади позади оперы вышел я на охваченную светом и движением улицу, сладостное томящее чувство наполнило грудь, как бы десятки женских взглядов впились в меня истомной изысканностью.

И, быстро уходя, преследуемый нестерпимым желанием земной красоты, хотел я избавиться от наваждения и не мог.

Только спустя много времени возвратилась душа моя к тишине. И тогда вдруг опять мелькнула небольшая площадь, в ужасе остановившийся роскошный автомобиль, перед распахнутой дверцей фигура в разодранной рубахе, с занесенным ножом.



Павел Муратов

Искусство и народ

I

Мировая (точнее говоря, европейская) революция, которой одни боятся с такой ненавистью и другие ждут с такой надеждой, несомненно совершается в области социально-психологической. Сказывается это в ощущении явно возросшего участия в жизни, давления на жизнь народного человека. Да, именно народного человека, а не пресловутых «широких народных масс». В этом очерке речь ведь идет не о политике и не об экономике. Широкие народные массы устраивают политику и экономику, но живут составляющие их люди не каким-либо массовым способом, а все тем же индивидуальным, оставаясь в жизни множественностью «народных человеков».

Здесь идет речь не о политике и не об экономике. Политика и экономика — будни, средство, но не цель. Цель жизни всегда и везде все-таки праздник. Человек живет для субботы,— таково основное убеждение пишущего эти строки. И разве действительно для самого «пролетарски» настроенного пролетария праздник — это шествие, флаги, речи и резолюции? Это обязанность, это служба или, если угодно, своего рода дань общественности. Но свой человеческий праздник для него,— это все-таки улыбка знакомой девушки, игра на футбольном поле, рыбная ловля в пригородной речке, или подвиги артиста на экране кинематографа, или стакан вина в остерии, или (о ужас!) рюмка запретной водки. По праздникам никто не желает читать «Капитал», а читают скорее «Тарзана». Да это и понятно с какой угодно точки зрения: можно твердо верить в то, что надо осуществлять Маркса. Но осуществлять все-таки для чего? Да хотя бы для того, чтобы больше его не читать, а читать «Тарзана»...

После войны стало очень заметно желание народного человека участвовать в жизни не только с будничной, но и с праздничной ее стороны. Степень участия возрастает на наших глазах повсеместно. Воскресные поездки высокооплачиваемых американских рабочих в собственных автомобилях, всеобщие танцы берлинских работниц и прислужниц, демократический велосипедный спорт в Италии, бесчисленные кино в народных кварталах всех городов Европы, крестьянские девицы, одетые как дачницы на подмосковных станциях, театр в каждом русском фабричном поселке и пудра, как важный предмет товарообмена в глухой русской деревне — все эти разные явления принадлежат к одному порядку вещей, к психологически несомненно *новому* порядку вещей.

Политические позиции завоеваны или еще только завоевываются, теми ли, другими ли способами. Это дело серьезное и... будничное, как всякое дело. Этому делу — время, а безделью — час, но какой час! Может быть в этот час только и живет человек своей человеческой жизнью, принося остальное в жертву требовательным и жестоким, неизвестным богам государства и общества. От этого часа человек никогда и ни за что не откажется. Не станет ждать, пока совсем уладится «серьезное дело». Свою долю праздника желает он получить теперь же и там, где застала его историческая минута. Пройдите в часы отдыха по улицам народного квартала в стране, «официально не достигшей» социального счастья. Как

много, однако, счастливых лиц, и какое ничем не преоборимое органическое чувство жизни! Таких лиц, такого чувства не встретишь в другой среде, экономически более благополучной и социально пока более благоприятствуемой государственным строем.

Сравнение современного народного человека с человеком, принадлежащим к другим слоям общества, почти всегда невыгодно для последнего. Что может быть скучнее и ординарнее «публики» в вагоне второго класса! И рядом с этим, в вагоне третьего класса, сколько приветливости, доброты, находчивости, естественности, какое достоинство в этом умении быть и в этом нежелании казаться. Когда сидишь на барке, перевозящей по утрам за полторы лиры из Сорренто в Неаполь бедный прибрежный люд, какой необычайный вкус к жизни приобретаешь — не то от близости стихии моря, не то от соприкосновения с народной стихией. И когда после того возвращаешься на пароходе, везущем туристов на Капри, какой убогой, какой уродливой, какой бездарной кажется «приличная» международная толпа, какой негодной, как выжатый лимон, кажется ее жизнь!

И это, конечно, не случайное впечатление. Есть оскудение, обмеление в современной психике средних и высших слоев общества. Есть понижение в них общей жизненной энергии. Не будь этого оскудения и понижения, не было бы и всех тех кризисов — кризиса государственных форм, кризиса права, кризиса морали, кризиса искусства,— которые заставили говорить о кризисе Европы. Надо заметить, что европейский народный человек в эти кризисы вовсе не вовлечен или вовлечен только лишь в малой степени. В теории европейской жизни, в строении и оттачивании ее форм он участвовал мало в XVIII и XIX веках, неизмеримо меньше, во всяком случае, чем в XIII и XIV веках. В значительной мере он чужд им и в большей части за них не ответственен.

В области искусства это отчуждение народного человека так велико, как ни в какой другой. Мы часто не отдаем себе отчета в том, какая пропасть отделяет нас, то есть людей, для которых как будто бы еще существует искусство, от тех, с кем живем мы бок о бок и для кого искусство — вне поля зрения. Попробуйте поговорить с вашим соседом в трамвае или с монтером, который приходит в вашу квартиру проводить электричество и чинить водопровод,— попробуйте поговорить с ним о Скрябине, о Дебюсси, о рисунках Пикассо или новых залах Лувра, о романах Пруста или даже достоинствах прозы только что умершего Анатоля Франса. «Нас» и «их» разделяет здесь пропасть, нисколько не меньшая той, которая отделяет нас от бедуина, от сингалеза. Не меньшая той, которая отделяла римлянина конца империи от галла или лигурийца, служившего на его вилле садовником.

Народный европейский человек такой же варвар в смысле искусства, какими были те галлы и лигурийцы по отношению ко всему укладу римской цивилизации. Это надо сказать со всей прямотой и не ссылаться на кое-какие жалкие просветительные попытки (какие-нибудь экскурсии, какие-нибудь популярные лекции и концерты), которые всегда являются каплей в море. Давно кем-то сказано, что современные огромные города восстанавливают психическую среду первобытных девственных лесов. Индустриализм XIX века варваризировал народного человека. Бедняк Лондона и Нью-Йорка возвратился психологически в первобытное состояние. Современнейший дикарь живет рядом с нами, и мы не замечаем его только потому, что он не носит перьев или кольца в носу, но одет в «приличный» костюм.

Но это, разумеется, крайности. Как в дебрях далеких стран, так и в толще больших городов есть племена, стоящие на разных ступенях цивилизации. Ближайшие из них к европейскому поселенцу заимствуют внешне европейский быт. Так, неимущие люди больших европейских городов, относительно менее придавленные нуждой, усваивают быт имущего человека. Жена английского квалифицированного рабочего уже пьет пятичасовой чай и не прочь переодеться к обеду. В Италии на этот уровень цивилизованного обычая поднялись пока только семьи важных чиновников и адвокатов.

В том быте социальных счастливцев, которому начинает подражать относительно менее несчастный социальный несчастливец, он не встречает, конечно, искусства. Искусство

ушло из жизни средних и высших слоев общества. Почему и как это случилось, пишущий эти строки пытался объяснить в очерке «Антиискусство»*. За искусством осталась как будто бы лишь очень скромная социальная роль — оно сделалось лишь одним (и далеко не единственным!) из видов рекреации. Как ни скромна эта роль, все же именно здесь находится весьма важный пункт сцепления искусства с народным человеком. Часть рекреации — часть праздника. И, умалившись в своей исторической роли, искусство осталось, по существу, верным себе. Оно и есть часть той субботы, ради которой жив человек. В своей жажде жизни, в своем добывании праздника народный человек придет к искусству. Неважно, каким путем сделает он это. Несущественно, что придет он к этому сквозь пошлости кинематографа или скверного, купленного на лотке романа, а не по указанию компетентного лектора в народном университете. И может быть, даже лучше, что придет он именно так, руководимый своим собственным, а не чужим опытом. А если придет, в своем бурно возрастающем участии в жизни, в своем все сильнее и сильнее ощущаемом давлении на жизнь, то будет это не безразлично и для самого искусства. Во всякое суждение о судьбах искусства этот неизбежный, по-видимому, приход к нему народного человека вносит очень существенную поправку.

II

Но что за категория — народный человек! Не правда ли, совершенно ненаучная категория. Согласимся, что ненаучная, пусть это будет категория художественная. И оттого точные определения трудны, как всякие точные определения художественных категорий. Можно сказать так: народный человек — явление органическое, как бы параллельное «флоре и фауне» некой определенной зоны. Это *фигура в пейзаже*, но фигура необходимая в данном пейзаже, без которой пейзаж перестает быть и верным и полным пейзажем. И оттого народный человек, так сказать, прежде всего и проще всего, крестьянин, человек, живущий на земле и вместе с землей,— участник пейзажа неисключимый. Но разумеется не только крестьянин, а и ремесленник и житель вообще иных, даже больших городов, так как и некоторые города органичны, и пейзаж есть не только пейзаж деревни, но и пейзаж города.

С другой стороны, не всякий человек, занимающийся трудом земледельца, народен. Колонист, обрабатывающий с помощью тракторов поля пшеницы на Дальнем Западе Америки, не народен. Он не народен потому, что не входит ни в какой пейзаж. А усовершенствованные поля пшеницы с тракторами на них? Это не пейзаж, это лишь механически устроенная видимость, далеко не всякая видимость есть пейзаж. Все то, что механически устроено, вопреки органическому и природному порядку вещей, никоим образом не может назваться пейзажем. Видимый механический порядок есть в сущности своей, в своем отношении к природе беспорядок. Механическое созидание — это по отношению к природе только нарушение и разрушение. В степях Дальнего Запада исчезла фауна, искажена флора, и их судьбу разделил органический, народный человек.

Так, значит, Дальний Запад Америки не должен был никогда выйти из состояния девственной прерии, по которой кочуют стада бизонов и племена краснокожих индейцев? О нет, органичны и природны были и те европейские поселенцы, которые первые ввели оседлый быт и земледелие. Но ведь и они также боролись с природой теми механическими средствами, которыми располагали? Вот здесь и заключается что-то очень важное. Какая вообще это гибельная идея, идея борьбы с природой! Кем были впервые произнесены эти поистине проклятые слова! Человек до тех пор остается органическим, природным челове-

* См.: Современные записки. № 19.

ком, пока он находится в дружбе с природой, пока он идет вместе с ней, а не против нее. Заняв позицию «борьбы с природой», становится он врагом мира, нарушителем и разрушителем естественного порядка вещей.

Что же касается механических средств, которыми он располагает, то здесь есть какая-то мера, которая нами (не очень даже давно) превзойдена. Но ведь механические средства — это тоже лишь использование сил природы, лишь разумное и изобретательное управление ими! Прекрасно! Пусть будет разумное управление силами природы и разумное приспособление их к своим надобностям. Но не *форсирование* сил природы, не превращение естественной данности мира в механический абсурд.

Где пролегает граница, сказать трудно, но, может быть, не так уж невозможно, если вспомнить известные всем примеры. Наблюдали ли вы когда-нибудь движение быстроходной моторной лодки по водной поверхности? Можно ли сказать, что она плывет, как плывет весельная или парусная лодка? Конечно, нет, скорость ее так велика, что она бежит по воде, высунувшись из нее носом. Не бежит, конечно, но у нас нет имени для этого, в высшей степени цельного, неестественного и неприродного, движения. И, наряду с этим, как природен парус, как пейзажен он не в поверхностном, но в очень глубоком значении слова! Другой пример: при езде на мотоциклете, на автомобиле замечали ли вы переход от человеческой к нечеловеческой скорости. Где этот переход — тридцать верст в час или шестьдесят — сказать нелегко. Но он где-то есть. До какого-то предела это все-таки ощущение езды, пусть очень быстрой езды, но все же не нарушающей какого-то естественного взаимоотношения «себя» и «земли». При нечеловеческой скорости это ощущение исчезает, это уже не езда по земле, а некоторая новая чисто механическая категория движения. Нечеловеческая скорость! Быть может, это понятие даже научное. Органический человек ведь имеет же какие-то конечные нормы для своих витальных и функциональных процессов. Разве эти нормы соответствуют каким угодно скоростям передвижения и разве не определяют они и известную конечность этих скоростей?

Говорят, что в Северном немецком море парусный рыбачий флот исчез и заменен флотом моторным. Наверно, добыча рыбы от этого выиграла. Но не исчез ли там рыбак — древняя разновидность народного человека? Не сменил ли его индустриальный работник, занимающийся ловлей рыбы и... нисколько однако не становящийся рыбаком от этого? Не видим ли мы повсюду эти печальные чудеса современности! Механиков разного рода, обслуживающих огромные паровые и турбинные суда, мы по старой привычке называем моряками и рядим в матросский костюм. Но недостаточно ездить по морю, чтобы быть моряком. Какие же моряки, например, те, кто составляют команду современного военного судна? Из семисот человек, быть может, два или три десятка имеют отношение к морю и морскому делу. Остальные — электротехники, минеры, артиллеристы, машинисты, кочегары, радиотелеграфисты и так далее. И уж конечно, кочегар или электротехник, сегодня работающий на море, а завтра на суше, нисколько не человек морского пейзажа, а следовательно, и вообще не органический, не пейзажный человек, не народный человек, в противоположность любому «коку» даже с парусной шхуны.

Итак, оказывается есть социальные силы, вырывающие человека из его природного и пейзажного лона и тем самым ввергающие его в ненародное состояние. Эти силы известны, это индустриализм. А именно индустриализм, а не капитализм, потому что и современный капитализм и современный социализм одинаково индустриальны, и в этом отношении между ними нет особенной разницы. Индустриальный капитализм и индустриальный социализм в одинаковой степени форсируют силы природы. Основа всякого индустриализма — добывание энергий и скоростей, далеко превышающих энергии и скорости данного нам мира.

Идея борьбы с природой дала в конце концов свои результаты. На наших глазах совершается вторжение механического внепейзажного мира в мир органический и пейзажный.

Здесь вовсе не идет речь о каких-либо этических сравнениях того и другого миропорядка. Есть, конечно, захватывающее величие в механических достижениях, есть бездна ума и гения в изобретениях нынешних и грядущих. Быть может, единственное миром управляющее дело совершается сейчас именно в лабораториях химиков и институтах физиков. Конечно, там делается настоящая история человеческого рода, а не в парламентах и диктатурах. Там — глубокая, подземная динамика социальной жизни.

Но... одинокий ученый, совершающий выкладки в тишине своего кабинета,— такова ли картина, изображающая нам «благодетелей человечества»? Вот это сомнительно. Выкладки в тишине кабинета дали человечеству индустриализм, который есть зло *не только* в его капиталистическом социальном обличии. Индустриализм вызвал в реальность новые энергии и скорости, которые, будучи однажды вызваны, не могут уйти. Они могущественно перестраивают мир на механический лад, и в этом перестроенном мире нет места для искусства, есть только место для антиискусства. В нем, разумеется, нет места и для пейзажного человека, народного человека, который является и объектом и субъектом искусства.

III

Народ состоит из «народных человеков». Если мы примем это, то нам не понадобится вкладывать особого мистического смысла в понятие народ, чтобы сделать это понятие очень важным для всякого суждения о художественном творчестве. Где народный человек исчез или не народился, там есть нация, классы, все что угодно, но там нет народа. Есть ли, например, американский народ? Все, что можно сказать, это, по-видимому, только, что в Америке еще есть некоторые народные элементы, скорее всего в западных или южных штатах. Эти остатки складывавшегося и не сложившегося американского народа, осколки того, что было разбито индустриализмом 1860—1870-х годов. И странно сказать: один из наиболее народных элементов в Америке — это негры. Странно только на первый взгляд, и уже не странно, что этот народный элемент успел дать в искусство все-таки свою линию — музыку и пляску, подхваченную сейчас всей Европой. Да, в искусстве, ибо мы не имеем никакого права сказать, что jazz band * и заимствованные у негров танцы — не искусство. Но ведь именно негр с плантации изобрел это, а не благоустроенный рабочий с заводов Форда!

В Америке была борьба между ненародным и народным, отчасти эта борьба выразилась в войне 1861—1865 годов, только как раз обратно тому, как принято об этой войне судить. С победой индустриального севера был зарыт в могилу природный и пейзажный американский человек: белый и красный. Черный человек оказался только живучее в своей первобытной природности, но, впрочем, сосчитаны и его дни. В более новых колониальных государствах, в тех, которые выросли в эпоху индустриализма, само собой ясно, что никакого народа нет и не было — ни в Австралии, ни в Новой Зеландии (бедные маори не идут в счет), ни в Канаде (а ведь было зерно иной Канады в давние, еще французские времена).

Но оставим, однако, заморские континенты. В Европе, в древнем котле народов, всюду ли цел народ? Есть ли народ в самой «передовой» нашей нации, в Англии? Не виден народный человек в Англии, и, чтобы найти его, надо забраться в какие-то глухие углы Уэльса или горной Шотландии. Нигде так давно, нигде так отчетливо не распределились «классы», как в Англии, нигде не сильна в такой степени практика индустриализма, нигде не бесспорна в такой мере научная социальная категория, нигде не покажется таким «устарелым» понятие «народ» и такой неуместной наша художественная категория народного человека.

* Джаз-оркестр (*англ.*).

Во Франции и в Германии есть, конечно, народ, и еще в большей степени есть он в Италии и в России. Тогда, значит, схема ясна: чем более «отстала» страна промышленно, чем более сохранился в ней ремесленный или земледельческий уклад, тем более она народна. Это верно, но верно лишь отчасти. Художественная категория народного человека сложнее и тоньше, чем чаще всего совпадающая с ней категория социально-экономическая. Как уже говорилось выше, есть свой пейзаж у некоторых больших городов (у тех, которые сложились не по щучьему велению индустриализма). Есть, следовательно, пейзажный человек, народный человек города.

Парижанин, например, глубоко народен (вернее, был еще недавно глубоко народен, а теперь понемногу перестает быть), ибо Париж — великий исторический пейзаж. Есть парижанин вне различия общественных положений, вне профессий и вне состояний, и такой парижанин — народный человек, независимо от того, герой ли он Бальзака и Пруста или герой баррикад 48 года и коммуны. Есть также и петербуржец, как некое более глубокое и охватывающее, более органическое понятие, чем петербургский чиновник, петербургский ремесленник и даже петербургский заводской рабочий из числа тех, поколения которых выросли за Невской заставой. «Потомственный пролетарий» может ведь быть народным человеком. Не сам по себе труд промышленный и заводской не народен, но не народна современная научная предпосылка заводского труда. Индустриализм страшен в своем развитии, потому что от заводского дела, лишь осторожно приспособляющегося к природе, он должен фатально перейти к заводскому делу, абсурдно и грубо форсирующему силы природы.

Париж, Петербург и Москва органические, пейзажные города. В значительно меньшей мере можно сказать это о Лондоне и почти невозможно сказать о Берлине. Дело не в том, что Берлин некрасив. Гамбург, например, совсем некрасив, но органичен: он не менее пейзажен, чем красивая Генуя. И может быть, нечто пейзажное есть даже в самых черных от дыма промышленных городах Англии, в Мидлэнде. Понятно ли это, что старые ткаческие города Англии более пейзажны и более народны, следовательно, чем Рур, созданный Круппом и Штиннесом? Во всяком случае, эту поправку надо внести в высказанное выше суждение об Англии, поправку на «потомственного пролетария», который уцелел кое-где в Англии, как для Англии подлинный народный элемент.

Но если народен иногда «потомственный пролетарий», то может быть народен и потомственный дворянин? Нам ли, русским, не знать этого, не понимать настоящих народных черт, которые были в безвозвратно ушедшей в прошлое помещичьей жизни! Да, пусть «дачник» будет безобидная социальная категория, а помещик — «социальное зло», и все же народен помещик и не народен дачник, и в пейзаже русском *был* один и никогда не будет другой. Что касается примеров, то Лев Толстой вспоминается, конечно, прежде всего. Однако не только Лев Толстой, но и Тургенев даже, и вся почти русская литература прошлого столетия. Вот здесь и объяснение того, каким образом «помещичья литература класса» могла быть великой народной литературой. Да потому что никогда не была она «литературой класса», а литературой народного человека, сидевшего в русском помещике. Но фоне русского пейзажа проектировалась его сущность в данном повороте, а не на фоне его социального класса. Так проектироваться может крестьянин, ремесленник, в иных случаях и рабочий, но вот «дачник» так проектироваться не может и оттого не может создать решительно ничего.

В России, где настоящего индустриализма почти и не бывало, народился пока только дачник, все же остальное еще глубоко народно, и в этом наше великое счастье. Этой ценности мы не растратили, несмотря на всю нашу отчаянную расточительность, и растратим ее еще не скоро. По сравнению со своим западным собратом, насколько же еще более народен, невзирая на все «разрывы с народом», остается русский интеллигент! Только в Италии эта особенность чувствуется с такою силой, только в Италии, где, между прочим, есть и чисто русский «вопрос» о разрыве интеллигенции с народом. В странах

менее народных этой темы вообще нет. И здесь, по-видимому, заключается объяснение того притяжения между русским и итальянцем, которое объясняли часто сходством характеров. На самом деле сходства характеров никакого нет, но есть преодолевающее все перегородки и все несходства понимание. Это народный человек, сидящий в каждом русском, зовет народного человека, сидящего в каждом итальянце.

Вибрацию итальянского народного человека, вибрацию всего итальянского народа так явно можно было почувствовать в негодовании его на убийство Матеотти. Но, скажут, это политика! Для немногих это было делом политики, для многих, очень многих делом совести. Народная совесть в эти дни была такой же реальностью, как восход и заход солнца, и так же можно было видеть и ощущать ее лучи. Но что за устарелое выражение — народная совесть! Что делать, ведь и народ «устарел» в наш век индустриализма. Но пока он не перестал быть народом, с ним, с его психикой приходится всем считаться. В его психике вообще много устарелого, наивного, давно превзойденного «передовыми умами».

Народный человек и морален в несколько устарелом смысле этого слова. Он еще любит высокие слова, верит в героев, надеется на будущее. Он легковерен вообще, и его не трудно обойти и одурачить. Он не умеет подняться до аморализма вождей и цинизма тех, кто сделал своей профессией распоряжение его судьбами. Он великодушен и щедр, настолько великодушен и щедр, что даже не замечает, например, того (не хочет заметить!), что успехами «точных» наук он, вместе с великодушным собратом своим, бессловесным зверем, вместе с щедрыми лесами, сводимыми ради какого-нибудь дрянного газетного листа, он обречен на уничтожение.

IV

Народное искусство — вздор, коллективное творчество — еще больший вздор. За каждым произведением искусства есть художник, есть человек, а не коллектив. Но этот человек — почти всегда народный человек. В великом старом искусстве чрезвычайно ясна эта народность художника и вместе с тем и искусства. Постоянная близость его (спасительная) к ремеслу! Тициана от простого маляра отделяло расстояние гораздо меньшее того, которое отделяет Тициана от лишенного всякой почвы живописца современности. Итальянский Ренессанс вообще весь, сплошь народен от великого в нем до малого. Никто не решится оспаривать, что были глубоко народны изобретатели слагающих его блистательных эпох — Джотто, Донателло и Караваджо, нашедшие соответственно каждый — треченто, кватроченто и сеиченто.

Заметен здесь пропуск — чинквеченто, с его изобретателем Леонардо. Леонардо, несомненно, не так народен, как Донателло. Причина тому — его универсализм, его ученость, его «гений». Однако и Леонардо народен, конечно, в гораздо большей степени, чем это хочется литераторам нашего века, устраивающим из него нечеловеческую и демоническую фигуру. Вот почему книги Мережковского и Волынского неверны по отношению к Леонардо. Если бы он был таким, он был бы только автором манускриптов, натурфилософом и экспериментатором. Но он был все-таки и живописцем, оставался в лоне итальянского искусства и тем самым не мог не быть в некоторой степени итальянским народным человеком.

И опять-таки, как во всяком рассуждении об искусстве, невозможна никакая схема, никакая симплификация. Художник, разумеется, не простой же народный человек, он человек искусства, иначе он не был бы художником. И то, что он народный человек, не самое главное в нем как в художнике. И отношение его к народности может быть очень сложным. Пушкин, например, не такой явно народный человек, каким был Толстой. Пуш-

кин тоже был помещиком, однако плохим помещиком. Пейзаж, который был для него фоном, сложнее: здесь и Петербург, и большие дороги русских равнин (Пушкин очень много передвигался по России), и деревня, но это менее специфически русская, какая-то «более общая» деревня Пушкина, Дельвига и Баратынского — это почти деревня поэтов XVI века, Ронсара и Дю Беллэ. Несомненно, что такие люди, как Пушкин, черпнули народного лишь только одним краем. Но черпнули все же, и для таких гениев этого оказалось довольно. Довольно и для того, чтобы века к ним прислушивался народ.

И вот каждый раз, как выводит перо это слово, все кажется, что читатель прочтет «народ», а подумает «сермяжный народ», в старом, русском, народническом смысле. Чтобы отчетливее было различие, уйдем как можно дальше от нашей «сермяжной Руси». Что же может быть дальше, чем французские, скажем, импрессионисты конца XIX века — Мане, Дега, Ренуар. И однако, какие это еще глубоко народные художники, народные в народном Париже, произросшие в парижском пейзаже так же натурально и необходимо, как растет в лесу дерево, и Парижем питаемые, переработавшие жизненную стихию его в живящие их искусство соки. В этом последние, быть может, мастера еще органической, еще народной Европы остались верны великой и древней, как сама Европа, традиции.

Но вот традиция оборвалась. После смерти Сезанна (уже двадцать лет!) нет никаких признаков, что кто-то поднял и связал оборванную нить. Искусство метнулось к своей противоположности, к антиискусству. Там же, где обозначилось уже антиискусство, там искусство уступило без борьбы ему свою роль — ответствовать душе современного человека. И это естественно, ибо душе того современного человека, который встречается в жизни с искусством, ответствует скорее антиискусство, чем искусство. А в огромном большинстве случаев и вовсе ничего не ответствует.

С искусством встречается ведь именно тот европейский человек средних и высших социальных слоев, который перестал быть народным человеком, который *потерял свой пейзаж*. Как человек толпы, это пассажир первого и второго класса, это путешественник по во всем мире одинаковым отелям, это читатель газетного листа, это адепт единственного жизненного культа, культа англо-американских обычаев, покоряющего мир вслед за англо-американской валютой. Этот человек ненародной толпы воображает, однако, что он имеет «социальное» право на искусство. Какая ирония, какая иллюзия и... какая дерзость!

Существует, конечно, и незаурядный человек европейских средних и высших слоев, человек весьма заостренной мысли, весьма ложного и усовершенствованного психического аппарата. Но этому человеку, со всей его тонкостью и сложностью, со всей его новизной, со всей его иного рода творческими устремлениями, ответствует не искусство, но антиискусство. Там бездна изобретательности, там бездна активности, там бездна ума. Не в статичном по существу искусстве, но в динамичном антиискусстве — вся динамика современной жизни. И мы, быть может, недалеки от эпохи Sturm und Drang * в так называемых точных науках и в эмоциональной их производной, именуемой автором этих строк антиискусством.

Что же касается искусства, то покамест оно «ничье», но совершающаяся революция в жизненном самоощущении народа с каждым днем приближает к вещам искусства, к делу искусства народного человека. Подходит к искусству народный человек по пути досуга, праздника, по пути рекреации. От кинематографа к театру, от фельетона к литературе, от олеографии к картине. Бредет ощупью, сбиваясь и делая тысячи нелепостей, тысячи ошибок. Но все же подходит с той стороны, откуда и следует подойти. Не любопытствует, не подражает (это иногда только так кажется со стороны), но ищет настойчиво, жаждет страстно своей субботы.

---

* «Буря и натиск» (*нем.*).

V

Когда народный человек соприкоснется с искусством, ему и в голову не придет, что есть какое-то искусство, специфически для него предназначенное, и есть какое-то другое, «чужое» (например, «пролетарское» и «непролетарское») искусство. Народный человек инстинктивно поймет, что всякое искусство в конце концов создано народным человеком. И, думается, менее всего поймет народный человек лишь те явления искусства (футуризм и экспрессионизм), в которых сказывается уже разложение искусства под действием возникшего рядом с ним антиискусства.

Ведь это естественно, что народный человек пожелает унаследовать все то, что было сделано до него народными людьми. Для него нет ничего устарелого, разрешенного, пройденного. В последние столетия Европы он принимал очень малое участие, так сказать, в распределении художественных благ. Он не только не успел ими пресытиться, но не успел и насытиться. Если мы многое готовы сдать «в архив», то делаем это во всяком случае без его ведома и согласия.

И оттого пусть не покажется странным, что народный человек, стоящий в социальных категориях под знаком будущего, в искусстве обозначает неизбежный историзм, иначе сказать (но как вымолвить такое страшное слово!) — реакцию. Может быть, впрочем, это уж не такое страшное слово, если вспомнить, что реакция в искусстве — это только предпочтение, оказанное Виктору Гюго перед Жаном Кокто и фигурам Курбе перед беспредметной живописью. Реакция во всяком случае более плодотворная, чем работа в пустоту (как движение вала, с которого сняли приводной ремень) нынешнего искусства.

Историзма можно ждать от вкусов и желаний народного человека (но не эстетического историзма, а того эпического, который не делает различия между прошлым и настоящим). Острой человечности, конечно, также, ибо приток горячих сердец, свежих чувствований должен влиться в притупленную эмоциональность механизированных ненародных слоев. Меньше иронии и скептицизма, больше сентиментальности. Меньше вообще тонкостей, сказанных лишь «по поводу», и больше мыслей по существу. «Демократический» по своим взглядам Анатоль Франс едва ли, например, будет целиком принят народным читателем.

И разумеется, некоторый схематизм притом, некоторая симплификация? Вот в этом позволительно усомниться. Все природное, все органическое вопиет против схематизма, против симплификации. Жизнь необычайно сложна в самых простейших естественных явлениях и упрощена только... в самых искусственных сложностях. Искусство ведь только результат душевного опыта. Этот опыт неизмеримо богаче в пейзаже, в пейзажном человеке, чем в механически созданной видимости и в человеке, ее обслуживающем. Картины великих мастеров, книги великих романистов от Сервантеса до Достоевского, театр Шекспира и театр греков душевно понятны каждому. Чтобы добраться до них, надо только овладеть некоей формальной грамотой, некоей азбукой. Но об этом беспокоиться нечего, азбукой народный человек овладеет.

Да, в общем, итоги нашей проникнутой интеллектуализмом культуры, нашей Европы XVII—XIX столетий будут восприняты почти как бы новой эмоциональной расой, новым варварством, которое с точки зрения веков не более страшно, чем варварство лонгобардов и готов. То варварство сложило на руинах античного мира грандиозную эпоху средневековья. И несомненно, народ, принявший наследие Европы, сложил бы новое, полное великого подъема средневековье. Несомненно, сложил бы... если бы не было в игре исторических сил третьего участника, о котором речь впереди. Пока же хочется остановиться на тех условиях этой игры, где третий участник пока мало заметен,— на тех условиях, которые получились в России.

Вне России, а иногда, может быть, и в России мало оценивают тот напор, с которым

13—289

взбудораженный русский народный человек желает проявиться во всех областях жизни. Оставим в стороне области «дела», ограничимся областями безделья. Можно рассказать множество злых анекдотов, можно привести тысячи нелепостей их этой области. Можно негодовать на распространение «Тарзана», на пошлость кинематографического репертуара. Сколько раз бросался такой упрек: «Есть нечего, а театр завели!» Совершенно верно, завели театр, и не только завели, а любят и не откажутся от него, даже если есть нечего, потому что театр ведь тоже суббота, ради которой жив человек.

В годы самых страшных испытаний, самых великих трудностей русский народный человек искал все же субботы, жаждал участия в ней, бредя ощупью, сбиваясь со всякого толку, совершая непроходимые, непролазные, легендарные глупости. Это все естественно, это все неизбежно, это все так и должно было быть. И конечно, не могло все это случиться по умилительному и рациональному плану: вот наступил день, и мужичок «понес с базара Белинского и Гоголя», а фабричный рассеялся по аудиториям наслаждаться политической экономией. Вышло на самом деле хаотически безобразно и слепо. Но самое главное все-таки, что куда-то вышел, выбрался народный человек. Смешно только ждать результатов от этого ранее, чем через двадцать лет.

Сквозь тысячи всяких затруднений, сквозь главное затруднение своей собственной темноты и дикости, своего настоящего варварства, русский народный человек прорывается к делу и досугу. Он хочет сразу все знать, все уметь, все видеть. Книга! Мы даже представить себе не можем, какое действие производит книга в среде новой русской молодежи. Театр! Мы даже отдаленно не можем угадать, с каким чувством смотрит на сцену народный русский человек. И уж конечно, не театр Мейерхольда и Таирова ему нужен (это как раз один из тысячи анекдотов). Но он доберется и до того, что ему нужно. Он будет наслаждаться Островским, смеяться и плакать вместе с классическим русским актером, будет любить его, беречь его и воссоздаст его наверно из нынешнего театрального небытия.

И так же, как с театром, так с книгой. Пока писатель все рассуждает о том, как надо и как не надо писать, пока иной побойчее стремится забежать вперед и предложить специальный товар, пока прирожденные организаторы готовят то русло, по которому только и следует «направить» народный вкус,— народный человек читает все без разбору, что попадает ему под руку. И надо сейчас только одно, чтобы он читал как можно больше, как можно беспорядочнее и как можно «неорганизованнее», следовательно, как можно свободнее. Остальное приложится, и не сразу, не вдруг, но еще раз будет народная русская литература, новая несомненно и все же тем близкая к старой, тем преемственная ей, что и старая наша литература была великой народной литературой.

Неожиданный оптимизм! Неожиданный только для тех, кто не хочет знать России и признать ее сущности, того, что она остается самой народно-человеческой из стран европейского мира. А у искусства вообще нет иной надежды, кроме надежды на народного человека. И пусть не удивит, если в этом смысле захочется сказать о России: о России беспокоиться *пока* нечего. Местом более щемящих сердце надежд, более тревожных мыслей, более близких пессимизмов остается Западная Европа. Здесь более явно вступил в игру исторических сил «третий участник».

VI

Из того, что было сказано выше, ясно, кто этот третий участник,— это «точные» науки с их социально-экономическим следствием — индустриализмом и с эмоциональной производной этого следствия — антиискусством. Где индустриализм прошел своей стопой, там вытоптано поле, там не взрастет искусство. Там мертв народный человек, последняя надежда искусства. Показательнее всего в этом смысле большие города, сосредоточившие

главные энергии индустриализма. Чего ждать от такого индустриального детища, как Берлин? Но и от индустриализированного, американизирующегося Парижа следует ли ждать теперь того, что он мог дать еще сорок лет тому назад? Те слои, которые дали тогда импрессионистов, едва ли дадут еще раз такую художественную группу. Но другие народные слои вдвинутся в жизнь и, быть может, еще дадут своих живописцев, так как Париж все же еще остается органическим и народным городом. Дадут ли? Успеют ли дать? Все зависит от того, каков будет темп борьбы, скрытой и глубокой борьбы, более глубокой, чем борьба за политическую власть. Вся Европа находится сейчас в состоянии этой скрытой борьбы двух человеческих типов, человека органического с человеком механическим, европейца с обитателем пост-Европы.

Пост-Европа умеет побеждать тем более прочно, что делает это незаметно. Борьба яснее всего видна там, где еще велики силы органического и народного, где сопротивление пейзажа еще не сломлено, ге исход битвы не кажется предопределенным (иллюзия!). Такова, например, Италия, ее большие города, ибо в маленьких пейзаж еще господствует безраздельно. Но в больших — в Милане, Риме — убеждаешься, каким адским темпом идет сокрушительная (созидательная!) работа индустриализма и какие быстродействующие яды прививает он народному организму. Еще лет двадцать тому назад Рим был вечным городом, вечным, разумеется, в своем «пейзаже с фигурами». Двадцать лет тому назад только закладывались новые кварталы Рима (ничем не отличающиеся от кварталов Берлина).— В эти двадцать лет успело вырасти новое поколение, родившееся в новых кварталах, и лет через десять произведет оно на свет еще более новое поколение. Спрашивается, что в этих новых поколениях есть от Рима, от Италии? Где место их, в каком пейзаже, когда и пейзажа никакого нет, а есть лишь куча безобразных домов, созданных человеческой жадностью. Для этих людей путь не к порядку природы, а к беспорядку техники: к Италии, которая будет совсем не Италией, к Европе, которая перестанет быть Европой, но сделается пост-Европой. И это, если взять только некоторые элементарные условия существования (жилище и улицу). Прибавьте к этому пищу (в Риме, окруженном оливковыми рощами Лациума, распространяются маргарины и прочие фабричные суррогаты масла!), механизированный труд (заводской, конечно), механизированный обиход (автобус, метрополитен), механизированную рекреацию (бар всесто остерии, кинематограф вместо диалектального театра и спорт, спорт без конца). Пожалуй, такой еще недавно столь изумительный народный римский человек скоро будет годиться «хоть в любую Америку». Он послушно идет на буксире той «мечты об автомобиле», которая стала единственной мечтой его имущего соседа (мечтой каждого итальянца средних и высших слоев).

Рвущийся к жизни не менее настойчиво, чем русский народный человек, западный народный человек захлестывается всеми волнами, которые ходят по поверхности современной жизни. Он захлестывается и захлебывается, глотая вместе искусство и антиискусство, механику и культуру. Положение его во всяком случае сложнее, чем положение русского человека. Тому как ни хочется прыгнуть подальше, все равно не прыгнет дальше того, что разве одной ногой станет в Европе. И это его счастье, так как, подумав, поставит он уже не спеша, быть может, и вторую ногу на европейский грунт. Но западному человеку вовсе и не надо прыгать столь далеко, чтобы нечаянно выпрыгнуть совсем из Европы в пост-Европу. При какой-то комбинации условий можно перепрыгнуть теперь прямо из преевропейского состояния в постевропейское. Можно пройти мимо всего, что создала Европа XVII—XIX веков, и оказаться ей дважды чужим. Там, калабрийский поселянин, эмигрирующий в Нью-Йорк, прямо попадает из античности в XX век, из условий римского колона в кабалу индустриализма, из пейзажа Теокрита в улей механических человеков.

Народному западному человеку нет даже необходимости эмигрировать, чтобы попасть в Нью-Йорк. «Нью-Йорк» сам идет к нему, «Нью-Йорк» наступает, и весь вопрос только

в том, как скоро справится «Нью-Йорк» с историческим пейзажем Европы. Не следует преуменьшать все же свойственную этому пейзажу силу сопротивления. Народная жизнь Италии, Франции, Германии хранит еще огромные запасы сил в своих естественных резервуарах вдали от больших городов и промышленных центров, в полях, на берегах лагун, морей и океанов, в горах, в улицах забытых селений и старых городков, где стучит еще молоток башмачника или медника, столяра или шорника — где еще жив европейский ремесленник, последний отпрыск великих ремесел, великих искусств Ренессанса.

Откройте сейчас же европейскому ремесленнику (или его детям) доступ к искусству, дайте ему овладеть их языком, их азбукой, и вы, быть может, обеспечите прилив новых сил, новую и могущественную волну в европейском искусстве. Одно из самых явных преступлений индустриализма — уничтожение ремесла и ремесленника. Ремесленник — единственный настоящий человек европейского города, всегда был таким и останется, «главный» в городе народный человек и единственный вместе с тем наш собрат — собрат живописца, скульптора, поэта и музыканта.

Быть может, теперь, когда ремесленник становится почти так же редок, как его собрат артист, объединит их Европа еще раз, в последний раз, в последние дни своего европейского бытия. Если темп овладения жизнью народного человека на Западе будет быстрее, нежели темп завоевания Запада индустриализмом, Европа может увидеть нечто вроде Возрождения искусств. Скажем скромнее: может увидеть значительное *оживление* искусств и приток свежих сил к ним. Этого, конечно, не случится ни в Северной Америке, ни в Англии, но это еще может случиться во Франции, в Германии, в Италии, в Испании, в некоторых странах Латинской Америки.

И разумеется, какой утерей «утонченности» ни грозил бы народный поворот, искусство от этого только выиграло бы. Разве не счастьем было бы для всех, кто вращает вал искусства, почувствовать, что вал этот перестал работать в пустоту! Разве не возвратило бы это художника к давно забытым блаженным ощущениям Ренессанса! И однако, если бы это и случилось, если это еще может случиться в Европе и даже в России (где это даже более вероятно),— то был бы лишь относительно короткий исторический миг. Можно указать ряд сил и причин, которые способны *замедлить* торжество индустриализма с его предпосылкой в виде точных наук и с его выводом в эмоциональной сфере — антиискусством. Но нельзя указать ни одной силы и ни одной причины, которая заставила бы усомниться в его конечном торжестве. Никакие социальные революции не меняют дела. Каков бы ни был социальный строй будущего, он будет строем индустриальным. Это повелевает хозяин жизни, «тиран естества» — наука.

VII

Каждый из нас живет в своем историческом моменте. Несмотря на все размышления о будущем, непосредственным содержанием жизни остается все-таки настоящее. В нашем настоящем (и ближайшем будущем) еще есть возможности «значительного оживления» искусства и притока в него свежих сил. Возможности эти есть не в меньшей, а даже в большей степени для нас, русских, и возможности эти соединены с единственной надеждой искусства, с народным человеком, с народом. Вот почему естественно для людей, которым дорого искусство, *любить народ*.

Спор о демократии проник сейчас даже в среду людей художественных. Спор чисто политический, спор о власти, и, как всегда, соприкасаясь с политикой, люди художественные говорят и совершают тысячи непоследовательностей и нелепостей (один из виднейших художественных людей Италии, Пиранделло, объявил себя ни с того ни с сего фашистом и посоветовал закрыть газеты и разогнать парламент). Впрочем, настоящие полити-

ческие люди с них «многого и не спрашивают». Но если художественные люди не могут ничего важного сказать о демократии, то они очень многое могли бы сказать о *демофилии*. Любовь к народу диктуется им не сентиментальными или, говоря серьезнее, даже не этическими побуждениями. Если пишущему эти строки удалось сказать, что народный человек продолжает быть надеждой и притом единственной надеждой искусства, то причина любви к народу ясна — это любовь к искусству. Назовем это эстетическим побуждением, а для тех, кто боится слова «эстетический», согласимся считать эти побуждения хотя бы «профессиональными».

Но могут сказать, следует ли любить то, что является «паллиативом». (Всегда и везде люди предпочитают самую обманчивую «панацею» самому надежному «паллиативу».) Стоит ли верить в то, что, если признать неминуемое торжество индустриализма, обречено на уничтожение. И, с другой стороны, если носитель искусства — народный человек, то ради искусства и ради народа не должна ли любовь к ним быть деятельной? И не должна ли деятельность быть более решительной? Не должна ли она направиться на сопротивление тому, что грозит и искусству, и народному человеку, на борьбу с индустриализмом?

Борьба с апокалипсисом нашего времени! Ведь принято называть подобные рассуждения о конце Европы, о пришествии пост-Европы «апокалиптическими». Но это чисто литературная вольность, в конце концов. Ведь в тех рассуждениях, которые занимают эти страницы и которые являются как бы продолжением мыслей об антиискусстве, нет попытки утвердить положительную этическую ценность одной эпохи и отрицательную — другой. Что лучше и что хуже — Европа или пост-Европа,— что «свято» и что «проклято»? Об этом попытаемся здесь судить только с одной точки зрения, с точки зрения искусства. Если «лучше», чтобы было искусство, если «свято» искусство, то следует печалиться об Европе и ненавидеть грядущую пост-Европу. Что же касается человечества, то об его материальной судьбе, об его интеллектуальной энергии, об его эмоциональной жизни можно нисколько не беспокоиться, об этом позаботятся наука и антиискусство. Пост-европейское человечество, которое мы уже можем и ныне «лабораторно» наблюдать, умно, удобно и счастливо умеет жить без всякого искусства.

Итак, если «апокалипсис», то поистине апокалипсис нашего времени: без катаклизмов, без трубного гласа и знамений, но тихий, рациональный и научный апокалипсис. И не лучше ли оставить вообще эту слишком яркую терминологию вместе с противоположной ей, слишком тусклой терминологией, оперирующей идеей «прогресса». В сфере действия, а не в сфере словесных терминов борьба против индустриализма обозначала бы, конечно, прежде всего борьбу *против науки*. То усилие, с которым надо произнести эти, в сущности вполне возможные, слова, указывает, как сильно укоренилось во всех нас воспитание XIX века. Поколение за поколением воспитывалось в том, что наука есть безусловно доброе начало, спасительное ultima ratio * всей жизни. И может быть, это было не так уж неверно для состояния науки в 1840 или 1850 году. И однако, то, что казалось относительно верно в 1840—1850 годах, оказалось совершенно неверно в 1910—1920 годах. Свидетели индустриального капитализма XX века, свидетели войны 1914—1918 годов и всех ее последствий, мы не можем сомневаться в том, что науке свойственно *злое* начало. Наука является в большей мере источником социального зла, чем социального добра. Чем более способствует она торжеству индустриализма, тем более откровенным становится она оружием зла (если принять, разумеется, что искусство относится к качественной категории добра). И пусть не обольщают себя заблуждением те, кто полагает, что наука становится социальным злом или добром лишь в зависимости от того, каким социальным классам она служит. Глубокое заблуждение! Не наука служит кому бы то ни было, а

* Последний довод (*лат.*).

служнт ей тот, кто пытается овладеть ею в добрых илн злых социальиых целях. Ибо только иауке прннадлежнт конечное управлеиие современной жнзнью.

Мысль «о вреде наук» была бы очень полезной, оздоровляющей мыслью для нашего времеии, как корректив для слишком безоговорочиого, слишком догматического верования в пользу наук. Она способствовала бы некоторому необходимому в этой областн самоограннчению, которое европейский человек вовремя ие успел предпрннять. Если бы эта мысль была распространеиа в 1860—1880 годах, хотя бы одиой сотой долей всеобщей веры в пользу наук, не превратилась бы иаука с такой быстротой в того «тираиа естества», конм она стала. В какой-то момеит западноевропейскнй человек упустил огоиь Прометеевой искры. Радн жалкнх потребностей своего домашиего очага он устронл пожар, который охватил всю вселеиную. Человек утратил в областн наукн руководство событиямн. В какой-то, быть может точно определенный, нсторический момеит (между 1840 н 1880 годамн) он не позаботился учииить иад иаукой иеобходнмый коитроль.

Разумеется, это ие коитроль государства нлн общества, всегда бессильный регулнровать ннтеллектуальиую н эмоцнональиую деятельность человека. Это «самоуправленне», пожалуй, в том смысле, какой дает этому слову Махатма Гаиди. Европейский человек не управляет собой, своей судьбой, ои становнтся нгралнщем сил, не иаходящнхся нн в какой завнснмости от него. Он изобретает, открывает, освобождает иовые эиергии, но с самого момеита своего освобождеиия этн эиергни перестают быть послушиыми ему.

Мысль о вреде иаук не иова, коиечио, и свойствеина оиа отиюдь ие только «обскураитам», но и некоторым лучшнм людям наукн. И это естественно, так как тот, кто работает в науке, скорее других видит ее потеициальиое зло и добро. И может быть, в этом смысле кое-что нзменнлось за последнне пятьдесят лет, н современиый европейский учеиый дальновиднее, чем его иаивиый собрат 1860 года, искренно полагавшнй себя благодетелем человечества. Едииственная услуга человечеству, которую может оказать совремеиный учеиый, это быть *на страже науки*, то есть иа страже тех мехаиических снл, которые грозят исказить прнродный лнк нашей плаиеты, стереть с лица земли свидетеля всей долгой ее нстории — иародиого человека.

Петр Долгоруков

Чувство родины

Воспоминания о родине, тоска по ней, трепетная к ней любовь, надежда на возвращение в нее и желание работать над ее возрождением — проходят красной нитью почти через все ученические работы учебных заведений, подвергшихся исследованию посредством классных сочинений на заданную тему. 〈...〉

Русские же учебные заведения сосредоточены главным образом в странах, граничащих с Россией, в которых осела главная масса беженцев, зачастую принадлежащих к остаткам военных контингентов. Некоторые учебные заведения, как, например, находящиеся в Сербии кадетские корпуса и институты, перенесены из России и, несмотря на значительные изменения, сохранили некоторую преемственность и традиции. Всё это надо иметь в виду при изучении ученических работ.

Родная школа является наравне с семьей самым надежным способом борьбы с денационализацией. Она поддерживает чувство родины у тех детей, которые вывезли его в свое изгнание, осмысливает и развивает его. Она своей атмосферой заражает любовью к родине и устремлением к ней тех детей, которые сами о ней ничего не помнят. Иногда патриотизм принимает в этих учебных заведениях несколько специфический характер. Например, совершенно естественно, что один кадет младшего возраста, пишущий, что его «папа был штабс-капитаном, а отец папы полковником в отставке», описывает, как он плакал, когда матрос срывал с него погоны. Другой пишет, что он плакал от радости и умиления, увидев на вошедших в город офицерах и солдатах белых войск кокарды и погоны.

Первая категория детей покинула Россию в раннем детстве годов 3—6. У них никаких непосредственных воспоминаний о России нет. Нет, следовательно, и непосредственного чувства родины. «Россию я помню только по рассказам родителей»,— пишет один малыш. Их воспоминания начинаются обыкновенно с момента эвакуации, особенно их поразившей, и притом не внутренней своей трагедией, а внешней обстановкой: никогда ранее не виданное море, пароход, англичане, иногда попугай на пароходе, обезьяна, а затем идет детское описание беженских скитаний. Если в их тетрадках и попадаются изредка отдельные воспоминания о жизни в России, то делается это, очевидно, с чужих слов, причем авторы сами не отдают себе в этом отчета. Так, одна девятилетняя девочка пишет: «Помню, что я с одного года уже начала путешествовать».— Это значит, что ей был год, когда случилась революция, кончилась ее оседлая жизнь и начались беженские скитания в России и за границей. «Хотя России я совсем не помню, но стремления к ней никогда не угаснут в моей памяти». «Я родился 17-го апреля 1914 года,— пишет один первоклассник,— прожил три года мирно, а на четвертый год началась революция».

〈...〉Вторая категория детей, покинувших родину в возрасте от 6 до 10 лет, хотя и помнят Россию, но почти не знают нормальной, оседлой дореволюционной жизни, или помнят лишь отдельные эпизоды. При этом за нормальную жизнь приходится принимать годы

внешней войны, не нарушившей в корне всего уклада жизни. В описание этого периода вклиниваются иногда лишь такие замечания: «Папа офицером ушел на войну, и мама за него очень боялась».— «Папа был ранен в бедро, и мама поехала в N, чтобы видеть папу в лазарете». «Один раз я проснулся от резкого крика мамы, ей давали воды, она всхлипывала. Это получили телеграмму, что папа убит». В общем же преобладает описание счастливого детства, резко потом нарушенного налетевшим шквалом революции. Изредка попадаются общие замечания: «Я жил до революции в N. Мне жилось там хорошо». «Раньше жилось лучше».

Ученица 4-го класса пишет: «Я родилась в деревне. Как я люблю ее и хорошо помню. Помню громадный дом, реку, красивый сад и лес. Как я любила наши леса! Меня часто брал папа на дрожках и возил на сенокос. Но вскоре мы выехали, потому что началась революция». И много таких воспоминаний: об оставленной старушке няне, о теплившейся лампадке, о собственной кроватке, о домашнем уюте, о любимой кошке, о заросшем пруде, о папе и маме, «когда они еще оба были живыми», о родительской ласке... о всем том потерянном рае, который ассоциируется в умах натерпевшихся впоследствии малолетних скитальцев с мыслью о родине. Они ведь потом почти не видели счастливого детства. Особенно резок контраст с последующей жизнью, полной страданий, ужасов, лишений. Все тетрадки наполнены описаниями прихода большевиков, пальбой, жизнью в подвалах, обысками, грабежами, голодом, очередями, скитаниями, холодом, тифом, расстрелами, пытками, кровью, разбрызганными мозгами, сиротством. «Было скучно, тоскливо, холодно»,— пишет ученик 4-го класса. Ученик 3-го класса после описания гибели отца пишет: «Дальше я описывать не буду. Мне очень не хочется вспоминать о милой Родине и о покойном папе». В этих словах чувствуется тот душевный надлом, который так жестоко отозвался на стольких русских детях нашего времени. Эти же слова свидетельствуют о сложности переживаемых этими детьми чувств к родине.

Более взрослые так анализируют свое отношение к родине после налетевшей катастрофы: «Нравственная жизнь в эти годы была ужасна. Жил и чувствовал, как будто живу в чужой стране». Или: «Чувствовать, что у себя на родине ты чужой,— это хуже всего на свете». А вот жуткие по своей непосредственности описания малышами выпавших на их долю ужасов. Ученица приготовительного класса, родившаяся в 1914 г., пишет: «Потом вечером моего папу позвали и убили. Я и мама очень плакали. Потом через несколько дней мама заболела и умерла. Я очень плакала». Ученик приготовительного класса пишет: «Я помню, как приходили большевики и хотели убить маму, потому что папа был морской офицер». «Помню (ученик 4-го класса) тревогу в городе, выстрелы, крики на улице, помню, как я с сестрой, забрав все любимые игрушки, прятались в безопасные, как нам казалось, уголки нашей детской». «Однажды, когда я (теперь ученица 2-го класса) была дома одна и играла в куклы, я услыхала выстрел над нашей крышей. Я испугалась и от страха забилась в платяной шкаф». Ученик 1-го класса заявляет: «Потом почему-то все стало дорого». Это очень характерное заявление ребенка, не могущего охватить всей совокупности явлений. Жажда семейной жизни, родительской ласки ярко выражается в следующих строках ученицы 4-го класса: «Мама поступила на службу. Я целыми днями оставалась одна. Маму я видела в день лишь раз утром и поздно вечером, и всегда она была такая усталая, озабоченная, что не успевала даже поговорить со мной. А как мне иногда хотелось, чтобы хоть кто-нибудь чужой человек приласкал меня. Я совсем отвыкла от ласки и выглядела совершенно дикаркой... Здесь хожу в школу и живу сейчас хорошо, но никогда не забуду всего, что мне пришлось пережить на Родине».

Вот какие путаные понятия о родине, связанные с периодом тяжелых скитаний, наблюдаем у одного первоклассника: «Мы выехали из России в Екатеринодар». Или неужели мы имеем дело здесь с отражением в детском уме разговоров об областном сепаратизме? Ученик приготовительного класса, ничего, разумеется, не помнящий о до-

революционной жизни, пишет о времени революции: «Я помню мало, как мой папа служил в Ялте. Я еще помню, как нас выгоняли из России». У большинства малышей остался один ужас от воспоминаний об этом периоде и о своем детстве. Лишь более взрослые разбираются в причинах этих ужасов и надеются на минование их. Как на переходную ступень, укажем на рассуждения одного 4-классника: «Все шло к разрушению того, над чем так трудились наши предки».

У иных впечатление от революции является сплошным кошмаром, граничащим с галлюцинациями. Одному мальчику кажется, что все кругом было красное. Один больной ученик за рубежом в школьном лазарете во время сильного жара вскочил и стал якобы защищать свою сестру от большевиков, отстранял воображаемую шашку и все кричал: «Аня, спасайся! Берегись шашки!» До болезни он смутно помнил эту сцену, а во время жара она с полной ясностью предстала перед ним и потом осталась в его памяти.

Даже красоты России, виденные в тяжелой обстановке революции, не оставляют в воспоминаниях детей эстетического следа. Так, один кадетский корпус отступал зимой из Владикавказа до Тифлиса пешком по Военно-Грузинской дороге. Шли 7 дней, иногда в глубоком снегу. И вот, ни в одном из нескольких десятков описаний этого пути нет обычных для Военно-Грузинской дороги восторгов от красот природы, а одно лишь томление духа и разбитость тела. «Дорога была кошмарная».

От многочисленных воспоминаний о России, полных ужаса, страданий и тоски по родине, отличаются некоторые наивно-детские, авторы которых не отдают себе отчета в окружающем. В более взрослом возрасте мы видим, как эти нотки переходят иногда в бесшабашный авантюризм среди ужасов гражданской войны. Ученик 4-го класса пишет: «В 17-м году мне было 6 лет. Один раз мы увидели массу народа с красными флагами и что-то кричавшую. Мне это очень понравилось, и я спросил у гувернантки, что это каждый год будет?» Другая ученица пишет: «Утром в 5 часов мы проснулись от страшного пушечного и пулеметного выстрелов. Все наши соседи и мы решили спрятаться в погребе. Страха никакого я не испытывала, и мне очень даже нравилось мое положение. Было очень весело». Один второклассник после летописного описания нападения зеленых на поезд, сошедший с рельсов, обстреливания, стонов раненых, зрелища убитых пишет: «Потом мы ехали без приключений, и мне стало скучно, так что я вынул своих солдат». И далее: «На следующее утро мы принялись играть. Сережа был наш генерал, а мы рядовые».

Остро проявилось у детей этого возраста чувство родины в момент расставания с ней. Этот яркий момент в истории детских скитаний запечатлелся в сотнях тетрадей. Он заставил задуматься детей над самим вопросом о родине и зафиксировал их чувство любви к отечеству.

«Когда я очутилась на пароходе, я заплакала, почувствовав, что я надолго покидаю родину». «Грустно и больно было оставлять Россию. Долго плакал я, лежа на мешках под станками мастерской парохода».

Одна ученица пишет: «Хотя я была тогда маленькой девочкой, но я поняла, что такое родина и что такое любовь к ней».

Почти в каждой тетради отмечается, как грустно взрослые смотрели на уходящие берега родной земли, как многие при этом плакали. И в этом также фазисе детских страданий интересно подметить, как непосредственные, субъективные и более глубокие душевные переживания переходят часто в позднейшие рассуждения, большей частью тоже очень искренние, иногда же носящие следы навеянности и трафарета. У некоторых детей опять-таки вместо глубоких переживаний мы видим увлечение новизной впечатлений, интересом к путешествиям, а также надеждой, что наступает конец страданиям. Некоторые думают, что уезжают из России ненадолго. Многих потом ждет горькое разочарование, так как для многих именно с момента погрузки на пароход открывается новая страница

беженских страданий, а иногда и унижений, еще более бередивших болезненные чувства к родине. Один юноша, очевидно не экспансивный, пишет: «Мне пришлось за границей столкнуться со всем тем, что и в голову не приходило. Но это касается моих личных душевных переживаний, и я, конечно, совершенно не думаю поместить их сюда».

Но дадим слово малышам. Ученица первого класса пишет: «Когда я была маленькая, мне было 8 лет, когда я уезжала из России. Мне было жаль только моих подруг, а особенно мне было жаль могилки дедушки и бабушки». «Многие старые люди, уезжая, прежде чем погрузиться на пароход, целовали землю и брали кусочек ее. Я очень жалею, что не исполнила совета моей старой няни сделать то же самое». «Когда пароход отошел от берега, где стоял папа, я страшно плакала, что нет у меня дома, нет родины». «В первую ночь все вспоминал нашу милую родину, милую деревню и все хотелось взглянуть хоть еще раз на Россию».

Несколько более взрослые пишут: «Когда полк проходил мимо церкви, к брату подъезжали казаки, прося его: „Ваше благородие, отпустите у храма землицы взять“». «Штыками, пальбой провожала меня родина. Прощай, больная мать».

А вот и вполне взрослые рассуждения, озаглавленные: «Мысли о России». «Разлучить ребенка с матерью, с этим святая святых каждого, с наиболее дорогим существом для него,— это большое несчастие и вызывает воспоминания прошлого. У каждого из нас нет России, нет матери, которую мы ценим лишь теперь».〈...〉

Ученица 5-го класса пишет: «Но я верю, что наступит тот день, когда я опять вступлю на дорогую, но уже обновленную родину, снова услышу родимую русскую речь и увижу свой дом, который я не видела уже так давно».〈...〉

«Оторванный от родной земли, я здесь полюбил ее так горячо, как не любил никогда. Я полюбил ее, эту обездоленную страдалицу-Россию».

«Борьба в России была кончена, и только чудо могло вернуть нам ее. Но я верю в это чудо. За эти 5 лет я видела кровь и слезы русских людей, я видела, как с безумной энергией и отвагой отстаивали русские герои свою отчизну и как рыдали русские женщины над своими погибшими. Неужели эти слезы не смоют греха народа, поднявшего руку на своего царя, и не вернут нам нашей родины?»

«Я надеюсь, что если Россия и не вернется к прежнему величию, но во всяком случае свергнет большевиков. Тогда я увижу родные станицы, зеленые бесконечные степи с седыми курганами, златоглавый собор, услышу плеск донских волн и грустные заунывные песни казаков. Дай Бог, чтобы это было так». «Я жду и мечтаю о том моменте, когда мы возвратимся на нашу дорогую родину. Увижу опять русскую зиму, услышу звон колоколов в церкви». «И сейчас люблю Россию, люблю Родину несчастную, и ничто кроме смерти не изменит этого чувства». «В это время я заболел... лежа в кровати, я о чем-то думал... вдруг я услышал пение... прислушался и услышал слова: «За Русь Святую...» Мне стало легче». «В настоящее время, живя на берегах Черного моря, посмотришь вдаль, и сердце сжимается: за этим водным пространством лежит русская земля».

«Я только и думаю о возвращении на родину и надеюсь, что это в скором времени случится. Эта мысль только и поддерживает меня и заставляет работать, чтобы в будущем как можно больше пользы принести людям».

При все обостряющейся тоске по родине и по мере затяжки беженства многим детям все тяжелее делается в изгнании и единственным утешением и фактором, осмысливающим жизнь, является любовь к России, вера в Россию. «С каждым годом тяжелее жить в изгнании и все крепнет любовь к Родине». «Все невзгоды и лишения, которые пришлось мне пережить на чужбине, еще более укрепили веру в Россию».

«Россия, только великая Россия,— больше ничего у меня не осталось!»

«Только твердая вера в Россию и русский народ удерживала меня от отчаяния».

«У меня ничего нет собственного, кроме сознания, что я русский человек».

«Любовь и вера в Россню — это все наше богатство. Если и это потеряем, то жнзнь для нас будет бесцельной».

«Оторванный от родной землн, я здесь полюбнл ее так горячо».⟨...⟩

Сложнее вопрос о проявлении, правда в единичных случаях, недружелюбного отношения к нашим союзникам, вследствие их не всегда последовательного н доброжелательного образа действий по отношению к России. Этн случаи показывают всю остроту чувства обнды у молодежи за ослабленную и униженную родину. Вот наиболее яркий образец болезненно н в данном случае неправнльно реагнрующей молодой душн даже на оказываемую союзннками помощь. Необходнмость получать подачки от иностранцев очевндно оскорбляла гражданское самолюбие автора заметок н вместо естественного прн данных обстоятельствах чувства благодарностн получнлась обнда. «Когда мы прнбылн в Константинополь, нашн милые союзннки, давая нам хлеб н вообще пнщу н вндя, как на нее набрасываются, сннмалн фотографическим аппаратом. Эти оскорбления, нанесенные нам всем, я долгое время буду хранить в памятн для того, чтобы отомстнть им».

Месть. Страшное слово в детских устах! А повторяется оно по отношенню большевиков во многнх тетрадках, а в одной относится вообще к соцналнстам. Здесь тоже есть над чем задуматься педагогу. Надо раньше всего тщательно поставнть днагноз этого болезненного явлення. Во-первых, чем объяснить, что оно наблюдается сравннтельно часто? А затем, чем объясняется та страшная озлобленность, которой так и дышат многне тетрадн? И при этом нередко упоминается о клятве, о зароке, об обете мстить жесточайшнм образом, без пощады. Однажды пришлось наблюдать одного мальчика лет 15, жнвущего в интернате русского учебного заведения за рубежом. Он был хорошнй мальчик, религнозный, очень необщнтельный н видимо чем-то мучим. Как-то удалось получить от него сознание, что он, будучн девятнлетним мальчиком, присутствовал, когда большевикн сварили его отца жнвым в котле и надругались над его шестнадцатилетней сестрой.⟨...⟩

Приведем для заключения некоторые цнтаты из сочинений детей разных возрастов, которые передают нам их воспоминания на чужбнне о Россни н свндетельствуют, что нх мыслн постоянно заняты далекой родиной. Один маленький мальчик пишет:

«Когда была у нас в Россни знма, то тут все деревья уже были зеленые».

«И вспомнился праздник Пасхи там, на Родине. Звучат колокола, людн со свертками в руках идут в церковь. Полночь...»

Более взрослые пишут:

«Живем воспоминаннями, хотя н тяжелыми, но все про милую Родину».

«Прнехалн в Варну; я, гуляя по набережной, думал о Россин».

«Есть на свете счастливые дети, которые помнят Россню. Я же ее внжу как в тумане, потому что уехала из России маленькой, но не забуду ее до конца своей жизнн».

«Жалкне воспомннания о России. Хотя не хорошо, но все-такн помню, как сладко мне было жнть у монх роднтелей, я тогда не знала, что такое труд н горе, что такое быть голодным. И так прошло несколько лет моей беспечной жизни. Все сталн говорнть о какой-то революцнн... Хоть Россию я почти не помню, но стремления к ней никогда не угаснут в моей душе».

«И теперь здесь, пройдя школу жизни в Галлиполн, потом беженская жизнь в Болгарии укрепила во мне юношескую любовь к родине, которую привили мне мон дорогие родителн».

На последнне слова следовало бы обратнть вннманне многнм русскнм роднтелям за рубежом.

Закончнм эти выпнскн следующей цнтатой, с такой непосредственностью и трогательной нежностью обращающейся к роднне:

«Родная, милая, далекая Россия! Слышишь лн ты, что здесь есть люди, которые жаждут Тебя н молятся за Твое спасенне?».⟨...⟩

И эта вера в возрождение родины и надежда самим еще вернуться в нее и поработать для нее поддерживают их по большей части безрадостное беженское существование. Вот как это выражают два юноши-восьмиклассника:

«Только твердая вера в Россию и русский народ удерживала нас от отчаяния».

«Одна есть у нас надежда, скрытая под спудом сомнений, горечи и отрицания. Эта надежда — вера в воскресение к былому величию и славе дорогой нашей Родины. Если бы не было у нас этой веры, стыдно и преступно было бы нам называть себя русскими людьми, сынами земли, нас вскормившей».

Николай Устрялов

В борьбе за Россию

Предисловие

⟨...⟩ Явный крах старого пути всемерной и, главным образом, вооруженной борьбы с большевизмом повелительно диктует нам какие-то новые способы и формы служения родине. После крушения власти адмирала Колчака и генерала Деникина русские националисты очутились как бы над неким провалом, который необходимо заполнить. Предаваться иллюзиям, будто этого провала нет, будто ничего особенного не произошло и не внутренно необходимая логика белого движения, а случайные «ошибки» его вождей погубили его дело,— предаваться подобным «страусовым» иллюзиям мне представлялось занятием, не соответствующим серьезности момента. Начинать сначала то, что трагически не удалось при несравненно лучших условиях и при неизмеримо богатейших данных,— могут в лучшем случае лишь политические Дон-Кихоты. Следовательно, нужно искать другой выход.

Печатаемые статьи намечают идеологию нового пути, новой тактики национально-патриотических элементов России. ⟨...⟩ Мне хотелось бы надеяться, что настоящий сборник достаточно ясно и полно выражает исповедуемую мною точку зрения на переживаемый кризис русского патриотического сознания в сфере его конкретно-политического воплощения.⟨...⟩

Перелом

Необходимо отдать себе ясный отчет в последних событиях нашей гражданской войны. Нужно иметь мужество посмотреть в глаза правде, какова бы она ни была.

Падением правительства адмирала Колчака закончен эпилог омской трагедии, рассказана до конца грустная повесть о «восточной государственности», противопоставившей себя революционному центру России.

Много надежд связывали мы все с этим движением. Верилось, что ему действительно суждено воссоздать страну, обеспечить ей здоровый правопорядок на основах национального демократизма. Казалось, что революция, доведшая государство до распада и полного бессилия, будет побеждена вооруженной рукой самого народа, восставшего во имя патриотизма, во имя великой и единой России...

Мы помним все фазы, все стадии этой трагической междоусобной борьбы. В минуту итога и результата они вспоминаются с особою живостью, жгут память, волнуют душу.

Ростов, Екатеринодар, Ярославль, Самара, Симбирск, Казань, Архангельск, Псков, Одесса, Пермь, Омск, Иркутск — все эти географические определения словно наполняются своеобразным историческим содержанием, превращаются в живые символы великой гражданской войны...

И вот — финал. Пусть еще ведется, догорая, борьба, но не будем малодушны, скажем открыто и прямо: по существу ее исход уже предрешен. Мы побеждены и побеждены в масштабе всероссийском, а не местном только. Падение Западной и Центральной Сибири на фоне крушения Западной армии генерала Юденича, увядание Северной и неудача Южной приобретают смысл гораздо более грозный и определенный, чем это могло бы казаться с первого взгляда.

Разумеется, было бы наивно думать, что падение иркутского правительства есть в какой бы то ни было степени торжество эсэров. Нет, все прекрасно знают, что это — торжество большевиков, победа русской революции в ее завершающем и крайнем выражении. Судьба Иркутска решилась не на Ангаре и Ушаковке, а на Тоболе и Ишиме — там же, где судьба Омска.

Правда, мы, политические деятели, до самого последнего момента не хотевшие примириться с крушением дела, которое считали национальным русским делом,— правда, мы надеялись, что и падением Омска еще не сказано последнего слова в пользу революции.

Хотелось верить, что удастся здесь, в Центральной и Восточной Сибири, организовать плацдарм, на котором могли бы вновь развернуться силы, способные продолжать вместе с югом борьбу за национальное возрождение и объединение России.

И мы были готовы принять любую власть, лишь бы она удовлетворяла нашей основной идее. Ибо не могло быть сомнения, что России возрожденной, России объединенной не страшна никакая реакция, не опасно никакое иностранное засилие.

Однако наши надежды обмануты. Иркутские события — не только крушение «омской комбинации», но и обнаружение роковой слабости «восточно-сибирского фактора»: решительная неудача семеновских войск под Иркутском, равно как и последние события на Дальнем Востоке,— тому наглядное свидетельство.

Выясняется с беспощадною несомненностью, что путь вооруженной борьбы против революции — бесплодный, неудавшийся путь. Жизнь отвергла его, и теперь, после падения Иркутска на востоке и Киева, Харькова, Царицына и Ростова на юге, это приходится признать. Тем обязательнее заявить это для меня, что я активно прошел его до конца со всею верой, со всей убежденностью в его спасительности для родной страны.

Напрасно говорят, что «омское правительство погибло вследствие реакционности своей политики». Дело совсем не в этом. В смысле методов управления большевики куда «реакционнее» павшего правительства. 〈...〉

Нет, причины катастрофы лежат несравненно глубже. По-видимому, их нужно искать в двух плоскостях. Во-первых, события убеждают, что Россия не изжила еще революции, то есть большевизма, и воистину в победах советской власти есть что-то фатальное — будто такова воля истории. Во-вторых, противобольшевистское движение силою вещей слишком связало себя с иностранными элементами и поэтому невольно окружило большевизм известным национальным ореолом, по существу чуждым его природе. Причудливая диалектика истории неожиданно выдвинула советскую власть с ее идеологией Интернационала на роль национального фактора современной русской жизни — в то время как наш национализм, оставаясь непоколебленным в принципе, потускнел и поблек на практике вследствие своих хронических альянсов и компромиссов с так называемыми «союзниками».

Как бы то ни было, вооруженная борьба против большевиков не удалась. Как это, быть может, ни парадоксально, но объединение России идет под знаком большевизма, ставшего империалистичным и централистским едва ли не в большей мере, чем сам П. Н. Милюков.

Следовательно, пред непреклонными доводами жизни должна быть оставлена и идеоло-

гия вооруженной борьбы с большевизмом. Отстаивать ее при настоящих условиях было бы доктринерством, непростительным для реального политика.

Разумеется, все это отнюдь не означает безусловного приятия большевизма или полного примирения с ним. Должны лишь существенно измениться методы его преодоления. Его не удалось победить силою оружия в гражданской борьбе — он будет эволюционно изживать себя в атмосфере гражданского мира (хотя бы относительного, ибо абсолютного мира при господстве большевиков ожидать все-таки трудно). Процесс внутреннего органического перерождения советской власти, несомненно, уже начинается, что бы ни говорили сами ее представители. И наша общая очередная задача способствовать этому процессу. Первое и главное — собирание, восстановление России как великого и единого государства. Все остальное приложится.

И если приходится с грустью констатировать крушение политических путей, по которым мы до сих пор шли, то великое утешение наше в том, что заветная наша цель — объединение, возрождение родины, ее мощь в области международной — все-таки осуществляется и фатально осуществится.

Интервенция

1

Я положительно затрудняюсь понять, каким образом русский патриот может быть в настоящее время сторонником какой бы то ни было иностранной интервенции в русские дела.

Ведь ясно как Божий день, что Россия возрождается. Ясно, что худшие дни миновали, что революция из силы разложения и распада стихийно превращается в творческую и зиждительную национальную силу. Вопреки ожиданиям, Россия справилась с лихолетием сама, без всякой посторонней «помощи» и даже вопреки ей. Уже всякий, кого не окончательно ослепили темные дни прошлого, может видеть, что русский престиж за границею поднимается с каждым днем. Пусть одновременно среди правящих кругов Запада растет и ненависть к той внешней форме национального русского возрождения, которую избрала прихотливая история. Но право же, эта ненависть куда лучше того снисходительного презрения, с которым господа Клемансо и Ллойды Джорджи относились в прошлом году к парижским делегатам ныне павшего русского правительства...

Природа берет свое. Великий народ остался великим и в тяжких превратностях судьбы — «так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Пусть мы верили в иной путь национального воссоздания. Мы ошиблись — наш путь осужден, и горькой иронией рока неожиданно для самих себя мы вдруг превратились чуть ли не в «эмигрантов реакции». Но теперь, когда конечная мечта наша — возрождение родины все-таки осуществляется, станем ли мы упрямо упорствовать в защите развалин наших рухнувших позиций?.. Ведь теперь такое упорство было бы прямым вредом для общенационального дела, оно лишь искусственно задерживало бы процесс объединения страны и восстановления ее сил.

Нам, естественно, казалось, что национальный флаг и «Коль славен» более подобают стилю возрожденной страны, нежели Красное знамя и «Интернационал». Но вышло иное. Над Зимним дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развевается Красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собою глубочайшую историческн-национальную святость, древние куранты играют «Интернационал». Пусть это странно и больно для глаза, для уха, пусть это коробит,— но в конце концов в глубине души невольно рождается вопрос:

— Красное ли знамя безобразит собою Зимний дворец, или, напротив, Зимний дворец красит собою Красное знамя? «Интернационал» ли нечестивыми звуками оскверняет Спасские ворота, или Спасские ворота кремлевским веянием влагают новый смысл в «Интернационал»?

Все державы отказались от активной борьбы с русской революцией. Не потому, конечно, чтобы русская революция нравилась правительствам всех держав, а потому, что они сознали свое полное бессилие ее сокрушить. Испробовано уже то страшное решающее средство, которым британский удав душил в свое время Наполеона, душил Вильгельма — блокада. Испробована — и не помогла: в результате получилось даже как-то так, что стало трудно уяснить себе — кто же тут блокируемый и моримый, а кто блокирующий и моритель, кто кого душит. И надменная царица морей устами своего нового Веллингтона вдруг заявила на весь мир:

«Европа не может быть приведена в нормальное состояние без русских запасов. Единственное разрешение вопроса — это заключить мир с большевиками...»

Из всех союзников еще одна Япония держится несколько более неопределенно, загадочно. И именно к ней, к Японии, как к последнему прибежищу, устремлены сейчас глаза тех русских политиков, которых еще чарует Омск своими посмертными чарами.

Но ведь мертва же омская комбинация, и труп ее бесплодно гальванизировать иностранными токами — не оживет все равно. Если уж не помогла иностранная помощь в прошлом году, когда русские армии во многие сотни тысяч надвигались на Москву со всех сторон,— то что она может сделать теперь, когда от всех этих армий остались разве осколки осколков?.. Ну, а одними лишь иностранными штыками национального возрождения не достигнешь. А главное, смешны те, кто днем с фонарем ищет национального возрождения в тот момент, когда оно уже грядет — только иною тропой...

Власть адмирала Колчака поддерживалась элементами двоякого рода: во-первых, за нее, разумеется, ухватились люди обиженных революцией классов, мечтавшие под лозунгом «порядок» вернуть себе утраченное спокойствие, отнятое достояние и выгодное социальное положение; во-вторых, под ее знамя встали группы национально-демократической интеллигенции, усматривавшей в большевизме враждебную государству и родине национально-разлагающую силу. Именно эти последние группы представляли собою подлинную идеологию омского правительства в то время, как элементы первого рода систематически портили и компрометировали его работу.

Теперь, когда правительство пало, а советская власть усилилась до крупнейшего международного фактора и явно преодолела тот хаос, которому она обязана своим рождением, *национальные* основания продолжения гражданской войны отпадают. Остаются лишь групповые, *классовые* основания, но они, конечно, отнюдь не могут иметь значения и веса в сознании национально-демократической интеллигенции. Таким образом, продолжение междоусобной борьбы, создание окраинных «плацдармов» и иностранные интервенции нужны и выгодны лишь узкоклассовым непосредственно потерпевшим от революции элементам. Интересы же России здесь решительно ни при чем.

Пусть господа идеологи плацдармов устраивают таковые подальше от русской границы. Пусть там готовят они своего Людовика XVIII, пока их, так или иначе, не коснется огненное дыхание русского ренессанса.

Перспективы

1

Советской власти удалось отстоять свое существование от внутренних сил, против нее боровшихся. Она вышла победительницею в гражданской войне.

Но что же дальше? Как сложится судьба России в предстоящие месяцы и ближайшие годы? Как определится взаимное соотношение ее политических группировок и социальных групп? Близки ли мы к «успокоению» и переходу на «состояние мира», или страна продолжает пребывать в «состоянии революции», еще далеко не осуществившей своей основной задачи? — Вот вопросы, которые стали очередными и которые не могут не волновать.

Достаточно самого поверхностного анализа большевистской идеологии, чтобы убедиться в «мировом» объеме ее устремлений и задач. Россия для советских лидеров есть не что иное, как (употребляя модное ныне словечко) «плацдарм» революции, который необходим для грядущего торжества революционной идеи во всем мире. Русская революция — лишь этап всемирной социальной революции. И, как этап, она не мыслится в качестве чего-то цельного, законченного, самостоятельного. Недаром Ленин постоянно твердил, что «мировой империализм и шествие социальной революции рядом удержаться не могут». Очевидно, что одно из этих двух исторических явлений может целиком осуществиться в жизни, лишь поглотив другое.

В опубликованном недавно интервью Литвинова с английскими журналистами отчетливо проводится по существу та же мысль, только в экономическом ее разрезе:

— Полный коммунизм возможен лишь при условии, что другие страны станут на тот же экономический базис. Или они должны будут последовать нашему примеру, или же Россия, зайдя вперед прежде, чем наступило для этого время, должна будет возвратиться к капитализму.

А раз так, то становится совершенно ясным, что победа советской власти на фронте русской гражданской войны отнюдь не знаменует собою торжества прочного или сколько-нибудь длительного мира. Она есть не что иное, как переход от борьбы внутренней, междоусобной к борьбе с внешними врагами. И, конечно, глубоко разочаруются те, кто лозунг «мир», свойственный Красному знамени, принимают за символ чего-то близкого, очередного, реального. В лучшем случае они получат некоторую «передышку».

2

Но дело в том, что Россия и не заслужила еще действительного мира. Если бы она в настоящий момент своей истории сложила оружие и почила от дел,— это свидетельствовало бы об ее национальном и государственном оскудении. Не таково международное положение, чтобы не учитывать неизбежности новых осложнений и конфликтов: не мир, но меч несет человечеству Версаль. А главное,— Россия еще не объединена, не воссоздана в своих великодержавных правах. Карликовые государства — дети западного декаданса — шумною, хотя и довольно бестолковою толпою окружают ее, бессильные и фальшивые сами по себе, но держащиеся тем, что их бытие выгодно державам Антанты. Этот «санитарный кордон» еще опоясывает Россию, и пока не будет радикально уничтожен, действительного мира не будет, быть не может и не должно. Россия разорвет «колючую проволоку» г. Клемансо — это ее очередная национальная задача.

В области этой проблемы, как и ряда других, причудливо совпадают в данный момент устремления советской власти и жизненные интересы русского государства.

Советское правительство естественно добивается скорейшего присоединения к «пролетарской революции» тех мелких государств, что, подобно сыпи, высыпали ныне на теле «бывшей Российской Империи». Это — линия наименьшего сопротивления. Окраинные народцы слишком заражены русской культурой, чтобы вместе с ней не усвоить и последний ее продукт — большевизм. Горючего материала у них достаточно. Агитация среди них сравнительно легка. Разлагающий революционный процесс их коснулся в достаточной мере. Их «правительства» держатся более иностранным «сочувствием», нежели опорою в собственных народах.

При таких условиях соседство с красной Россией, которого явно побаиваются даже и величайшие мировые державы, вряд ли может повести к благополучию и безопасному процветанию наши окраины, самоопределившиеся «вплоть до отделения». Очевидно, что подлинного, «искреннего» мира между этими окраинами и большевиками быть не может, пока система Советов не распространится на всей территории, занимаемой ныне «белоэстонским», «белофинляндским» и прочими правительствами. Правда, советская дипломатия формально продолжает признавать принцип «самоопределения народов», но ведь само собою разумеется, что этот типичный «мелкобуржуазный» принцип в ее устах есть лишь тактически необходимый маневр. Ибо и существенные интересы «всемирной пролетарской революции», и лозунг «диктатуры пролетариата» находятся в разительном и непримиримом противоречии с ним. Недаром же после заключения мира с белой Эстонией Ленин откровенно заявил, что «пройдет немного времени — и нам придется заключить с Эстонией второй мир, уже настоящий, ибо скоро нынешнее правительство там падет, свергнутое Советами»...

Советская власть будет стремиться всеми средствами к воссоединению окраин с центром во имя идеи мировой революции. Русские патриоты будут бороться за то же — во имя великой и единой России. При всем бесконечном различии идеологий, практический путь — един, а исход гражданского междоусобия предопределяет внешнюю оболочку и официальную «марку» движения.

При настоящих условиях наиболее действенным и безболезненным орудием борьбы окажется, вероятно, большевистская пропаганда. Но, конечно, рядом с нею и для вящей ее убедительности потребуется, хотя бы в запасе, и достаточная вооруженная сила. Части русской армии, ныне разбросанные по всему пространству страны, отдыхающие, переходящие на «трудовое положение» и кое-где еще продолжающие взаимную борьбу, могут в недалеком будущем вновь понадобиться — но только уже не для внутренних фронтов.

Революция вступает в новый фазис своего развития, который не может не отразиться на общем ее облике.

С точки зрения большевиков русский патриотизм, явно разгорающийся за последнее время под влиянием всевозможных «интервенций» и «дружеских услуг» союзников, есть полезный для данного периода фактор в поступательном шествии мировой революции.

С точки зрения русских патриотов, русский большевизм, сумевший влить хаос революционной весны в суровые, но четкие формы своеобразной государственности, явно поднявший международный престиж объединяющейся России и несущий собою разложение нашим заграничным друзьям и врагам, должен считаться полезным для данного периода фактором в истории русского национального дела.

Воистину, прихотливы капризы исторической судьбы и причудлива ее диалектика. Прав был Гегель, усматривая на ней печать «лукавства правящего миром Разума»...

3

Но все-таки, что же дальше? Всемирная революция? «Федеративная советская республика Европы», а затем и всего мира? Переход от капитализма к социализму, коммунизму?

Блаженны верующие. Я не из их числа. Из альтернативы Литвинова мне все-таки представляется гораздо более вероятной вторая возможность.

Конечно, многое из советских опытов войдет прочным вкладом в русскую и даже всемирную историю и культуру, подобно тому, как многое из Великой французской революции перешло в века, несмотря на 9 термидора и 18 брюмера, и живо до сих пор. Если коммуна 1871 г. доселе любовно жуется историками фактов и историками идей, то насколько же более богатый, яркий, грандиозный и величественный материал оставит после себя великая русская революция?..

Пусть это так, но все же протекший опыт трех лет отнюдь не дает оснований утверждать, что «мировой капитализм» изжил себя в такой степени, что уже пробил час его смерти. Не говоря уже о самой России, которой настолько не пристало коммунистическое обличье, что сами советские вожди предпочитают, кажется, ныне больше говорить о строе «трудовом», нежели коммунистическом,— страны Запада, предмет всех красных надежд, упорно держатся своих капиталистических привычек. И теперь, когда приходится силою необходимости сталкиваться с ними лицом к лицу на экономической почве, для русского коммунизма настают часы «тягчайших испытаний и поражений» (Ленин).

Или советская система принуждена будет в экономической сфере пойти на величайшие компромиссы, или опасность будет угрожать уже самой основе ее бытия. Очевидно, предстоит экономический Брест большевизма.

И, судя по последним мирным предложениям советской власти иностранным державам, Ленин пошел на этот второй Брест с тою же характерною для него тактическою гибкостью, с какою он шел на первый и которая так блестяще оправдала себя.

Если соглашение будет достигнуто и установится хотя бы на короткое время «худой мир» с союзниками, советская диктатура в значительной степени утратит те свои качества, которые делали ее особенно одиозной в глазах населения. Прямолинейный фанатический утопизм, отвергнутый жизнью, неминуемо смягчится, и невыносимое ярмо насильственного коммунизма, тяжесть которого так хорошо знакома всякому, кто жил в Советской России (не исключая крестьян и рабочих), будет давить уже менее безжалостно и бездушно, постепенно изживая себя...

Однако перед русским правительством, допустившим в экономически разоренную страну иностранные капиталы, чрезвычайно остро встанет вопрос об ограждении своей государственной самостоятельности. Необходимы реальные гарантии, чтобы не повторялись попытки интервенций и дружеских оккупаций.

Эти гарантии могут состоять прежде всего и главным образом в наличности достаточной военной силы и затем — в надлежащем использовании («без предрассудков») международных отношений современности. И здесь опять-таки интересы советской власти будут фатально совпадать с государственными интересами России. Экономическое поражение придется возмещать политическими и, весьма возможно, даже военными победами.

Логикою вещей большевизм от якобинизма будет эволюционировать к наполеонизму (не в смысле конкретной формы правления, а в смысле *стиля* государственного устремления). Конечно, эти исторические аналогии теоретичны, неточны и, так сказать, грубы, но все же они невольно приходят в голову. Словно сама история нудит интернационалистов осуществлять национальные задачи страны. Недостает разве только, чтобы,

устроив «октябрьскую революцию» в Турции, они включили Царьград в состав «федеративной республики Советов» с центром в Москве...

Я прекрасно понимаю, что эти утверждения в их целом неприемлемы ни для большевиков, как фанатиков Интернационала, ни для тех их противников, которые до сих пор еще живут идеологией гражданской войны и полагают, что самая фирма «большевики» (как в свое время немцы), независимо от ее содержания и окружающей обстановки, есть нечто подлежащее безусловному истреблению. Я имел возможность убедиться в известной изолированности своей политической позиции по тому впечатлению, которое произвела в различных кругах и группах моя статья «Интервенция».

И все-таки я не могу не повторить еще раз, что крушение вооруженного противобольшевистского движения отнюдь не подрывает во мне уверенности в близости нашего национального возрождения, но только заставляет признать, что оно грядет — иною тропой...

Ю. Яворский

К новому миру

«Мы смело новый мир построим...»

Под сиплые, пьяные звуки этих широковещательных, облыжных слов кровавого «Интернационала», очертя голову и чуть с живой душой, бежали мы два с половиной года тому назад из «нового мира», с ужасом и невыразимой скорбью оставляя за собой разрушенную и растленную до основания, дорогую, великую страну, с ее глухими и голодными деревнями и разоренными и загаженными городами, и жалкой и гнусной личиной совершенно уничтоженной или уродливо извращенной тысячелетней духовной и материальной культуры, с жадным и ненасытным упырем кровожадным «чека» и «особ. отделов», со сплошным и беспощадным грабежом, издевательством и насилием, с чудовищной, доходящей до людоедства, голодной судорогой и нуждой, с повальным и беспомощным недугом и мором, с кишащими сплошь мириадами ядовитых миазмов и насекомых и безобразными, гниющими кучами шелухи «красноармейских» семечек вокруг.

О, да будет он отвержен и проклят навеки, этот кошмарный большевистский «новый мир»!

Но, чудом только вырвавшись за его страшные пределы и лишь с трудом, как после тяжелой болезни, освоившись с воскресной мыслью о возможности другой, свободной и благоустроенной жизни на вновь приютившей нас родине, где, несмотря на временно тяжелые и безотрадные внешние отношения, все-таки люди живут сравнительно благополучно и привольно, в более или менее нормальных условиях культуры и мира и вообще, как говорится, хоть в тесноте, да не в обиде,— я, к крайнему недоумению и смятению своему, увидел, что и здесь уже, в мирной и благодушной среде моих богоспасаемых земляков, тоже завелась небольшая, но шумливая и не разбирающаяся в средствах кучка несмышленых или злоумышленных поклонников красного дьявола, доморощенных каменщиков и строителей того же проклятого «нового мира», от которого я только что без оглядки бежал с таким ужасом и отвращением. Что и сюда уже, в наше верное и стойкое всегда и дружно сплоченное и непреклонное до сих пор, национальное, патриотическое ядро, геройски вынесшее только что всю страшную Голгофу последней вражеской расправы и дальше борющееся изо всех сил за свои заветные ценности и идеалы, тоже проникла исподволь разрушительная красная тля, произведя все большее растройство и смятение в народных рядах и распространяясь в них все с большей настойчивостью и злобой. Что даже некоторые ближайшие единомышленники и сподвижники наши, не то сманенные зычными и аляповатыми большевистскими кличами и плакатами, не то соблазненные открывающимися в них, для всех властных и хищных или просто садических даже инстинктов, широкими просторами безудержной воли и наживы, легкомысленно или преступно примкнули к этому новому красному стану, кощунственно сжигая все то, чему до сих пор поклонялись, безумно опрокидывая и переоценивая наобум все прежние ценности и устои народной души и жизни. И все развязнее и шальнее стал раздаваться с некоторых пор и в нашей славной и милой Рутении озорной гик и посвист — зловещий признак и предвестник грядущего в смуте, крови и смраде безродного и безумного Хама, лестью, обманом и разбоем взыскующего вчуже своего страшного и гнусного «нового мира»...

Питирим Сорокин

Нравственное и умственное состояние современной России

1. Морально-правовые изменения

«Каждый поступок, каждое слово, брошенное в этот вечно живущий и вечно творящий мир,— это семя, которое не может умереть»,— писал Карлейль. В применении к данному случаю эти слова означают, что совершаемые нами действия не проходят бесследно для нас самих, но рикошетом влияют на все наше поведение... «Функция создает орган»,— говорит биология. Наши поступки рикошетом видоизменяют наш организм, нашу душу и наше поведение. Тем более это относится к актам и поступкам, прививаемым войной и революцией.

И война, и революция представляют могучие факторы изменения поведения. Они «отвивают» от людей одни формы актов и «прививают» новые, переодевают человека в новый костюм поступков.

Являясь противоположностью мирной жизни, они прививают населению свойства и формы поведения, обратные первой. Мирная жизнь тормозит акты насилия, убийства, зверства, лжи, грабежа, обмана, подкупа и разрушения. Война и революция, напротив, требуют их, прививают эти рефлексы, благоприятствуют им всячески. Убийство, разрушение, обман, насилие, уничтожение врага они возводят в доблесть и заслугу; выполнителей их квалифицируют как великих воинов и бесстрашных революционеров, вместо наказания — одаряют наградой, вместо порицания — славою. Мирная жизнь развивает продуктивную работу, творчество, личные права и свободу; война и революция требуют беспрекословного повиновения («повинуйся, а не рассуждай», «подчиняйся революционной дисциплине...»), душат личную инициативу, личную свободу («дисциплина», «диктатура»). «Военные суды», «революционные трибуналы» прививают и приучают к чисто разрушительным актам, отрывают и отучают от мирного труда.

Мирная жизнь внедряет в население переживания благожелательства, любви к людям, уважения к их жизни, правам, достоянию и свободе. Война и революция выращивают и культивируют вражду, злобу, ненависть, посягательства на жизнь, права, свободу и достояние других лиц. Мирная жизнь способствует свободе мысли. Война и революция тормозят ее. «Где борьбу решает насилие — все равно: насилие ли пушек или грубое насилие нетерпимости,— там победа мудрых, положительная селекция по силе мозга и самая работа мысли затрудняется и делается невозможной».

Освободиться от этих влияний войны и революции (гражданская война) никому не дано. Они неизбывны. Следствием их является «оголение» человека от своего костюма культурного поведения.

С него спадает та тонкая пленка подлинно человеческих форм поведения, которая представляет нарост над рефлексами и актами чисто животными. Война и революция разбивают ее. Объявляя — это особенно относится к революции — моральные, правовые, религиозные и другие ценности и нормы поведения «предрассудками», они тем самым: 1) уничтожают те тормоза в поведении, которые сдерживают необузданное

проявление чисто биологических импульсов, 2) прямо укрепляют последние, 3) прямо прививают «антисоциальные», «злостные» акты.

Вот почему всякая длительная и жестокая война, как и всякая кровавая революция, деградирует людей в морально-правовом отношении.

К этому же они ведут и иначе: *через голод и лишения*, которыми они обычно сопровождаются. Создавая и усиливая нищету и голод, они тем самым усиливают в поведении этот стимул, толкающий голодных к нарушению множества норм морали и права в целях утоления первого. Словом, эти следствия войны и революции «биологизируют» поведение людей в квадрате. Целиком же взятые — и война, и революция — представляют школу преступности, основные факторы криминализации людей. «Функция создает орган», акты зверства оскотинивают их выполнителей рикошетом.

Правда, и в войне, и в революции есть обратная сторона: сторона жертвенности и «полагания души за други своя», подвижничество и героизм, но... эти явления — достояние единиц, а не масс. Они редки, исключительны, тонут в море противоположных явлений, и потому их роль ничтожна по сравнению с «биологизирующей» и «криминализирующей» ролью войны и революции.

Раз таково влияние последних вообще, не являются исключением отсюда и последняя война вместе с революцией. Напротив, они ярко подтверждают правило.

В итоге войны и особенно революции Россия превратилась в «клоаку преступности». Население ее в сильной степени деградировало в моральном отношении. Особенно значительна деградация в молодом поколении. Таковы дальнейшие «завоевания» войны и революции. Фактов для подтверждения сказанного имеется, увы, во вполне достаточной мере.

Первой категорией подтверждений служат явления: террора, диких разнузданных разрушительных действий индивидов и масс, колоссальный подъем зверства, садизма, жестокости, взаимных убийств и насилий. Из подобных явлений создается и состоит так называемая гражданская война. Не убийца — стал убийцей, гуманист — насильником и грабителем, добродушный обыватель — жестоким зверем.

В мирное время все эти явления не имели места и не могли его иметь.

Простое убийство вызывало отвращение. Палач — омерзение. Психика и все поведение людей органически отталкивались от таких явлений.

Три с половиной года войны и три года революции, увы, «сняли» с людей пленку цивилизации, разбили ряд тормозов и «оголили» человека. Такая «школа» не прошла даром. Дрессировка сделала свое дело. В итоге ее не стало ни недостатка в специалистах-палачах, ни в убийцах, ни в преступниках. Жизнь человека потеряла ценность. Моральное сознание отупело. Ничто больше не удерживало от преступлений. Рука поднималась на жизнь не только близких, но и своих. Преступления стали «предрассудками». Нормы права и нравственности — «идеологией буржуазии». «Все позволено»,— лишь бы было удобно — вот принцип смердяковщины, который стал управлять поведением многих и многих.

Отсюда — все указанные явления. Отсюда зверства гражданской войны, отсюда террор, чека, пытки, расстрелы, изнасилования, подлог, обман и т. д., которые залили кровью и ужасом Россию за эти годы.

Что все это, как не прямое подтверждение огромного морально-правового декаданса?

А вот и более конкретные данные, говорящие сухим языком цифр. В Петрограде в 1918 году было по меньшей мере 327 000 (22% населения) воров, кравших в форме лишней карточки общественное достояние, вырывавших последний кусок хлеба изо рта ближнего.

В Москве таковых было 1 000 000, т. е. 70% населения. Уровень моральных требований так опустился, что на такие факты смотрели «сквозь пальцы». С точки же зрения

нормального морального сознания они составляют квалифицированную кражу.

Беру далее официальную статистику уголовного розыска г. Москвы, дающую не преувеличенную, а преуменьшенную картину.

Если принять коэффициент каждой группы преступлений в 1914 году за 100, то движение преступлений за 1918—1919 годы в Москве выразится в таких цифрах:

Кражи	315
Вооруженный грабеж	28 500
Простой грабеж	800
Покушений на убийство	1600
Убийств	1060
Присвоение и растрата	170
Мошенничество	370

Не правда ли, веселенькие цифры?

Идем дальше. По данным наркома путей сообщения, за 1920 год зарегистрировано на железных дорогах 17 000 хищений багажа. Похищено 1 098 000 пудов грузов, т. е. в месяц пропало 100 тысячепудовых вагонов. Короче, по сравнению с довоенным состоянием хищения здесь увеличились в 150 раз.

Детская преступность в Петрограде по сравнению с 1913 годом возросла в 7,4 раза.

Прибавьте к этому мошенничество с пайками, подделывание ордеров, незаконные получки, беспринципную спекуляцию, небывалое грандиозное взяточничество, достигшее фантастических размеров, кражи из продовольственных складов *; присоедините сюда сотни тысяч произвольных «национализаций» и «реквизиций» агентами власти в свою пользу, тысячи и сотни тысяч «легальных» убийств и расстрелов для захвата бриллиантов и других драгоценностей, миллионы разнообразных злоупотреблений от обыска до убийства, невероятно выросшее число грабежей, налеты на квартиры, тысячи изнасилований, кражи из домов, с полей, огородов, массовый рост уголовного бандитизма и т. д.— и вы поймете, почему не является преувеличением квалификация России за эти годы как «клоаки преступности», почему можно и должно говорить о громадной криминализирующей роли войны и революции.

Катастрофический голод 1921—1922 годов в голодных областях еще более повысил число преступлений даже по сравнению с 1920 годом. 〈...〉

Революция, объявляя многое предрассудком, т. е. разбивая ряд тормозов поведения, сдерживающих проявление примитивно-биологических импульсов, разбивает и те тормоза поведения, которые ограничивают свободу удовлетворения половых аппетитов. Отсюда — рост половой вольности при всех революциях. У нас он проявился с необычайной силой, захватив прежде всего молодое поколение, у которого моральные тормоза, естественно, слабее. Большая «заслуга» в этом принадлежит прежде всего партии коммунистов, энергично принявшейся бороться с «мещанско-буржуазными» половыми предрассудками. Отдельные ее члены, вплоть до лиц, занимавших очень высокие посты в Наркомате просвещения, взялись за эту борьбу «экспериментально», путем публичного развращения институток и гимназисток...** В итоге этой «политики» и всей обстановки молодое поколение начало жить половой жизнью раньше, чем по физиологическим условиям это можно делать безнаказанно, вольность его здесь приняла огромные размеры, эксцессы приняли массовый характер, преступления и злоупотребления также, а в связи с этим — и половые болезни.

Особенно огромна была роль в этом деле коммунистических союзов молодежи.

---

* «У нас взятки на каждому шагу»,— заявил Ленин <...>

** Позицию коммунистов характеризует хотя бы тот факт, что еще в данном году сам Ленин в ответ на мою статью усмотрел в этом «великую заслугу коммунистов»: «Освобождение от буржуазного рабства». Да, освобождение, несомненно, но чего? «Половых органов, а не людей»,— ответил я ему. (См. ст. Ленина в «Под знаменем марксизма». 1922. № 1—2).

под видом клубов устраивавших комнаты разврата в каждой школе. Больше вначале имели и «детские колонии», «детские приюты», «детские дома», где вольно и невольно дети развращались почти поголовно.*

Представление о положении дел дают хотя бы следующие цифры. Девочки, прошедшие через распределительный центр Петрограда, откуда они распределяются по колониям, школам, приютам, почти все оказались дефлорированными, а именно из девочек до 16 лет таковыми было 86,7%. 〈...〉

Я специально занимался обследованием состояния молодого поколения в 1919—1920 годах в Петрограде и его окрестностях. Картина вскрылась весьма тяжелая во всех отношениях. Жившее в годы анархии, в атмосфере войны, убийств, насилия, обмана и спекуляции молодое поколение естественно впитало в себя целый ряд привычек нездорового характера и, обратно,— не усвоило многих форм поведения, необходимых для здорового общежития.

В деревнях дело обстоит лучше, но также малоутешительно.

Война и революция не только биологически ослабили молодежь, но развратили ее морально и социально.

Сходное, как мы видим, случилось и со взрослыми. Деградировав морально во многих отношениях, они, подобно молодому поколению, не избегли ослабления тормозов, сдерживавших половую вольность. Подтверждением сказанному служат цифры разводов и продолжительность браков, с одной стороны, сильное распадение семьи — с другой.

Процент разводов сильно повысился. В 1920 году в Петрограде он достиг цифры 92,2 на 10 000 браков — коэффициент необычный для Петрограда и превосходящий коэффициенты всех столиц Европы (соответственные цифры для Берлина равны 41,7, Стокгольма — 35,5, Брюсселя — 34,6, Парижа — 33,3, Бухареста — 28,7, Христиании — 24,9, Вены — 18,1).

Из каждых 100 расторгнутых браков 51,1 были продолжительностью менее одного года, из них 11% менее месяца, 22% менее двух месяцев, 25% менее шести. Отсюда понятно, почему я называю современные браки в России «легальной формой нелегальных половых связей».

Множество семейных организмов распалось. Новые — оказывались хрупкими, непрочными и быстро исчезающими.

Словом, в этой области мы видим обычные следствия войны и революции.

Одним из результатов такой половой вольности и является громадное распространение венерических болезней и сифилиса в населении России (5% новорожденных наследственные сифилитики, 30% населения заражены этой болезнью).

Рядом с этим количественным ростом преступности мы видим ее *качественный* рост: переход от некровавых и несадистских форм преступности к кровавым и зверским.

Это явление обнаруживается в различных видах. Наблюдая гражданскую войну, борьбу сторонников власти с ее противниками, мы видим с той и другой стороны невероятные акты жестокости и садизма, редко имеющие место в обычных войнах. Люди озверели и свои жертвы убивали не просто, а с изощренными пытками: прежде чем убить пленника, его подвергали десятку пыток: обрезали уши, вырезывали у женщин груди, отрубали пальцы, выкалывали глаза, вбивали под ногти гвозди, отрезали половые органы, иногда закапывали жертву в землю, привязывали ее к двум согнутым деревьям и медленно

* Мудрено ли поэтому, что дети двух обследованных колоний в Царском Селе оказались сплошь зараженными гонореей. Летом этого года один врач мне рассказывал такой факт: к нему явился мальчик из колонии, зараженный триппером. По окончании визита он положил на стол три миллиона рублей. На вопрос врача, откуда он взял деньги, мальчик спокойно ответил: «У каждого из нас есть своя девочка, а у девочки есть любовник — комиссар». Эта бытовая сцена довольно верно рисует положение дел.

разрывали, защемляли половые органы и т. д. На наших глазах воскресало средневековье. Оно воскресало и в факте *коллективной ответственности.* За преступления одного убивались десятки и сотни лиц, не имеющих к нему никакого отношения. За покушение на Ленина, Урицкого и Володарского были расстреляны тысячи людей, не имевших к нему никакого касательства. За одного «бандита» делалась ответственной вся его деревня и нередко сжигалась артиллерией целиком. За виновного члена семьи расстреливались последние.

За выстрел в агента власти убивались десятки «заложников», сидевших в тюрьмах обширной России. Институт «заложничества» стал нормой, «бытовым явлением» нашей действительности... Поистине воскресли первобытные времена и нравы в XX столетии.

Рост кровавой преступности сказался и на характере уголовных преступлений. Как только перестали круглые сутки граждане дежурить у ворот домов — такая повинность существовала в 1919—1920 годах,— сразу же начались в Москве, Петрограде и других городах массовые грабежи и убийства. В прошлую зиму ночью было опасно идти по улицам, не рискуя в лучшем случае быть раздетым. Кражи в квартирах резко поднялись. Причем — что важно — преступники не только грабили, но зверски убивали людей совершенно бесцельно, без пользы для целей грабежа... Подобные факты, подтверждая рост кровавой преступности, лишний раз говорят о сильнейшей моральной деградации. Наконец, о том же говорят и многочисленные факты *людоедства* и даже убийств с целью пожирания убитого, имевшие место в этом году.

Голодовки бывали не раз в XIX веке в России. Но людоедства не было, или оно носило совершенно единичный характер. Теперь мы дожили и до него.

Причина его лежит не только в голоде, но и в «развинчивании» всех моральных тормозов, вызванном войной и революцией...

С 1921 года, когда наметилось возвращение к нормальным условиям жизни, когда отпала гражданская война, проявились и первые признаки морального оздоровления страны, стали оживать угасшие моральные рефлексы, а вместе с ними и борьба за восстановление нравственности. В 1922 году эта «реставрация» продолжалась и дала себя знать в ряде явлений: в уменьшающейся половой вольности, в попытках самого населения активно бороться с убийствами, кражами, грабежом, в растущей строгости моральной оценки взяточничества, спекуляций, обмана, злоупотреблений и т. д. Но это только начало. Нужны еще годы и годы, чтобы хоть сколько-нибудь залечить глубокие раны, нанесенные душе народа войной и революцией. А есть ряд явлений, которые могут быть исправлены только исчезновением молодого поколения, рожденного в грехе войны и революции.

2. Народное просвещение и наука

Казалось бы, в чем, в чем, а в этой области уж никак нельзя упрекнуть революцию и советскую власть. Не было ли объявлено urbi et orbi *, что в области просвещения за эти годы сделаны чудеса, что безграмотность ликвидирована, что образование народа поднялось на громадный уровень, что наука процветает, что власть во главе с просвещенным Луначарским (у нас его называют Луна-парским и Лупанарским) обнаруживает исключительно заботливое отношение к ученым, покровительствует науке, искусству и интеллектуальному творчеству.

Не посылались ли чуть не ежедневно по радио об этом широковещательные рекламы «всем, всем, всем». Не писали ли об этих чудесах десятки корреспондентов. В каждом доме — «клуб», в каждой избе — «читальня», в каждом городе — университет.

* Городу и миру (*лат.*).

в каждом селе — гимназия, в любом поселке — народный университет и по всей России сотни тысяч «внешкольных», «дошкольных» и «подшкольных» образовательных учреждений, приютов, колоний, очагов, детских домов, садов и т. д. и т. д. — такова картина, которая нарисована была иностранцам. Казалось бы, дело так и обстоит. Не значится ли в «Статистическом ежегоднике» за 1919—1920 годы, что в России было 177 высших школ с 161 715 учащимися, 3934 школы II ступени с 456 195 учащимися, школ I ступени с 5 973 988 учениками; сверх того, 1391 профессиональная школа с 93 186 учащимися, 72 школы для дефективных с 2391 учащимся, 80 рабочих и народных университетов и факультетов с 20 483 слушателями, плюс 2070 дошкольных учреждений с 104 588 воспитанниками, 2936 детских домов с 141 890 детьми, 46 319 библиотек, читален и клубов, 28 291 школа для ликвидации безграмотности, 3479 народных домов, 263 студии, 534 музея и выставки.

Какое богатство!.. Чуть не вся страна превращена в одну школу и университет. По-видимому, она только и делала, что училась, обеспеченная во всем, в том числе и в преподавательских силах.

Нужно ли говорить, что все это фикция, одно бумажное изобретательство, невозможное дедуктивно для голодной страны и несоответствующее сути дела фактически. *В действительности за эти годы произошла не «ликвидация безграмотности», а «ликвидация грамотности», не расцвет школы, а ее разрушение, не прогресс науки, а ее декаданс, не культурно-образовательный подъем, а деградация.* Объяснимся. В 1918—1919 годах власть действительно в количественном отношении размахнулась. На бумаге было открыто много школ, клубов, университетов и т. д. Но только на бумаге. Фактически дело свелось к устройству под именем «университетов» ряда митингов с партийными ораторами, говорившими «о текущем моменте», разбавленными 2—3 преподавателями гимназии, обучавшими начаткам арифметики и грамоты. Сходный характер носили и другие просветительные учреждения. В большинстве случаев и этого не было, а просто ограничивалось дело открытием школы на бумаге или устройством «митинга» с «танцулькой» или спектаклем. Подлинная картина рисуется хотя бы из следующих официальных данных, относящихся к московским высшим школам, обеспеченным преподавательскими силами.

В 1917 году здесь в университете, технических, сельскохозяйственных и коммерческих высших учебных заведениях числилось 34 963 учащихся и кончило из них 2379; в 1919 году там же числилось 66 975 учащихся, вдвое больше, а кончило... 315, т. е. в 8 раз меньше. Что это значит? Это значит, что 66 975 учащихся — фикция. И в Москве, и в Петрограде в 1918—1920 годах аудитории высших школ были пусты. Обычная норма слушателей у рядового профессора была 5—10 человек вместо 100—200 дореволюционного времени, большинство курсов не состоялось «за неимением слушателей».

Мудрено ли, что кончило из 66 тысяч — 315. В статистических же данных в это время мы читали о десятках тысяч студентов в университете и других высших учебных заведениях. Читали и удивлялись, почему их нет в аудиториях и не видно в здании школы.

Так же «блестяще» обстояло дело и во всех других школах. Сейчас эти фикции развеялись. Почитайте официальные газеты (других у нас нет) — и чуть ли не в каждом номере начинаете встречать отчаянные голоса о полном разрушении школы.

Фактически картина такова.

В начале этого года (1922) был составлен годовой бюджет государства.

Он исчислен был в 1 800 000 000 золотых рублей. Из него на военное дело ассигновано было 1 200 000 000 рублей («мы не милитаристы»). На все остальное 600 000 000 рублей, из коих на все дело просвещения отводилось... 24 000 000 рублей. Из трехмиллиардного бюджета в 1913 году на народное просвещение уходило около 400 000 000 настоящих золотых рублей, а из 1 800 000 000 бюджета теперь — 24 000 000 и то мнимых золотых рублей. Эта цифра — и абсолютно, и относительно — ясно рисует подлинное положение

дела. Ввиду колебания советских денег из годового бюджета ничего не вышло, но пропорция средств государства, тратимых на образование, осталась близкой к этой сумме.

Не будет удивительным поэтому, что в феврале этого года власть решила закрыть все высшие учебные заведения России, кроме пяти на всю страну.

Только энергичное вмешательство профессуры помешало осуществить эту радикальную «ликвидацию высшей школы».

Поистине «догорели огни, облетели цветы». Сейчас нет даже фикций для саморекламирования власти как «великого просветителя России». «Возвышающий обман» кончился. Реальная же проза такова.

Низшая школа в 70% не существует. Здания школ, не ремонтировавшиеся за все эти годы, развалились. Нет освещения. Нет топлива. Нет ни бумаги, ни ручек, ни карандашей, ни мела, ни учебников. Нет и учителей. Эти «мученики революции», не получившие по 6—7 месяцев тех грошей, на которые прожить абсолютно нельзя, частью вымерли, частью поступили в батраки, часть стала нищими, значительный процент учительниц... проститутками, а часть счастливцев перешла в другие, более хлебные места. В ряде мест вдобавок крестьяне неохотно дают детей в школы, так как «там не учат Закону Божию». Вот подлинное положение дела. Если бы вы, как я, прочли ряд конфиденциальных правительственных докладов, из них вы получили бы кошмарную картину. Власть блестяще провела «ликвидацию грамотности». Молодое поколение сельской России должно было бы вырасти совершенно безграмотным. Если это случилось не вполне, то не в силу заслуг власти, а в силу проснувшейся в народе тяги к знаниям.

Она заставляет крестьян своими силами помогать беде, кто как может: в ряде мест они сами приглашают профессора, преподавателя, учителя в село, дают ему жилье, питание и детей для обучения, в других местах таким учителем делают священника, дьячка и просто грамотного односельчанина. Эти усилия населения мешают полной ликвидации грамотности. Не будь их — власть осуществила бы эту задачу блестяще.

Сейчас, как известно, все почти низшие школы лишены всяких субсидий от государства и переведены на «местные средства», т. е. власть, не стыдясь, лишила всю почти низшую школу всяких средств и предоставила дело населению. На военное дело у нее есть средства, есть средства на богатые оклады спецов, на подкуп лиц, газет, пышное содержание своих дипломатических агентов и на финансирование Интернационала № 3, а на народное образование — нет. Больше того, ряд школьных помещений сейчас ремонтируется для... открываемых винных лавок.

Поистине недурные ревнители народного просвещения! Через три года история сдула с них все фальшивые румяна и фиговые листки, и теперь они стоят оголенные.

Если молодая Россия будет не вполне безграмотной, то только благодаря самому населению. Пока же уровень грамотности на нашей родине значительно понизился.

Средняя школа? Ее положение, пожалуй, еще печальнее. Над ней так много экспериментировали, что от этих экспериментов, помимо других причин, она не могла не развалиться. В самом деле, с 1918 года каждое полугодие приносило новую радикальную реформу. Не успели еще очередную реформу реализовать, как из бесчисленных канцелярий Наркомпроса или Главпрофобра вылетела новая реформа, аннулировавшая предыдущую. И так все пять лет.

В итоге остатки преподавательского персонала были сбиты с толку и не знали, что делать.

Далее, в силу тех же общих причин: отсутствия денег, ремонта, топлива, учебных пособий, преподавателей, как и учителей низших школ, обреченных на голод, частью вымерших, частью разбежавшихся,— средняя школа на те же 60—70% не существует. Как и в высшей школе, здесь сверх того было ничтожное количество учащихся. В условиях голода и нужды дети 10—15 лет не могли позволить себе роскошь учиться: приходилось до-

бывать кусок хлеба продажей папирос, стоянием в очередях, добыванием топлива, поездками за провизией, спекуляцией, службой и т. д., ибо родители не могли содержать детей; последним приходилось помогать семье.

Немало содействовала падению среднего образования и практическая бесполезность его в России за эти годы. «Зачем учиться,— ответил мне один из учеников, вышедший из школы,— когда вы, профессор, получаете жалование меньше и паек хуже, чем я». (Он поступил в «Стросвирь» и получал там действительно лучший паек и содержание.)

Мудрено ли, что в таких условиях даже те немногие, которые кончали школу II ступени, выходили довольно безграмотными. В алгебре дело не шло далее квадратных уравнений, в истории знания сводились к... истории Октябрьской революции и партии коммунистов, всеобщая и русская история выключены были из преподаваемых предметов. Когда такие окончившие поступали в высшую школу, то значительная часть из них попадала на «полевой факультет» (т. е. в группу лиц, совершенно неподготовленных и скоро выбывавших из школы), для остальных приходилось образовывать подготовительные курсы. Не мог не понизиться в силу этого и общий уровень студентов. ⟨...⟩.

Дело несколько можно было бы улучшить открытием частных школ. Но это не разрешается. Власть поистине становится «собакой на сене, которая сама не ест и другим не дает».

Таковы итоги в этой области. И здесь — полное банкротство. Шуму и рекламы было много, а результаты? Те же, что и в других областях. Разрушители народного просвещения и школы — вот объективная характеристика власти в этом отношении.

Перейдем к высшей школе. Когда-то аудитории университетов и других высших учебных заведений были полны. Теперь они пустуют. Вместо 177 высших учебных заведений, фиктивно существовавших в 1919—1920 годах, теперь число их пало до 24—27 на всю Россию по всем отраслям. ⟨...⟩

Это объясняется, во-первых, отсутствием средств. «Меценаты просвещения» не отпускают хотя бы минимум средств на высшее образование. Благодаря этому почти все высшие школы не отоплялись все эти годы. Мы все читали лекции в нетопленых помещениях. Чтобы было теплее, выбирались небольшие аудитории. Например, все здание Петроградского университета пустовало. Вся ученая и учебная жизнь сжалась и ютилась в общежитии студентов, где был ряд небольших аудиторий. Теплее и для большинства лекций — не тесно.

В силу того же обстоятельства здания не ремонтировались и сильно разрушены. Вдобавок в 1918—1920 годах не было света. Лекции читались в темноте: лектор и слушатели не видели друг друга. Было счастьем, если иногда удавалось раздобыть огарок свечки. В 1921—1922 годах свет был. Отсюда легко понять, что такой же недостаток был и во всем другом: в приборах, в бумаге, в реактивах и лабораторных принадлежностях; о газе забыли и думать. О животных для опытов (кроликах, морских свинках, собаках и т. д.) тоже. Зато в человеческих трупах недостатка не было. Одному ученому «че-ка» даже предложила «для пользы науки» доставку только что убитых трупов. Первый, конечно, отказался. Не только у рядового ученого, но даже у таких мировых ученых, как академик И. П. Павлов, собаки умирали от голода, опыты приходилось делать при свете лучины и т. д. Словом, материально высшие школы разрушились и не могли нормально функционировать, не получая минимального минимума средств. Все это делало занятия трудными и малопродуктивными.

В 1921/22 учебном году в некоторых школах чуть-чуть стало лучше: появился, по крайней мере, свет. Для нас, русских ученых, и это очень много.

Столь же печальным было положение профессуры и студенчества. Самыми ужасными годами в этом отношении для профессуры были 1918—1920 годы.

Получая ничтожное вознаграждение, и то с опозданием на 3—4 месяца, не имея никако-

го пайка, профессура буквально вымирала от голода и холода. Смертность ее повысилась в 6 раз по сравнению с довоенным временем. Комнаты не отапливались. Не было ни хлеба, ни тем более других, «необходимых для существования» благ. Одни в итоге умирали, другие не в силах были вынести все это — и кончали с собой. Так покончили известные ученые: геолог Иностранцев, профессор Хвостов и еще кое-кто. Третьих унес тиф. Кое-кого расстреляли. Моральная атмосфера была еще тяжелее материальной. Немного профессоров найдется, которые бы не были хотя раз арестованы, и еще меньше, у кого несколько раз не производились бы обыски, реквизиции, выселение из квартиры и т. д. и т. д. Прибавьте к этому многообразные «трудовые повинности» в форме пилки дров, таскания тяжелых бревен с барж, колки льда, дежурства у ворот. Для многих ученых, особенно пожилых, все это было медленной смертной казнью. Так погибли: академик Шахматов, академик Тураев и многие другие.

В силу этих условий ученые и профессора стали вымирать с такой быстротой, что заседания, например, совета университета превратились в перманентные «почитания памяти». На каждом заседании оглашалось 5—6 имен, отошедших в вечность. Раскройте VI—VII книги «Русского исторического журнала» — и вы увидите, что они сплошь состоят из некрологов. ⟨...⟩

Что касается «моральной» атмосферы, то она по-прежнему тяжела. Хотя террор и ослаб, но весьма относительно. Год тому назад еще по т. н. «Таганцевскому делу» расстреляно было более 40 ученых, в том числе такие величины, как лучший знаток русского государства профессор Н. И. Лазаревский и один из крупнейших поэтов Н. Гумилев. Не прекращаются обыски и аресты. Теперь к этому присоединилась массовая высылка профессуры, сразу выбросившая за границу около 100 ученых и профессоров. Власть «заботливо печется об ученых и науке...».

Еще более ужасным было и остается материальное положение студенчества. В 1918—1920 годах число студентов было фактически ничтожным. В Петроградском университете за эти годы едва ли было больше 300—400 фактически занимавшихся студентов, несмотря на то, что в 1919/20 году в него были влиты высшие женские курсы (Бестужевские) и Психоневрологический институт. Студенты ничего не получали и принуждены были добывать пропитание работой на стороне.

В 1920/21 году положение немного улучшилось. Значительная часть студентов стала получать паек от полфунта до одного фунта хлеба в день, плюс один фунт сахару, пять селедок, один фунт соли, пять фунтов крупы и полфунта масла в месяц. На это прожить трудно, но жили. Часть занималась заработками на стороне. В 1921/22 году этот паек чуть-чуть был улучшен, но зато к концу 1921 года он был оставлен только для коммунистов и сочувствующих им. Остальная часть была лишена его вовсе и зарабатывала пропитание летом выгрузкой тяжестей в порту (в Петрограде), службой и другой физической и умственной работой. Но не все могут ее найти, и потому положение большинства стало бы отчаянным, если бы на помощь не пришел Христианский союз молодежи устройством бесплатных обедов. Они помогли и помогают значительно.

С осени положение студенчества становится еще более серьезным.

Все, кроме коммунистов, не только перестают получать что-либо, но должны платить за право учения плату в 400—500 миллионов рублей в год — недоступную 97% студентов.

Таков итог «просвещенной» политики власти в этой области. Еще хуже моральные условия студентов-некоммунистов. Власть смотрела и смотрит на них как на врагов. Аресты и обыски студентов идут пачками. Сейчас к ним присоединились высылки внутрь и вне России. Вдобавок как профессора, так и студенчество отдано во власть «коммунистическим ячейкам».

Правда, те и другие героически борются с ними, но от этого не становится легче. В 1920—1921 годах власть ввела «комиссаров» в высшие учебные заведения. Эти безусые

мальчншкн нагло отбнралн печатн у ректоров — мнровых ученых, вмешнвалнсь в нх действия, отменялн их акты — словом, показывалн свою власть. Наблюдая сцены, когда такой безусый хулигаи давал выговор старнку — крупиейшему ученому,— трудно было сдержаться, ие протестовать н не нспытывать смертельной боли. Но... к протестам власть оставалась глухой, а чаще всего отвечала на иих иовыми арестами.⟨...⟩

Введены цензуриые комитеты, хороиящне все инакомыслящее. Цензура времен Нннколая I ннчто по сравиению с современиой. Чтобы дать представленне о том, что она не разрешает, достаточио привести одни-два прнмера. У одиого беллетриста в рассказе, иапрнмер, вычеркнулн фразу: «Сестра мнлосердия стояла в непрннужденной позе н курила папнросу».

На вопрос: «Почему вычеркнулн фразу» — цеизор ответил: «Красная сестра милосердия не может стоять в непрниужденной позе в порядке революцнонной дисциплины. Переделайте ее в «белую» сестру мнлосердия — тогда разрешу».

Ныне высланному профессору Кизеветтеру запретнли печатание абсолютно академнческой рецеизии о последиих работах профессора Платонова и Преснякова по русской нсторнн. Причниой запрета было то, что «автор хвалит этн работы, тогда как коммуиистический профессор Покровский разругал нх; а раз Покровскнй разругал — хвалнть иельзя».

Спасает положение дела только безграмотиость цеизоров, порой пропускающнх действнтельно вредное для коммунизма.

Опека... опека... опека... школы, печатн, лекций н дебатов... Рядом с этнм подкуп лнц и пнсателей. «Нанболее иепокориых из вас вышлем, остальных купим» — такова формула полнтнкн власти сейчас. И покупают. Платят сейчас, напрнмер, по 300—400 миллионов за лист беллетристу, лншь бы пнсалн в угодном для властн духе. Пнсатели «Божьей милостью» на это не пойдут, псевдопнсателн ндут: есть-то надо. Не будем за это кидать в иих камнн. Таковы заботы властн о иауке, просвещеиии н духовном творчестве. Делается все, чтобы разгромнть остаткн сил н ценностей.

Но... велнка снла жнзин. Оиа ломает все препоны. Несмотря на все этн меры гаснтелей духа, он живет, творнт н собнрается жнть.

Тяжелы условия жнзнн студеичества — и все же оно какнм-то чудом умудряется заннматься. Не так, как раньше, в довоенное время, но все же много, очень много для иашего временн. Жажда знаиня — настоящего — огромна, н она творит чудеса. Даже «рабфакн» н значительиая часть коммуинстов, попав в высшую школу, вкуснв «от Духа Свята», быстро «лнняют» н стаиовятся серьезнымн работнпкамн. И здесь «власть предполагает, а судьба располагает».

Есть жажда знання, воля к зиаиню н эиергия его получать, защищать и охранять, несмотря иа все.

Больше того. В итоге бесцеремонного насаждення правительственной идеологии коммуннзма результаты получаются обратиые. Вместо нитериационализма студенчество охвачеио сейчас чувством нацноналнзма. Вместо коммуннзма — идеологней ннднвидуалнзма, собствеииости и антикоммуннзма. Вместо атензма и материализма — идеализмом и релнгнозностью. Вместо сочувствия к власти — презреинем и иенавистью к ней.

То же и средн ученых. Еслн в 1918/19 году нх работа замерла, то с 1921/22 года она сиова возобновнлась. Для русских условий то, что делают русскне ученые сейчас, очень миого. Выходит, несмотря на рогаткн цензуры, ряд трудов, печатается ряд научных журналов, началн работать научные общества, устранваются съезды, словом, научная работа не замерла. И не замрет... Не замерло н кннгоиздательство. Вопрекн всем препятствиям, кииги все же выходят, н среди иих немало аитикоммуннстнческих. Еслн в ннх не все сказаио exprеssis verbis *, то читатель понимает теперь и иамекн. И что удивнтельно! Кннгн

* Совершенно четко (*лат.*).

стоят несколько миллионов экземпляр, но, раз книга дельная, а не набившие оскомину творения Маркса и г[оспод] коммунистов, она раскупается нищей страной... Многие голодают телесно, чтобы не голодать духовно...

Дух страны жив еще, несмотря на его удушение властью. И если эта задача ей не удалась до сих пор, то тем более не удастся теперь. Больше того, чем сильнее она будет вгонять принудительно свою «догму» в голову населения, тем меньше будет иметь успеха. Даже и молодые коммунисты не оправдают вполне ее надежду. Кто знает механику социальных процессов — тому это понятно...

Что касается, наконец, множества дошкольных и внешкольных учреждений, то о них много говорить не приходится. Они сейчас почти все перестали существовать. Нет больше ни «народных университетов», ни «клубов» (вместо них открыты в большом количестве игорные клубы), ни библиотек, составленных в свое время из конфискованных книг, ни детских колоний, детских очагов, приютов, садов и домов... «За отсутствием кредитов» почти все они закрыты, дети вышвырнуты на улицу, библиотеки либо расхищены, либо не функционируют, народные университеты умерли...

История умеет смеяться, и временами очень ехидно. Впрочем, для «втирания очков» и «парада» перед наивными иностранцами кое-что, специально с этой целью, еще имеется. Кто будет изучать русскую жизнь из окон отеля, купе вагона и со слов любезных с иностранцами официальных «гидов» — может написать очередную благоглупость на эту тему — одну из многих, которые нам пришлось читать в России с горькой улыбкой.

Я не жалею о закрытии этих учреждений, особенно детских. Не жалею потому, что это закрытие означает уничтожение фабрик, калечивших детей физически и духовно, подготовлявших из них больных, сифилитиков и преступников. Этого «добра» и так у нас много. Не беда, если его будет поменьше. То же mutatis mutandis * могу сказать о других учреждениях, носивших громкие имена, совершенно не соответствовавшие их сущности...

Теперь вместо всего этого власть открывает кабаки. Это название более подходит к закрытым учреждениям. Оно правильнее характеризует и власть как «просветителя». «Кабатчики» и «физические и духовные отравители народа» — это звучит адекватно. А я всегда предпочитаю адекватность «нас возвышающему обману».

В заключение предлагаю Горькому, Барбюсу, Б. Шоу, Р. Ролану и многим другим «интеллектуалам» проверить правильность сказанного, раз, а проверив и найдя все верным, подумать и ответить себе: не играли ли они роли наивных дураков или вредных идеалистов, распевая гимны «вождям коммунизма»? Не причинили ли они ряд объективных зол, исходя из высоких субъективных мотивов? Не ввели ли они в заблуждение многих и многих, веривших им, когда они гасителей духа возводили в ранг «освободителей человечества», антропоидов — в сверхчеловеки, проходимцев истории — в героев, темных дельцов — в вождей нового мира?

Серьезно подумать об этом — долг каждого честного и уважающего себя писателя.

От редакции «Воли России»

Печатая в № 4 и № 5 интересную статью П. А. Сорокина, редакция «Воли России» отнюдь не разделяет, конечно, всех выводов и обобщений автора.⟨...⟩

* Изменив то, что следует изменить (*лат.*).

Екатерина Кускова

А что внутри?

I

Глубоко взволновали русскую эмиграцию доклады Питирима Сорокина. Корреспондент газеты «За свободу» пишет, что в Праге эти речи произвели ошеломляющее, паническое впечатление.

Да, есть от чего впасть в панику... Там, внутри, не раз охватывало нас за это время паническое состояние. И вовсе не личные ужасы придавливали больнее всего. А вот это сознание, что в огне разложения горит что-то основное, сгорает *душа народа*, искажается уродливой гримасой лик человеческий,— это сознание было мучительно, оно придавливало, принижало дух.

Первые годы некогда было всматриваться в глубину процесса. Во-первых, била по нервам гражданская война и ее эпизоды, во-вторых, тогда было очень немного прозорливых людей, которые считали бы поход большевиков на Россию длительным. Большинство думало иначе: тяжко, страшно, но непрочно, преходяще. Разве может такая уродливость истории быть длительной?

Оказалась очень длительной... Большинству, миллионам русских людей, не могущих исчезнуть, бежать, скрыться, пришлось *приспособляться*, пришлось ради сохранения жизни и возможности существования сломить себя, откинуть в сторону свои симпатии, привычки, потребности и подчиниться неумолимому, неизбежному.

Лишь немногие люди, единицы, какими-то судьбами сумели оградить свою независимость. Остальные — подвергнулись не только внешней, но и внутренней трансформации.

Многие люди стали неузнаваемы.

Если прибавить к этому, что этот процесс трансформации задевал не отдельные кусочки психологического и бытового уклада, что он был всесторонним, всеобъемлющим, то произведенные им глубокие перемены станут очевидными.

Совсем, однако, другой вопрос, можно ли уже теперь, сейчас суммировать, делать выводы о «нравственном и умственном состоянии современной России», как это делает Питирим Сорокин. Думаю, что в такой категорической форме, в какой решается это делать он,— такие обобщения преждевременны. Покойный П. А. Кропоткин писал: «Занимаюсь этикой, уверен, что усилия отдельного человека сейчас ничего не значат. Встряска масс — огромна, индивидуальное масс — еще не выявилось» *. Совершенно верно. Встряска масс — колоссальна.

Но еще ничего нет кристаллизовавшегося, того *индивидуального*, что дает определенность личности, группе, партии, классу.

А без этого индивидуального, всего того *особенного*, что отложится в переживаниях масс как результат революции и что можно уже будет принимать как данное, как

* Цитирую по памяти.

14 - 289

слагаемое,— трудно делать широкие обобщения. Видя только оболочку, нельзя говорить о том, что там, внутри.

Как свидетельница, могу сказать, что эта тенденциозность живущих в России оскорбляет и возмущает. «У нас и так моря горести, зачем же еще прикрашивать, преувеличивать?»

Такие речи после чтения заграничной информации можно услышать нередко.

Помню, как-то приехал из-за границы П. И. Бирюков. Его выслали тогда из Швейцарии. За что? — спрашиваем. «За то,— говорит он,— что я резко протестовал на митинге против одного докладчика. Понимаете, он рассказывал, что большевики, борясь с религиозными заблуждениями, в одном из монастырей зарезали архимандрита-настоятеля, изрубили его, сделали котлеты и заставили монахов их съесть.

Я и кричал: «Неправда, неправда, этого не было! Не было!» А когда я вышел с митинга, многие из русских не подавали мне руки, как защитнику большевиков».

Я не знаю, за что выслали из Швейцарии Бирюкова. Но совершенно уверена, что из архимандрита большевики котлет не делали и монахов ими не кормили.

В другой раз член английской делегации, доктор Гест, посетивший общественную организацию — Лигу спасения детей, спросил меня: «А правда ли, что в большевистских детских приютах родится очень много детей?» Сначала мы, члены правления Лиги, даже не поняли — каких детей? У кого? Переспрашиваем. «В Англии,— отвечает доктор Гест,— одна русская читала доклад о России. В нем она говорила, что все дети в приютах сплошь заражены сифилисом и что у них (у детей!), благодаря тому, что в приютах содержатся мальчики и девочки вместе, родится преждевременно много детей». Мы спросили доктора Геста, госпожу Сноуден и госпожу Банфильд, как фамилия этой докладчицы,— но никто из них ее не помнил. Мы постарались им объяснить, как обстоит дело на самом деле.

Мне кажется, что привкус этих легенд о большевизме есть и в докладах Питирима Сорокина.

Перейдем, однако, к фактам.

II

Начнем с непоправимого. «Одним из результатов половой вольности,— пишет Сорокин,— является громадное распространение венерических болезней и сифилиса в населении России (5% новорожденных — наследственные сифилитики, 30% населения заражены этой болезнью)».

Если 20—30% населения вымрет от голода и гражданской войны, а из оставшихся 30—35% будет заражено сифилисом, то... возможно ли возрождение этой сгнившей страны?

Обращаюсь к одному в высшей степени компетентному врачу, только что приехавшему из России, с вопросом: точны ли цифры Питирима Сорокина?

Неточны безусловно. Во-первых, откуда он их взял? Ссылки нет. А вот что говорит врач: «По долгу моей службы я должен был собрать цифры заболеваний сифилисом и потому обращался к сифилидологам с просьбой дать сведения о распространенности этой болезни. Они решительно отказались признать какую бы то ни было цифру точной, никто такой статистики не ведет и вести не может. Но на глаз, по записям в амбулаториях, по собственным приемам они устанавливают цифру распространения этой болезни в 8—10%, не более. До войны заболеваемость равнялась 2%. Локализация в отдельных местах может быть очень велика.

Всем памятны описания В. Г. Короленко отдельных уездов Нижегородской губернии, в которых целые деревни поголовно были заражены сифилисом. Но общая распространенность равнялась 2%. И на Западе, и у нас война, солдатчина, нарушение семейной жизни должны были сильно повысить процент, так всегда бывало после крупных войн. Но то, что можно сейчас установить, не превышает 8—10%».

Таково сообщение компетентного врача. 〈...〉

Коммунисты слишком гнусно, без совести и чести клевещут на нас, так называемых контрреволюционеров.

Никто из нас не может следовать этой тактике по отношению к ним.

Наоборот: сугубая правда и сугубая осторожность должны проникать все наши сообщения. 〈...〉

Конечно, недоедание, часто даже голод, холод, болезни, отсутствие здоровой школы — все это губительно действует и на физику, и на дух. Есть много воришек, мошенников, ругательников, развратников. Какой процент — не берусь определить, а да и никто его не определит. Есть и еще одно следствие — материализм, практицизм, отсутствие идеальных стремлений в жизни. 〈...〉

Чем объяснить такой материализм?

Профессор Сорокин, вероятно, согласится со мной, что дети в России несут сейчас огромную работу по поддержанию жизни своей и семьи. С юных лет они совершают громадную работу. Я знала семью из двух дочерей 3 и 6 лет и матери-служащей. Детей невозможно было устроить в учреждении детском — все переполнено. И вот картина: мать уходит с утра на службу. Шестилетняя стережет квартиру и трехлетнюю сестренку. Затем в час дня она запирает на замок крошку и идет в бесплатную детскую столовую. Там обедает сама и берет обед для сестренки, заботливо несет, кормит... Если хорошая погода — ведет в столовую ее, запирая квартиру. Вечером помогает матери растопить печь, чистить картошку и пр. Худенькие ручки и печальные, недетские глаза.

Эту картину не всегда можно было без слез видеть. Но что получается? Не только материализм.

В Лиге спасения такие же крошки или немного больше прятали сахар, кусочек хлебца, чтобы отдать на свидании... маме или другой сестренке!

Разве это не высоконравственные моменты! Я уже не говорю о массовой работе, колоссальной работе 15—16-летних юношей и девушек, которые нередко держат на своих плечах целый дом. И какие это юноши... Сильные, выносливые, сметливые. Это те, которые выживут среди вьюг и мороза... Это — плоды своеобразного естественного отбора. Отбора для труда, а не для разврата.

〈...〉 Вот эта необходимость труда, отсутствие мамок и нянек, необходимость обо всем подумать самим и даже позаботиться о других — это так компенсирует окружающие мерзкие влияния, так закаляет и укрепляет личность и так стирает эту проклятую русскую лень, никчемность и разгильдяйство, что всему этому можно только сочувствовать и ждать нового, отнюдь не в порочном смысле. А материализм при этих условиях разве непонятен?

Мне пришлось ознакомиться на деле Комитета помощи голодающим с большой детской организацией бойскаутов. Что это были за дети! Что за слуги и помощники Комитета! Приходится только удивляться, как среди миазм и болот могут расти столь прекрасные цветки, с такой чуткой детской душой, направленной к тому, чтобы непременно сделать «шесть или восемь хороших дел в день...». И делали, и старались.

Вспоминаю. Нет, ничего этого не было при самодержавии. Нет, не было. В этом огне что-то плавится, что-то крепнет, уже осязаемое, видимое, не выдуманное.

Того обобщения, которое пытается сделать профессор Сорокин, сделать нельзя.

Больное и здоровое сейчас перемешано. Результат — еще без подсчета. Слишком рано. Обращено внимание пока только на порчу, не все видят процессы самооздоровления организма, без лекарств, без посторонней помощи. Быть может, самое прочное и самое совершенное.〈...〉

Несут они кусочки России, хорошие и дурные, несут, стараясь показать их другим, не видевшим. Пусть только показывают больше, полнее и разнообразнее. Авось из этих кусочков мы сложим ее, Россию, родину нашу, сложим все вместе и – будем знать, что делать дальше.

Л. Г. Корнилов на смотру

А. Ф. Керенский инспектирует войска А. И. Деникина

Французский министр А. Тома на русском фронте

Адмирал А. В. Колчак

Атаман А. Г. Шкуро

Генерал П. Н. Врангель

Военный памятный знак белой армии

Генерал А. С. Лукомский

Генерал Н. Н. Баратов

Генерал А. П. Богаевский

Генерал А. М. Каледин

Г. Е. Распутин с комендантом Царскосельского дворца Д. Н. Ломаном (справа) и князем В. П. Путятиным

Проба солдатской каши

Казаки в Петрограде. Июль 1917 г.

Собрание Георгиевских кавалеров

№ 14.

ОГОНЕК

Против большевиков.

Журнал «Огонек» (Варшава, 1920 г.)

Издания русского зарубежья в 1920-х гг.

Н. Н. Брешко-Брешковскій

ДИКАЯ ДИВИЗІЯ

РОМАН В 2-х ЧАСТЯХ

ИВАНЪ БУНИНЪ

РОЗА ІЕРИХОНА

ИВ. НАЖИВИНЪ

РАСПУТИНЪ

РОМАНЪ

А. Ф. Керенскій

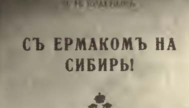
ДѢЛО КОРНИЛОВА

Въ борьбѣ за Россію.

(сборникъ статей)

Издательство „ОКНО“

Харбинъ. 1920 г.



ИЗДАНІЕ В. СЯЛЬСКАГО

ПАРИЖЪ.

Содержание

Публицистика

Литература русского зарубежья:
Антология

Том I, книга 1

Составитель Валентин Викторович Лавров

Художественный редактор М. А. Вакарчук
Технический редактор Л. П. Емельянова
Корректоры: В. А. Коротаева, Л. В. Петрова, Н. И. Скворцова
Ретушер Е. А. Маньшина

ИБ 2049

Сдано в набор 19.02.90. Подписано в печать 10.10.90.
Формат 70×100/16. Бумага офсетная № 2. Гарнитура тип бодони. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 35,10. Усл. кр.-отт. 70,53. Уч.-изд. л. 38,65. Тираж 120 000 экз.
Изд. № 4953. Зак. № 289. Цена 7 р.

Издательство «Книга»,
125047, Москва, ул. Горького, 50

Можайский полиграфкомбинат Государственного комитета СССР по печати
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93

Во второй книге первого тома антологии «Литература русского зарубежья» публикуются воспоминания:

***Сергей Волконский.* О декабристах**
***Илья Репин.* О графе Л. Н. Толстом**
***Катерина Брешковская.* Три анархиста**
***Е. Ф. Джанумова.* Мои встречи с Распутиным**
***Константин Набоков.* Испытания дипломата**
***Василий Сухомлинов.* Воспоминания**
***Александр Керенский.* Февраль и Октябрь**
***З. Ю. Арбатов.* Екатеринослав — 1917—1922 гг.**
***Петр Краснов.* На внутреннем фронте**
***Борис Савинков.* Борьба с большевиками**
***Зинаида Гиппиус.* Петербургские дневники**

В этот том включены также статьи:

***Лев Шестов.* Преодоление самоочевидности. К 100-летию Ф. М. Достоевского**
***Михаил Цетлин.* Бунин «Роза Иерихона»**
***Михаил Осоргин.* Российские журналы**
***Константин Бальмонт.* Марина Цветаева**
***Антон Крайний.* Полет в Европу; О молодых и средних**
***Марк Слоним.* Живая литература и мертвые критики**

25-00

7p.